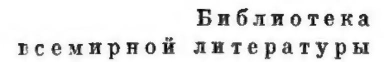
ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ • ПРОЩАНИЕ • ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ









Серия третья * * *

Литература XX века

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

ПРОЩАНИЕ

•

ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1970

Вступительная статья и составление
А. Дымшица

Редакция стихотворных переводов
Л. Гинзбурга

И(Нем)
Б55

Иллюстрации
М. Туровского

7-4-3
Подп. изд.



ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

Наш двадцатый век уже давно перевалил через свою середину. И о многом, что еще так недавно казалось нам едва ли не сегодняшним, чуть ли не так называемой злобой дня, мы судим ныне в свете Истории.

История — судья суровый и нелицеприятный. Она нередко по справедливости отодвигает в тень такие явления, которые порою незаслуженно красовались на социальной авансцене. И она же, глубоко обоснованно, определяет истинное значение и подлинные масштабы явлений, которые не во всем объеме своем были оценены современниками.

Иоганнес Роберт Бехер и при жизни считался одним из крупнейших немецких поэтов. Лучшие его современники — Горький, Роллан, Барбюс, Томас Манн, Фейхтвангер, Нексе, Брехт и многие другие — отзывались о нем с глубоким уважением. Он прочно, органично вошел в боевую демократическую и социалистическую культуру своего народа. И все же можно сказать, что размах и глубина его деятельности, диапазон его творческой силы, новаторское значение этого поэта и мыслителя открываются нам во все большей полноте уже теперь, десять с лишним лет после того, как он ушел от нас.

Все больше и больше выясняется величие Иоганнеса Бехера. Все яснее и ярче встает перед нами образ Бехера, как одного из классиков мировой литературы двадцатого столетия.

Иоганнес Р. Бехер — один из тех великих мастеров культуры, которые светом своей мысли, огнем своей поэзии освещают пути в грядущее,— дорогу свободы и социализма.

Этот большой художник, революционер с начала своей сознательной жизни, знал, во имя чего он творит. Об этом прекрасно сказано в одной из его лирических записей:

«Век поэзии настанет,— иначе ради чего же мы жили бы,— и этот век поэзии тогда настанет, когда утвердится царство человека, причем

этот «век поэзии» есть лишь поэтический парафраз возвышенной человечности, царства человека».

Да, век поэзии есть парафраз века человечности, а он, в свою очередь, есть парафраз века коммунизма. И ради его торжества жил и работал, боролся и творил один из замечательных художников нашего века, поэт-коммунист Иоганнес Р. Бехер.

О его большом и многотрудном пути, о его значении для литературы и культуры социалистического движения нашего времени и пойдет речь в дальнейшем.

I

Иоганнес Р. Бехер родился 22 мая 1891 года в Мюнхене, в семье видного судебного чиновника. Детство его прошло в богатой патрицианской семье. Уже в отроческую пору он познал многие мерзости быта, характерные для Германии кайзеровских времен. Во времена юности, в годы учения (он штудировал филологию, философию и медицину в Мюнхене, Иене, Берлине) он научился ненавидеть окружающую социальную действительность — весь этот затхлый буржуазно-чиновничий мир, хищное юнкерство, алчное бюргерство, дух шовинистического высокомерия и милитаристических вожделений.

Чтобы понять, какая среда окружала Бехера в годы детства, отрочества и юности, надо прочитать его роман «Прощание» — книгу во многом автобиографическую, в образе героя которой — юного Ганса, в истории его разрыва с семьей и средой, так много общего с образом и историей юных лет самого Бехера. Будущий поэт решительно порывает все связи с отчим домом, с этим микромиром кайзеровской Германии, в сердце его загорается чувство протеста против всего уклада тогдашней жизни.

Восстание чувств, резкий протест против бесчеловечной действительности получают свое страстное выражение в ранней лирике Бехера. Вся она — крик боли и гнева. Эмоции, охватившие молодого немецкого поэта-бунтаря, сродни тем чувствам, которые воплотились в негодующей и протестующей лирике раннего Маяковского. Это — многократно выкрикнутое «нет!», это непримиримое отрицание, брошенное в лицо господствующим классам, религии, буржуазному лицемерию, скотскому осквернению всех самых благородных чувств и идеалов, царящему в мире обмана, наживы и эксплуатации. Все эти страстные и выстраданные чувства «выплеснулись» на страницы ранней книги молодого лирика — его сборника «Упадок и торжество» (1914).

Талант Бехера был очевиден уже в первых его стихах. Но направление таланта определилось далеко не сразу. Поэт прошел несколько лет бурных исканий. То были отнюдь не только поиски формы, а прежде всего — поиски социального якоря, верной и четкой общественной позиции.

Начиная свой поэтический путь, Бехер хорошо знал, чтó он отрицает и ненавидит в окружающей действительности, но отнюдь не ясны были ему те положительные идеалы, во имя которых он устремлялся в бой. Его взгляды были абстрактно гуманистическими. В обстановке начавшейся первой мировой войны он сразу занял антивоенные позиции, о чем ярко свидетельствовали его сборники стихотворений: «К Европе» (1916), «Братание» (1916) и «Песнь против времени» (1918). Но и революционному пораженчеству, к платформе Карла Либкнехта Бехер пришел не сразу, хотя и скорее многих других немецких революционеров. Не было у юноши Бехера и ясного представления о реалистических методах классовой борьбы.

Вращаясь в среде молодых, бунтарски настроенных поэтов-экспрессионистов, Бехер примкнул к литературному течению типично мелкобуржуазного характера, оказался в рядах анархо-индивидуалистически настроенных литераторов и художников. Социальные позиции и настроения писателей-экспрессионистов, протестующий пафос их творчества придавали многим произведениям экспрессионизма вызывающе резкий, антимещанский характер. Но обличение мещанских нравов не носило подлинно революционного характера. Эпатирование буржуазных нравов и вкусов не затрагивало основ и почвы буржуазного строя, и многие представители так называемого правого крыла экспрессионизма довольно скоро примирились с буржуазной средой, а впоследствии стали отъявленными апологетами реакции. В экспрессионистской среде Бехер, разумеется, тяготел к левому крылу течения. Он еще с 1912 года был сотрудником журнала «Акцион» («Действие») — органа левых радикалов-экспрессионистов, выступавших против эстетства и примирения с действительностью, требовавших, чтобы искусство вторгалось в область политики, и занявших в годы первой мировой войны антимилитаристские позиции.

Естественно, что социальные позиции экспрессионистского движения, выражавшие настроения анархического бунтарства, запечатлелись и в эстетической программе движения. Мелкобуржуазный индивидуализм порождал в области художественного творчества тенденции крайнего субъективизма. Пропагандировалось искусство, выражавшее хаос чувств, стихийность творчества возводилась в закон, отстаивался произвол в поисках форм выразительности. Даже у левых экспрессионистов настроения индивидуализма и анархизма приводили к тому, что вызов, брошенный буржуазно-декадентскому искусству, не получал сколько-нибудь завершенного характера, и их творчество само оказывалось под декадентски-индивидуалистическими влияниями.

Для большинства ранних экспрессионистов было характерно презрительное, нигилистическое отношение к классическому наследию. Концентрируя свой бунт, свой протест во многом в области эстетической, громко заявляя о своей ненависти ко всему буржуазному в искусстве, они

проявляли типичный эстетический нигилизм, «громили» классиков национальной культуры, «свергали» с «престолов» поэзии Гете, Шиллера и других великих немецких писателей, призывали к ломке стиха, к нарушению традиционных поэтических форм, к «взрыву» традиционной поэтики, к отказу от грамматических норм и т. д. Иоганнес Р. Бехер в юные годы отдал определенную дань экспрессионистским художественным «новшествам», его увлекали настроения эстетического нигилизма, он неуемно «расправлялся» с традициями, ломал стих, отступал от требований грамматики и пунктуации, прибегал к надуманным словосочетаниям, к неестественным, нарочито эксцентрическим сравнениям и метафорам. Стихи, которые он создавал в пору своего увлечения такого рода исканиями, были полны могучего эмоционального протеста против окружавшей его реакции, они — по мысли их автора — должны были прозвучать как пощечина общественным вкусам буржуазии. Но усложненная, искусственная система выразительных средств практически отрезала поэту пути к тем, к кому он стремился обратиться своими стихами,— к трудящимся Германии, к рабочим, крестьянам, солдатам. Мешала общению поэта с массами и абстрактно гуманистическая концепция человека, типичная для литераторов и художников экспрессионизма. Даже самые прогрессивные из них заявляли о своем бунте во имя человека вообще,— и социальную «окрашенность» требованиям левых экспрессионистов придали лишь события первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции в России.

И все же Иоганнес Р. Бехер занимал в экспрессионистском течении несколько особое положение и место. Он, разумеется, резко отличался от правых экспрессионистов с характерным для них эстетством. Но и среди левых экспрессионистов, с которыми он сотрудничал, он выделялся своим стремлением к революционной активности, своим желанием вырваться на просторы искусства, обращенного к массам. Его антивоенные стихи были криком души, — он хотел, чтобы этот крик был услышан. В нем уже в эту пору пробуждался поэт-агитатор, литератор-публицист. Недаром на пороге исторического 1917 года он написал обращение «К солдатам социалистической армии», в котором звал народы к борьбе за освобождение угнетенных и подавленных.

Положение Бехера в среде экспрессионистов во многом сходно с положением Маяковского в группе футуристов. В экспрессионистском движении, на левом его крыле, Бехер был не только крупнейшим художественным талантом, но и одной из крупнейших и наиболее стойких революционных фигур. Среди экспрессионистов находились и писатели, гуманистические убеждения которых были проникнуты подлинным демократизмом (Леонгард Франк, Карл Штернгейм) и приводили к революционным исканиям и порывам (Бехер, Эрнст Толлер, Фридрих Вольф). Уже на раннем этапе существования экспрессионистского течения в нем наметилась

весьма определенная идейная и социальная дифференциация, которая в скором времени политически и творчески развела в разные стороны его участников. Бехер круто пошел влево, и участие в группе экспрессионистов явилось для него весьма кратковременным этапом. Этот поэт решал свою литературную судьбу не на путях формальных литературных исканий, не в узком «вакууме» разного рода эстетических течений, а на просторах большой общественной жизни и борьбы.

Великий Октябрь 1917 года сыграл решающую роль в политическом и художественном развитии поэта, всей душой стремившегося к народу и революции. Немецкий поэт услышал голос русской революции, голос Ленина, обратившегося ко «Всем, всем, всем!», и всем сердцем отозвался на первую в истории человечества победу социалистической революции.

Идеи социализма, идеи Маркса, Энгельса, Ленина становятся для Бехера руководящими и ведущими. Еще в 1917 году Бехер вступает в ряды Независимой социал-демократической партии Германии, а в 1918 году в Союз Спартака, встает в ряды соратников Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Вильгельма Пика. В отличие от некоторых попутчиков революции из рядов буржуазных и мелкобуржуазных интеллигентов, отошедших от борьбы после поражения героического ноябрьского восстания, Бехер остался в боевых рядах, был среди создателей Коммунистической партии Германии и прошел в ней долгий и славный путь. Он был деятельнейшим функционером КПГ, не только ее крупнейшим поэтом, но и членом ее Центрального Комитета. В годы Веймарской республики он с честью представлял свою партию в прессе и на трибунах и вел агитационную работу среди берлинских пролетариев. Эта работа сблизила его с вождями немецких коммунистов — Эрнстом Тельманом, Кларой Цеткин, Вильгельмом Пиком и Вальтером Ульбрихтом. Бехер был постоянным сотрудником газеты КПГ «Роте Фане» и организатором пролетарского литературного движения в Германии конца двадцатых и начала тридцатых годов. Словом и делом сражался он против поднимавшего голову фашизма, против социал-демократического предательства и раскола рабочего движения, участвовал в открытых схватках с нацистами, а затем вынужденный после временной победы Гитлера покинуть Германию — вел неустанную антифашистскую борьбу в эмиграции.

«Всем!» — под таким характерным заголовком вышел в 1919 году сборник революционных стихотворений Бехера. В нем поэт приветствовал Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Он был одним из первых литераторов Запада, кто послал свой привет большевистской России. С тех пор и до конца своей жизни Бехер всегда проявлял себя как убежденный интернационалист. Он действительно с полным правом мог заметить в одном из своих писем (от 15 августа 1942 года), что

«уже почти 25 лет прошло с тех пор, как я, в качестве первого немецкого поэта, приветствовал Советский Союз и всегда имел только одно желание— предоставить в распоряжение партии все мои способности».

Идейно самоопределившись как коммунист, Иоганнес Бехер теснейшим образом связал свое поэтическое творчество с большими общественными задачами. Он стал глубоко сознательным, идейно целеустремленным художником. Уже в двадцатых годах он, наряду со статьями публицистическими, много писал для периодической печати на литературные темы. В этом выражалось стремление вырабатывать эстетические позиции, эстетически обосновывать свои творческие искания. Впоследствии, в сонете, обращенном к партии, поэт писал, что школа партии явилась для него школой духовного воспитания, которая спасла его от судьбы многих бесплодных «бунтарей», пошедших навстречу декадентскому «творческому» своеволию, и сберегла его от «бесцельной гибели».

Несомненно большую роль для развития Бехера в двадцатых годах и позднее играл его глубокий интерес к сочинениям Маркса, Энгельса, Ленина. Одной из книг, которые в начале двадцатых годов произвели на него огромное впечатление, была работа Ленина «Государство и революция». Вскоре Бехер узнал замечательную статью Ленина «Партийная организация и партийная литература». Из произведений классиков марксизма, как и из самой жизни и борьбы, он черпал важные импульсы для творчества. Позднее, уже на склоне лет, Бехер писал о том, как много дал ему Ленин для жизни и творчества. «Ленинские труды, — замечал он,— в своей глубине и богатстве дают ответ на все волнующие нас вопросы. Но они дают ответ только тому, кто страстно ищет его и готов сам думать над вопросами, раздумывать над ними, додумывать их до конца. Труды Ленина воспитывают в его учениках самостоятельное творческое мышление...» Это признание в высшей степени характерно для Бехера, который обращался к «советам Ленина» как творческий марксист и как художник.

Приход Иоганнеса Р. Бехера в ряды Коммунистической партии Германии знаменует и серьезную «перестройку» его поэзии. Если сравнить произведения, вошедшие в первые сборники, созданные в начале новой, революционной эры, открывшейся на Востоке Европы,— сборники «Всем!», «Стихи для народа», «Всегда мятежный»,— со стихами начала двадцатых годов, затем вошедшими в книгу «Машинный ритм» (1926), с поэмой Бехера «У гроба Ленина» (1924), то станет ясно, как очищался поэтический язык писателя от экспрессионистских «плевел». Постепенно из поэзии Бехера стали уходить усложненные и неясные метафоры, гиперболические образы-«конструкции», выражавшие то богоборческие, то богоискательские метания; стиль поэзии молодого писателя-коммуниста стал аскетически строгим, подчеркнуто рассчитанным на восприятие его думающими рабочими, читающими пролетариями. Стилистические поиски

Бехера этой поры сродни поискам Маяковского: «Ищем формы точной и нагой».

Содержание поэтических сборников Бехера по преимуществу проникнуто гражданскими мотивами. Поэт воспевает революционную борьбу немецкого народа, пишет баллады, посвященные событиям международного движения. В взволнованных лирических стихах отзывается он на героические дела первого в мире социалистического государства — Советского Союза. Его произведениям середины двадцатых годов свойственна известная декларативность, некоторая риторичность. Осваивая законы классовой борьбы, вырабатывая приемы обличения современной реакции, восхищаясь трудовыми буднями советских людей, поэт хочет передать свои мысли и чувства так, чтобы они доходили до разума читателей. К чувствам своих читателей он апеллирует в прямой, непосредственной, порой лозунговой форме.

Бехер стремится быть поэтом миллионов, певцом массовых движений, коллективных, рабочих ритмов — ритмов труда и восстаний. Если еще сравнительно недавно, в экспрессионистский период своего пути, в годы своей писательской юности, Бехер выступал от имени страдающего «общечеловека», от лица «человека вообще», то теперь он почти не видит отдельной личности, его герой — коллектив, и личность интересует его лишь как выразительница революционной воли миллионов, как «человек цели», действия, борьбы. Критики нередко упрекали Бехера за «забвение» личности, индивидуальности, за чрезмерное внимание к коллективу, к массе, нередко обезличенной. Думается, однако, что это было закономерной чертой перехода поэта от экспрессионизма к реализму, через романтические мотивы и образы. Думается, что пафос коллективизма, который столь характерен для Иоганнеса Бехера в двадцатых годах, был во многом связан именно с революционно-романтическим освоением новой идеологии и новых тем. На этом этапе, однако, Бехер формировался уже и как художник-реалист,— черты социалистического реализма, возникавшие и определявшиеся в его эстетических взглядах, в его статьях того времени, «пробивались» и в поэзии Бехера.

Некоторые критики и историки литературы склонны видеть в творчестве Бехера вплоть до второй половины двадцатых и начала тридцатых годов продолжение экспрессионистских традиций. Встречаются в критике суждения, утверждающие, что даже в конце тридцатых годов, когда писатель создавал свой роман «Прощание», он еще не мог освободиться из-под власти экспрессионистских влияний. Думается, что это решительно неверно, что тут происходит смешение понятий: экспрессивное, выразительное, даже подчеркнуто выразительное в поэтике и стилистике Бехера принимают за экспрессионистское, что отнюдь и далеко не то же. Подобно тому как Маяковский отошел от футуризма, так и Бехер отошел от экспрессионизма (к тому же последний, как и футуризм в России, распался за

довольно короткий срок). Но подобно тому как Маяковский сохранил (и развил) свою особую выразительность до конца своих дней, так и Бехер не отказался от поисков художественной выразительности, направляя ее в новые стилистические каналы.

Поиски выразительности, обогащения ее возможностей и форм сопровождали Иоганнеса Бехера на всем пути его творчества,— это было, если так можно выразиться, проявлением его «субстанции» поэта. На раннем, условно говоря — экспрессионистском (ибо «программным» экспрессионистом Бехер, в сущности, не был) этапе своего творчества поэт искал форм для наиболее резкого, субъективно лирического воплощения того смятения протестующих чувств, которое владело им. Отсюда и хаотический, «кричащий» стиль, который был присущ его ранним стихотворениям.

В дальнейшем, после «прощания» с экспрессионизмом, творчество Бехера характеризуется растущей идейной ясностью, определенностью решаемых общественных, а потому и творческих, задач. Поэт становится пропагандистом, агитатором, в его стихи врывается ораторская интонация, образы его произведений приобретают плакатные очертания, у них броский, резкий, контрастный рисунок. Свои идеи он воплощает в публицистические формы, его «публицистика» в поэзии выступает в ярких метафорах, кричащих сравнениях,— не случайно Бехер переводит на немецкий язык «150 000 000» Владимира Маяковского: образность этой поэмы ему близка. Новая стилистика, новая поэтика лирика-агитатора, обличителя капиталистической скверны и пропагандиста нового, социалистического мира ярко выступает у Бехера в сборниках и циклах с характерными названиями «Труп на троне» (1925), «Для расклейки на стене» (отдельное издание — 1933), «Серые колонны» (1930). Агитационная драма — оратория «Рабочие, крестьяне, солдаты» (1924 — второй вариант), страстный лирический «эпос социалистической стройки» — поэма о первой советской пятилетке «Великий план» (1931),— также несут на себе печать этого патетического, агитационного стиля, порожденного глубокими, искренними переживаниями поэта.

Смелая, открытая позиция поэта-коммуниста привлекла к Бехеру симпатии во всей Европе. Его много переводили уже в двадцатых годах на самые разные языки. В Германии, где все наглее и наглее становилась политическая реакция, его пытались подвергнуть судебной расправе, предъявив ему за сборник стихов «Труп на троне» и за антивоенный роман «Люизит, или Единственная справедливая война» (1926) обвинение в «подготовке государственной измены». Бехер был арестован, затем освобожден из тюрьмы под влиянием волны протестов, но оставлен под следствием. Новая волна протестов, сопровождавшаяся резкими выступлениями в печати Максима Горького, Ромена Роллана, Бертольта Брехта и других известных писателей, заставила полицейских и судейских чиновников Вей-

марской республики отступиться от поэта-коммуниста и прекратить преследование.

Из статьи Горького в защиту Бехера, напечатанной в январе 1928 года в «Известиях» и прочитанной на митинге в поддержку Бехера в Берлине, видно, насколько немецкий писатель-коммунист был уже известен к тому времени как талантливый художник. Горький писал: «Талантливых людей сейчас очень немного. Европа XX столетия производит их скупо. Иоганнес Бехер — прежде всего талантливый человек. Я не могу судить о красоте и силе его стихов, но думаю, что они не уступают его прозе. «Люизит (единственная справедливая война)» Бехера — превосходное произведение художника, вдохновленного любовью и ненавистью» .

Уже в этих первых строках своей статьи Максим Горький удивительно точно определил эмоциональное содержание творчества Бехера, сказал о контрастности его эмоциональной палитры. Далее он дал интересную характеристику его антивоенного романа, посвященного разоблачению угрозы газовой войны, разоблачению империалистического характера современных войн. «Бехер,— сказал Горький,— потрясающе хорошо изобразил в своем «Люизите», как лучшие силы рабочих масс заживо сгорают в облаках ядовитого газа единственно для того, чтобы могли появиться на свете военные спекулянты Раффке и другие чудовища. Четыре года гнуснейшей бойни привели к тому, что часть победителей надолго обескровлена, а побежденные вконец разграблены... Все — тайно или открыто — стремятся к новой бойне, которая обещает быть еще бессмысленнее и глупее прежней. Один из «героев» «Люизита», Брац, с удивительным цинизмом замечает: «Война — необходимый фактор для развития культуры, наивысшая сила и проявление жизненности наших культурных народов». Вот это действительно чудовище, которому место в тюрьме. Вот кого надо предать суду! Если Иоганнес Бехер будет осужден, это будет равносильно оправданию авантюристов и проходимцев типа Браца».

В январе 1928 года Бехера еще удалось спасти от судебной расправы. Но в январе 1933 года авантюристы типа Браца поставили Гитлера на пост рейхсканцлера, и тут уже ничто не могло спасти Бехера, кроме немедленного побега из Германии.

Однако за те пять лет, которые прошли между 1928 и 1933 годами, деятельность Бехера приобрела еще больший размах. Он стал одним из организаторов и руководителей «Союза пролетарско-революционных писателей» Германии, который в 1930 году насчитывал в своих рядах около трехсот литераторов — в том числе несколько первоклассных талантов, замечательных мастеров поэзии, прозы и драматургии. Он был также одним из организаторов литературного журнала «Ди Линкскурве» («Поворот влево»). Всю свою организаторскую работу в литературе и журналистике он осуществлял, разумеется, в постоянном контакте с руководством КПГ.

К концу двадцатых — началу тридцатых годов, в последние годы Веймарской республики, в творчестве Бехера все прочнее утверждается социалистический реализм. Примечательны для этой поры его книги «Голодный город» (1927), «В тени гор» (1928), «Человек нашего времени» (1929), «Серые колонны» (1930), «Человек, идущий в строю» (1932). По-прежнему Бехер полон гражданского пафоса, по-прежнему откликается он на борьбу английских горняков, на революционные события в Вене, на дело Сакко и Ванцетти и на сражения немецких рабочих с гитлеровскими штурмовиками, по-прежнему славит «великий план» советских людей, перекраивающих на новый лад одну шестую часть планеты.

Но теперь в его стихах все чаще появляются индивидуальные фигуры, преодолевается то «поглощение» личности коллективом, которое еще сравнительно недавно было так характерно для целого этапа развития поэта. В стихах Бехера слышится и поступь «серых колонн», слышатся и голоса живых людей — борцов, героев. Их образы он охотно воплощает в балладном жанре, насыщенном сдержанной, но сильной эмоциональностью, пронизанном четким ритмом. Весьма примечательна и лирическая книга Бехера этой поры — сборник стихотворений «Человек нашего времени». Это книга в немалой мере исповедальная — ее задача: показать процесс перехода человека из мира буржуазии в лагерь борцов за пролетарское, социалистическое дело. Лирика этой книги окрашена той философичностью, той гармонически ясной мыслью о революционном человеке, как «совершенном человеке», которая затем широко предстанет в различных своих аспектах в лирико-философском творчестве Бехера более поздних лет.

Обстановка напряженнейшей борьбы коммунистов против крепнущего фашизма, против предательских сил социал-демократии требовала от Бехера и участия в непосредственно агитационной работе партии. Эту работу он вел в годы, предшествовавшие захвату власти нацистами, и как литератор-публицист, постоянный сотрудник партийной печати, и как поэт-агитатор. Особенно показательна в этом отношении серия агитационных стихов, коротких, лозунгово-ударных, которая составила цикл под названием «Для расклейки на стене» (собрать его в книгу Бехер сумел лишь в 1933 году, в Москве, но свою боевую роль цикл сыграл в борьбе против фашистов в Германии).

В 1927 году Бехер впервые посетил страну своей мечты — Советский Союз. Затем он был в Советском Союзе в 1930 году, на Международной конференции революционных писателей, собиравшейся в Харькове. В 1934 году он был гостем Первого Всесоюзного съезда советских писателей. А вскоре Бехер снова прибыл в Москву и прожил в Советском Союзе почти десять лет—до великой победы Советской Армии над гитлеризмом. Здесь, в Советской стране, он нашел свою вторую родину, здесь были написаны многие замечательные его произведения: стихотворения, роман «Прощание», пьесы «Зимняя битва» и «Дорога в Фюссен».

II

Как уже сказано, в 1933 году Бехеру пришлось бежать из оскверненной гитлеровцами Германии. Через Австрию, Швейцарию, Чехословакию, Францию путь его лежал в Москву. Находясь в эмиграции, поэт продолжал вести большую партийную работу. Он работал в тесном содружестве с членами ЦК КПГ, находившимися в Москве. Участвовал в агитационно-пропагандистской работе, которая велась по подпольным каналам «на Германию». Голос его звучал широко во всем мире, и его поэзия, обличавшая нацистов и нацизм, старалась утвердить в антифашистах всех стран веру в «другую Германию», в те силы немецкой демократии, которые продолжали бороться против гитлеризма в условиях чудовищного гнета и кровавого террора.

Все, что творил Бехер в годы эмиграции, служило делу борьбы против фашизма. Между тем творчество его приобрело в эту пору не только широкий размах, но и бо́льшую глубину. Лирика его все больше отходила от декларативности, обретала характер поэзии философских раздумий и обобщений, оставаясь по-прежнему социально острой и актуальной. Бехер вступил в полосу, которую он сам характеризовал, как время своего «второго рождения». В эту пору у Бехера появляется подчеркнутый интерес к психологической стороне социальных столкновений, к психологии героического человека, к «поэзии души простого человека» (как говорил он сам). Искусство начинается с человека (с человека-автора и человека-героя), говорил впоследствии Бехер, обобщая выводы из своего творчества на новом его этапе. «Восхваляя возможные открытия,— писал он,— следовало бы прежде всего воздать хвалу тем, кто открыл нам человеческие души...» Героический человек, человек борьбы и созидания, человек дерзания, творчества, подвига становится «предметом» его наивысшей заинтересованности.

Вальтер Ульбрихт, на глазах которого прошли многие годы жизни и творчества Бехера, отлично сказал в 1958 году в речи, посвященной памяти поэта, что он «воплотил живые силы современной Германии в образах сражающихся, испытывающих муки, погибающих, но в итоге все же одерживающих победу борцов немецкого Сопротивления». Одним из таких образов явился поистине бессмертный героический образ «человека, который молчал» в одноименном стихотворении Бехера. «Другая Германия» — Германия Эрнста Тельмана и Томаса Манна, Эдгара Андрэ и Вилли Бределя, Вильгельма Пика и Генриха Манна, Вальтера Ульбрихта и Эрнста Буша и многих, многих других прекрасных деятелей прогрессивной немецкой культуры — нашла в нем своего выдающегося поэта, как нашла она своих романистов в Анне Зегерс и Вилли Бределе, своих драматургов в Бертольте Брехте и Фридрихе Вольфе.

Для того чтобы понять и воспеть национальных героев борющейся «другой Германии» — прежде всего героев-коммунистов,— нужно было всем сердцем обратиться к родине, к славным традициям ее прошлого, к гуманистической культуре классических немецких философов и поэтов, к традициям немецкого рабочего движения, к жизни простого народа — рабочих, крестьян и демократической интеллигенции. В эту пору Бехер много думает о своей страдающей, истерзанной отчизне, об изуродованных фашизмом душах и судьбах. Его поэзия полна раздумий на исторические темы, она обращена к образам прошлого, составляющим гордость немецкой нации, она проникнута поэзией родной природы.

Обращение к дорогим его сердцу образам родной истории — к образам ее мятежных героев, таких, как народные бунтари Иосс Фриц или Клаус Штёртебекер, к образам ее художников и музыкантов — Тильману Рименшнейдеру или Иоганну Себастиану Баху, к образам ее поэтов — Гете или Гёльдерлину,— характерно для нового этапа в развитии Бехера. Спутниками его души и его поэзии становятся великие гуманисты — Данте, Леонардо, Шекспир, Сервантес, Байрон... Он уже не стремится больше к ломке стиха, а ищет творческого обновления некоторых традиционных жанров поэзии.

Именно в эту пору зреет и реализуется в творчестве Бехера то убеждение, которое он впоследствии так хорошо сформулировал: «Не в том литературное новаторство, чтобы внести некоторые формальные новшества и на этом считать задачу выполненной. Не в том, чтобы назойливо подчеркивать свою новизну и программно противопоставлять себя всему традиционному... Творчески новое в литературе состоит в том, что эта литература, во-первых, открывает истинно новое в нашей жизни и, во-вторых, в своих творениях разносторонне воплощает это истинно новое». Глубокое изучение жизни и человека, глубокое освещение проблем жизни в строгой и точной художественной форме — вот к чему теперь так стремился Бехер и вот что стало пафосом его творчества в годы эмиграции. Не следует думать, что поэт отходил от современности, обращаясь к образам и темам прошлого, не следует думать, что он отвернулся от жгучей актуальности, которая всегда характеризовала его поэзию революционного борца. Нет, Бехер много писал о непосредственной современности, о событиях своего времени, но его поэзия не была лирикой скоропреходящих откликов, она была лирикой глубоких обобщений и острых выводов. Обращения к прошлому всецело служили современности,— то были поиски аналогий, параллелей, поучений,—поиски, утверждавшие героические принципы и начала в читателях поэта, в людях, которых нужно было подкрепить в борьбе против фашизма или отвоевать от его тлетворных влияний. Так, например, обращение к поэту Тридцатилетней войны — Андреасу Грифиусу, которого в ту пору открыл для себя Бехер, было обращением к «союзнику» по борьбе против военной опасности, а затем и войны, обра-

шение к «соратнику»-гуманисту. Так в героях Великой Крестьянской войны, в мятежных плебеях времен Реформации он видел предшественников современных героев — Ганса Беймлера, комиссара Интернациональной бригады, павшего на полях Испании в боях с франкистами, отважного коммуниста Фите Шульце, казненного гитлеровцами, и многих других бойцов-антифашистов. Связь времен стала одной из любимых тем его творчества.

В годы пребывания в Советском Союзе, в писательском доме в Лаврушинском переулке в Москве, на подмосковной даче в Валентиновке, в эвакуации в Ташкенте, где Бехер очень недолго находился в военную пору, в армиях, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, в которые приезжал немецкий поэт, чтобы содействовать пропаганде среди гитлеровских войск,— везде и всюду работал он с огромным подъемом, с подлинной страстью. Около десяти лет редактировал Бехер немецкий выпуск журнала «Интернациональная литература», в годы войны работал в Национальном комитете «Свободная Германия», сотрудничал в его печати, адресовавшейся к солдатам и офицерам гитлеровской армии, писал листовки для гитлеровского вермахта и для немецкого населения.

В это время Бехером был написан цикл «романов в стихах» — произведений широкой эпичности, философски глубоких, лирически одухотворенных. Была частично создана «Книга образов». В 1938 году вышла одна из самых значительных лирических книг Бехера — «Искатель счастья», в 1939 году — книга сонетов. Позднее, уже после войны, в ГДР была издана книга сонетов 1952 года. Обращение к этому строгому жанру отвечало стремлению поэта к сконденсированному и сконцентрированному, к «спрессованному» выражению своих философско-политических мыслей. Поэт написал о сонете специальный теоретический трактат — плод раздумий над судьбами этого жанра и над собственным опытом мастера. Это очень интересное рассуждение, из которого видно и то, что Бехер явился новатором в развитии сонета, обновителем его формы, освободившим его от строжайших условностей, пошедшим практически на известное «расковывание» и «освобождение» его от формальных канонов. И в то же время Бехер сохранил целесообразную, эстетически закономерную строгость сонета, вызываемую, по его мнению, поисками максимального соответствия формальных признаков жанра драматическому и диалектическому развитию его содержания и мысли. Иначе говоря, на обновление формы сонета Бехер дерзнул только в пределах, диктуемых новизной его идейного мира.

Накануне Великой Отечественной войны, когда вторая мировая война уже катилась по полям Европы, Бехер издал в Советском Союзе свой роман «Прощание» (1940), о котором уже упоминалось выше. И здесь,

обращаясь частично к воспоминаниям детства и юности, писатель не уходил от современности в прошлое. Наоборот, его роман был отчетливо выраженным антифашистским произведением. «Прощание» — это роман о корнях и истоках гитлеровского фашизма. Тот подлейший шовинизм, которым издавна были охвачены в Германии юнкерство и реакционная буржуазия, тот яростный прусcаческий милитаризм, который проникал во все поры немецкого общества, тот гнусный дух расового высокомерия, от которого шла прямая дорога к преступлениям против человечества и человечности,— все это, блестяще показанное в романе Бехера, вело, как известно, к формированию гитлеровской «идеологии» и политики. И роман о прошлом, который Бехер писал накануне второй мировой войны (и который он впоследствии намеревался продолжить), прозвучал как острое обличение современной реакции.

«Прощание» — роман большой реалистической силы. Необыкновенная тщательность изображения деталей быта и нравов, точность воплощения социальных характеров, блестящие зарисовки среды и обстановки, тонкие психологические характеристики, проникновенная передача «диалектики души» героя, Ганса,— все это свидетельства реалистического мастерства писателя. И вместе с тем проза Бехера — это проза поэта, больше того — поэта лирического. В этом отношении «Прощание» занимает особое место в современной немецкой прозе,— это роман, весь строй которого пронизан лирикой, это роман с почти музыкальными лейтмотивами, с широким вторжением романтического начала в его реалистическую фактуру.

В годы эмиграции Бехер выступил и в жанре драматургии. Одна из его пьес — «Зимняя битва» — стала впоследствии большим театральным событием. В 1952 году в столице ГДР, в Берлине, ее поставил созданный Брехтом и руководимый им в ту пору театр «Берлинер ансамбль». Бертольт Брехт считал эту пьесу замечательным социальным полотном, рисующим поражение немецко-фашистской армии под Москвой, он видел в ней и сильные и глубокие психологические характеристики (ценный материал для актерских работ), и, наконец, высокие поэтические достоинства. В сочинениях Брехта имеются интересные комментарии к пьесе Бехера, которыми сопровождалась его работа с актерами. Они показывают социальную и реалистическую глубину этого талантливого произведения.

С 1933 по 1945 год творчество Бехера было скрыто от немецкого народа, от тех немцев, которые находились под пятой гитлеризма. Лишь изредка, нередко анонимно, проникали произведения поэта в его угнетенную родину. Но с освобождением Германии от власти гитлеровцев все, что было создано поэтом в изгнании, пришло к немецкому читателю.

III

В мае 1945 года, сразу после Победы, Бехер вернулся на родину. Его глазам предстала безрадостная картина. Гитлеровцы в бессильной ярости постарались уничтожить все, что могли. Англо-американская авиация произвела ряд бессмысленно жестоких разрушений (вроде бомбежки Дрездена, жилых районов ряда городов, и т. д.). Потрясенные военными событиями люди находились — как в ту пору отмечала печать — в состоянии, близком к шоковому. Огромное большинство лучших бойцов рабочего класса, противников Гитлера, боевых антифашистов из интеллигенции было уничтожено самым зверским образом. И все же жизнь продолжалась, зеленела весенняя трава, нужно было возрождать людей к деятельности, созидать новую германскую республику на землях, отвоеванных и освобожденных Советской Армией, надо было врачевать души людей, надо было проводить реформы революционного характера, в корне уничтожающие власть помещиков и монополистов, нужно было добиться наказания гитлеровских злодеев, фашистских преступников.

Вальтер Ульбрихт в своем мемуарном очерке о Бехере рассказывает, как в 1944 году в Москве члены ЦК КПГ, понимая, что гитлеровская Германия стоит перед окончательным крахом, решили обсудить в числе возникающих перед ними послевоенных задач «основы и программу культурной политики, посвященной воскрешению немецкой гуманистической культуры... Так,— вспоминает В. Ульбрихт,— шли у нас многочасовые дискуссии и разговоры, которые помогли выработать принципы, легшие затем в основу нашей культурной политики первых лет после 1945 года. Создание и деятельность Культурбунда для демократического возрождения Германии ярко свидетельствуют о подготовительной работе, в которой Бехер играл определяющую роль».

Да, действительно, Бехер прибыл в Берлин, вернулся на родину с готовой программой действий, и первой его большой культурно-политической «акцией» было создание в июле 1945 года Культурбунда — Союза деятелей культуры, объединившего самые широкие слои культурных работников и по сие время являющегося активной массовой организацией в ГДР. Первым президентом Культурбунда был Иоганнес Р. Бехер. Он же возглавил и восстановленную в ГДР Академию искусств, был ее президентом с 1953 по 1956 год. С 1954 года и до своей кончины он являлся министром культуры ГДР. Всю эту огромную общественно-политическую работу, так же как и свои обязанности члена ЦК СЕПГ, всю свою огромную работу политического пропагандиста и публициста, автора многочисленных статей и брошюр, неутомимого оратора, докладчика и диспутанта, Иоганнес Бехер сочетал с постоянным литературным трудом.

Лирическая поэзия Бехера развивалась по восходящей, не ослабевая. И даже в предсмертную пору, терзаемый мучительной и неизлечимой

болезнью, поэт продолжал создавать замечательные, полные духовной силы и страсти стихотворения, составившие сборник «Шаг середины века». Были созданы новые сонеты и был написан теоретический трактат о сонете. Были написаны лирические стихи такой глубокой эмоциональности и такой прекрасной нежности чувств, как стихотворения из цикла «Любовь не знает покоя», в котором перед нами предстала интимная лирика человека-воителя, проникнутая органической гармонией начала личного и начала общественного.

И, наконец, талант Бехера раскрылся еще в одном, новом своем качестве. Поэт выступил как мастер песенной лирики, как создатель национального гимна своей Республики, как автор песен, написанных для молодежи, как автор песен, сложенных в традициях родного фольклора. Снова это было результатом глубоко осознанного эстетического выбора, снова решением высокой общественно-эстетической задачи. Как хорошо комментируется этот выбор, это решение поэта одной его записью: «Дать народу песню — что может быть более высокого для поэта? Безымянным войти в народ и остаться в его памяти песней — вот подлинная слава, вот это и есть бессмертие».

Песни, созданные Бехером, прочно вошли в народный репертуар. Этому в немалой мере посодействовало и то, что свои песни поэт создал в содружестве с замечательным композитором Гансом Эйслером и с великим шансонье немецкого рабочего класса Эрнстом Бушем. Эти песни живут в звукозаписи, они любимы народом. Они живут в концертном исполнении и в исполнении хоровом. Если послевоенная лирика Бехера еще во многом, естественно, выражала пафос «расчета» с недавним фашистским прошлым Германии, то его песенная лирика выразила чувства новых хозяев страны, чувства народа-созидателя,— она воспела миролюбивые дела народа, его труд и творчество, его интернациональные чувства и его любовь к отечеству.

На склоне лет Бехер обратился и к жанрам, воплощающим раздумья об искусстве — о его задачах и путях, о закономерностях его развития и о противоречиях и борьбе в области искусства и эстетической теории. Так появился «Дневник 1950 года», так появилась тетралогия — «Защита поэзии» (1952), «Поэтическое вероисповедание» (1954), «Могущество поэзии» (1955) и «Поэтический принцип» (1957). Разнообразен жанровый характер этих книг: в них и статьи, и речи, и эссе, и афористические записи, и листки из блокнота, и «куски» дневника... Но есть — как мы еще кратко покажем ниже — во всем течении их мыслей большая стройность и цельность, есть в них своя, продуманная и боевая, марксистская эстетическая концепция. И недаром эти книги прочно вошли в арсенал марксистско-ленинской эстетической теории, стали книгами, которые волнуют и художников, и ученых, и студентов, и учителей, и любых заинтересованных искусством читателей.

В книги, посвященные эстетическим раздумьям, оказались вкрапленными и небольшие новеллистические миниатюры — рассказы лирико-философского характера. Незадолго до своей кончины Бехер выбрал их из «Дневника» и тетралогии и собрал под одной обложкой в небольшой книге, которой дал названиэ «Трижды содрогнувшаяся земля». Поэт хотел, чтобы эти его миниатюры — небольшие рассказы о виденном, пережитом и наблюденном, о продуманном и прочувствованном, о пропущенном через «фильтры» ума и сердца — стали известны советскому читателю. Мы выполняем его волю и знакомим нашего читателя с этими маленькими шедеврами лирической прозы поэта. Настоятельно проходит через все эти новеллистические миниатюры один характерный лейтмотив: мысль о том, как важно быть на земле человеком идеи и идейного, целеустремленного, социально ответственного действия, как позорно и жалко, как постыдно и дико складываются судьбы тех, кто живет безотчетно, «существовательски», забывая о назначении человека, о его чести, долге и совести. Как разнообразны и по сюжетам, и по стилистическим решениям, и по жанровым особенностям, и по психологическому рисунку все эти микрорассказы. Есть в них и очерковый штрих, и мотивы фантастического гротеска, и типичный литературный анекдот, и психологическое «вскрытие» того или иного феномена, есть и символика, и почти библейская патетика, и ирония, есть в них и сострадание, и веселие... И все они — при всем своем разнообразии — целят в одну «точку», учат убежденности, ответственности, порядочности.

Большая и талантливая работа Бехера, его труд и вдохновение высоко ценились всеми, кто его знал и кто читал его прекрасные произведения. В ГДР он был лауреатом Национальной премии. В Советском Союзе он имел многочисленных друзей и почитателей, в 1953 году ему была присуждена Международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами».

До последних дней и часов своей жизни не выпускал Иоганнес Бехер пера из рук. Поэзия была его существом и труд — его естественным состоянием. Жизнь Иоганнеса Р. Бехера оборвалась 11 октября 1958 года после тяжелой болезни, с которой он геройски боролся несколько месяцев.

В некрологе Бехера, обнародованном правительством Германской Демократической Республики, между прочим, говорилось:

«Все его художественное творчество, его неразрывная связь с немецким революционным рабочим движением, его деятельность патриота и выдающегося политика в первом германском рабоче-крестьянском государстве, его любовь и верность Советскому Союзу и победоносным идеям марксизма-ленинизма являют нашему народу пример великого социалистического поэта, борца и государственного деятеля. Его литературное творчество представляет могучий вклад в немецкую социалистическую национальную культуру».

IV

Хочется высказать несколько мыслей о месте Иоганнеса Р. Бехера в истории немецкой литературы, о его значении для современной идейно-художественной борьбы.

Когда скончался Иоганнес Бехер, Вальтер Ульбрихт очень точно определил его как классика немецкой литературы, как продолжателя высоких традиций Гете и Гёльдерлина. Да, подобно Гете и Шиллеру, подобно Гёльдерлину и Гейне, подобно своим великим современникам и друзьям — Томасу Манну и Бертольту Брехту, Бехер был художником универсального типа. Его талант был многогранным и синтетичным. И во всех аспектах, во всех «ипостасях», в которых он видится изумленным его активностью и духовной силой современникам и потомкам, он был прежде всего революционером, коммунистом. Марксистская идейность питала его деятельность и творчество, она вырастила его талант, направила его в верное творческое русло, дала ему глубину и силу, богатство проявлений и красоту воплощения.

В поэзии — главной сфере проявления своего литературного таланта — он был поистине «хозяином» самых замечательных традиций немецкой поэтической культуры. Веселый талант Ганса Сакса, трагический, мужественный голос Андреаса Грифиуса, мудрая простота Лессинга, причудливые фантазии романтиков, прозрачная ясность Гете, идейный накал Шиллера, ирония Гейне, чистая лирика Ленау,— да что тут и говорить,— все, все национальное, все немецкоязычное поэтическое богатство явилось для Бехера основой, почвой, традицией. Не только родная литература, но и жизнь родного народа в ее лучших, светлых проявлениях, в ее простенькой и трогательной песенке, в ее веселой шутке и прибаутке,— все это волновало воображение поэта, как волновала его родная природа — воспетый им Урах, прославленный им Аренсхоп. Немецкая история с ее трагедиями, кровопролитиями и преступлениями, с героикой ее освободительной борьбы окрашивала своим колоритом многие его произведения. И в прошлом учился он ненавидеть предшественников врагов своих и чтить предшественников своих сотоварищей. И, наконец, родное немецкое слово,— он был одним из его лучших ревнителей. Он знал его в стольких оттенках, в такой глубине, он мог вознести его на такую «высокую башню», на высоты такого поэтического благородства, какое оказывалось недосягаемым и для больших талантов. Именно потому, что у Бехера поэтическая красота его стихов так часто коренится в глубинах слова, он так невероятно труден для перевода и так часто не воссоздаваем адекватно на других языках.

Будучи глубоко национальным художником, Иоганнес Р. Бехер питал живой и деятельный творческий интерес к литературе и культурам других народов. Великий Данте, Байрон и поэты «озерной школы», поэ-

зия в прозе Проспера Мериме, «эксцентрическая» лирика Артюра Рембо, строгий стих швейцарца Конрада Фердинанда Мейера...— все привлекало его интерес. С совершенно особым вниманием относился он к нашей советской литературе и к русской классике. Бехер был большим другом Советского Союза,— он посвятил нашей родине и нашим людям множество лирических сихотворений, военная Москва и окровавленный, но не сдающийся Сталинград запечатлелись в его поэзии, и ленинская тема заняла в ней свое большое место, и революционные моряки перешли в его стихи из фильма В. Вишневского и Е. Дзигана «Мы из Кронштадта». Бехер преклонялся перед Львом Толстым, Достоевским, Чеховым, Горьким, он любил Маяковского и Есенина, он дружил с А. Толстым, Фединым и Фадеевым, он высоко ценил «Педагогическую поэму» Макаренко, о которой сказал, что «это славная, глубоко человеческая победа советской литературы...». Он сам любил говорить, что многому научился у советской литературы. Нашу литературу он считал родоначальницей искусства социалистического реализма,— искусства, которому принадлежит будущее, еще более значительное, чем его прекрасное настоящее.

В развитии немецкой литературы XX века Бехер сыграл роль одного из основоположников социалистического реализма. Еще в двадцатых годах — вместе с Брехтом, вместе с многочисленными участниками «Союза пролетарско-революционных писателей» Германии — закладывал он основы нового метода в литературе Германии. В годы эмиграции, а затем после возвращения на родину — он был одной из центральных фигур социалистического реализма в немецкой литературе. Характерно, что, являясь новатором, создателем новой ветви в литературном развитии, Бехер никогда не стремился к сектантскому обособлению пролетарской литературы, которое было некогда типично для иных немецких писателей-коммунистов. По самой своей природе Бехер был собирателем прогрессивных сил в литературе и культуре, он стремился работать во имя прогресса со всеми, кто мог оказаться близким революционному движению и революционной культуре. И эта его характерная черта блестяще проявила себя и в годы «единого фронта», и в годы войны (на страницах руководимого им литературного журнала), и в послевоенные годы — в период строительства ГДР. Он умел ценить прогрессивных художников— критических реалистов — братьев Манн, Фейхтвангера, Келлермана и многих других, умел дружить с ними, поддерживать их и, в свою очередь, опираться на их помощь.

Художник социалистического реализма, Иоганнес Бехер был и выдающимся теоретиком социалистического реализма. Его эстетические размышления существенно обогатили марксистскую эстетическую теорию, принципы социалистического реализма. В своей борьбе за социалистический реализм, в своей «защите поэзии» Бехер учил непреклонно противостоять всем и всяческим видам декадентства. «Сущность декадентской куль-

туры, — замечал он,— заключается в том, что она отказывается от объективных критериев и ценностей, от объективного изображения и вместо этого возводит в меру всех вещей индивидуалистическое, эгоцентричное». Все виды декадентского искусства (формализм, натурализм и т. д.) Бехер связывал с потерей, с утратой гуманистического отношения к жизни, к обществу, к миру.

Высоко оценивая названных выше мастеров критического реализма, Бехер считал вместе с тем, что у социалистического реализма неизмеримо больше перспектив, чем у реализма критического, что будущее — за социалистическим реализмом, что это будущее уже дано в настоящем.

В своих статьях и заметках, раздумьях и «глоссах» о социалистическом реализме Бехер, подобно Горькому, никогда не предписывал никаких догматических правил. Социалистический реализм для него — творческий метод, а не «устав» или «свод узаконений». Это метод, который открывает художникам пути исканий и дерзаний, пути соревнования и творческого соперничества. У этого метода свои прочные и ясные мировоззренческие основы, свой компас, своя перспектива,— они в помощь художнику, они дают возможности разнообразных поисков и решений, а не стандартизируют их.

«Итак,— писал Бехер в одной из своих заметок,— социалистический реализм — это метод реалистического мировоззрения; в противоположность критическому реализму, он заключает в себе перспективу, восходящую к более высокой духовной организации человека. Трактовка этой перспективы различна, в зависимости от жанров и родов искусства (и, добавим в соответствии с рядом высказываний Бехера,— от художественных индивидуальностей.— *А. Д.*). Социалистический реализм несет в себе новые, смелые, сегодня еще необозримые во всей их полноте вариации на неисчерпаемую тему, имя которой — Человек».

Эти строки написаны художником в высшей степени цельным, творчески «монолитным», поэтом, у которого его писательская практика и эстетическая теория находились в нерасторжимом единстве. Бехер и был одним из тех замечательных новаторов в искусстве, которые мыслью, делом, творчеством утверждают на мировых просторах престиж и славу нового, социалистического искусства.

АЛЕКСАНДР ДЫМШИЦ

СТИХОТВОРЕНИЯ

МЫ — ГРАЖДАНЕ ТВОИ, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК!

Я знаю: век, в котором мы живем,
Всесилен. С чем могу его сравнить я?
Противоречий полные событья
Нам говорят: мы — перед новым днем.

Все беспощадней — лишь бы не отстать —
Я сам себя меняю то и дело.
Но знаю: новый день меня опять
Преобразит, чтоб я был с ним всецело.

Дивясь, гляжу на твой бурливый бег,
Мой грозный век!.. И если б дали право
Из всех веков себе избрать любой,

Я все равно остался бы с тобой,
Чтоб вновь поднять свой голос величаво:

— Мы — граждане твои, двадцатый век!

ДЕТСТВО, ТЫ СТАЛО ЛЕГЕНДОЙ

ДЕТСТВО

У меня были красные щеки,
Мальчишка, был я круглолиц.
Цвел сад. И смотрели с балкона
Разноцветные лампочки вниз.

Собирал я жуков и марки
Загадочных дальних земель.
Променял и альбом для марок
На лакрицу и карамель.

В такт изреченьям библейским
Пастор палкой стучать привык.
Оттопыривались наши карманы,
Полны тетрадок и книг.

Я слышал, трубач трубил в Вионвилле,
И звуки плыли в ночном просторе.
И внезапно они застыли,—
Только травы качались, как море.

Я грезил о плаванье кругосветном,
И море виделось мне.
Солнца колокол медный
Звонил в морской глубине.

О семерых козлятах и волке
Рассказывала мне мать.
А если болел я — долго
Она не ложилась спать:

Когда ни проснусь — неизменно
Вижу, как плачет она...
Казалось мне — стонут стены,
И вторят им створки окна...

И звуки летят всё выше,
Поют и дверь и паркет...
Покойница бабушка, слышу,
Играет менуэт.

В ШКОЛЕ

Десять заповедей мы повторяли в школе.
Бамбуковой розгой потом нас пороли.
«В угол!» — кричал учитель, муштруя класс.
Душу нам выколачивали из тела.
Был виден синяк на карте, что в классе висела.
Море! Это оно неумолчно шумело в нас.

Мы рисовали деревья и змей, на лианы похожих.
Играли мы в краснокожих.
На вертеле поджаривал нас каннибал.
И караваном шли мечты сквозь пустыни.
Страны плавали в солнечной сини.
Эдем тропический в воздухе полыхал.

«Ганс, как отметки?» — спросит отец, бывало.
Стою, краснею — хорошего мало —
И поскорей к моему окну отойду.
Я чувствовал, как дрожит планета в минуты эти.
Люди, обнявшись, шли по нашей планете.
Музыка играла в «Английском саду».

ВО МРАКЕ

ВО МРАКЕ

Я в комнатах жил неопрятных.
Их ветхие стены и кафли,
в морщинах почти человечьих,
какой-то кислятиной пахли.

Украшен был вестибюль
списком жильцов и жиличек:
стояли навытяжку в нем имена
глухих, слепых, параличниых.

Карабкались люди по лестницам ввысь,
ступенек считая тыщи.
В своих комнатушках лежали жильцы,
тихие, как на кладбище.

Я стоял у окна. Лунный лед
пробирал меня до костей.
Я не ведал, кто там во мгле живет;
кто стучит за стеной моей.

Под землей поезда громыхали,
слышал я шагов разговор,
а напротив, в прокуренном баре,
колотил полоумный тапер...

Тут нежданно пришла весна.
На асфальте плясали детки.
Из одной комнатушки выполз гроб,
стал лавировать в лестничной клетке.

Распахнулись все окна вмиг,
к дому ластился душный зной.
Я глядел на улицу из окна,
кто-то тихо скулил за стеной.

Я жил бок о бок с другими людьми
в домах, начиненных туго.
Там сухо и четко стучали часы,
там люди не знали друг друга.

ЛИЦА

Много лиц носил. Личины тоже
Нацеплялись на меня, спеша.
Улыбалась мышцами и кожей
Смеха не познавшая душа.

И когда душе хотелось плакать,
Досыта, безумно и навзрыд,
С помощью несложного подвоха
Обращал ее рыданья — в хохот...

Скрыв лицо меж горными лесами,
Думал: запоет весеннею порой!
Только город размозжил его жилыми корпусами,
А потом — сковал асфальтовой корой...

В лицо мое
Многих лиц просочилась усталость,
И оно на куски
Распадалось.

Часто видел лицо мое я у прохожих на лицах,
У витрин освещенных в стотысячеглазых столицах,—
«Это ты, это ты!» —
Но мои же меня узнавать не хотели черты.

Унесли они мой кровавый рот
И зеницу ока,
Прежде чем войти настал мой черед
В город сотен окон.

В школе били наотмашь меня по лицу педагоги.
Лица многих умерших прошли предо мной чередой:
Я глядел на них долго, и вот они все отразились
В моем облике — каждое — с каждой своею бедой!

ЛЕС

Я темный лес. Я сумрак бездорожья,
Я всех чащоб влажней и заповедней.
Я всуе поминаю имя божье
В своей острожной дьявольской обедне.

Корнями я в тысячелетья врос.
Войдя в меня, вы пропадете пропадом.
Трясины зацелуют вас взасос.
Входите же — и пропадайте пропадом!

Я темный лес, могильная чащоба,
Торчу, едва ветвями шевеля,
А подо мной, черней, чем кисти гроба,
Разбухла ноздреватая земля.

В моих трущобах сгинул древний бог,—
В моих трясинах, в шорохах змеиных.
Там грузный жук, вздымая черный рог,
Ползет к вершине по коре в морщинах.

Я — лес. В моем всеозарившем пекле
Взлетят на воздух клочья ваших стран.
Останутся от них лишь искры в пепле
Да прикипевший к скалам океан.

Я темный лес. И как орда большая,
Ползу я, корни на весу держа,
Пока меня своей пунцовой шалью
Закатный не окутает пожар.



Стихотворения

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛИ

1916

I

Поэт бежит сверкающих созвучий.
«Война войне!» Он и барабаны бьет,
Он рубит фразы, поднимая массы.

II

Игра прожекторов мой голос блеском тушит,
Темп слов невольно попадает в такт
Кипению и грохоту атак,
Отрывистому дребезжанью пушек.

Друг друга истребляют миллионы
В дороге длинной. Бурные пороги
Лиловой крови. Рваные знамена
И клочья тел, в грязи завязших по дороге.

О НАШИХ ДНЕЙ ПОЭТЫ!..

О наших дней поэты,
О поэты!
На что вы тратите свой дар?
Ведь ваши песни мыслью не согреты,
Вам неизвестен чувства жар.
Где, в каком пространстве вы родились,
В наших ли живете днях?
Или вы навеки заблудились
Во вчерашних временах?!

БАЛЛАДА О ГОЛОДЕ

Я позабыл, что значит ночь,
Я разучился спать.
Поверьте, что заснуть невмочь,
Когда охота жрать.

Большой кусок сырой земли
Я вырезал ножом.
И этот земляной обед
Сожрал я целиком.

И, землю жадно проглотив,
Запил ее дождем
И, грязь в желудке замесив,
Забылся тяжким сном.

И мне приснился странный сон.
Мне снилось: дождь идет
И напоенная земля
Опарою встает.

А я по улицам брожу,
Ищу, чего поесть,
В руке сверкает длинный нож.
И жжет мне сердце месть.

Я голодаю наяву,
Я голодал во сне,
И все, пока и так живу,
Годится в пищу мне.

Я землю, травы, камни ем,
Я вкусный ветер ем.
Такой питательный обед
Полезен, но не всем.

Я землю ем и скоро в ней
Найду себе покой.
Поставьте камень надо мной,
Но с надписью такой:

«Вот здесь покоится бедняк,
Угла он не имел,
Он жил и умер натощак,
Хоть очень много ел».

Прохожий, мимо проходя,
Взгляни на камень мой,
Но не молись и не вздыхай,
Не сетуй надо мной.

Исполни заповедь мою,
Она совсем проста:
Не верь попам и богачам,
Не соблюдай поста.

Не ешь камней, не ешь земли,
Навоза и травы
И не склоняй пред богачом
Злосчастной головы.

Но если нет тебе угла
И если хлеба нет,
Ты крикни так, чтоб задрожал
От крика белый свет.

Ты крикни им: «Я есть хочу!
Мы есть хотим и жить!
Нам надоело голодать,
Скитаться и тужить!

Мы в рот глядеть не будем вам,
Мы грянем, словно гром,
И этот мир, где землю жрут,
По камню разнесем!»

ЭМИГРАНТЫ

I

Они корову продали,
Свой дом, свой клок земли
И в Перу — в край далекий —
Билет приобрели.

Они достали карту
И гладили рукой
Пятно, что было дальней
Хваленою страной.

Пришла пора прощания...
В то утро на вокзал
Явилась вся деревня.
Учитель слово взял:

«Пишите, как приедете!
Не забывайте нас!
А вдруг и мы к вам явимся?
Прощайте! В добрый час!»

Играли музыканты,
Взлетали вверх платки.
«Счастливый путь вам, странники!
Прощайте, земляки!»

II

Они на пароходе
Поплыли в дальний край.
Здесь времени хватало —
Хоть целый день мечтай.

Ведь справочник карманный
Так истово взывал:
Землей обетованной
Он Перу называл.

Там городов привольных
Мелькали имена:
Есть, стало быть, свобода
И в наши времена!..

Они читали книгу
О райской той стране
И ели до отвала,
Обедая во сне.

Уже сверкали кольца
И золото в песке...
А Перу — край волшебный
Маячил вдалеке.

III

В лесу непроходимом
Текли за днями дни.
В страну большую — Перу —
Приехали они.

Сквозь чащи пробирались,
Сквозь тучи мошкары,
Проваливались в топи,
Сдыхали от жары:

И двигались все дальше...
Пилой и топором
Валить деревья стали
И выстроили дом.

И плуг они купили,
И лошадь запрягли.
Но туго поддавалась
Пришельцам грудь земли.

И, навевая ужас,
Под куполом небес
В стране блаженной — Перу —
Гудел дремучий лес.

IV

К ним весть пришла однажды,
Что хлеба нет нигде,
Что всюду стонут люди
В немыслимой нужде.

Тогда свою пшеницу
Они собрали с нив
И двинулись в дорогу,
Телеги нагрузив.

Через неделю в город
Они пришли. Но там
Им говорят: «Пшеница
Не требуется нам.

Мы ею топим печи,
Мы ею кормим рыб,
Пшеницей все дороги
Мы вымостить могли б».

И тут один другому
Сказал: «Поверишь, мне
Жить страшно в этом Перу,
В прославленной стране».

V

Меж тем односельчане
Привет им пишут свой:
«Ах, если бы не море
С бездонной глубиной,

Мы к вам уже сегодня
Пешком бы вышли в путь,
Чтобы на вас хотя бы
Одним глазком взглянуть.

Болтают, что и в Перу
Все с голодухи мрут.
Скажите, это правда?
Быть может, люди врут?

Ах, братья, только радуйтесь
Тому, что вас тут нет.
Мы долго так не выдержим.
Живите много лет!..»

И с грустью подписалось
Под этим все село.
И в край далекий — Перу —
Письмо в тот день ушло.

VI

Но в тот же день из Перу
Ушло письмо домой:
«Ах, если бы не море
С бездонной глубиной,

Хотя б пешком пошли мы
В родную сторону.
В краю далеком — Перу —
Живем мы, как в плену.

Нам говорят, что нынче
Пшеница не нужна,
И люди мрут, чтоб только
Не падала цена.

Ах, братья, братья, радуйтесь
Тому, что вас тут нет.
Мы долго так не выдержим.
Живите много лет!..»

Они письмо отправили.
А под шатром небес
В стране блаженной — Перу —
Гудел дремучий лес.

ОРУЖИЕ

Перед Верховным судом штата М. в США стоит рабочий Джек — один из руководителей забастовки горняков, во время которой произошли вооруженные столкновения с полицией.

I

Судьи сели. В наручниках Джек
Введен под конвоем в зал.
Взглянул на него председатель суда,
Откашлялся и сказал:

«Вот у вас дети есть и жена,
И слесарь вы неплохой,
А сами два года торчите в тюрьме.
Признайтесь — и марш домой!

Куда вы оружие спрятали?.. Ну!
К чему упрямство такое?
Мы требуем только правды от вас,
Ведь правда — дело святое...»

Он говорил с ним, как добрый друг,
Без всяких судейских правил:
«Снимите наручники с парня! Живей!»
И руки Джек расправил.

II

Жена подсудимого в зале суда
С погасшим лицом сидела...
«Правда — святое дело...
И впрямь: правда — святое дело...»

III

И подумал Джек: «Третий год идет...
О боже! Что за мученье!
И снова тюрьма — так за годом год...»
Вдруг он слышит далекое пенье...

...Воскресный день... Шумит вода...
По реке скользят пароходы...
Мать боялась всегда,
Что мальчик свалится в воду...

Это было когда-то... Сто лет назад...
Джек слезы сдержал еле-еле...
...Был летний праздник. Он помнит сад.
Они на скамье сидели...

«А в тюрьме не сладко. Пойми, жена.
Очень тяжко, друзья! Поверьте.
И ведь жизнь, черт возьми, не затем дана,
Чтоб сидеть на цепи до смерти...»

И тогда, как бы мыслям своим в ответ,
Джек к барьеру подходит несмело.
И два года тюремных идут за ним вслед.
«Ладно! Правда — святое дело!..»

IV

Он стоит. Голова, как чугун, тяжела...
«Хорошо. Не совру ни слова...
С чего началось? Забастовка была...»
И он выстрелы слышит снова.

«Полицейские тучами хлынули к нам.
Сто рабочих как ветром сдуло...»
А теперь?! С карабином стоит он сам,
В грудь друзей направляя дуло.

«Нет, нет, господа!» — восклицает Джек.
...Команда «огонь!» прозвучала.
У стены — расстрелянные. Сто человек...
Он все вспоминает сначала.

«Нет, нет! Не радуйтесь, господа!
Я это вижу вновь:
На шахте «Мария» тогда
Лилась рабочая кровь!

Так было. Люди хотели жрать,
Голодуха осточертела.
И сказал я ребятам: «Довольно ждать!
Наша правда — святое дело!»

Так было. Ну, а оружье у нас
В надежном месте хранится.
Могу вас заверить: настанет час —
Оно еще нам пригодится.

И выстрелы мир разбудят,
Буржуям расплату неся.
Так было. Так снова будет.
Вот вам и правда вся!»

V

«Десять лет! Нацепить наручники!»
Судья зачитал приговор...
Джек слышит прощальный привет жены...
Его ведут через двор.

VI

Джек ходит по камере.
Шесть шагов.
                Взад — вперед...
...Шагает с песней весь народ:

«Настанет пора! Она близка!
Мы встанем!
Плечо к плечу! На винтовке рука!
Мы встанем!

Оружие к бою!
Правда — дело святое!»

ОН МИР ОТ СПЯЧКИ ПРОБУДИЛ — ЛЕНИН

Он мир от спячки пробудил
Словами ярче молний.
По рельсам и рекам неслись они,
В океанах вздымали волны.

Он мир от спячки пробудил
Словами, что хлебом стали,
Что против горя и нужды
Армиями зашагали.

Он мир от спячки пробудил
Словами, что стали машиной,
Что домами растут, нефтевышкой растут,
Ходят трактором, рвутся миной.

Что стали металлом и стали углем,
И стучат, стучат в цехах,
И неугасимым горят огнем
Во всех человечьих сердцах.

II. В ПОИСКАХ ГЕРМАНИИ

(1933—1945)

ПОРА ИЗГНАНЬЯ

Я — НЕМЕЦ

I

Я — немец. Пусть дозволено глупцам
Меня лишать гражданства в озлобленье.
Я прав своих гражданских не отдам.
И если завтра спросят поколенья:

«Скажите, кто в немыслимые годы
Германию так мучил и давил?»—
Тогда решите вы, сыны народа,
Кто не был немцем и кто немцем был.

Корнями врос я в грунт моей державы
Наперекор кипенью непогод.
Там среди гор, как символ вечной славы,
Высокий дуб над кручею растет.

Надежно защищен корою твердой,
Ветвями раздирая мрак ночной,
Стоит он, несгибаемый и гордый,
Самих небес касаясь головой...

Я — немец. Пусть дозволено глупцам
Меня лишать гражданства в озлобленье.
Не встану перед ними на колени
И прав своих гражданских не отдам!

И знаю — будет лучший день на свете:
Народ проснется, к жизни возрожден.
Растет наш дуб и, устремясь в столетья,
Шумит листвою на ветру времен!

II

Я — немец... Да! В немецкой стороне
Родился я — и не скорблю об этом.
Я — немец. И самой судьбою мне
Начертан путь — немецким стать поэтом.

С народом я всю боль его делил,
Тысячелетний гнет, что так огромен.
И не казался, а на деле был
Родной народ трудолюбив и скромен.

И я гордился участью своей!
Растил в народе добрые начала,
Вникая сердцем в суть его речей.
И речь народа, словно песнь, звучала.

Но злобно бушевали вкруг меня
Захватчики, дельцы и шарлатаны.
Они кричали: «Силою огня
Мы, немцы, покорить должны все страны!»

Нет, их за немцев я признать не мог!
И я расстался с их гнездом осиным.
Тому, кто грабит вдоль чужих дорог,
Не буду я вовек согражданином!

Я — немец. Но я знаю: немцем быть —
Не значит в муки повергать полсвета.
От этих немцев мир освободить —
Вот в чем я вижу высший долг поэта.

Мне ваша боль и ненависть ясна,
Вы все, кто стонет под немецким гнетом!
И ненависть и скорбь у нас одна.
Наш общий гнев — к отмщению зовет он!

Запомним преступления врагов,
Единый враг у нас сегодня с вами.
Пусть с вашим зовом мой сольется зов.
Мы вместе плачем общими слезами.

Настанет день, когда и мой народ
Поднимется, чтоб сбросить власть тиранов.
Затем живу, что верю: день придет,
Он засияет — поздно или рано.

И в этот день, который в каждом сне
Нам грезится сквозь мрак и непогоду,
Дано святое право будет мне:
«Я — НЕМЕЦ!» — гордо возвестить народу!

НА ЯЗЫКЕ ТВОЕМ

Как часто в дни младенчества былого
Твой тихий звук баюкал мой покой!
Сквозь сколько стен твое пробилось слово,
Как полушепот, тайный и родной.

На языке твоем слагал я песни,
На нем мечтал я, думал и любил.
И звук твой мощный делал мир чудесней.
Он мне смеялся, сердце веселил.

С ним я умру, Германия родная,
Ты лучше всех язык постигнешь мой,
Из слов моих все лучшие вбирая...
Коль солнце светит, луч горит тобой!

На языке твоем напишут внуки:
«Он был с народом в песне и в разлуке».

СЛОВО К ПОТОМКАМ

Заветную мечту узнать легко нам,
В любой душе одно желанье есть:
Ничем не омраченным перенесть
Свой облик вдаль, к потомкам отдаленным.

О, только б наших внуков не достиг,
Пересекая смерти рубежи,
Фальшивый образ, искаженный лик —
Не истина, а воплощенье лжи!

Пускай напишут о моей судьбе:
«Сражался он за родину — и правый
Вел бой с самим собой в самом себе!

Он бремя нес, Германию любя,
И более того — он влек себя.
Он был Преодоленьем, Переправой».

БАЛЛАДА О ТЯЖЕЛОМ ЧАСЕ

О тяжкий час! Как тяжело, когда
Бесцелен труд твой, горький и бесплодный,
Холодным ветром леденит беда,
И покидают птицы край холодный.
    О волны моря! В этот тяжкий час
    Чем был бы я, что делал бы без вас?

Без вас зачем бы продолжал я путь?
Зачем бы шел по жизненной пустыне?
Что дал ты миру? И хоть кто-нибудь
Вздохнет ли грустно о твоей кончине?
    Подумает ли кто-нибудь о том,
    Что людям ты помог своим трудом?

Проходит день, и ни одной слезой
Тебя он не почтит, тысячеокий,
Хоть, может, ты минувшею порой
Не раз стремился постигать истоки
    Наук, рожденных в этот грозный век.
    Таких наук не ведал человек.

Проходит день, проходит без тебя.
Ночь подойдет. О, как сказать открыто,
Что жизнь тебя забудет, не скорбя?
Но жизнь твоя уже давно забыта.
    Забвением, как сумраком, покрыт,
    Ты, не родившись, был уже забыт.

О тяжкий час! Как тяжко среди тьмы!
Такому часу нет конца и краю.
Как узники под окнами тюрьмы,
Без устали по кругу я шагаю.
Не лучше ли теперь солгать себе
И покориться горестной судьбе?

Тяжелый час, чтоб доконать меня,
Он даже игры детские придумал.
Играют дети... Голову склоня,
Я вспомнил детство и молчу угрюмо.
С тех пор как я ребенком был, не раз
Ты в жизнь мою вторгался, тяжкий час!

«Мой тяжкий час, быть может, там в пивной
Удастся нам напиться и забыться!» —
Так говорю я. Тяжкий час со мной
За столик молча сел, и вот уж лица
Гостей незваных на меня глядят...
«Я был...», «Я звался...», «Посмотри назад...»

«Я был...», «Я звался...», «Помнишь времена...»,
«Я твой двойник! Узнал меня? Не мешкай!»
Я поднимаю свой бокал вина
И сам с собою чокаюсь с усмешкой.
Бокалы наши падают, звеня.
Я сам с собой, я вижу здесь меня.

О тяжесть часа, ты еще легка!
Стань тяжелее, стань совсем безмерна!
Да будет безграничною тоска!
Я слишком слаб и потому, наверно,
Не вижу смысла всех систем людских
И сам стараюсь опровергнуть их.

Тишайший час! Ты — зеркало, в тебе
Я отражаюсь без прикрас и лести.
То вижу я, что ослабел в борьбе,
То вижу я, что вновь стою на месте.
О тяжкий час, кем ты мне дан в удел?
В душе своей я столько разглядел!..

Скажи мне, час мой, где мои пути?
Где спрятаться тяжелою порою?
От самого себя мне не уйти,
А нового я мира не открою,
    Такого, где другой закон царит,
    Не тот, который мною здесь открыт.

Но в тяжкий час острее стал мой взор,
И вот, прозрев во мраке этой ночи,
Теперь объемлют мировой простор
И меру правды различают очи,
    Они теперь в холодном свете дня
    По мерке правды меряют меня.

Об этой самой мере я забыл,
Казалось мне, что сам я — мера в мире,
И сам себя нелепо я ценил —
То у́же мира, то гораздо шире.
    Мне тяжкий час теперь вручил весы
    На тяжкие и легкие часы.

Так, если ветку обломать, она
Вновь прорастет, налившись силой новой,
Вдвойне ей будет мощь возвращена.
Я стану тверже в этот час суровый,
    Хотя бы слезы брызнули из глаз.
    Хвала тебе за это, тяжкий час!

ПЛАЧ ПО ОТЧИЗНЕ

I

Что принесла тебе, Германия, их власть?
Свободна ль ты, сильна? В величии и славе
Цветешь ли ты, тревог не ведая,— и вправе
Ждать дней безоблачных и наслаждаться всласть?

Как светлый разум твой могла затмить напасть?
Попрали честь твою они, страною правя,
И в бездну, в сотни раз позорней и кровавей
Всех войн проигранных, заставили упасть.

Твоя душа во тьме, ты совесть потеряла.
Лжи и коварства яд во всех твоих словах.
Но что обманом ты доныне прикрывала,
Вновь обнажает нам кровавый плети взмах.

Струится кровь рекой по городам и пашням.
О, сколько новых бед прибавилось к вчерашним!

II

Ты, музыки родной цветенье — фуга Баха,
Ты, Грюневальда холст — лазури волшебство,
И Гёльдерлина гимн — родник души его,
Вы — слово, звук и цвет — повержены на плаху.

А не глумится ли палач и над природой,—
И Шварцвальд, может быть, его игрушкой стал?
Шумят ли дети там, где в детстве я играл?
А Рейн и Неккар, вы ль еще струите воды?

Уже четвертый год по родине рыдаем.
Но где взять вдосталь слез? Под силу ли слезам
Живым потоком смыть всех мучеников кровь?

Тогда умолкни, плач! На помощь призываем
Священный гнев. Пусть он свершит свой суд! А там,
Цвет, слово, музыка пусть торжествуют вновь!

ВСЕ ТОТ ЖЕ ВОПРОС

Тот же вопрос постоянный
Мучит меня и во сне.
Тянутся в вышине
Дни чередой непрестанной.

Дней и годов вереница
Передо мной плывет.
И мимолетный год
Целую вечность длится.

Пусть я изгнан оттуда,
Стремлюсь я только туда.
Где б я ни жил, всегда
Сердцем в Германии буду.

Родина, тайну открой:
Скоро ль дождемся мы знака,
Чтобы подняться из мрака
На решающий бой?!

Скоро ли — о, ответь —
Всех вас увижу я снова?
Близко ль до дня такого?!
Долго ль еще терпеть?!

Кто назовет мне дату,
Точно час назовет?!
Как ни гляжу вперед —
Сумраком даль объята.

Хватит ли, хватит ли сил
Этого дня дождаться?
Сможем ли мы подняться?—
Так я себя спросил.

Скрытый во мгле туманной,
День тот не виден мне...
Мучит меня и во сне
Жгучий вопрос постоянный.

Но беспощадный вопрос,
Вечно меня тревожа,
Делает сердце строже.
В ненависть он перерос.

И я отброшу все страхи,
Робость и слабость свою,
Чтобы в последнем бою
Мстить за погибших на плахе!

СНЕГ ПАДАЕТ

Снег падает, как легкий белый пух.
Деревья все он выбелил вокруг.

Снег падает. Весь город им покрыт.
Как мягкий свет, он землю серебрит.

Снег падает. Все вьюга замела.
Снег никому не причиняет зла.

Он в сердце мне проник, холодный снег.
Зачем я сам не снежный человек?

Я от тебя иду, а снег готов
Запорошить следы моих шагов.

Растет стена сугробов снеговых,
И голод мой как будто бы утих.

Снег падает...

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

I

В шесть вечера явился прокурор,
Он текст бумаги огласил:
«Наутро в шесть...» Окончив приговор,
Он выскользнуть за двери поспешил.

II

Стол в камере. На нем рука. Одна.
И вот еще. Их две. Легли на стол.
Он руку вытянул одну. Стена.
По волосам другою он провел.

Но вот рука бессильно опустилась.
Вот оживилась, ухо теребя.
Да чья же ты? Все так переменилось,
Что он своей не чувствует тебя.

Скользнув к лицу, рука бровей коснется,
Дотронется до воспаленных глаз.
«Скажите мне, что увидать придется,
Глаза мои, вам утром в этот час?»

III

Стол в камере. Он в пятнах клея.
Он, верно, мертв. Немало лет ему.
Но доски оживают, зеленея,
Дубравы шум врывается в тюрьму.

Прогулка школьная. Своих ребят
Привел учитель в лес. Хотят купаться.
Им кельнерша приносит лимонад,
И школьники в траве густой резвятся.

IV

Накрытый скатертью дубовый стол.
За ним — жена. Звучат ее слова:
«О, если бы работу ты нашел,
Как засияла б неба синева!»

V

Вот на столе портрет. Под ним призыв:
«Соединяйтесь, пролетарии всех стран!»
Он видит, на стену портрет прибив,
Что в дом ворвался света океан.

VI

Стол в камере. И больше ничего.
Весь в трещинах. И старый, и щербатый.
И чудится, что некогда в него
Вгрызался кто-то, ужасом объятый.

VII

Они сидят, беседуя вдвоем.
Они давно и хорошо знакомы.
Гость просит: «Расскажи-ка о своем.
А я с войны. Пришел с далекой Соммы».

Они вдвоем, беседуя, сидят,
Но гостя мгла могильная одела,
Лишь дыры глаз на узника глядят.
Ни рук, ни ног. Гость не имеет тела.

«Да, крысы,— говорит,— ты угадал.
На мякоть щек набросились сначала...
Я целый день на солнце пролежал,
Лишь к вечеру земля меня всосала.

Я мертвым был, но руку поднял я,
И знамя в поднятой руке осталось.
И мысль последняя была моя
О том, чтоб наше знамя развевалось.

Надеялся...» И оба замолчали.
Их обступила тьма со всех сторон.
Они без слов друг друга понимали.
Но пробили часы. Протяжный звон.

Гость предложил: «Поужинаем тут!
Припасы я с собой принес оттуда.
Вот горечью наполненный сосуд.
Вот ненависть, заполнившая блюдо.

Твой новый облик я принес. И с ним
Ты никогда не должен расставаться.
Твой подвиг мужества придаст другим,
Но прежде надо самому мужаться».

Они едят. Провозглашают тост.
Звенят стаканы. В камере светлее.
«Во здравие! — здесь раздается.— Prost!»
Вдруг — музыка... Слышнее и слышнее.

Дробь барабана... Трубы наплывают...
Смеется гость: «Все опасенья прочь!
Смотри, как ветер флаги развевает...»
И длится ночь. И длится эта ночь.

VIII

Рассвет. И все исчезло со стола.
Но смертник сыт. По горло сыт.
Его мечта куда-то унесла.
Он как во сне. С ним Завтра говорит.

Луч солнца по решетке заскользил,
И капля дождевая заблистала.
Нет, смерть над ним уже невластной стала.
А день —
Он наступил.

ПЕСНЯ РОДИНЫ

Песенка-жужжанье,
Тихий разговор,
Как листвы дрожанье,
Как далекий хор.

Душу раздирая,
Сердце леденя,
Песнь родного края
Мучает меня.

С песнею печальной
Захотелось мне
Поклониться дальной,
Милой стороне.

Звуки песни льются,
Проникая в грудь...
«Сможешь ли вернуться
Ты когда-нибудь?»

Словно раскололась
Темнота кругом,
Пел и плакал голос
Только об одном.

И в ответ звенело
Сердце, как струна...
Эту песню спела
Мне моя страна.

ДОРОГА НА КЕМПТЕН

Дорога вверх. Один сплошной порыв
Ввысь, в синеву. Деревья, луговины,
Земля парит, как птица, в воздух взмыв.
А если доберешься до вершины,

Какое диво: сколько тут расселин,
Однако прочен кряжистый кристалл,
Весь в царство света, весь в лазурь нацелен,
Чтоб водопад из толщи грохотал.

Как дорасти до этого прозренья,
Чтобы к моим высотам рвался взор?
Устойчивость и гордое паренье

Я сочетал бы, рос бы выше гор.
И звезды бы меня сопровождали.
И видел бы я дали, дали, дали!

КУФШТЕЙН

О, как чудесно: арки, а кругом —
Громады гор, блистающих на зное!
Быть подле гор, венчанных вечным льдом,
С чьей высоты ты видишь все земное.

И тут же — пестрой репой и морковью,
Гуляя, любоваться меж аркад,
И вдруг задеть щекою виноград,
Чья сладость общей почтена любовью.

Все видеть сразу: и базар кипучий,
И карусель, и праздничный народ
На улицах, и снеговые кручи,
И этот синий-синий небосвод.

И много я б назвал еще иного.
Так приобщаюсь к родине я снова.

В. Б.

Ты — часть той лучшей, той прекрасной силы,
Что к новой жизни устремляет нас.
Тебя враги швырнули в мрак унылый,
Как вдруг твоя рука приподнялась,

И, отбивая такт, как дирижер,
Услышал ты орган и перезвоны,
И над тобою в ясном небе хор
Вознесся: «Обнимитесь, миллионы!»

И как борец впервые познает
Всю мощь свою, когда настал черед
Сражаться и ему во имя жизни,

Так стал и ты в ту силу вырастать,
Что нам назначит день, когда опять
Вернуться сможем мы к своей Отчизне.

ТО, ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ

Что я блуждал в потемках, что порой,
Дорожные приметы забывая,
Путем окольным шел, не по прямой,
Препятствия с трудом одолевая,
Что находил не сразу верный путь —
Простится это мне когда-нибудь.

Что на любовь порой не отвечал
Вниманьем должным, что удар кому-то
Нанес, что слез твоих не замечал
И что тебя в тяжелую минуту

Я оставлял с бедой наедине —
И это, может быть, простится мне.

Что сам себе несчастье я принес —
За это ль должен я просить прощенье?
Не настрадался ль я? Не лил ли слез?..
Пусть люди в благородном возмущенье,
Качая головой, меня костят...
И это, знаю, тоже мне простят.

Но если бы однажды — пусть шутя —
Я б время клял и ощущал, как бремя,
И, хоть на миг, я— времени дитя —
Вздохнул: чего ищу в такое время?
Я знаю, в беспощадной тишине
Вовеки б это не простилось мне.

И если бы, однажды скрывшись в тень,
Я стал бы жить в самодовольстве сытом
И пользоваться всем бы всякий день —
Всем, силами народными добытым,
А сам бежал от всякого труда,—
Мне б это не простилось никогда.

И если б я лишь раз, и то во сне,
Спросил: дождется ли земля расцвета?
А сам, бесстрастно стоя в стороне,
Стал равнодушно бы взирать на это,
Ни ликовать не мог бы, ни грустить,—
Такого б жизнь мне не смогла простить!..

БЛИЗОСТЬ

Я ближе к вам из моего далека,
Чем сами вы друг к другу, чем сосед
К соседу. Здесь, где вас со мною нет
И где тоска грызет меня жестоко,

Я вижу то, чего не видел прежде,
Когда смотрел на вас вблизи в упор;
Теперь умеет различить мой взор
И скорбь, и радость, и порыв к надежде.

Когда вблизи мы смотрим на картину,
Нередко искажается она,—
Мы видим лишь мазки, лишь руку, спину,
И взгляду недоступна глубина.

Мой легкокрылый взгляд из дальней дали
Объемлет все — и радость и печали.

НЕСРАВНЕННОЕ

Сравню ли с чем-нибудь тебя, мой стих?
С потоком ли, кипящим неустанно?
Но, устремленный только к океану,
Он, цель увидев, присмирел, затих.

Иль, может быть, сравнить тебя с грозою,
Которая стремится к одному:
Смести с лица земного все гнилое
И блеском молний уничтожить тьму...

Сравню ли с чем-нибудь тебя, мой стих?
Быть может, ты горишь, как в сердце пламя,
И, полыхая, растопляешь вмиг
Все косное, нависшее над нами.

Иль, может быть, сравню тебя, мой стих,
С грядущих дней возвышенным приветом,
Со светом звезд, который нас достиг,
Неугасимым и бессмертным светом?

Буди народ, открой ему глаза,
Ему, который ныне дремлет, пленный,—
Тогда ничто — ни пламя, ни гроза
С тобою не сравнится во вселенной.

Ты будешь несравненен, так высоко
Поднявшись, выше всех стихий земных,
Могущественней бурь, грозней потока...
Тогда ты будешь несравним, мой стих.

ПЕСНЯ О РЕКАХ

Майн и Неккар, Зале и Дунай,
Синий Изар — мой баварский край...
Вместе с вами жизнь моя течет,
Я плыву по лону ваших вод.

Реки, что сбегают с горных кряжей,
Кажутся серебряною пряжей.
Вспять не возвращается вода,
Волны не вернутся никогда!

Изар! Змием кажешься стеклянным
И течешь по изарским полянам!
В синь твою позволь взглянуть опять,
Горечавки венчик оборвать!

Над Дунаем тишь лесов еловых,
Благовест церквей остроголовых,
Колоколен сумрачный покой
Над неутомимою рекой.

Неккар! Швабских яблонь колыханье...
Здесь немецкой родины дерзанье:
Бедный Конрад... С ним душой один
Незабвенный Фридрих Гёльдерлин.

Берега быстротекущей Зале
Мне о вечной жизни рассказали,
О стране, что мне всего родней,
О беспечном счастье юных дней.

Бамберг. Вюрцбург. Ветер, силы дай нам
По Франконии поплыть за Майном
Мимо виноградарей и лоз...
Колокольный звон, родной до слез.

Здесь когда-то мы на солнце грелись,
Всей душой впивая влаги прелесть,
Бороздило синеву весло,
Что же нашу радость унесло?

Приходили к мертвым рекам люди,
Думая о невозможном чуде,
Думая найти покой и сон
В грохоте бессоннейших времен.

Ночью был речной простор зеркален
В зареве пожаров меж развалин;
Бремя скорби по лицу земли
Реки полноводные влекли.

Реки полноводные молчали,
Только ивы льнули к ним в печали.
Шелестела тонкая лоза:
Слышишь, расточается гроза!

Долго плыл я по речному лону
К дальнему ночному небосклону,
Убегает синяя вода,
Жизнь не повторится никогда.

Реки, реки! Пять родимых рек,
В некий день и я усну навек,—
Пусть мое бессмертье поплывет
В океан по лону ваших вод!

ГДЕ БЫЛА ГЕРМАНИЯ...

Как много их, кто имя «немец» носит
И по-немецки говорит... Но спросят
Когда-нибудь: «Скажите, где была
Германия в ту черную годину?
Пред кем она свою согнула спину,
Свою судьбу в чьи руки отдала?»

Быть может, там, во мгле она лежала,
Где банда немцев немцев угнетала,
Где немцы, немцам затыкая рот,
Владыками себя провозглашали,
Германию в бесславный бой погнали,
Губя свою страну и свой народ?

Назвать ли тех «Германией» мы вправе,
Кто жег дома и землю окровавил,
Кто, опьянев от бешенства и зла,
Нес гибель на штыке невинным детям
И грабил города? И мы ответим:
— О нет, не там Германия была!

Но в камерах тюремных, в казематах,
Где трупы изувеченных, распятых
Безмолвно проклинают палачей
И где к отмщенью призывает жалость,
Там новая Германия рождалась,
Там билось сердце родины моей!

Оно стучало там, за той стеною,
Где узник сквозь молчанье ледяное
Шагал на плаху, твердый, как скала.
В немом страданье матерей немецких,
В тоске по миру и в улыбках детских,—
Да, там моя Германия была.

Ее мы часто видели воочью,
Она являлась днем, являлась ночью
И молча пробиралась по стране.
Она в глубинах сердца созревала,
Жалела нас, и с нами горевала,
И нас будила в нашем долгом сне.

Пускай еще в плену, пускай в оковах,
Она рождалась в наших смутных зовах,
И знали мы, что день такой придет:
По воле пробужденного народа
Восторжествуют правда и свобода —
И родину получит мой народ!

Об этом наши предки к нам взывали,
Грядущее звало из светлой дали:
«Вы призваны сорвать покровы тьмы!»
И, неподвластны ненавистной силе,
Германию мы в душах сохранили
И ею были, ею стали МЫ!

В РАЗЛУКЕ С РОДИНОЙ

Пора изгнанья! Горечь испытанья!
Когда мы все дождаться не могли
Возврата после долгого скитанья...
Возможно ль жить от родины вдали!
Как тянутся секунды лихолетья,
В безвременье вливаются века;
Десятилетья длительней столетья...
Пора изгнанья! Как же ты горька!

Долины мук! Хребты последней боли!
И путь домой сквозь календарный лес.
Прощанье, расставанье поневоле,
Разлука: время потеряло вес!
А может быть, мы с нашей болью всею
Вломились в бездорожья толчею?
Двадцатого столетья Одиссея,
Тебя я в наших бедах узнаю!

Откуда-то, без облика и формы,
Сквозь непроглядность сумеречных дней —
Той пограничной станции платформы
И колокольни родины за ней.
Пусть небеса глядят мертво и жутко
И солнца свет измаялся вконец,—
Передо мной отчизны незабудка
Одета в семирадужный венец!

На Боденское озеро летели
Мои мечты — припасть к местам святым;
К родным словам, столь сладостным доселе,
Я приникал, как некий пилигрим.
Там я вкусил отраду, и покой,
И нежность, и благословенье слова,
Где словно материнскою рукой
Начертано: «Не забывай былого!»

Когда же обступали нас потери,
Откуда-то из памяти глубин
Вдруг поднимался Данте Алигьери,
Изгнанник и отчизны верный сын.

И он нас вел над пропастями века,
Одолевая за бедой беду,
Над всем немым проклятьем человека,—
Нам Данте был Вергилием в аду!

Звучала правда в стоне, в кличе, в плаче;
Мой голос пел, пронзал ночную синь:
«На том стою, и не могу иначе
Во имя счастья родины! Аминь!»
Пора изгнанья, как ты ни сурова,
Тебя добром я должен помянуть:
Ведь взлетом поэтического слова
Отмечен был десятилетний путь!

Разлука с родиной! И не затем ли
Пришлось нам испытание пройти,
Большое бремя на плечи приемля
В течение вот этих десяти
Суровых лет, чтоб новая держава
Воспряла в нас предвестницей добра?
Да будет мир, да утвердится право!
Пора изгнанья! Строгая пора!

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Не вправе я стареть, не смею
Остановиться навсегда,
Иначе встретить не успею
Уже грядущие года.

В рассветной мгле, в ночных туманах
Из страшной битвы бытия
В противоречьях постоянных
Рождаюсь вечно новым я.

Всепревращающая сила,
Тебя я славлю, многолик.
Чтоб время вновь меня творило,
Я обновляюсь каждый миг.

И достояния и крова
Вчера лишил меня бандит...
Но жизнь, во мне рождаясь снова,
Меня за все вознаградит.

Я — тот, кто мертвых воскрешает,
В себя вбирая образ их:
Пусть каждый миру возглашает
Свою мечту из уст моих.

Повсюду нахожу я знаки
Того, что новое растет.
Рука, простертая во мраке,
Лучей восхода досягнет.

Я знаю — скажут поколенья
О людях наших грозных лет:
«Они воззвали в дни творенья:
«Да сгинет тьма! Да будет свет!»

Они лишь то, что лучшим было,
Учились в песне сохранять.
Их слово крепость возводило,
Которой прошлому не взять...»

У будущего на пороге
Я дни грядущие зову.
Не стану медлить я в дороге,
Я их увижу наяву.

Но горе тем, кто не заметит
Того, чем были наши дни.
Никто на зов им не ответит,
Бесследно пропадут они.

О них никто не вспомнит боле.
Не такова судьба моя:
Из прошлого, из тьмы, из боли
Рождаться новым буду я.



Стихотворения

Пускай сочатся кровью раны —
Грядет иной и светлый век.
Во мне из муки непрестанной
Родится новый человек.

ВЫСОКИЕ СТРОЕНИЯ

Я строю стихи. Я строгаю в них строки.
Я в ритм обращаю металл и гранит,
Чтоб фразы воздвиглись, легки и высоки,
В Грядущее, в Вечность, в лазурный Зенит.

Вам, зодчие, вам, архитекторы, слава!
Строители — вам! Основатели — вам!
Вовеки да зиждется ваша держава
И каждый ваш гением созданный храм!

Я строю стихи. Эти строфы — опоры.
Над ними, как купол, я мысль подниму.
Те строфы — как хмель, обвивающий хоры,
А эти ворвутся, как свет в полутьму.

Услышьте, ответьте через века мне,
Вы, шедшие в вечность по сферам небес,
Стратеги симфоний, разыгранных в камне,
Вершители явленных в камне чудес!

Я строю стихи, сочетаю, слагаю,
Я мыслю и числю, всходя в облака.
Я строю стихи, я стихи воздвигаю,
Чтоб гимном всемирным наполнить века.

ГОДЫ ЗРЕЮТ СПЕЛЫМИ ПЛОДАМИ

Не с пустыми я приду руками
В день, когда увижу вас опять...
Годы зреют спелыми плодами,
Кое-что и я сумел создать.

Ужасам, нависшим над страною,
Заглушить мой голос не́ дано...
Сказано немало правды мною,
Сердце гневом и стыдом полно.

Я с тебя, Германия родная,
Не свожу в изгнанье скорбных глаз,
Как звезду, твой светоч охраняя,
Чтобы он, померкнув, не погас.

И ночами в лепете мечтаний
Издали к тебе взываю я,
Глубочайшее из всех страданий —
Мой народ, печаль и боль моя.

Перед тем, кому ты дорог, двери
Распахнешь ли вновь когда-нибудь?
Или, лжеспасителю поверя,
Дашь ему на смерть тебя толкнуть?

Так пускай грозу над земляками
Мне любовь поможет разогнать...
Не с пустыми я приду руками
В день, когда увижу вас опять.

НОЧЬ

Прохладный сумрак. Ночь в тиши украдкой
Цветком раскрылась черным и суровым,
Маня к себе извечною загадкой,
Укрытая таинственным покровом.

День на день не бывает так похож,
Как ночь одна похожа на другую.
Так в новом дне ты новое найдешь,
Тогда как ночь уводит в ночь былую,

В давно минувший век, в другое время,
Где те же звезды с тою же луною.
Нет, ночи не богаты новизною,
Оставшись неизменными, все теми...

Стихи и мысли — все, чем полны дни,—
Ты, ночь ночей, проверь и оцени!..

СОНЕТ

Когда поэзии грозит разгром,
И образы над пропастью повисли,
И тщетно бьешься над порожняком
Летящих строк, пренебрегая мыслью,

Когда в переизбытке впечатлений
Теряет остроту усталый взгляд
И в судорогах смерти и рождений
Меняет мир привычный свой уклад,

Когда не знает форма чувства меры
И выпирает, затрещав по швам,
Когда поэзия сошла на нет,

Тогда со строгою своей манерой,
Как символ стойкости являясь нам,
Выходит из забвения сонет.

МЕЛОДИЯ

В бешеном стремленье
Времени-судьбы,
В светопреставленье,
В отзвуках борьбы
И в пути с котомкой
Душу мне ожгло
Песенки негромкой
Легкое крыло.

Так протяжный ветер
Веет, невесом,
Так нисходит вечер
В беспробудный сон.

Вижу небо в звездах,
Звезды все крупней.
Тише! Полон воздух
Песенкой моей.

Рвутся ветви-звуки
В темный небосвод,
И, ломая руки,
Тишина поет.
И на небосклоне
Песенка тиха,
И скрипят гармони
Томные меха.

Легче сердца бремя,
Только подтяни!
Нынешнее время,
Канувшие дни,—
Или в равновесье
Радостей и мук
Вечен только песни
Сиротливый звук?

ВРЕМЯ

Неизмеримо время, пред тобою
Лежащее. Ты забывал порою
О временах,— не то чтоб сон сморил их
В архивах ли, в глубоких ли могилах,—
Они в движенье, в действии, в работе,
Они тебя переживут в полете.
Чтоб вырваться из их очарованья,
Попробуй разглядеть их очертанья.

Вот время вкруг тебя, и ты рожден им.
Ты в нем бывал покинутым, смущенным.
Его без счета попусту ты тратишь.
Его не остановишь и не схватишь.
Ты станешь жить, считая дни и ночи
И упуская время все жесточе.
Упущенного не исчислить суммы...
В наличии — предвиденья и думы.

Но мы в себя вбирали время тоже.
В мечты свои сперва вглядимся строже,
Чтоб будущее ощущать нам рядом,
Чтоб путь в него мы проложили взглядом.

Оно сегодня глазу недоступно,
Но мы его готовим неотступно.
Год пятитысячный придет из дальней дали —
Мы в нем с тобой участье принимали.

ВОЗВЕДЕНИЕ СОБОРА

Здесь лег его фундамент, и народ
Стекаться стал к растущему собору.
Он камни клал, он вывел стены, свод,—
Себе в них дал основу и опору.

Из темных толщ возник его собор,
Стремительный, он встал над грунтом косным,
Он в твердь громады мощные простер,
Чтоб облаком растаять светоносным.

И зодчий камню отдал гений свой,
Его детьми немые глыбы стали.
Учил он камень мудрости живой,
Учил его веселью и печали.

И зодчий рек: «Бескрылый, окрылись!
Бесформенный, прекрасным встань пред нами!»
И камень встал, колонной прянул ввысь,
Оделся пышно листьями, цветами.

И зодчий камню начертал закон,
И мысли жар в нем воплотил он зримо,
И в камне образ так напечатлен,
Что с камнем он слился неразделимо.

И зодчий в камне завершил собор,
И взял он свет, и камень в свет облек он,
И, как стеклянный расписной ковер,
Зажглось кругом сиянье пестрых окон.

И в тьму собора хлынул свет живой,
Он камню дал движенье и дыханье,
И взял он верх над тяжестью и тьмой,
И ввысь вознес невиданное зданье.

Здесь нет пределов, чтоб народ в собор
Втекал рекой, широкой и свободной,
Но есть границы, чтоб в могучий хор
Объединялся весь поток народный.

И встал народ к иному бытию,
Он воплотил себя в своем соборе,
Мечту он в камне воплотил свою,
Свои недуги, радости и горе.

Вот ростовщик над грудой золотой,
А там купец — не верь косому взгляду!
Вот, налетев разбойничьей ордой,
Крестьян загнали рыцари в засаду.

Вот лютый спор: восстал на брата брат —
То подрались в корчме два селянина,
А злой паук добыче новой рад,
И оплела обоих паутина.

Вот поцелуй Иуды, вот в селе
Толпа ландскнехтов правит пир кровавый,
Вот сеет беды смерть, и по земле
Идет война и мор тысячеглавый.

Там поп святит водою свой приход,
А рядом с ним — палач в веселье злобном
Ведет на плаху скованный народ,
И сами троны стали местом лобным.

Крестьянин распят перед алтарем.
Поникшие в печали безысходной,
Стоят его апостолы кругом,
И книгу высшей мудрости народной

Один из них протягивает нам,—
Сияет кротко взор проникновенный,
И книги той уж не отнять князьям,
Для всех людей начертан текст священный.

Какой полет! Кто в средний неф войдет,
Тот все века вместит в едином взоре.
Так самого себя воздвиг народ
И сам себе предстал в своем соборе.

ПЬЯНЫЙ СОНЕТ

Как опьянен я жизни новизной!
Я не могу быть прежним в новом мире.
Хочу звучать сильней, свободней, шире,
Быть ваших дней фанфарой боевой!

Мой стих возник во тьме былых времен,
Он из границ, его теснящих, рвется,
И форму так в борьбе раздвинул он,
Что, верно, форма старая взорвется.

Четырнадцать коротких, сжатых строк!
Продли мне срок! Предел мой слишком строг!
Хочу быть пьяной песней, чтоб, ликуя,

Свободно лился мой широкий стих.
Иль оттого столетьями живу я,
Что краток бег чеканных строф моих?

СВОБОДА

Свободным я родился и живу.
Родители меня не баловали.
Свободный от подарков к рождеству,
Поел хоть раз я досыта едва ли.

Вольно другим садиться на траву,
Пить молоко с черникой на привале.
А я вот захочу и зареву!
Свободен я. И плакать мне давали.

Что это? «Вход свободный»? Неужели?
Три шкуры тут потом с тебя сдерут.
Свободный от стола и от постели,

Я, безработный, к ним попал в приют.
Свободен я! Свободен, словно птица!
Как от свободы мне освободиться?

ШКОЛЫ ЖИЗНИ

Свой долгий путь окинул я глазами.
Вон отчий дом. В окошке свет горит.
Мне кажется: я поднят ввысь стихами.
Весь горизонт передо мной открыт.

Я вижу школу. За ее дверями
Идет урок. Учитель говорит,
И снова я сижу с учениками,
И голос мой с их голосами слит.

Судьба меня сурово наставляла,
Сменил я в жизни много разных школ.
Ошибок я преодолел немало,
Хотя еще до цели не дошел.

Но впереди опять года скитаний —
Немало школ, немало испытаний.

СЧАСТЬЕ

Что значит счастье? Тот ли миг, когда
Замедлит время вдруг свое движенье?
Иль то забвенных мыслей возвращенье —
Скачок назад, в прошедшие года?

Не это ль счастье — видеть, как вода
И твердь небес слились в круговращенье?
Не это ль счастье — быть с тобой всегда?
Иль было счастьем наших рук сплетенье

В попытке тщетной жизнь не упустить?
Но на вопрос никто не даст ответа:
Умершие не могут говорить.

Мне кажется, я счастлив в жизни этой,
Затем что в исполинской битве века
Я поднял меч за счастье человека.

О СОНЕТЕ

Ты думал, что классический сонет
Стар, обветшал, и отдых им заслужен,
Блеск новых форм и новый стих нам нужен,
А в старой форме больше проку нет.

Ты новых форм искал себе, поэт,
Таких, чтоб с ними новый век был дружен.
В сонете, в самой чистой из жемчужин,
Не видел ты неугасимый свет.

Презрев сонет, поэт отверг его,
Твердил, что не нуждается в сонете,
Что косны и негибки строфы эти,
Что старых форм оружие мертво.

Для новых форм послужит век основой:
Они родятся в недрах жизни новой.

РИМ

Великий город! Я мечтал, влюбленный,
О том, что наяву предстанут мне
Твои аркады, статуи, колонны,
Увиденные в юношеском сне.

О город на семи холмах! Вовеки
Неистребима красота твоя!
Во мне живут, как скорбь о человеке,
Ряды могил на Виа Аппиа.

И, опуская взор во мрак обрыва
Времен, где гул истории затих,
Мы собственный великий век узрим.

Внезапно распахнется перспектива.
Сияют города, и среди них
Рим на семи холмах, но юный Рим.

ТАЕТ

Чуть моросит, но тучи пронеслись.
Мы только шелест редких капель слышим.
Сверкает дождь в глазах, глядящих ввысь.
Как бойко пляшут зайчики по крышам!

Ну что за дождь не вовремя! Смешно
По этим лужам хлюпать пешеходу.
И дождь и солнце. Раствори окно!
Привет дождю и голубому своду!

Еще ручей не тешит плеском нас,
В оковах льда он словно на запоре.
Но вырвется — и сотни тысяч раз
Улыбку солнца отразит он вскоре.

Узор цветов морозных со стекла
Исчезнет вмиг, растоплен буйным светом.
И мы поймем: расстаяв от тепла,
Он за окном цветет весенним цветом.

Повиснет дождь гирляндами кругом,
И лед в потоках света растворится.
Кристаллом ярким станет каждый дом,
Смеясь, весь город вдруг засеребрится.

О, звон дождя, ручьев звенящий бег!
То голос вод: «Весна! Готовьтесь к чуду!»
И льются слезы радости повсюду.
Их смысл один: «Смотрите, тает снег!»

НАЧАЛО ВЕСНЫ

Снег пляшет танец покрывала.
Еще мороза седина
С оконных стекол не сбежала,
А я ищу: да где ж весна?

Ужель в окно не постучится?
Но не она ли — за плетнем?
И как бы, право, изловчиться,
Поймать плутовку ясным днем?

Ты в полдень стань у косогора
И жди: согреется земля!
Тогда ступай к опушке бора,
Тогда ступай бродить в поля.

Вот песня в воздухе нагретом...
Воспой же солнце, человек!
На яблонях весенним цветом
Воскреснет поздний талый снег.

ОДНА СТРОКА

Одна строка... Но сколько в ней тревог
И поисков, то правильных, то ложных,
О, сколько проб я сделал всевозможных,
Пока сложить ее так стройно смог!

Одна строка... Одна из старых строк...
Но сколько чувств в ней трепетных и сложных.
Чтоб дать ей силу формул непреложных,
Ее вынашивал я долгий срок.

Она — итог безмолвных размышлений,
Но в ней, где все нерасторжимо крепко,
Нет и следа от тягостных сомнений.
Как упоительна такая лепка!

В одной строке — всего в единой строчке —
Весь общий смысл — с заглавия до точки.

НАДПИСЬ НА МОГИЛЬНОМ КАМНЕ

Нет ничего страшнее ваших слез!
Я и в гробу причастен вашей доле.
Разлуку я бы молча перенес,
А вместе с вами плачу поневоле.

Я вижу небо, солнце, лес и поле,
Я слышу голоса весенних гроз.
Я с вами в зной, и ненастье и в мороз.
Как тут не плакать мне от вашей боли!

Дожить бы вам до радостного дня,
Преодолеть бы наши неудачи!
Пусть общая сроднила нас беда,
Мне быть бы с вами в пляске, а не в плаче.

Когда смеетесь, вспомните меня.
О если б вам не плакать никогда!

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Простите мне, товарищи, друзья,
Чей образ не увековечен мною.
Воздать вам славу был обязан я,
Чтоб поколенья славили вас втрое,
Чтоб наших дней достойная основа
Запечатлелась в чистых красках слова.

И к вам, плоды, взываю о прощенье:
Я вас вкушал, но вас не восхвалил.
И ты, вино, прости мне небреженье:
Я пил тебя, но песней не дарил.
Я многое любил — не счесть имен, —
Простите все, кто песней обойден!

И пусть каштан меня простит. Ему
Я не сложил привета и не встретил
Стихом его цветенья. Почему
Дыхание мое не южный ветер?
Тебя, каштан, согрел бы я и спас,
Чтоб нас дождался ты и цвел для нас.

Кузнечики трещат: «Ты нас приметил?..»
Стрекозы мечутся над камышом.
В снопы зарывшись, радостен и светел,
Я спал в полях благословенным сном.
Плыл дальний звон... Я жизнью наслаждался,
Но песней ни на что не отозвался.

Великого свершения частица,
Чем я участвовал в величье лет?
Все, что простится, все, что не простится,
Что дало плод, что дало пустоцвет,
    Что благом было, что несло беду,—
    Да будет все предъявлено суду.

Ты, от кого я убегал,—не скрою,
Мне бегство удавалось много раз,—
Ты, наше время, не воспето мною.
Не это ли, когда рассудят нас,
    Мне не простят? И суд времен решит:
    «Ты промолчал — так будь же позабыт!»

ПОЭТУ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Когда народ сгибался под ярмом,
Чудовищною властью угнетенный,
И зоркий взгляд терялся, омраченный,
В нее проникнуть тщась, и день за днем

Кровавые творились злодеянья,
И мысль живую сковывала тьма,
И не было страшней существованья,
Чем эта повседневная тюрьма.

Когда безумье правило страной
И был народ поставлен на колени,
Молили люди тщетно о спасенье,
И все грозило близкою войной —

Тогда-то был услышан этот голос
Далекого изгнанника: «Я сын
Народа моего...» То был зачин
Великой песни, что со злом боролась,

В тисках державшим родину его.
Народа тайный голос эти строки
Чеканил, их скрепляя рифмой строгой.
Скорбь наполняла песнь, но торжество

Грядущей правды световым аккордом
Просвечивало в ней, чтобы потом
Пронзить ее сверкающим лучом.
И, вдохновляемый искусством гордым,

Народ откликнулся на этот зов,
Израненную честь оберегая,
И рухнула завеса лжи гнилая
Пред мужеством пророческих стихов.

Их яркий свет не застилали тучи
Сбиравшейся грозы, они сквозь мрак
Маячили, как путеводный знак,
И расчищали силой слов могучей

Дорогу в неизведанные годы.
И царство будущего в тех стихах
Раскрылось. В нем величие народа
Во весь свой рост вставало. В городах,

Когда-то обесчещенных, горит
Теперь огней веселая лавина.
А сам поэт, вернувшийся с чужбины,
Навеки со своим народом слит.

СИНЕЕТ ВЕЧЕР...

Синеет вечер за моим окном,
Как синий отблеск родины моей.
О, этим синим далям перед сном
Я так люблю вверяться с давних дней!

Я вижу горы — словно наяву,
Где в серых скалах, не боясь высот,
Мне горечавка синяя цветет...
Уйти бы, скрыться в эту синеву!

В любом краю — чуть мрак сгустится синий,
Я вижу вновь цветок родного края,
Ему я сердцем верен на чужбине.

Вот спит он в мягком сумраке ночном.
Прохладен мир. Роса дрожит, сверкая...
Синеет вечер за моим окном.

РАССТАВАНИЕ, ИЛИ БОДРАЯ ПЕСНЯ

Как сосчитать часы непрожитые!
Полжизни в тех несчитанных часах.
Как много слов, что не сумел найти я!
Как много дел, свершенных лишь в мечтах!

Как много книг хороших я не знаю!
Как мало создал сам хороших книг!..
«Не сон ли это?» — думал иногда я,
И жажду одного лишь в этот миг:

Чтобы, проснувшись, как всегда, с зарею,
Я сам себе сказал: «Ну что ж, прощай!»
И чтоб потом, расставшись сам с собою,
Неузнанный, я шел из края в край,

И чтоб везде, где буду я идти,
Ронял я песни на своем пути.

ПОТЕРЯННЫЕ СТИХИ

Я написал во сне стихотворенье,
Все доброе вложить в него стремился —
Любовь к тебе и нежность,— но в мгновенье
Исчезло всё, едва я пробудился.

Я в памяти копил за словом слово,
Сплавлял их в песню, чтобы ты внимала,
Увы! Я не нашел той песни снова —
И песен тех я растерял немало.

Порой, когда со строчкой вел сраженье,
Вот-вот уже к победе пробивался,
Вдруг стих усталый мой в изнеможенье
Лежащим на дороге оставался...

Хотел я к жизни пробудить высокой
То, что во мне томилось и звенело.
Уже слова выстраивались в строки
И сочетались рифмами умело —

Я осязал строфу всей силой чувства,
Ловил ее — но в руки не давалась,
И, ускользая звуком безыскусным,
Неуловимой так и оставалась.

О сколько зла грозило мне расплатой!
А доброго — погибло до рожденья...
В каких потерях время виновато?
В каких — мои виновны заблужденья?

Не лучшее ль терял я в беспорядке?
Что от благих намерений осталось?
Обломки только, скудные остатки,
А лучшее — оно не написалось.

Но надо ль убиваться об утратах?
Жалеть о том, чего пришлось лишиться?..
Во всех поэтах, говорящих правду,
Пропавшее однажды возродится.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Я в этот смертный, в мой прощальный час
Хочу найти такое слово, чтобы
Оно хоть в малой степени могло бы
Вам послужить, согреть, утешить вас.

Последний час... Но пусть не будет в нем
Воспоминаний, сетований, жалоб.
Хочу, чтоб песнь последняя пылала б
Великой благодарности огнем.

Я эту благодарность воздаю
Народу, с кем я кровной связью связан,
Которому всем лучшим я обязан.
Из мертвых уст он примет песнь мою.

Отчизна-мать, любовь моя и свет,
Живу в тебе,—и, значит, смерти нет!

ПОРА ИСТРЕБЛЕНИЯ

СЛОВО ПОДНЯЛОСЬ

Настало время: слово поднялось,
И грозная ночная эскадрилья
Его взяла на громовые крылья,
Тяжелый сумрак разрезая вкось.

Где в темной бездне город спал давно,
Упав из-под стального оперенья,
Мильонами листовок в завихренья
Свинцовых туч рассыпалось оно

И разразилось в душной тишине!
И те, кто в бездне жил, на самом дне,
Читали правду о своей вине.

В ночной дали упавшее с высот,
Оно идет, как буря, сквозь народ...
В такое время слово восстает!

ПЕСНЯ О ВЫСОКОМ НЕБЕ

Купол неба. Надо мной
Тучи в небе тают.
Кажется, что шар земной
Здесь, под куполом, меня
Медленно качает.

Купол неба! Как нежна
Светлая голубизна.
Я стою под нею.
Змей на нити невесом,
Нежная голубизна
Окружает змея.

Купол неба. Мы под ним
В эту ночь мечтали.
Мы смотрели в небеса,

Где надежду наших дней
Письменами из огней
Звезды начертали.

Купол неба. Столб огня
Полыхнул во мгле.
Небо ль рухнуло, меня
Придавив к земле?
Купол неба синь и чист!

Отшумела буря.
Взоры к небу обратив,
Золотятся всходы нив.
Купол неба! Над землей
Блеск твоей лазури.

Купол неба! Возвратясь
К нам и отчизну снова,
Мы споем такие песни,
Что сойдет на землю радость
С неба голубого.

ПОЭТ, КОТОРЫЙ УЖАС ТЕХ ДЕЯНИЙ...

Поэт, который ужас тех деяний
Пересказать потомству обречен,
Сначала погружается в молчанье:
Они сильней его, он потрясен,
И, кажется, он разума лишится,
Он уничтожен, и не хватит сил,
И слово на страницу не ложится...
Когда ж он все продумал, предрешил,
Приходят строчки первые... И вот
Он к лучшим, благородным обратился:
«Останьтесь же людьми любой ценой!
Те, кто своим страданьем приобщился
К прекрасной человечности,— за мной!
Я вас зову,— зову вперед!»

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

У виселицы все как на подбор.
Любой заснят во всей своей красе:
И я, мол, тоже на расправу скор.
Я — вешатель, такой же, как и все.

Скрестили руки, неподвижен взор.
Дощечка на груди у мертвеца.
Какой на фотографии простор!
Есть место здесь для каждого лица.

А на дощечке письмена видны:
«Улыбка — доказательство вины.
Посмеиваясь, тут они стоят.

Смотрите: тут убийцы все подряд.
Своей объединенные виной,
Стоят они, задержанные мной».

БАЛЛАДА О ТРОИХ

Эсэсовец взревел: «Зарыть жида!»
Ему ответил русский: «Никогда!»

В могилу он поставлен был тогда.
Еврей сказал упрямо: «Никогда!»

Палач воскликнул: «Вместе их туда!»
Из строя немец крикнул: «Никогда!»

«Ты к тем двоим заторопился, да?!
Всех трех зарыть, чтоб не было следа!»

И немец немцем был зарыт тогда...

РУКА УБИТОГО

Воздета к небу из последних сил,
Она из снега тянет свой кулак,
И сколько б снег поля ни заносил,
А все торчит ее застывший знак.

Она воздета в злобе и тоске,
Как будто проклиная и грозя,
И словно держит что-то в кулаке:
Тугие пальцы разомкнуть нельзя.

Когда ж весна придет издалека,
Чтоб вновь снега ручьями изошли,
Сама собой раскроется рука,
Уронит семя в борозду земли.

Двойное семя: плодоносный гнев
И новой жизни солнечный посев.

ВЫСОКОЕ НЕБО НАД ПОЛЕМ БОЯ

По эпизоду из романа
Л. Толстого «Война и мир»

Он под высоким, бесконечным небом
В крови своей лежал на поле боя.
Ему казалось — он прозрел впервые,
Глаза открылись на величье мира...
«Бежали мы, дрались, кричали! Нет,
Совсем не так, не так ползут по небу
В недвижной выси облака... О, как же
Я прежде не видал его? Я вырос
С закрытыми глазами, в темноте.
Да! Было все пустое, все обман...»

А там, в высоком, бесконечном небе,
Синела бесконечность. До сознанья
Докучливым жужжаньем доносились
Какая-то стрельба и посвист пуль,
Команда «к бою!» прозвучала робко...
А он лежал под бесконечным небом,
И небо стало выше. И просвет,
Какой просвет ему открылся вдруг!
Там, в глубине, в небесной глубине,
Опять была земля, и он, который
В своей крови лежал на поле боя,
Увидел в этом бесконечном небе,
Как тянутся стада, как лист слетает,

Как стаи птиц летят, как из лесов
Выходят звери, как в морской пучине
Мелькает рыба... И сильнее слов,
И громче слов звучала тишина.
Безмолвный взгляд — сияние; рука,
Сжимавшая без слов другую руку,
Касаясь небывалого, тянулась
В безвременную даль,— рука несла

Земную твердь. Так мир сиял над ним,
Когда в крови лежал на поле боя
Он под высоким, бесконечным небом.

ПОЛЕ БИТВЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

Здесь словно нечистоты всей земли:
Мозги, и кровь, и клочья тел смешались.
Лишь на одном, валявшемся вдали,
Очки случайно целыми остались.

Пластинка с вальсом... Словно мертвецам
Взбредет на ум шататься по гулянкам.
Тот бомбою разорван, этот — танком.
Раздавлены, они лежали там.

В чужих степях сыскался им приют.
Застывшие их лица наделила
Каким-то сходством смерти злая тень.

Был пасмурный, холодный, зимний день.
А снег все падал, падал. Тихо было.
История здесь свой свершала суд.

КРАЙ РОДНОЙ, ГЕРМАНИЯ МОЯ...

Край родной, Германия моя!
Под твоей небесной синевою
Я стоял на выступе скалы,
В сердце я глядел твое живое
Вплоть до влажной непроглядной мглы;

Всей душой впитать тебя, большую,
Тщился я, восторга не тая,—
Облик твой с тех пор в груди ношу я,
Край родной, Германия моя!

Колыбель! Германия моя!
Дней моих волшебное начало!
Разгоняя нежить темных снов,
Матерински надо мной звучала
Музыка твоих колоколов!
Ты вела меня сквозь лихолетья
По путям земного бытия;
Снилась мне подчас цветущей ветвью,
Милая Германия моя!

Отчий край, Германия моя!
Гении твои меня вспоили
Разумом, талантом и трудом;
И, не подчинившись темной силе,
Мне пришлось покинуть отчий дом.
Преломляем горький хлеб изгнанья
Мы, твои родные сыновья,
Но не меркнут наши упованья,
Отчий край, Германия моя!

Братьев край, Германия моя!
Кто же пролил кровь отважных братьев?
Кто поверг Германию во мглу?
Мужества и веры не утратив,
Гневные, противостаньте злу!
Вам пора покончить с гнусной властью,
Все мы братья, мы — одна семья,
Приведем тебя к добру и счастью,
Братьев край, Германия моя!

Детства край! Германия моя!
Слезы матерей — как заклинанья,
Вновь могил неисчислимый полк,
Всюду вопли, стоны и рыданья,
Лепет детства светлого умолк!
Безутешным сиротам и вдовам
Кто вернет отраду бытия?
В дымных космах, в пламени багровом
Детства край, Германия моя!

ДЕТСКИЕ БАШМАЧКИ ИЗ ЛЮБЛИНА

Средь всех улик в судебном зале
О них ты память сохрани!
Так было: молча судьи встали,
Когда вступили в зал они.

Шел за свидетелем свидетель,
И суд, казалось, услыхал,
Как вдалеке запели дети
Чуть слышно траурный хорал.

Шагали туфельки по залу,
Тянулись лентой в коридор.
И в строгом зале все молчало,
И только пел далекий хор.

Так кто ж им указал дорогу?
Кто это шествие привел?..
Одни еще ходить не могут
И спотыкаются о пол,

Другие выползли из строя,
Чтобы немного отдохнуть
И дальше длинной чередою
Сквозь плач детей продолжить путь.

Своей походкою поспешной
Шли мимо судей башмачки,
Так умилительно потешны,
Так удивительно легки.

Из кожи, бархата и шелка,
В нарядных блестках золотых —
Подарок дедушки на елку,
Сюрприз для маленьких франтих.

Они сверкают сталью пряжек,
В помпонах ярких... А иным
Был путь далекий слишком тяжек,
И злобно дождь хлестал по ним.

...Мать и ребенок... Вечер зимний.
Витрины светится стекло.
«Ах, мама! Туфельки купи мне!
В них так удобно, так тепло!»

Сказала мать с улыбкой горькой:
«Нет денег. Где мы их найдем?»
И вот несчастные опорки
По залу тащатся с трудом.

Чулочек тянут за собою
И дальше движутся во тьму...
...О, что за шествие такое?
И этот смутный хор к чему?..

Они идут. Не убывает
Неисчислимый, страшный строй.
Я вижу — кукла проплывает,
Как в лодке, в туфельке пустой.

А вот совсем другая пара.
Когда-то эти башмачки
Гоняли мяч по тротуару
И мчались наперегонки.

Ползет пинетка одиноко —
Не может спутницу найти.
Ведь снег лежал такой глубокий,—
Она замерзла по пути.

Вот пара стоптанных сандалий
Вступает тихо в зал суда.
Они промокли и устали,
Но все равно пришли сюда.

Ботинки, туфельки, сапожки
Детей бездомных и больных.
Где эти маленькие ножки?
Босыми кто оставил их?..

Судья прочтет нам акт печальный,
Число погибших назовет.
...А хор далекий, погребальный
Чуть слышно в сумраке поет.

...Бежали немцы на рассвете,
Оставив с обувью мешки.
Мы видим их. Но где же дети?
...И рассказали башмачки.

...Везли нас темные вагоны,
Свистел во мраке паровоз,
Во мгле мелькали перегоны,
И поезд нас во тьму привез.

Из разных стран сюда свезли нас,
Из многих мест в короткий срок.
И кое-кто пути не вынес,
И падал, и ходить не мог.

Мать причитала: «Три недели...
Судите сами... Путь тяжел.
Они горячего не ели!»
С овчаркой дядя подошел:

«О, сколько прибыло народца!
Сейчас мы всем поесть дадим.
Здесь горевать вам не придется!..»
Вздымался в небо черный дым.

«Для вас-то мы и топим печки.
Поди, продрогла детвора?
Не бойтесь, милые овечки,
У нас тут в Люблине жара!»

Нас привели к немецкой тете.
Мы встали молча перед ней.
«Сейчас вы, крошки, отдохнете.
Снимите туфельки скорей!

Ай-ай, зачем же плакать, дети?
Смотрите, скоро над леском
Чудесно солнышко засветит
И можно бегать босиком.

Ох, будет здесь жара большая...
А ну, в считалочки играть!
Сейчас я вас пересчитаю:
Один. Два. Три. Четыре. Пять...

Не надо, крошки, портить глазки,
Утрите слезки, соловьи.
Я тетя из немецкой сказки,
Я фея, куколки мои.

Фу, как не стыдно прятать лица!
Вы на колени пали зря.
Встать! Нужно петь, а не молиться!
Горит над Люблином заря!»

Нам песенку она пропела
И снова сосчитала нас,
А в доме, где заря горела,
Нас сосчитали и третий раз.

Вели нас, голых, люди в черном —
И захлебнулся детский крик...
...И в тот же день на пункте сборном
Свалили обувь в грузовик.

Да. Дело шло здесь как по маслу!
Бараки. Вышки. Лагеря.
И круглосуточно не гасла
В печах германская заря...

Когда, восстав из гроба, жертвы
Убийц к ответу призовут,
Те башмачки в отрядах первых
Грозой в Германию войдут.

Как шествие бессчетных гномов,
Они пройдут во тьме ночей
Из края в край, от дома к дому
И все ж отыщут палачей!

Проникнут в залы и в подвалы,
Взберутся вверх, на чердаки...
Убийц железом жуть сковала:
Стоят пред ними башмачки!

И в этот час зарей зажжется
Свет правды над страной моей...
...Хорал печальный раздается,
Далекий, смутный плач детей.

Лицо убийц открылось людям,
Виновных в зверствах суд назвал.
И никогда мы не забудем,
Как башмачки вступили в зал!

БОМБОУБЕЖИЩЕ

Они как будто ехали в вагоне,
Присев на сундуки и саквояжи,
И тусклый мрак казался все бездонней
Среди горой наваленной поклажи.

Который час?.. А кто-то бьет в ладони,
Стучится в стены, яростный и вражий...
И люди никли в каменном затоне
И погружались в душные миражи.

Закутаны в пальто и одеяла,
Держа свои наваленные вещи,
Как сторожа, уснувшие устало,
Они, кивая, горбились зловеще...

И плыл вагон к неведомой стране
С толпою, задохнувшейся во сне.

БЕРЛИН

Берлин! О чем кричат развалин груды?..
Сверхчеловек был выскочкой дрянной.
Выстукивали «зигхайль!» ундервуды,
И проходимцы правили страной.

Все страны с городами и полями
Подсчитаны. Учтен товар живой.
«Немецким чудом» были кровь и пламя,
А «третий рейх» — конторой биржевой.

Они горланят в баре на попойках,
В экстазе фюрер разевает рот:
«Хватай! Громи!» Уже пивная стойка
Линкором грузным в Англию плывет.

И вторят «хайль!» на площадях столицы —
Большое время нынче на дворе.
О славе «рейха» рыжие певицы
Поют с аккордеоном в кабаре.

Конторских книг просматривая графы,
Числом рабов похвастайся, делец!
Продуманы параграфы и штрафы.
Хозяйство — всем хозяйствам образец!

По трупам лезьте! Богатейте! Ну-ка!
Пусть мир в огне, пусть все идет ко дну...
Так, с криком «хайль!» вытягивая руку,
Они голосовали за войну.

Концерн войны. Акционеры смерти.
За битвой битва. Прибыль велика!
И все в порядке. Все идет по смете.
Все сделано как будто на века.

Они считают прибыль и сверхприбыль.
Растет барыш. На чек ложится чек.
Здесь каждый пфенниг — чья-то кровь и гибель,
В проценты превращенный человек!

Завзятый шут и сонный меланхолик,
Банкир и юнкер, скромница и франт,
Непьющий и заядлый алкоголик,
Владелец мастерской и фабрикант,

Матрона и вульгарная кокетка,
Вполне здоровый и едва живой,
Простак и сноб, блондинка и брюнетка,
Судья и вор, заказчик и портной,

Ничтожество и мастер на все руки,
Старушка с муфтой и притонный кот,
Безграмотный профан и муж науки —
Кто не был «цветом нации» в тот год?

Они свистят и топают ногами,
Визжат, хохочут, прыгают, рычат:
«Мы покорим Европу! Фюрер с нами!» —
Флажки на карте тычут в Сталинград.

От вожделенья бьются в лихорадке
И шар земной грозят опустошить,
И все они мечтают — ах, как сладко! —
Что не сегодня-завтра, может быть,

Им пировать и в лондонском Гайд-Парке
И за Урал рвануться напрямик.
Почтамт забит посылками! — Подарки!
Триумф! Фурор! Неповторимый миг!

. . . .

Берлин, Берлин! Скажи, что это значит?
Вглядись в обломки каменных громад.
Здесь камни, кровью истекая, плачут,
И камни обвиняют и кричат.

Плывет луна в тумане сероватом
Над тишиной безжизненных руин.
Так вот она, жестокая расплата:
В огне и громе битва за Берлин!

. . . .

Колоколов торжественные зовы
Вновь раздадутся. Ранняя звезда
Уже зажглась. Навстречу жизни новой
Вставай, Берлин, для мира и труда!

ПЕСНЬ О СУДЬБЕ ГЕРМАНИИ

Измученный, я злодеяний счет
И день и ночь без устали веду.
Я числю все, что нес нам каждый год,
Учитываю каждую беду.
Любое беззаконье — на виду,
Мной ни один проступок не забыт.
И вот итог всего: позор и стыд.

Германия! Я здесь учесть готов
Все лучшее, чем славилась, лучась.
Но как достойных чтила ты сынов?
Как с лучшими людьми ты обошлась?

Ты затоптала их и в кровь и в грязь.
Я числю вновь, вновь скорбный счет открыт,
И вот итог всего: позор и стыд.

Высокие дела считаю все,
Попытки к свету обратить свой взор,
Все образы, созвучья в их красе,
Все голоса, входившие в тот хор,
Что к возрожденью звал нас с давних пор,
Они исчезли. Разум говорит,
Что нам остались лишь позор и стыд!

Я счет веду — как страшно он тяжел!
Все от истоков должен я учесть,
Я жизнь свою и ту сейчас учел,
Все вины сосчитал, какие есть:
Когда какую я не понял весть,
Поник душой, признав, что я разбит...
И вот в итоге лишь позор и стыд.

Откуда наваждение пошло?
Как раньше не расправились с таким?
Всегда ли проклинал я это зло?
Всегда ли доблестно сражался с ним?
Всегда ли был в борьбе неукротим?
Не потому ли мысль в мозгу сверлит
Про мой позор и мой великий стыд!

Я как в жару, я срамом окружен.
И приступ скорби мною овладел.
И замер я, страданием сражен.
Сказала Скорбь: «Как мало ты скорбел!»
И Срам сказал: «Ты мало посрамлен!»
Согласный с ними, мой язык твердит,
Что нам остались лишь позор и стыд.

Я снова счет веду щемящий свой,
В реестр чужих свою вину включив.
Гигантское число передо мной!
Когда воспрянем, вины искупив?
Я знаю: каждый, кто душою жив,
Все победит, что родину чернит
Ему же на позор, ему на стыд.

Смотря на груды пепла и руин,
Вы стонете: «Постигла нас беда!»
Но что ж вы все молчали, как один,
В года бесчестья, черные года?
Пришло к нам время правого суда!
И он за то Германию разит,
Что наш народ сносил позор и стыд.

Считаю ложь, безудержный обман,
Все вымыслы коварные лжецов.
Считаю слез пролитых океан,
Несметные шеренги мертвецов.
Товарища предсмертный слышу зов,
Он палачам под пулями кричит:
«Позора хватит! Сокрушите стыд!»

Товарищей я вспомнил имена —
И памятник геройства вдруг возник.
Быть может, слава их воздаст сполна
За все, о чем скорблю я в этот миг?
Нет, доблесть их — скажу я напрямик —
Для трусов не опора и не щит.
И все черней вокруг позор и стыд.

Подсчету не предвидится конца...
Но кто меня от этих мук спасет?
В подсчете — оправдание певца,
Певец за правду голос подает.
Он должен истину узнать, народ,
Хоть груз нести безмерный предстоит:
Позор огромен, необъятен стыд.

И есть ли человек, чей ум бы смог
Определить размер такой вины?
Ведь если в цифрах выразить итог,
Он не охватит всей величины.
Предстать они перед судом должны,
Все те, на ком ответственность лежит:
Пусть испытают и позор и стыд.

За всем следит эпохи строгий взгляд,
Не скрыться никому от зорких глаз.
И пусть пройдут десятки лет подряд —

Потомки будут вспоминать о нас
И будут петь возникшую сейчас
Ту песнь, и которой плачу я навзрыд.
То песня про позор, позор и стыд.

О песня про позор, позор и стыд!
Пропеть ее мне было тяжело.
Скажу я в заключенье, горем сыт:
Решайте, что нас к бездне привело,
И чем отныне мы искупим зло?
Хотите знать, что сердце мне когтит?
Его когтит позор, позор и стыд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда кровопролитнейшей войне
Пришел конец и к новым светлым дням
Открылся путь моей родной стране,
Раздался голос, говоривший нам:
«Вначале был—поймите это!— срам».
Мы знали все: тот голос говорит
Про наш позор немецкий и про стыд.



Стихотворения

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

РАЗЛУКА И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда я уходил
(Я не стыжусь признанья),
Мой каждый шаг мне стоил много сил.
Когда я уходил
(О горечь расставанья!),
Я родину с собою уносил.
Как это вышло, что́ тому виной,
Что мне пришлось покинуть край родной?

Когда вернулся я,
Сквозь слезы, как в тумане,
Увидел ту, которой краше нет.
Когда вернулся я,
Разлукою изранен,—
Я возвращенья ждал двенадцать лет,—
Был мой приход печалью омрачен,
Плыл над страною похоронный звон.

Когда я уходил
С самим собою в споре,
Мой голос никого согреть не мог.
Когда вернулся я,
Седой, познавший горе,
Любовью к родине я песнь зажег,
Тот, прежний,— с ним простился я навек,
И возвратился новый человек.

О СМЫСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ

Есть высший смысл и в самом пораженье,
И даже в нем победа может быть:
Найти, оплакав мертвых, просветленье,
Позор в благословенье превратить;

Когда народ, поставив под сомненье
Все, чем он жил, найдет, чем дальше жить,—
Как тяжесть гирь, все истины значенье
Он на весы сумеет положить;

Тогда ошибки наши мы оценим,
Былых соблазнов отметая путь,
И проигрыш сумеем окупить,
Детей лелеять и сады растить.

Так пораженье станет нам спасеньем:
Вот пораженья праведная суть!

О ТЯГОСТНЫЙ, МУЧИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС...

О тягостный, мучительный вопрос,
Когда же я разделаюсь с тобою?
Всегда при мне, как будто в душу врос,
Ты стал моим проклятьем и судьбою.

Шли по пятам за мною мертвых тени,—
Из всех могил тянулись руки вслед —
Они томились, ждали разъяснений...
И вот я наконец нашел ответ:

«Напрасных жертв не принесем мы впредь,
Мы никому не разрешим опять
Нас ложью жалкою запутать в сеть.

Не бойтесь! У людей достанет сил,
Чтоб, плиты сбросив прочь со всех могил,
На праздник воскресенья вас позвать».

ДАВАЙТЕ ЖЕ СТРОИТЬ!

Мы горе несли, мы по странам беду разносили.
Страданьем и смертью покараны мы за насилье,
За ужас войны.
Мы право на жалость народов к себе потеряли,
И нищими, самыми нищими в мире мы стали —
И духом бедны.

А матери плачут: «Так дети погибли напрасно?»
Вздыхают мужчины: «А кто растолкует нам ясно,
Как дальше нам жить?»
Скажите: конец нам? Ложиться на смертное ложе?
И все, что в нас было хорошего, умерло тоже?
И жребий наш — сгнить?

Так, значит, нам падать и падать? Все ниже и ниже,
Хотя мы одно на другое усилия нижем,
Про отдых забыв?
Так, значит, ничто никогда нам не может удаться?
И знаком проклятья отмечен и должен распасться
Наш каждый порыв?

Мы клонимся молча, но криком взывает молчанье:
О родина-мать! О народ мой — мое достоянье,
Как ныне ты сир!
Себя не жалея должны мы усилья утроить.
Давайте же строить, свободную родину строить,
Да сбудется мир!

СЛАВА ЗЕМЛЕ!

Слава земле!.. Славь растения, травы и камень,
И во всем утверждай красоту бытия!
Славь зверей! Воздух славь, напоенный веками,
Пусть тебя очищает его голубая струя.

Слава земле, что тебя заставляет идти!
Славь дорогу: она тебе петь помогает!
И полям поклонись, что дарами тебя оделяют,
И лесам, что тебя освежают в пути.

Слава горам — их тебе подарили века,
Чтоб возвысился ты, чтоб твой взор прояснился!
Слава шторму и штилю морскому, что в детстве приснился!
Слава каплям живым напоившего нас родника!

А теперь, если только умеешь слова находить,
Если знаешь могущество слов, то отныне навеки
Созидания чудо прославь в человеке,
Человека прославь, чтобы славу его утвердить!

Человека воспой! Неужели не сыщешь ты слов?!
Слава разно живущим народам и расам!
Славься, ищущий новых путей человеческий разум,
Человеческий гений, прославься во веки веков!

Слава земле — чтоб дышала она и цвела,
И рукам человека, что жить не умеют без дела,
Чтоб в своем созиданье они бы не знали предела!
Слава земле! Человечеству — честь и хвала!

СЛАВА ВЕЩАМ!

Вещи прославь! Пусть слова их, как должно, прославят!
К жизни их пробуди! Оживи их застывшие души!
А иначе они человека собою подавят,
И умолкнуть заставят, и душным бездушьем придушат.

Пусть они говорят! Пусть молчание их зазвучит!
Посмотри, как кофейник над чашкой склоняется низко,
Крепко обняли воду стаканы, задумалась миска,
А корзина, себя нагружая плодами, кряхтит.

Вещи прославь! Ты вещей существо улови,
Стул воспой, и кувшин, стол, от пиршеств усталый!
Славь же краски и формы, хвали синеву и овалы,
Ты с вещами в священном союзе живи!

Вещь прославь — рядовой и нарядный наряд!
Славь творенья свои! И еду и напитки!
Дух вещей восхваляй! Не таись — ты не будешь в убытке.
Чти страданья, которые вещи таят...

Ты печалься о них! Если кружка расколется вдруг,
Ты не дай ей бесславно исчезнуть в забвенье зловещем.
Мы умрем, станем сами ненужною, жалкою вещью,
Если вещи начнут умирать постепенно вокруг.

Вещи прославь! Пусть тебя они не тяготят,
Надели их душой — пусть живут полной жизнью по праву,
В них — старанья твои, и они тебя славить хотят —
Пусть поют они громко тебе, созидателю, славу!

IV. НАРОД ВЫХОДИТ ИЗ МРАКА

РЮБЕЦАЛЬ

В горах жил старый Рюбецаль,
О нем мы не забудем.
Его с вершин тянуло вдаль
К простым и бедным людям.

Хотел он их спасти от зол,
Но видел: правды нету,
И батраком одетый шел
Искать добра по свету.

Спускался он с высоких скал,
Одет крестьянкой древней,
И у крестьянок узнавал
Про бедствия в деревне.

Когда ложились люди спать,
Он слушал их молитвы,
Чтоб горе времени понять
И выйти с ним на битву.

Он на базарах городских
Толкался в людном месте
И узнавал из уст людских
Суждения и вести.

Не раз по селам он шагал,
Суровой верен клятве.
Голодных в гости приглашал
И помогал им в жатве.

Когда ж ревел буран вокруг,
Смирял он непогоду.
Так великана добрый дух
В беде служил народу.

...Однажды, продан и гоним,
Народ ушел в изгнанье,
Но великан остался с ним
В немом его страданье.

Он на плечах могучих нес
Крестьянский скарб убогий
И, запряжен в тяжелый воз,
По пыльной шел дороге.

Шагал не сломленный бедой,
И верилось бездомным,
Что это — родину с собой
Он в сердце нес огромном.

Когда спадал к закату зной,
В долинах нелюдимых
Свой скудный, черствый хлеб дневной
Он ел в кругу гонимых...

Жил-был на свете Рюбецаль,
О нем мы не забудем.
Он с гор ушел в земную даль,
К простым и бедным людям.

МЫ, НЕМЦЫ...

Мы, немцы... Разум нам застлала мгла.
Величия взыскуя, с толку сбиты,
Творили мы преступные дела,
Философы, поэты и . . . бандиты.

Нас, немцев, буйных, словно троглодиты,
Соседям гнать пришлось из-за стола.
Нас далеко фанфара завела,
И мы по горло нашим бредом сыты.

Жилища наши сожжены дотла.
Дороги наши бомбами разрыты.
Наука с непривычки тяжела.

Но, если нам, во искупленье зла,
Пророческие истины открыты,
Вовеки немцам слава и хвала!

МУЗА

Он тверд, как сталь, он неотступно строг,
Тот скрытый взгляд, что в душу мне нацелен,
Из тайных недр, из вековых расселин
В меня в упор глядит ее зрачок.

Недвижный взгляд — он с первого же дня
Везде со мной суров и одинаков.
Не скрыться от него: из беглых знаков
Моих стихов глядит он на меня.

И всякий раз, охватывая сразу
Все, что я создал по его приказу,
Он снова гонит мысль мою вперед.

И молча вижу, затаив дыханье,
Как изнутри растет его сверканье
И в глубь своих глубин меня берет...

КАНАТОХОДЕЦ

Где мертвый город вздыбил лес руин,
Повис канат — прямой и напряженный.
И кто-то встал. И как завороженный
Над страшной глубью двинулся один.

Над плеском рук, над суетой людской
По зыбкой кромке шел вперед с трудом он,
Внизу толпы качался темный гомон,
И он ей сверху подал знак рукой.

Как вдруг шатнулся, отступил назад
И рухнул вниз — на дно зубчатой бездны,
И всех на камни в ужасе поверг...

Когда ж опять взглянули люди вверх,
Увидели: прямой и бесполезный
Еще дрожит натянутый канат.

ВОЛШЕБНЫЙ ЛИСТ

Посреди земного бытия
ты узрел меж городских развалин
желтый лист осеннего литья.

Легче дуновенья он повис,
отрешен от силы притяженья,
не желая опускаться вниз.

Он нырял, чтоб всплыть над миром вновь,
чтоб застыть в лазури недвижимо,
ржавый, как свернувшаяся кровь.

Ржавый лист, молитвенно шурша,
он глядел на умиранье листьев
и насквозь светился, как душа.

Став прозрачней божьего лица
и существованья неземного
и листком из вечного венца,

он блеснул, блаженно прояснен,
и отлету, и исчезновенью
упоенно покорился он.

Наземь, в растворенье, в никуда...
И как лист осенний, полетела
жизнь твоя, отрада и беда.

Как она блеснула ввечеру,
в миг, когда средь бытия земного
желтый лист узрел ты на ветру!

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Из груды того, что писали чернила,
Из тысяч картин, поражавших наш глаз,
Что память незыблемо нам сохранила?
Лишь то, что звало к человечности нас.

Стоят триумфальные арки, колонны,
Чтоб славой военной века дорожить.
Но чем на земле дорожат миллионы?
Надеждою по-человечески жить.

Где меркнет искусство ораторской речи,
Бенгальский огонь изощренных умов,
Усталую душу ласкает и лечит
Простое тепло человеческих слов.

И сколько бы песен нам в жизни ни спели,
Каких бы ни слушали оперных див,
Звучит в нашем сердце еще с колыбели
Знакомый до слез человечный мотив.

Что было задумано дерзко и смело,
Фантазии, грезы, порывы — умрут.
И только останется доброе дело:
На пользу людей человеческий труд.

Но быть человеком — не так это просто.
Но быть человеком — геройство в наш век!
О, встать бы и крикнуть с трибуны, с помоста:
Храни человечность свою, человек!

МЕРТВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Под градом бомб погибли здесь они,
Лежали здесь, расстреляны, рядами.
В пыли развалин, в заржавелом хламе
Торчали их обугленные пни.

Пришла весна. И вот опять, взгляни,
Листвою пни оделись — точно сами
Свои могилы свежими ветвями
Украсить захотели в эти дни.

И, ветками кивая на ветру,
Зеленый блеск пробился сквозь кору —
Сквозь черствые, угрюмые морщины.

И птицы зазвенели вдоль могил,
И чудилось: набравшись новых сил,
Из-под земли тянулись их вершины.

СВЕРШЕНЬЕ ПРЕДВКУШАЯ...

Свершенье предвкушая, мы живем,
Хотя сбылось немногое, но так
Богато бытие и столько в нем
Еще загадок облекает мрак,

Что каждому из нас ниспослан час
Чудеснее видения любого,
И творческая сила дышит в нас,
Когда под сенью мира голубого,

Свершенье предвкушая, мы прозрели
Грядущее. Так без конца и края
Вся жизнь мечте мечтателей дана,

Чтоб мы, осуществляя наши цели,
Продумывали наши времена,
Заранее свершенье предвкушая.

ХЛЕБ И ВИНО

Святая ночь полна тепла,
Святая ночь к нам в сад пришла.

Мы пьем вино, мы хлеб едим,
Друг другу мы в глаза глядим.

Не прячем взор, не смотрим вкось...
И каждый виден был насквозь.

Глотай страданье, слезы пей!
О горький пир в кругу друзей!

Здесь по закону старины
За мертвых выпить мы должны.

И за бокалом шел бокал,
А список мертвых возрастал.

Из мрака слышен шепот их,
Торжествен, и далек, и тих.

Поют над нами голоса...
В пыли созвездий небеса.

ТРАВА

Склоняюсь пред тобой, трава.

Прости, что я тебя не стою,
Что попирал тебя ногою
И что забыл твои права.

Склоняюсь пред тобой, трава.

Склоняюсь пред тобой, трава.
Как мы ни подняты судьбою,
Мы все же ляжем под тобою.

Нет слов вернее, чем слова:
Над нами вырастет трава.

Склоняюсь пред тобой, трава.

ПРИНАДЛЕЖИТ НАРОДУ

I

Стала гидростанция народной,
Стала нашей общей навсегда,
В дни, когда сказал народ свободный:
«Нет господ, мы сами господа!»

Из руин разбитые турбины
Поднимали дружно стар и мал,
Чтобы в честь народа-господина
Загудел, запел машинный зал.

Свет несет на крыльях песня эта,
Тьму ночную гонит прочь она.
Каждый вечер льется песня света:
«Новые настали времена!»

Ожили, вдыхая свет, заводы,
Что лежали долго среди тьмы.
И сказал народ, познав свободу:
«Силы света в мире — это мы»!

II

В дни, когда лежала тьма густая,
И казалось, что конца ей нет,
В этой тьме, свой голос возвышая,
Человек сказал: «Зажжется свет!

Не тревожьтесь, свет зажжется, братья.
Верьте мне, погибнет царство тьмы,
Если руки мы сплетем в пожатье,
Потому что силы света — мы!»

Это слово не было обманом,
Верилось — зажжется свет опять!
Но нужна ведь сила великана,
Чтобы мусор времени убрать.

Кто же этот великан могучий?
Человек ответил: «Мы — народ!
Мы способны мир построить лучший,
Мы способны двинуть жизнь вперед.

Мы во тьме дорогу увидали.
Многие по ней, робея, шли.
Но ведет дорога эта в дали,
Где сияет свет для всей земли!..»

Там, где спали мертвым сном руины,
Где царили долго силы тьмы,—
Там стоят сегодня на вершинах
Те, кто будут строить новый мир.

Льется над молчанием развалин
Песня света, радости полна:
«Общими теперь заводы стали,
Новые настали времена!»

Пойте песни нам о новой жизни,
Провода, звените громче лир!
Снова свет горит у нас в отчизне,
Наши руки изменяют мир!

III

Настанет срок — мы светом
Зальем весь край родной,—
Приходит солнце следом
За тучей грозовой.

Кулисами былого —
Развалины кругом.
Даем друг другу слово:
— Их скоро уберем!

Окончатся все муки,
Все беды — в свой черед.
Взял в собственные руки
Свою судьбу народ!

Конец положит бедам
Народ наш трудовой,
Настанет срок — мы светом
Зальем весь край родной!

НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ

В тот день, когда свободные крестьяне
Объединились, выйдя из лачуг,
И замок заняли,— каким сияньем
Все озарилось на земле вокруг!

Земля — она в тот день преображенной
Предстала перед нами, скинув гнет,
И тракторов могучие колонны,
Вздымая древний пласт, пошли вперед!

Высокие слова слагались в песни,
Легко дыша, трудиться шел народ,
И всем казалось — нынче с нами вместе
Земля освобожденная поет:

«Нет больше слуг, и больше нет господ —
Господствует людской свободный род».

НЕ ДАРЯТ СЧАСТЬЯ

Не дарят счастья. Нам его принес
Труд каждодневный, явный и незримый!
Отрада куплена ценою слез,
И корни радости неповторимой

Змеятся в недрах древней черноты.
Мы помним горечь, хоть во рту и сладко,
И знаешь ли такое счастье ты,
Что не приносит горького осадка?

Не дарят счастья. Груз трудов своих
Мы добровольно подняли на плечи
И по дорогам жизни пронесем.

Но есть и взлет отрады человечьей!
Не дарят счастья. Отдых — только миг,
И снова труд: всегда, везде, во всем.

ГЕРМАНИЯ, ПЕЧАЛЬ МОЯ

Край мой, свет весенний,
Сумрачная даль —
Ты мое веселье,
Ты моя печаль.

Над землей в тумане
Мрак густой стоял —
Я тебя в изгнанье
Песней прославлял.

Посвятил я песню,
Родина, тебе,
Чтоб нам плакать вместе
О твоей судьбе...

Цвет небес весенний,
Мирная земля —
Ты мое веселье,
Ты печаль моя.

V. СЧАСТЬЕ ДАЛЕЙ — БЛИЗКО ЗАСИЯЛО

СЧАСТЬЕ ДАЛЕЙ — БЛИЗКО ЗАСИЯЛО

Еда скудна, и комната убога.
Перед глазами — голая стена.
Он говорит: «Ты подожди немного:
В довольстве скоро заживешь, жена!

Нам предстоит веселая дорога».
И, видя, что не поняла она,
Он произносит медленно и строго:
«Об этой стройке знает вся страна».

Они на стол мечтательно смотрели,
И он преображался на глазах.
Казалось им: на нем плоды алели,
Что сорваны в прекраснейших садах...

Вдруг свет они на стенах увидали:
Приблизились сияющие дали.

ГОСУДАРСТВО

Держава, что возникла в дни невзгод
Из мук народа для его защиты,
Твои черты с душой народа слиты,
Ведь ты его созданье и оплот.

Держава, закаленная трудом,
Моя миролюбивая держава,
Ты принесешь довольство в каждый дом,
Всем гражданам ты дашь на счастье право.

Держава, счета нет твоим друзьям,
Всем сердцем, всей душою мы с тобой,
Держава наша — наша жизнь и честь.

И словом ты и делом служишь нам,
Взлелеянное долгою борьбой,
Отныне это государство есть!

СМЕХУ ВНОВЬ УЧИТЬСЯ

Смеется сердце в час, когда прохлада
Вечерняя повисла над рекой,
Когда пастух в деревню гонит стадо
И звон колоколов несет покой.

Смеется сердце в час, когда веселый
Встаешь с постели, полный юных сил,
В таком задоре, чтобы труд тяжелый,
Как песню, ты у жизни попросил.

И в час, когда сияет солнце снова
Моей Германии... И в темноте
Под звук мелодий края дорогого
Смеется сердце сбывшейся мечте.

Смеется робко, будто бы стыдится —
Ведь смеху вновь оно должно учиться.

СТИХИ О МОЕЙ СТАРОСТИ

Скажите: кто мне дал такую силу,
Что в старости мне юность возвратила?
Далекий пройден путь. Но погляди:
Плетется старость где-то позади.

Живая сила молодости новой
Разбила дряхлой старости оковы.
От страха смерти я освобожден,
Смотрю на мир, для жизни пробужден.

Ведь не стара звезда, что в небе где-то
Средь облаков не гаснет до рассвета
И долго светит в сумраке ночном,
Сливая луч свой с утренним лучом.

Так наших юных патриотов дело
Мне оставаться юным повелело.
А коль умру, вздохнуть придется им:
— Жаль старика! Он умер молодым!

ВЕТЕР

Я, люди, с вестью к вам явился,
Что ветер вдруг переменился.
С востока, радостен и смел,
На запад ветер прилетел!

Он — этот ветер — взмахом крыл
Сердца людские отворил,
Он отогрел сердца — и вот
Синеет хмурый небосвод!

Влетает ветер в каждый двор
И выметает давний сор,
Из дома в дом врываясь, он
Старье и хлам выносит вон.

И гонит, весел и могуч,
С небес остатки черных туч.

С востока ветер прилетел!
Поет он — весь народ запел.
То нежно шепчет он листвой,
То полон силы грозовой.

Он гонит прочь ночную тень,
Он зажигает новый день,
Мы силу чувствуем его —
И в нашем доме торжество.

Отныне вольно дышит грудь.
Восточный ветер! Славен будь!

Я, люди, с вестью к вам явился,
Что ветер вдруг переменился.
Несет нам ветер жизнь и мир,
И завтра ждет нас светлый пир!

ВЕЧЕРОМ ПЕРЕД ДВЕРЬМИ

Посидим давайте на ступенях...
Ветер мягче, ласковей, чем днем,
И дороги — в сумеречных тенях...
Тихую беседу поведем!

— Есть ли,— спросим,— за труды награда?
Много ль было,— перечтем,— потерь?..
Перед нами даль, цветенье сада...
Не напрасно грезили, поверь!

Ну-ка поразмыслим и прикинем —
Вспомним нашу жизнь опять сначала...
Нет, не надо нам другой взамен!

Вечер нам кивнул туманом синим,
Песнею дорога отвечала:
«Доброй ночи! Будь благословен!»

ТИХИЙ СОНЕТ

Тишина — вдоль всех дорог,
Вдоль долин зеленых.
Даже ветер спать прилег
В неподвижных кронах.

Чуть колеблется трава,
Погружаясь в дрему.
Стадо тянется едва,
Направляясь к дому.

Тишина в свои же сны
Хочет погрузиться,
И встают из тишины
Канувшие лица.

Все поет, клоня ко сну:
— Возвращайся в тишину!

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Лишь весна из-за лесов
На долины глянет,
Хор могучих голосов
Над землею грянет:
    — Братья, сестры! Мы добудем
    Мир — земле, свободу — людям!

О, прекрасная пора,—
Стужа раскололась.
Кто молчал еще вчера,
Нынче поднял голос:
    Эту клятву не забудем:
    Мир — земле, свободу — людям!

Знаю: песнь твоя, народ,
Свежим ветром хлынет.
Океаны всколыхнет,
Горы отодвинет,
    Если мы сильны не будем,
    Миру — гибель, рабство — людям

Вы, познавшие войну,
Вы, кто войн не знали,
Песнь про новую весну
Сотрясает дали:
    Всех подымем, всех разбудим!
    Мир — земле, свободу — людям!

ПЕСНЬ О РОДИНЕ

Слава родине священной,
Сочной зелени лугов,
Синеве благословенной
Над раздольем берегов.

Отшумели, стихли бури,
И в сверкании огней
Встала радуга и лазури
Ослепительных небес
Родины моей.

Пусть умножит нашу славу
Радостный народный труд.
Немцы юную державу,
Как святыню, берегут;
И на празднествах народных
Славят гордых сыновей,
Славят смелых, благородных,
Отстоявших честь и мир
Родины своей.

Величавее, чудесней,
Край надежды, расцветай!
Будет радостные песни
Петь освобожденный край.
Все — тебе, тебе, отчизна!
Ты растешь — и мы сильней.
Ты цветешь во имя жизни!
Счастье видит наш народ
В родине своей.

БЕЗЫМЯННОЙ ПЕСНЕЙ

Хотел пред тем, как охладеет тело,
Послать последний из своих даров:
Звеня, стихотворенье полетело
На крыльях серебра чеканных строф.

В звериное глухое бормотанье
Слова поэта звонко ворвались.
Он в песнь вложил последнее дыханье,
И песней над землей поднялся ввысь.

В стремительном полете... Дальше!.. Дальше!..
Грядущее открылось за туманом.
Он светлых сил глашатай неустанный.

Так жизнь, не знавшая и ноты фальши,
Подхвачена внезапным ураганом,
Несется к людям песней безымянной.

ГОЛУБЬ МИРА

Когда возникла вера,
Что скоро мир придет,
Прорезав сумрак серый,
Взмыл голубь в небосвод.

Он зовами своими
Будил земной простор,
Над жизнями людскими
Он крылья распростер.

Сверкая опереньем,
Он землю облетал,
И отступала темень,
И новый день вставал.

А голубь, чист и светел,
Взывал, раскрыв крыла:
«Да будет мир на свете!
Довольно было зла!»

Мир станет близкой явью! —
К нам весть летит с высот.
Мы голубя прославим,
Что к миру нас зовет.

Всех эта весть сплотила,
Всех этот клич сроднил:
«На то дана вам сила,
Чтоб мир на свете был!»

НОВАЯ ЗВЕЗДА

За горизонтом солнце скрылось.
Настала полночь... И тогда
На тихом небе появилась
Большая новая звезда.

Дивились взрослые и дети,
И оставляли люди дом,
Чтоб посмотреть, как ярко светит
Звезда в безмолвии ночном.

И предвещало нам сиянье
Тот недалекий, может, век,
Когда все звезды мирозданья
Обжить сумеет человек.

Здесь с нами вечность говорила,
Сиял бездонный небосвод,
Где были счастливы светила,
Земных не ведая забот.

Горит звезда... А наше мненье —
Она, манящая вдали,
Таит всего лишь отраженье
Картины завтрашней земли,

Где мир, взлелеянный, воспетый,
Мир, полный силы молодой,
Взойдет над утренней планетой
Живой и радостной звездой.

СНЕГОПАД

Сегодня сильный снегопад,
И кажется, что это
Из мрака нá землю летят
Густые хлопья света.

Полей задумчивая гладь
Искрится ночью темной,
Чтоб свет широко разостлать
По всей земле огромной.

НЕМНОГО УСТАЛЫЙ

Возвратившись
К отчизне моей,
К поэзии,
Я сижу
У стола моего,
Вытянув перед собой
Обе руки,
Немного усталый
От дальнего пути —
И от волнений
Встречи.

Портрет
На стене
Смотрит упорно
Прямо в глаза мне
С немым вопросом.

И я повествую
О битвах далеких,
Очень далеких.
Я ушел туда,
Вдаль,
Чтобы защищать
Это место
У письменного стола,
Чтобы защищать
Этот дом,
Эту улицу,
Чтобы защищать
Жужжание строк
Во мне,
Полет строфы,
Музыку рифмы.

И если
Когда-нибудь
Я не вернусь
Туда,
Где мой дом,
К отчизне моей,
К поэзии,
Люди узнают:

Он пал
На поле боя,
Где решаются
Вместе с судьбою
Счастье людей
И их свободы,
С судьбою мира
В мире
Также судьба
И моей отчизны,
Моего вечного дома:

Судьба
Поэзии.

ПОЗДНИЙ СТИХ

Поздний мой стих
Отличается
Тем от стихов
Моей юности,
Смертью и скорбью навеянных,—
Посвященных забытью, отчаянью,—

От стихов моей юности
Поздний мой стих
Отличается
Тем,
Что юности он посвящен,
Юной силе, огню и сверканию,
Трудам, устремлениям, помыслам

О мире,
О новом.

НЕМЕЦКИЕ СОНЕТЫ

1952

ОТВЕТЬ, УЖЕЛЬ МЫ НЕЖНОСТЬ ЯЗЫКА...

Ответь, ужель мы нежность языка
Узнали в первом материнском слове
Лишь для того, чтобы в потоках крови
Все нежное забылось на века!

Ужель сплотил язык немецкий нас,
Чтобы вражда разъединила снова,
Чтоб немец лгал, толкуя немца слово,
И смысл его в бессмыслице угас!

Иль не довольно плакать на могилах,
И крови — прах пропитывать земной,
И тосковать покинутым и сирым?

Иль вы лжецов остановить не в силах,
Вы все, кого лишь обольщают миром,
Чтоб друг на друга повести войной?

УЖЕ СЕМЬ ЛЕТ МЫ СТРАСТНО МИРА ЖДЕМ...

Уже семь лет мы страстно мира ждем,
Куда ушел, кем взят он у народа,
Коль даже новый день восьмого года
Его в немецкий не приносит дом?

О, семь лишенных мира долгих лет!
Иль не было пред этими годами
Эпохи смерти, зла, бессчетных бед?
Кто мир взял в плен? Кем разлучен он с нами?

Не оттого ли он в плену сейчас,
Что этот мир, которым люди живы,
Для негодяев, жаждущих наживы,
Добычи и доходов не припас?

Вчекань же в память времени закон:
Мир должен быть от них освобожден!

И ДЛЯ ТОГО ЛИ БЫЛО СТОЛЬКО МУК?..

И для того ли было столько мук,
И столько жертв, и для того ли снова
Стал зелен луг и май цветет вокруг?
Уже грызут сомнения иного:

— Как? Для того ли немцы рождены
И для того ль сынов своих взрастили,
Чтобы навстречу смерти и могиле
Мы были вновь шагать обречены?

А между тем чудовищная ложь
Опять бесстыдно правдою зовется,
И бедняку богач дает совет:
«В геройской смерти счастье обретешь!»

Но только прежде, чем война начнется,
Ее развеет клич наш: «Нет, нет, нет!»

КАК БЫ ВО СНЕ ВОЛШЕБНОМ...

Как бы во сне волшебном — все цвело.
Все ликовало в предвкушенье мая.
Земля оделась, гостя принимая,
Так празднично, так ярко и светло.

Шел Первомай по городам и селам,
Аккордеоны пели о весне.
Колокола в содружестве веселом
Им отвечали звоном в вышине.

Все звало к миру — нивы, рощи, реки,
Рожденье счастья на земле свершалось,
То новой жизни был весенний пир.

Казалось, смерть побеждена навеки,
И так легко, так радостно дышалось,
В дыханье каждом было слово «мир»!

НАКИПЬ

Пусть на меня клевещут словоблуды,
Пусть злобствуют, пусть лают день и ночь,
Я буду жить, творить, смеяться буду,
Лишь изредка скажу негромко: «Прочь!»

Но если накипь жалкая грозит
Родной земле, с которой сердцем связан,
Тогда любой, кто мыслит и творит,
Ее от новых войн спасти обязан.

И ты, поэт, познавший силу слов,
Кому навек дана народом лира,
Ты, выразитель пламенных идей,

Иди в народ, буди сердца людей,
Чтобы везде услышан был твой зов,
Набатный твой призыв: «Добьемся мира!»

НА СВЕТЕ ЕСТЬ СТРАНА...

На свете есть страна, где вольно плещут реки,—
Вся в зелени берез и в золоте полей.
Как расцвела она, когда народ навеки
Свободу ей и мир добыл рукой своей!

Ценой немалых жертв, ценой труда большого
Народ свою страну взлелеял и взрастил.
И вот она стоит — людских надежд основа,
Пример для всей земли, источник свежих сил.

Германия! Был час: безумием объята,
Ты на Восток пошла в позорнейший поход,
Чтоб под ударом справедливым пасть.

Довольно, хватит войн! Свой новый путь нашла ты!
Ты знаешь: гибнет тот, кто смерть другим несет,—
А в мире победить лишь может мира власть!

ВОЗНИКЛА ВЛАСТЬ СВОБОДЫ И ТРУДА...

Возникла власть свободы и труда,
Сдружилось поле с тракторной колонной,
И песнь звучит, привольна и горда,
И славит день земли новорожденной.
Растут дома — въезжайте, новоселы!
Велик размах невиданных работ!
Река меняет русло, степь цветет.
Как весело гудят над нею пчелы!

Да! Нов наш труд! Здесь нет таких, кто стар.
Жар нашей жизни — это юный жар.
И счастье созиданья — в нашем доме!

А вечером, когда гулять идем,
Об этом счастье песни мы поем,
И жизнь шагает ввысь,— мы на подъеме!

КОГДА ОДНАЖДЫ...

Когда однажды все твои соборы,
Германия, забьют в колокола,
И вознесутся радостные хоры,
И гордо ввысь взовьются вымпела,

Когда радиостанции Берлина
Свой зов пошлют в ликующий эфир:
«Германия свободна и едина!
В ней властвует, в ней торжествует мир!» —

Тогда настанет час рукопожатья,
И нам хвала по всей земле пройдет,
И солнечный откроется нам путь.

Отпрянет мгла, и тяжесть с плеч спадет.
И лишь тогда, впервые в жизни, братья,
Скажу я сердцу: «Можешь отдохнуть!..»

ГИМН ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Поднимаясь к новой жизни,
Побеждая зло и тьму,
Будем мы служить отчизне
И народу своему.
Все дороги нам открыты,
Чтоб не знать нужды былой,
Чтоб до самого зенита
Солнце счастья поднялось
Над родной
Землей.

Мир и счастье для народа
Пусть Германия кует!
Всем народам честно подал
Руку дружбы наш народ.
Если мы едины будем,
Все враги нам не страшны!
Мы стоим за мир, чтоб людям
Не терять своих детей
На полях
Войны.

Дружно, немцы, стройте, сейте,
Мирный труд страны любя.
Подрастают наши дети
С крепкой верою в себя.
Молодежь — краса отчизны
И грядущего оплот!
Солнце новой, яркой жизни
Над Германией родной
На века
Встает.

VI. ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ.

(1914—1952)

ПОСВЯЩЕНИЕ

Лучшее, что мною свершено,
Навсегда тебе посвящено.

Чувства, мысли сокровенный жар
Лишь тебе я предназначил в дар!

Но тех слов я не нашел доселе,
Чтобы крик мой высказать сумели.

Я не мог прийти к тебе с дарами —
Раны сердца жгли меня, как пламя...

Только редко, словно дальний звук,
Шли слова, стихи рождались вдруг,

Чтоб из мглы молчания порою
Я на миг предстал перед тобою.

ТЫ — ПЕСНЬ О РОДИНЕ

Когда мечта свершится и опять
Увижу я сады близ Нюртингена,
Позволь спасибо первое воздать
Тебе за все... И если вдохновенно

Мы будем песни петь в кругу друзей,
То это значит: ты сквозь испытанья
Меня вернула родине моей,
Ты — голос родины во времена скитанья!



Стихотворения

ТЕБЯ ЗАБЫТЬ...

Тебя забыть пытался я не раз.
Но, разгадав желание такое,
Ты в песнь мою вторгалась в поздний час
И заставляла говорить с тобою.

Когда слабел я, если дух мой гас,
Являлась ты к томимому тоскою,
Снимала слабость сильною рукою
И, исцелив, опять скрывалась с глаз.

Но я спокоен, ибо ты со мной.
Ты бодрствуешь во мне, забыв покой,
Рассудок мой всегда тобой тревожим.

В разлуке мы. Но кто нас разлучил?
Ведь ты живешь во всем, что я свершил.
Расставшись, разлучиться мы не можем.

МЫ ВМЕСТЕ

1

Мы вместе: я в тебе, и ты во мне,
Моя сегодня, здесь, моя вплотную.
Пристанище мое, мой свет в окне.
Я самого себя в тебе взыскую.

Целительница всех моих утрат,
Мне возвращаешь ты страну родную.
И вновь моим вчерашним дням я рад.
Парк в Мюнхене... Мы кормим лань ручную.

Вот озеро Штарнбергское... Толпа...
Разносчики со связками колбас.
Альпийский эдельвейс. Луга. Тропа,
Где наши серны бродят и сейчас.

Ты родину в мою вдохнула грудь,
Чтобы любовь шептала: «Не забудь!»

2

Ты — смех зеленый в сумерках древесных.
Сродни прохладной городской луне.
Ты мой ночник в квартирах неизвестных.
Зачем так долго ты не шла ко мне?

Любовь мою предвидел я во сне,
И после сновидений бестелесных
Пришла ты, чтобы стать моей вполне.
Как жить могли мы порознь в буднях тесных?

Ты больше мне радеешь, чем я сам.
Ты лучше мной владеешь, чем я сам.

Я не молюсь. Нет, я тебя молю
И сам себя. Слила ты воедино
Мою любовь и жизнь мою.
Упразднена тобой моя кончина.

3

Изведать всю тебя дано мне снова.
Твой запах: солнце, снег и чистота.
Знакомые черты лица земного
И родинка чуть-чуть левее рта.

Весна волос твоих и лето губ,
Любимых рук осенняя страда,
На свет в глазах твоих сентябрь не скуп.
В них — образ мой, в них виден я всегда.

Изведать сам себя я должен снова.
Мой настоящий образ мне яви,
И от отчаянья немого
Меня избавит явь твоей любви.

Ты дышишь, и дано мне превозмочь
Мою смертельно раненную ночь.

4

Не слишком ли ты стала мне близка?
Расстаться нам с тобою не пора ли?
Пусть, взорами пронизывая дали,
С тобою сблизит вновь меня тоска.

Опасна близость, если не грозит
Утрата нам. Я полон сил и боренье,
Неуязвим для всяческих обид.
С победою кончается горенье.

Порви со мной! Всему наперекор
Порви, чтобы начать я мог сначала,
Чтоб ты сама в конце концов узнала
Все то, чего не знаешь до сих пор:

Мы неразлучны. Мы живем вдвойне.
Мы вместе. Я в тебе, и ты во мне.

О КРАСОТЕ

О красоте твоей скажу одно:
Красива ты. Красивей всех на свете.
И красота твоя теперь в расцвете.
Но где же в этой скорлупе зерно?
Я не найду разгадки все равно,
А может быть, найду в таком ответе:
Твое лицо блистает в ярком свете,
Но светом духа не озарено.
Нередко ложь под театральным гримом
Живет в соединенье с красотой:
Где правда не горит огнем незримым,
Там красота становится пустой.

Да, красотой своей пленяешь ты,
Но людям мало этой красоты.

ЛИЛЛИ

Светом ты мне была
Там, на пути моем раннем...
...Наперекор страданьям
Мрак превозмочь помогла.

Ты окрылила мой стих,
Поступь мою окрылила,
В образ и в звук превратила
Все, что я сердцем постиг.

Только с тобою найти
Смог я свое назначенье,
В творческом упоенье
К новым высотам идти.

Труд мой, что мне удался,
Ты для меня сберегала.
Знаю: ты рядом стояла
В час, когда я начался.

Всем, что осмыслено мной,
Мыслям твоим я обязан.
Чувством одним с тобой связан,
Страстною думой одной.

И, уходя на века,
В час расставанья отсюда
Звать и манить тебя буду
Из своего далека.

ТВЕРДОСТЬ

С тобою твердо говорил всегда я,
Хоть так любил, что и дышал едва.
Тебя от мук отчаянья спасая,
Я подбирал лишь строгие слова.

Я ждал тебя, взывал к тебе ночами,
Я по тебе томился много лет,
Пока в моих дверях, как в строгой раме,
Вдруг не возник прекрасный твой портрет.

Его сберечь во что бы то ни стало
Поклялся я, любовь свою храня.
Я твердым был... Ты так и не узнала,
Что значила ты в жизни для меня.

О, эта твердость!.. Смысл ее и суть,
Быть может, ты поймешь когда-нибудь.

ТВОИМИ СЛОВАМИ

Твоими я словами говорил.
Во мне их продолжается звучанье.
Я сотни звуков с губ твоих сманил
И даже мог понять твое молчанье.

Твой каждый взгляд умел прочесть я вмиг,
Глядел на жизнь твоим открытым взглядом.
В твое я детство дальнее проник.
За гранью лет еще мы были рядом.

Твоими я глазами вдаль гляжу
И в час, когда настанет расставанье,
Слова твои припомню и скажу:
«Прощай! До невозможного свиданья!»

ТВОЙ ВЗГЛЯД

Ты взглядом досягаешь так глубоко,
Что будишь в сокровенной глубине
Мои мечты, умершие до срока,
И дух, казалось, дремлющий во мне.

Ты так далеко досягаешь взглядом,
Что времена открыты пред тобой,
Твой взгляд пронзает все — и то, что рядом,
И то, что скрыто в дымке голубой.

Перед твоим я взгляд поднять не смею,
Пускай твой взгляд безжалостно суров,
Ему всегда я следовать готов,
Покорствуя смиренно и немея.

Познать себя помог мне этот взгляд.
Нет, смертные пред ним не устоят.

ЧЕЛОВЕК, КАК ТЫ...

О человек, как ты! Моя дорога
Вела к тебе, мечта грядущих дней!
Когда б владела нами воля бога,
То я уверен — ты была бы ей!

В мудрейших книгах я нашел твой образ,
Но все ж не смел поверить я в тебя.
Лежит залог деяний наших добрых
В таких, как ты, но не в таких, как я.

Ты принесешь о возвращенье весть,
К тебе простер я, как ребенок, руки.
Когда у нас такие люди есть,
То родина избавится от муки.

К тебе стремятся все мои мечты...
Одно желанье: быть таким, как ты!

СТАРАЯ СКАМЬЯ

Скамья — она еще стоит в саду.
«Не думал я, что вновь к тебе приду!»

Скамья стоит, как прежде, под сосной.
Вздохнул он: «Ты в мечтах была со мной».

Со счастьем рядом он сидел тогда.
Вернулся он. Вернутся ль *те* года?

Он сел. Скамья пуста. Пустынен сад.
В Россию — от скамьи, и к ней назад.

Он сохранил портрет от прежних дней.
Портрет и он — вдвоем вернулись к ней.

И на скамью он положил портрет.
Потом спросил: «Не разлюбила, нет?»

Но ветер сдул портрет, как мертвый лист...
В обугленных руинах — ветра свист.

Был город мертв... А он вздохнуть лишь мог:
«О боже!» Но и бог уж был не бог.

ТВОИМ РУКАМ

Когда я на́ руки твои смотрю,
Я знаю, что однажды эти руки
В последний час закроют мне глаза.
Когда ты гладишь голову мою,
То руки сами тянутся невольно
К моим глазам, чтоб в ужасе отпрянуть,
Уйти от неизбежного... Но я —
Я чувствую их нежное пожатье
И говорю твоим рукам: «Не бойтесь,
Ведь у меня вы отняли боязнь!
И на слепые, мертвые глаза
Вы ляжете в знак вечного прощанья».

ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ

Любовь моя, обученный тобой
Тебя любить, живу я для тебя лишь,
Служу тебе, люблю до исступленья.

Ты радуешь меня и ты печалишь,
Любовь моя, забывшая покой,
Властительница дум и вдохновенья.

Любовь моя! Как я тебя любил!
Не знаю я ни одного желанья,
Которое с тобою бы сравнил.

Пусть я от мук любовных изнемог —
Не мыслю без тебя существованья:
Я просто жить бы без тебя не смог.

Любовь моя! Сознанием влюбленным
В любой любви тебя встречаю я.
Ты в сердце вечным вписана законом,

Который в муках и в борьбе проверен.
Весь твой, тебе я неизменно верен,
Любовь святая, родина моя!

VII. КНИГА ОБРАЗОВ

(1914—1952)

ОБРАЗЫ

Я весь под их напором.
В потемках, без огня
Они безгласным хором
Кричат, зовут меня.

Стучатся тихо в двери,
Приходят и стоят,
И каждый себе верен.
Чего ж они хотят?

Забытые являлись
На свет из темноты,
Иные ко мне обращались
По давней привычке на «ты».

Я вслушивался, словно
То был реестр имен,
Но иные стояли безмолвно,
Отдав по старинке поклон...

Дверь приоткрыв немного,
Та, кто была всегда
Любима, мне с порога
Шлет знак: «О, никогда».

Незрячее виденье
Исчезло вдруг опять,
В скользящем удаленье
Танцовщице под стать...

Я весь под их напором,
В потемках, без огня
Они безгласным хором
Кричат, зовут меня.

Стучатся тихо в двери,
Приходят и стоят,
И каждый себе верен
Чего же они хотят?

Безгласно их витанье.
Безмолвен лиц набег.
Жить! — вот в чем их желанье
И длить в стихах свой век.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ПРОМЕТЕЙ

На той скале повис он как в прыжке,
Высокий пик избрав себе в подножье,
И, голову задрав в святом рывке,
Послал хулу на самовластье божье.

Взор поднимал, пространство пламеня,
Глаз заливало зарево горенья.
То был Он сам, взыскующий огня,
Он, кто презрел богов сопротивленье.

Парил кругами и глядел кругом
Острокогтистый коршун на просторе.
Скала взвилась над вечным ледником
И крутизною обрывалась в море.

Он тряс скалу от верха до основ,
Рос вместе с нею, становясь горою,
И бился в кровь о кружево оков,
И чуял дрожь под всей земной корою.

Порывисто к скале бросался он,
Взывал, припав к ней, всей своей утробой —
«О сумерках богов мой сладок сон,
Его исторгнуть из меня попробуй!»

Кричал. А коршун падал с вышины
К нему на грудь и мясо рвал кусками.
Сочились недра каменной стены
Кроваво-густо-красными мазками.

От крика содрогался мир вокруг.
Тогда главу закрыла тучи дрема.
И грянул грома дробный перестук.
Но он перекричал раскаты грома.

Грозу отверстой грудью встретил он,
Дохнул — и задохнулся день великий.
Тут понял он, что бурю взял в полон,
Чтоб вымыть очи на небесном лике...

И море синее легло у ног,
И летний день расцвел красно и пряно,
И ночь сплела из ясных звезд венок
В стремлении приветствовать Титана.

Источник сил из-под земли проник,
Как лучший дар, условие творенья,—
В неволе камня вдруг забил родник,
Собой являя жажды утоленье.

Дождем омыло ласково чело,
Глубокие морщины распрямило,
А осенью туманы привело,
Прохладой напоило, осенило.

Зима пришла, подкинула снежка,
Мороз послала зимовать за море
И, только часть скалы задев слегка,
Со снегом вместе укатила вскоре.

Весной цветы тянулись вверх за ним,
Чтоб он отведал сладкий запах меда,—
Так лишь ему, а не богам глухим
Клялось служить любое время года...

Он увидал подобные лугам
Поля, где так недавно море было:
Людское племя воцарилось там
И божью искру колдовски добыло.

Жгли в честь его костры средь темноты,
Ночь осветив во всех чертах подробных,
Крича ему: «Титан, всесилен ты!»
Он как бы породил богоподобных...

Пред ним, создавшим человечий род,
Старались показать свое уменье —
И факельный водили хоровод,
И песней заглушали птичье пенье.

Ему одежду вздумали соткать —
Узорна ткань, а цвет горяч и ярок,
И видят: платье стало уплывать —
Он как бы принял от людей подарок.

На пир веселый к ним он позван был,
Его как гостя дорогого ждали —
И видят: сел он возле, ел и пил.
Они на флейтах для него играли.

Он как бы сам для них придумал плуг,
Чтоб землю распахать полегче стало.
Они груженый ловко гнали струг,
Когда теченье путь пересекало.

Однажды вышли далеко вперед.
Вдруг — буря. Он позвал из бури страстно.
И, как один, поклялся весь народ,
Что божья власть теперь уже не властна.

Учились жить, сумели не пропасть,
Титана глас помог им мыслить шире:
Пал божий трон. Грядет людская власть!
Титаны-люди воцарились в мире...

А боги, кончив в трапезной обед,
В своих покоях предались покою,
Вдруг видят: он — причина божьих бед,
К нему — не к ним — народ потек рекою,

Когда земных сынов призвал Титан,
Вися над бурей на отвесном склоне.
Власть и Насилье вызвал божий клан,
Ища покой в его предсмертном стоне.

И коршуны напали на него
В налете грозном и острокогтистом,
Кругами вышли все на одного —
Но просиял рассвет на небе мглистом.

Еще мертвей брала в обхват скала.
Но он не сдал, не сник и не отрекся.
Уже скала под ним сама сдала,
Он — сам гора — в ее тисках зажегся.

Тогда с отвеса огляделся он
Сквозь даль и время глазом обожженным,
И воспарил, и передал поклон
От узника всем, всем освобожденным.

ОДИССЕЙ

Бессмертных разбудил громовый шум
Сражения, потрясшего просторы.
На поле битвы муж стоял, который,
Не видя битвы, был во власти дум.

Был деревянный конь сооружен,
И пала Троя. А мудрец и воин,
Как прежде, хитроумен и спокоен:
Игру судеб умел провидеть он.

Чтоб все ему раскрылось без утайки
И чтоб узнать страдания людей,
Вернулся он домой, как лицедей,
Он был «Никто» — в лохмотьях попрошайки.

Так, мир познав, вернулся он домой,
Как прежде духом твердый и прямой.

ДАНТЕ

I

Он подошел к воротам городским,
Взглянул назад. Увидел башни, арки...
Флоренция впервые перед ним
Вставала так отчетливо и ярко.

О, сколько лиц! Как слез и смеха много!
И это все он унесет с собой.
Он замечал сейчас, перед дорогой,
Любую мелочь и пустяк любой.

В себя впитать хотел он каждый звук,
А благовест ударами своими
Звенящий свод воздвиг над ним вокруг,
И он измерил время между ними.

К нему с едою придвигались блюда,
Само собой в бокал лилось вино,
Как если б на чужбину с ним отсюда
Они уйти хотели заодно.

Как будто за собой увлечь желая
Весь город, шел он тихо вдоль домов,
И, путника в изгнанье провожая,
Вечерний мягкий ветер дул с холмов.

В огне заката небо утонуло,
Струился детской песенки мотив.
Окно литейной у ворот сверкнуло,
Глазам поэта статуи явив.

II

Он шел вперед, и город пробуждался
В его душе, и город оживал,
И он в него все дальше углублялся
И план его в уме воссоздавал.

С Флоренцией он сжился до того,
Что помнит каждый выступ на карнизах.
Кто смел назвать изгнанником его,
Коль к родине он и в изгнанье близок?

И может ли быть ею изгнан он,
Допущенный ко всем ее секретам?
В нем — город, им он будет обновлен
И гордо вознесен над целым светом!

И, незабвенный город озаряя
Улыбкой, шла по улицам Она,
Единственная, чья душа святая
Во всех вещах была отражена.

В сердцах грубейших вызвав умиленье,
Она сквозь будни непорочно шла,
Как будто миру весть о появленье
Иных людей с собою принесла.

Она пред ним летела над землей
По разоренной войнами отчизне,
Его маня крылатою рукой
Идти за ней стезею новой жизни.

III

«Но почему в одни и те же дни
Мужает знанье и безумье зреет,
Как будто в равновесии они?
Во мне самом, я чувствую, стареет

Отживший мир и новый из ростков
Встает, неудержимо расцветая...
Повсюду пресмыкательство льстецов,
Повсюду зверства ненасытной стаи

Тиранов, придавивших горожан.
И в то же время видим мы, ликуя,
Что новой правдой путь наш осиян.
Как это все пойму и различу я?

Так, грезя о всеобщем мире, шел он
И в городе чужом обрел приют,
Но прежнею тревогою был полон,
Как будто дом его горел и тут.

Он уходил в леса с толпой бродяг
И ягодами дикими питался.
В глухих ущельях, где от века мрак,
Его суровый голос поднимался.

«О звери! — он гремел из темноты.—
Вам, кто войны и крови жаждет, горе!
Италия! Нет, не царица ты
Всех стран, а челн, носимый штормом в море!»

IV

Нет, не легко вернуться. Иногда
В последний миг весь труд погибнет даром,
Когда того, на что нужны года,
Изгнанники достичь одним ударом

Попробуют... Так и они до срока
К воротам флорентийским подошли
И были вновь разгромлены жестоко.
Ни кровь, ни жертвы им не помогли.

Плясал и пел обманутый народ,
Тиранов охватило ликованье.
Изгнанникам, отбитым от ворот,
Пришлось узнать вторичное изгнанье.

Мечи сломали многие из них,
Ценою чести получив прощенье,
А он провозглашал в краях чужих
О человеке новое ученье.

«Дабы велики были вы вовек,
Вам, люди, о великом я напомню.
Сильнее, чем вы мните, человек,
И мир всех наших домыслов огромней»,—

Он написал. И на пергамент снова
Нанес слова уверенной рукой:
«В свой час, как гордость города родного,
Уже иным вернусь и я домой».

V

Лишь тот судья, кто сознается честно
В своей вине и суд вершит над ней...
Он был таким судьей. Он легковесно
Не отрицал в себе самом страстей,

Что, словно враг, во тьме души живут.
Он признавал свою виновность смело.
Изгнанник, он весь мир на Страшный суд
Призвал, пройдя сквозь адские пределы.

Во глубине времен искал он знака
К спасению, и спутником своим
Он выбрал слово древности, из мрака
Забвенья долетевшее к живым.

Размеренно терцины заструились,
И потрясла людей безмерность мук,
И новые миры для них открылись,
И тайное известно стало вдруг.

Во что бы ни рядилась старина,
Ее настигнет приговор суровый!
Она в темницу рифм заключена,
На ней стихов тяжелые оковы.

Свободный город вновь сиял счастливо
И криком «Мир!» изгнанников встречал,
И он, поэт, сжимая ветвь оливы,
В ворота вожделенные вступал.

VI

Он многим дал ответ на все вопросы,
Он жил, казалось, в городе любом.
Погонщики ослов и водоносы
Канцоны пели под его окном...

Окончен век, и суд над ним свершился,
И приговор над ним произнесен.
В крови и муках новый мир родился,
И он стоял в его начале, он —

Предтеча, завершитель и поэт,
Чей лик изваян как бы из гранита
Скалы, что поднялась у края лет,
Ветрам и бурям вечности открыта...

Флоренция не сбросила оков,
Однако дали знать ему тираны,
Что он, славнейший из ее сынов,
Вернуться в город может невозбранно.

Но он сказал в ответ на эти вести:
«Не ждите моего возврата. Я
Не удостою вас подобной чести,
Мои достопочтенные друзья».

Флоренция, не там она была,
Где воцарились гнет и запустенье!
Нетленная Флоренция жила
В его гробнице и его творенье.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

В искусстве тесно. И в искусствах тоже.
В науке теснота. Как мал шатер,
В котором полководцу стелют ложе.
Как мало света! Как тоскует взор!

Что дружба? Тесный круг. Любовь — стесненье!
Что слава? Зависть и дурная спесь.
Что век? Для вечности одно мгновенье.
А бог? Надежд и суеверий смесь.

И необъятным циркулем, который
Кружит миры, вонзаясь в звездный стан,
Он измеряет вечные просторы
И чертит будущего ясный план:

Над мирозданьем человек царит,
Мир изменяет и его творит.

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Вот глыба камня. Сильными руками
Я высекаю человека в ней,
И оживает камень перед нами,
Сверкая теплым мрамором очей.

Он не обманет лживыми словами,
Он вызван к жизни волею моей...
Но раз искусство властно над камнями,
Оно способно изменять людей.

Нет, подлинные люди не могли бы
Свой мир построить из камней немых!
Не для того в горах нависли глыбы,
Чтоб новый мир я стал ваять из них!

Пусть человеку скажет камень твердый:
«Взгляни! Во мне раскрыт твой образ гордый!»

СЕРВАНТЕС

У врат эпохи он стоит на страже,
Встречая грудью прошлые страданья.
Он смехом отражает натиск вражий,
Чтоб легче было с прошлым расставанье.

Столь тягостно подобное признанье!
Невмоготу и сердцу и уму.
Он должен смехом подавлять рыданья,
И нечего завидовать ему.

Он смех завоевал не для потехи.
Он прорывался к новым временам.
Какая боль в задорном этом смехе!

«Со мною смейтесь!» — он взывает к нам.
Избыть он рад бы прошлые страданья.
Наш нужен смех ему для расставанья.

ГАНС БОГЕЙМ
(около 1476 г.)

Я, Богейм Ганс, плясун и запевала.
Побасок всяких много сплел я вам.
Но вот пришла Мария и сказала
(Я в темноте внимал ее словам):

«Свихнувшись, мир бредет напропалую.
Ганс, помоги мне выправить изъян!
Сложи для бедных песню плясовую.
Ты слышишь, Ганс? Плясать заставь крестьян!»

И в день святого Килиана вдруг
Весь Вюрцбург заплясал, и все вокруг.
Везде и всюду пляска бушевала.

Настало время вновь пуститься в пляс.
Кто там для вас поет в столь поздний час?
Я — Богейм Ганс, плясун и запевала!

ЙОСС ФРИЦ
(около 1512 г.)

На Книбисе ночами он стоял,
И ветер мчал его живое слово;
А в это время, сквозь дунайский вал,
Кто нес благую весть родному крову?

На ярмарках, бывало, он не раз
У майских деревец стоял с толпою,
Сидел в корчме, вел лошадь к водопою
И падал, весь молитва и экстаз.

Он пленным утешение без страха
Несет сквозь стены, над провалом рва,
И мужику, ведомому на плаху,
Он говорит напутствия слова.

Он держит знамя. Сам укрыт туманом,
Он весь пылает в знамени багряном!

РИМЕНШНЕЙДЕР

Он увидал крестьянина в селенье,—
Зияли дыры выколотых глаз.
И он сказал: «Тебе верну я зренье».
И лик его, чтоб он глядел на нас,

Воссоздал из простого матерьяла,
Из дерева,— и каждая черта
Мужицким горем и нуждой дышала,
И горькой складкой голод лег у рта.

Он выполнил для алтаря свой труд.
Чтоб обвинял он, сын тот человечий,
Страдальцу крест он возложил на плечи,
Как знамя, что вовек не отберут.

И правду возвестил мужик, смотря
Прозревшими глазами с алтаря.

РЕМБРАНДТ

Он подошел к мольберту, и черта
Легла на холст уверенно и гибко.
И вот лицо возникло, и улыбка
Уже в углах испуганного рта.

Лицо живет. Но слишком темен взор.
В зрачки он бросит по пылинке света.
И это все. Глаза глядят с портрета.
Он все сказал. Он вынес приговор.

Еще сосредоточенный и злой,
Положит мастер лака тонкий слой,—
Он знает: так приятнее для зренья.

И отойдет на шаг от полотна,
Чтоб оценить, какая глубина
В глазах его творенья.

ШТЁРТЕБЕКЕР

(Казнен в 1501 г.)

Так говорит преданье: по рядам
С отрубленной бежал он головою,
И брызгал кровью в лад глухим шагам
Безглавый торс. С свирепой колотьбою

Старалось сердце клеть раздвинуть тела.
Теперь теснило тело! В нем должно
Умолкнуть сердце... А оно хотело
Жить в помыслах народных. Так полно

Оно стремлений, снов, что грозным ходом
И мертвый торс рвануло за собой...
Как сердце весть о гибели усвоит?

Разлука с телом многого ли стоит?
Иль жребий сердцу грезился иной?—
Оно смешаться ринулось с народом.

ЛЮТЕР

I

Монах шагнул на паперть и прибил
Лист тезисов к церковному порталу,
Был день торговый. Гуще люд ходил.
Подняв глаза, толпа листок читала.

О торге отпущеньями, грехе
Лжеверия, налогов непосилье
Открыто было сказано в листке
То самое, что дома говорили.

С соборной колокольни лился звон,
И улицы захлебывались в гаме.
Монах стоял, как будто пригвожден,
Стоял, как будто в землю врос ногами.

Он пел, не отвлекаемый ничем,
Что время возвещенное настало,
Когда вино и хлеб разделят всем,
И был мятеж в звучании хорала.

II

Из Виттенберга слух разнесся вширь:
«Исполнился предел терпенья божья.
По зову свыше, кинув монастырь,
Монах пришел на поединок с ложью.

Мы все равны пред богом, учит он,
Грехам и отпущенье не отмена,
И только лицемерье, не закон,
Царит во всей Империи Священной.

Вкруг бога понаставили святых.
Он, как в плену, в их мертвом частоколе.
Ему живых не видно из-за них,
И все идет не по господней воле.

Нам надобно осилить их синклит
И высвободить бога из темницы.
Тогда-то он, поруганный, отмстит
И на неправду с нами ополчится».

III

По княжествам летели эстафеты
С известием, что заключен союз
В защиту слова божья от извета.
Всяк это слышал и мотал на ус.

Молва передавалась все свободней,
Когда, с амвонов грянув невзначай,
Дорогою к пришествию господню
Легла чрез весь немецкий бедный край.

IV

На сейме в Вормсе, вызванный повесткой,
Терялся малой точечкой монах
Средь облаченья пышного и блеска
Стальных кольчуг, и панцирей, и шпаг.

Он был в дешевой рясе с капюшоном,
Веревкой стянут вместо пояска,
И несся к небу взглядом отрешенным
За расписные балки потолка.

Он был один средь пекла преисподней.
Ее владыка, сидя невдали,
Смотрел на жертву с вожделеньем сводни,
И слюнки у страшилища текли.

Их покрывал своим примером папа,
И, в мыслях соприсутствуя в гурьбе,
Из царств земных своею жадной лапой
Выкраивал небесное себе.

А чином ниже пенились баклажки,
И, вытянувши руки за ковшом,
На монастырских муравах монашки
Со служками валялись нагишом.

Монах привстал. Кровь бросилась в лицо.
Он выпрямился. Он в воображенье
Увидел палача и колесо
И услыхал своих костей хрустенье.

«Как веруешь? Зачем плодишь раздор?» —
Воскликнул император пред рядами,
А эхо раскатило: «На костер!» —
И в сотне глаз заполыхало пламя.

Монах не дрогнул. Выпрямивши стан,
Он ощутил опору и подмогу
В страданьях бедных горемык-крестьян,
В долготерпенье братии убогой.

И, победив насмешливый прием,
Как пристыдить не чаял никогда б их,
Поведал он о господе своем,
О боге бедных, брошенных и слабых.

На золотую навалясь скамью,
Сидела туша с головой свинячьей.
Монах вскричал: «На этом я стою,
И, бог судья мне, не могу иначе!»

V

Совет держали хитрые князья:
«К рукам давайте приберем монаха.
Великий крик и так от мужичья.
Отступишься — не оберешься страху.

Сдружимся с ним, чувствительно польстим
И до себя, как равного, возвысим.
Чего приказом не добыть простым,
Добиться можно угожденьем лисьим.

Дадим вероучителю приют,
И примем веру, и введем ученье.
Сильнейшие со временем сдают
В тенетах славы, роскоши и лени».

VI

Засев на башне Вартбургской, монах
Переводил Священное писанье.
Он в битву шел и бой давал в словах,
Внушительных, как войска нарастанье.

Князья толклись в прихожей вечерком,
Приема дожидаясь, точно счастья.
Чтоб завладеть полней бунтовщиком,
Впадала знать пред ним в подобострастье.

Подняв потир и таинство творя,
Он причащал упавших на колени,
И хором все клялись у алтаря
Стоять горой за новое ученье.

Но как ни веселился мир Христов,
Как ни трезвонили напропалую,
Как ни распугивали папских сов,
Не мог монах пристать к их аллилуйе.

Его тревожил чьих-то глаз упрек,
Оглядывавших стол его рабочий.
Он тер глаза. Он отводил их вбок.
Он прочь смотрел. Он не смотрел в те очи.

VII

Тут поднялись крестьяне. Лес бород,
Густая чаща вил, и кос, и кольев.
«Все повернул монах наоборот,
Себя опутать по рукам позволив.

Все вывернул навыворот монах,
Набравшийся от нас мужичьей силы.
Его раздуло на чужих хлебах,
А лесть и слава голову вскружили.

Он чашу нашей крови, пустосвят,
Протягивает барам для причастья!
А чаша-то без малого в обхват!
А крови в ней — ушаты, то-то страсти!»

VIII

Он уши затыкал, но слышал рев
И в промежутках — пение петушье:
«Теперь ты наш до самых потрохов,
Иди на суд и обвиненье слушай.

Петух я красный. Петя-петушок.
Я искрою сажусь на крыши княжьи.
Я мстить привык поджогом за подлог.
Я углем выжигаю козни вражьи.

Я меч возмездья, я возмездья меч.
Я речь улик, что к сердцу путь находит.
Я тот язык, кого немая речь
Тебя на воду свежую выводит.

Я меч возмездья и его пожар.
Гляди, гляди, как я машу крылами.
Гляди, гляди, как меток мой удар.
Я мести меч и воздаянья пламя.

Князья умрут, и ты не устоишь,
И поколенье сменит поколенье,—
Я буду жить и сыпать искры с крыш,
Единственный бессмертный в вашей смене.

Я как народ. Я кость его и хрящ,
И плоть его, и доля, и недоля.
Я как народ, а он непреходящ,
Доколе жив он, жив и я дотоле».

Монах бледнел, превозмогая страх.
Кричал петух, и меч огнем светился.
Чуть стоя на ногах, он сделал шаг
И вдруг на лобном месте очутился.

IX

Он, как беглец, весь в трепете оглядки,
Чтоб ложный шаг в беду его не вверг.
А сыщики — за ним во все лопатки.
Вот набегут и крикнут: «Руки вверх!»

Он в их кольце. Пропало. Окружили.
И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо.
Какой-то лес; лесной тропы развилье;
Какой-то дом; он всходит на крыльцо.

Как прячутся во сне под одеяло,
Так, крадучись, с крыльца он входит в дом.
И вдруг — ни стен, ни дома, ни привала,
Лишь лес, да вслед бегут,— и он бегом.

Так мечется, склонясь к доске конторки,
Монах с чернильницею в пятерне.
Вдруг склянка скок — и на стену каморки,
И страшен знак чернильный на стене.

Тогда он и крик: «Светлейшие, пощады!
Сиятельные, не моя вина,
Что, бедняков и слабых сбивши в стадо,
Их против вас бунтует сатана.

Какой-то Мюнцер в проповедь разгрома
Вплетает наше имя без стыда.
Прошу припомнить: ни к чему такому
Я никогда не звал вас, господа.

В его тысячелетнем вольном штате
Ни старины, ни нравов не щадят.
Там грех не в грех и все равны и братья —
Огнем их проучите за разврат.

Их надо бить и жечь без сожаленья,
Дерите смело кожу с них живьем.
Я всем вам обещаю отпущенье,
И бог вас вспомнит в царствии своем».

X

Повешенным в немецком бедном крае
Терялся счет, хоть подпирай забор.
Руками и коленками болтая,
Они до гор бросали мертвый взор.

Тела вертелись. Ветер так и сяк
Повертывал их. Появлялись лица —
И вдруг скрывались; так вдали маяк
То скроется во мгле, то загорится.

У многих рот был до ушей разинут
И вырван был иль вырезан язык,
И из щелей, откуда он был вынут,
Торчал немой, но глазу ясный крик.

XI

Счастливцев кучка прорвала кордон,
Где их, как бешеных собак, кончали,
И напевая песню тех времен —
«Головушку»,— брела домой в печали.

Один из них направил в город путь.
Он знамя нес, крестьянский стяг истлелый.
Сорвав с шеста, он обмотал им грудь,
Он пел и пел, прижав обрывок к телу.

Он пел: «Наш флаг, в сердцах людей гори!
Зови народ на бой и стань преддверьем
Иных времен, счастливой той поры,
Когда мы лишь в одних себя поверим».

XII

Он заработок в городе нашел,
Подручным в кузню поступив к кому-то.
У кузнеца был добрый кров и стол,
И знамя не осталось без приюта.

СМЕРТЬ ГЕТЕ

Глаза уже болят без козырька.
Слепящий март теплом в окошко дышит.
И Гете поднял руку. И рука
От слабости дрожит. Дрожит, но пишет.

Откинувшись, полуложится он.
Лишь пальцы шевелятся. Краткий роздых.
И вновь незримо чертит сеть письмен,
Гигантскими штрихами чертит воздух.

Вычерчивает что-то. Ставит точку.
И вдруг рука поникла, но опять —
Чтоб главное навеки зримым стало —

Простерлась ввысь и подчеркнула строчку.
Так он и мертвый продолжал писать...
Он умер, но рука его писала.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

БУРЯ — КАРЛ МАРКС

Навис палящий зной. Загромоздили
Все небо тучи. В чтенье погружен,
Над письменным столом склонился он,
И лоб его морщины бороздили.

Великую загадку брал он с бою.
Он как титан над миром вырастал.
В раскатах грозовых звенел металл,
А он под вой грозы сражался с тьмою.

Закрыл глаза он, но рука писала.
Он не увидел молнии зигзаг.
Был озарен сияньем душный мрак —
То мысль его искрилась и пылала.

Писал он, в нетерпенье привставая.
Тяжелый сумрак туч его давил.
Писал он, словно сам грозою был —
Из фраз летели молнии, блистая.

Писал он, словно бурею влекомый:
«Что разделяет, как врагов, людей?
В чем движущая сила наших дней?»
Ревели над землей удары грома.

Какая непогода разразилась!
Жестокий ветер дом едва не снес.
Он встал. Он вышел в грозовой хаос.
В густом чаду громада туч катилась.

Но буря налетела и минула.
Не он ли буре грянуть повелел?
Закон эпохи он постичь сумел.
В вечернем небе радуга сверкнула.

Закон эпохи понят, обоснован.
Ночь звезды в темной синеве зажгла.
Все мирозданье буря потрясла —
Был ею новый век ознаменован.

ГОРЬКИЙ

Он звался «Горький», потому что он
Не захотел кабальной жизни горечь
Подслащивать словами. То, что горько,
Он горьким звал. Она была безмерна —

Навязчивая горечь нищеты.
Как много проглотить ее пришлось,
Пока ее не выплюнул с досадой
Рабочий люд и не воскликнул гневно:

«Мы этой горечью по горло сыты!
Не горькой жизнь, а сладкой быть должна,
Такою, как она нам часто снилась.
Теперь ее узнаем наяву!»

Он звался «Горький». Он поведал нам
О вкусе жизни...

МАЯКОВСКИЙ

Так он стоит: штанины широки,
Квадратны плечи, выбрит наголо.
Гигантский зал зажал его в тиски.

Над залом реет лозунга крыло;
Внизу, как волны северной реки,
Партер ворочается тяжело.

Ни стен, ни крыши! Словно самолет,
Взмывает зал, кружит над городами,
И мириады звезд меняют ход,

Они иными строятся рядами —
И новый космос снова сотворен.
Все станции забиты поездами,

Идет за эшелоном эшелон.
Как скарабеи черные, упрямо
Вползают танки на могильный склон.

Какая-то накрашенная дама
Терзает онемевший телефон.
Дымясь, растет средь уличного гама

Ряд баррикад. Авто берет разгон;
В нем — человек в консервах, с темно-ржавой
Фальшивой бородой. Он кинул трон,

С которого повелевал державой.
Поэт рукой взмахнул, и зал поет:
«Владеть землей лишь мы имеем право!»

Звезда пятиконечная плывет,
Небесные светила затмевая,
Рождаются слова... слова... и вот

Уже над залом плещет речь живая,
Подобно флагу. Стиснув кулаки,
Сидят красноармейцы, ей внимая.

Прищурен глаз. Уверен взлет руки.
Вновь ленинский смеется острый взор,
И города, как скалы, высоки...

Поэт показывает на простор.
Слова растут, слова — шаги... Тесним
Гигантским залом, говорит в упор

Поэт — и повторяет зал за ним.

АККОРДЕОНИСТКА

Нельзя ей сердце выпустить из рук.
У ней на пальцах — музыка утрат,
Когда колени у нее дрожат
Перед лицом неимоверных мук,

Чей страшный мир вплотную к ней прижат.
Все горе мира к ней прильнуло вдруг,
Чтоб вы забыли свой кромешный ад,
Услышав самый чистый в мире звук.

С трудом дыша, обнять людское горе,
Чтобы запели пальцы в скорбном хоре,
Чтобы судьбу она переборола.

Звучанье каково! Мотив каков!
У ней в груди — рыдание веков,
Песнь горестной эпохи: баркарола.

ГЕНЕРАЛ МОЛА

(Из времен гражданской войны в Испании)

Сидел он автоматом безупречным,
Подписывая смертный приговор.
Остался только китель человечным
Владельцу своему наперекор.

Был китель человеку так подобен,—
Изделие из тонкого сукна,—
Как будто бы душа ему дана,
Как будто бы заплакать он способен.

Когда в горах, не кончив свой маршрут,
Сгорел аэроплан у перевала,
Никто не опознал его сперва.

Потом нашли обугленный лоскут
От кителя. Все, что у генерала
Осталось от людского естества.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ МОЛЧАЛ

«Нам нужно имя. Только имя! Имя!
Молчишь?! Не отмолчишься. Бросит в жар!»
Их четверо. Дубинки с ними.
И на молчавший рот упал удар.

Какая боль! Но, крик куда-то спрятав,
Он только шевельнул беззвучно ртом.
Еще удар... Еще... Четвертый... Пятый...
Счет потерял он на шестом.

В ушах как будто загудели трубы,
А губы стали очень горячи.
И словно палец лег ему на губы
И властно приказал: «Молчи!»

«Молчи, мой рот! Молчи! Ты нем как рыба,
Ты это имя позабыл...»
Тяжелая на грудь свалилась глыба —
И голубой туман поплыл.

Все тело разрывается на части.
И все неистовей ударов злость.
Как жарко дышат яростные пасти...
Как сердце к горлу поднялось.

«Нам нужно имя! Говори, собака!»
«Молчи, мой рот! Я имя позабыл».
Но имя вырвалось из мрака.
С трудом глотнув, он имя проглотил.

Удар... Удар... Размашисто, жестоко...
Глаза распухли. Все горит внутри.
И снова чей-то голос издалека:
«Ты скажешь имя? Имя! Говори!»

Какое имя? Он припоминает...
Нельзя... Не надо... Думай о другом.
Бульвар. Скамейка. Музыка играет.
И публика шатается кругом.

А на скамье, придвинувшись друг к другу,
Сидят они, былые имена,
И все молчат, и бегает по кругу,
Как в мышеловке, тишина.

Но кто-то тишину нарушил,
Назвал то имя. Тсс! Молчи!
Ведь чьи-то сбоку появились уши,
И вновь заговорили палачи.

«Ты скажешь имя?!» Комната кружится,
И стены падают... встают...
А тот, быть может, спать сейчас ложится,
Не зная, что тебя здесь бьют.

Что имя? Слово, семь иль восемь букв,
Семь-восемь звуков — больше ничего.
Но почему резиновым бамбуком
Так выколачивают имя из него?

Да, это имя — важное звено
В цепи заветных, драгоценных слов.
И если с губ слетит оно,
То сколько вслед за ним слетит голов!

Он видит всех. Готовятся бои.
«Товарищи! Не бойтесь, я молчу.
Товарищи, товарищи мои,
Я никого не выдам палачу!»

Как странно!.. Повернулся потолок...
Зачем я здесь? Удар по животу.
Он падает, как брошенный мешок.
И снова соль прихлынула ко рту.

«Ты скажешь имя?!» Имя есть звено.
Оно расплавилось и льется изо рта.
Вот на полу написано оно,
Под ним — кровавая черта.

Он задрожал: «Сейчас они прочтут,
Прочтут разлившееся имя.
Нет, я не дам! Я жив еще, я тут.
Я не пожертвую другими.

Стереть... Стереть!.. Ну, кто теперь прочтет?
Пусть кровь течет, пусть рот кровоточит...»
И он, с трудом скривив в улыбку рот,
Встает, шатаясь, и молчит.

*

Так он молчал. Не нужно величанья,
Ни громких слов не нужно, ни похвал.
Но встанем все и в тишине молчанья
Склонимся перед тем, кто так молчал.

В ЦЕЛОМ КЛАССЕ БЫЛ ОН ОДИНОК

В целом классе был он одинок.
Бабка не сочувствовала внуку.
А отец был в ярости: «На муку
Обрекает нас такой сынок».

Дома был он заперт на замок
И избит: «Не забывай науку,
Чтобы впредь, вытягивая руку,
Как и все мы, «хайль» кричать ты мог».

Он не стал вытягивать руки,
«Хайль» кричать, приветствуя сатрапа,
А когда за ним пришло гестапо,
Спрятался в обрыве у реки.

Труп нашли в предутренней росе,
Не хотел он быть таким, как все.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВСТАВАЛ ОН ДО ЗАРИ...

Каждый день вставал он до зари
И писал старательно и долго.
Словно слышал голос: «Хоть умри,
Но умри, не забывая долга!»

Утром клал листовки он повсюду —
На ступеньки лестниц, на дрова,
Веря, что нужны простому люду
Твердые, правдивые слова.

По складам читали их крестьяне,
Токари несли их на завод,
И они сердца рабочих жгли.
Но жандармы у него в кармане
Как-то раз такой листок нашли...

Гордо он взошел на эшафот.

ЗЕМЛЯ ОСТАЛАСЬ

Солдат, из плена возвратясь домой,
Увидел вновь родимое село:
Дома как будто бурею смело,
Он не нашел приметы ни одной

Знакомой. О, нигде опоры нет!
Исчезли люди, и разогнан скот,—
Лишь битый камень о године бед,
О гибели села рассказ ведет.

Он поднял руку: «Да, земля одна,
Изборожденная, не сожжена!»
...Земля черна, надежна и верна.

Тут руки он молитвенно сложил.
«Земля осталась»,— он проговорил
И, словно сеятель, ладонь раскрыл...

ЖЕНЩИНА У МОРЯ

Каждым утром здесь ее встречали,
Где высоко берег поднялся.
Здесь она стояла — знак печали,
В черный плат закутанная вся.

Трижды молча руку поднимала,
Проводя незримую черту,
Трижды низко голову склоняла
И опять глядела и пустоту.

Три погибших сына — три поклона,
И казалось: пенясь на просторе,
С каждым всплеском море к ней несло
Три и пучине потонувших стона...

Так она смотрела через море,
Рея вдаль, как чернсе крыло.

ТОМАС МАНН

(К посещению им Веймара)

Ты был отринут от родной земли,
Но с родиной не знал противоречий.
В огромных сводах величавой речи,
Которые над временем легли,

В твоем труде она нашла себя,
И тайну лишь тебе она вручила.
Ты был ее молитва, песня, сила,
Когда она простерлась ниц, скорбя.

Ты сохранил святыню языка,
Любя его, как любит хлеб — голодный.
Ты к нам его принес из дальних стран.

И подвиг твой переживет века,
Любовь и честь Германии свободной,
Любовь, и честь, и слава — Томас Манн.

VIII. ЗВЕЗДЫ НА ЗЕМЛЕ

(1933—1948)

МЮНХЕН

О старый город детских игр моих,
Где всюду — кирхи, скверы и аркады,
Где гребень гор, загадочен и тих,
Там, за мостом, приковывает взгляды.

О город первых тайн и приключений,
Где первая строфа мне удалась,
И расступались стены, словно тени,
И все звучало, песней становясь.

Прошли те игры. Песни отзвенели.
Под звук шарманки там, на карусели,
Уж конь и лебедь не летят стрелой.

Лишь льется Изар полосой зеленой.
Все пронеслось... И смотрим удивленно
Мы друг на друга — я и город мой.

КОХЕЛЬСКИЙ КУЗНЕЦ

(год 1705)

Из Изартора в Зендлинг не пройти:
Дороги дымом и огнем объяты.
Бесчинствуют здесь пришлые хорваты,
Кривыми саблями закрыв пути.

Решил кузнец, придя с семью сынами
На зендлингском погосте насмерть стать.
Хоть снег идет,— нет снега под ногами.
Хоть рождество,— молений не слыхать.

Разбито все ударами копыт,
Все сметено при бешеном движенье.
Дымится кровь, и прах могил разрыт.

А он еще стоит, седой боец,
Солдат отряда, павшего в сраженье.
Он, сын народа. Кохельский кузнец.

ПАРИЖ

Как счастлив я, что знал тебя, Париж!
Воспоминание неистребимо
О тех камнях, в которых ты незримо
Минувшие столетия хранишь.

Как счастлив я, что с башни Notre-Dame
Смотрел на шумный город под ногами,
На твой народ, грядущим временам,
Как эстафету, передавший знамя.

Как счастлив я, Париж, что знал тебя
И что забвенье надо мной не властно!
А если вдруг подумаешь, скорбя:
«Быть может, жил и мучился напрасно?»

То сам себе невольно говоришь:
— Я не напрасно жил! Я знал Париж!

ТЮБИНГЕН, ИЛИ ГАРМОНИЯ

Писать бы мне вот так, как все кругом,—
Размеренно, рассчитанно и верно!
Тут свет и мрак разлиты равномерно;
И мост, и старый замок, и подъем,

Ведущий к замку,— то освещены,
То мглой укрыты, и в речном просторе
Спят родники, но в лепете волны
Порою здесь угадываешь море.

Какой везде непогрешимый строй! —
Здесь все кругом естественно, прекрасно,
Слышны как вещий голос,— до одной
Все ноты в нем. Здесь всё дано, все ясно...

Мост с замком говорит, река — с мостом.
С сияньем звезд — ночная тьма кругом.

НЕККАР У НЮРТИНГЕНА

Так плавен ход реки неторопливой,
Что кажется — струятся и луга...
Безбрежие зеленого разлива,
Наплыв полей, заливших берега.

Дрожит над миром белое мерцанье:
То яблони красуются в цвету.
Цветенье. Тишь. Реки очарованье.
Я знал, что здесь я пристань обрету.

В беседке я. У самого порога
Стоит мой стол. На нем кувшин вина.
Пусть я давно уже не верю в бога,
Чудесна ночь и тайнами полна.

О звезды, Неккар, свежесть ветерка,
Когда ж я к вам приду издалека?

УРАХ

Я вспомнил о тебе,— и сразу тени
Сгущаются в знакомой тишине.
Быть может, лучше всех стихотворений
Слова простые: «Как ты дорог мне!»

Ты — городок, живой в своем уюте.
Ручьи. Форель. Руины. Край холмов.
Ты подобрал меня на перепутье,
И надо мной воздвигся теплый кров.

Лежать на солнце в зелени долины
В предчувствии блаженных щедрых лет.
Поднимемся на горные вершины,
И в голову ударит звездный свет.

Глаза слезятся. Небо дышит в лица.
Там, вдалеке, над Шварцвальдом — зарница.

МАУЛЬБРОН

Фонтан лепечет, плещется вода,
Журчит у стен, журчит она у входа.
То — голос моря, то — сама природа
Мне шепчет: Кто ты? Как пришел сюда?

Фонтан поет: Откуда и куда?..—
Слышны в тех всплесках давняя невзгода,
Органа рокот, радужная ода...
Какой же смысл таят в себе года?

Здесь, у фонтана, вижу, как, лучась,
Взлетают струи говорящей влаги.
О Маульброн, в грядущее струясь,
Ты расскажи в своей певучей саге:

Здесь был поэт, и мне поведал он
Событий смысл, сокрытый смысл времен.

ОДНАЖДЫ НА БОДЕНЗЕЕ

Какое быть могло бы процветанье,
Германия, в святом саду твоем!
И вот мы здесь, осилив испытанья,
По вольной воле в первый раз идем.

Прохожему зеленый склон отраден.
Играет в крупных гроздьях сладкий сок.
Мы долго дожидались виноградин,
Но все на свете созревает в срок.

Всю землю бы от края и до края
Погладить, возродившись вместе с ней.
Сегодня, братьям руки пожимая,
Мы празднуем начало наших дней.

Благословенна встреча братских рук!
Цветет и плодоносит все вокруг.

МОРЕ

Мы одни в лесном архипелаге,
Но на каждой тропке голубой
Слышим отдаленный голос влаги,
Моря несмолкающий прибой.

Вечером расскажут сто историй,
Будут говорить наперебой,
Только все о море да о море,
Ставшем здешней жизнью и судьбой.

Тяжелее бремени любого,
Неотвязней памяти любой
Голубое море вновь и снова
Слышу за тобой и за собой.

Море нашими владеет снами,
Волны обступают нас гурьбой,
Возвращается к причалам с нами
Блеск голубизны его рябой.

ЧЕРНЫЕ ПАРУСА НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ

Паруса над зеленью полей,
Лодки над простором луговины;
Ветер, ветер, хлопай веселей
В гулкий бубен черной парусины!

Сквозь переплетенья камыша
Ветер пролетел хриплоголосо,
Паруса, поставленные косо,
Мчатся, солью горькою дыша.

Мельница полна мучною пылью,
Парус прилетел издалека,
Тень его легко легла на крылья
Зазевавшегося ветряка.

Синеву лучами солнца троньте:
Озарится вечера краса
И на отдаленном горизонте
Черные косые паруса.

СИНЕВА

Перед нами вновь морской простор,
Так спроси же: что стряслось с тех пор,

Как в последний час, в последний раз
Синь его легла у наших глаз?

Что стряслось, что в нашу жизнь вошло,
Впрямь ли так нам стало тяжело,

Чтоб молить лиловую волну
Нас повлечь к неведомому дну?

И морские волны нам двоим
Отвечали рокотом своим.

Издалека шел лиловый вал,
Исполинский рокот нарастал.

Смолкнет он — и сердцем ощутишь
Душеисцеляющую тишь.

Так вот все и бродим мы с тобой,
Сумеречный слушая прибой.

IX. ЛЕЙТЕ, ЗВЕЗДЫ, СИЯНЬЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ ДРУЗЬЯМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Как брат я принят был под вашей сенью,
Вы песнь мою от гибели спасли.
В те годы силы зла и преступленья
Меня пытались смять, но не смогли.

Вам я обязан этим. Вы внесли
Надежду в сердце. Зорче стало зренье.
Стихи, казалось, крылья обрели.
Так вы навек вошли в мое творенье.

Но высшую хвалу вам вознесет
За то, друзья и братья, стих поэта,
Что глубоко вы сострадали мне,
Народу моему, моей стране.

И знаю я: сильней, чем я, за это
Благодарить вас будет мой народ!

ПРИВЕТ НЕМЕЦКОГО ПОЭТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

С востока льется свет! Навстречу свету
Поэт раскинул крылья. Скройся, ночь!
Мрак побежден, и небо в синь одето.
Да, эту силу им не превозмочь!

Серп золотой и молот! Все блистает!
Разлив зари в колосьях отражен.
Дрожит буржуй и в страхе поникает,
Буржуй колени ваши обнимает,
Невиданным сияньем ослеплен.

Но будьте непреклонны. Будьте тверды!
Друзья, еще не кончен с прошлым счет.
Круши! Освобождай! Тогда лишь гордый
Воспрянет мирный человечий род.

Тогда — какие люди! Ум и сила!..
Свободу, равенство и братство славь!
В согласье рас, в огне неугасимом
Последнего убийцу переплавь!

Пока же зорче! Болтунам не верьте:
Пророков, шулеров — гоните всех!
Им волю дай — запахнет снова смертью
И кровью обагрится чистый снег.

Я вам кричу: убийцам нет прощенья!
Еще на ранах кровь — не забывай!..
Лишь вы дадите миру исцеленье,
Лишь ваше людям сладостно ученье,
Лишь вы народу создадите рай!

Привет тебе, Республика Советов!
Прочь буржуазных демократий ложь!
Ты, Франция, свой загасила светоч,
Ты, Альбион, к погибели идешь.

Пощады палачам не будет!
Творцов кровавых войн осудит
Дней наших неподкупный суд.
Для богачей не будет чуда:
Уже встают рабы повсюду
И цепи рабства всюду рвут.

Хвала неукротимой силе!
Как ярко солнце засветило,
Кварталы бедняков согрев!..
Блистает ангел с баррикады.
Ты слышишь грохот канонады?
В нем мира вечного напев!

У ГРОБА ЛЕНИНА

(1924)

I

Что это за поезд? Над ним развеваются красные флаги с черной каймою,
И по ледяной пустыне
Идет он, идет он,
И там, где он проходит, у маленьких сельских станций
Стоят безмолвно, угрюмо,
Сжимая шапки в руках,
Крестьяне.
Стоят недвижимы,
Недвижимо скорбят,
Плечо к плечу,
И плачут...
Что это за поезд? Он входит под своды вокзала Москвы,
Миллионный народ подходит к нему,
Несет знамена и стяги,
Венки из цветов, венки из простого металла,
И на плакатах пылают слова: «Его дело бессмертно».
Ледяные пустыни провожали его, этот поезд,
Реки, моря, и хребты, и сибирские степи,
Урал стремится за ним, Кавказ и полярные дали,
Днестр и Волга, Днепр и Нева...
О поезд, скорбный поезд!
Дети его поджидают у дверей вокзала, рыдая.
Кого же с поездом этим ныне встречает Москва?
Старик крестьянин шепчет:
— Ильич наш, Ильич!

*

В алом гробу — Ленин,
Он покоится на алой подушке.
Лютый мороз... Миллионы проходят по Дому Союзов,
Миллионная масса сама соблюдает порядок,
Сама сохраняет строй.
Она устремилась сюда из казарм, с заводов, за сотни и тысячи верст,
Отовсюду.
Рабочие, работницы, крестьяне, крестьянки,

Моряки, директора красных заводов, красноармейцы,
Ветераны партии, юноши...
Кто не стремится сюда?
Мертвый Ленин принимает последний парад,
Мертвый Ленин отдает последние приказанья.

Полыхают красные знамена — это красные знамена Коминтерна,
Полыхают красные знамена — это красные знамена
Центрального Комитета,
Полыхают красные знамена — это красные знамена Революции,
красные, как кровь.
Молчат колокола Москвы.
Но колоколом на весь мир гремит горе людей, и слезы горя выступают на их глазах.
В этот день — на весь мир гремит траурный марш,
В этот день — на весь мир гремит «Интернационал».
Гром орудийных залпов.
В зимних сумерках блестят острия штыков.
Прощай, Владимир Ильич!

II

Германия 1924 года:
Снова сотни тысяч голодных бродят по ночным городам,
Без пальто, глубоко заложив кулаки в карманы брюк, бредут
безработные молча в глубоком снегу
От биржи труда до биржи труда.
Восьмичасовой день становится девятичасовым,
Десятичасовой — двенадцатичасовым...
На огромных океанских судах восстают матросы,
Флотилии миноносцев входят в гамбургский порт,
Они подняли красный флаг,
Безработные разгромили арсенал,
Портовым рабочим раздают винтовки.
— Братья, помните о расстрелянных, лежащих в лужах крови!
— Миллионы, помните о миллионах кровавых жертв!

Красными заняты вокзалы.
Красными взят телеграф в Науэне.
Снова прорезает ночь телеграфная искра: ВСЕМ, ВСЕМ...
Из газетных типографий грузовики вывозят гигантские кипы
революционных листовок.

Мы горы обрушим на вас,
Горы, окаменелое горе —
На вас! На вас!
Все озера земли полны не водою — слезами,
Реки слез впадают в моря, и океаны слез.
На вас, на вас обрушится этот поток!

*

У гроба твоего, Ленин,
Стоим мы все в почетном карауле.

ВСТУПАЕТ ЧЕЛОВЕК В СТРАНУ СОВЕТОВ

I

О вы, кто ищет утешенья в храме!..
Святые носят каменный наряд.
В ночах озарены прожекторами,
Обломки дряхлой древности стоят.

Вы, кто себя еще не смог найти,
Вы, люди, потерявшие друг друга,
Какие вам откроются пути
В бессмысленном метании по кругу?

Вы, кто глаза до крови натрудил,
Следя за ходом стрелок! Ведь идут
Часы так медленно. Их бой не возвестил,
Что времена счастливые грядут.

Вы, кто читает в книгах про героя,
Что смерть презрел и пересилил тьму,
Про господа, что создал нас с тобою
По образу-подобью своему,

О смелых племенах и о титанах
(Чего пытливый мозг не сочинит!),
О дивных островах и чудо-странах,
О тайнах затонувших Атлантид;

Вы, кто такого человека ищет,
Который бы прославил этот век
И был ясней умом и сердцем чище
Всех, кого звал вождями человек;

Вы, кто прикованы к своим машинам,
Познали горе, рабство и позор,
Стремясь в мечтах к невиданным вершинам,—
Сюда, сюда свой обратите взор!

II

Открыв мечтаний светлые врата,
Вступает человек в Страну Советов.
Какой ты стала маленькой, мечта,
Перед величьем зримой яви этой!

Себя самих и землю изменяя,
Здесь люди воздвигают города.
В пески пустынь безжизненного края
Из шлюзов мощно хлынула вода.

Прокладывая рельсы в глушь окраин,
Народ встает во весь гигантский рост.
Пространств, времен, движения хозяин,
Он достигает недоступных звезд.

Твердыню знаний смог он с боя взять,
Он изменил лицо самой природы.
И мысли благородная печать
Лежит на светлом облике народа.

Смеясь, он может месяца коснуться,
Паря, как птица, в белых облаках.
Об эту силу насмерть разобьются
Немое одиночество и страх.

И самолетом разрезая тучи,
Он землю озирает с высоты
И видит в ней, прекрасной и могучей,
Свои неповторимые черты.

В минувший мрак и в завтрашние зори
Ему дано проникнуть одному.
Что с нами было и что будет вскоре,
Известно с достоверностью ему.

Исполненный священного дерзанья,
Он прозревает сложный ход времен.
Не зря им пройден долгий путь страданья,
И новой мерой землю мерит он!

ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО

Среди пустыни дерево росло
В сиянии плодов своих чудесных.
И даже ночью было там светло
Среди песков, безводных и безлесных.

Кто создал новый мир в трудах совместных?
Чье восторжествовало ремесло,
Чтобы цвела пустыня и росло
Там дерево взамен светил небесных?

Эпоха плодородия пришла,
И, значит, зеленеть пора пустыне.
Свободны люди от нужды и зла.

Мечтаньям дерзким время сбыться ныне.
Роятся звезды, чуя высоту.
Летит народ и светит на лету.

ТАНЦУЮЩАЯ ЦЕРКОВЬ

Прожектор купола зажег лучами,
Заигрывая с церковью старинной,
И церковь куполами, как плечами,
Поводит, танец начиная чинно.

Лучи шныряют в небесах над нами.
На Красной площади — толпа единой
Сплошной лавиной, как живое пламя,
Плывет в гигантском танце исполина.

Кружится церковь, быстро, как волчок,
Раскручиваемая лентой белой
Прожектора... Кипит людской поток,
Ее в свой праздник затянувший смело.

Она стоит, как пойманная в сети,—
Дитя ушедших в прошлое столетий.

СТАРЫЙ ДОМ В МОСКВЕ

На той стене портрет царя когда-то
Глядел из рамы. Теплилось мерцанье
Кивота в том углу... Пусты палаты,
Их господа скитаются в изгнанье.

И в этих залах с лепкою богатой,
Где радуги и хрусталя сиянье
На люстрах трепетало в час заката,
Теперь лишь смерти царствует молчанье.

Могилы сырость здесь, и пауки
Ткут паутину на провисшей балке.
Пригоден этот щебень лишь для свалки,
Приехали за ним грузовики...

Ведь город молодеет неустанно...
Здесь будет площадь, клумбы, плеск фонтана.

МОСКВА

Из всех столиц великих — ни одна
Так не растет и к свету не стремится.
Ты много шире, чем глазам видна:
Никто не знает, где твоя граница.

Ты лучше стать повелеваешь нам,
Ты требуешь стремлений неизменных,
И тот, кто верен прошлым временам,
Себя увидит в прошлом в этих стенах.

Из всех столиц великих — ни одна
Так шириться и крепнуть не стремится,
Как ты, познавшая свой смысл и цель.

Народ — твой зодчий. Мощная страна —
Фундамент твой, о вольная столица,
Освободительница всех земель!

РАДОСТЬ

I

Вы, кем вселялись думы и краски, в звуки,
Кто думу в камне вырубить посмел,
Дерзнул взорвать мир повседневной скуки,
Нам подарив вселенную и удел!

Герои и искатели! Не буду
Порочить ваши громкие права!
Мыслители, поэты! Будем всюду
Вас чествовать и ваши чтить слова.

Но выше, всех превыше голос славит
Тех, кто вторично мир открыл для нас,—
Тебя, творить не устающий класс!
И счастлив тот, кого наш век заставит

Жить заново без смуты и печали!
О, радость мира! Брезжущие дали!

II

Вы, город солнца зревшие и мечтах!
Ваш ум рождал неслыханные планы,
И аппарат на призрачных крылах
Вас уносил в заоблачные страны.

Вы, жившие, свой детский бред взлелеяв,
Конструкторы утопий мировых!
Как блажников, еретиков, злодеев,
Вас жгли, пытали в тюрьмах вековых.

Поэта речь — как бы с собою в споре,
Ей исстари к лицу людское горе
И радость петь, казалось, не дано;

Так как же весть она расскажет эту,
Что даже камни хмурые по свету
Разносят грозным гулом: «Свершено!»

ВАЛЕНТИНОВКА

Там, где синеет ельник на холмах,
Где речка разлилась по луговине,
Где расцветают яблони в садах
И нет ни края, ни конца равнине,

Иной раз там в свободный день воскресный
Наполнен светлой праздничностью бор:
Гулянье там. И весь простор окрестный
Веселым пеньем оглашает хор.

Звучит гармонь. И песня, долетев,
Нас дружелюбным радует приветом.
И мы готовы, наслаждаясь летом,

Забыть о мыслях тягостных и хмурых
И подхватить ликующий напев...
О Валентиновка, мой русский Урах!

ЗАСТОЛЬНАЯ

Собравшись семьею единой
За праздничным светлым столом,
Грузинские пили вина,
Но думали все о другом.

О Майне, Франконии милой,
О круглых цветущих холмах,
Штральзунда красе унылой —
Низине, что вся в ветряках.

Тоска вкруговую, как чаша,
В безмолвии всех обошла.
О, если б отчизна наша
Навеки свободна была!

Мечтая о счастье возврата,
Мы сущность постигли вполне
Ошибок тех, что когда-то
В родной совершили стране.

Молчание сердце сжимало,
Но песней прервалось оно.
Мы пили под звон бокалов,
Грузинское славя вино.

Мы славу теперь возносили
Народам Советской земли:
Нас дома отчизны лишили,
Мы родину здесь обрели.

С ночной, чуть мерцающей тишью
Дыханье сливалось цветов.
«О братья! Бокалы выше!
Мы пьем за погибших борцов».

И звезды, блеснувши в стаканах,
Казалось, взывали: «Вперед!
За близость дней долгожданных!
За вольный немецкий народ!»

СМЕРТЬ КОМИССАРА

Шли в Петроград, покинув корабли,
Прославленные моряки-кронштадтцы.
Их белые схватили. Повели
К скале над морем. Пробил час прощаться

С землею, с небом, с жизнью и с борьбой...
Со связанными за спиной руками
Они стоят. Внизу гремит прибой.
Легли на грудь привязанные камни.

И комиссар подумал: «Как давно
Промчалась юность...» И шагнул к обрыву.
На миг закрыл глаза — и, как в кино,
Мелькнула жизнь так ярко, шумно, живо...

Внизу клубится сероватый дым.
Здесь — жизнь. Там — смерть. А он стоит на грани.
Сегодня в вечность канут вместе с ним
Картины дорогих воспоминаний.

...За школьной партой в шумном классе он.
Он учится, зря времени не тратя.
Он в азбуку веселую влюблен,
Выписывает буквы он в тетради.

...Одесса. Забастовка... Прискакал
Отряд казаков. Темная квартира...
В брошюрах запрещенных он искал
Причин и следствий сложной жизни мира.

...Война. Тоска по родине. Любовь.
Любовных писем медленное тленье.
...А небосвод, как в детстве, голубой.
...Листовка. И под нею подпись — Ленин...

...Восстание. Вновь боевая жизнь...
Вдруг от воспоминаний слезы брызнут!
Теперь бы лишь не сплоховать, держись!
Так вот он — край его короткой жизни...

Он видит чаек. Жадно дышит грудь.
Последние секунды, словно искры,
Летят и гаснут... Море, не забудь
О моряке, чья жизнь прошла так быстро.

Сейчас бы полететь за чайкой вслед
Поближе к солнцу над безбрежным морем,
Пожить еще хотя б немного лет,
Чтобы помочь в несчастье людям многим.

Вернуться б снова к жизни и потом
Продолжить прерванную вдруг атаку,
И жить в полете трудном и крутом,
Бросаясь в бой по первому же знаку.

Еще он молод. И пока что жив.
Еще наполнен силою весенней.
А перед ним неотвратим обрыв.
Он должен умереть. И нет спасенья.

Но кажется ему — в лучах зари
Он и друзья его выходят снова,
Как легендарные богатыри,
На берег золотой со дна морского.

О, море! Выпить бы его до дна,
Как чашу богатырскую из сказок...
Земная жизнь, как хороша она...
Но он шагнул. И прыгнул. Молча. Сразу.

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ЛЕНИН

Тысяча лет пройдет, как проходит день,
Но и тогда
Не устанут повторять имя
«Ленин».
Из сотен тысяч ленинских уголков
Складывается мир.
Тысяча лет пройдет, как проходит день.
Над всеми кремлями мира
Будет реять красное знамя
И по ночам освещаться огнем.

Тысяча лет пройдет, как проходит день.
Покроются мохом забвенья
Имена многих, кто был прославлен когда-то,
Не донесут их ни книги, ни преданья,—
Но его, Ленина, все будут помнить,
Имя его станет насущным словом,
Именем его, как знаменем красным,
Украшать будут мир.

Тысяча лет пройдет, как проходит день.
Он же прорастет сквозь времена и поколенья,
Будет расти и расти,
Как дерево, что разветвляется

С каждым годом все больше
И чьи корни уходят под землю,
Разбегаясь по всем направленьям.

Тысячелетний Ленин!

ЛЕНИН В МЮНХЕНЕ

Мне кажется, *его* тогда я встретил.
На берегу реки была скамья.
Читая, он сидел, и день был светел...
Командовал «разбойниками» я.

Мы позабыли всякие границы.
Мы берегом носились, гомоня.
И глянул человек поверх страницы,
Как будто видеть мог он сквозь меня.

Вдруг в незнакомца камни полетели,
Но мигом дал я сорванцу отпор:
«Кончай сейчас же! Что ты, в самом деле!
Читает он... а ты... Какой позор!»

Как подобает благородным людям,
Я шапку снял, и смолк ребячий гам:
«Мы, сударь, в вас камней бросать не будем.
Простите, если помешал я вам».

Он улыбнулся. День был очень светел.
Потом я видел: что-то пишет он...
Наверное, *его* тогда я встретил,
Улыбкою его преображен.

ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМИК

I

Дай в доме деревянном этим летом
Пожить нам! Среди всех домов на свете
Лишь дом такой — как существо живое.
Он дышит, пахнет! О происхожденье

Своем твердит он внятно: он куском
Остался леса. В домике таком
Древесном, как ладья приставшем здесь
К безмолвной бухте бора, на себя
Взгляни построже. Как все это сталось?
Откуда б это? Старые загадки
Живут в тебе, и в час, когда луна
Горит на лапах неподвижных елей,
Луч пробуждает скрытое. Встает
Со дна былое! Прошлого не сдержишь.

II

Я в доме деревянном под Москвою
Живу, где родину нашла вторую
Поэзия. О, как просторен мир,
Где человек завладевает счастьем,
Где року он не брошен на добычу!..
Что ж, выйди на опушку и взгляни:
Там поезда бегут по гулким рельсам
Из Самарканда или на Ташкент,
С аэродрома самолеты в небо
Срываются. Сумей и ты мечтой
Подняться в небо и чертить крылом
По неизвестному. Тебе везде просторы
Открыты. Дело только за тобой:
Измерить неизмеренные выси.

III

Я в доме деревянном улетаю
В Германию, спускаюсь там, где Урах,
Где сузилась долина,— словно мир
Замкнулся вдруг пологими холмами...
Там у крыльца сижу я против Эрмса
На старенькой скамье и размышляю:
Как горек путь! Как необычно все,
Что с нами сталось! Мыслью не обнимешь!
Вот год, второй и третий! Я считаю,
Считаю все часы,— лета изгнанья

Я день за днем еще раз прохожу,
Слова к ответу требую и много
В них нахожу случайного и много
Упущенного мною ненароком.

IV

Не дай себя в забвение толкнуть
И навсегда запомни, где ты был,
С чем породнился. Все ты предприми,
Чтоб не утратить связей! Переулком
Броди знакомым, площадь посети,
Взгляни в окно украдкой, к старым лавкам
Направься медленно, запомни цены
И вывеску прочти — все тот же самый
Владелец?! А потом пойди к знакомым,
За словом слово — и сплетется сеть
Беседы неразрывной! Ты покрепче
Ее свяжи заветными словами —
И вдруг свое же слово повстречаешь,
Вернувшимся к тебе из уст других.

V

Ты слишком с почвой сросся, чтоб тебе
Межа отрезала границы,— пусть
Надрез глубок... О связанность с былым:
Телеги у «Охотничьей сторожки»
И тары-бары под дымок махорки...
На рынке шум и гам! А у дантиста
Сидят в приемной скулы в пухлом флюсе.
«Позвольте, сударь!» — зубу козья ножка...
А поле в васильках да в редких брызгах
Багряно-красных маков; в ручейке
Форель всплеснула — близится гроза,
Над «Альпами суровыми» сгущаясь...
А имена селений — сплошь на «енье»,
Как пенье, зренье, рвенье, как боренье.

VI

Хвала борьбе! Но кто-то должен быть,
Кто сохранит и дали, дав приют
Им в песне. Ведь и слово хочет зреть
И ждет ухода. Мост воспоминанья!
Дай по нему спасти, что любо нам
И дорого: нетленные богатства
Народа. Лишь от них вкушая, можем
Мы жить и впредь. Борьба жалка была б
И немощна, когда бы день за днем
Она лишь с тем возилась, что за час
Любой чужак измыслит на досуге.
А так — война священна! В ней и честь,
И доблести народные живут,
И вся тоска великого былого.

VII

Ни звука вам не уступлю! Ни краски,
Хотя б одной, не дам по доброй воле!
Ни звона кос востримых, ни бренчанья
Коровьих колокольцев — ничего здесь
Нет вашего. И луч зари не ваш!
Не ваши звезды, грозы, долы! Стрекот
Цикад не ваш! И бабочка не ваша,
К цветку прильнувшая! Тропу лесную —
И ту мы оттягаем, каждый куст,
Травинку и букашку, даже вкус
Съестного! *Наше* пьете вы вино
И *нашим* хлебом кормитесь! Так было.
Все это мы возьмем у вас — и больше
Того: наш воздух, вам дышать дающий.

VIII

Да, каждый, хоть единый раз зрачком
В себя вобравший это, никогда
Раз найденного не утратит. В нем
Оно живет стократно: брезжут горы,
Как в прошлом, и Дунай обходит Ульм
Прозрачным легким обручем, в то время

Как там, повыше, где стоит обитель,
Еще меж скал он бьется (мнишь порой:
Их не прорвет он!) и кружным путем
Обходит холм, повсюду оттесняем,
И иногда отпрянувшие воды
Вбирает вспять, дохнув на нас стоялым,
Пока другой поток не подоспеет,
Не понесет его в триумфе к устью.

IX

Вот что непреходяще: эти скалы
Крутые, что, держась за корни сосен,
Грозят сорваться, и над ними — сквозь
Листву дерев — блеск синевы бездонной...
Непреходяще: дым, прозрачной прядью
Вплетенный в воздух над селом знакомым,
Пред тем как сгинуть в мгле, наперерез
Лучам вечерним легший в зыбку ветра...
Непреходяще: крик сычей тревожных,
И всюду ночь, и всюду мерный шорох,
А звезды низки так, что нас, быть может,
Их луч достанет. Но внезапно в мир
Вошла луна, как дикое светило.
Полночный лес блестит, как в лак окунут.

X

Сижу я перед домом. Много старых
Знакомых вижу, проходящих мимо.
И многие, меня узнав, спешат
По мостику ко мне, дивятся встрече:
— Откуда ты? Ну как? — О, что за ласка
В рукопожатьях! Как нежны объятья,
Улыбки, взоры, речи! Как близки
Мы снова. Ни крупинки отчужденья.
Беспечный смех! Но вдруг встает молчанье
Вкруг нас. «Евгений Шёнгар тоже (тот,
Из Эслингена. Помнишь?)». По долине
Вдруг тишина проходит, словно в ней
Дыханье ветра затерялось; травы
Сгибаются, как под незримым шагом.

XI

Да, мало мы любили! Потому
И терпим. Разве я вступал в беседу
С тем мужичком, подвязывавшим лозы
Под Кресбронном? Нет, он с своей лозою
Был мне не нужен. Потому-то я
И должен — на чужбине — с ним беседу
Наверстывать. Я чуждый проходил
И гордый знаньем, а другой, меня
Чуждаясь, шел сторонкой с «лучшим знаньем».
И все-то с «лучшим знаньем» этим! Каждый
Был умудрен. Любви ж недоставало,
Терпенья, чуткости. И дружных сборищ.
И обсуждений — вплоть до дел мельчайших! —
Всего, что жжет, томит и мучит душу.

XII

Все это от гордыни, столь знакомой
По суетной возне пустых ничтожеств!
Я легкий знал исход, когда со мной
Не соглашались: гордый превосходством,
Я умолкал, терпенья не имея
Упорствовать, как праотцы велят:
«Не отступлю, коль не благословишь!»
Должно быть, лишь поверхностно я был
Поранен новой правдой! Разве я
Иначе так осмелился б забыться:
«Или я сторож брату своему?..»
Жестоко я позволил им поддаться
Речам блудливым, и в потоке слов
И на меня, как вал, свалилась немощь.

XIII

Нет, говорить «люблю» нам не поможет.
От повторений клятва докучает,
И ей никто не верит. Потому,
Коль любишь лес, лелей его словами
Несказанными. Делает любовь
Изобретательным: и слышишь ты и видишь

Немое и незримое; и мыслишь
Чуждавшееся мысли. Все, что любишь,
С тобой общаться хочет: лист лепечет,
Чуть шепчет мох, и не безмолвны камни.
Как с лесом здесь, так и со всем на свете.
Вещам и людям дать язык — любовью
Я называю. Жить любовью — значит:
Дать неосознанному ключ к сознанью.

XIV

И о зверье подумай! Плохо ты
Со зверем обращался, хоть и лесах
Ты и внимал щебечущим аккордам,
И светлякам дивился, вдоль дороги
Мерцающим, и в бабочкиных крыльях
Немого счастья трепет различал...
Но слишком чуждо ты держался. Близость —
И та была чужда до содроганья!..
«Я» тяготеет к «ты» — и к «ты» животных,
И к «ты» растений. «Ты», лишившись «я»,—
Само себе чужое. Только в «ты»
Себя постигнем. Давняя загадка —
Твоя лишь отчужденность. Всюду ты
В глухом лесу с самим собой столкнешься.

XV

Черты ландшафта врезались глубоко
Мне в сердце. Кажется, слова и те
Хотят по ним ложиться: с мягким спуском
Обвал кремнистый часто здесь соседит.
Да и сравненья все от них идут.
Строй речи и мечта — украсить склоны
Весельем жизни. О, когда б и люди
Цвели, как ты, огромный сад природы!
А так — тут горе мыкают. Нужда
Шныряет по дворам. Помещик едет
В далекий город; а вернется — новый
Закон объявит, и еще тяжеле
Стал барский гнет! По всем трактирам сходки!
Грозит набат! Скрежещет гнев в молитвах!

XVI

Обману не поддайся в час, когда
Долиной бродишь и ручей, как прежде,
В ней ропщет. Не подсчитан сонм убитых,
Но ты — как будто грозный ряд гробов
Стоит вдоль лога — их забыть не смеешь.
В ветвях дерев висит их крик предсмертный.
Зеленый скат души не утешает,
И взор уходит вдаль, пока его
Колючки не удержат, ближний лагерь
Обвившие. От них весь край в крови,
Любой цветок шипами порастает —
И ранит сердце мне. Пускай и здесь
Цветы цветут, но запах их до нас
Не долетает сквозь зловонье рабства.

XVII

Здесь копит мощь война! На Мюнзинген
Идут войска пересеченным логом.
Круша деревья, с гор, покрытых хвоей,
Сползает пестрый танк. Земля разверзлась
От нас невдалеке, и огнеметы,
Забивши ввысь, шуршат гремучим змеем.
Недавний куст стальным поводит глазом...
Тут в небо выплыл легкий треугольник,
И бомбы на условные мишени
Попадали!.. Но, в точку обратясь,
Вдруг сгинул треугольник, как виденье
Грядущего... Как примириться с мыслью,
Что это явью станет?! Много сил,
Казалось мертвых, властвует над миром.

XVIII

Как мне собрать и высказать все то,
Что мучит сердце, так, чтоб речь была
Ясна еще? Дорога, вся в извивах,
На Тюбинген вниз к Неккару кружит,
Отвесный брег, когда мотор, ворча,
Летит аллеей к мосту, под которым,

Вобравши весла, лодки быстрой стайкой
Скользят неслышно... Вы, долины, в мягкой
Зеленой замше, с вашей вечной грустью!..
Я плохо вас благодарил за ласку.
Всех лучше тем воздам вам, что приму
Вас и песнь мою! Взрастет, воспоминаньем
О вас томим, мой ненасытный гнев.
О, ярость гнева! Плодотворный дар!

XIX

В траве высокой лежа, глядя в небо
Сквозь сумрак елей, тонко окропленный
Летучей мошкарой, пока не канешь
Сам в синь небес, не бойся снам отдаться,
Живи высоким сном, богатым, светлым,
И знай, как он ни смел, наплыв видений,
Он все же слабый оттиск по сравненью
С тем будущим, немыслимо прекрасным
И полным мощи. Так и со стихами.
Чрезмерно долго песнь томилась, чтоб
Уже сегодня отыскались строфы
Той радости под стать! Едва рожденный
Поэтом, стих закружит, зашумит
В народе... Запевает хор за хором.

XX

Весь в яблочном цветенье Нюртинген!
В саду харчевни, сердце расплавляя,
Гармошка заливается. Цветенье
Деревьев и протяжный ветерок
Нам весть приносят: занялась она,
Та вечная весна, которой пел
Когда-то Гёльдерлин святые гимны.
Звук слов его, сведенных в чистый строй,—
Как будто знал он радостный закон,
Которым люди жить в грядущем станут,—
Пусть вольно льется! Ибо вторит им
Народ. Да, нам опять доступны чувства
Священные! И вновь звучат слова
Светло и внятно. Держат обещанья.

XXI

Ведь в Шварцвальде и Страсбургский собор
Бывает виден. Отовсюду дали
Нас кличут. По волнам холмов лесистых
Мы, вглубь нырнув, опять уходим ввысь —
Полета легкость и одновременно
Весомость глуби... Вот и ветер к нам
Доносит песни. По крутым вершинам
Костры мерцают. Прожитое здесь
Сошлось с грядущим, чтобы с ним вступить
В союз ненарушимый. Чудно нам
Поет народ на старый лад, и чудно
Грядущее поет нам. В наших песнях
Мы человека из страны великой
Помянем, славя в нем вождя и друга.

XXII

Все это лишь начало. Много в сердце
От прошлого! Я обрываю, чтобы
Все сызнова начать,— и нет покоя,
Нет отдыха... Когда же одержимость
Стихает и спадает жар познанья —
Мутит от лучших рифм, строфа бессильна
Взметнуть нас к высям и в дурную гладкость
Впадает вялый стих. Будь неподкупен
В борьбе с собой! Не дай себя увлечь
Рукоплесканьям! Похвала сбивает.
Не вправе ты содеянным кичиться.
Ведь все — лишь ожиданье, все еще
Ты сделать должен... О, как далеко
Твоим твореньям до твоих героев!

XXIII

Ты, возвращенье в грезах, мне готовишь
Веселье лучшей встречи! Разве я
Не ускоритель сроков ожиданья,
Не завершитель дней тоски, когда
Мне удается завладеть словами,
Рожденными из гнева и из мук,

И образ дать — необоримой силы! —
Боев геройских, столь призывный, что
На место каждого, кто пал, десяток
Вступает в строй?.. Слова плодотворят
Страдание и слезы, безнадежность
Лишают яда, устремляя мощь
Души туда, где все, теснясь, толпится,
Что хочет *стать*, деяньем исцелясь.

XXIV

И сгинет он, как в сказке, серый сумрак,
Лежавший на земле. И если сыну
Начнет о прежнем мать: «Давным-давно...» —
Ей чуждым будет собственный рассказ
О том, что в прошлом было: броненосцы
И бой на небесах — орда чудовищ,
По прихоти безумца жечь народы
Летевшая... И тут с улыбкой мать
Посмотрит в глубь столетий, ибо ей
Лицо того привидится, кто их
Сумел смирить,— орду кровавых чудищ.
Она поет. Про Ленина. В дитя
Его впевает имя, учит сына
Махать ему ручонкой в глубь столетий.

XXV

Мать и дитя. Что́ с алтарей взирало
Так недоступно чуждо, все же бывши
Достойным почитанья, ибо в нем
Дышало то, что в каждом было свету
И благости... Давно воспряли люди
От преклоненья чуду, и давно
Забыт народом гнет порабощенья.
Всемощь, всеведенье, все, что людьми
Приписывалось в прошлом вышним силам,—
Все это с бою взято, небеса
Богов для них открыты: изваянья
Красы высокой смелым поколеньем
Превзойдены, воздвигшим этот мир;
Ему же имя — Царство Человека.

У ДНЕПРА

Встал на колени он перед рекой
И поклонился ей, сняв шлем походный,
Погладил воду ласково рукой —
И словно потеплел поток холодный.

И словно руку он реке пожал...
Пылал здесь мост, разбомбленный когда-то,
Был тот же самый отражен пожар
В речных глубинах и в глазах солдата.

Вот здесь тогда сражался батальон.
Солдата берег прикрывал тенистый.
И вот, вернувшись, обнял реку он,
К ее груди припавши материнской.

Он здесь родился. Здесь же в первый раз
Он боевое получил крещенье.
И он реке поведал без прикрас
Про отступленье. И просил прощенья.

И вдруг застыл, припомнив грозный год.
И так стоял, хоть под ногами топко,
Хоть, кажется, звала его вперед
Положенная на траву винтовка.

— Прости, река, прости меня, река,
Тебя покинул, светлую, в тот день я.
Казалось мне, что пронеслись века
Германского стального наважденья.

Твои страданья те же, что мои.
Я помню мертвый мост и трупы бревен.
Но мы вернемся, завершив бои,
И встанет новый мост, могуч и ровен.

И, кажется, винтовка поклялась,
Что так и будет, щелкнув вдруг затвором.
И, прозвенев: «Я верю!» — поднялась
Волна над ровным в этот час простором.

Тогда он шлемом воду зачерпнул
И пил. Потом плеснул в лицо струею,
И словно той струею зачеркнул
Былое и готов был снова к бою.

И силы возвратились вновь к нему.
И он сказал товарищам в волненье:
— Здесь, как от матери в родном дому,
Я принял от реки благословенье.

Бойцы из шлемов пыльных напились
И, глядя на окрестные руины,
Поклялись: «Песни вновь наполнят высь,
Начнется вновь цветенье Украины!

И за рекой возмездьем станет бой».
...В седом дыму окрестность потонула.
Сама винтовка словно за собой
Солдата через реку потянула.

Солдат в рыбацком стареньком челне
Поплыл туда, как свет навстречу мраку,
Сошел на берег, дрогнувший в огне,
И ринулся в победную атаку.

МОСКВА

1941

Истошный долгий вой прорезал тьму,
Он ширится, пронизывает стены,
И все и все должны внимать ему,
И спящие встают на зов сирены.

Лучи взметнулись в облачный простор,
Повисли сетью зыбкой и летучей.
Прожектор в небо щупальца простер,
Отыскивая вспугнутые тучи.

Моя Москва! При имени твоем
Сердца сильней трепещут. Вихрь металла
Стремишь ты в ночь, и даль загрохотала,
И блещет небо огненным дождем.

Я чувствую: вокруг тебя растет
Любовь народов. Каждый внемлет, веря,
Что ты сразишь коричневого зверя,
Что враг летит в последний свой полет.

Твои бойцы не ведают смятенья
И бодрствуют на кровлях, чтобы враг,
Низринув пламень и непокорный мрак,
В ответ увидел только пламень мщенья.

В том пламени — любовь к Москве, чей свет
Царит над притаившеюся далью.
Полночный мрак, любовью той согрет,
Врага встречает смертоносной сталью.

Когда, Москва, на небосвод ночной
Бросаешь ты разрывов сеть живую,
Слова, давно начертанные мной,
Я повторю как клятву боевую:

Меж городов, прославленных молвой,
Тебе дано превысить все столицы,
Неудержим расцвет могучий твой,
Твои всечасно ширятся границы.

Вперед и выше, говоришь ты нам,
И ты не оставляешь нас в покое.
В тебя вошедший скоро видит сам:
То, чем он был, должно уйти в былое.

Меж городов, прославленных молвой,
Пространства ты и вечности носитель.
Неколебим фундамент крепкий твой,
Ведь сам народ — великий твой строитель.

САЛЮТ В МОСКВЕ

Грохочет залп, и в выстрелах слышна
Уверенность... В раскатах — утвержденье:
«Священный долг! Священная война!
Едины русские в своем стремленье!»

Пока тропа огня ведет вперед
И небо фронта застилает порох,
Синет над Москвою небосвод
В игре ракет, в причудливых узорах.

Зажглась на небе елка рождества.
«Мир!» — возвещает каждая ракета.
Еще в руинах птицы гнезда вьют..

Но близок час победы торжества.
Там в небе памятник ее из света.
И снова залп прогрохотал — салют!

ЛЕЙТЕ, ЗВЕЗДЫ, СИЯНЬЕ!

Кто нас в незабвенные даты
Избавил от бедствий войны?
Советского войска солдаты,
Герои Советской страны.
Спасибо ж вам, братья-солдаты,
Герои Советской страны!

Немецкий рабочий! С любовью
О ком вспоминать мы должны?
Всем лучшим обязан ты крови
Революционной страны.
Так вечно же помни о крови
Революционной страны!

Весна над землею займется.
Пусть ведают наши сыны:
Для счастья всеобщего бьется
Сердце Советской страны.
Оно и для немцев бьется,
Сердце Советской страны.

Лейте, звезды, сиянье!
Песни об этом слышны:
В мир принесла процветанье
Кровь Советской страны.
Мир принесла народам
Мощь Советской страны.

ИЗ КНИГИ «ШАГ СЕРЕДИНЫ ВЕКА»

МЫ — СТИХИ — ТАИМ В СЕБЕ ЗАГАДКУ...

Мы — стихи — таим в себе загадку,
Пусть она не каждому видна.
Но пришла б поэзия к упадку,
Если б тайну не несла она.

О, не зря стихи таят в себе загадку!..

Все, что подло, низменно и пресно,
Не приемлют строгие стихи.
Но порой и счастье бессловесно,
И стихи молитвенно-тихи.

Да, порой и счастье бессловесно...

Мы звучим в торжественном хорале,
Свет скользящий шлем издалека.
И, взвиваясь круто, по спирали,
В бесконечность тянется строка,

Круто поднимаясь по спирали...

Между строк искать разгадку надо,
Не спеша прокладывая путь.
И разгадка будет как награда,
Если ты проникнешь в смысл и в суть.

Мыслью вникни — и постигнешь суть!

То, что не постигнуто доселе,
Завтра ты узнаешь все равно,
А не завтра, так через неделю
Для тебя откроется окно.

Тайну ты раскроешь все равно!

Будут все разгаданы загадки:
Часто сам ты, прячась, входишь в стих
И с самим собой играешь в прятки.
Ты, постигнув стих, себя постиг.

Часто сам ты, прячась, входишь в стих.

Это жизнь тебе откроет тайну,
А стихи должны деяньем стать.
Так смотри не опоздай случайно
Важную загадку разгадать,

Тайну жизни вовремя узнать!

Вникни смело в суть стихотворенья,
И оно, как светоч вековой,
Полное высокого горенья,
Навсегда подружится с тобой,

До конца подружится с тобой,
Полное священного горенья!

ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ ИНАЧЕ!

Ты должен жить иначе! —
Повсюду слышен зов.
Ты говоришь: «К задаче
Я этой не готов».

Спеши, спеши в дорогу,
Все вышло нынче в путь!
А ты в ответ: «Ей-богу,
Пора и отдохнуть!»

Как мы себя обидим,
От времени отстав!
А ты в ответ: «Увидим,
Кто был из нас неправ!»

Ты должен жить иначе,
Себя переменить.
Ты говоришь: «Тем паче
Есть смысл повременить».

Так будем откровенны:
Неясен твой ответ.
Ты хочешь перемены,
А отвечаешь: «Нет».

Поверь в наш век горячий
И не торгуйся с ним.
Ты должен жить иначе!
Мир сделался иным.

НАДПИСИ НА ПАМЯТНИКАХ В БУХЕНВАЛЬДЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛАГЕРЯ

Вот здесь был лагерь смерти возведен —
Колючий нескончаемый забор.
В бараках серых — мучеников стон.

Сквозь ночь — в глаза — прожектор бьет в упор,
И — виселица: «власти» смысл и суть...
...О, не забудь позора тех времен!

Вовеки Бухенвальд не позабудь!

ПРИБЫТИЕ В ЛАГЕРЬ

За что, за что сюда согнали вас?
«Кто лгать не мог, был «под сомненье» взят.
Завесу лжи с людских срывавший глаз

На пытку шел, и угрюмый каземат.
Но не сломили ни петля, ни штык
Того, в ком жар свободы не угас...»

Какая мощь! Как человек велик!

КАМЕНОЛОМНЯ

О камни! Обличите произвол!
В каменоломнях маялся народ
И в прах скелеты камень размолол...

Так много лет. Восьмой уж минул год...
Иль замерло здесь время навсегда?
Когда ж конец страданиям придет?

Очнешься ль ты, Германия?.. Когда?

РАБЫ

Беда тому, кто выбился из сил,—
Тотчас же тачка явится за ним.
Эй, кто там слег? Кто руки опустил?

Сверхчеловек — он был неумолим.
Бесчеловечен тот сверхчеловек...
Грохочет тачка. Вьется черный дым.

И это пусть запомнится навек!

СОЛИДАРНОСТЬ

Они пошли наперекор судьбе —
В союз они вступали боевой.
Багровый флаг, пылая, звал к борьбе.

«Мужайтесь! Верьте! Воздадим с лихвой
За это горе, что постигло нас!»
И шепот рос, подхваченный молвой:

«Оружье добывайте! Близок час!»

ПОДПОЛЬЩИКИ ЧЕСТВУЮТ ТЕЛЬМАНА

Эрнст Тельман — сын Германии родной.
Пред нами он в сиянии предстал.
И чудилось, что весь простор земной

Поет наш гимн «Интернационал».
Торжественно, величественно так
Звучат слова: «Воспрянет род людской...»

И Тельман взвил высоко алый стяг.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Свершилось все, что Тельман говорил.
«Оружье к бою!» — загудел набат.
И смертники восстали из могил.

Простерши руки, вот они стоят.
Вглядись, узнай их и навеки будь
Священной верен клятве. Слышишь, брат,

Их голос: «Бухенвальд не позабудь!»

БЕЛОЕ ЧУДО

Посвящается гению Мориса Утрилло

Белы березы, и белы седины,
Бело крыло, и грудь как снег бела,
И платье бело, и белы куртины,
И белым стужа землю замела.

Белы ракушки, и белы рубашки,
И бел налет на плесени, и мел,
И небо в зной, и на волнах барашки,
И на пути горючий камень бел.

А за окном белеют занавески,
Как лед в горах, как яблонь цвет живой,
Как в лунной мгле поля и перелески,—
Иль краскам — гибель этот белый твой!

Гранит и мрамор, шаткие ступени,
Сухих костей чуть желтоватый цвет,
Цвет камбалы, и белый цвет сирени,
И все — мечта, и ей предела нет.

В молочной тьме белеющее море,
Крик чайки, пляж — как снега полоса.
И голос флейты в соловьином хоре,
И лунный свет, и ночь, и паруса.

Иль белый твой — для красок возрожденье?
О, цвет весны!.. О, сны в лучах луны!..
Сады плывут, как белое виденье...
О, белый мир! О, чудо белизны!

БРЕХТ И СМЕРТЬ

К одним она приходит не спеша,
Зато к другим стучится слишком рано.
Порой желанна, чаще — нежеланна,
Зла и добра, дурна и хороша.

Но вот, явившись к Брехту на порог,
Смекнула смерть: здесь толку не добиться!
Срок не настал, но и просрочен срок...
Так Брехт со смертью начал насмерть биться.

Смерть опоздала: труд был завершен.
Смерть поспешила: труд еще в работе.

Так Бертольт Брехт, собрав остаток сил,
За смерть жестоко смерти отомстил.

Вы этот труд, потомки, воспоете.
Спасибо Брехту до конца времен!

ПРЕКРАСНАЯ НЕМЕЦКАЯ ОТЧИЗНА

Когда говорят
О красотах отчизны,
Следует помнить
О красоте человека.

Люди тогда лишь красивы,
Когда прекрасен созданный ими порядок,
Когда общество так же прекрасно
И жизнь хороша.
Об этом думайте!
Напоминайте об этом!

Да что б означала
Красота вековечной природы,
Если б при всей красоте
Изнывал бы в беде человек?

О, как прекрасны
Седые альпийские горы,
Темная зелень лужаек,
Чистая влага ручьев!
Белые эдельвейсы
Манят на лоно природы...
Но средь той красоты,
Окруженный колючим забором
С электрическим током
И вышками сторожевыми,
Расположен был
Концентрационный лагерь...
И тогда казался ужасным
Этот альпийский пейзаж.
И красота, окаймлявшая лагерь,
Была издевательской,
Мертвой,
Ненужной...

Ведь там лишь прекрасна отчизна,
Где порядок жизни прекрасен,
Где прекрасно устройство людей
И прекрасен сам человек.
Красота нераздельна,
Красота отличается цельностью.

Пойте хвалебные гимны
Цельности красоты!

КОРАБЛЬ МЕЧТЫ

Где тот напор и тот задор? — Увы!
Где строки, что так буйны и лукавы:
«Срывает ветер шляпу с головы,
С мостов под насыпь валятся составы»?

Как флагом стать и в бурю воплотиться,
Веселой вьюгой мчаться по земле
Иль в сказочное плаванье пуститься,
Как плыл Рембо на «Пьяном корабле»?..

Так, вопрошая, ждали мы ответа.

И вот — ответ: «До звездной высоты
Мы в жизни — не в стихах! — дорогу строим.
Рожденная свободным, новым строем,

Строкой стиха взвивается ракета,
Он гордо мчится ввысь, корабль мечты!»

ВСЕЛЕНСКИЙ МАНИФЕСТ

О чем повествуют баллады, седые легенды и саги?
Какою мечтой одержимый шагал еретик на костер?
Мечтою о том, что однажды в порыве безумной отваги
Удастся свершить человеку прыжок во вселенский простор.

Знать, в дерзких возникла умах сия небывалая ересь,
Горячие головы, видно, взлелеяли этот прожект...
Над белым листом чертежа навис инквизитор, ощерясь.
Король посылает шпионов на ловлю сообществ и сект.

Продуманы, взвешены, сверены были детали полета
И снова отвергнуты начисто. Снова — все зданье на слом.
Петляет пунктир траектории. Рушится стройность расчета.
В задаче эпох оставалась ракета искомым числом.

Издревле уже человек в мечтах себя видел крылатым,
Хотел от Земли оторваться, манящих достичь облаков.
И звезды мигали ему: «Назло королям и прелатам
Летучим владыкой вселенной ты станешь во веки веков!»

Но падает в море Икар. Еще времена не настали.
Пройдет еще много столетий. Дорога еще далека.
Еще не парит над Землею машина Лилиенталя,
И смелые Райты в ту пору еще не взвились в облака.

И только людская фантазия, как документ, достоверна,
Туманом сокрытые дали очам ее зорким видны.
Она торжествует в поэмах, клокочет в романах Жюль Верна,
Обгонит любую ракету и первой коснется Луны.

Так образ героя крылатого рожден был самим человеком.
Свершив сотворение мира, высокого полн торжества,
Под ритм и гуденье машин он шел по угаданным вехам,
По-новому понимая извечный закон естества.

*

И вдруг закружилась в ликующем танце планета.
Кончилась предыстория. Пробил решающий час.
В шествии демонстрантов — поступь эпохи. Это
Гневно на улицы мира вышел рабочий класс.

Какою железной силой людские наполнились руки!
Сердце увереннєй бьется, мечта обретает плоть.
Столетие революций, великая эра науки
Решит вековую задачу, и смерть ей дано побороть...

Столетье двадцатое! Славься вовеки!
Хором мильонов спета тебе хвала.
Надежду, что слабо теплилась, смутно жила в человеке,
Ты превратило в реальность и воплотило в дела.

Столетье двадцатое! Поле битв небывалых
Между тем, что рождается, и тем, что бесследно уйдет.
Стачки... Война мировая... Всполохи стягов алых...
И, наконец, — «Аврора». Октябрь. Семнадцатый год.

«Всем! Всем! Всем!» — радиограмма гласила.
Свобода врывается в залы, под строгие своды дворца.
Гул голосов... Шагает неудержимая сила,
И вспыхнула пламенем красным звезда на фуражке бойца.

О красная наша звезда, рожденная ленинским гением,
Земная звезда свободы, радости и красоты!
Тебе я свой труд посвятил, ты правишь моим вдохновением,
Затем что из долгого мрака народы вывела ты!

Пытались тебя уничтожить, держать твой огонь под запретом,
Но натиск шальных ураганов ты в битвах смогла превозмочь.
Безумных слепцов ты сжигаешь своим негасимым светом,
Сметая призраки ночи, ты разгоняешь ночь!

Союз Советский! Тебе открыты сердца всех народов.
Твой голос, взывающий к миру, достоин кантат и поэм.
Пустыню ты в сад превратил руками своих садоводов,
И внемлет бескрайность вселенной бессмертному:
«Всем! Всем! Всем!»

*

Мелодию позывных шлют во вселенную рации.
Россия к великому старту сегодня сигнал подает.
И кажется, что ракета зовет все народы и нации
Отважиться и решиться на межпланетный полет.

Так свет большевистской звезды вошел в бытие и сознание,
Так к древним загадкам и тайнам был найден единственный ключ,
И, вспыхнув в ночи, осветил кромешную мглу мироздания
Этот во все проникающий, все обнимающий луч.

Светлым, торжественным гимном звучат позывные в эфире —
Это вселенская радость взяла небывалый разбег.
Звучала ль с такой высоты когда-либо песня о мире?
Где ярче свидетельство сыщешь, что всемогущ человек?

Взгляните на человека! Планеты хозяином юным,
Уверенный в собственной мощи, идет он по вольной Земле.
И сбудется, сбудется сон! К неведомым солнцам и лунам
Причалит владыка вселенной на гордом своем корабле.

Уже мне мерещатся станции той межпланетной трассы,
Которую он проложит, далеких миров властелин.
О, верится мне: доживу до вожделенного часа —
И вот под созвездьем Медведицы вспыхнет названье: «Берлин».

Гигантские хоры поют, и слышат надзвездные сферы
Хвалебную песнь человечества на ближней и дальней волне:
Честь вам и слава, физики! Слава вам, инженеры!
Слава надежде народов — великой Советской стране!

Долгие годы страхом был человек придавлен.
Смерть человека страшила, злая пугала нужда.
От нищеты и бесправья вскоре он будет избавлен.
Страх пред всесилием смерти он победит навсегда!

Полные гордой радости, мы возвестим перспективу:
Идет лучезарное время для всех народов и стран.
Вот оно, совершается самое дивное диво —
Послушно служить человеку атомный станет титан.

*

Надо мечтать о космосе!.. Сколько великих свершений
Нам принес на планету геофизический год!
Энергии, что возникли из наших снов и видений,
Творят легендарное чудо и время толкают вперед.

Слава советским народам! Слава всем миролюбивым
Народам и странам, чей голос так явственно слышен окрест!
«Овладевайте вселенной!» Слышите? С этим призывом
К людям Земли обращается вселенский наш манифест.

ШАГ СЕРЕДИНЫ ВЕКА

Да будет песня спета!
Вы все внемлите ей.
Мир — в пламени рассвета,
Победа у дверей.

Как никогда доселе,
Мир полон жажды жить,
И люди захотели
Над звездами кружить.

О, счастья предвкушенье!..
Любви и дружбы речь:
Всемирное решенье —
Мир в мире уберечь.

Кто мнил, что мы спасуем,
Тот жалок и смешон.
Не он, а мы ликуем,
Не мы дрожим, а он!

Когда-то всем владевший,
Сильнейший из владык,
Пес-рыцарь одряхлевший
Последний скалит клык.

Но в ярости бессильной
Он сам попался в плен:
Он — только прах могильный,
Он весь труха и тлен.

О чем же он хлопочет?
Живым грозит мертвец.
Никак понять не хочет,
Что наступил конец.

Свой дом, давно прогнивший,
Он розами увил.
Бездарно жизнь проживший,
Он жизнь бы удавил.

Но даже бомбой ныне
Он мир не сломит наш:
Там, в безграничной сини,
Не дремлет звездный страж.

Да что бы означала
Для нас его война?
Им до ее начала
Проиграна она.

Мы смело рвемся к счастью,
Наш подвиг осиян
Неколебимой властью
Рабочих и крестьян.

Железной волей спаян,
В преддверье новых эр
Народ — судьбы хозяин —
Построил ГДР!

То сила человека
Взвила свободы стяг.
В шаг середины века
И наш вчеканен шаг.

По всем путям и трактам
Весенний льется свет.
Шаги подобны тактам
Симфонии побед.

Как жизни утвержденье,
Шаги друзей звучат:
«Вы — смерть, а мы — рожденье.
Мы — утро, вы — закат!»

Победой окрыленный,
Взывает человек:
«Сплотитесь, миллионы!
Мы с партией навек!»

ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ»

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Я — лишь вопрос, лишь голос запустенья,
Что в клочья ветер над балконом рвет,
Но мой отпор средь злобного смятенья
Отяжеляет в небе ваш полет.

Мы — в пропастях, и цепи не порвать,
Мы — в адских льдах, откуда нет возврата...
Лишь по ночам, туманами объята,
Вдоль белых рек несется наша рать.

Нас греет лишь мечта о дальнем лете,
Где под звездой счастливой цвел наш дом.
Нас рвут и ранят рощ густые сети,
Метлою гонят, жгут косым дождем...

Удар лучей убьет нас на рассвете,
Дробясь, на синий берег упадем.

СОН

Как сладко спал я!.. В таинстве лесном
Сплетались дни и ночи воедино,
В руках лежала пестрая долина,
Озера глаз цвели... Глубоким сном

Подхвачены, волною через вены
Струились в грудь просторы всей земли,
Белело пеной море, и Арденны
На лоб широким глетчером текли.

Роняли пальцы черный сок вина,
Была в росе ресниц трава густая,
И запах смол туманил дебри сна.

А в кратер уха рвался все смелей
Рассветный зов. И, склоны губ лаская,
Струился ветров голубой елей.

ПУЛЕМЕТ

Из тонкой глотки извергаешь ты
Свой адский град — с татаканьем веселым
По мягким травам, по холмам и селам
Ты рыскаешь с утра до темноты.

Навстречу атакующим полкам
Вонзается бурав твой раскаленный:
Беззвучно в пыль вжимаешь ты колонны
Ломаешь в небе крылья смельчакам.

Ты ждешь в кустах, где мглы густая залежь
Но прям приказ, а ты — еще прямей,
И вновь, хрипя, трясешься ты и жалишь,

Пока железной лапою — не смей! —
Тебе лица не раскроят... Тогда лишь
Смолкаешь ты, тысячезубый змей.

ОТСТУПЛЕНИЕ

О чем печалюсь я под мокрый шорох ливней?
Какой потери мне все жальче с каждым днем?
О чем с такой тоской все злей, все заунывней
Скрипит и воет вихрь и стонет старый дом?

Я с буднями хочу отныне примириться,
Трудиться яростно в горящих недрах гор,
Где грохот молотов, где тачек вереницы,
Согбенный, проклятый, измученный шахтер...

Я злыми бурями истерзан и изломан,
И толпы демонов во сне меня томят...
О, если б в поезде сквозь дым, и свист, и гомон

В счастливый край и мне умчаться на закат —
Туда, где все еще сквозь чистый воздух
Над зарослью людской мерцает небо в звездах!

ГАНС БАЙМЛЕР

Вальдтурн. Отец — батрак. Служанка — мать.
Ты — бедный Ганс. Любуйся облаками.
Побегать можешь ты за мотыльками
И о «счастливом Гансе» помечтать.

Урок тебе преподан был заводом.
На миноносце мичманом ты стал.
Но главное: не порывать с народом.
С народом вместе встретить штиль и шквал.

В награду получил концлагерь ты.
Тебя бы в три погибели согнули.
Но ты крепыш. Ты не того покроя.

Бежал ты под защитой темноты
В Испанию. Ты пал на поле боя.
Как говорится, «лучших любят пули».

СКИТАНИЯ

Как грустно мне!.. Покинут отчий дом...
В лицо свистит, хохочет вьюга злая.
Мой пес у ног подпрыгивает, лая,
Но друга-пса я отогнал пинком.

Я мнений ждал от тех, с кем был знаком.
Тупиц безмозглых видел без числа я.
Судьба со мной шутила, посылая
Лишь флюгера́ под модным ветерком.

Как пыжатся, свой вес поднять желая,
Чиновным званьем, родовым гербом
И фразой скудость мысли застилая.

Я среди них прослыл еретиком,
В запретный рай своей мечтой влеком.
В глухой ночи скитаюсь, замерзая.

ЛЕЖАТЬ У ДОРОГИ

Свернув с дороги, ляжешь на живот,
И поползут, скрипя, телеги мимо.
Хвостом в лицо телок тебе махнет,
Дохнет лачуга жидкой струйкой дыма.

Как хорошо лежать, когда кругом
Простерся мир, тобою населенный,
Прибоем омывая окоем.
Ты — дерево. Ты — холм. Ты — луг зеленый.

Я возвратился. Заперт отчий дом,
Ночною темнотою искажен.
И смотрит на меня звонок молчком.
Ну, хоть бы для приличья звякнул он!

Я возвратился. Как я был бы рад
Весь век идти куда глаза глядят!

МЕРТВЫЙ ЛЕС

Проснулся лес, и хор запел звенящий,
Смеясь, цветы под солнцем заблистали.
А мы внизу стояли, в самой чаще,
И наготове топоры держали.

Мы лес рубили, свежий, шелестящий...
И треск и грохот оглашали дали...
Чтоб сплавить бревна по реке бурлящей,
Шестами их толкали мы вначале.

А в городе — здесь этот мертвый лес
Лесами стал, что поднялись на стройках.
И мы на них взошли. Но не исчез
Какой-то трепет в этих брусьях стойких.

Стропилам снится в ветреные дни,
Что стали вновь деревьями они.

О БЕЗДНА ЗЕЛЕНИ!

О бездна зелени! Здесь заключен
Глубокий, вечный мрак лесов! О зелень
Бездонная! Твой властный зов не мне ли
Велит идти в глухую даль времен?

Когда темнеет небо в поздний час,
Еще бездонней, зеленей ты... Точно
Кропит листы неведомый источник,
Являя мне сокрытое от глаз.

О бездна зелени! Как я растерян!
Под бременем загадок изнемог.
Ответа нет!.. Тоской терзаем злою...

О бездна зелени! Я знаю, я уверен,
Вторично бы на свет родиться мог,
Лишь обними меня зеленой мглою!

ТОСКА ПО НЕУВИДЕННЫМ ГОРОДАМ

Да будет мне дозволено грустить
О городах, где был я лишь в мечтаньях,
О новых людях, дальних расстояньях,
Но разве явь мечтою заменить?

Пока мы живы, надо б много стран
И городов изъездить отдаленных.
Есть сотни мест, для сердца затемненных;
Они в мечтах чуть зримы сквозь туман.

Когда права Свобода обретет,
Начнут по свету странствовать поэты.
И будут гимны всем народам спеты.
Но больше всех восславят тот народ,

Кем создан был народностей союз:
Раздолье беспредельное для муз.

КЛАДБИЩЕ СТИХОВ

Здесь мир заветных строчек погребен...
Здесь мы лежим, набиты в толстый том.
Плитой надгробной давит нас картон,
Нам тесно в обрамленье золотом.

Здесь мы покоимся — мечты поэта.
Щиты-заглавия над нами в ряд:
Такой-то чувствовал и то, и это...
Могильным сном скелеты-мысли спят.

А греза!.. Прежде радуга на небе,
Она упала наземь, цвет поблек.
Ее поднявший рад находке не был,
Пожал плечами, бросил за порог.

Луг радости, облитый слез росой,
Опустошила смерть своей косой.

ТВОИ ЧЕРТЫ

Твои черты — смогу ль их воссоздать я?
Веду штрихи карандашом несмелым.
Но как связать их, сделать стройным целым?
Нет, лишь — хаос! Бесплодное занятье!

Ты больше, чем закатною порой
Начертано вдали, ты ярче света!
Волной несешься, радостью согрета,—
Ты боль моя,— всегда, везде со мной!..

Сидим, бывало, под покровом тьмы,—
Слова роняя,— то оставим слово
Лежать на месте, то уроним снова,
Как будто в домино играем мы.

Как ни роняй,— составят лишь одно
Узоры черных глаз на домино.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ СОНЕТЫ

I

Спасибо всем. Но все ж благодарить я
Обязан прежде всех родную мать.
Какие б в жизни ни были событья,—
С рождения нам надо начинать.

О, мать! Всех добрых чувств первопричина,
В твоей заботе радость и тепло.
В твоей улыбке ласковой для сына
Сияние всех весен расцвело.

Пусть колдовство исчезло детских лет,
В тебе — прибежище, к тебе — доверье.
Твой образ — словно благовеста след...

И это все в стихах пою теперь я,
Поэт, влюбленный в край свой до седин.
За все благодарит «беспутный сын».

II

Тебе, отец, признателен я тоже
За то, что с детства ты держал в узде,
Стремясь, чтоб сущностью мы стали схожи,
Чтоб мыслил я, как принято везде.

Ты из деревни. Ты благонамерен.
В своих устоях ты окостенел.
Ты в справедливости всех догм уверен
И эту веру мне б внушить хотел.

А я твой антипод. Контраст живой.
Вослед тебе не сделаю ни шага...
Правдивость и бесстрашие со мной
И недозволенных путей отвага.

Как видишь, мы не стали двойниками,
Но боль твою я высветил стихами.

III

В глухом лесу я слал слова молений,
Под грохот бурь не прерывал пути...
Преодолел я тысячу ступеней,
Чтоб на Голгофу с трепетом взойти.

Молился я, я исполнял заветы
И в сроки причащался тайн святых.
На шее были образки надеты,
Но ты не услыхал молитв моих.

О всеблагой! Я, на коленях стоя,
Благодарю, что милость не явил:
Не солнце благодати золотое —
Безбожья тьму Берлин мне подарил.

Теперь живу я, боже, без вериг:
Непостижимый, я тебя постиг.

IV

За град ударов и тебе спасибо,
Мой самый верный, мой всегдашний враг.
Не жить в застое мне отныне, ибо
Ты к свету правды вывел через мрак.

Ты, протянув мне горечи сосуд,
Заставил жизни изучать законы.
Я должен был, поняв, за что секут,
Постичь искусство выставлять заслоны.

Меня учил ты свято ненавидеть.
Что ненавистью мир наш заражен,
Я на твоем примере мог увидеть,
И мне полезным оказался он.

Пусть плодоносной стала эта мука,—
Как дорого мне стоила наука!

V

Спасибо той, чье скрыто будет имя,
Любимой, влившей столько свежих сил.
Поддержанный советами твоими,
Мой поводырь, я дух свой укрепил.

Спасибо всем, кто первым шел на штурмы,—
Мыслителям, поэтам и борцам,—
Кто знал немилость, эшафот и тюрьмы
И взлет идей, как дар свой, отдал нам.

Но им хвалы не нужен ореол:
Не славословь — почти молчаньем.
Долг благодарности такой тяжел,
Хотя порой соседствует с признаньем.

Не лучше ль юным, нам вослед идущим,
Тот дар вручить, чтоб жив был и в грядущем?

СМЕРТЬ БЕЗРАБОТНОГО

Там, во дворе, мальчишка крикнул вдруг,
И брань — в ответ... Потом звонок трамвая...
Он медлил, плотно рамы закрывая,
В нем отдавался болью каждый звук.

И — газ открыл. Поникла голова.
Все в мире стало так легко и странно.
А у постели из кривого крана
Сочились капельки — едва-едва...

Часы все шли, и стрелка все спешила,
Чтоб дрожь унять, к ладоням он приник,
И словно борода его душила:
Стал тесен, тесен липкий воротник...

А капли все стучали у постели,
Как будто разбудить его хотели.

ТЮРЬМА

Живут не люди в этом доме — годы,
Течет седое время, как река:
Стекаются под каменные своды
В огромное безмолвие века.

Дом высится, суров и неподвижен,
К дождю и солнцу равнодушен он.
Сквозь эти стены из больших булыжин
Не проникает человечий стон.

Неужто вечен сумрачный гранит
И устоят пред бурей камни свода,
Как горный кряж, который мать-природа
От разрушенья бережно хранит?

Становится здесь камнем человек
И остается каменным навек.

СТРАННИК

Не нужно мне ни паспорта, ни виз,
Когда я в ночь из дня перелетаю.
Без устали порхаю вверх и вниз,—
С комфортом путешествую всегда я.

Вот пересадка, рано на заре,
И днем дорога ждет меня большая.
Так — я несусь в пленительной игре,
Вокруг себя кружусь, не уставая.

Лечу, хоть вряд ли сдвинется карета,
Сквозь глубину времен. И уж немало
Успел я повидать,— но только жаль:
Как много-много тьмы, как мало света!..

И я плетусь — покорно и устало —
В бесцельный путь, в неведомую даль...

ИДИ ВПЕРЕД!

Иди вперед! Бесстрашно поднимись
Высоко в горы, озирая дали!
Иди вперед и выше, пусть устали
Глаза и ноги,— поднимайся ввысь!

Клеветников угрюмых не страшись,—
Они тебя жестоко оболгали,—
От козней их спасешься ты едва ли,
Которые вокруг тебя сплелись.

Иди вперед, всегда вперед, внимая
Приказу класса,— не сгибайся сам,
Наветов и клевет не принимая:
Пусть труд твой даст ответ клеветникам.

Иди вперед, иди путем бойца,
Иди вперед, не дрогнув до конца.

ПАРТИЯ

Кем был бы я без Партии, один,
Не закаленный в этой строгой школе?
Горластый, бесноватый мещанин,
Терзал бы я себя и в алкоголе

Купался бы, и до таких глубин
Дошел бы я, признаться, в модной роли,—
Певец крушений, катастроф, руин,
Изысканный в своей роскошной боли,—

Что все бы наконец мне надоело:
Мой бесполезный стих, душа и тело,—
И в петлю бы полез я сам со зла.

Я жив, и я иду другой дорогой,
Но от судьбы моей меня спасла
Лишь Партия своею школой строгой.

ТРИ ЭПОХИ

Вперед устремлены глаза народа,
И в прошлые века, и на поэта.
Скажи мне, кто я, написавший это?
Начало? Бездна? Мост для перехода?

В себе найду ли силы для похода
Во имя правды и во имя света,
Чтоб истина, моим стихом согрета,
Сияла беспощадней год от года?

Я должен путь свой в завтра проложить
И во вчера. И все услышать вздохи.
Я должен «жил, живу и буду жить»
Соединить в одной моей эпохе.

И чтоб проникнуть в сущность века, надо
Рентгеновскую беспощадность взгляда.

САМОВЛЮБЛЕННОМУ ПОЭТУ

Я был бы счастлив, если бы хоть раз
За целый год доволен был собою,
Как ты доволен каждый миг и час
Своей безмерно щедрою судьбою.

Вознесся ты к бессмертным от земли,
А наш удел — в экстазе, в упоенье,
Перед тобою ползая в пыли,
Внимать божественному песнопенью.

А где откажет гений, там интриги
Утрату смогут возместить с лихвой.
Но я скажу, читавший эти книги,
Скажу, рискуя даже головой:

— Ты сам себе единственная мера,
Не свет, а вспышка магния. Химера.

ПОЭЗИЯ

Забыты все поэты! Их творенья,
Казалось бы, теперь мертвы и немы...
Но ведь и я — поэт, и я, как все мы,
Боюсь на свете одного — забвенья.

Охотно молодые поколенья
Везут на свалку старые поэмы.
Зачем им эти рифмы, строфы, темы,
Что могут доказать стихотворенья?

Нет, я не стану порицать сурово
Тех, кто искусство заживо хоронит,
Пускай себе болтают — нас не тронет
Их вопль,— они не понимают Слова.

Для тех, кому поэзии не надо,
Слова — лишь сгустки лжи и капли яда.

БЕРЛИН

Расцвеченный помадою реклам,
В ущелье улиц вечный гром грохочет,
Из труб клубится дым, который хочет
Проникнуть в бронхи, в мозг и в сердце к нам.

Нет окон в этих стенах; сквозь стекло
Проходит свет, но не проходит воздух;
А на газон в лиловых клумбах-звездах
Коричневое облако легло.

Таким ты мне предстал, когда я с юга
Сюда приехал в первый раз к тебе,
И мы сперва не поняли друг друга.

Но здесь нашел героев я, идущих
Сквозь камень и металл. И в их борьбе
Познал впервые правду дней грядущих.

ДИМИТРОВ

Вот он стоит, в борьбе неколебим,
Пред ним — окно, и на стекле гербы,
А там — весь мир под сводом голубым,
Свидетель титанической борьбы.

Трибун стоит, и стен не стало вдруг,
Открылась даль — и люди вдалеке.
И миллионы ввысь подъятых рук,
И тянутся они к его руке.

А он стоит, как партия, как класс,
Стоит на почве твердой, как гранит,
Он чувствует дыханье братских масс,
И он силен лишь тем, что с ними слит.

Народы с ним — защитники, друзья!
И пред судом стоит он как судья.

НЕВОЗМОЖНОЕ

Когда и впрямь нужна людская речь,
Чтобы тебя со мной связало слово
И можно было правду нам сберечь;
Когда глубины существа людского

Пронизывает слово, чтобы впредь,
Воспламеняясь, двигать и велеть,—
Жив человек своим святым порывом,
Весь в этом слове, жгучем и правдивом.

Пусть проклинает в ярости поэт,
Однако и проклятие поэта,
Живое слово, эхо наших бед,
Страданьем человеческим согрето.

Но как словами записать навечно
То, что воистину бесчеловечно?

С ТЕХ ПОР...

С тех пор когда в Германии клубами
Дым расстилался от сожженных книг,
И выжгли поэтический язык,
И палачи охотились за нами,

С тех пор как я прозревшими глазами
Взглянул в себя и в сущность слов проник,—
Я с ясностью и с горечью постиг,
Что я слова обманывал словами.

С тех пор мои переломились дни
И все слова во мне переломились,
И строгостью наполнились они,
И чистотой и силой окрылились.

Родной народ, с которым шел я в ногу,
Меня и слово вывел на дорогу.

ПРОКЛЯТЫЙ СБРОД

«Проклятый сброд»... Привычный оборот
Уместен ли в устах моих, коль скоро
Я соучастник вашего позора
И ваших козней, вы, проклятый сброд?

И я, быть может, взрывчатая спора
Заразы вашей для земных широт,
Пока еще не изрыгнул мой рот
Словес таких, чтоб дохла ваша свора?

Слова насытить ядом до предела,
Чтобы в ушах у вас от них шипело,
Чтоб вы бесились, чтобы грызлись вы,

Искусанные с ног до головы.
Для вас держать бы зелье наготове,
Чтобы нашлась отрава в каждом слове.

НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ

Безвестный друг, тебя мы не забыли...
Поистине не заслужил ли ты
Бессмертной славы: памятника или
Хотя бы просто мраморной плиты?

Как рассказать о доблести и силе,
Чтоб, неизвестный, стал известен ты?
Поставить монументом не стихи ли?
Чтоб, неизвестный, стал известен ты!

Ведь даже мертвый все-таки ты с нами.
Невидимый, присутствуешь в строю.
Когда сплотимся дружными рядами,
Ты не оставишь гвардию свою.

Скорей бы гимн победы зазвучал,
Чтоб, неизвестный, ты известен стал.

ВЫСШАЯ НАГРАДА

Мне премий получать не суждено
(Лишь в плаванье — медали чемпиона).
Со всеми вами я порвал давно.
Средь вас я словно белая ворона.

«Искусство жизнь приукрашать должно!»
Я нарушитель этого закона.
Чему вы молитесь, то мне смешно!
Вас ненавижу остро, убежденно!

Но все ж и мне не отказали в чести,
Предателем отечества назвав.
(Не слышал в жизни я приятней лести.)

И наконец лишен гражданских прав...
Мне больших милостей от вас не надо.
Благодарю! Вот высшая награда!

СОН ОБ УСЛЫШАННОМ ГОЛОСЕ

Мне снилось: ночь вокруг, и внемлет мне
Огромный двор, запруженный народом.
Там я стоял под звездным небосводом,
Я говорил с Германией.
Во сне.

Я мог свой голос слать в простор, далече!
Он уходил в безбрежных высей край.
И гром моей ваш сон вспугнувшей речи
Бил прямо в мрак ночной: «Вставай! Вставай!»

Мне внемлет Рейн. Мне внемлет Гарц седой.
И Мюнхен. Речь никто не прерывал...
И только смолк в просторе голос мой,
Как грянул хор: «Народ тебя слыхал!»

И даль, и ночь, и звездный мир вокруг,
Ликуя, длят растущей песни звук.

ВСТРЕЧА

Отраден вечер долгожданной встречи!
Мы пьем вино. Как светел небосклон!
Табачный дым рассеивают свечи.
Стучат. «Войдите!» — говорит Вийон.

Мой друг Рембо! Едва он сел со мною,
Мы видим — раздвигается стена,
И входят гости пестрою толпою,
И все садятся около вина.

Вот среди них Бодлер и Гёльдерлин,
Вот Маяковский,— он, подняв бокал,
Так начал речь свою: «Поэты, братья!»

Торжественно мы встали, как один,
И выпили до дна, пока звучал
Хорал Великого Рукопожатья.

В ГРЯДУЩЕЕ

Кто разгадает таинственных слов сочетанья?
Стих уж закончен... А как его разгадать?
Так иной раз легко и стиха созиданье,
Даром что прежде казалось: его не создать.

Слов и деяний постигнешь ли чередованье?
Слово — деяния дочь и деяния мать.
Все же бывало, что слова бесплодно звучанье
И что деянью бесплодному лучше молчать...

Строф этих гибкость приправим злостью змеиной,
Пусть обретут они резкий, тревожащий звон,—
Так, чтобы трус затрясся пред близкой кончиной
И чтобы мир был нам, дерзновенным, вручен.

Новых людей мы одарим словом лучистым,
Словом, зовущим в грядущее, светлым и чистым!

ОТВАЖЕН БУДЬ!

Отважен будь! В отваге наша сила.
Когда светила меркнут, кончив путь,
Чтоб загорались новые светила,
Отважен будь! Во всем отважен будь!

Отнюдь не только в прилежанье суть,
Когда такое время наступило,
Что в мирозданье рушатся стропила.
Отважен будь! Во всем отважен будь!

Мыслитель, живописец и поэт!
Будь верен классу всей своей судьбою!
К последнему ты приготовься бою!

Воздвигнем, чтоб грядущий видеть свет,
Помост из наших помыслов и дел!
Отважен будь! Весь мир — вот наш удел.

БАХ

Еще готовясь, медлит звуков хор.
Надвинется — и отступает снова.
Но колокол дает сигнал: готово!
И звуки вышли, двинулись в простор.

Идут, как горы,— ввысь! Им нет преграды,
Они в тебе, во мне, и мы в плену.
Мы в эхо, в отзвук обратиться рады.
Ведут — возводят нас на крутизну,

Откуда виден мир. И все вокруг,
И все, что в нас, вошло в границы вдруг.
Нам дан порядок: тот ничтожно мал,

А тот велик, и все — в едином строе,
Великое созвучье мировое!
Великий век! Войди в его хорал!

ШЕКСПИР

Спокойные прикосновенья рук,
И вдруг от искры возгорится страсть,
И разум должен на колени пасть,
И человек вступает в грозный круг.

О, как отрадна ярость этих мук,
И как неотвратима эта власть...
Как обновляет человека страсть:
В горниле страсти он раскрылся вдруг.

Нет, счастье не дыханье ветерка,
А вихрь, на клочья рвущий облака,
Утесы низвергающий с обрыва.

И человек, преодолевший рок,
Уже не будет хмур и одинок:
Ведь счастье — жизнь, раскованность порыва.

ГЁЛЬДЕРЛИН

Свое столетье понял он до дна,
И, чтобы видеть все, прикрыл он веки.
Он думал: «Где же ты, моя страна?..»
...Вливались в Неккар маленькие реки.

И весь народ по берегам потока
Плясал и пел, справляя торжество,
И радуга, стоявшая высоко,
Смотрела с небосвода на него.

Так, кликнув клич по всей своей отчизне,
Созвал народ он. Прочим места нет
В его душе, в его короткой жизни.
Народ страдал, и вместе с ним — поэт.

Свободный ветер рвался в вышину.
Он пел народ. Он пел свою страну.

СМЕРТЬ БАЙРОНА

На почести поэту не скупятся,
Когда он мертв. Привычке вопреки
Тебе поют хвалу под гром оваций
Вчерашние твои клеветники.

И чья-то потревоженная совесть,
Еще вчера скрывавшая свой грех,
Как будто бы заране приготовясь,
Сегодня молится за твой успех.

Теперь тебе провозглашает славу
Весь мир твоих хулителей, который,
Как оборотень миллионоглавый,

Обрушился бы на тебя потоком
Проклятий, не исчезни ты так скоро.
Но спи спокойно в царствии далеком!

ЦВЕТЕНИЕ РОДИНЫ

I

Молчат колокола, и песен не слыхать,
И оружейный залп не длит прощанья с другом.
Вот гроб скользнул ко дну, осел скрипучим стругом.
Безвестный схоронен. Друзей не отыскать.

Там чахлый ствол стоял, открыт ветрам и вьюгам.
Как, от сухих ветвей — и вдруг цветенья ждать?
И все же день настал — иль пир пришли справлять? —
Когда он вновь зацвел, шурша листвой, над лугом.

В его густых ветвях вдруг ожил птичий хор.
И небеса над ним простерли свой шатер.
Все дерево в лучах, трепещет в вешней неге.

«Как знать? Здесь спит герой, радевший о свободе?» —
Так стали вопрошать. И весть пошла в народе:
Там человек лежит, убитый при побеге.

II

Что это значит все? Иль это знак нежданный?
Или цветенье наш герой почивший шлет?
Вот начали цвести ольха, дубы, каштаны,
Цветет орешник, бук. Германия цветет!

Как будто прошлый цвет цветет опять чудесней!
Весь Наумбургский собор цветами заслонен.
Народ шумит в цветах и запевает песни.
Он молодость обрел, цветеньем пробужден.

Трезвон колоколов! И в залпах тонут дали!
Теперь пристало петь: «Хвала! Вы жертвой пали!
Нужде пришел конец! Воспрянула страна!»

И с ними мертвецы знамена подымают.
Полотна алые трепещут и пылают!
Мы ввысь возносим их! Гер-ма-ния воль-на!

ДОРОГИ

I

Иду все той же, день за днем, дорогой,
Все так же вьющейся, но впереди
Следов знакомых различаю много:
— Здесь был уже! Здесь будешь ты! Иди!

Иду, не озираясь, и ответа
Напрасно не ищу по сторонам:
Нужна ль кому-нибудь дорога эта,
И кто таков ты, незнакомец, сам?

По кручам гор, по травам нив зеленых
Лежит мой путь. Берет начало он
Из глубины времен столь отдаленных,
Что время зыбким кажется, как сон.
И легкою дорога мне казалась...
Но чья рука в тот миг моей касалась?

II

Передо мной лежал зеленый луг,
Над ним сверкало золото заката,
А я шел вдаль и в реве зимних вьюг
Искал свой след, оставленный когда-то.

Где ж он? Помедли, что здесь ищешь, друг,
Не потерял ли самого себя ты?
Я звал, кричал... Но ни единый звук
Не долетел ко мне из мглы кудлатой.

Так иногда средь холода зимы
Повеет вдруг очарованьем лета
И запахами сказочного сада.

Но пред тобой незримая преграда,
И не увидишь сквозь завесу тьмы
День, полный вечного тепла и света.

ТРЯСИНА

Трясина манит. Голос ликованья
Подхватывают вмиг колокола.
На фоне неба вычерчены зданья,
К ним путь проложен ровный, как стрела.

Трясина манит: «Будет жизнь светла!
Я плодоносна вся до основанья.
Я так суха. К чему вам все страданья?
Взращу я урожаи без числа».

Насыпан сверху тучный чернозем,
На нем — бескрайним нивам колоситься,
Великолепие должно явиться,—
А снизу тянет плесенью, гнильем.

Обманчивым ковром прикрыта тина.
«Я не трясина»,— говорит трясина.

ЗНАЮ Я, ОДНАЖДЫ...

Знаю я, однажды час настанет,
Но неведомо — когда придет.
Стрелка новый круг тогда начнет...
Множество других уже не встанет.

Урожай показывай сейчас!
Сокровенное яви пред светом!
Если верить чувствам и приметам,
Он наступит скоро, этот час.

Знаю я, однажды час настанет,—
Мир придет, как светлая награда.
Праздник мира будет нам сиять!

Столько спеть бы и сказать бы надо!
Множество других уже не встанет.
Этот час не может не настать.

ТОТ, КТО ГЕРМАНИЮ ЛЮБИТЬ ПРИВЫК

I

Тот, кто Германию любить привык,
Кто по возвышенным живет заветам,
Кто в мир, залитый лучезарным светом,—
В мир гения германского проник,

Кто знает все, что ныне под запретом,
Кто глубину всех наших бед постиг
И рад помочь нам делом и советом,
Кто близко видел страшной смерти лик,

Кто чтит страну на наш немецкий лад,
Кто этим чувством к родине богат,—
Тот неизбежно к бою призовет:

«Губители Германии родной!
Нет, ей не быть погибшею страной!»
Так должен крикнуть каждый патриот.

II

«Губители, поймите хоть сейчас:
Ваш крах — Германии не станет крахом.
Хоть смерть ее — спасение для вас,
Ей — надо жить, вам — приближаться к плахам.

Вы, люди с сердцем чистым, как алмаз,
Певцы с душой, не оскверненной страхом,
Клеймите тех, чье дело сгинет прахом,
И славьте новь, желанную для нас!

О Гитлер, Гиммлер, Геринг, Геббельс, Лей,
Вы прокляты страной немецкой всей,
В крови лежащей, исходящей в плаче».

Ты тех из дома вымети, народ,
Кто, словно волк, нашел в овчарню ход.
«На том стою, и не могу иначе!»

...Так должен сделать каждый патриот!

НОВОЕ ОРУЖИЕ

О дальнобойные стихи-посланья!
Германия услышит голос ваш —
Поэзии немецкой оправданье,
О миссии поэта репортаж.

Листовок многотысячные стаи
Бомбардируют родину стихами.
Пусть песни, засылаемые нами,
Солдаты унесут, запоминая.

Когда еще поэту выпадало
Такое счастье: дать врагу сраженье,
В атаку поведя стихотворенье?!

Нас жизнь в суровых схватках закаляла.
И мы сумели, жертвуя собою,
Немецкий стих вооружить для боя.

ОРАТОР

На плотный строй охранников сперва
Косится недоверчивей и зорче,
И вот опять его скрутили корчи:
Клянет, грозит и, растеряв слова,

На миг смолкает. Всхлипывает вдруг:
Смотрите, как он чист и бескорыстен! —
И мечет вновь поток поддельных истин
Под злые взмахи исступленных рук.

Он сыплет фраз фальшивый чистоган,
Он хвастает, как рыночный глашатай,
Визгливо зазывая в балаган.

То съежится, как дряблая змея,
То, разъярясь, трясет рукою сжатой
И — весь надувшись — воет: «Я! я! я!..»

РЕЦЕПТ

Возьмите глупость,— это, слава богу,
Сегодня на любом углу найдешь.
Возьмите подлость, трусости немного,
Возьмите наглость, ханжество и ложь,

Тщеславие, побольше жажды власти,
Презрение к «ублюдкам низших рас»,
Смешайте с этим низменные страсти,
Ничтожество — и это есть у нас.

Змеиного туда прибавьте яда —
Ну, вот и все, что вам для зелья надо.
Еще осталось раздобыть сосуд.

Теперь пустая голова нужна вам.
Молниеносно там в чаду кровавом
Деянья варвара взрастут.

СВИДЕТЕЛЬ

Свидетель я беды постыдно дикой,
Что край узнал мой, в ослепленье странном
Свою судьбу связавший с черной кликой
И прокативший танк войны по странам.

Свидетель я победы ясноликой,
Принесшей смерть убийцам и тиранам.
Ее завоевал народ великий,
Забывший счет своим кровавым ранам.

Мне до тебя подняться бы, Россия,
Германия, твой стыд бы мне стерпеть,
Чтоб все, что было, в стих сумел вплести я,

Чтоб воскресил я дух событий грозных.
О, если б этот труд мне одолеть!
Свидетель я сражений грандиозных.

ЛЕТЧИК НАД АТЛАНТИКОЙ

Сквозь горы туч, сквозь дымную грозу,
Навстречу пестрым, перекрестным трассам
Он дерзко реял беспощадным асом,
И полыхали города внизу.

Но в этот раз почудилось ему:
В грозящий знак сложилось пламя зарев,
И длинный луч, в грядущее ударив,
Ему дорогу указал во тьму.

И понял летчик: смерть — его удел.
Метался он, не понимая, чтó с ним.
Сквозь мрак и звезды ужасом гоним,

Крутым виражем к морю полетел
И вниз рванулся с грузом смертоносным,
И, грохоча, сомкнулась глубь над ним.

ПОЗВОЛЕНО ЛЬ В ТРАГИЧЕСКИЕ ДНИ...

Позволено ль в трагические дни,
Когда на всех фронтах идет сраженье,
И танки, древним чудищам сродни,
Давя друг друга, рвутся в наступленье,

Позволено ль, чтоб восхищенный взгляд
Ты устремлял на ветвь в соцветьях пышных?
И был бы утру несказанно рад,
Любуясь светом на цветущих вишнях?

Когда тебя способны умертвить
И все разрушить, что тобой любимо,
Когда и ветвь и небо голубое

Сожжет, быть может, завтра пламя боя,
Здесь — не о позволенье говорить,
Здесь — красотой дышать необходимо.

МЕРТВЫЕ ГОЛОВЫ

Нет, нас ничем не устрашите вы,
Хоть жаждете, чтоб мы бледнели, немы.
Чего ж нам ждать от мертвой головы?
От вас, носителей такой эмблемы?

Вот черепа оскал на рукаве,
Под ним белеют скрещенные кости...
Вы — существа без мыслей в голове,
Башка у вас — как череп на погосте.

Безмозглый череп — он теперь в почете,
В большой цене, хоть думать не горазд.
О немцы, если мыслить вы начнете,
Он тотчас смерти каждого предаст!

Он не отходит от казенной кассы
И мнит, что он герой арийской расы.

СОНЕТ СТРОИТЕЛЯМ

Как наши предки строили соборы
Старательно для будущих времен
И возводили стены и опоры,
Чтоб купол вознести под небосклон,

И многие сходили под уклон,
Предчувствуя, что день настанет скоро,
Когда расцветятся знамен узоры
И поплывет торжественно трезвон,—

Так должен строить ты и в наше время,
И воздвигать, немецкий мой народ,
Все, что разрушили твои тираны.

День мира и труда к тебе придет,
Призыв Свободы зазвучит над всеми:
«Творите, стройте вольно, неустанно!»

В. У.

Кто так, как ты, средь множества решений
Всегда умеет верное найти:
«Народу нужен мир, и нет сомнений,
Что для него другого нет пути».

Кто так, как ты, сплотив друзей мильоны,
Мощь и отвагу юности дает,
Кто так, как ты, светло и непреклонно
Отчизну любит, любит свой народ,—

Тот не избегнет вражьей клеветы.
Но всею мерой гнева и презренья
Твоим врагам ответствует страна.

Любовь к тебе дала мне вдохновенье.
Навек любовь отчизны отдана
Всем тем, кто любит свой народ, как ты.

В. П.

Кто, новые лелея семена,
В народе коренясь, всегда с народом,
Кто рос, как ты, наперекор невзгодам,
И это семь десятков лет сполна?

А годы шли невиданным походом.
От крови синева была черна.
Под грозовым, враждебным небосводом —
Смертельно раненные времена.

Обременен такими временами,
Ты вынес муки, вынес этот век,
Все вынес ты. Мы видели и знаем:

Был ты вынослив, был ты несгибаем,
Чтоб, коренясь в народе, перед нами
Сегодня вырос новый человек.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

Глубок и ясен беспощадный взор твой,
Пред остротой его бессильна лесть.
Ты видишь то, что есть, и так, как есть:
Живых — живыми, мертвечину — мертвой.

Когда вокруг клеветников толпа
Беснуется, орет до хрипоты,—
Неужто им их глупость не глупа?
Но улыбаешься спокойно ты.

О, ты ведь проживешь без восхищенья
Тупицы и духовного уродца!
Так разум над безумием смеется.

Тебе легко: ты устремлен вперед,
Умеешь ждать, исполненный терпенья.
Час близится. Твоя пора придет.

ЭРИХ ВАЙНЕРТ ГОВОРИТ

Припомним переполненные залы,
Тот натиск строф, не знающих преград,
Где слово поднимало, призывало,
Судило, жгло, гремело как набат.

Оно пылало радостью и гневом...
Кто ж эту волю миллионных масс
Сплотил веселым боевым напевом?..
И вспоминают многие из нас,

Как в дни унынья к скованным безверьем,
Когда, казалось, сердца стук затих,
Наперекор сомненьям и потерям,—
Вдруг приходил твой негасимый стих.

И жизнь светла, и вновь простор открыт
Твоим стихом... И — Вайнерт говорит!

ХОРАЛ ВЕЩЕЙ

Мне чудилось: знакомые мне с детства —
Посуда, утварь, стол — любой предмет —
Ко мне взывают: «Отыщи же средство,
Вдохни в нас звуки, дорогой поэт,

Чтоб в вечном, благодарственном хорале,
Разбуженные волею твоей,
Торжественно над миром прозвучали
В честь созиданья голоса вещей!..»
Из камня, стали, дерева и глины

Они легко взлетают к небесам,
Пушинкою кружится алюминий.
И с ними вместе я вздымаюсь сам.

Светло сияют звезды. Даль светла.
Все в мире вторит: «Атому хвала!»

МОСТ

Он выгнулся, застывший на лету,
Весь — как дуга протянутого света.
И, радостна, как в праздник разодета,
С утра толпа сгрудилась на мосту.
И думалось: «Как этот мост широк
Для наших встреч, для дружбы между нами!
О, если бы такими же мостами
Связать навеки запад и восток!»

А бургомистр промолвил так: «На счастье
Зелеными ветвями мост украсьте,
Чтоб стало ясно для чужих господ:

И здесь и там — наш край родной. Едва ли
Мы захотим, чтоб этот мост взорвали.
Пусть к миру в мире каждый мост ведет!»

ИЗ КНИГИ «ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ И СЕМЬ ТЯГОТ»

(ПОТЕРЯННЫЕ СТИХИ)

ЕСЕНИН

Вспыхнул яростный свет, и дремучая мгла раскололась.
Шли стальные машины, земли разрыхляя пласты.
И деревня по-бабьи завыла, заплакала в голос.
И, услышав тот плач, навсегда им заслушался ты.

Жизнь, не зная покоя, рутину хватала за ворот.
Век свой суд неподкупный над тьмой и над рабством вершил.
И тебя занесло в электрический, каменный город.
Он тебя околдовывал, звал тебя, мучил, страшил.

Ты искал утешенья в его кабаках и притонах:
Умирала деревня. Тропа в неизвестность вела.
Ты скучал по березам, в горячке хрипел об иконах
И, очнувшись, приветствовал новое утро села.

Так, подобно лучинушке, песня твоя догорела.
Под стенанье метелей ты в снежную муть отошел.
Но «Всем! Всем!» — над страною, над тундрой до полярных станций гремело.
И рождалась поэма по имени «Хорошо!».

СТАКАН

Под Урахом трактир облюбовал
И пил вино, красневшее в стакане.
Должно быть, он кого-то поджидал.
Играя в карты, спорили крестьяне.

Вдруг — настежь дверь... Жандармы ворвались.
Вокруг него стеною плотной встали.
— Попался, Миттельхольцер, ну, держись! —
И, навалившись, вмиг его забрали.

Столбняк нашел на споривших крестьян:
Как? Миттельхольцер?! Болью сердце сжалось...
А на столе стоял пустой стакан,
На нем тепло руки еще держалось.

Как ни тасуй — проиграна игра!
Как мятых карт ни тереби в волненье,
Зияет стул, как черная дыра,
Пустой стакан зияет в отдаленье.

Лишь оторопь покинула людей,
Был разговор налажен понемножку.
Легла собака снова у дверей,
Хозяйка чистить начала картошку.

Один сказал: — Был в Радольфсцелле сход.
Он толковал на сходе о налогах.
Листки он роздал, подсчитав доход,
Исчисленный у нас в грошах убогих.

«Мой бедный Конрад,— значилось в листках,—
Твоя спина теперь, как прежде, гнется.
И если дом ты заложил на днях,
Поверь мне, и кафтан отдать придется».

Его жандармы попытались взять,
Но он в разгар всеобщей потасовки
Вдруг, отбиваясь, бросился бежать,
И, словно дождь, посыпались листовки.

С тех пор он частым гостем стал у нас,
Стал вездесущим в нашем бедном крае.
На Первомай он в самый ранний час
Воззвания наклеил на сараи.

Май с троицей совпал. Идя во храм,
Путь усыпали девушки цветами...
— Он скажет речь! — носилось по рядам,
Набатом колокол гремел над нами.

Жандармов не тревожа, стороной,
Он незамеченным туда добрался.
И вдруг, органа заглушив прибой,
Из алтаря его призыв раздался:

«Крестьянство, знай! Настанет скоро срок,
Я кликну клич, и ты восстанешь смело...»
Органа рев прорвался, как поток...
— Аминь! Аминь! — толпа в ответ запела.

Рассказчик поднял высоко стакан,
И взоры всех к стакану обратились.
Казалось — он лучами осиян,
Казалось — грани искрились, светились.

Трактирщик подошел.— Живей! Вина!
И — лучшего! У нас просохли глотки.
Да, в Судный день заплатим мы сполна
За все, он будет — наш расчет — коротким!

— Prost, Миттельхольцер! — Каждый пил подряд,
Вином стакан заветный наполняя.
И каждый устремлял, казалось, взгляд
В грядущее, где будет жизнь иная.

*

Он до сих пор стоит на месте том,
Стакан, под солнцем блещущий багряно.
Святынею он стал в краю родном.
Все чаще пьют из этого стакана.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРОЦЕССИЯ

Монастырь Бейронский у Дуная
Возле Зигмарингена стоит.
Рдеют здесь флажки, предупреждая:
Осторожно! В скалах — динамит!

Только осень желтая настанет —
В монастырь паломники идут
И в повозках дедовских крестьяне
Жен и детвору свою везут.

Там, забывши о страде бессонной,
Пьют вино и крендели едят,
Там на них хозяин пригвожденный
Устремляет милостивый взгляд.

Правда, раскошеливаться надо —
Здесь без денег шагу не пройти.
Далека загробная награда,
А пока наличными плати.

В этот год, да будет всем известно,
Сам я был свидетелем того —
Все стеклись сюда из сел окрестных,
Не осталось дома никого.

Для людей дороги стали узки,
Шли они по пашням, по лесам...
Как поток, текли по тесным спускам,
Воспевая славу небесам.

На моленье без конца и края
Тек народ и удержу не знал.
Второпях, пути не разбирая,
Низвергался тяжело со скал.

На подворье места не хватало,
И забиты были все углы,
Богомольцев спать легло немало
Во дворе на скамьи и столы.

А когда встал месяц златорогий
И донесся запах трав лесных,
Заметались спящие в тревоге,
Беспокойство охватило их.

В звездные они взбирались дали,
Снилась им чудесная страна,
Перед ними нивы созревали
Золотом отборного зерна.

Эти пажити бескрайни были,
Этой житницей владел народ,
И во сне все те заговорили,
Кто молчал, трудясь из года в год.

Словно говорить о зле великом
Им никто теперь не запрещал,
Раздираемый безмолвным криком,
Каждый рот о правде вопиял.

Рано встав, народ пришел к подножью
Образа, тонувшего в цветах.
У креста стояла матерь божья
Со слезами скорби на глазах.

Вся толпа в густом дыму курений
На коленях господа звала,
И священник возносил моленья,
И гудели все колокола.

И пошли к вершине отдаленной,
Что прозвал Голгофою народ,
И сияла солнцем раскаленным
Дароносица, плывя вперед.

Пел народ, но в этом громком пенье,
Что взлетало в солнечную высь,
Не было привычного смиренья,
Лишь проклятья грозные неслись.

Пели, что поборов тяжко бремя,
Что налогов непосилен груз,
Что пришло уже крестьянам время
Стародавний воскресить союз.

«Господи! Скажи лишь ты: «Да будет!» —
И свершит свой скорый суд народ.
Посмотри, как обнищали люди,
Посмотри, как исхудал наш скот.

Посмотри, как тощи наши клячи,
Как ввалились у коров бока.
Вслушайся, как наши дети плачут:
Нет у них ни кружки молока.

Корма нет. Земля лежит пустая.
Козы, ждем, вот-вот испустят дух.
Больно слушать: блеют, голодая,
И глотают с голодухи мух».

Богу все показывали смело
Жалкий план участка своего,
Своего убогого надела,
Что давно не стоит ничего.

Каждый шел с краюхой черствой хлеба
Шел в одежде нищенской своей:
Пусть всевышний сам увидит с неба
Горе обездоленных людей.

«Отче наш! Твоя да будет воля!»
Лес хоругвей неподвижно встал.
Словно каждый бога на престоле
В этот миг увидеть ожидал.

Все смотрели вверх. Но не оттуда
Им пролился благодатный свет.
Бог молчал. Но трудовому люду
Вдруг батрак заговорил в ответ.

Говорил он голосом народа,
Говорил он про его дела:
Чтоб остались позади невзгоды,
Надо отыскать причину зла.

Тяжелей Христовых наши страсти:
Произвол, насилие и гнет.
Гнут крестьян жестокие напасти,
Стонет и на фабриках народ.

На камнях усевшись придорожных,
Все внимали слову земляка,
И внезапно стало непреложным:
Дух святой сошел на батрака.

Каждый был готов открыть объятья,
Каждый думал больше о других...
Здесь сидели истинные братья,
Билось сердце общее у них.

Говорил батрак про край далекий,
Где крестьянам отданы поля,
Есть земля такая на востоке,
Есть обетованная земля.

Крикнул он: «Терпенье на исходе!
Надоели мрак и нищета!»
И тогда-то грянул гимн свободе
И потряс окрестные места.

СЕМЬ ТЯГОТ

Я несу семь тягот за плечами,
Издавна они меня гнетут.
На свои не жалуясь печали,
Я несу лишь то, что все несут.

Первое я принял до рожденья,
Лежа в лоне матери моей;
И несу то бремя по сей день я,
И оно всех прочих тяжелей.

Это бремя — гнет тысячелетий,
Всех бесславьем памятных веков.
В старом мире зачатые дети
Не свободны от былых оков.

Бремя детства. Нет числа расспросам,
И в расспросах этих толку нет.
«Почему?» — я приставал ко взрослым,
Но шлепок мне заменял ответ.

Третье бремя — чувств неосторожных,
Юности мучительный удел:
Только сердце защемит тревожно,
Смотришь — милый образ потускнел.

Бремя голода. Его сносил я
Много лет безропотно подряд,
Наконец терпеть не стало силы,
И спросил я — кто же виноват?

Пятое свалилось мне на шею —
Это бремя мировой войны.
Вся земля превращена в траншеи,
И траншеи мертвыми полны.

И шестое — ужас отступленья,
Ложного, бесславного пути.
И седьмое — страх уничтоженья,
Смерти, от которой не уйти.

Я несу семь тягот за плечами,
Издавна они меня гнетут.
На свои не жалуясь печали,
Я несу лишь то, что все несут.

Все ли беды сосчитал открыто?
Отдал ли я должное им всем?
Может, мною что-нибудь забыто?
Может быть, их вовсе и не семь?

Да, еще одно я знаю бремя.
Есть забота грозная одна:
Скоро ль новое настанет время?
Скоро ль с плеч мы сбросим бремена?

ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ

Какую радость чистую порою
Мне приносил любимый старый том.
«Какое время! Каковы герои!» —
Я восклицал и до зари с огнем

Сидел над ним. Будильник в час рассвета
Гремел сердито: «Прошлое забудь!
Пора уже!» Я стряхивал все это,
И шел вперед, и сожалел чуть-чуть...

И мелочи мне радость приносили:
Рубаха, скажем, или галстук вдруг.
У зеркала я не жалел усилий,
Мудреный узел — просто ловкость рук!

Какая радость — по лесу шататься
В благоухании смолы и мхов,
От ароматов глохнуть и теряться
В глубинах дальних, все забывших снов!

Не радость ли — скамейка над откосом,
Под сводом предгрозовой темноты,
Где вспыхивают молнии вопросом:
«Весь мир — загадка, отвечай, кто ты?»

Но маленькие радости, по чести,
Хотя мы им и рады всей душой,
Вас мало нам... Когда б собрать вас вместе
И сделать общей радостью большой...

Но почему-то несоединимо
Все множество рассеянных замет.
Все радости уходят мимо, мимо,
Как будто связи между ними нет.

Еще нам что за радости предложат?
Они побудут в памяти едва...
Творящий их без фокусов не может
И чертит непристойные слова.

Осуждены мы жить всегда страдая,
И радоваться больше нету сил,
И весь свой век живем мы, ожидая,
Чтоб Землю — Радость кто-нибудь открыл.

Вкус радости нам вдруг противен стал.
За радости платили мы сурово.
И всяк из нас ловчил и хлопотал,
Выхватывая радость у другого.

Нельзя ль ее творить на стороне,
Искусственно? Таблетку съешь, кто хочет,
Чтоб очутиться в радостной стране,
Где все вокруг от радости бормочут.

От радости срываемся с перил
И в воду — бух! Нам защититься нечем
От радости! С ней справиться нет сил!
Весь мир земной стал домом сумасшедшим.

И смертных радостей надарят вволю нам,
Война настала — жертвенник огромный.
Пылает радость, с дымом пополам
На небеса всплывая тучей темной.

Война нам столько радостей дала,
Что были мы их пережить не в силе.
Мы целились, стреляли, но была
Та цель не нашей. Мы поздней спросили.

Он звался Ленин — тот, кто дал ответ:
На классы разделен весь белый свет,
И так же, как и мы, страдают все народы.
И разве не дано нам ежедневно видеть
Его закаты и его восходы
И вместе их любить и ненавидеть?!

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРОМУ ВСЕ ЛУЧШЕ ЖИЛОСЬ

I

К обеду в воскресенье
Имел жаркое он.
Купил на сбереженья
В рассрочку патефон,

Устроился в беседке,
Возделал огород
И пел, как чиж на ветке:
«Все к лучшему идет!

Все хорошо, а скоро
Настанет сущий рай».
Он свастикой заборы
Украсил и сарай.

Чтоб стали все богаты,
Пришел конец нужде,—
Он крестик крючковатый
Изображал везде.

И чтоб ни говорили
О бедствиях в стране,
Его не совратили,
Он счастлив был вполне.

Вот радио взревело:
«К оружию, народ!»
Он выглянул несмело:
Не враг ли у ворот?

Раз кто-то по секрету
Спросил в тиши ночной:
«Кто поднял бучу эту?
Не ты ли, дорогой?

Зачем везде парады
С утра и до утра
И не вмещают склады
Военного добра?

Зачем страна покрыта
Гудроном автострад?
Есть газ страшней иприта,
Но — тсс... о нем молчат».

Он слов искал напрасно...
Вдруг в мыслях пронеслось
И сразу стало ясно:
«Чтоб лучше нам жилось».

II

Дни «лучшие» настали.
Под барабанный бой
Везде маршировали
И пели всей гурьбой.

«Нам не дает покою
Соседняя земля.
Должны забрать мы с бою
Богатые поля».

Он полон был отваги,
Спешил блеснуть в борьбе.
Крича об общем благе,
Он думал о себе.

Его везли в вагоне
Немало долгих дней.
Он пел в мажорном тоне
Чем дальше — веселей.

Стрелял остервенело,
Орал, что было сил:
«Война — вот это дело!»
И очень счастлив был.

Вдруг... тяжкий взрыв снарядов
И эскадрилий гул...
Тут он, забыв порядок,
Порядочно струхнул.

Все «лучше» становилось —
Он в самый ад попал.
Его глаза ввалились,
Он смерти ожидал.

«Тем лучше, чем скорее,
Все хорошо идет...» —
Он повторял, слабея
И вытирая пот.

И вспомнил он, что где-то
Слыхал порой ночной:
«Кто поднял бучу эту?
Не ты ли, дорогой?»

Постиг свой грех великий
Он лишь в предсмертный час.
Безумца хохот дикий
Окрестность всю потряс.

ПЕСНЬ НАД РУИНАМИ

I

Мы бродим меж развалин,
Они ползут на нас.
Мы славим меж развалин
Свиданья горький час.

Ты помнишь, с колоннадой
Здесь был нарядный дом?
Но рухнула громада,
Дома подмяв кругом.

«Идем, идем отсюда! —
За мной летит твой зов.—
Укрыли эти груды
Немало мертвецов».

Сады ль шумят листвою,
Луга ль у ног легли?
Увядшие обои
В щебенке и пыли.

Таблички с номерами
Былых домов видны,
В пустой оконной раме
Застыл портрет войны.

Ты помнишь дом с оградой,
Пекарню, лавку, сад?
Дрожащие фасады
Над головой висят.

Так в мусор превратилось
Привычное жилье.
В нем наша жизнь светилась,
Кто нам вернет ее?

Мы бродим меж развалин,
Жестка войны метла...
Золою мир завален,
Все сожжено дотла.

II

«Где взять нам силы столько?
Садись, передохнем...»
«...О кубики для стройки
В мальчишестве моем!

Набор лежал под елкой
В рождественском огне...»
Молчал и долго-долго,
Но сон сошел ко мне.

Когда-то в детском рвенье
Я стройки воздвигал
И сам в благоговенье
Пред ними застывал.

О тяга ввысь, о жажда
Сверхдалей, сверхвысот!..
С подъемом башни каждой
Мужал мечты полет.

Я воздвигал соборы,
Где колокол гудел,
Где в витражей узоры,
Дробясь, закат глядел.

Так и играл, но камни
Клал в ящик перед сном,
Так строил я, пока мне
Сон не приснился: в нем,

Соскучась по свободе,
Во тьме, как звезд рои,
Кружились в хороводе
Все кубики мои.

Из ящика спускались
На коврик, как на луг,
И сразу в пляс пускались,
И... замком стали вдруг.

Сверкали люстры в зале...
Я крикнул: «Чей здесь дом?»
И кубики сказали:
«Народ — хозяин в нем».

Но радость нам сулилась
Не только властью сна,
И стройка б окупилась,
Да... рухнула она.

Пожары заметались,
Стал черен небосклон,
Лишь стен куски остались,
Как след иных времен.

III

«Но сон — на что он годен?»
Оглохла тишина.
Мы меж развалин бродим,
Война вокруг, война.

Жизнь взорвана бесследно,
Дымятся пустыри.
Нагнись, с земли последний
Обломок подбери.

Одним полны мы оба —
Глядим в лицо судьбе.
Вдруг шепчешь ты: «Ах, что бы
Мне подарить тебе?»

Весь свет стал свалкой пыльной,
Ни сил, ни крова нет,
Но в этой тьме могильной
Всплыл новой веры свет.

Твой сон был освещен им,
Он добрым, сон тот, был...
Встань, распрямись — еще нам
Немало нужно сил.

Не век рыдать на тризне,
Прав сон был детский твой —
Страну поднимет к жизни
Народа дух живой.

Жива в нас вера эта
С далеких детских дней,
Она вернет нас к свету,
И мой подарок — в ней!

IV

Мы бродим меж развалин,
Они глядят на нас.
Мы славим меж развалин
Свиданья горький час.

Но все пришло в движенье,
Подъем, еще подъем!
Людей, камней круженье,
Совсем как в сне моем.

Ты плачешь? Слезы сами...
О воскрешенья срок!
Встает за камнем камень,
Прекрасен и высок.

Немецкая лопата
За дело принялась,
И грохота раскаты
Надеждой полнят нас.

Удача ждет любое,
За что взялся народ,
Преодолев былое,
Мы тронемся вперед.

Поет о новой чести
Народ, обретший власть,
О радости всем вместе
За камнем камень класть.

О жажда совершенья,
Народной воли срок!
В той воле воскрешенья
Германии залог.

И колоннада краше,
Нарядней, чем была,
На праздник жизни нашей
Глядит, как день, светла.

Ты помнишь здесь лавчонку,
Пекарню, сеть оград?
Здесь нынче вырос звонкий,
Для всех разбитый сад.

Весь сор без снисхожденья
Расчищен в краткий срок,
И праздник возрожденья
Окрасил наш восток.

А здесь, ты видишь, рядом
Встал новый светлый дом?
Зовут нас окна взглядом:
«Сначала жизнь начнем!»

И розы возле дома
В хмельном дыму цветут...
Ты шепчешь, как сквозь дрему:
«Играют дети тут...

...И наш ребенок тоже...
Он будет, милый мой?»
И шепчешь ты: «О боже,
Идем, идем домой!»

V

Мы бродим меж развалин.
...О, был бы дом у нас!..
Мы славим меж развалин
Возврата к жизни час.

ПРОЩАНИЕ

РОМАН

Перевод с немецкого
И. А. Горкиной и И. А. Горкина

Звучит музыка прощания. Торжество прощания начинается. Мы все званы на него.

Нам предстоит проститься с людьми и временами. Со многим прощаемся мы, что было нам близко и дорого, и расставание причиняет нам боль.

А порой мы прощаемся радостно, прощаемся, не сказав «до свиданья», не сказав «прости».

И с собой прощаемся мы в долгие, горестные часы прощания, ибо, расставаясь с прошлым, надо расстаться с ним в самом себе.

Но многое из того, с чем, казалось, мы простились навеки, продолжает жить в нас.

Поэтому не торопись со словами: «Прощай навсегда!»

* * *

Прощание. И — да здравствует новая жизнь!

Так собирайся же в путь!

«Не забывай хорошего»,— говорит в тебе голос, и он же предостерегает: «Будь начеку: проверь, что ты берешь с собой!»

Час великого прощания настал...

I

Уже с одиннадцати я начал ко всем приставать: «Мы, наверное, опоздаем». Но отец зажигал свечи на елке и все не отпирал балконную дверь, а мама на меня рассердилась:

— Ты просто на нервы действуешь. Видно, непременно решил взять свое в старом году.

И волей-неволей я, ерзая на стуле и не сводя глаз со стрелки больших стенных часов, словно застывшей на месте, покорно сидел рядом с бабушкой, которая рассказывала о Дурлахе, об аптеке «Золотой лев», о Турнберге и, предаваясь воспоминаниям о добром старом времени, часто поглядывала на портрет дедушки, висевший над комодом. Овальная борода дедушки и наглухо застегнутый стоячий воротник были, казалось, воплощением этого доброго старого времени, которое вот-вот канет в вечность. Отсвет елочных огней делал лицо деда теплым и блестящим. Портрет, быть может, висит здесь сегодня последний день. Ведь, наверное, как только забрезжит новый век, старые портреты уберут со стен. Поэтому взгляд у дедушки такой невеселый, и мне странно, что никто не велит мне встать, протянуть ему руку и сказать: «Прощай!»

Наконец мне разрешили позвать Христину.

До двенадцати оставалось несколько минут.

Мы надели пальто и вышли на балкон, празднично убранный разноцветными фонариками.

Ночь была снежно-белая. Снег светился. Небо искрилось звездами.

Я торжественно стал рядом с отцом, потому что все было точь-в-точь как недавно, когда мы, по желанию бабушки,

снимались всей семьей «последний раз в старом году». Тогда, как и сейчас, мама отогнула поднятый воротник моего пальто,— а то вид очень неаккуратный! — и каждый долго искал для себя подходящее место; Христину толкали туда и сюда и наконец загнали совсем назад, так что на фотографии вышла только бархатная лента в ее волосах да робкая улыбка.

В комнате горела елка. С балкона казалось, что елка живая. Орехи, яблоки и леденцовые сосульки, обсыпанные блестками, прыгали с ветки на ветку. На верхушке качался ангел.

Отец налил и мне глоток пунша. Я стоял вместе со всеми, выжидательно подняв бокал, чтобы проститься со старым веком.

Сейчас начнется...

То ли раздастся страшный треск, как при землетрясении, и балкон со всеми нами рухнет в сад. Вот была бы работа денщику майора Боннэ Ксаверу, который живет рядом с конюшней. То ли небо разверзнется, огненно-красное в глубине, а луна и звезды закружатся вихрем.

Я весь насторожился, словно уже ощущал зловещее дыхание того неведомого, что назревало вдали.

А вдруг это конец света! Мысль о конце света нагнала на меня такой страх, что я поклялся исправиться и зажить по-новому. Ведь за концом света последует Страшный суд, на котором откроется все мое вранье, все тайные проделки. На кого господь бог взглянет, тот становится виден насквозь, до самых сокровенных уголков души.

Часы начали бить двенадцать.

Я хотел считать удары, но после первого же удара поднялся такой гул, что я испуганно втянул голову в плечи и потерял счет. Колокола вызванивали новое столетие. Гулко и мощно гудели в новогоднем перезвоне колокола церкви Богоматери.

Балконы были усеяны ликующими людьми. Балконы плыли, ликуя, сквозь белую бесконечную ночь.

Взвилась ракета, лопнула с легким треском и рассыпалась золотым дождем. Точно из недр земли поднималось клокотание: «С Новым годом!»

Я опомнился, только когда бабушка поцеловала меня. Щека у нее была влажная. И Христина в своем кухонном фартуке, стоявшая позади всех, плакала. Быть может, они горевали о том, что прекрасную австрийскую королеву Елизавету закололи насмерть или что умер Бисмарк. А может быть, из-за дедушки, ведь теперь уж он умер навсегда, раз время, в котором он жил, миновало.

Прощай, добрый старый век! Прощай!

— Что это будет за новое время и что оно нам принесет, кто знает?

Мне очень хотелось утешить бабушку, сказать ей, что нам предстоят новые, чудесные времена. Я прищурился: а вдруг, если я очень постараюсь, мне удастся увидеть будущее. Но, сколько я ни щурился, сколько ни моргал, я так ничего и не увидел.

Мы стояли неподвижно, как перед фотоаппаратом, нас как будто все время снимали.

Никто не замечал холода. Всех согревало чувство родственной близости.

Гул вдруг утих. Мама увидела фартук на Христине и сделала ей знак. Христина торопливо сняла фартук.

На белой от снега улице танцевали люди. Кругом опять раздавалось: «Ура!», «Да здравствует!» Трезвон нарастал. Лишь когда он несколько отодвинулся вдаль, я расслышал, как отец, перегнувшись через перила, кричит:

— Да здравствует!..

— Да здравствует!.. — заорал кто-то во дворе. Денщик майора Боннэ тоже праздновал Новый год. Вдруг внизу, сквозь хохот, затрещали выстрелы. Много раз подряд. Мы вздрогнули. Каждому почудилось, что стреляли в него.

— Новогодние шутки! — успокоил нас отец и нерешительно оглянулся, точно искал, в честь чего бы провозгласить здравицу. Я испугался, что там, на улице, под смех, поздравления и колокольный звон люди еще перестреляют друг друга.

— Да здравствует принц-регент! Да здравствует кайзер! Германия! Наш чудесный Мюнхен! Да здравствует отец! Мать! Ура!

Я тоже решил не отставать от других.

— Да здравствует бабушка! Ура! — Все кричали наперебой.— Да здравствует наш мюнхенский баловень! — Это про меня. Я был горд, что и меня вспомнили, и крикнул: — Да здравствует Христина! Ура!

— Ну, что ж, Христина! Давайте чокнемся.— Отец пожал Христине руку, все потянулись к ней с бокалами.

Бабушка обняла меня за плечи.

— Ну, а что ты пожелал себе в новом веке?

Я задумался. Я забыл, что надо пожелать себе что-нибудь, пока часы не пробили двенадцать. Строительный набор и желез-

ную дорогу с паровичком я получил к рождеству. Оловянных солдатиков у меня целая армия, новая крепость мне тоже не нужна, а «Германскую молодежь» каждое воскресенье присылал из Берлина веселый «Дядюшка-почтарь».

Так я ничего и не придумал. В эту минуту у меня не было никаких желаний.

— Пожелай, чтобы наступила новая жизнь...— шепнула мне бабушка.

И оттого, что все было так необычайно и торжественно, я опять дал себе слово исправиться и стать хорошим. Я решил больше никогда не врать и поклялся, что после каникул буду приносить домой самые лучшие отметки. И еще я твердо решил никогда больше не доставать мамиными ножницами из копилки монеты в пять и десять пфеннигов; вот каким хорошим и послушным я хотел стать! Благие намерения так развеселили меня, что я запрыгал.

Отец постучал о свой бокал:

— Внимание!

Все хором подхватили его тост: «Да здравствует двадцатый век! Ура!»

Отец опять оглянулся с таким видом, словно ему чего-то не хватало. Быть может, он искал, что бы такое из старого года захватить с собой в новый? Мне захотелось помочь ему и напомнить о чем-нибудь хорошем из минувшего. Скажем, о войне буров с англичанами,— на Шлёйсгеймерштрассе я даже видел ресторан: «У храброго бурского генерала»,— или же о поездке кайзера в Палестину. И тут я вспомнил, что́ следовало бы пожелать себе. Я совсем забыл про множество сражений, вроде Лейпцигской битвы народов, или осады Дюппельских укреплений, или битвы у Мар-ла-Тура и под Седаном,— как ужасно, что меня при этом не было. Я всегда мечтал, что, когда выросту, начнется большая война. Мне захотелось немедленно спросить у отца, как он думает, будет ли и в новом столетии война и когда она начнется? Вместо этого я спросил:

— Ты ищешь «Мировые загадки», папа?

Книгу с таким названием я видел недавно в отцовском портфеле, когда украдкой в нем рылся. Я испугался — вот и влип! Отец ничего не ответил. Мысли его витали где-то далеко.

Отец и мать, взявшись за руки, любовались волшебной ночью. Бабушка знаком подозвала меня к себе; она хотела, чтобы я оставил родителей одних. Как бы в порыве любви и нежности, они говорили друг другу: «Генрих!», «Бетти!» Они походили на те нежные пары, которые я часто видел в Анг-

лийском парке у водопада. «Вот такие, наверное, и бывают хорошие люди»,— подумал я и, забыв о всяких сражениях, в третий раз дал себе слово: «Я стану хорошим человеком». Я крепко прижался к маме, мне очень хотелось увести ее.

Между тем свечи на елке догорели. Исчез мерцающий хоровод. Мы плотнее запахнули на себе пальто. Бабушка послала Христину за шалью. Ничто не согревало нас больше. Всем было холодно.

Двадцатый век наступил.

Мне уже надоело это долгое топтание на балконе. Разве еще что-нибудь будет? Чего мы, собственно, ждем? Старое время кончилось, а новое еще спит, оно только завтра настанет по-настоящему.

Мы спели: «Тихая ночь, святая ночь» и гимн «Германия, Германия превыше всего...» Я смотрел в рот отцу и старался петь так же, как он, солидным басом.

Густые, мощные удары колокола на церкви Богоматери, затихая, еще долго гудели в воздухе.

II

Каждый раз в новогоднюю ночь я встречал приход двадцатого века. Быть может, он запаздывал или ждал, когда я пойду в школу, а может, у него находилась еще какая-нибудь причина не наступать; но по-прежнему ничто не показывало, что новый век наступил...

И вот мы опять стоим в новогоднюю ночь на балконе, празднично убранном разноцветными фонариками; опять, когда прозвучало «С Новым годом», я провозгласил тост за двадцатый век и крикнул: «Да здравствует Христина!»

«Ну, что ж, Христина, давайте чокнемся!» И отец опять пожал Христине руку, а со двора вперемежку с хохотом донеслись выстрелы, и бабушка шепнула: «Пусть наступит новая жизнь!» И я дал троекратную клятву.

Итак, опять наступил двадцатый век...

— Ну, можно ли быть таким любопытным?! — крикнула Христина, выпроваживая меня из кухни, потому что я совал нос во все горшки и приставал с расспросами, какие особенные кушанья готовятся в Новом году.

Я едва дождался утра, так мне хотелось повсюду заглянуть и увидеть, что принесло с собой новое время. При этом я ни на

минуту не забывал о своей троекратной клятве исправиться и начать новую жизнь.

— Ох уж эти дети, спасу нет! — крикнула мне вдогонку Христина, и я удивился, что слышу это старое выражение. Христина употребляла его всякий раз, когда мне наконец удавалось вывести ее из себя.

Портрет дедушки висел в столовой над сервантом. На лице дедушки уже не было того теплого отблеска, что согревал его вчера; дедушка равнодушно смотрел прямо перед собой, словно новое время ничем ему не угрожало. Золотая рама, в которую был заключен портрет, вызывающе поблескивала. Комнату успели прибрать и проветрить, дверь на балкон была чуть приоткрыта. На балконе, уносившем нас в волшебную ночь, стояли в боевом порядке совки и щетки, а на перилах висел ковер, ожидая чистки. Густо падал снег.

— Завтракать! — позвонила в колокольчик мама.

Я сразу же почувствовал, что сегодня, как всегда, опасно спрашивать о чем-нибудь во время еды. Я повязал вокруг шеи салфетку и получил свою чашку какао. Мать опасливо покосилась на отца, который надбивал яйцо: яйцо опять оказалось недоваренным, и мать сама встала, чтобы второе яйцо еще раз опустить в кипящую воду. Так мы завтракали каждый день. Вернувшись из кухни, мама сказала мне:

— Ешь осторожней! На столе чистая скатерь. Не посади сразу же пятна по случаю Нового года.

Снег прекратился, и мне разрешили погулять до обеда.

Денщик майора Боннэ пользовался у нас, мальчишек, большой любовью, потому что он замечательно ругался. Он изобретал все новые ругательства, да и любое слово умел произнести так свирепо, что оно казалось бранным. Он разрешал нам надевать свою длинную саблю, а иногда катал нас верхом по конюшне. Родителям не нравилось, что я подолгу у него пропадаю, тем более что к нему часто заглядывала кухарка обер-пострата Нейберта. Из каморки денщика, которого все звали просто Ксавер, шел крепкий дух, и нас уже издали неодолимо влекло туда. От лошадей, соломы, кожи и сырых стен исходил смешанный запах, какой бывал на нашей Гесштрассе, когда по ней проходил полк солдат, или возле казарм в Обервизенфельде; так, наверное, пахло и на войне, не хватало только запаха пороха.

Я знал трех Ксаверов. Один, еще не одетый, в нижней рубахе и кальсонах, умывался во дворе у колодца. Тут он ничем

особенным не отличался, даже ростом был не так уж высок, скорее мал и тщедушен. Потом он исчезал на некоторое время в своей каморке, и появлялся второй Ксавер — преображенный, на добрую голову выше, в мундире и каске, сабля его со звоном тащилась по земле. Выпятив грудь, он проходил богатырским шагом в конюшню, выводил коня, одним махом, сверкнув шпорами, садился в седло, и тут в своем третьем обличье представлялся мне героем, как те, что красуются для всеобщего обозрения на памятниках. А когда он по праздникам надевал каску с красным султаном, я только тем и умерял свой восторг, что вспоминал про его ругань и кальсоны...

Будь я верен своему слову стать благонравным и послушным мальчиком «в новом столетии», я бы прошел мимо Ксаверовой каморки, даже не поглядев в ее сторону. Я так и хотел поступить: отвернувшись, я сделал уже несколько нерешительных шагов прочь, но сегодня каморка Ксавера из кожи вон лезла, только бы я не прошел мимо. Отчаянный храп, вырывавшийся из всех ее щелей, невольно вызывал опасение, не случилось ли какого-нибудь несчастья и не нуждается ли Ксавер в моей помощи. Я не мог бросить Ксавера на произвол судьбы. Как часто он скрашивал мне жизнь своей руганью и шутками-прибаутками, когда я возвращался из школы, угнетенный плохими отметками! Да, наконец, разве Ксавер не солдат, не канонир Второго баварского королевского артиллерийского полка; чего доброго, его еще подстрелили в новогоднюю ночь и он лежит теперь при смерти, весь в ранах, истекая кровью!

Я успокоил совесть тем, что ведь Христина ворчит по-старому, и вообще я ни в чем не заметил ни малейшей перемены. И родители не называли больше друг друга «Генрих» и «Бетти», а говорили, как обычно,— «отец» и «мать». Сверху доносились звуки рояля; мама пела, отец ей аккомпанировал, а значит, мне нечего было опасаться, что меня увидят. Я подошел к сторожке Ксавера и заглянул в окно.

На столе посреди комнаты стояло в беспорядке множество пивных бутылок и только *один* стакан. Стул был опрокинут, изголовье кровати заслонял стол, а с другого ее конца торчали огромные солдатские сапожищи.

Слегка толкнув раму, я открыл окно и, подтянувшись на руках, с ужасом увидел, какие перемены натворил новый век в каморке Ксавера.

Ксавер в полной форме лежал на кровати; голова его, багровая, храпящая дурья башка, свешивалась чуть не до самого пола. Приятного запаха каморки как не бывало, его начисто вытеснил остывший табачный дым, смешанный с пивными испарениями и кисловатой вонью от блевотины на полу.

Чудовищным показалось мне то, что Ксавер, видно, учинил здесь в новогоднюю ночь, прямо преступлением!

Даже железная печурка не истоплена!

— Ах, Ксавер, и не стыдно тебе в таком виде встречать новый век, ведь теперь все пойдет по-новому, и скоро будет большая война! Если ты сейчас же не встанешь, не умоешься и не уберешь комнату, я все расскажу господину майору, как только он вернется из новогоднего отпуска.

— Что там еще за война? — прогудел Ксавер, сонно перекатывая голову и приоткрыв опухшие, мутные глаза.— Пусть она поцелует меня в... — Он повернулся к стене и пальцем показал на свой зад.

За этим последовал такой храп, что я, потрясенный, отступил и кинулся на улицу. В мундире валяться на постели!

— Чего уж тут ждать! — повторил я мамино любимое выражение.

III

Вероятно, по случаю праздничных дней я нигде не мог обнаружить чего-либо нового. Магазины были закрыты, люди шли в церковь или, собравшись с духом, отваживались в этот звонкий морозный день на короткую прогулку. После обеда, который опять-таки ничем особенным не ознаменовался, мы, одевшись потеплее, отправились на озеро Клейнгесселоэ, где сегодня происходили конькобежные состязания.

— Хорошенькое начало для Нового года, нечего сказать! — воскликнула мама, когда мне понадобилось высморкаться, а носового платка у меня не оказалось.

— Нет, он, видно, не желает исправиться, он не способен начать новую жизнь. Как было, так все и осталось! — поддержал маму отец.

Мне хотелось сказать, что в этом виноват Ксавер, и не он один, а еще Христина: зачем она первое же новогоднее утро начала со своей старой воркотни; и дедушка — ведь его портрет как ни в чем не бывало висит в столовой над сервантом; и балкон с совками, щетками и ковром, да и сами они, отец с матерью, тоже виноваты: они уже не стоят, обнявшись, как в новогоднюю

ночь, и не говорят друг другу «Генрих» и «Бетти». Весь мир виноват в том, что я не изменился; как в самом деле мог я исправиться и начать новую жизнь, раз даже случая к этому не представлялось и все осталось по-старому! Но я не терял надежды,— пусть только пройдут праздники.

История с Ксавером вызвала у меня опасение,— а вдруг наступили совсем уж скверные времена. Если бы майор Боннэ знал про Ксавера, он, наверное, строго наказал бы его. Ксавер сам рассказывал, как однажды он сутки отсидел на гауптвахте за оскорбление офицера. Лечь в постель в мундире, когда это и в обычном-то платье не положено, представлялось мне тяжким преступлением, которым Ксавер опозорил Германию. А что, если бы началась война! Вот ужас! Никакие трубы и барабаны не прервали бы храп Ксавера. Быть может, по вине Ксавера мы даже проиграли бы войну! Теперь я никогда больше не смогу вообразить себе, как он, Ксавер, сверкая шпорами, с развевающимся огненно-красным султаном на шлеме гордо скачет на своей лошади — конь со всадником клонились набок и все глубже погружались в бездонный храп. Да, Ксавер в своем постыдном падении увлек за собою благородного рыжего скакуна!

Между тем мы добрались до озера, где под звуки духового оркестра кружилось бесчисленное множество конькобежцев, и я прежде всего принялся за поиски чего-то невиданного.

Здесь мы встретили знакомых.

Господин, которому отец поклонился уже издали, был в цилиндре; важный, грудь колесом, он как бы тащил на веревочке свою маленькую кругленькую супругу. Встреча была такой сердечной, что обе пары чуть ли не приплясывали одна перед другой. Сразу же затараторили о Новом годе: Новый год то, и Новый год се, и все это стоя посреди дороги и мешая гуляющим, которые без конца толкали нас. Меня заставили подать супругам руку и пожелать им счастья в Новом году.

— Ах,— вздохнула мама,— опять он не так подает руку. Он никогда не научится как следует здороваться.

Вдруг ей пришла в голову мысль, чтобы я сегодня зашел еще к обер-пострату Нейберту и передал ему наши новогодние поздравления. А я навострил уши, стараясь понять, кто же этот господин, который все посмеивается «хе-хе» и после каждого смешка поглаживает усы, как будто вытирает рот салфеткой. Обе пары никак не могли расстаться. Отец и господин в цилиндре беседовали о каком-то процессе, я уловил фамилию Кней-

зель; это был, по их общему мнению, «отпетый негодяй»; мать и маленькая круглая дама болтали о выставке; обе они находили, что в картине Штука изумительно много фантазии и она прелестна по колориту. Они уже несколько раз прощались и долго трясли друг другу руки, но затем вспоминали еще какую-нибудь новость, и все начиналось сначала. Вокруг постепенно скоплялась публика, так как гуляющих становилось все больше, а пройти мимо нас можно было только с трудом. Мне было неловко, потому что многие оборачивались и отпускали по нашему адресу замечания. Я отошел на несколько шагов и остановился, теребя пуговицы на своем пальто. Наконец мы откланялись. Мама дернула меня за рукав:

— Видно, и Новый год тебе нипочем, ты совершенно не умеешь себя вести. Когда наконец ты выучишься хорошим манерам?

— Кто этот господин и что это за процесс, про который вы говорили? — спросил я, повиснув на руке отца.

Но мать не дала ему ответить.

— Что за несносное любопытство! Хотя бы ради Нового года ты прекратил свои вечные расспросы!

Из разговора родителей я понял, что незнакомый господин — судья Мауэрмейер, входил когда-то в одну студенческую корпорацию с отцом; к Новому году его из Бамберга перевели в Мюнхен.

Я убедился, что самое трудное в моем намерении исправиться и начать новую жизнь — это победить любопытство. Легче уж, пожалуй, не врать и никогда больше не приносить плохих отметок. Но отказаться от привычки шарить в погребе и в кладовой, рыться в отцовском портфеле и заглядывать в тетрадку, куда Христина записывала расходы,— это было свыше моих сил! Сегодня утром, например, пока родители спали, я успел просмотреть новогодние поздравительные карточки, а потом, выбрав из корзины для бумаг все клочки, сложил их один к одному,— хотя разобраться в них я все равно был не в состоянии. Я не мог видеть ни одного шкафа, ни одной шкатулки, чтобы не исследовать их до самых потаенных уголков. Если сквозь дырочки в почтовом ящике белел конверт, я, сгорая от нетерпения, бежал за маминым ножницами и извлекал письмо точно так же, как извлекал из копилки пфенниги. Вот это и были мои тайные проделки, и я боялся, что они раскроются на Страшном суде. А ну как обнаружится, что мне точно

известно, куда отец прячет ключи от письменного стола! Как только меня оставляли дома одного, я отпирал все ящики, и не было такой бумажки, которая не побывала бы у меня в руках. Нет, новый век не представлял бы для меня решительно ничего интересного, если бы мне пришлось распроститься с любопытством и отказаться от моих тайн; чем бы эти тайны мне ни грозили, они были моей собственностью, которой я распоряжался как хотел, которая принадлежала мне одному...

Я прикинулся усталым, чтобы вынудить родителей поскорее вернуться домой,— мне не терпелось узнать, что там с Ксавером; его храп, словно в насмешку, звучал у меня в ушах.

Мама вздохнула, и тогда отец заворчал:

— И в Новом году все то же! Как гулять с родителями — ты устал, а бегать целыми днями по улице и без конца шалить — тут ты неутомим. Удивительно, а?

И верно, каждое воскресенье повторялось одно и то же: стоило нам выйти из дому на послеобеденную прогулку, как на меня тотчас же нападала неудержимая зевота, и я, идя рядом с родителями, еле волочил ноги.

Мы миновали Китайскую башню, которая тоже осталась на своем старом месте, постояли наверху у Моноптероса, глядя, как салазки съезжают с невысокого холма, и все трое пожалели, что не поехали в Эбенгаузен покататься с гор.

Во дворе я замешкался: мне хотелось посмотреть, не проснулся ли тем временем Ксавер.

Сторожка Ксавера уже не сотрясалась от храпа.

В каморке было тихо.

Я вздохнул с облегчением, когда увидел, что Ксавер, по крайней мере, мундир с себя снял. Мундир висел на спинке стула, а сапоги стояли рядом. Пуговицы на мундире поблескивали, отражая свет уличного фонаря, который проникал в каморку.

IV

Мне приснился мундир Ксавера. Он был весь в пятнах. Я чистил его щеткой. Но чем больше я чистил, тем безобразнее выступали пятна, черный воротник и манжеты с каждой минутой лоснились все больше, а сукно от усиленной чистки уже начинало просвечивать. И пуговицы, сколько я ни тер их носовым

платком, ни за что не хотели блестеть. «Ты мне весь мундир испакостил»,— хныкал Ксавер. Лошадь, грустно кивая, выглядывала из конюшни, султан топорщился на шкафу, а сабля на стене задумчиво покачивалась. Тут я увидел старомодный бабушкин шкафчик. Шкафчик открылся, и гляди-ка — он был доверху набит блестящими десятимарковыми золотыми. И я купил самых дорогих синих чернил, а для воротника и манжет — густой черной туши и выкрасил мундир Ксавера, а пуговицы отполировал знаменитым средством «сидоль» так, что они блестели даже ярче, чем вчера вечером при свете уличного фонаря. Лошадь в конюшне ржала от радости, султан на шкафу развевался, сабля на стене весело бряцала. Ксавер улыбался во весь рот; он немедленно облачился в свой чудесный мундир и обещал мне больше никогда не марать его и носить с честью.

О ты, старомодный бабушкин шкафчик!

* * *

Каникулы кончились. Настал первый день занятий. Отец перевязал шнурком пачку протоколов и собрался в суд. На девять утра в большом зале Дворца юстиции было назначено слушание дела. Ксавер в начищенных до блеска сапогах, в аккуратном мундире поскакал за майором Боннэ, сопровождая его в Обервизенфельде на учебный плац.

Гартингер ждал меня на углу Луизен- и Терезиенштрассе. Едва я дошел до Луизенского бассейна, как сразу же увидел Францля: держа ранец в руке и размахивая им, он прохаживался между цветочным магазином и почтой.

Я откозырял ему, а он сказал просто:

— Здравствуй!

— Как ты встречал Новый год?

И тут же я спохватился, что у Гартингеров нет балкона с праздничными разноцветными фонариками, на котором можно плыть, слегка покачиваясь, и с которого так хорошо любоваться волшебной ночью,— у них, понятно, Новый год не мог быть похожим на наш.

— Да так... — ответил Гартингер.

Я уже осмотрел его со всех сторон и не заметил никаких перемен.

— И ты ничего не пожелал себе на Новый год?

— Нет, почему же? Пожелал.

Больше я ничего не мог из него вытянуть. И меня злило, что он не спрашивает, как я встретил Новый год.

В витрине у Зейдельбека по-прежнему лежали пфенниговые прянички, и стоили они столько же, сколько и в прошлом году. Сахарная соломка, медвежьи орешки, турецкий мед, карамель — все сласти старого года не потеряли своей сладости и в новом году, а соленые крендельки и хворост были такими же солеными в новом году, как и в старом.

— Что же ты все-таки себе пожелал?

— Ну, что обычно желают в таких случаях.

Вилла Ленбаха и галерея Шака стояли на том же месте, что и в прошлом столетии, да и Пропилеи нисколько не изменились с виду.

— А что желают себе обычно?

— Отстань! Какой ты любопытный! Ведь я к тебе не пристаю, хотя и ты, верно, что-нибудь себе пожелал.

— А я не помню, я, кажется, ничего себе не пожелал.

О том, что я пожелал себе в наступающем веке войну, я забыл.

Гартингер удивленно посмотрел на меня.

— Ничего не пожелал! Ничего не пожелал! — повторил он несколько раз.

Как всегда, на целый квартал от угла Карлштрассе тянулось длинное здание Базилики. К чему же был весь этот трезвон, все поздравления и пожелания, раз все осталось по-старому?!

Пронзительно заверещал звонок. Мы бросились к партам. Учитель Голь был в том же мундире с клеенчатыми нарукавниками, что и в прошлом столетии. На уроке арифметики я исчертил всю парту бесчисленными «1900», хотя теперь это уже не соответствовало календарю. Меня вызвали к доске, и, если бы Гартингер не подсказал мне, я так же не решил бы задачи, как и в прошлом году. Я получил свое «плохо — как всегда». После первого же урока Голь, «чтобы не отбились от рук», одних оставил без обеда, других наградил оплеухами, третьих записал в журнал.

На перемене Фек подставил ножку Гартингеру, тот шлепнулся, и я сцепился с Феком; то же было и до наступления нового года, для этого незачем было зажигать разноцветные фонарики.

После занятий мы помчались в Глиптотеку и там, как обычно, играли в пятнашки и развязывали сзади фартуки нянькам, катившим детские коляски.

Это тоже было не очень благонравно и благовоспитанно.

Когда мы, как всегда, шли домой с Гартингером, я пристал к нему:

— Послушай, не будь таким вредным, скажи, что ты пожелал себе. Честное слово, я не проболтаюсь.

Теперь Гартингер был как будто сговорчивее, потому что я и в новом году помог ему справиться с Феком; он завел меня в ближайшие ворота, придвинулся вплотную и сказал:

— Чтобы наступила новая жизнь.

Я испугался, услышав здесь, в воротах, те самые слова, что в новогоднюю ночь на празднично убранном балконе шепнула мне бабушка.

— А тебе-то что, у тебя и так хорошие отметки, ты и так никогда не врешь.

Мне стыдно было рассказывать ему, какую я дал себе клятву.

— Все должно быть по-другому.

— Как, все на свете?

— Да, все на свете.

— Но ведь той булочной напротив незачем становиться другой?

— Нет, и ей обязательно.

— А почему и булочной?

— Да так.

Больше мне ничего не удалось вытянуть из Гартингера. На углу Луизенштрассе и Терезиенштрассе мы расстались.

«Все... все на свете...»

Ведь и я хотел, чтобы все было по-другому, почему же знакомые слова звучали совсем иначе, так что даже страх разбирал, когда об этом говорил Гартингер?

Ксавер как раз ставил лошадей в конюшню.

А не простить ли мне Ксаверу его поступок, как я простил себе нарушение троекратной клятвы?! Быть может, и он под Новый год дал себе слово исправиться и зажить по-новому и с ним произошло то же самое, что и со мной?! И потом, мне не терпелось рассказать ему про то, как сияли пуговицы при свете уличного фонаря, и про свой сон; ему это, наверное, понравится.

— Как вы провели первый день Нового года, Ксавер?

— Отсыпался после выпивки.— Он ухмыльнулся, словно это доставило ему большое удовольствие.

— Разве вы так много выпили?

— Ровно столько, чтобы свалиться.

— Вы, кажется, стреляли в новогоднюю ночь, мы слышали. Папа все расскажет господину майору.

— Тебе приснилось. Это хлопали ваши пробки от шампанского.

Ксавер сердито отставил ведро, взял метлу и принялся сметать в кучку навоз.

— А если бы как раз началась война?!

— Тьфу, пропасть! Надоел ты мне со своей войной. На что она мне? Ведь я Ксавер, а не какой-нибудь толстосум.

Он сунул мне в руки совок, сказал: «Держи»,— и стал накладывать в него навоз.

— Что стоишь дурак дураком? Даже совок держать не умеешь. И куда ты годишься! А треплешься, словно паршивый пруссак... Ну, неси! Ничего, тебе это не повредит. Эх ты, голова баранья!

Свалив навоз в яму, я сразу же убежал. Ксавер крикнул мне вслед: «Всего наилучшего, господин генерал!»

Он откашлялся, как будто собирался плюнуть мне вдогонку.

Я вихрем взлетел по лестнице.

Пришлось соврать отцу, когда он спросил об отметке по арифметике. Теперь мне уж все было нипочем, раз я так послушно отнес навоз в яму. Я тихонько прокрался на балкон — посмотреть, не осталось ли там каких-нибудь следов волшебной ночи. Но даже фонарики были уже сняты. Ветер с такой силой захлопнул дверь, что чуть не разбилось стекло. Я поспешно бросился назад в комнату. Балкону не было до меня никакого дела. Новогодняя ночь отодвинулась куда-то далеко-далеко, в иной мир...

Значит, двадцатое столетие попросту не хотело наступать, не хотело, и все тут. А может, оно наступило, но только не показывает все то чудесное, что принесло с собой...

Наступило? Или еще только наступит? И наступит ли вообще? И почему оно должно наступить именно в тот день, который назначили мы? А может, новому веку и вовсе никакого дела нет до наших расчетов и время творит с нами все, что хочет...

Как бы там ни было, надо, по-моему, чтобы двадцатое столетие наступило завтра же, среди года... Раз навсегда... Или же давайте решим, что оно наступило, и дело с концом. Тогда, зна-

чит, мы живем в новом столетии, оно стремительно проносится над нами, и ничего уже не поделаешь...

Ночь счастливых надежд миновала навсегда. Нечего больше надеяться на скорое исполнение желаний. Что толку давать клятвы и обеты? Я упустил случай начать новую жизнь...

А ведь я хотел исправиться, хотел начать новую жизнь! Ведь я, Ганс Петер Гастль, хотел стать хорошим человеком!

V

Голос у нее был не такой нежный и звучный, как у мамы, и к тому же она всегда фальшивила.

Руки у нее были не такие узкие и белые, как у мамы; у Христины они были широкие и шершавые, настоящие кухарочьи руки. Но больше всего на свете я любил, когда Христина перед сном присаживалась на мою кровать и, ласково поглаживая меня, напевала свои песни.

Руки ее гладили меня так, словно даже там, глубоко внутри, находили все места, которые у меня болели. Она знала столько чудесных песен, что я мог бы слушать ее без конца.

Часто мама или отец, войдя в комнату, говорили:

— Ну, а теперь гасить свет и спать!

В ту минуту я ненавидел их обоих, я садился в темноте на кровати и, всхлипывая, посылал Христине в ее каморку много-много воздушных поцелуев.

— Спокойной ночи, Христина! Спи спокойно, Христина... Милая, милая Христина.

Она держала мою руку в своей, и мне казалось, что песня, которую она поет, теплой струйкой льется в меня через ее руку.

«Должна я, должна уехать в городок...» — пела она. И еще: «Покинуть тебя, мой милый, мой милый дружок».

— Я не хочу, Христина, оставаться здесь, я хочу с тобой.

— Ах ты...

«Ах ты...» Порой она произносила это с такой нежностью, что я жалел, почему я не ее сын.

Она раскачивала мою руку в такт песне, и мне казалось, что мы идем с Христиной по широким дорогам, все дальше и дальше — до самого Букстегуде.

— Где это Букстегуде, Христина?

— Далеко-далеко.

И она вздыхала, словно дорога в Букстегуде такая длинная, конца ей нет.

— А хорошо там, в Букстегуде, Христина?

— Хорошо... Ой, как хорошо.

Она произносила это так благоговейно, словно Букстегуде было на небесах и там обитал сам господь бог.

Когда она кончала песню, я просил ее «еще разочек» рассказать о Бреттене — баденской деревне, где она родилась.

Мне никогда не надоедало слушать о том, как Христина пасла коз, когда была еще совсем маленькой.

— Нет, волков не было, только сорванцы вроде тебя прятались в кустах и оттуда кричали «бу-бу».

У Христины было много братьев и сестер. «Дети, дети, ох, спасу нет!» — говорила она. Ребята с малых лет помогали родителям в поле, много их перемерло; отец был бедняк, он и оставшихся не мог прокормить, и Христину отослали в город Дурлах, где она поступила служанкой к моей бабушке. Христина уже служила у бабушки, когда родилась мама. Она возила «их милость», как она называла теперь маму, в коляске. Она присутствовала на обручении «их милости барыни» с «их милостью барином» незадолго до смерти деда.

— А фельдфебеля ты забыла, Христина?

Фельдфебель был убит при Марс-ла-Туре в войну семидесятого года.

При упоминании о фельдфебеле у Христины увлажнялись глаза, вот и теперь она смахнула слезу.

— Забыла, говоришь? Давай-ка я лучше опять спою тебе ту песенку.

На этот раз я тихонько ей подпевал.

Как хорошо было вдвоем с ней петь песни! Гораздо лучше, чем мурлыкать себе под нос в одиночку. Было радостно, что ты не один, что ты слышишь, как согласно звучат два человеческих голоса. Но так я думал, только когда пел с Христиной. Почему-то, когда отец или мать заставляли меня петь с ними или под аккомпанемент отца показывать свое искусство гостям, это *было совсем не то!*

Через год, через год, как созреет виноград,
Созреет виноград,
Я опять вернусь сюда,
Если ты, если ты не разлюбишь меня,
Справим свадьбу мы тогда...

Христина помолчала.

На глазах у нее опять блеснули слезы.

— Все точка в точку, как с моим фельдфебелем. Вот так оно и было!

Затем мы поиграли в «а что, если бы...».

— А что, Христина, если бы сейчас объявили войну?.. А что бы ты сказала, Христина, если бы я вдруг стал генералом? А что бы ты сделала, Христина, если бы ты была кайзером?

Христина терпеливо ответила на два-три «а что, если бы», но я так упорно засыпал ее все новыми и новыми вопросами, что она рассердилась.

— Да отвяжись ты от меня. С ума сойдешь от твоих вечных «а что, если бы...».

Я нарочно сказал нехорошее слово, потому что мне нравилось, когда Христина приходила в ужас:

— Что за гадости ты говоришь, поросенок эдакий!

Схватив ее за руку, я заявил, что не отпущу «ни за что», пока она не расскажет «еще только разочек» о том, как я появился на свет.

Теплым майским утром ровно в восемь часов, как по школьному звонку, я появился на свет божий; в эту самую минуту по Гессштрассе проскакал с музыкой кавалерийский эскадрон во главе с принцем Альфонсом. Христина и меня возила в коляске, как маму. А в Обершау, где мы однажды проводили лето, нас с Христиной застигла страшная гроза. Христина движением руки показывала, как зигзаги молний бороздили тучи, густо обложившие горы, и рычала, подражая грому.

В еловом лесу над нами ударила молния.

Я заставлял Христину изображать далекий колокольный звон, возвещавший о грозе. Как тогда, в грозу, Христина читала молитву. Я был милосердным богом, который услышал ее молитвы, разогнал злые тучи, и солнышко вновь засияло в синем безоблачном небе.

Я был «барыней» и хорошенько распек Христину, когда она вернулась со мной промокшая до нитки, и пригрозил в следующий раз рассчитать ее за такую неосмотрительность. Христине полагалось плакать и обещать, что такой грозы с градом никогда больше не случится,— теперь я был уже «барином»; я вышел, успокоил «барыню», которая страшно сердилась, и отослал Христину на кухню со словами: «Ладно, Христина, в следующий раз будьте осторожнее, а теперь ступайте, займитесь своим делом».

Христина всегда оставалась Христиной; правда, я разрешал ей изображать молнию, стук града, грохот грома, молиться и звонить в колокол,— я же попеременно был «милосердным богом», «барыней», «барином» и «злым волком», который проглотил маленькую Христину, ведь я так любил ее, что готов был съесть... Неужели и меня Христина будет когда-нибудь звать «ваша милость»?

Христина ржала, она была лошадкой, запряженной в дрожки, а я был кучером, я садился на лошадку верхом и кричал «н-о-о» и «тп-р-р», я мог всласть обнимать и гладить Христину и колотить ее ногами.

— Что ты себе пожелала на Новый год, Христина? — спросил я среди игры.

— Что пожелала? Много ли наш брат может пожелать себе!

— Наш брат? Что это значит, скажи, моя лошадка.

Я посмотрел на Христину с таким же удивлением, с каким Гартингер смотрел на меня. О войне мне теперь не хотелось думать, на душе у меня было как-то особенно мирно.

— Да ничего. Человек должен быть всем доволен.

— Но почему нельзя желать чего-нибудь? Мы же молимся.

— Да будет воля божья.

— Ах, бог ты мой, должна же наступить другая жизнь. Разве ты не видишь, как мама трясется над каждым пфеннигом, не ездит на трамвае, всюду пешком ходит? Есть люди гораздо богаче нас.

— Но есть и бедняки, а им тоже хочется жить.

— А я вот хотел исправиться и начать новую жизнь, только у меня ничего не выходит. Вот когда мы с тобой поем, мне кажется, что еще выйдет.

— Вырастешь — поумнеешь. У кого бог на уме, тот не строит на песке.

— Скажи, Христина, верно, что я вырасту плохим человеком, если буду приносить плохие отметки? Так папа говорит.

— Ну, если их милость так говорит... Но все еще уладится, потерпи.

— Скажи, Христина, стыдно это — подбирать конский навоз и бросать его в яму?

— Вот еще. Что тебе взбрело в голову, ничего стыдного тут нет.

— В самом деле? Ничего стыдного?

— Нет-нет!

— Но если бы настала другая жизнь, Христина, ты еще, может быть, вышла бы замуж и народила детей...

— Тогда я не сидела бы здесь с тобой.

— Ты... ты взяла бы меня к себе.

Она приложила палец к губам.

— Тс! Тс!

Христине полагалось поцеловать меня на сон грядущий по разу: за Ганса-ротозея, за Ганса-сорванца, за Ганса-дурачка, за Ганса-счастливца, и как бы много ни было этих Гансов, я каждый раз придумывал новых и новых...

Потом она складывала мои руки поверх одеяла и пела:

Как сладко ночью спится!
Спит лес, и зверь, и птица,
И люди, и поля!
Вот звездочка блистает
На небе золотая,
Уснула вся земля!

У меня слипались веки.

— Ах ты...

Спокойной ночи, Христина! Спи спокойно, Христина, милая, милая Христина...

VI

Пришла весна бурная, стремительная. Вода в Изаре сразу поднялась. Народ толпился на набережной у электрической станции и на Богенгаузерском мосту и смотрел на вздувшиеся воды, желтые и бурливые. Гонимые течением бревна и трупы животных были вестниками страшных наводнений, учиненных рекой в Оберланде.

Железные кровли грохотали. Шляпы кубарем катились по мостовой. Прохожие повертывались спиной к ветру. Зонты выворачивало наизнанку, юбки вздувало. Бешено дул ветер, временами налетал косой пронизывающий дождь,— его можно было переждать в воротах или под навесом трамвайной остановки. Потом вдруг облака рвались в клочья, и на умытой синеве небосвода расцветало солнце.

Искрясь на солнце, растаял снег. Деревянные щиты, под которыми зимовали фонтаны, исчезли. Скамьи на скверах заблестели свежей зеленой краской. На эстраде музыкального павильона в Дворцовом парке появились пульты; кафе у Китайской башни перебралось со всеми столиками и стульями под открытое небо.

На балконе, так празднично убранном когда-то, Христина выбивала матрасы, с подоконников свисали краснопузые перины; Христине то и дело приходилось выбегать «понапрасну» на звонок — так зачастили нищие.

Голоса со двора беспрепятственно проникали в комнаты.

Появились подснежники и ландыши, и, значит, настала пора вместо воскресных прогулок вокруг озера Клейнгесселоэ забираться куда-нибудь подальше, в Пуллах или в Вольфратсгаузен, бродить по лесам или же, выйдя к Ментершвейге, постоять на Гроссгесселоэском мосту, радуясь тому, что горы так близко, и что с весной все так меняется, и что весна победно шествует по всей стране.

С тех пор как Христина сказала мне, что убирать навоз нисколько не стыдно, я помогал Ксаверу на конюшне. Я бегал с литровой кружкой за пивом. По дороге покупал в зеленной лавке редьку к пиву. Я спрашивал Ксавера, не возьмет ли он меня к себе в денщики.

Все это надо было делать с умом, осторожно и крадучись, чтобы родители не узнали о нашей дружбе. Я научился, проходя по улице, держаться поближе к домам и, как только отец высовывался в окно, приникал к стене; я научился проползать на четвереньках сквозь кусты в саду и живо удирать через лазейки в дырявом дощатом заборе.

В награду за мои услуги Ксавер учил меня в своей каморке обращаться с саблей. Ксавер командовал. Когда я пробовал вытащить саблю из ножен, этой саблище, казалось, конца не было, она все удлинялась и удлинялась, пока Ксавер не выручал меня. Со всего размаху я разрубал «француза» надвое, так что из седла на обе стороны вываливалось по полфранцуза.

— Командуйте, Ксавер, командуйте!

И Ксавер волей-неволей продолжал игру, а я гордился тем, что выполняю его команду, тогда как отцу подчинялся всегда с чувством досады.

На стене висела фотография — группа солдат батареи, в которой служил Ксавер. Справа и слева стояли орудия. Ксавер обещал взять меня как-нибудь на учебную стрельбу в Обервизенфельде. И почему он так ненавидел войну?! Мне очень хотелось рассказать ему о Христинином фельдфебеле, убитом в семидесятом году при Марс-ла-Туре; ведь мы же обязаны отомстить за него французам. Но кто знает, может быть, это тайна Христины, которую она доверила только мне?

Настали весенние вечера; улизнув под каким-нибудь предлогом из дому, я пробирался в каморку к Ксаверу. Садился на

низенькую скамеечку, почти вровень с полом, и, задрав голову, восторженно смотрел вверх. Ксавер нарезал хлеб и сало и время от времени протягивал мне ломоть того и другого, и я ел с жадностью изголодавшегося человека, хотя приходил сразу же после ужина. Мне даже разрешалось отхлебнуть глоток-другой из кружки Ксавера. Пиво было ужасно противное, но, чтобы доставить удовольствие Ксаверу, я говорил:

— Вот это вкусно! Ваше здоровье, господин Ксавер!

С едой было то же, что с пением и воскресными прогулками. Дома самые лучшие блюда вызывали во мне тошноту. Все окружавшее меня словно придавало еде какой-то привкус. Суп из спаржи был заправлен страхом, как бы отец не спросил об отметке, жареный заяц нашпигован подозрительными взглядами, а к яблочному муссу примешивалась тревога, что сейчас придется соврать и не покраснеть при этом. Голос у меня сразу пропадал. «Ты совсем охрип», — говорила мама, когда отец спрашивал о Гартингере; я долго и обстоятельно прожевывал каждый кусочек, чтобы оттянуть ответ. Пока мы сидели за столом, я только и слышал что запреты: «Не чавкать! Хорошенько прожевывать пищу! Не сажать пятен на скатерть! Рот вытирать салфеткой! С набитым ртом не разговаривать!»

Ксавер закуривал трубку. Я участливо следил за тем, как он подносит к ней зажженную спичку, словно мог своим участливым взглядом помочь ему. Если спичка гасла раньше времени, я ругал ее: «Ах ты, глупая спичка, как ты смеешь так вести себя! Изволь гореть, пока Ксавер не прикурит! А то смотри у меня!» Я радовался, когда Ксавер делал первую затяжку и дым проплывал в воздухе. И я тоже старался вдохнуть немного дыма, дыма из трубки Ксавера. Вдыхал и, конечно, кашлял.

— Что, не нравится, щенок? — шутливо говорил Ксавер и клетчатым носовым платком разгонял дым.

Он сидел в нижней сорочке, подтяжки болтались сзади. Отлично, Ксавер, только бы тебе было удобно.

— Ну, уж ладно, тащи ее сюда! — говорил он, подмигнув мне; он прекрасно понимал, что я только этого и жду. Я бросался к шкафу, вытаскивал гармонь, — она лежала внизу справа, рядом с узлом грязного белья. На обратном пути я успевал выжать один звук.

— Ай-ай! — морщился Ксавер, до того противно пищала гармонь. О, мне, наверное, никогда не играть на гармони, как Ксавер, никогда.



«Прощание»

Стоило Ксаверу взять ее в руки, и она чудесно оживала. Он растягивал и вновь сжимал ее, он извлекал из нее такие прекрасные звуки, что я замирал в благоговейном восхищении. Ксавер покачивался из стороны в сторону, как будто кто-то невидимый баюкал и качал его, он то глядел на гармонь, то задумчиво устремлял взор куда-то вдаль, точно охватывал им весь мир, то взглядывал на меня и, блаженно улыбаясь, кивал мне, потом поворачивал голову к окну, за которым синел весенний вечер, и, зачерпнув оттуда горсть разноцветных звуков, рассыпал их по комнате. Он ласкал гармонь, как живое существо, и она отвечала ему множеством голосов, которые, переплетаясь, согласно пели.

Передо мной сидел господин Ксавер родом из Унтерпрейсенберга, тот самый, у которого отец содержал трактир под вывеской «Лизль-вояка». Господин Ксавер обещал, что, отслужив свой срок, он пригласит меня к себе на лето.

— Как ваша фамилия, господин Ксавер? Ксавер?..

— А на что мне сдался этот Зедльмайер... Я про свою фамилию и слышать не хочу. Как будто мало имени... К чему все эти фамилии да титулы? Только чтобы нос задирать друг перед другом... Ксавер — и хватит...

Порой взгляд господина Ксавера затуманивался, как у Христины, когда она заговаривала о Бреттене. Быть может, Ксавер тосковал по родным местам.

— Хорошо у вас там в Унтерпрейсенберге? — спрашивал я.

Господин Ксавер еще нежнее прижимал к себе гармонь и запевал вполголоса песню о родимом крае; мелодия была такая грустная, такая жалостная, что на сердце у меня становилось тяжело.

Играй, Ксавер, играй. В каморке темнеет. Темнота хочет напугать нас. Темнота — это «черный человек», которым пугала меня мама, он похож на отца. Темнота и днем не покидала комнаты; она забиралась под стол и пряталась в шкафы, дожидаясь, когда наступит вечер и с ним ее царство. Тогда темнота выползала, чтобы поиздеваться над ничтожной каплей света, бессильной прогнать ее — огромную, необъятную. Огни гасли, а темнота росла и росла. Она дышала, потому что была живым существом, черным было ее дыхание, оно проникало повсюду. Иногда она принимала человеческий образ — у нее были закрученные кверху усы и пенсне на носу, она хотела обмануть меня храпом, доносившимся из соседней спальни: черный отец стоял передо мной, черная гора в ночной тиши...

— Так... Однако надо кончать концерт, не то твой папаша опять нажалуется.

Мне разрешалось отнести гармонь назад в шкаф; я гладил ее, потому что любил ее и Ксавера и ничего теперь не боялся. Я мог бы сейчас громко крикнуть родителям, учителям, всему свету: «Да, я дружу с Ксавером и убираю за него конский навоз. Делайте со мной что хотите!»

— Да-да, наш брат не смей шевельнуться, не смей пикнуть, а они, наверху, тарабанят на роялях, когда и сколько им вздумается... Народ — не играй и не пой...

И Ксавер тоже сказал «наш брат»...

— Все переменится, господин Ксавер. Скоро наступит новая жизнь. Не обращайте внимания,— утешал я его.

— Наступит, обязательно наступит.— Не зажигая света, он выпустил меня через окошко на задний двор. Когда я соскочил наземь, он протянул мне руку.

— Можешь смело говорить мне «ты». Ступай с богом.

С приходом весны поет гармонь. Ксаверова гармонь.

* * *

Мой отец, доктор Генрих Гастль, был прокурором.

Как-то он проснулся очень рано. Заверещал будильник. Христина постучала в дверь, отец быстро откликнулся:

— Да-да!

Одинокий, заблудившийся удар колокола донесся из церкви святого Иосифа.

Вместе с нами, казалось, тихо просыпался весь дом. Этажом выше, у обер-пострата Нейберта, скрипнуло окно; этажом ниже, у майора Боннэ, загремела на плите кастрюля, и напротив, в сторожке Ксавера, ведро уже приготовилось к утренней уборке.

Ветви каштана потрескивали,— видно, не под силу был дереву снежный покров минувшей зимы.

Я заглянул через замочную скважину в переднюю. Там горел свет. Глаз мой пучился на отца. Отец, в цилиндре, закручивал усы перед зеркалом. Там, в передней, стоял перед зеркалом всемогущий отец, даже два отца — один перед зеркалом, другой — в зеркале. Отец о двух головах, а в боковой створке трельяжа появился третий; отцы, отцы — куда ни глянь. Все будто покрытые черным лаком, и все с закрученными усами.

В замочную скважину словно подуло сквозняком. И вдруг многоликий отец протянул целый пучок рук в глубь передней,

как будто собирался вырвать мой глаз из замочной скважины, — он искал перчатки. Дверь осторожно вытолкнула отца из дому.

Глаз мой точно прирос к замочной скважине. Я всматривался, не осталось ли что-нибудь отцовское на вешалке, не спрятался ли один из отцов где-нибудь в углу.

Передняя погрузилась в мрак. В спальне мать ворочалась на постели, плотнее кутаясь в одеяло. Я видел ее сквозь стену.

Я вспоминал слова отца. Вчера, узнав от учителя о моих плохих отметках, отец сказал: «Человек, который получает плохие отметки, да вдобавок еще так бессовестно лжет... Который таскает, с позволения сказать, навоз в яму и якшается со всяким сбродом... В конце концов, ты не в конюшне родился! Кто, по-твоему, твои родители, ах ты...» Даже мысленно я не решался повторить это слово, я проглатывал его... «На то и существует государство, а я, твой отец — государственный прокурор». Ноги отца тисками сжимали мою голову, а новая камышовая трость, которую мне самому пришлось выбрать в магазине на Терезиенштрассе, со свистом обрушивалась на мой зад. Носки у отца спустились, они пахли сеном; чтоб не завыть, я высунул язык, и мне казалось, что какая-то часть меня, выскользнув из тисков, парит на свободе.

— Приготовь сюртук и новые ботинки, Христина! Мужу завтра рано вставать! — сказала вечером мама, войдя после ужина в кухню; я был наказан и ужинал в своей комнате...

Я старался не дышать, мне хотелось получше расслышать все об отце. Шмыгнул в постель и свернулся под одеялом так, чтобы меня не было видно. Доставая трость, отец скосил глаза в мою сторону и сказал матери: «Завтра мне надо очень рано встать». Но в такую рань судебные заседания не начинаются. Похороны и другие торжественные церемонии, когда надевают цилиндр и сюртук, тоже не бывают рано утром... Отцу, верно, предстоит что-то очень страшное... Конечно, из-за меня... Тут кашлянула в спальне мама. И я кашлянул. Кашлянул ей в ответ.

Портьеры колыхались; они колыхались как бы вслед ушедшему отцу.

Это был гвардейский пехотный полк, он выступил из казармы на Тюркенштрассе, свернул на Барерштрассе и теперь поднимался по Гесстшрассе, направляясь в Обервизенфельде. По обеим сторонам улицы, затопляя тротуары, шагая в ногу и держа равнение, двигалась густая толпа. Музыка гремела, мерный шаг солдат втаптывал в землю мой страх. Вся улица сверкала: штыки, каски — все вокруг. Знамя, бело-голубое, с золотым львом на древке, несли впереди, как хоругвь в церковной процессии. Я приветствовал знамя: «Новая жизнь! Пусть настанет новая жизнь! Война! Пусть грянет война, но, бога ради, не раньше чем я вырасту...» Я смеялся над собой, над своим страхом. Грозил отцу: «Я тебе покажу! Погоди ты у меня!» Вскочил на стул и крикнул:

— Ура! Я дружу с Ксавером! Наш брат... Делайте со мной что хотите!

Я уговорился с Гартингером, с Францлем Гартингером, прогулять уроки.

В кармане у меня лежало десять марок. Ни на минуту не решался я расстаться с моей золотой монетой. На ночь заворачивал ее в носовой платок и клал под подушку. Мой отец-прокурор мог обнаружить, где я прячу монету; поэтому я поглубже зарывался головой в подушку.

Я чувствовал монету сквозь подушку, ведь я украл ее в прошлое воскресенье, стащил из старомодного бабушкиного шкафчика, когда бабушка ушла на кухню варить шоколад.

Ночью во сне золотой расцветал подо мной как солнце, или, наоборот, сжимался в крошечную точечку и колол больно, как иголка...

Это началось ровно в восемь утра, с первым ударом колокола.

Все церковные колокола, точно куранты, вызванивали восемь. Между ударами стлалась сосущая тишина. Мы боялись, как бы колокольный звон не загнал нас в школу. Вот он посыпался, как град. Казалось, сейчас случится что-то необычайное. Воздух поредел, все было полно напряженного ожидания. Извозчичья лошадь пугливо отпрянула, круглая медная вывеска на парикмахерской завертелась, хотя ветра не было. Около Базилики Гартингер незаметно свернул на Луизенштрассе, к школе. Я дернул его за рукав, он молча пошел за мной. Теперь

удары колокола падали, словно капли, тягуче и медлительно. Город снова закружился в шумной скачке, большая стрелка на башенных часах поползла вниз.

Ранцы мы спрятали дома в погребе. И все же мы то и дело пропускали друг друга вперед, чтобы поглядеть, не торчит ли все-таки за спиной проклятый ранец. Нам все еще казалось, что каждый шаг может стоить нам жизни. Пожалуй, не следовало оставлять ранцы дома, в погребе их могут найти, к тому же, слоняясь без ранцев по улицам, мы, конечно, рискуем привлечь к себе внимание.

Мы прошли мимо Вительсбахского фонтана. Белые водяные бороды кипели и пенились. Все прохожие походили на учителей, справа и слева у них болтались руки,— только для того, чтобы схватить нас. Напротив грозно высилось здание суда, где властвовал мой отец. Подглядывая за нами всеми своими окнами, каменное здание наползало на тротуар. Лишь на Нейгаузенштрассе мы с Францлем решились взглянуть друг на друга. Не раз мы останавливались, чтобы убедиться, нет ли за нами слежки. Долго рассматривали какую-то витрину и вдруг увидели в ней себя — маленьких мальчиков, за которыми следит, за которыми гонится вся улица. Гартингер поковырял в носу, и это меня успокоило; я почесал коленку и с удовольствием плюнул бы в витрину.

Мы сосчитались, кому менять золотой: вышло мне.

Билет в «Панораму» стоил десять пфеннигов. Кассир угрюмо кивнул, когда я подал ему золотой. У кассира были прыщеватые щеки и острый нос, а у нашего учителя Голя — лицо багровое, все в веснушках.

Кассир восседал за кассой, словно на кафедре. Я пристально наблюдал за ним, не нажмет ли он какую-нибудь кнопку, чтобы вызвать полицию.

Он застегнул куртку и досадливо ругнул карандаш, упавший на пол. Он долго отсчитывал сдачу, монетками по пять и десять пфеннигов. Я стоял у кассы на цыпочках. Пришлось обеими руками сгребать деньги в карман, кошелька у меня не было. Тяжелая кучка монет оттягивала штанину.

Гартингер сказал:

— Сегодня Кнейзель распростился со своей головой.

Я порылся в кучке медяков и быстро протянул монетку Гартингеру, ведь он ел на переменах один сухой хлеб, тогда как мы обжирались булочками с ливерной колбасой или ветчиной.

Гартингер ни за что не хотел спрятать деньги, он тер и тер монетку о штаны, пока она не заблестела. Я грубо толкнул его,— разве он не видит, что привлекает к себе внимание.

Мы сидели, вытянувшись, каждый у своего глазка.

Такое же точно чувство было у нас и перед витринами магазинов, и в «Аквариуме»: отделенные одним только стеклом от неведомого, изумительного мира, мы окунались в него глазами. Лакомства, игрушки, рыбы, морские диковины и вот эти картины, которые сменяли одна другую с тихим «дзинь», были связаны между собой чем-то неуловимым и составляли как бы единое целое. Вещи и живые существа лежали или двигались у нас прямо перед глазами и вместе с тем где-то невероятно далеко.

Дзинь! — и перед нами, опершись рукой о спинку стула, стоит господин, серьезный и важный, в длинном черном сюртуке с наглухо застегнутым воротником. У господина бородатое лицо и благочестивый вид, как будто он произносит проповедь. А между тем его, без его ведома, обвели широкой траурной каймой, и подпись гласит: «Германский посланник фон Кетелер, убитый боксерами».

Дзинь! — и, мерцая, всплывает новая картинка: наш кайзер в адмиральской форме держит в Вильгельмсгафене речь перед войсками, которые отправляются в Китай.

Дзинь! — прозвенел сигнал к осаде Пекина, и союзные войска, предводительствуемые немцами, бросились со штыками наперевес на штурм городских стен.

Дзинь! — мелодично зазвенели на башнях многочисленные колокольчики, и вдруг — короткий и резкий звонок: на лобном месте палач огромным кривым мечом отрубил голову боксеру.

Гартингер возбужденно заерзал в кресле.

— Кнейзель! Кнейзель! — сказал он и отодвинулся от меня.

— Ну и что ж такого! — вызывающе и хвастливо откликнулся я и стал искать на картинке отца, этого любителя вставать спозаранку.

Я увидел в глазок себя самого: я стою на лобном месте среди офицеров, в пробковом шлеме, с сигарой во рту. Я тоже поднимаю за косу окровавленную голову и выдыхаю ей прямо в глаза сигарный дым. Но глаза остаюся открытыми и смотрят на меня сквозь дым.

Мы осторожно слезли с наших кресел.

В ушах у меня еще долго звенело: «Дзинь!»

Дзинь! — звонили в церкви Богоматери,— в одном из приделов шла служба. Вслед за Гартингером я перекрестился и стал на одно колено.

Дзинь! — вызванивали на главном вокзале отправление поезда. Точно выброшенные из жизни, сидели в залах ожидания пассажиры, они вскакивали, как заводные, спешили на перрон со своими чемоданами, набитыми, конечно, бог весть какими сокровищами, и скрывались в купе, словно залезали в коробки.

Для похорон было еще слишком рано, поэтому мы удовольствовались моргом. У каждого покойника на мизинце была накручена проволока: если мертвец проснется, раздастся звонок.

Дзинь! — Ни один мертвец не встал, это башенные часы отбивали полдень.

Мы поплелись домой обедать. Я незаметно пробрался в погреб за ранцем. Топая изо всех сил, чтоб придать себе храбрости, поднялся по лестнице. Навьючив на себя ранец, я позвонил. Я только чуть нажал кнопку звонка, а он сразу же завизжал, да так пронзительно...

VIII

Из комнат не доносилось ни звука. Я положил ладонь на медную табличку «Д-р Генрих Гастль», словно мог так зажать рот отцу. Потом быстро подышал на табличку и стал начищать ее, как начищал когда-то во сне пуговицы на мундире Ксавера, чтобы табличка меня не выдала. Наконец я услышал шарканье туфель Христины. Я пожелал ей, чтобы она хорошенько ушиблась о шкаф. Она бесшумно отперла мне дверь.

Глаза у нее были грустные-грустные, как у лошадей на извозчичьих стоянках, бархатная ленточка обхватывала волосы, забранные под сетку. Мне стало не по себе от ее взгляда, и если бы я сразу не созорничал и не задрал ей юбку, то не вынес бы его.

— Тш! Тш!— шикнула она.— Их милость... — Христина показывала на столовую, где, видимо, находился отец.

Я отпустил ее юбку, швырнул в угол ранец и пошел на кухню мыть руки. Отвернул кран до предела, пусть хоть вода шумит, но Христина с мольбой взглянула на меня, голова у нее тряслась. Я подкрался к двери столовой.

Дверная ручка как будто задвигалась. Может быть, отец взялся за нее с той стороны? Но шепот доносился издалека. Значит, отец сидел за письменным столом... (Отдельного кабинета у него не было.) По дверной ручке он легко мог догадаться,

что я подслушиваю. Ручка была сквозная. Правда, отец мог появиться и за моей спиной, а вдруг он с утра так и остался в зеркале, этот любитель вставать спозаранку?

— Из-за каких-то десяти марок... Да и теми он не попользовался. Ведь приятель сразу же его выдал... Нет, я против.

Что-то тихо позвякивало. Мать, которая была «против», накрывала на стол к обеду.

Отец откашлялся.

— Когда жандармы задержали его, он стал стрелять. Одного жандарма убил. К первому убийству прибавилось второе. Убийство есть убийство.

— Его самого ранили в живот. И вы же его вылечили...

— Правильно... А сегодня ему голову с плеч долой...

— Я против...

— Ты сама не понимаешь, что говоришь...

Дзинь! Голова моя упала на грудь как подрубленная.

Это был звонок к обеду...

Я шумно хлебал наваристый суп из цветной капусты, но сегодня никто не делал мне замечаний за громкое хлюпанье. Тарелка моя все не пустела. Сколько я ни черпал ложкой, этого проклятого супа становилось все больше, он снова и снова поднимался до краев. И родители тоже никак не могли справиться с супом, словно мы должны были съесть целое море супа. Мы отставили его, так и не доев. Христина внесла жаркое из свинины.

— Какой вкусный обед сегодня,— сделал я попытку нарушить молчание; родители многозначительно переглянулись, и в комнате еще долго отдавалось эхом: «Сегодня, сегодня, сегодня...»

Я сидел напротив отца. Отец заправил манжеты под рукава. На нем домашняя куртка. Удивительно, до чего чисты эти манжеты. Вид у отца какой-то праздничный. Большой салфеткой, обвязанной вокруг шеи, он вытирает с усов жир.

Отец ел сегодня торжественно. Мать, которая была «против», любовным взглядом провожала каждый кусок, исчезавший у него во рту. Сама она почти ничего не ела, на тарелке у нее темнел кружочек гарнира. Она сидела за столом для того, чтобы кормить отца. По воскресеньям, когда подавали суп с лапшой, отец вычерпывал к себе в тарелку весь жир; глазки жира густо плавали поверх целой горы лапши.

Я внимательно рассматривал руки отца. Они были покрыты редкими волосиками, в безымянный палец глубоко врезалось обручальное кольцо. Снять кольцо отец не мог бы при всем жела-

нии — палец сделался очень толстым. Я содрогнулся при мысли, что, может, и мои руки станут когда-нибудь такими же.

Дзинь! — звякнули монеты у меня в кармане.

Вилка отца резко стукнула о тарелку. Рот мой судорожно раскрылся, и я, давясь картофелем, начал рассказывать о школе. Меня вызвали показать на карте Тирольские горы, а Гартингера поставили в угол. Я знал, что отцу доставляет удовольствие, когда у Гартингера неприятности в школе.

Медяки у меня в кармане угомонились и больше не звякали...

Бывают вопросы, которые льстят тем, к кому они обращены, и приводят в приятное расположение духа,— «спасительные» вопросы.

Над панелью в столовой стояла на полке огромная чаша. Я спросил, что это за чаша. Отец поднял на нее глаза, усмехнулся и мысленно единым духом осушил чашу, пенящуюся через край.

Я спросил про Пегниц. Словно в глазке «Панорамы», предстало перед отцом его детство... Покачиваясь на возу с сеном, подъехал он к околице. Он родился в крестьянской семье. Священник выхлопотал ему стипендию, и он поступил в Эрлангенскую гимназию. Чтобы платить за учение, ему пришлось давать уроки. Стипендии едва хватало на пропитание и квартиру. В университете стипендии он уже не получал и зарабатывал на жизнь тем, что готовил студентов к экзаменам. Оттого отец и любил вспоминать детство, что он «собственными силами» выбился в люди.

Отец гордился своими шрамами и особенно — заплатанным носом.

— Какая чудесная рапира вон там на стене, папа!

И отец снова погружается в воспоминания,— он видит себя в Гейдельберге, в фехтовальном зале, он напевает: «О наш славный, старый Гейдельберг...»

И матери можно было задавать такие же вопросы.

Стоило мне спросить ее об аптеке «Золотой лев» в Дурлахе, как она тотчас же съедала свой кружочек гарнира и начинала смеяться журчащим смехом, которым она неодолимо притягивала меня к себе. Волосы ее, уложенные узлом на затылке, отсвечивали медью. Вокруг нее вырастал пейзаж: церкви и дуги мостов или родник и невысокая горная цепь на горизонте.

«Спасительные вопросы» возымели свое действие. Отец и мать далеко унеслись в своих мыслях.

Кучка монет у меня в кармане была спасена.

Я попросил отца показать мне терц.

Отец выбросил руку вперед и внезапно резко опустил, точно рубанул топором. Некоторое время рука, словно в раздумье, лежала на столе. На всех пяти пальцах она подползла ко мне и стала меня гладить. Она словно жила сама по себе, независимой жизнью.

Рука отца лежала предо мной, точно прося приласкать ее. Она казалась утомленной, но моя рука была слишком мала, чтобы прикрыть ее.

Я посмотрел на маму, которая была «против».

Она все еще была «против»,— задумчиво едва заметно покачивала она головой...

Отец, отец, любитель вставать спозаранку...

Я быстро проглотил свой пудинг.

IX

Гартингер встретил меня после обеда настороженно, глядя исподлобья. Он приник взглядом к моему оттопыренному карману.

Мы пошли смотреть панораму «Битва под Седаном».

Я все время думал, как бы поскорее избавиться от денег. Шишка, оттопыривавшая мои штаны, никак не хотела уменьшаться. Я купил у Зейдельбека огромный кусок «варшавского» торта. Казалось, все на свете стоит всего десять пфеннигов. Жаль, что сейчас не осень и нет ярмарки, тогда вся моя противная куча денег растаяла бы мигом. У меня уже захватывало дух от высоко взлетавших качелей, на «американских горках» я проносился вверх и вниз мимо зубчатых фанерных стен. Я отхватил бы для Гартингера славный кусок мяса от изжаренного на вертеле быка. Мне было досадно, что мы не подождали до осени. Я-то ведь хотел, чтобы это было в первый и последний раз. Ну, ладно, еще разок осенью — куда ни шло.

«Битва под Седаном» стоила двадцать пфеннигов, дети и военные — от фельдфебеля и ниже — платили половину.

Только теперь, глядя на колоссальную панораму, я понял смысл стихотворения, которое мне пришлось продекламировать в прошлом году на майской экскурсии в Нимфенбург. Пере-

до мной в каске с султаном стоял баварец и ударом штыка в живот пронзал тюркоса, спрятавшегося среди виноградных лоз. Всадник на рослом коне, вооруженный пикой с бело-голубым флажком, гнал кучку пленных зуавов. Генерал фон дер Танн в полной парадной форме, в каске с пышным султаном и брюках с широкими лампасами, перепоясанных шарфом, стоял на холме среди знамен и ликующих войск, похожий на раскрашенный памятник.

Пороховым дымом веяло от картины, казалось, даже гарь пожарища была на ней намалевана. Перед зрелищем этой славной битвы я в своем штатском платье показался себе каким-то жалким человечком. Даже с ранеными поменялся бы я участью, только бы на мне был мундир.

Я презирал Гартингера за то, что он рассеянно смотрел на картину, за то, что битва под Седаном для него не существовала.

Когда мы покинули поле боя, я заставил Гартингера промаршировать передо мной. Гартингер стоял навытяжку, заряжал ружье, ложился на живот, атаковал вражеские позиции. был ранен и умер геройской смертью. В честь его был дан салют.

Вдруг Гартингер заявил, что не желает больше играть, ему скучно.

Я побренчал деньгами в кармане, пусть знает, с кем имеет дело, и не дал ему ни гроша.

Мне захотелось затеять с ним ссору. Я дал ему монетку и сейчас же потребовал ее обратно. Он тут же вернул. Я сказал, что он монетки не отдал, и назвал его вором. Пригрозил привязать его к дереву и высечь крапивой — оба мы были в носках и штанишках до колен. Я с удовольствием смотрел, как у него сначала задрожали губы, потом дрожь пробежала по всему телу и забралась куда-то глубоко-глубоко. Я довел Францля до того, что он признался, будто вытащил монетку у меня из кармана. Я заставил его попросить прощения. После этого он получил пять пфеннигов; я высоко подбросил монетку и велел ему поймать ее ртом.

Отец считал, что Гартингеры для меня неподходящая компания.

Такие люди, как эти Гартингеры, виновны в том, что на кайзера вот уж второй раз за этот год совершается покушение. У них на совести также итальянский король, а теперь укокошили и американского президента. Повсюду убийства и смерть.

— Эти социалисты до тех пор не дадут нам покоя... —

говорил отец и почти просящим голосом добавлял: — Не водись ты с Гартингером, это добром не кончится.

Между тем именно у Гартингеров я бывал с удовольствием. Старик Гартингер сидел на столе в столовой, которая служила ему также мастерской, и шил военный мундир. Рядом лежала офицерская фуражка с кокардой. Я поглаживал кокарду.

Меня поражало огромное сходство между отцом и сыном. У обоих были тонкие губы и короткий вздернутый нос с широкими ноздрями, редкие волосы ежиком и мочки, словно бесформенные ошметки мяса. Ногти на руках приплюснутые, квадратные.

У Гартингеров всегда пахло жареным картофелем и старым платьем, которое заказчики приносили в починку. Мать Гартингера я никогда не видел без компресса на шее, она часто останавливалась и, сгорбившись, долго кашляла. Но окна открывать не разрешалось.

Зато в этой комнате ничто не напоминало о затрещинах. В ней не было камышовой трости. Не было сковывающего страха. Ни передней с зеркалом. Ни картин на стенах, преследующих человека по ночам. Ни ковра, заглушающего отцовские шаги. Ни пианино, под звуки которого надо петь «Германия, Германия».

— Вы бывали когда-нибудь на Кохельском озере? — спросил я у старика Гартингера.

Все трое Гартингеров с горьким изумлением поглядели на меня, бывавшего на Кохельском озере.

— Нам это не по карману,— сердито осадила меня мать Гартингера,— с нас и Английского парка хватит, а если уж очень раскутимся, едем в Пуллах... Нашему брату...

— В этом Кохельском озере ничего особенного нет. Пуллах ничуть не хуже, а может, даже лучше,— пробовал я утешить Францля, повисшего на плече у отца.

— Давай и мы в будущем году поедем на Кохельское озеро, а, папа?

Эта комната Гартингеров никогда не знала покоя, в ней жили и работали круглый год. У нас же, по крайней мере раз в году, мебель могла хорошенько отдохнуть, и стульев было куда больше, так что на каждом из них сидели гораздо реже, и им намного легче жилось.

Обычно после каникул, собираясь на переменах во дворе школы, мы рассказывали друг другу о своих приключениях. Гартингер слушал так, словно это были вести с того света. И мы

начинали расписывать вовсю,— пусть, мол, лопнет от зависти, домосед несчастный, как говорил, ухмыляясь, Фек. Но по дороге домой я утешал Францля:

— Не верь ты им, Францль, ничего этого не было. Без конца лил дождь. Противно, скучно, гадость одна.

И я, чтобы сделать Францлю приятное, на все лады убеждал его, что никуда не ездить на каникулы — это большое счастье. Все-таки лучше всего дома... А то часами торчишь в поезде... Потом как зарядят дожди... А у нас здесь рукой подать до Английского парка... Тебе можно только позавидовать... Нет ничего лучше Обервизенфельде!

Старик Гартингер спросил, что было сегодня в школе.

— Мы прогуляли,— сказал я.

— А где вы шатались?

— Сначала были в «Панораме», а потом смотрели «Битву под Седаном» и играли в войну.

— И вам не совестно?

Потом старик Гартингер спросил:

— А где вы взяли деньги?

Я с облегчением ответил:

— В прошлое воскресенье я украл у бабушки золотой.

Старик Гартингер сказал только:

— Ну и фрукт!

Я побренчал медяшками.

— И тебе не стыдно? Ну, да ладно, все это когда-нибудь будет по-другому. Такому, как ты, трудно, конечно, вырасти порядочным человеком...

От его слов «все будет по-другому» я испуганно вздрогнул, но упрямо ответил:

— В конце концов, мой отец важный государственный чиновник с правом на пенсию. Мне не о чем беспокоиться. Наш брат...

— Так-так... Ну-и-ну... — насмешливо произнес старик Гартингер, изумленно щурясь на меня.

Я с наслаждением оставил бы старику все свои деньги, но я уже сказал «наш брат» — теперь ничего не поделаешь. Я поспешно ушел.

По дороге домой я соображал, куда мне спрятать на ночь всю эту кучу денег. Перед Ксавером совесть у меня была нечиста; во сне я истратил все деньги на его мундир, а наяву поступил совсем не так. Я не мог придумать никакого укромного местечка. А что, если ночью все эти монеты забренчат? Поднимется такой сумасшедший трезвон, что весь дом всполошится.

X

Вечером играло трио.

Трио играло каждую пятницу. Оно состояло из обер-пострата Нейберта, майора Боннэ и отца.

Обер-пострата Нейберта я звал про себя «перуанским верблюдом». Он брызгал слюной, когда говорил. Стоять рядом с ним было невозможно, его смрадное дыхание буквально захлестывало собеседника. Поэтому, когда собиралось трио, мама всегда чуть-чуть приотворяла окно в гостиной.

Мама приготовила бутерброды. Но есть их полагалось только в перерыве. Она охраняла их. Она сидела у письменного стола и вязала.

Трио располагалось в гостиной.

Там стоял мольберт с портретом мамы, обрамленный зеленым тюлем. Когда трио начинало играть, тюль словно раздвигался еще шире и портрет оживал: мама стояла в низко вырезанном платье, у нее была высокая прическа, увенчанная янтарным гребнем.

Трио играло.

Моток шерсти, лежавший на полу возле матери, с каждым движением спиц откатывался все дальше к дверям гостиной. Спицы в маминых руках вздрагивали.

Мне разрешали, пока не наступит время идти спать, тихо сидеть в уголке и слушать.

Казалось, каждый из этих трех человек, играя на своем инструменте, изливал всего себя. Все трое играли о том, что причиняло им боль или доставляло радость. Я заметил, что люди, когда играют, совершенно преображаются, они как бы освобождаются от себя и каждый на свой лад становится портретом, который можно было бы написать и поставить на мольберт. Должно быть, в каждом из этих троих жил другой человек, но он редко показывался на свет, оттого что не представлялось случая. Вот и я тоже: у Гартингеров я бывал один, дома — другой, ну просто совершенно разные люди. Тот человек, каким я бывал у Гартингеров, дома куда-то исчезал, и я устраивал всякие пакости Христине,— Христине, которая никогда сама не съедала своего пудинга, а украдкой подсовывала его мне. А ведь Христине без малого пятьдесят. Нет, не в Христине было дело, когда я озорничал и безобразничал. В ком же тогда? К кому это относилось? Кого касалось? Кто был этому виной?

Трио повторяло какой-то пассаж.

Обер-пострат Нейберт, откинувшись на спинку кресла, водил смычком по виолончели. Густое облако звуков окутывало его. Должно быть, красивая фрейлейн Фальх впервые увидела «верблюда» в ореоле этих звуков, потому-то, верно, она и решилась выйти за него замуж. Обер-пострат раскрыл рот, виолончель была его голосом, он весь был этим голосом. Руки отца колдовали над клавиатурой рояля, всхлипывали и заливались трелями, распластывались, перекидывали пестрые дуги звуков, а когда отец ударял одним пальцем где-то слева, на самом краю, палец этот поднимал глубокий рокот, не смолкавший до тех пор, пока майор Боннэ не рассекал своей скрипкой всю эту массу звуков.

Трио перешло в столовую и принялось за бутерброды. Разговор зашел о книге под названием «Йёрн Уль», все читали ее и единодушно хвалили. Но зато другая книга, названия которой я не расслышал, получила столь же единодушную оценку: «прямо-таки опасная дрянь». Мне страшно хотелось, чтобы кто-нибудь подробнее рассказал об этой «дряни». Я навострил уши, но, к сожалению, о «дряни» больше не упоминалось.

— Это было бы смешно! — гремел отец.— Недаром же мы говорим: Германия завоюет мир! Багдадская железная дорога — всего лишь первый шаг на пути к мировому господству.

— Главное, не увлекаться! Нельзя недооценивать Англию. Нам прежде всего необходимо навести порядок у себя. Что вы скажете, например, по поводу пресловутого «культа наготы»?

Обер-пострат Нейберт тут же попытался исправить свою оплошность — он упустил из виду мое присутствие — и заговорил об англо-французском союзе и об открытии Сибирской железной дороги.

— Французы ввели у себя двухгодичный срок военной службы,— попробовал было прервать этот поток красноречия майор Боннэ, но обер-пострат дошел уже до землетрясения на острове Мартинике и до восстания гереро.

— Ну и дела! — вставила наконец мама одно из своих любимых присловий. У нее их была целая коллекция, вроде: «В том-то и беда!», «Хочешь не хочешь, а приходится», «Кому смех — кому слезы», и я всегда гадал про себя, какое из них у нее на очереди.

Я тихо спросил из своего угла, что это за «культ наготы».

— О таких вещах не спрашивают! — резко оборвала меня мать.

Обер-пострат Нейберт прочел вслух письмо от одного своего знакомого из Юго-Западной Африки.

Гереро были, видимо, ужасные люди, форменные дикари, не признававшие международного права. Они устраивали засады на высоких густых деревьях и стреляли оттуда отравленными стрелами в безобидных трудолюбивых фермеров, которые только и хотят, что мирно трудиться.

— «В Виндгуке,— читал обер-пострат,— десятки немецких фермеров, чей героизм и преданность отечеству поистине изумительны, подверглись ночному нападению; гереро поджигали их дома, уводили скот, а женщин...—обер-пострат запнулся, затем продолжал: — ...бесчеловечно истязали... Не пощадили даже бедных, ни в чем не повинных детей. Их уволокли как заложников в горы. Передо мной донесение одного купца из Свакопмунда; купца этого доставили в шатер вождя одного из племен, якобы для допроса. Там его сначала скальпировали, а затем поджарили на костре».

Зажаренный, да еще предварительно скальпированный человек написал донесение: именно потому, что эти ужасы были так неправдоподобны, я охотно им верил; я повторял про себя эту небылицу, словно хотел заучить ее наизусть, и постепенно она превратилась для меня в неопровержимую быль.

Отец ударил кулаком по столу, майор взмахнул рукой, точно выхватывая из ножен саблю.

— Наши школы по всей Германии проводят сбор фольги, чтобы одеть и обратить в христианство несчастных голых детей этих язычников, и те в благодарность убивают наших миссионеров! Все наше проклятое немецкое добродушие...

Я правильно угадал, что скажет мама:

— В том-то и беда! Хочешь не хочешь, а приходится,— поддержала она отца со своего места у письменного стола.

Обер-пострат вдруг спросил меня, не отпустили ли нас сегодня с уроков для сбора фольги. Он встретил на Нейгаузерштрассе двух сборщиков.

Руки показались мне вдруг лишними. Что с ними делать? Я совал их то в один карман, то в другой, но они и там не находили покоя. Я складывал их как на молитве, но они не повиновались. Тогда я стал пересчитывать пуговицы, загадывая, снимут мне голову или не снимут. Выходило то да, то нет,— смотря по тому, как считать. За руками и ноги уже не знали, куда приткнуться, а там и голова: я весь дергался, не зная, куда девать себя. Я наклонился, как будто затем, чтобы поднять

мамин клубок шерсти, а сам закатил его как можно дальше под диван и полез за ним на четвереньках.

Надо мной все стихло. Отец зашептал:

— В этом-то и сказывается плохое влияние, он потерял всякое чувство сословной гордости. Как это ни прискорбно и дико, а закон отменили, социалистам вернули их партию, и в благодарность эти люди портят наших детей...

Голова у меня горела, как в лихорадке.

— Ты что там ищешь под диваном?

— Пуговицу. Она закатилась под диван,— с трудом выдавил я из себя.

— Ему стыдно. Совесть, видно, не чиста,— выдохнул вместе со струей зловонного воздуха обер-пострат, а майор Боннэ стал рассказывать, как на полигоне в Обервизенфельде взрывом учебного снаряда ранило солдата его батареи. Я лежал ни жив ни мертв, но тут я пошевелился: видно, майор Боннэ хочет помочь мне и переводит разговор на другое.

— На кого ты похож! — Мама за руку вытащила меня из-под дивана.— Да-да, вот до чего доводит непослушание!

Обер-пострат и майор Боннэ почти одновременно повернулись к отцу:

— Ах, верно... ведь это было сегодня...

«Сегодня, сегодня,— поднялся гомон.— Ну, конечно, «сегодня»,— содрогнулся я, и от этого «сегодня» мурашки побежали у меня по телу.

Обер-пострат Нейберт встал и подошел к отцу:

— Глядя на вас, однако, ничего не скажешь. Видно, вам это только на пользу. Поздравляю!

Майор Боннэ отвел глаза.

Мама подтвердила со своего места у письменного стола:

— Да, сегодня в пять утра он уже был на ногах!

Я стоял в смущении посреди комнаты и стряхивал пыль со штанов и куртки. Потом стал вертеть пуговицу, пока совсем не оторвал. Майор повернулся ко мне:

— Выше голову! Мужайся!

Он сказал это так, точно перед ним был обезглавленный.

Как сделать, чтобы «сегодня» стало «вчера» или «позавчера»? «Завтра»?.. «Послезавтра»?.. Лишь бы не было «сегодня»! Как избавиться от него?

— Бог мой! Так поздно, а ты еще не спишь? — Мама посмотрела на часы. Я мог наконец буркнуть «спокойной ночи».

XI

Глубокая ночь. Кучка монет выросла в целую гору, в касках с султанами проносились по ней баварцы. И снова монеты плясали вокруг меня в мерцающем хороводе... Висели на елке. Ангелом сверкал на верхушке десятимарковый золотой... Сначала монеты звенели в лад, как куранты, а потом залязгали и задребезжали так, что хоть вон беги. Окна распахнулись. Все показывали на меня. Я стоял среди кружащегося роя монет. Опять играло трио. Отец ударял по клавишам. Я выл под его ударами. Передавал эти удары Гартингеру. У Гартингера они так и оставались. Ему некому было передать их...

Мама со спицами в руках стояла тут же и жаловалась:

— Когда я рожала его, по Гесcштрассе проскакал эскадрон с принцем Альфонсом во главе... А ведь ему скоро восемь лет... Одно лишь горе и заботы... Стыд, да и только...

Что это, Страшный суд? Секреты мои разложены передо мной, на каждое мое вранье заведено особое дело, папка раскрылась, и теперь весь мир ее видит.

Мимо, прощаясь со мной, тянулось целое шествие. Весь наш класс с учителем Голем впереди. Ученики одеты, как для конфирмации, у некоторых в руках свечи. Голь в сюртуке и цилиндре, трость он положил на плечо. Фек и Фрейшлаг радовались, плевали в меня и высовывали язык. Гартингер прошмыгнул мимо, не оглядываясь, до того он боялся: «ничего не поделаешь...» Едва я увидел Францля, как рот мой судорожно раскрылся, словно на Страшном суде меня обрекли до скончания века ловить ртом все монеты, которые носятся по вселенной. За Гартингером прошел Ксавер со своей гармонью. Но как он ни растягивал ее, как ни нажимал на клавиши, гармонь не издавала ни звука.

Я попробовал выхватить из ножен огромную саблю Ксавера; тащил-тащил — гляжу, а в руках у меня изломанная молния,— вспыхнув, она под громовые раскаты, словно по громоотводу, скользнула назад в ножны.

Мама, та, что на мольберте, показалась из гостиной, подошла к маме со спицами, обе мамы были «против», они поговорили и пошли к отцу.

Отец сказал только:

— Я свой долг выполню.

Обе мамы были «против» и плакали.

Жучки и бабочки, которых я накалывал на булавки или сжигал, и оловянные солдатики, которых я убивал, когда играл

в войну, закивали отцу, отец перешагнул через обеих мам, стоявших перед ним на коленях:

— Я всегда на страже закона!

Старик Гартингер хотел что-то сказать, но рот у него не открывался. Суровый взгляд отца накрепко закрыл ему рот.

Бабушка ушла на кухню варить шоколад. Шоколад распространял чудесный запах.

— Ну, какое твое последнее желание? — спросила бабушка.— Ты имеешь право пожелать себе что-нибудь... Может быть, суп с гренками и голубцы...

Передо мной опять промелькнули пуговицы на мундире Ксавера; они поблескивали в бабушкином старомодном шкафчике, уж не золотые ли это монеты?!

Христина под руку со своим фельдфебелем стояла на балконе, празднично убранном разноцветными фонариками, посреди гигантской панорамы «Битва под Седаном», оба они смотрели на Страшный суд. Я попросил Христину сесть возле меня. Но она не сошла с балкона. Она ничего не могла поделать. «Наш брат...»

Прискакал майор Боннэ и скомандовал: «Огонь!»

Батарея дала залп. Мы в церкви Богоматери под колокольный звон и мощные звуки органа пропели хорал: «Господи, даруй нам новую жизнь!»

Потом меня заставили прочитать стихотворение «Луч солнца вывел все на свет»:

Над плахой вьется воронье,
Чтоб справить пиршество свое.
Кто вздернут здесь и отчего?
И кто открыл вину его?
Луч солнца вывел все на свет.

Я лежал на доске связанный. Я был грабитель Кнейзель. Куда бы я ни глянул — всюду стоял отец. Голова моя свесилась вниз.

Обер-пострат Нейберт, «перуанский верблюд», схватил топор и давай рубить. Ледяная струя воздуха резнула меня по затылку. Учитель Голь велел всему классу в такт хлопать в ладоши.

С каждым ударом раздавалось «дзинь!», и вдали непрерывно дребезжало «дзинь» поминального колокольчика. Чьи-то взгляды устремились на меня из глазков, у меня была сзади коса, и кто-то дымил мне в лицо сигарой. А на отце был пробковый шлем...

Обер-пострат Нейберт, палач, уже обливался потом, он снял сюртук и рубил в одной сорочке, обдавая меня смрадным дыханием.

Казнь тянулась долгие часы...

У меня болел затылок. Сидя на кровати с низко опущенной головой, я сжимал в руке монеты, которые в забытьи выгреб из-под подушки.

Теперь я знал все.

Отец, этот любитель вставать спозаранку, отрубил голову Кнейзелю. «Верблюд» накрыл нас, когда мы слонялись по улицам в часы школьных занятий. Теперь все это знают. Знают всё. И то, что я обокрал бабушку.

Все дело в отметках.

«Человек, который получает плохие отметки...»

До ужаса непреклонный, стоял предо мной отец.

Я смотрел сквозь отца. Ветер шевелил его усы, как сухой кустарник на широкой равнине, а там, на краю света, стены, стены, стены, и в них ряды зарешеченных окон.

Я молил из тьмы:

— Избави нас от лукавого. Даруй нам новую жизнь! Аминь!

XII

Одним движением учитель Голь опрокинул его.

Это была первая парта, в открытой чернильнице заколыхались чернила. Феку и Фрейшлагу пришлось встать и выйти из-за парты, чтобы держать Гартингера за ноги. Он больше не сопротивлялся. Мне велено было держать его голову и пригибать ее книзу.

Штаны у Гартингера были спущены до колен.

Класс замер. Все смотрели прямо перед собой. Руки лежали на партах плашмя, большими пальцами вниз, как приклеенные.

Географическая карта натянулась и плотно приникла к стене.

На дворе сияла весна.

Окна были закрыты. Их нижние матовые стекла вместе с голыми серыми стенами делали класс похожим на подземный каземат, и от этого перехватывало дыхание и в страхе замирало сердце.

— Ну-с, долго ты еще будешь упорствовать?

Голь с треском распахнул шкаф и стал шумно выбирать розгу.

Я чуть отпустил голову Гартингера, которую мне приказано было пригибать книзу. Вдруг Гартингер приподнял голову. Глаза у него помутнели и, казалось, вот-вот выступят из орбит. Совсем как глаза уснувших рыб, виденных мною на рынке.

В животе у него урчало.

Рубашка, завернутая на спине, была из суровой грубой ткани, похожей на отсыревшую оберточную бумагу. Быть может, для Францля больнее всяких ударов было то, что весь класс видел, какая на нем дешевая плохая рубашка.

— Скажешь ты или не скажешь?

Голь подошел ко мне и велел еще ниже пригнуть голову Гартингера, и без того свисавшую за край парты. Феку и Фрейшлагу он сделал знак розгой — крепче держать ноги. Как в тисках!

Розга согнулась дугой так, что оба конца ее почти сошлись, и распрямилась со свистом.

Я еще не совсем проснулся, я все еще грезил ужасами минувшей ночи. После собственной казни меня приговорили присутствовать на казни иного рода, и мне казалось, что эта казнь — сон, и та, что я видел во сне, совершилась на самом деле.

Вдруг я заметил, что на куртке у меня не хватает пуговицы, которую я оторвал накануне собственной казни. Пуговица лежала в кармане штанов. Я быстро ощупал ее — это была самая настоящая пуговица, круглая и гладкая, она вернула мне смутное ощущение того, что я не умер.

— Признаешься ли ты, Гартингер, что именно ты задумал прогул и подучил Гастля украсть деньги?

Этот вопрос, заданный с яростью, окончательно вернул меня к действительности, я только теперь почувствовал, что держу голову Гартингера и что она холодная и липкая.

В животе у Гартингера заурчало, и это было как бы ответом на вопрос Голя.

— Раз! Два! — Голь поднял розгу, словно дирижер, и все раскрыли рты, как на уроке пения.

Голь отступил на шаг.

— Это я подговорил его, господин учитель, я, я, я! — Мое «я» вдруг перешло в какую-то икоту. «Мужайся,— уговаривал я себя,— ведь ты хочешь стать генералом!»

Розга повисла в воздухе.

В классе сделалось еще тише. Мне показалось, что в животе у Гартингера заурчало веселее. Я выпустил голову Францля.

Фек и Фрейшлаг отпустили его ноги; ноги дернулись и подскочили кверху.

— Молчать! Держать ноги! Голову вниз!

Было так тихо, что это походило уже на бунт. Недаром Голь скомандовал «молчать!»,— тишина громко кричала.

Мы подступили к Гартингеру, точно прислуга к своему орудию. В Обервизенфельде я однажды видел, как это делается.

— Готовность вступиться за товарища, Гастль, делает тебе честь, но ты напрасно стараешься, нас не проведешь.

Кто это «мы», которых не проведешь? О ком говорит Голь?

Посыпались первые удары.

— Виноват я, я один! — крикнул я еще раз при виде полос, которые розга оставляла на теле Гартингера.

— Молчать! Считайте хором!

Класс считал:

— Пятнадцать... Шестнадцать... Семнадцать...

Голь всех вовлек в это дело, я оказался один против целого класса, мое сопротивление было сломлено.

Одна половина моего существа рвалась отпустить голову Гартингера, другая крепко держала. Что-то во мне говорило: «Свинство!» Что-то: «Ты должен! Ничего не поделаешь!»

Хлоп, хлоп... Совсем как во сне, во время моей казни, когда ученики в такт ударам топора хлопали в ладоши.

— Буль-буль,— клокотало что-то в горле у Гартингера, казалось, он вот-вот харкнет кровью.

— Обелиск! Пропилеи! — зашептал я, наклонившись к его уху, и снова пригнул ему голову, на ощупь похожую на примятый резиновый мяч.

С некоторых пор мне казалось, что есть слова, способные делать человека нечувствительным к боли. Их нужно лишь повторить про себя несколько раз подряд. И чем они нелепее, чем неуместнее, тем скорее они оглушают, вызывают оцепенение, полное безразличие.

— Обелиск! Пропилеи!

А может быть, подергать его за уши, и боль, сосредоточенная ниже спины, равномернее распределится по всему телу?

Чернила в чернильнице колыхались.

— Двадцать пять!

Часть класса пропела это, точно ликуя, точно готовая захлопать в ладоши, другая же часть к концу все замедляла счет, а «двадцать пять» и вовсе не произнесла, словно хотела бы растянуть наказание навеки.

— Двадцать пять! Францль, двадцать пять! — обрадованно шептал я ему на ухо; он, наверное, потерял счет, как это было со мной на Новый год, когда я, испуганный поднявшимся трезвоном, перестал считать удары башенных часов.

Я потирал руки, они были липкие и влажные.

Мне очень хотелось осмотреть розгу, такая ли она, какая была до порки, не нужно ли ей поправиться, прежде чем ее снова пустят в дело. Вид у нее был больной и утомленный, она явно осунулась и похудела.

Гартингер застегнул штаны. Я помог ему заправить в них рубашку.

Даже на лице у Францля, помятом и выпачканном, были следы ударов, от которых вздулось все его тело. Я хотел обмыть ему лицо губкой, которой стирают мел с доски, но учитель не позволил:

— Пускай все видят, что его высекли.

— Я не сержусь на тебя,— сказал Гартингер, когда мы возвращались домой.— Так уж оно водится.

— Что так водится?

— Сам знаешь.

Больше он ничего не сказал. Я осмотрел его сзади, хорошо ли заправлена в штаны рубашка.

— Ты все-таки сердишься?!

— Нет, отстань!

Он так и не умыл лица. Вид у него был неприличный,— «неаппетитный»,— сказала бы мама, но он не заслонил лицо руками, он открыто нес его через весь город.

Что-то встало между нами. Что-то неотступно преследовало нас и не позволяло нашим взорам встретиться, не позволяло нам прикоснуться друг к другу. Когда я взглядывал на Гартингера, он отворачивался. Я пробовал подтолкнуть его локтем, но он вовремя отстранялся. Быть может, я стал ему противен, оттого что видел его голый зад.

— Тебе еще больно?

Гартингер отвернулся.

— Отстань! Слышишь?

— Я хотел только знать... Ах, Францль, какая страшная ночь... Мне это приснилось, а с тобой сбылось...

Гартингер остановился. Мы были далеко друг от друга, словно стояли на двух отдаленных горных вершинах. У Гартин-

гера просилось на язык какое-то слово, но он проглотил его. Он перешел на другую сторону. Я побежал за ним.

— Ты что, собака?

Я не обиделся.

— Не можешь один ходить?

— Ты не хочешь больше со мной дружить, Францль?

Нужен он мне разве? Да, нужен. Не найду я себе разве другого товарища? Нет, лучшего не найду... Пара он мне разве? Я мигом сравнил его отца со своим. Ну и дурак же я! Он может невесть что вообразить, раз я так держу себя. Дурак я, что бегаю за ним.

— Дурак я, что бегаю за тобой! Наш брат...— Я выпрямился и выпятил грудь.

Опять он проглотил какое-то слово.

Может, поколотить его, а то он сейчас убежит?! Надо вытянуть из него слово, которое он проглотил.

— Вот погоди! — пригрозил я.

Он вдруг заговорил:

— Ты... ты...

Как привязанный, шел я за ним до самого его дома.

— Ну, скажи мне, если не трусишь, скажи! Эх ты... недокормыш!

Гартингер посмотрел на меня, словно мерил меня взглядом.

Далеко ли до меня и какого я роста,— вероятно, он и еще что-то во мне мерил,— его взгляд был холодным и пристальным. Я открыл рот, словно хотел подхватить на лету это слово.

— Ты... ты...

Все во мне раскрылось, чтобы подхватить его на лету.

«Хоть бы руками заслониться! Прикрой лицо»,— хотел я сказать себе, но он уже плюнул в меня этим словом.

— Палач...

Я закрыл рот.

Францль исчез в полумраке подъезда.

XIII

Отец сидел за письменным столом. Он сделал маме знак выйти из комнаты. Мама закрыла дверь в гостиную и осталась.

Отец сидел согнувшись, он словно опирался на костыли.

— Почему ты все убегаешь от нас? — сказала мама и сделала шаг ко мне.

— Не беги от нас! — сказал отец и умолк. И мама молчала. У обоих как будто сдавило горло.

«Обелиск... Пропилеи!.. Картофельно-капустно-огуречный салат».

Я весь напружился, я теперь не почувствовал бы удара. Мне даже хотелось, чтобы меня ударили.

История с Кнейзелем была уже известна всему классу. Каждый считал своим долгом расспросить о ней, но я был слишком расстроен, чтобы сочинять великолепные описания казни; в другое время это, конечно, не составило бы для меня труда. Я, что ли, отрубил голову Кнейзелю? Я, что ли, отец? Какое мне до него дело! Но все толпились вокруг меня, почтительно и в то же время робко, словно отец, любитель вставать спозаранку,— это я. Фек и Фрейшлаг даже завидовали. Фек хвастал, будто бы его дядюшка тоже спровадил одного человека на тот свет. Но дядю оправдали, он своевременно запасся охотничьим свидетельством... Меня наградили кличкой, от которой так скоро не избавишься. Хорошо бы рассказать все отцу и спрятать голову у него на груди.

— Вернись к нам! — молила мама.

Но губы мои были точно скованы, я не шевелился.

Отец сдвинулся почти на самый край кресла, точно собирался упасть передо мной на колени. Он казался стареньким и слабым.

Я готов был уже подойти и поцеловать его, но он вдруг выпрямился в своем кресле и стал перебирать какие-то бумаги. В то самое мгновение, когда я, смягченный, потянулся к нему, он возьми да и скажи:

— Добром тут ничего не сделаешь.

Мама положила мне руку на голову.

— Десять марок — большие деньги. Чтобы их заработать, отцу нужно бог знает сколько трудиться, а я не позволяю себе даже в трамвай сесть.

Я посмотрел в сторону гостиной, где стоял на мольберте портрет мамы. Дверь была закрыта.

Стемнело. Никому не хотелось зажигать лампу. Мама притаилась в углу, отец продолжал в темноте перебирать бумаги.

— С этого начинается. Сперва приносят домой плохие отметки, обворовывают бабушку, пропускают уроки, а кончается все эшафотом... Стыд и срам!.. Не думай, что я шучу. Я своими глазами видел, что делается с приговоренными к смер-

ти... Мне не до шуток... Я каждый день посещаю смертников в их камерах. К ним приставляют надзирателя, чтобы они в последнюю минуту не покончили с собой. И должен сказать тебе, что даже самый крепкий — и тот ревет, как маленький ребенок. Их трясет от страха, от безумного страха, и в день казни ни один не может сам взойти на эшафот... Если ты и впредь себя будешь так вести, то испытаешь все это на собственной шкуре... Смотри же, я тебя предостерег, ты плохо кончишь, если немедленно не порвешь с Гартингером. Скандал!.. В последний раз дружески советую тебе: одумайся, пока не поздно...

Все время, пока отец говорил, мне казалось, будто он щекочет меня в темноте своими закрученными кверху усами. Я вспомнил про наусники, которые он носил по утрам до самого ухода из дому. Подумав о наусниках, я невольно вспомнил его лицо, когда он брился. Он долго и тщательно мылил щеки, прополаскивал кисточку и вторично мылил, до тех пор, пока щеки не покрывались ровным слоем пены. Тогда он поджимал губы, склонял голову набок и, благоговейно глядя в зеркало, подносил к лицу бритву. Потом снимал пенсне и шел умываться; в эту минуту лицо его казалось кротким, почти беспомощным.

Было время, когда я с восторгом следил за тем, как ловко отец орудует острым лезвием, ухитряясь ни разу не порезаться, а теперь я потешался в душе, когда мама поднимала при этом столько шума. «Тише, отец бреется...», «Христина, закройте кухонную дверь, мой муж бреется...», «Ах, кто это там звонит, когда муж бреется...»

Я живо припомнил все, что делало отца смешным.

Вот в длинной ночной сорочке с разрезами по бокам, в ночных туфлях и с газетой в руке отец отправляется утром в уборную. Мысленно я еще напялил на него мамин ночной чепец.

Вот, подталкивая велосипед и подпрыгивая на ходу, отец силится забраться в седло, и даже прохожие смеются и останавливаются поглазеть на комичное зрелище.

Раз в неделю отец отправлялся поплавать в Луизенбадский бассейн. Сначала он принимал «комнатный» душ, затем осторожно переводил на «холодный», после этого отправлялся в мелкий бассейн, плескал себе воду на грудь и на голову и нырял, заткнув уши пальцами. Четыре раза он проплывал вокруг большого бассейна, потом, отдуваясь и отряхиваясь, вылезал, еще раз становился под холодный душ и наконец подставлял спину банщику, ожидавшему его с большой купальной простыней в руках.

Совсем стемнело, в комнате ни шороха. Все спрятались друг от друга в темноту. Но тебе не запугать меня, Черный человек! Стоит мне захотеть, и вот уж по улице проходит гвардейский пехотный полк, гремит военный марш, впереди развевается полковое знамя...

— Можно зажечь лампу? — решаюсь я наконец нарушить молчание. В душе у меня что-то хихикает: стыд и срам!.. Скандал!

Мама зашуршала у себя в углу.

— Сначала ты попросишь прощения.

— Прошу прощения! — сказал я так, как говорят «приятного аппетита», и зажег лампу.

XIV

Родители молчали. Лицо у мамы было заплаканное. «Видно, и руки ее плакали»,— подумал я,— такие они были красные; вязальные спицы ворочались в них, как в ране.

За столом все сидели в полном безмолвии. Ножи и вилки скрещивались в воздухе. Тарелки, казалось, были из воздуха. Стулья парили в воздухе. Молчание проникло и в кухню, Христина молчала.

— Ты разве не придешь ко мне вечером посидеть у постели?

— Тш! Тш! — шикнула она и приложила палец к губам.

Я заглянул в ее каморку: уж не забыла ли она вставить свою искусственную челюсть. Нет, стакан на ее ночном столике был пуст. Что бы я ни вытворял, я натыкался на молчание. Я до крови расшибался о молчание, расшибался до крови и молчал.

Крадучись, шел я в гостиную, чтобы проведать портрет матери, стоявший на мольберте. Бережно раздвигал зеленый тюль, венком обрамлявший портрет. Я молча ждал. Но и портрет матери, портрет девушки из дурлахской аптеки, молчал. Длинные ресницы у моей мамы, и взгляд ее из-под этих ресниц вопрошающе устремлен вдаль. Тихонько провел я пальцем по ее губам, словно хотел открыть их.

— Не молчи,— молил я.— Ведь ты «против».

Тюль опустился на портрет и прикрыл его. Окутал светло-зеленым облаком.

— Ты что тут делаешь? — Та мама, что со спицами, стояла на пороге.— Не знаешь, что в гостиную входить нельзя?

Дни молчали... Я топал ногами, опрокидывал стулья, хлопал дверьми. Молчание сгущалось. Все словно ходили на цыпочках. Как-то ночью я услышал, как мама крикнула:

— Это у него *не от меня!*

Чья-то рука зажала ей рот.

Наутро, еще до школы, мама вошла в мою комнату и заперла дверь.

— Теперь-то я тебе покажу!

Она ударила меня по щеке.

— Отец вне себя...

Она растерянно озиралась по сторонам. «Ведь я знаю, мама, что ты против»...— но я молчал, я не хотел выдавать своей тайны.

— Я тоже против,— сказал я и безудержно разрыдался.

На губах ее расцвела улыбка, глаза засветились, она поцеловала меня в щеку, которая еще горела от пощечины. Я прикрыл щеку рукой, точно хотел удержать на ней мамин поцелуй. Она быстро вышла из комнаты. За завтраком она сидела возле меня и намазывала мне масло на хлеб.

Долго бродил я вокруг старого дома на Галериенштрассе, где жила бабушка, прежде чем подняться по лестнице. В руках у меня был букетик незабудок,— мама сама дала мне на него денег.

Сунув цветы в стакан с водой, я поставил его на старомодный шкафчик, а рядом пристроил свою картинку, нарисованную специально для бабушки. Я долго думал, чем бы мне порадовать бабушку, и решил нарисовать картинку, потому что бабушка сама рисовала. Она копировала картины старых мастеров в Пинакотеке, выставляла свои копии в Зеркальном дворце, и время от времени их покупали богатые американцы, проездом останавливавшиеся в Мюнхене.

Чтобы радовать глаз, картина должна быть прежде всего разноцветной, все краски из рисовального ящика надо пустить в дело. Сияет солнце, но и луна и звезды проглядывают в густой синеве неба. Лесистые холмы и зеленые луга щедро осыпаны цветами; тут же — река, мост и радуга. На горизонте, само собой, высятся горы. «Как живописно!» — похваливал я сам себя. И вдруг спохватился, что позабыл представить животный мир: лошадь, корову, слона, лебедя и свернувшуюся кольцом змею. Сбоку напрашивался дом с балконом, ах, я чуть было не забыл нарисовать на дороге, которая через цветущий луг вела к мосту, людей, гуляющих в одиночку или группами, в высоких или круглых шляпах, с зонтиками или палками в руках. Картина,

изображавшая радость, требовала все новых добавлений. Мне хотелось прибавить еще гармонь Ксавера, но получилось бесформенное пятно,— все краски слились в одну. Картина была бы не закончена без нескольких солдат с пушками. А не поджечь ли мне дом с балконом, прикидывал я, тогда получилось бы как будто сражение. На всякий случай я уложил на мосту одного убитого. «А иначе никто не поверит — слишком уж много радости!» — но в последнюю минуту все-таки решил стереть поезд, летящий под откос.

Внизу я подписал: «Радость», а в углу нацарапал: «Воровать больше не буду. Прости меня».

Полуоткрытый старомодный шкафчик подмигнул мне, поблескивая золотыми монетами. Я с трудом удержался, чтобы не потянуться за монетой.

Когда бабушка вернулась из кухни с шоколадом, она обрадовалась, увидав на шкафчике незабудки и картинку.

— Вот как: «Радость»? — сказала она, остановившись перед картинкой. Я растолковал ей, какие радостные вещи здесь изображены.

— Но война сюда никак не подходит,— заметила бабушка, а прочитав каракули в уголке, она сказала: — Ну, конечно...

Я положил на стол остаток украденных денег, как велела мама. Несколько монеток я все-таки оставил себе, но с намерением не тратить их.

Как только бабушка за чем-то вышла, я опять стал быстро забирать со стола монеты, пока там не осталось всего несколько пфеннигов. Потом снова нерешительно вытащил из кармана сначала пять пфеннигов, затем десять, затем еще и еще и стал класть их обратно. Кучка монет таяла то на столе, то в кармане. Меня мучило это непрерывное «даю-беру», деньги как будто играли со мной. Я пересчитал их и половину оставил на столе. Половину — это правильно. Почему правильно, ведь половина — это не все, это даже не три четверти, не говоря о том, что ведь много денег уже истрачено. Но я все-таки порешил на половине.

Монеты, которые я чувствовал у себя в кармане и нежно прижимал к ноге, были точно револьвер в кармане майора Боннэ. «Из револьвера,— думалось мне,— можно когда угодно прострелить себе дорогу. Монетки в пять и десять пфеннигов, на которые можно купить что вздумается и никому не отдавать в этом отчета, тоже делают человека независимым».

Я сидел на мягком бабушкином диване и пил шоколад. Бабушка, не считая, сунула деньги в портмоне.

— Ну, как можно, взять и обезобразить красивую картинку: войну намалевал! Нет ничего отвратительнее, ужаснее войны...

— Я же хочу быть генералом, бабушка, и папа согласен.

Ну-ка, что скажет на это бабушка?

— Лучше бы люди научились мирно разрешать свои споры.

— Тогда было бы страшно скучно. Ведь самое интересное — драка.

— Уж не твой ли приятель Гартингер учит тебя таким вещам? — сердито спросила бабушка.

Я промолчал.

Бабушка взяла кисточку, смыла с моста убитого и покрыла яркой голубой краской солдат и пушки. Синее небо опустилось на землю и расцвело на ней васильковым полем.

— Прежде всего брось эти опасные прогулки. Успеется. К хорошему они не приведут.

— Я больше не буду, бабушка,— обещал я, хоть мы с ней и говорили на разных языках: ведь она так же не любила войну, как и Гартингер.

Так спокойно мне было здесь, на плюшевом диване, с кружевной салфеточкой на спинке, такое все было здесь ладное и уютное, что моя дружба с Гартингером представилась мне полнейшей нелепостью. Теперь я уже был твердо убежден, что всему меня научил Гартингер. Конечно, он виноват, он зачинщик. Почему Голь сказал: «Нас не проведешь»? Он, наверное, вместе с отцом и полицией собрал точные сведения. Скандал! Так ему и надо! Я вытер руки, словно к ним прилипли волосы Францля. Пусть, пусть ловит открытым ртом монеты... Всю свою жизнь... Я стою на страже закона... Да и что я в нем нашел такого? Этот его потертый ранец, сухой хлеб, который он ест на большой перемене, дешевый костюм, тоненькое зимнее пальтецо... Он лежал передо мной с задранной кверху рубашкой, и в животе у него урчало... То ли дело я! Чем плохи мои родители?! Отец — важный государственный чиновник с правом на пенсию. Мне не о чем беспокоиться... Я погладил плюшевый диван. Не бойся, нет, «он» на тебя не посмеет сесть. И кружевную салфеточку бережно расправил, точно одной мыслью о «нем» привел ее в смятение. Вдруг старомодный шкафчик отодвинулся от стены на середину комнаты и стал передо мной, овеянный тайным вожделением.

Я закрыл глаза.

Шкафчик был прозрачным.

В хрустальном ящике плавали блестящие золотые.

XV

«Палач» — прозвали меня.

Прозвище мое произносили шепотом, шушукаясь, никто пока не решался вымолвить его вслух. «Палач» — вырезано было на моей парте. «Палач»— доносилось из-за угла, когда я шел по коридору. «Палач» — красовалось на доске большими буквами. «Палач» — хихикнуло за моей спиной, когда я хотел стереть это слово с доски. Я повернулся, и весь класс, хотя и сидел за партами точно пригвожденный, казалось, отпрянул в страхе. Слово «Палач» я оставил на доске.

Я подружился с Феком и Фрейшлагом,— оба они, так же как я, хотели стать генералами.

Коренастый, приземистый Фек был завзятым драчуном; его все боялись. Глаза навыкате и широкий расползающийся рот,— у Фека не пасть, а студень, говорили мы,— придавали ему сходство с лягушкой. Он не носил ранца, ходил с портфелем, уверял, что бреется, и хвастался сигаретами в золотом портсигаре. По субботам под вечер он встречался с девочками в Английском парке, говорил об этом намеками и напускал на себя важность. Носил кольцо и, пока ему не запретили, ходил по воскресеньям в церковь с тросточкой. Лишь в прошлом учебном году мать его переехала в Мюнхен из Кельна. Она жила в разводе с мужем. «Несолидная особа»,— отозвался о ней отец, познакомившись с ней как-то на приеме у Голя. На Фека трудно было угодить — пренебрежительной гримасой встретил он мой матросский костюм, и даже мое новое драповое пальто, купленное у Фрея на Мафейштрассе, не понравилось ему.

Фрейшлаг, барон фон Фрейшлаг, был на голову выше меня. Самый сильный в классе, он служил примером для всех на уроках гимнастики. Так же как Фек, он помадил волосы и душился. Его отец был ротмистром и командиром кавалерийского эскадрона.

Неразлучные приятели Фек и Фрейшлаг так обработали часть класса, что мальчики безропотно подчинялись им. Фек открыто бахвалился своей грубостью и коварством. Кто не выполнял его приказа — так или иначе напакостить кому-либо из «непокорных»,— тот «привлекался к ответственности». Первым делом Фек читал своей жертве «проповедь». Затем долго выбирал способ, как помучить провинившегося да подольше растянуть муки. Прищурившись и облизывая уголки рта, он изливал на голову своей жертве потоки скверных слов; в их изобретении и подборе Фек не знал себе равных.

Фрейшлаг, наоборот, был скор на руку и ставил себе это в заслугу:

— Я штучек не люблю. У меня расправа короткая.

Друг другу они старались не мешать. Достаточно было кивка: «Не суйся не в свое дело!» — и один из приятелей немедленно отступал. Если на них жаловались учителю, оба упорно отрицали свою вину. Фрейшлаг шумно возмущался, Фек изображал оскорбленную невинность, возводил глаза к небу и в ужасе мотал головой. Незаметно перемигнувшись, приятели сваливали вину на третьего, причем Фек с такими подробностями, так красочно и точно описывал сочиненный им тут же случай, что учитель начинал ему верить,— выдумать такое, казалось, невозможно. Достигнув своей цели, Фек открыто хвастал тем, как он ловко солгал; если же учитель уличал его во лжи, он снова отпирался. Чтобы выведать чей-нибудь секрет, он давал честное слово держать язык за зубами. Но стоило мальчику проговориться, как он поднимал его на смех: «Стану я молчать, как бы не так!» Мальчики без конца попадались на его хитрости,— очень уж ловко умел он подъехать, рассказать кучу анекдотов, показать фокус. Многим нравились его сногсшибательные выдумки, паясничанье и неместный говор.

Родители мои неоднократно требовали, чтобы я подружился с Фрейшлагом. Против Фека они тоже ничего не имели, хотя мать его и производила «несолидное впечатление». По сведениям отца, Фек принадлежал к богатой купеческой семье.

Признанными главарями «непокорной» части класса были Гартингер и я. Мой разрыв с Гартингером и дружба с Фрейшлагом и Феком положили этому конец. «Тройка» не терпела ни малейшего сопротивления, она держала в руках весь класс. С некоторыми особенно безропотными приверженцами мы образовали шайку душ в двенадцать, но именовались по-прежнему «тройка». С Гартингером никто не дружил, ни один человек не осмеливался заговорить с ним в школе или вместе пойти домой. Фек и Фрейшлаг склонны были простить его, оставить в покое, но я изо всех сил натравливал их на Францля и советовал как следует взять его в работу. Так как я хорошо знал Гартингера, мне это и поручили.

Прежде всего я от имени «тройки» приказал Гартингеру каждый день, ровно в половине восьмого, ждать нас за Глиптотекой: он обязан был помогать нам готовить уроки. А когда нас вызывали, он должен был подсказывать; для этого мы изобрели целую систему. Гартингер отвечал за наши отметки. Чтобы он не отбился от рук, мы на уроке гимнастики, когда прихо-



«Прощание»

дила его очередь делать упражнения на турнике, убирали циновку, и он каждый раз с размаху шлепался на пол. Однажды мы рассыпали на полу пистоны-хлопушки. Учитель потребовал, чтобы виновный добровольно сознался. Мы взглядами заставили Гартингера выступить вперед и взять вину на себя.

Почти ежедневно в классе сочинялась какая-нибудь новая басня о Гартингере. Сегодня — будто отец у него пьяница и бьет жену,— позор! Завтра — будто от Гартингера воняет, нет сил стоять рядом,— стыд и срам! У нас были и другие неимущие ученики, но, стараясь выслужиться, они больше нашего допекали «недокормыша».

Отец и мать радовались хорошим отметкам, которые я теперь приносил домой, и приписывали это главным образом тому, что я порвал с Гартингером и не нахожусь более в «дурном обществе». Мама по секрету сообщила мне: если я выдержу экзамен в гимназию, отец сделает мне на каникулы сюрприз. Христина назвала меня однажды «ваша милость».

В эту пору произошло событие — чудовищная история, взбудоражившая не только нашу школу, но и общественное мнение всего города. Ученик одного из младших классов покончил с собой, бросившись с Гроссгесселоэского моста. Прохожие останавливали нас на улице: «Скажите, вы не из той школы, где учился Доминик Газенэрль, что бросился с моста? Вы его знали?» Нет, лично мы его не знали, но это не умаляло нашей гордости, что мы учимся в такой знаменитой школе. Газеты помещали целые статьи о самоубийствах среди школьников, где, в частности, сообщалось, что покончивший с собой ученик, сын неимущих родителей, был доведен до самоубийства возмутительной травлей, которой он подвергался в классе. Началось расследование. В похоронах, хотя смерть последовала от самоубийства, должен был принять участие весь наш класс; высшие церковные власти разрешили похороны по церковному обряду.

Хоронили мальчика на старом Швабингском кладбище. Под заупокойный звон шестеро старших учеников на руках вынесли из морга небольшой гроб; и вся школа, по классам, двинулась за ним. Фек, Фрейшлаг и я шли рядом, Гартингер шел последним. Впереди плыл венок, и на развевавшейся по ветру ленте красовалась надпись: «Нашему незабвенному школьному товарищу Доминику Газенэрлю».

Когда запели хорал, Фек ущипнул меня за ногу и вместо молитвы стал распевать ругательства и сальности, на все лады коверкая имя «Доминик Газенэрль». Каждый должен был бро-

сить на гроб лопату земли. Когда очередь дошла до Гартингера, Фек, стоявший сзади, незаметно толкнул Гартингера, и от испуга тот выронил лопату. Фек возмущенно оглянулся, словно это его самого толкнули.

— Безобразие! — Мы с трудом удержались, чтобы не прыснуть со смеху.

По дороге домой мы повели на Гартингера атаку. По знаку Фека все трое начали хохотать:

— Ха-ха-ха! Умрешь со смеху!— Фек, кривляясь, приплясывал перед Гартингером.

Гартингер затыкал уши и пытался убежать от нас. Тогда Фрейшлаг поднял его и понес, как гроб. Это была игра в похороны. Я в роли священника шел впереди и бубнил молитвы. Фек следовал за «гробом», изображая траурную процессию. Только на Терезиенштрассе, перед домом Гартингера, Фрейшлаг торжественно опустил его, а Фек дал «гробу» такого пинка, что тот живо вскочил на ноги и понесся вверх по лестнице.

XVI

У отца с матерью завелась тайна. С тех пор как бабушка вернулась из Лейпцига, куда она ездила к дяде Карлу, не проходило дня, чтобы у нас не собирался семейный совет. Дядя Оскар, лейб-врач принца Альфонса, чуть не каждый день вместе с бабушкой приходил к обеду.

В эти дни Христина подавала мне обед в мою комнату, а я пальцем о палец не ударял при этом. «Так оно водится»,— говорил я себе, развалясь в кресле, словно между Христиной и Гартингером было что-то общее и словно они заключили против меня союз.

Иногда же, наоборот, я усердно помогал ей и всячески перед ней лебезил, стараясь выведать то, что все от меня скрывали, но она только прикладывала палец к губам:

— Тс! Тс!— и сокрушенно вздыхала: — Господи Иисусе... Бедный господин Карл... Ох-хо-хо!

Дядю Карла я знал хорошо. Он служил адвокатом в имперском суде. Однажды он дрался на дуэли и потом целый год просидел в крепости Пассау. Дуэль произошла из-за какой-то любовной истории, героиней которой была танцовщица, по имени Мария Ирбер. Когда я был маленьким, дядя Карл сажал

меня верхом к себе на колени и начинал катать; а кроме того, он знал множество неприличных слов. Они с отцом некогда входили в одну студенческую корпорацию. Отец подготовил дядю к государственным экзаменам, а другие корпоранты исхлопотали ему службу в Лейпциге. Не так давно дядя женился; меня тоже взяли на свадьбу и по этому случаю купили новый матросский костюм. Венчание должно было состояться в церкви Габельсбергов. По дороге в церковь отец и мать говорили о том, что дяде Карлу действительно повезло: он «сделал хорошую партию». Но дядя Карл опоздал на венчание, мы ждали его в ризнице целый час, отец тщетно разыскивал его по телефону, пастор в полном облачении утешал невесту, мою новую тетю Гертруду, а она у всех занимала носовые платки и плакала навзрыд. Дядя Карл появился в то самое мгновение, когда уже решили перенести свадьбу на следующий день. Он извинился, сказав, что страдает мигренью и провел ужасную ночь. «Ужасная ночь» наполнила маленькую ризницу такими пронзительными пивными парами, что отец попросил священника ускорить процедуру венчания, так как дамы и без того устали... На свадебном обеде в ресторане «Четыре времени года» на десерт подали пломбир.

Стараясь проникнуть в тайну взрослых, я срочно заболел ангиной. Я лежал в постели, и дядя Оскар пришел меня проведать. Он прописал мне компресс и порцию малинового мороженого. Я задал ему несколько «спасительных» вопросов, он размяк и выдал семейную тайну.

На второй день после приезда бабушки в Лейпциг дядя Карл, не закрыв душа в ванной, голый выбежал на улицу, и, схватив чей-то велосипед, покатил в суд. Велосипед, которым дядя Карл воспользовался для своего путешествия нагишом, принадлежал рассыльному из соседней булочной; в поднявшейся суматохе велосипед исчез, и пришлось возместить его стоимость. Дядя Карл ворвался в зал заседаний, откуда, воспользовавшись переполохом, чуть не сбежал обвиняемый — тяжкий преступник. Голого дядю Карла связали и отправили в психиатрическую больницу. Болезнь, которая привела к этому припадку, началась, в сущности, много лет назад, но вовремя на нее не обратили внимания и не лечили как следует. Подробнее распространяться на этот счет дядя Оскар не пожелал. На днях дядю Карла перевезли из Лейпцига в Эгельфинг, большую казенную больницу под Мюнхеном.

Кстати, я узнал, что у меня есть еще дядя, имени которого родители никогда не упоминали,— дядя Гуго. Лишь изредка

в семье у нас заговаривали об «эмигранте». Он жил на Яве. Этот дядя, как выразился дядя Оскар, не сумел сохранить в порядке доверенную ему кассу и в день, когда нагрянула ревизия, скрылся. Семья помогла ему перебраться за границу...

— В ближайшее воскресенье мы поедем в Эгельфинг навестить дядю Карла,— сообщил в заключение дядя Оскар.— Если ты выздоровеешь, мы и тебя возьмем. Иной раз один вид детей оказывает на такого рода больных благотворное действие.

Боль в горле мгновенно прошла, и на следующий день мне разрешили встать.

Отец сказал, что дядя Карл заболел от переутомления — усиленная работа подействовала на мозг, дядя ужасно страдает.

У Христины дрожали руки.

— Вот до чего люди доводят себя! — бормотала она себе под нос и роняла посуду. В кухне все перевернулось вверх дном. Полотенца висели на стульях, чашки кувыркались на плите, вилки спихивали на пол с кухонного столика грязные тарелки.

Отец и мать без конца толковали о предстоящих расходах. Дядю Карла следовало поместить в больницу сообразно его общественному положению. Дядя Оскар принес книгу профессора Крепелина о душевных болезнях. Отец отыскал в ней описание болезни дяди Карла и прочитал его матери. С такой болезнью можно прожить и десять лет, если не схватить, скажем, воспаление легких. Отец стал высчитывать. Умопомешательство дяди Карла грозило поглотить целое состояние.

В школе я с гордостью рассказал, что у меня дядя сошел с ума. Я сразу же оказался в центре внимания всего класса. Фек стал нагло врать, будто бы и у него двоюродный брат... Но я объявил, что в воскресенье мы поедем навестить больного дядю, и хвастунишка прикусил язык...

Эта воскресная прогулка отличалась от всех других прогулок прежде всего тем, что она имела заранее определенную цель: дом умалишенных. Обычно же, собираясь на прогулку, мы никогда не знали, куда, собственно, направляемся. Пока одевались, принималось решение: «Сегодня едем к Аумейстеру». Затем в ожидании матери, которая собиралась целую вечность и в последнюю минуту обязательно спохватывалась, что все-таки еще позабыла что-то, отец предлагал: «А не прогуляться ли нам сегодня по берегу Изара?» Когда мы наконец

втроем спускались с лестницы, мама спрашивала: «Так ты не возражаешь, если мы зайдем за бабушкой и вместе выпьем кофе в Гофгартене?» Выйдя на улицу, отец окончательно решал: «Пойдемте к Китайской башне». Родители вступали в пререкания и в конце концов обращались ко мне. «Давайте поедем в Мильбертсгофен: там сегодня велосипедные гонки на первенство Германии. Дистанция — сто метров... Участвует Тадеуш Робль». Меня не удостаивали ответом. Еще несколько раз меняя направление, мы попадали наконец в Выставочный павильон, где отец заказывал одну бутылку лимонада на всех и мы съедали принесенные из дому бутерброды...

На этот раз я безропотно сносил все муки продолжительных сборов. Мама долго чистила на мне костюм. У нее куда-то запропастился карандаш для выводки пятен, пришлось отмывать пятна теплой водой, которую Христина держала перед ней в белой эмалированной кастрюльке. Затем началось «освидетельствование шеи». Мама намочила ватку одеколоном и стала энергично тереть мне шею. Перед самым уходом она обручальным кольцом провела по моему носу — нет ли на нем угрей.

Мы собрались у бабушки. В виде исключения ехала с нами Христина. Она несла в сумочке молитвенник. Отец изучал железнодорожное расписание. По дороге на Восточный вокзал я вызывающе поглядывал на прохожих, полагая, что по мне сразу видно, куда мы едем.

Мы прибыли в Гаар. Перед нами открылся зеленый городок с рядами вилл, обнесенный высокой кирпичной стеной. Небольшое расстояние нам пришлось пройти пешком; бабушка, страдавшая подагрой, часто останавливалась, чтобы отдышаться. С нами вместе шло множество людей, нагруженных свертками и картонками, матери толкали впереди себя детские коляски. Настоящее паломничество.

У входа в городок душевнобольных выстроились цветочные лотки, как возле кладбища в день поминовения, тут же продавались соленые крендели и горячие сосиски. Бабушка сунула мне в руки букетик желтых примул.

Привратник в форменной тужурке, выслушав нас, пошел в будку звонить по телефону. Нас впустили.

— Корпус восемь Б. Идите все прямо, никуда не сворачивая.

По дороге нам попались двое мужчин в синих халатах; один, скрестив руки на груди, важно прошествовал мимо; другой сидел на скамье, поглощенный горячим спором с невидимым собеседником.

— Это тихие,— успокоил нас дядя Оскар.

Мы подошли к корпусу 8-Б. Как сообщил нам дядя Оскар, этот корпус называли «Обитель мира». Опять звонили по телефону. Появился сторож со связкой ключей. Нам предложили подождать в приемной дежурного врача. Дядя Оскар обменялся с ним всего несколькими фразами. Дяде Карлу закатили ночью длительную водную процедуру и, кроме того, изрядную дозу морфия. Сейчас опасаться нечего.

Когда мы вошли в палату, дядя Карл громко хохотал. Наше появление не нарушило его веселья. Он заливался каким-то квохчущим гортанным смехом, так хохотали мы в лицо Гартингеру после похорон Газенэрля. Дядя Карл стоял спиной к зарешеченному окну и, взмахивая руками, хлопал себя по животу. Утверждение отца, будто дядя ужасно страдает, опровергалось самым очевидным образом.

Дядя Оскар подтолкнул меня, чтобы я отдал дяде Карлу цветы. Дядя Карл выпрямился и положил мне на голову руку, точно благословлял меня.

— Даруйте мне мир, о вы, прекрасные голоса! Займите свое место под солнцем! — Он помахал нам букетом, развязал его и осыпал нас примулами. — Луна, золотые осколки, звездный щебет! — Бабушка строго и вместе с тем умоляюще окликнула его:

— Карл!

Христина читала что-то из молитвенника. Я думал про себя, что дядя Карл нарочно все это делает, ему просто хочется поиздеваться над нами. Движения его были угловатыми и развинченными, он словно весь был на шарнирах.

Но вот одна рука у дяди Карла укоротилась, совсем как у кайзера на фотографиях. Выставив вперед ногу и откинув голову, мой сумасшедший дядя стоял неподвижно, как памятник. Голова памятника дернулась, рот искривился:

— Где Бисмарк?

Мы переглянулись. В дядю Карла словно вселилась какая-то неведомая сила. Растопырив пальцы, он ткнул ими в отца.

— Бисмарк?

— Что угодно вашему величеству? — вмешался врач.

— Взять Бисмарка под стражу. Попросить ко мне графа Вальдерзее.

Врач отвел отца в сторону.

Отец принес дяде Карлу его любимую книгу. Держа книгу перед собой, он в сопровождении врача снова приблизился к дяде Карлу. Книга называлась: «Руководящие идеи двадцатого века». Дядя Карл взял книгу и стал бережно гладить ее, как что-то очень хрупкое. Он попытался прочесть название и устре-

мил на нас взгляд, полный ужаса, глаза чуть не вылезли из орбит и словно ослепли, в растянувшихся углах рта показалась пена. Через мгновение ужас сменился миролюбивой улыбкой, улыбка так же быстро уступила место мрачной важности, и он обратился к нам с речью.

Он объявил во всеуслышание, что недавно он, кайзер Вильгельм, умер и теперь воскрес в Кифгайзере в образе кайзера Барбароссы. Он назвал меня своим «любимым вороном», который вместе с цветами принес ему весть об объединении Германии. Он был величайшим из всех кайзеров, кайзером-сверхчеловеком, и собирался кайзерским указом присоединить Америку к Германской империи. Дядя Карл пересыпал свою речь популярными изречениями нашего кайзера; и это вперемежку с бессвязным бредом звучало как насмешка и оскорбление величества. Отец решил, что надо поскорее уходить.

— Здесь ничего смешного нет,— одернул он меня.

Мне нравилось, что дядя Карл мог говорить все, что вздумается, и он, по-моему, великолепно изображал кайзера. Особенно досталось отцу,— дядя Карл велел ему оставить в покое «ворона» и все время величал его: «Болван! Паршивец!» Что только не разрешалось моему сумасшедшему дяде! Никто не мог ему запретить свободно говорить то, что он думает.

Иногда на какую-то долю секунды он умолкал. На эту долю секунды лицо его успокаивалось, разглаживалось, уже больше не дергалось. Глаза покоились в глазницах, карие и кроткие. Обе половины лица, только что как бы чужие друг другу, смыкались. Лоб и волосы занимали положенное им место, уши словно впускали в себя тишину, которая окружала их. Он кивал нам, точно глядел куда-то в далекий мир; вероятно, ему казалось, что мы не рядом с ним, а где-то там — за тридевять земель, как те картинки в «Панораме», что сменяли друг друга с тихим «дзинь». Кивки были грустные-грустные, а глаза широко раскрытые, удивленные. Он не шевелился, но чудилось, будто он протягивает к нам руки, просит перетащить его к себе. Мне очень хотелось спросить у него, есть ли там, где он живет, цеппелин и воздушная железная дорога, как между Бременом и Эльберфельдом. Но, словно тисками схватив его изнутри, им снова овладела неведомая темная сила.

Разгоралась, очевидно, жестокая битва, враги надвигались со всех сторон, и дядя Карл-Барбаросса во все стороны бросал свои полчища. Он попросил нас отойти подальше, мы находились в зоне огня. Он пригибался, словно над ним пролетали снаряды. Вдруг, задрав голову вверх, он закивал кому-то в

потолок: он ожидал богов из Валгаллы. Он кивал, оглядывался на поле сражения и вновь усиленно кивал: «Ну, скорее же! Вперед!» Исход сражения, видно, сию минуту должен был решиться. Рот у дяди Карла свело, он не удерживал слюны. Все тело его вздрагивало, точно под электрическим током. Он вслушивался с невероятным напряжением, как я тогда, в новогоднюю ночь на балконе, когда ждал прихода нового столетия. Приняв от валькирии тайный приказ, он повернулся к нам и, тыча пальцем то в одного, то в другого, отдавал распоряжения. Воздух был полон ему одному слышным гулом голосов. Мне казалось, что вместе с ним меняется и его одежда. Рукава то вдруг становились непомерно длинными и прикрывали кисти рук, то закатывались до локтя. Галстук перекрутился и съехал набок, воротничок оттопырился. Башмаки сморщились, чужие, ненужные, горе-башмаки, шнурки тащились по полу, никакими узлами их нельзя было бы связать... Но вот дядя Карл поставил одну ногу на стул и перегнулся всем корпусом; казалось, он повис над бездонной пропастью, удерживаемый в воздухе лишь тонкой веревкой.

Звонок. Часы посещения кончились.

Дядя Оскар сказал отцу:

— Это история на много лет.

Когда сторож отпирал нам дверь, наверху что-то грохнулось об пол. Кто-то взвыл, и вой, разрастаясь, покатился с этажа на этаж. «Обитель мира» выла. Видно, кайзер-сверхчеловек с божьей помощью победил своих врагов и яростно расправлялся с ними, ибо голос его пронзительно звенел нам вслед:

— Пощады не будет!

— Детям здесь нечего делать! Идем! — сказала мама, уводя меня прочь.

Скандал!..

Мои впечатления от поездки к дяде Карлу были очень многообразны. Мне казалось, что кайзер-сверхчеловек дяди Карла — порождение тех же мыслей, конечно до неузнаваемости искаженных и доведенных до абсурда, которые высказывал отец, особенно когда у нас собиралось трио, и которые, если не считать молчаливого протеста майора Боннэ, встречали всеобщее одобрение. Мне страшно понравилась та легкость, с какой дядя Карл говорил все, что ему вздумается. Отсюда я сделал вывод и потом не раз возвращался к нему: «Только сумасшедший может себе позволить говорить правду».

Безумие делало дядю Карла независимым. Ему не нужен был ни пистолет, чтобы прострелить себе дорогу, ни медяшки по пять и десять пфеннигов, — он бесился сколько душе угодно, бил стекла напропалую, мог взять себе любую вещь, какая приглянется... Дома́ выли. Стук упавшего тела, одинокий вопль и подхватививший его хор воплей, хлопанье закрываемых окон, топот ног, возня во всех этажах, пока одинокий страшный крик не вырвется снова из общего воя, заставляли меня внезапно среди безобиднейших занятий испуганно вздрагивать, словно я уже ребенком догадывался, что мирная тишина — не что иное, как угодливый обман, призрачный остров среди океана ужасов.

Сумасшедшим был почтальон, взбегавший по нашей лестнице, сумасшедшие носились по улицам на своих сумасшедших велосипедах, не иначе как сумасшедшей была Христина, которая смогла столько лет прослужить у нас, бредом сумасшедшего были речи учителя с кафедры, а этот сумасшедший Фек... Разве не сумасшествие то, что мы творили с Гартингером! Но и Гартингер, конечно, был сумасшедшим, раз он принимал нас всерьез. Я не находил вокруг себя ни одного разумного человека. Каждый на свой лад сходил с ума. Всюду умалишенные! Какое безумие! Я — сумасшедший — открывал окно и смотрел на сумасшедший мир из своего сумасшедшего дома.

Я останавливался перед зеркалом, корчил гримасы, пробовал скосить глаза на нос, дико прыгал по комнате или выступал медленно и важно и не раз зажимал себе рот, чтобы ни с того ни с сего не закукарекать, не заблеять или не выпалить какую-нибудь нелепость. С трудом удерживал я руку, чтобы за обедом не похлопать отца по плечу: «Ну, Генрих, как дела? Эх ты, болван, паршивец!» Я напрягал слух, ловя в воздухе звуки таинственных голосов, и как будто даже слышал уже один, а то и целый хор голосов, и потом снова вой сотрясал дома, ряд за рядом, пока не взвивался ввысь этот ужасающий вопль...

Выл целый город. Город завывающих домов.

Я купил книжку «Искусство чревовещания» из серии «Миниатюрная библиотечка»; решил завести себе второй голос, который всюду мог бы говорить правду. «Говорить правду» — это значило для меня говорить то, что думаешь и что высказывать обычно возбранялось. Второй голос сделал бы меня независимым. Безбоязненно, как взрослый и равный, разговаривал бы я за столом с родителями, а на уроках задавал бы столько вопро-

сов, сколько вздумается. «Язык вобрать поглубже, шевелить только кончиком его, то распластанным, то острым, то изогнутым лопаточкой»,—говорилось в учебнике, который и пророчества Дельфийского оракула объяснял чревовещанием. Усердно потренировавшись, я попробовал за обедом пустить в ход свое искусство, надеясь, что отец, обеспокоенный, заглянет под стол: «Кто это там разговаривает?» А он сразу накинулся на меня:

— Бесстыжий мальчишка, собака ты, что ли? Что это за звуки!

Уныло поплелся я в свою комнату. «Ничего из меня не выйдет, ничего...» Я засунул желтую книжечку поглубже в ящик и больше уже не пытал свои силы в искусстве чревовещания.

XVII

На уроке закона божия в класс совершенно неожиданно вошел инспектор с каким-то господином, которого он представил как уполномоченного министерства просвещения.

— Прошу спокойно продолжать урок,— сказал инспектор учителю Краниху, преподававшему закон божий.

— Тревога! — подал сигнал Фек.— Все наверх!

Следом за неожиданными гостями, усевшимися у окна, вошел учитель Голь и тоже подсел к ним. Указывая то на одного, то на другого ученика, Голь как будто знакомил с нами посетителей.

Краних между тем продолжал читать Нагорную проповедь, бросая на разговаривавшую вполголоса группу у окна раздраженные и подозрительные взгляды. Голь качал головой, словно отказывался что-то понять.

— Невероятно! — вырвалось у него несколько громче.

Представитель министерства успокаивающим жестом поднял руку и глубокомысленно закивал. Голь смотрел на нашу «тройку», переводил взгляд с одного на другого, а затем устремлял его за наши спины, на парту Гартингера. «Посмотрите только, как мирно они сидят. Невероятно, просто невероятно!» — как бы говорил его взор, блакосклонно покоившийся на нас. Мы уже привыкли и в школе и дома разыгрывать невинных овечек, умели прикинуться дурачками и, если нужно, быть тише воды, ниже травы. Мы застыли на своих местах в благоговейном молчании, словно всецело поглощенные чудесными словами Нагорной проповеди. Полуоткрыв рот, беззвучно шевеля губами, в раздумье опустив глаза, сидел я за своей партой.

Фек сложил руки, как на молитве, и порой растроганно вскидывал глаза; этот невинный ангел так смиренно кивал головой, точно на кафедре стоял по меньшей мере сам Иисус Христос и возглашал свое учение. Фрейшлаг весь превратился в слух, он даже слегка склонил голову набок, как бы боясь пропустить хотя бы одно слово; он морщил лоб и шевелил губами, точно человек, который не в силах скрыть свое волнение.

Мы наблюдали за группой у окна, будто через полевой бинокль, и подавали друг другу тайные знаки.

— Невероятно! — опять покачал головой Голь и снова обратил внимание представителя министерства на то, как мы тихо сидим на своих партах и по-детски самозабвенно внимаем проповеди.

У нас возникло подозрение, не связан ли приход неожиданных гостей с самоубийством ученика нашей школы и не дошла ли до их ведома история с «гробом». Нам давали время не торопясь подготовиться к ответу. Решено было, что говорить буду главным образом я, как бывший друг Гартингера; важно было бросить тень на старика Гартингера, этого социал-демократа, упомянуть о прогуле и о десяти марках,— тут мы целиком могли рассчитывать на поддержку Голя. Классу мы подали условный сигнал: «Никто ничего не знает. Держать язык за зубами».

Группа проследовала к кафедре. Представитель министерства передал инспектору какую-то бумагу, тот развернул ее и начал читать:

— «Ученики третьего класса! За последнее время наша школа, наша Луизенская городская школа, стала предметом общественного внимания и судебных дознаний. Произошел инцидент, небывалый в истории Луизенской городской школы: ученик четвертого класса Доминик Газенэрль покончил жизнь самоубийством. Тотчас же учиненное дознание не дало результатов. Истинные причины самоубийства установить не удалось. Медицинская экспертиза признала, что здесь, по всей видимости, имело место внезапное душевное расстройство. Тем не менее в последнее время в адрес властей поступил ряд жалоб на воспитанников других классов, которые самым низким образом травят и преследуют своих товарищей. Министерство просвещения совместно с другими инстанциями займется расследованием этих жалоб и приложит все усилия к тому, чтобы раз и навсегда искоренить подобное недопустимое безобразие. Это недостойно Германии, недостойно немецкого юношества...— Инспектор сделал паузу, чтобы усилить впечатление от послед-

них слов. Затем продолжал: — В третьем классе «А» Луизенской городской школы, следовательно, в том самом классе, к которому я обращаюсь, по сведениям, полученным от портного Гартингера третьего мая сего года, известная группа учащихся, а именно: Фек! — Встань! Садись! — Фрейшлаг! — Садись! — Гастль! — Садись! — держит весь класс в постоянном страхе и при помощи угроз заставляет оказывать себе всяческие услуги, в том числе и помощь в приготовлении уроков. В особенности подвергается преследованиям этой группы, как гласит жалоба портного Гартингера, его сын. — Гартингер, почему ты сидишь, когда я называю тебя? Встать! — Травля началась с того момента, как он порвал с Гастлем, который ведет себя, по его мнению, как испорченный мальчик. Я прошу,— заканчивает господин Гартингер свое письмо,— принять меры, дабы своевременно предупредить повторение столь прискорбных случаев, как тот, который имел место в четвертом классе «А» Луизенской городской школы».

— Вот скотина! — прошипел Фек.

— Рожу бы ему расквасить! — шепнул мне на ухо Фрейшлаг и еще раз сделал знак классу: «Быть начеку! Держать язык за зубами!»

Инспектор медленно перевел дух и, с трудом сдерживая змеиное шипение, обратился к Гартингеру:

— Ну-с, Гартингер, ты, может быть, расскажешь нам, как обстоит дело в действительности? Выйди сюда, к кафедре, чтобы все могли увидеть, правду ли ты говоришь.

Когда Гартингер проходил мимо, Фек шепнул ему:

— Смотри, не забудь прогул! Начни с этого и скажи всю правду!

Гартингер с этого и начал.

— Замечательно! — От восторга Фек даже привскочил.— Слушайте! Слушайте!

Гартингер рассказал всю правду: как я принес золотой и уговорил его, Гартингера, вместе прогулять занятия.

— Гастль сам в этом сознался в присутствии господина Голя.

Голь прервал его:

— Разрешите, господа, внести небольшую поправку.

Инспектор бросил:

— Прошу!

— В действительности Гастль, желая спасти товарища, взял вину на себя. Расскажи об этом сам, Гастль, и воздай хоть ты должное правде.

— Правда то,— солгал я,— что Гартингер подбил меня украсть золотой и прогулять занятия, а я взял на себя вину, желая спасти товарища.

На последней парте поднялась чья-то рука. Фек успел организовать показание якобы беспристрастного свидетеля, Макса Кезборера, щуплого мальчонки, сынишки дворника, которого мы на всякий случай терпели у себя в шайке.

— Ты, там, на последней парте, Макс Кезборер, чего тебе?

Мальчонка важно засеменил к кафедре, стал против Гартингера, приподнялся на цыпочки и монотонно забубнил, точно отвечал заученный урок:

— Я слышал, господин инспектор, как Гартингер уговаривал в уборной Гастля: «Чего там, возьми этот паршивый золотой. Мой отец,— сказал Гартингер,— всегда говорит: «У кого за душой нет ничего, тому и украсть не грешно».

Гордо поглядывая по сторонам, «пай-мальчик» вернулся на свое место.

Гартингер стоял опустив голову и весь дрожал.

— Я полагаю,— обратился Голь к комиссии,— инцидент исчерпан.

Инспектор встал, давая волю долго сдерживаемому возмущению:

— Ложь, конечно, остается ложью, но побуждения, руководившие Гастлем, делают ему честь. Он хотел выручить товарища. Но до чего же бесчестно использовать такую вынужденную ложь и ссылаться на нее! Фу! Нет,— инспектор повысил голос и выпятил грудь,— мы не потерпим в школе гнусных предателей. Что же касается твоего уважаемого папаши, «уважаемого»,— подчеркнул он,— то о нем мы поговорим в соответствующих инстанциях.

— Ложь, все это ложь!

Гартингер ощупывал себя со всех сторон, словно на него сыпались удары и он хотел прикрыть руками какое-то особо чувствительное место.

— Они меня в могилу... Они меня, как гроб...

По знаку Фека класс разразился хохотом.

Гартингер замахал руками, как бы стараясь стряхнуть с себя этот смех, но и на кафедре смеялись, пока инспектор, напустив на себя важный вид, знаком не приказал всем успокоиться.

— Уж не думаешь ли ты внушить нам, что все лгут и только ты один говоришь правду?.. Тебя держат в страхе... Кого же ты боишься? Чтобы трое держали весь класс в страхе?.. Смешно!.. Ступай на место и постыдись!

Гартингер, холодея от страха, попятился задом к своей скамейке. На лягушачьей физиономии Фека появилась студенистая ухмылка. На кафедре пожимали друг другу руки и раскланивались.

Голь проводил гостей до двери.

Вскочив и вытянув руки по швам, мы застыли у своих парт.

Инспектор улыбнулся нам:

— Благодарю.

Краних заключил урок псалмом: «Возблагодарим господа».

— Замечательно! Здорово! Браво! — шептали мы друг другу во время пения и, повернувшись к Гартингеру, корчили злорадные рожи.

Господь, благодарим
Мы сердцем, ртом, руками
За все, что ты творишь
Для нас за облаками,
За то,что ты хранишь
И опекаешь нас,
За блага прежних дней,
За милости сейчас.

— «За милости сейчас»,— орали мы, торжествуя.

— Они меня в могилу... Они меня, как гроб...— дразнили мы Гартингера по дороге домой.

Фек торжественно остановился перед ним:

— Слушай! Мы объявляем тебе войну. Завтра война начинается. Военный совет, за мной!

И мы оставили Гартингера одного. «Великая «тройка» объявляет Гартингеру войну»,— сообщил я себе новость. «Чиндара, бум-бум»,— маршировал я под собственную музыку и командовал себе: «Напра-во, марш! Налево, марш! Перебежками, марш, марш! Приготовиться: огонь!»

С барабанным боем вбежал я на кухню к Христине:

— Знаешь новость, Христина? Ну вот, наконец-то! Война, мы воюем!

XVIII

Сквозь лазейки в старом дощатом заборе мы легко проникали туда из нашего сада; оранжереи, теплицы, грядки, кусты, вперемежку с участками, настолько заросшими папоротником и сорными травами, что они походили на райские дебри; глубокие колодцы, шланги и лейки, в беспорядке разбросанные по-

всюду, связка камыша, из которого мы мастерили себе сабли и пики,— все это делало садоводство Бухнера излюбленным местом наших игр и развлечений. Здесь водились летучие мыши, крысы и змеи, и мы чувствовали себя героями, когда, «вооруженные до зубов», решались вступить в эти угрюмые и страшные места. Замечательнее всего было то, что людей мы там почти не встречали, все казалось беспризорным, лишь изредка где-нибудь вдали можно было увидеть склоненную над грядкой человеческую фигуру или, скрипя, проезжала подвода, груженная венками и ящиками, полными цветов.

Но всего таинственней была открытая нами пещера с подземным ходом. Вооружившись пиками, пистолетами, винтовками и саблями, с ручным фонарем, взятым в конюшне, мы, пригнув головы и подбодряя друга друга, двинулись в подземелье. Мы шли вперед, пока не наткнулись в темноте на железную винтовую лестницу, а она привела нас на дощатый чердак, одну стену которого составлял большой кусок холста, нечто вроде занавеса. Каково же было наше изумление, когда сквозь дыру в этом занавесе мы увидели панораму «Битва под Седаном». Мы словно заглянули в сокровенную глубь небес. Проделав дырку в холсте, мы прорвали круп лошади, на которой всадник со своим пленником скачет мимо командного пункта.

По свистку Фека мы с криками «месть!» выскочили из подворотни, где сидели в засаде. Гартингер попал в ловушку.

— Окружить! — скомандовал Фрейшлаг. Он и Фек подстерегали Францля на противоположной стороне.

Фек поманил Гартингера, словно собачонку:

— Сюда, сюда, Францль!

Двое из нашей шайки уже схватили Гартингера, один пошел впереди, другой сзади, в качестве прикрытия; так его привели к Феку и Фрейшлагу.

— Объявляем тебя нашим пленником! За мной!

Фек пошел по заросшей тропинке, которая вела к пещере.

— Война! Война объявлена! — Я прыгал впереди, дико выкрикивая какие-то команды.

— Война! Война! — ревел Фрейшлаг, грозно ступая, точно готов был каждым своим шагом втоптать врага в землю.

— Война! Война! — трубил Фек, приложив рупором ладони ко рту.Он поворачивался, трубя во все стороны, а я кричал: «Война! Война!» — и размахивал огромной саблей Ксавера, разрубая весь мир на куски.

— Негодяи! — выругался Гартингер, пытаясь освободиться.

Фрейшлаг приемом джиу-джитсу скрутил ему руки за спиной.

— Ну, сейчас мы тебе голову — чик! Вот погоди-ка! Тебе разрешается высказать последнее желание! — Я старался говорить басом, как отец, и, так же как он, то и дело откашливался.

— Пустите меня! Что я вам сделал?

— Можно и без последнего желания, как тебе угодно! Связать ему руки! — Фек держал веревку наготове, и в мгновение ока руки Гартингера были связаны.

Так мы дошли до пещеры. Конвоиры Гартингера подвели его к дереву, а сами отступили в стороны.

— Признавайся!

— Мне не в чем признаваться!

— Ты еще дерзить вздумал?! Ну-ка, попробуй, чем это пахнет...

И Фек хлестнул его по щеке пучком крапивы. Щека мгновенно вся пошла волдырями, красная, как огонь.

— Признаешься?

Гартингер смотрел поверх наших голов, словно нас тут и не было.

— Куда уставился? Смотри, буркалы свои не прогляди. Ишь, воробьев считает! Поверни-ка голову сюда: видишь? — Фек показывал на муравьиную кучу.— Вот этим мы тебя вымажем, если ты сейчас же не признаешься. Иль бросим вон в тот пруд к лягушкам.

Гартингер пошатнулся, чтобы не упасть, он широко расставил ноги, губы его посинели, уголки рта дергались. «Фу, какой он противный, бледный, отвратительный»,— расписывал я сам себе Францля и шипел:

— Я из тебя выбью эту твою новую жизнь!

Фек шагнул к муравьиной куче.

— Считаю: раз! два!

— В чем же мне признаваться, черт вас возьми?

— В том, что отец твой негодяй, а мать грязнуха.

У Гартингера все время дергался рот, как будто он жевал или чем-то давился. Он облизывал губы, он держал свой рот наготове, вот-вот он понадобится ему. Францль уперся связанными руками в дерево.

— Подлецы! Гады!

Мы растерянно посмотрели друг на друга.

Скандал!.. Я так и застыл с раскрытым ртом. Фрейшлаг замахнулся, но Фек отвел его руку:

— Не суйся не в свое дело! Отойти на три шага! Зарядить!

— Внимание! — Фек поднял руку и быстро опустил ее: — Огонь!

Мы плевали, все сразу и по очереди, каждый плевал что было силы. Подбегали к Гартингеру поближе, совсем вплотную, носились взад и вперед и плевали, плевали... Лица у нас налились кровью. Фек бросился на землю со стоном:

— Не могу больше!

Фрейшлаг оглядывал нас всех:

— Неужели ни у кого не наберется больше слюны?

Я закашлялся от непрерывных плевков. Гартингер стоял, прислонившись к дереву, с таким видом, словно он отдыхал, и на его заплеванном лице мелькнула улыбка.

— Ну, что, просишь пощады?

— У вас? Пощады? — Он нагнулся, потом выпрямился, как будто для прыжка, и плюнул,— он попал мне прямо в лоб. Я вздрогнул, как от удара.

— Он ранил меня,— взвизгнул я, готовый зареветь,— прямо в лоб, позор! — Но мне уже было стыдно, что я кричу, я посмеялся над собой: плевком нельзя ранить человека,— и долго тер носовым платком лоб, пока не почувствовал, что натер докрасна. Нет, черт возьми, никогда в жизни мне не стереть этого плевка, у меня на лбу клеймо, я заклеймен.

Гартингер еще шире расставил ноги.

— Война? Это вы называете войной? Эх вы, герои!

— Однако хватит,— рассвирепел Фрейшлаг.— Не суйтесь не в свое дело!— И он кулаком ударил Гартингера так, что тот стукнулся затылком о дерево. У Францля подкосились ноги, и он упал на колени. Выставив нижнюю губу, я вплотную подошел к нему.

— Стой, стой на коленях! — измывался я над ним.— Да выплюнь-ка украденные деньги!— Я заглянул ему за спину, словно интересуясь, нет ли у него там косы, и делал вид, как будто дымлю ему в глаза сигарой.— Я из тебя вышибу эту новую жизнь! Я тебе покажу эту твою новую жизнь,— безостановочно бубнил я,— ты мне за все ответишь,— грозился я, вспоминая свой сон. Потом отступил на несколько шагов и пригнул голову, точно готовясь взять разбег.

— Ты думаешь, я кто? Кто?.. А ну, угадай... Я...

— Кто мастером стать хочет, тот смолоду хлопочет,— орал Фек, сидя на земле.

Гартингер искоса поглядел на меня, от этого взгляда у меня заболел лоб — то место, куда попал плевок.

— Что, не можешь угадать? А? Ну, ну... Ты ведь сам сказал... Я...

— Палач! — заорали все сразу.

— Увести его!

Мы втолкнули Гартингера в пещеру, а сами стали у входа на часах...

Мы прислушались: ни звука. Позвали: молчание. Посовещались, что делать. Каждый боялся пещеры, ее темноты и безмолвия.

Фрейшлаг сказал:

— Пожалуй, перестарались.

Фек. Я этого не хотел.

Я. Дело может плохо кончиться.

Мы подталкивали друг друга: «Пойди посмотри, что там». Но, сделав шаг к пещере, каждый тут же отскакивал назад.

— Давай по домам! — Но никто не решался отойти от пещеры. Я уже видел, как прохожие на улице останавливают меня и спрашивают: «Скажи, ты не из той школы, в которой...» Лоб у меня все еще болел. Мне хотелось крикнуть: «Ладно уж, Францль, выходи!», и я посмотрел на Фека: «Пучеглазый! Лягушка!»

Мы еще долго топтались перед пещерой, уже звонили к вечерне.

И вдруг мы увидели Гартингера на противоположной стороне сада, он шагал по дорожке, словно шел сквозь вечерний звон, и в руке нес большой желтый цветок. Мы шептали друг другу:

— Гляди! Гляди!

XIX

Все кончено. С Ксавером все кончено.

А они ведь даже не знали друг друга, и никогда не говорил с Гартингером о Ксавере, хотя мне и нелегко было скрывать от него, что мы с Ксавером на «ты».

В коротком «ты» заключался, казалось мне, целый мир.

«Ты» могло звучать, как песня, и «ты» могло быть злым или просто равнодушным. «Ты» могло коварно подстеречь человека и своим грозно растянутым «ы… ы… ы…» обрушиться на него, как воинственный рев. «Ты», сказанное отцу, и «ты», сказанное матери, не было одним и тем же, и даже «ты» в обращении к отцу менялось, смотря по обстоятельствам. Сколько недоговоренного скрывалось за этим «ты»! В «ты», обращенном к Феку, было недоговоренное: «Ты, пучеглазый, ты, лягушка». «Ты» к Гартингеру звучало некогда: «Ты, мой Францль, ты!» «Ты», сказанное Христине, было певучим и означало: «Ты, моя милая, милая Христина…» Но все эти «ты» существовали всегда, с самого моего рождения. А «ты», на которое я перешел с господином Ксавером после «вы», таило в себе нечто особое, праздничное. «Вы» и «ты» долго путались у нас. Я вслушивался в «ты», которое говорили друг другу взрослые, и в нотки, неслышно сопровождавшие его. Сколько таких «ты» стерлось, выветрилось, обветшало, их ничего не стоило заменить любым холодным «вы», какое подобает говорить учителю или бывшим университетским товарищам отца, когда они посмеиваются: «хе-хе». Как они нежно гнусавят свое «ты», эти тайные ненавистники, как они лицемерят, произнося его, когда самое правильное было бы прошипеть: «Вы — милостивый государь!..»

Ксавер ничего не мог знать о Гартингере. Я не рассказывал ему ни о нашем прогуле, ни о том, что было после. Нет, Ксавер, конечно же, не виноват, что пуговицы на его мундире так поблескивали при свете фонаря и что мне приснился потом старомодный бабушкин шкафчик с блестящими золотыми монетами.

Что же случилось? Почему все кончено между мной и Ксавером, кончено навсегда?..

Потому-то и потому-то все кончено между мной и Ксавером. За одним потому следует другое — одна причина влечет за собой другую: причины, причины, нет им конца.

Христине была бы только поговорка, а больше ей ничего не нужно. На все есть свои благочестивые поговорки, у всех у них свои поговорки, они глотают их, как успокоительные пилюли, на каждый случай припасена готовая магическая формула.

«Послушай,— хотелось мне сказать тому, что живет где-то в самой сокровенной глубине души,— скажи, чего ты хочешь? Что тебе нужно? И неужели ты не можешь сказать это ясно и внятно?..»

Разумеется, учитель музыки Штехеле и не подозревал, какой опасный шаг он совершает, соглашаясь на предложение моих родителей давать мне уроки музыки.

Да и мог ли что-либо подобное заподозрить этот больной старик в помятой широкополой шляпе!

О, какой ученик ему попался!

Мог ли он подозревать, что виной всему гармонь Ксавера? Гармонь виновата? Как может быть гармонь виновата в преступлении? Тут следовало бы вникнуть поглубже или, как говорит отец, произвести строгое дознание.

Гармонь Ксавера околдовала меня, поэтому-то мне и было так противно играть на скрипке по приказу родителей; я не хотел изменять Ксаверу, хотел сохранить верность его гармони.

Поэтому... Поэтому старику Штехеле и предстояло «немало удовольствий». Я прилежно готовил ему к каждому уроку такое удовольствие.

Очень скоро я понял, что мое жалкое пиликание безбожно ранит его в самое сердце, а если я затыкаю уши, когда он играет, я наношу ему величайшую обиду.

Слушая «Грезы» Шумана, я упрямо твердил: «По-моему, это отвратительно»,— и без малейшей жалости выдерживал его полный ужаса взгляд. Я, конечно, прекрасно чувствовал трогательную красоту его исполнения, но гармонь Ксавера...

— Кто только придумал эту дурацкую скрипку? — спросил я злобно и так сильно стукнул скрипкой о шкаф, что кобылка соскочила с места.— Чертова пиликалка...

Господин Штехеле молитвенно сложил руки, потом бережно вставил кобылку под струны и снова заиграл, заиграл с мольбой, точно стараясь проникнуть своей игрой мне в сердце и смягчить мое бешеное упрямство. Я наклонился над пультом и, подражая Феку, растянул губы в студенистую ухмылку.

Я видел в окно, как старик плелся домой, на углу он остановился, весь скрючился, прохожие поспешили ему на помощь, усадили его в подъезде ближайшего дома. «Ему стало дурно. Так ему и надо. Пускай не лезет не в свое дело».

Родители рассчитали его, так как я, по их мнению, не делал успехов.

— Береги, по крайней мере, свой инструмент,— сказал он на прощание и устало пожал мне руку.

Я слышал, как он, тяжело дыша, стоял за дверью, на лестнице. Прошло много времени, прежде чем он вышел на улицу. А я твердил про себя: «Но ведь он тут не виноват! Он тут совершенно ни при чем».

Теперь, когда с Ксавером было все кончено, я играл на скрипке ежедневно, по нескольку часов подряд. Играл у открытого окна: пусть слышит Ксаверова гармонь!

— Не слишком ли ты увлекся скрипкой,— говорила мать, и мне хотелось ей ответить: «Скрипка тут совершенно ни при чем, мама!» Но я молчал. Отец вручил учителю, господину Кершенштейнеру, плату за уроки, на этот раз в конверте, и поблагодарил его:

— Вот что может сделать хороший педагог!

Я стоял рядом, разделяя похвалу, и искоса поглядывал на учителя: ты только не вздумай возгордиться, безмозглый! Нас не проведешь!

Это произошло как-то вдруг. Но что же это было такое? Что творило подобные вещи? Уж не то ли непостижимое, что заставило меня тогда ответить старику Гартингеру: «Мой отец, в конце концов, важный государственный чиновник с правом на пенсию»?

Ксавер спросил, посмеиваясь:

— Ну, как поживает господин прокурор?

— Да так, ничего,— ответил я уклончиво.

— Работы небось хватает, а? Отсеченные головы вырастают заново?

Это мог бы сказать я, но Ксавер не смел вести подобные разговоры, и я вдруг разозлился, хотя еще вчера они, несомненно, доставили бы мне удовольствие.

— Что за чушь ты мелешь, Ксавер? — сказал я назидательно.— Кто убивает человека, тот, конечно же, и сам должен распроститься со своей головой.

— На твоем месте я выбрал бы себе другого папашу, не головореза,— шутливо сказал Ксавер и откашлялся

«Что за черт! — подумал я.— Он не лучше Гартингера».

Ксавер протянул мне руку.

— Я не хотел тебя обидеть, малец. Ты и впрямь тут ни при чем. Ты парень неплохой...

Тут я отступил на шаг, и у меня само собой вырвалось:

— Прошу впредь говорить мне «вы», слышите вы, господин Зедльмайер, вы!..

— Ха-ха-ха! — загрохотал Ксавер.— Нет, такого ответа я не ожидал! Ха-ха-ха! — Хохот его захлестывал меня, от этого хохота дрожал весь двор.

— Ты, видно, хочешь меня разыграть, видно, думаешь, что если ты поступаешь в гимназию, то ты,— простите,— то вы, господин сопляк...

— Ха-ха-ха! — гремело вокруг.

— Я запрещаю вам...

— Ха-ха-ха!

— Я расскажу майору!

— Ха-ха-ха!

— Я донесу на вас!

— Ха-ха-ха! Вылитый папаша, господин прокурор, но только в коротких штанишках.

— Погоди, скоро все будет по-другому... Наш брат!..— крикнул я и топнул ногой.

Что это? «Ха-ха-ха» больше не слышно.

Слегка подавшись корпусом вперед, шаг за шагом, приближался ко мне Ксавер, грозный, каким я никогда еще его не видел; он почти скользил, а руки заложил за спину, точно волок за собой что-то:

— Тебе нечего бояться, эх ты, щенок, фитюлька ты, я тебе ничего не сделаю, но знай — ты еще не раз вспомнишь...

Он подошел ко мне вплотную, так что я ощутил на себе его теплое дыхание, и зашептал мне на ухо:

— Да, все будет по-другому! Но не так, как думаете вы, баре, а иначе, совсем иначе, будь спокоен!.. Мы уж об этом позаботимся. Мы! Наш брат...

Он повернулся и пошел к себе в каморку, но на пороге остановился.

— Не поминай лихом. Бог с тобой и...

Он сдвинул фуражку на затылок, словно затем, чтобы вольнее было думать, и сказал только:

— Трудно, конечно, таким, как ты...

Я испуганно огляделся по сторонам. Нет, теперь это сказал не старик Гартингер, а Ксавер. Я пустился бежать от этого «таким, как ты...». Но последние слова Ксавера догнали меня.

— Ну и... до свиданья!

Кончено. С Ксавером все кончено.

«Ха-ха-ха!» — гремит у меня в ушах.

Взрывы его хохота сотрясали все вокруг. Ксавер словно решил швырнуть мне назад весь тот смех, которым мы донимали Гартингера.

Ах, хоть бы все осталось, как есть. Боже милосердный, сделай так, чтобы никогда не наступала другая жизнь!

— Эй вы, Зедльмайер! — орал я у себя в комнате.— Стать смирно! Руки по швам! Пятьдесят приседаний! На три дня в темный карцер! — Я командовал трескучим офицерским голосом и посмеивался:— Хе-хе-хе! Наш брат!— Я расправил плечи и выпятил грудь.— Такие, как я!..

Офицерский денщик играл на гармони.

Я побежал к отцу:

— Папа, визг этой гармошки просто невыносим... Вестовой майора... Денщик...

Отец похвалил меня:

— Наконец-то! Наконец! Я рад, что ты одного со мной мнения... Сейчас же пошлю Христину вниз, к господину майору.

XX

Хотя мы потом и установили, что в пещере был второй выход, через который Гартингеру удалось уйти от нас, все же его появление вдалеке, на дороге с большим желтым цветком в руках казалось нам чем-то сверхъестественным. Я тоже был в числе тех, кто, вспоминая об этом, с трепетом думал о воскресении Христовом. Мне даже казалось, что мы завалили вход в пещеру тяжелой каменной глыбой, но ангел прикоснулся к ней кончиками пальцев, и она легким облачком взвилась к небу. Мало того, среди тех, кто видел, как мы пытали Гартингера, нашлись мальчики, которые сравнили его со святым Себастьяном и вспоминали, как этот мученик, стоя у позорного столба, пронзенный стрелами, улыбался своим небесным сподвижникам, а в это время чья-то рука протягивала ему чашу с животворным бальзамом.

Фрейшлаг воздвиг гонения на верующих. Не проходило дня, чтобы он не избил кого-нибудь из них за Глиптотекой. Строптивые оказывали Гартингеру всякие знаки внимания, многие уже осмеливались заговаривать с ним на переменах, и вскоре дело дошло до того, что мальчики гурьбой провожали Гартингера до самого дома. «Кровавая тройка», как нас прозвали после учиненных нами истязаний Гартингера, теряла сторонников.

Самые сногсшибательные остроты Фека редко кого смешили теперь. Когда этот коротышка грозно выпрямлялся, никто уже не шарахался от него в страхе. И я тоже испытывал какое-

то бессилие и растерянность, когда при моем появлении начинался невнятный глухой ропот и бормотание: придраться было не к чему, как ни чесались руки. К «палачу», вырезанному на моей парте, прибавился «предатель».

Единственный, кто сохранил нам верность, был сынишка дворника, «пай-мальчик», или, как многие его называли теперь, «негодяйчик». «Пай-мальчик» ни на шаг не отходил от нас. Нам ежедневно приходилось провожать его домой, чтобы защитить от мести ребят. Он, со своей стороны, грозил, что, если мы откажемся защищать его, он все про нас расскажет. Фрейшлаг предложил задать «пай-мальчику» хорошую трепку и раз навсегда выбить у него из головы такие мысли. Но Фек — «Не суйся не в свое дело!» — купил фруктовых карамелек и заткнул ими рот «пай-мальчику». А наш подопечный, однажды войдя во вкус, стал требовать все более и более дорогих лакомств: кусок торта, например,— «медвежьи орешки» и «сахарная соломка» его теперь не удовлетворяли. Наших карманных денег уже не хватало на оплату этого лжесвидетеля, нанятого Феком. Фек обратился ко мне:

— Ты должен спасти нас.... Ведь у тебя бабушка!

Но тут вмешался Фрейшлаг — «Не суйся не в свое дело!» — и по дороге домой так отчаянно излупил «пай-мальчика», что тот несколько дней не приходил в школу. Кто-то видел отца его, господина Кезборера, в коридоре у двери Голя.

— Голь не подкачает,— уверял Фек.

И в самом деле нашему учителю удалось уговорить дворника. Тот отказался от своего намерения подать жалобу и, чтобы избежать дальнейших скандалов, перевел сына в другую школу.

— Ну, видишь, как с нами считаются? С нами! — бахвалился Фек.— С такими, как я!..— передразнил он меня; только звук «с» он, шепелявя, как бы выталкивал языком.

Мы по-прежнему назывались «тройка», но теперь от «тройки» отшатнулся весь класс; и ни колотушками, ни лестью мы ни у одного мальчика ничего не могли добиться.

Все трое, хотя мы и были самыми плохими учениками, выдержали приемные испытания в гимназию. К нам пригласили общего репетитора, который несколько недель готовил нас к экзаменам. Обе мамаши — Фрейшлага и Фека — посетили отца, чтобы договориться относительно преподавателя. Сначала отец, по-видимому, был разочарован, что отец Фрейшлага, ротмистр, не сам явился, а прислал свою жену. Я видел в замочную скважину, как он после беседы провожал обеих мамаш до двери. Он так держал себя с этими дамами, что чем-то

напомнил мне дворника, с которым Голь разговаривал не в учительской, а в коридоре, и я с удовольствием помог бы отцу спустить этих щебечущих расфранченных дур с лестницы. Когда же отец еще и еще раз повторял, какое удовольствие они ему доставили, какую честь оказали своим посещением и как он был бы рад вновь удостоиться столь высокой чести, я пожалел, что не могу прервать речь отца отборными ругательствами, чтобы спасти свое достоинство. А может, ему по долгу службы приходится так разговаривать, на самом же деле он думает совсем другое и сейчас посмеется вместе со мной над изысканной вежливостью, с какой выпроводил их. Но отец был, как он выразился, в восхищении от обеих дам, кстати, и мать Фека оказалась «весьма рассудительной особой». Отцу, видно, очень польстило, что у нас троих будет общий преподаватель, потому что он несколько раз повторил:

— По крайней мере, хоть теперь, когда ты будешь заниматься вместе с мальчиками из таких семей, возьми себя в руки.

Гартингеру, лучшему ученику класса, пришлось остаться в городской школе.

— Куда такому учиться! — презрительно сказал Фек; и я тоже считал вполне в порядке вещей, что Гартингер даже такой льготы не получит, как звание вольноопределяющегося.

— Из подобных людишек,— сказал я, важничая,— все равно ничего путного не выходит. Такие, как он...

А Фрейшлаг обнял нас обоих за плечи:

— Зато наш брат!.. Наш брат!..

Голь, когда мы прощались, задержал нас.

— Простись достойным образом,— велел мне отец,— вы трое действительно многим ему обязаны.

Фек был того же мнения:

— Да, с ним надо достойно проститься, он не подкачал.

Голь запер нас в классе.

— Подождите здесь, я погляжу, разошлись ли остальные. Они уговорились вздуть вас на прощанье.— Он вернулся: — Кое-кто еще околачивается тут,— и выпустил нас через запасный выход.— Кстати,— сказал он,— все, что я для вас делал, я делал ради ваших родителей.

— Так нам и надо,— сказал Фек, убедившись, что врага нигде не видно.— Это расплата за наше проклятое добродушие. Слыханное ли дело! Бунтовать вздумали!

Фрейшлаг повернулся, сжал кулаки и прорычал:

— Погодите же вы у меня, мелюзга из народной школы!

В день, когда я сдал последний вступительный экзамен в гимназию и Христина стала называть меня «ваша милость», я тихо, на цыпочках, боясь произвести малейший шум, выскользнул из кухни и закрылся у себя в комнате.

Запирать дверь на ключ строго воспрещалось, но я прикрыл ее как можно плотнее, я хотел остаться один, совсем, совсем один, в ужасном, безутешном одиночестве.

«Ваша милость... Вы... Вы... Вы...» Холодно, как удар топора, отсекало «вы» какую-то пору моей жизни. Я не хотел расстаться с «ты», но минувшая пора, как курьерский поезд, умчалась в прошлое, унося с собой свое «ты».

Родители поздравили меня с поступлением в гимназию.

Отец. Ну, слава богу, теперь ты от него избавился, от этого оборванца Гартингера. Гимназию посещают только сыновья состоятельных родителей.

Мать. Слава богу! Надеюсь, теперь с дурным обществом покончено. Оно не для таких, как ты.

Христина испекла пирог, бабушка подарила мне пятимарковый золотой для моей копилки.

— Тебя еще ждет сюрприз,— взволнованно шепнула мне на ухо мама,— чудная, чудная поездка на каникулах...

Июльский вечер. В листве каштанов щебечут птицы. День умирает в тихом, теплом сиянии. Прощание кружит голову и наполняет душу счастьем, ибо все вокруг словно ликует: мир не не знает ни начала, ни конца, все вечно течет и все повторяется...

Куда обращен мой взор? К чему я прислушиваюсь? Ловлю ли я звуки гармони? Увы, все это ушло... Вижу ли я, как мы бежим по улицам, втыкаем спички в звонки, так что весь дом приходит в движение и дворники гонятся за нами и ругаются нам вслед? И это ушло... Присядет ли еще Христина к кровати «их милости»: «Через год, через год, как созреет виноград...» Ушло, ушло... Там на углу ровно в половине восьмого утра меня ждет Францль. Ушло, и нет возврата...

Стемнело. Звон колоколов в этот миг был мне невыносим, столько в нем было грусти. Что они там вызванивают о «новой жизни»?! Чтобы успокоить себя, мне хотелось крикнуть колоколам: «Мой отец, в конце концов, важный государственный чиновник...»

— Что же, зажечь лампу и отпереть дверь? — спросил я у Темноты.

— Нет, подожди,— ответила Темнота,— я еще не все сказала тебе...

Я вслушался в Темноту.

Мой собственный голос насмешливо прозвучал из темноты:

— Такие, как я!..

Лишь теперь я услышал, что в дверь стучат и зовут меня.

— Сейчас! Сейчас!

На пороге стояла мама.

— А я уж испугалась, не случилось ли чего с тобой.

Я ответил потемневшим голосом:

— Почему, мама, ты подумала, что я что-нибудь над собой сделаю?

XXI

Отец начал писать «Семейную хронику» вскоре после женитьбы. В качестве эпиграфа сверху значилось «Собственными силами»; слова эти были подчеркнуты дважды. Посвящая меня в семейную хронику, отец произнес такую речь:

— Всякий человек имеет родословную. Человек должен знать, кто он по происхождению. У каждого есть предки. И вот на вопрос, кто наши предки, отвечает «Семейная хроника», для этого она и существует. Каждому немцу следовало бы вести подобную хронику и заниматься изучением своей родословной... Прежде всего и главным образом обрати внимание на то, что наша родословная как с отцовской, так и с материнской стороны корнями уходит в шестнадцатый век и что мы принадлежим к чисто немецкому и строго протестантскому роду. Ни один католик, не говоря уже о евреях, не вошел в наш род, и тем самым честь фамилии остается по сей день незапятнанной... Ты наследник рода. От тебя зависит, получит ли род Гастлей свое продолжение или угаснет...

«Семейная хроника», как сказал отец, начинается задолго до Тридцатилетней войны; в те далекие времена среди предков отца значился некий владелец трактира «У веселого гуляки». «Уроженец Франконии, он был,— как утверждала собственноручная запись отца,— за непокорность светским и духовным властям колесован и сожжен в Пегнице под Нюрнбергом».

Отец вдруг заговорил вперемежку двумя голосами: один был обычный, а другой напоминал голос какого-то Ксавера. Запись на первой странице, сделанная много лет назад, казалось, удивила отца. Голосом Ксавера он обрадованно воскликнул, словно приветствуя старого знакомого:

— Вот так встреча!.. Какими судьбами!..

И уже другим голосом стал спрашивать себя, точно подвергая сомнению подлинность собственной записи:

— Кто это писал? Как он сюда затесался? Совершенно невероятно!

Он быстро перевернул первую страницу «Семейной хроники», стараясь привлечь мое внимание к тем страницам, которые, на его взгляд, свидетельствовали о славном прошлом нашего рода.

Подле каждого Гастля стоял крест. Мы бродили с отцом по кладбищу. Мы обозревали многочисленных Гастлей и многочисленные кресты. Я уже видел, как рядом с именем отца и рядом с моим вырастает такой же жалкий крестик. Здесь, в «Семейной хронике», отец заложил для собственного рода новый чудесный склеп.

— С тех пор поколение за поколением, честно трудясь, поднималось все выше и выше,— удовлетворенно произнес отец, перелистывая хронику. Он приосанился и ударил себя в грудь: — Все это собственными силами!— И о себе отец мог с гордостью сказать, что он собственными силами выбился в важные государственные чиновники с правом на пенсию. Я восторженно слушал его, благоговея перед «собственными силами».

Когда, спустя несколько дней, я, кряхтя, снял со шкафа громоздкую «Семейную хронику», собираясь вновь перечитать то место, где говорилось о моем колесованном и сожженном предке, то оказалось, что первая страница чистенько и аккуратненько вырезана из книги предков.

У меня было такое чувство, словно я обнаружил чудовищное преступление, которое отец старался скрыть. «Темное пятно»! В погоне за Темным пятном я обшарил все ящики и секретные отделения отцовского стола и даже золу в печке исследовал, но хозяин трактира «У веселого гуляки» пропал бесследно.

* * *

Уже на пасхальной неделе обычно решался вопрос, куда мы поедем летом. В эту пору на отцовском письменном столе каждый год скоплялись груды карт и проспектов. Нынче отец держал свое решение в секрете, чтобы сделать мне сюрприз.

Я старался выведать секрет у матери, она была посвящена в планы отца. Но мать на все мои вопросы отвечала:

— Ну-ка, угадай! Может быть, в Букстегуде...

Отгадывать я заставлял Христину; я слышал об открытии «палочки-указалочки». Я завязывал Христине глаза и требовал, чтобы она водила пальцем по карте. Если палец дрогнет, значит, где-то рядом то самое место, куда мы поедем.

Прибегал и к таким ребяческим затеям в надежде, что несносное «ваша милость» будет предано забвению и Христина снова скажет мне «ты». Но Христина только грустно качала головой:

— Нет-нет, теперь уж кончено...

Я не в силах был вернуть ее «ты»!

Так и осталась нераскрытой тайна нашей чудесной летней поездки.

Как раз те карты и проспекты, которые могли навести меня на правильную догадку, отец старательно убирал куда-то. Мы точно играли с ним в прятки. Он, по-видимому, подозревал, что мне известны потайные ящики его письменного стола, и поэтому изобретал все новые и новые тайники. Когда ему удавалось сбить меня со следа в погоне за его тайной, он удовлетворенно ухмылялся.

И только в поезде, на пути в Фюссен, отец сообщил, что в нынешнем году мы посетим короля Людвига II в его замке Нойшванштейне.

Фюссен был мне уже немного знаком, так как с Гроссгесселоэского моста и со Штарнбергского озера я не раз любовался его горами, а у Кохельского озера забирался довольно высоко по лесистым склонам, поэтому здесь, в Гогеншвангау, на берегу альпийского озера, родители мои, верно, немало дивились тому, что я весь день смущенно молчу, словно неподвижная водная гладь и отраженные в ней диковинные скалы отбили у меня всякую охоту разговаривать. «Божий глаз» называлось это озеро, такое оно было прозрачное и бездонное: его сияние проникало в душу и непреодолимо влекло в вековечные глубины.

— Неужели тебе не нравится? Да посмотри же, как здесь чудесно! — Шумно восторгаясь, мама призывала меня любоваться красотами природы, а отец с досадой сказал:

— Жаль, такой взрослый, гимназист уже, а природы, видно, не чувствует.

Гимназист! — отныне это слово так часто повторялось, что я не раз жалел: ах, зачем я не остался в городской школе!

Мы поселились в окрестностях Гогеншвангау, в гостинице «У седого утеса».

Мюнхен отодвинулся куда-то вдаль. Я смотрел в ту сторону, откуда мы приехали. Тишина стояла бездыханная. Воздух струился. Через ржаные поля бежали узкие стежки. Безоблачное небо поражало своей ослепительной синевой. Я думал о том, что ведь отец был когда-то крестьянским мальчиком, и решил при первом удобном случае опять расспросить его о детстве. Я закрывал глаза и как будто плыл куда-то вместе с полем, небом, горами и тишиной. Все люди казались мне добрыми, они улыбались друг другу, и глаза их ласково светились. У меня не было никаких желаний, как в ту ночь на балконе, когда мы всей семьей встречали новый век.

Эта тишина, казалось мне, сближает людей так же, как военный парад или большой праздник. Когда в церкви Богоматери при поднятии дароносицы верующие опускались на колени, рождалось такое вот единение, и даже когда на Максимилианплаце, против дворца, при смене караула играли вечернюю зорю и огни факелов, разгораясь, поднимались над головами многих сотен людей, они, эти люди, пьянея и шатаясь от счастья, смыкались теснее, сливались воедино...

С Феком и Фрейшлагом я уговорился переписываться во время каникул. И вот от Фека пришла из Оберсдорфа открытка с картинкой, но Фек — это было что-то очень далекое, так мог называться и какой-нибудь город, незнакомый, безразличный.

А за горами стоял Гартингер, тщедушный, невзрачный Францль.

Я хотел отвернуться от него: «Ничего не поделаешь, так уж оно водится»,— но благостная тишина побудила меня неопределенно помахать ему рукой.

«Зажить по-другому!» — слабым эхом звенело у меня в ушах. «Зажить по-другому!» — вызванивали где-то вдали колокола.

XXII

Напевая про себя, бродил я под высокими сводами торжественной целительной тишины.

Быть может, какой-то таинственный поток унес меня некогда отсюда и забросил в город? Город влек меня к себе, как некое опасное приключение, но только те его уголки я способен

был любить, которые, подобно садоводству Бухнера, напоминали мне о потерянном рае.

Иногда среди урока или в уличной сутолоке вставали передо мной шумящие леса, или, пламенея в зареве заката, манила меня к себе одинокая вершина с обветшалым деревянным крестом...

Сидя за партой, я вдруг переносился в поросшую синей горечавкой лощину, а еще бывало, замечтавшись перед витриной обувного магазина, видел перед собой камень со стихами и барельефом, рассказывавшими о том, что здесь, застигнутый грозой, сорвался в пропасть и погиб одинокий путник.

Тирольские плясовые мелодии, задорные песенки в деревенских трактирах, монотонные напевы молитв, доносящиеся вечерами из часовни святой Марии, набат, который под грохот громовых раскатов жалобно стонет в узких, испуганно притихших долинах,— вот скрытая музыка, что всегда сопровождала меня; цитра и гармонь рождали те определяющие аккорды, вокруг которых вилась песня моей жизни.

Когда я рано поутру входил в еловый бор, поднимавшийся по горному склону за гостиницей «У седого утеса», когда я, робея, шел все дальше, а лесу не было конца и я бесследно терял в нем себя,— разве то не было возвращением туда, откуда я однажды ушел: я знал теперь, откуда я, знал свое происхождение — вот откуда я родом, здесь моя родина.

Когда в полуденный зной по Швансее плыла наугад моя лодка, пока не запутывалась в прибрежных камышах, когда стрекозы, прочерчивая трепетными крылышками воздух, носились над водяными лилиями, когда облака и горы, громоздясь друг на друга, покоились в хрустальной глуби озера, тогда я знал: я вернулся в родной край, это — родина.

Когда в сумерках так грозно высились громады гор — какое угасание после жаркого багрянца догорающего дня! — и во тьме оживали горные ручьи, чье журчание разносилось далеко-далеко, я знал: здесь моя родина.

Вот откуда я родом. Вот откуда я некогда пришел по такой же дороге, как та, что соединяет Фюссен с Гогеншвангау, или та, что ведет через границу в Тироль, в Рейте и к Планскому озеру; это была моя дорога, пробитая в скалах, прихотливо вьющаяся, петляющая вверх и вниз, изъезженная тяжелыми возами, усеянная коровьими лепешками.

Родиной был и маленький лесной трактир, где в сизом облаке табачного дыма дровосеки и возчики играли в карты. И в колосящихся ржаных полях моя родина. И в жатве и в вязании

снопов она. Она в строках, высеченных и вырезанных на плитах и крестах деревенского кладбища; я любил останавливаться перед ними, вчитываясь в имена и благочестивые изречения. И в пестрой сутолоке базарных дней родина кивала мне с возов, высоко груженных только что сжатым хлебом.

Вот откуда я родом.

Встретившись с родиной, я почувствовал, что должен просить прощения за многое, очень многое. Я был исполнен покаянной мольбы о прощении. У Францля хотелось мне просить прощения, ему я причинил больше всего зла. Но Францль недоверчиво отворачивался от меня: «Поживем — увидим». У Ксавера хотелось мне просить прощения,— как могло, в самом деле, случиться, что я поссорился с ним! У Штехеле, учителя музыки, я просил прощения и обещал ему каждый день по часу играть «Грезы» Шумана. Перед бабушкой я тяжко провинился: мне хотелось поскорее вырасти и каждый месяц из моего заработка тайно класть в ее старомодный шкафчик десятимарковый золотой. И Христине я причинял много огорчений. Разве не гадко было задирать ей подол и этим выводить ее из себя? Наконец, родители. Я платил им черной неблагодарностью за все их добро. Но как только я вспомнил об отце, мое покаянное настроение сразу же поколебалось. Нет уж, лучше обратиться к этой прекрасной, мирной картине, обратиться к родине, где повсюду обитает господь бог, и молить его: «Прости меня... И избави меня от лукавого. Аминь».

Это была такая же прекрасная, мирная картина, как та, которую я нарисовал бабушке и под которой написал: «Радость».

Я чуть не забыл дополнить прекрасную, мирную картину кровопролитным боем под Мукденом, где японцы нанесли русским такое ужасное поражение. Генерал Стессель был моим героем, он и от нашего кайзера получил орден. И все-таки Порт-Артур пал. Позже, правда, стало известно, что генерал Стессель был подкуплен японцами, поэтому он почти без сопротивления сдал крепость со всем гарнизоном. Тогда кайзер потребовал свой орден обратно.

И вот из-за лугов и полей, из-за холмов и гор моей родины показался громадный русский флот, он подплывал все ближе. Тишину разорвал грохот страшного Цусимского боя, в котором японцы под командованием адмирала Того пустили ко дну русскую эскадру.



«Прощание»

Я сидел высоко на марсе и обозревал море, покрытое трупами и обломками кораблей. На горизонте сплошную завесу клубящегося дыма прорезали вспышки выстрелов из огромных орудий. Столбом вздымалась вода, языки пламени вырывались из раскаленных бронированных башен. К броненосцам подкрадывались торпеды, проносясь почти у самой поверхности воды и оставляя за собой пенящиеся борозды. Так как мне ничего другого не пришло в голову, когда волны сомкнулись над моим тонущим кораблем, то я запел:

О черно-бело-красный флаг,
Мы все — твои сыны —
До гроба каждый вздох и шаг
Тебе отдать должны... Ура!

XXIII

Отец знал все. Даже название каждой горной вершины. Он ничем не напоминал городского отца: не противился расспросам о той поре, когда был деревенским мальчиком, признавался, что любит свое прошлое, хотя в городе он последнее время не слишком охотно на него оглядывался.

Поутру, поднявшись,— «Генрих!» — будила его мама,— отец наполнял комнату бодрым свистом. За завтраком сидел на террасе без пиджака, пощипывал мать за щеку и нежно звал ее: «Бетти!» На мою тарелку он клал аппетитный крендель. В руках у мамы свисали с ложечки янтарные нити меда. За завтраком пахло хвоей и куковала кукушка. Отец часто снимал пенсне, его глаза не жалили теперь, не были колючими, как в городе, когда он читал свои судебные дела, и он весело хлопал себя по ляжкам волосатыми руками.

Отец повел меня в замок на горе.

Дома я не раз вырезал и склеивал из бумаги замок Нойшванштейн. Набив его ватой, я приступал к осаде и обстреливал замок зажженными спичками. Как только пламя охватывало его, я приказывал моим войскам переходить в наступление, а моему оркестру играть «Станем на молитву»... Оловянные солдатики, на которых была возложена защита крепости, плавились в бесформенные комочки. Убитые не выходили из игры, убитые и раненые даже продавались в отдельных коробках на Променаденплаце, в специальном магазине, который так незаметно притаился на углу площади, как будто в нем тайно велись

войны: можно было часами простаивать перед его витриной, разглядывая наступающие армии и ярко раскрашенные поля сражений...

Отец держался так, словно был хозяином замка. Гордый и преисполненный сознания своей мощи, переходил он со мной из зала в зал. Валькирии парили на конях, на одном из гобеленов пел Лоэнгрин. Дворцовый привратник позволил нам полюбоваться королевским золотым рукомойником: вода текла из сверкающего клюва золотого лебедя с алмазными глазами. Посреди обнесенного колоннадой двора был искусственный пруд. В полуночный час, под звуки невидимого органа, льющиеся откуда-то сверху, король, одетый рыцарем-лебедем, садился в серебристо-голубую ладью.

Отец так рассыпался в выражениях восторга, что я даже встревожился: вот-вот он начнет бредить и буйствовать, как дядя Карл. Да и самый замок, в котором мы находились, казался мне каким-то чудны́м, точно строил его дядя Карл, хотя и под именем короля Людвига. Я боялся, что замок сейчас завоет, и рад был, что уже не раз сжигал его дотла.

Отец, выйдя из замка, повел меня в лес собирать грибы; это был тот отец, о котором я мечтал. Я заново создал себе его образ, свободный от того темного и страшного, что было в прежнем отце.

Отец был слугой Рупрехтом, который высыпал передо мной целый мешок яблок и орехов. Среди орехов попадались золоченые. Отец был рождественским дедом, который играл на рояле и дарил ребятам строительные наборы и паровозы. На елке висели айвовые леденцы. Отец был велосипедом, подаренным мне ко дню рождения, он был и альбомом с марками, и лесом, и альпийским озером, и горами, и летними каникулами.

К отцу являлись курьеры из Дворца юстиции. Государство посылало отцу запечатанные сургучом пакеты. Отца вызывали в Берлин, где ему поручили написать толстую книгу: «Гражданский кодекс». А сколько экзаменов сдал в своей жизни отец, и все на отлично, а за докторскую диссертацию он даже удостоился «summa cum laude» [1]. Это он написал «Баварское гражданское уложение» — двенадцать томов в синих кожаных переплетах. А разве теперь принц-регент не принял отца в замке Гогеншвангау? Орден ему, конечно, обеспечен. А может быть, принц-регент пожалует ему даже потомственное дворянство? Я зара-

[1] Высшая похвала *(лат.)*.

нее старательно упражнялся в подписи с приставкой «фон». Если бы отец был католиком, он, конечно, занимал бы одно из первых мест в крестном ходе с плащаницей,— куда лейб-гвардейцу до него, отец по меньшей мере одного ранга с подполковником.

Отец знал все виды грибов — съедобных и ядовитых. Он поучал меня, что и люди бывают с ядовитыми мыслями, очень заразительными,— они могут погубить целые народы.

— Такой опасный, ядовитый человек, например, старик Гартингер, социал-демократ. Он из тех лодырей, которые сами ничего не добились в жизни и не могут простить другим успеха и богатства. Дай им волю, и окажется, что и кайзера не нужно, и прекрасные замки надо сровнять с землей.

— Ай-ай! — я со страхом посмотрел на отца: верно, он и на этот раз видит меня насквозь и уже догадался, как я расправился с замком...

— Оттого-то и вспыхнула революция в России, что там слишком церемонились с населением,— продолжал отец.— Бунтовщики собрались перед Зимним дворцом и — какая дерзость! — вздумали вручить царю петицию! Они даже иконы притащили с собой! Тьфу! — Отец сплюнул.— Скандал! Но царь не попался на удочку. Он велел просто-напросто расстрелять этот сброд. Задал им перцу. А теперь в стране все перевернулось вверх дном, террористические акты, беспорядки. В великих князей стреляют. Ни один порядочный человек не рискует показаться на улице. Даже корабль один взбунтовался.

— Как, целый корабль? — переспросил я.

— Да, то-то и есть, что целый.

Почему я обрадовался, что это был целый корабль?

— И то же самое грозит Германии, если мы станем слушать таких безответственных людей, которые вечно болтают о новой жизни. «А ведь правильно,— подумал я,— новая жизнь иной раз звучит не только заманчиво, но и страшновато».— Самое главное для человека — выполнять долг. А долг состоит в обуздании своих страстей. Я бы тоже с удовольствием стал чем-нибудь другим, например землевладельцем. Но жизнь — это самопреодоление. Я служу государству, потому что государство превыше всего, оно воплощение морального закона... Таким образом, мы, государственные чиновники, несем огромную ответственность... В особенности судьи... Они радеют о торжестве справедливости... Понятно тебе?

Мы стояли перед муравьиной кучей.

— Каждый муравей здесь выполняет свой долг. Все протекает в образцовом порядке.

Я смотрел на муравьиную возню, тщетно пытаясь в ней разобраться.

Мы пошли дальше: лес поредел, и мы увидели лесоруба, сидевшего на пне.

Отец заговорил с ним. Я заметил, что он при этом изменил голос. Да и лесоруб явно изменил голос. Он встал, держа шапку в руках. Оба говорили деланными голосами. Совсем как волк в «Красной Шапочке». Значит, они кривили душой, говоря друг с другом.

— Ну, как живется?

— Да что ж, живем потихоньку, ваша милость!

— А погодка? Что скажешь?

Отец говорил лесорубу «ты», и тому это льстило; «ваша милость» и «вы» в устах лесоруба доставляли удовольствие отцу.

— Ну, как, постоит хорошая погода?

При упоминании о «хорошей погоде» лесоруб поморщился. Ничего «хорошего» не было для него в этой погоде, он предпочел бы прохладную погоду, даже, вероятно, дождь. Но вслух он сказал:

— Что ж, судя по ветру, пожалуй, и постоит.

Отцу, чтобы как следует использовать отпуск, нужна была безоблачная погода, лесорубу же, наоборот, жара была помехой в работе. Какое уж тут согласие, если в их жизни все разное. Удивительно! Ведь когда-то они ничем не отличались друг от друга, или, во всяком случае, отличались очень немногим. Ясно, что лесоруб родился не в «господской семье». И отец тоже был когда-то крестьянским мальчиком. Но отец, верный своей надменно-снисходительной манере, держался с лесорубом не как со старым знакомым, да и тот не говорил с отцом, как с ровней. А ведь еще за утренним завтраком отец с таким удовольствием вспоминал свое детство. Лесоруб был у себя дома, отец же покинул свою родину и переселился в город, и как бы он ни изменял голос, все равно они с лесорубом жили на разных полюсах.

Я подумал, что ведь и мать часто говорит деланным голосом; я слышал, как она таким голосом говорила Христине: «Послушай, Христина, не можешь ли ты в это воскресенье остаться дома и помочь мне?» — И голос Христины звучал деланно, когда она отвечала: «Ну, разумеется, ваша милость».— Это она могла

сказать только деланным голосом. Ведь Христина носила мать на руках, когда та была крошкой. Старик Гартингер тоже разговаривал деланным голосом, когда приходили заказчики, в особенности если это были офицеры. Все прятали свои настоящие голоса и лгали друг другу. Некоторые так тоненько, вкрадчиво чирикали, желая втереться в доверие, а вот учителя, те иной раз рычали, хотя им было вовсе не до того. К чему все это? К чему эти деланные голоса? Что же, выходит, что человек говорит только притворными голосами, а собственный прячет либо совсем утратил? Быть может, если бы все люди заговорили собственными голосами и перестали лицемерить, они бросились бы друг на друга, и везде вспыхнула бы революция, как в России...

Отец и лесоруб сказали друг другу: «Доброго здоровья». При этом их голоса вдруг стали обычными. Прощание прозвучало настороженно, почти враждебно. «Корабль! Целый корабль!..» — не выходило у меня из головы.

Мы подкрепились бутербродами. Я ел так, точно мне предстояло набраться сил для величайших подвигов. «Грудь вперед!» — подбодрял я себя и, глядя на отцовские плечи, прикидывал, сколько мне еще расти до него. Я держался так прямо, что отец заметил это и удовлетворенно похлопал меня по плечу.

Как только мы вышли из лесу и перед нами вырос небольшой холм, я попросил отца поиграть со мной в «атаку». Мы были гвардейской пехотой. Окопавшийся противник расположился со своей многочисленной артиллерией на вершине. Мы наломали веток и заострили их. Построились в ряды, ружья к ноге. Примкнули штыки. Противник открыл огонь. Пули густо ложились вокруг нас. Я протрубил сигнал: «На приступ!» И противник протрубил сигнал. Пение труб гулким эхом отдавалось в горах. С тыла подоспела наша артиллерия. «Встать! Бегом, марш!» Мы стреляли на бегу, выбрасывая далеко вперед наши палки. Падали плашмя на цветущую лужайку, отец со своим пенсне на носу — рядом со мной. Только успел я крикнуть: «Прикрытие!» — как над нами разорвалась картечь. Я велел отцу застонать — он был ранен...

— У тебя все лицо изуродовано, а живот... внутренности...

— Довольно! Довольно! — оборонялся отец, он не хотел, чтобы его так тяжело ранили.

— Счастье твое, папа, что так обошлось, от головы ведь на волосок...

Отец сказал серьезно:

— Это уж слишком...

— Ну, ладно, ладно, рана не опасная,— успокоил я его, боясь, как бы он не прекратил игры. Я сделал ему временную перевязку, и мы бросились на штурм высоты. Неприятель был в красных штанах. Но этого мало. Это еще не давало точного представления о неприятеле. Я мысленно искал его среди знакомых мне лиц. Гартингер... Ур-ра!.. Мы обратили его в бегство.

С возвышенности перед нами открылась цепь снеговых гор. Стрекотали кузнечики. Солнце палило. С палкой на плече я маршировал вслед за отцом по усеянному трупами полю битвы. Мы пели «Был у меня товарищ...».

Но едва дошло до слов:

Он был сражен на месте,
И кровь его текла,—

как мне пришлось запеть громче, чтобы подавить подступившие к горлу рыдания. Ибо Гартингер, которого я только что убил как врага, был теперь моим лучшим другом, и он вторично пал от пули, сражаясь плечом к плечу со мной. Разоренная земля вокруг была не вражеская земля, а моя родина. Отец обернулся ко мне:

— Что же ты не поешь? Пой!

И я запел:

Ты не пожмешь мне руку,
Но в вечности, в разлуке
Будь верным другом мне.

Я пел, глотая слезы и обратив лицо к горам. За ними стоял Гартингер, и рука, которую я не мог протянуть ему, повисла, как неживая, в воздухе, а какой-то голос нашептывал мне: «Корабль! Целый корабль!»

Я не знал тогда названия корабля. Неведомый корабль приплыл сквозь ночь, сияя множеством веселых огней, и я во сне все изумлялся: «Корабль! Целый корабль!»

Матросы играли на гармони, а один из них, стоявший на капитанском мостике и похожий, как мне казалось, и на Гартингера и на Ксавера, помахал мне рукой и что-то сказал, но я не мог разобрать слов, они потонули в подхваченной всем кораблем песне о Новой жизни.

Завидев у берега большое, расцвеченное огнями судно, люди закричали: «Корабль! Целый корабль!»

Тогда и я поспешил на берег и от радости стал бросать в море плоские камешки так, что они по многу раз подскакивали на поверхности воды.

XXIV

Сынишку садовника звали Гиасль. У него не было велосипеда, и он не умел плавать.

— Откуда ты это взял?! — спросил я Гиасля, когда он рассказал мне, что зимой, каждую ночь, лишь пробьет двенадцать, король Людвиг садится в сани, запряженные двенадцатью серебристо-белыми конями, и несется по снежным полям на свидание с прекрасной Елизаветой, королевой австрийской.

— Да что ты выдумываешь! Ведь они оба давно умерли!

— Давно умерли?! Как бы не так!.. Ну, а если я побожусь тебе, что сам видел, как король со своими двенадцатью конями проносился в полночь по дворцовому мосту,— нет, ты бы только поглядел, до чего они трусят каждый раз, эти жандармы!

— Жандармы? Какие жандармы?

— Да ведь все жандармы подосланы пруссаками, они и короля не прочь бы арестовать...

— Жандармы?!

Гиасль запел, многозначительно подняв указательный палец:

Доктор Гудден и канцлер Бисмарк,
Которого также великим зовут,
На него украдкой напали сзади
И подло его столкнули в пруд.
Коварный канцлер! Не много чести
Тебе этот гнусный поступок принес.
Врага не в открытом бою сразил ты,
А в спину ему удар нанес.

Я смотрел, как Гиасль поет, как он открывает и закрывает рот. Я стоял перед ним, как стоял перед Гартингером, когда велел ему ловить ртом монеты, и чувствовал, что в глазах у меня вспыхивает враждебный огонек. «Голь перекатная,— думал я,— и туда же — петь! Все голодающие против власти». «Нравственный закон»,— словно эхо прозвучали во мне слова отца. И гармонь Ксавера тоже против власти. Я сердито спросил:

— Так выходит, что он все-таки умер, твой король, с его двенадцатью конями?

— Король... Да ты, видно, и сам жандарм, а?!

— А ты — ты Гартингер, вот ты кто!

— Гартингер? Это еще что за штука? Жандарм, жандарм!..

Я вытер лоб, словно Гиасль плюнул в него, и долго еще стоял с судорожно открытым ртом, а Гиасля давно и след простыл.

* * *

Внизу, под нами, жила семья советника юстиции доктора Тухмана и фрейлейн Клерхен. Тухманские дети четырех и шести лет вечно цеплялись за юбку фрейлейн Клерхен и, как только я с ними заговаривал, прятались в складки этой юбки.

После обеда, от двух до четырех, родители спали. Никто не смел нарушить этот послеобеденный сон. От послеобеденного сна зависело, состоится ли велосипедная поездка на озеро, с остановкой в «Альпийской розе», где мы пили кофе, или же день закончится уныло.

Я всячески оберегал родительский сон. Снимал ботинки, чтобы не вспугнуть тишину, урезонивал капающий водопроводный кран и ссорился с окном, которое не желало угомониться и бессовестно скрипело.

После обеда, от двух до четырех, фрейлейн Клерхен сидела на качелях с книжкой в руках. Время от времени она легонько отталкивалась от земли и медленно покачивалась взад и вперед, не отрывая глав от книги. Мне казалось, что она не замечала меня, когда я, от двух до четырех, сидел в беседке, устремив на нее мечтательный взор. Я смотрел на нее с таким же восхищением, с каким часто разглядывал портрет матери, стоявший на мольберте в запретной гостиной. Я смотрел на нее, и все вокруг меня преображалось, и сам я тоже преображался. Послеобеденное — от двух до четырех — созерцание фрейлейн Клерхен наполняло каждый мой день смыслом, и у меня было только одно желание — чтобы все люди были так же счастливы, как я. Нелегко было скрывать свое счастье, лишь лесу и горам мог я поведать свою тайну, лишь их мог просить вместе со мной заглянуть в сад, где тихо качались качели.

Новые времена, которые отныне наступили, сделали меня таким благонравным, таким предупредительным со всеми и таким ласковым, что родители не могли надивиться: «Да тебя точно подменили! Совсем другой мальчик!» Теперь я часто с содроганием, не веря, что это могло быть, смотрел на себя точно в зеркало, отражавшее мое отношение к Гартингеру. Фрейлейн Клерхен являла мне совершенно иное мое отражение. Уж не таким ли я мерещился себе в ту новогоднюю ночь, когда на празднично убранном балконе давал троекратную клятву! Дни не походили на прежние дни, ночи не походили на прежние ночи. Фрейлейн Клерхен была волшебницей, превратившей

меня в другого человека. Все, что было доброго на свете, исходило от нее, она была источником всех моих радостей. Невидимая, она с давних пор витала вокруг меня. Во всех людях, которых я любил, была, казалось, частичка ее существа.

Теперь я обращал внимание на вещи, мимо которых до того проходил равнодушно; точно прозрев, я каждый день открывал вокруг себя бесконечно много нового и достойного любви. Я снова дал торжественную клятву стать хорошим человеком. Если бы я все время смотрел на такое вот любимое лицо и непрестанно старался бы запечатлеть его черты и воспроизвести их в своем воображении, тогда бы, думалось мне, исчезла всякая опасность, что я собьюсь с правильного пути и опять стану таким несносным, как раньше.

Время от двух до четырех представлялось мне мигом счастья. Два часа пролетали как одно мгновение, а раньше они тянулись томительно и лениво, в сонной скуке. Вечностью казались часы ожидания. Самый же миг счастья был взлетом качелей, дуновением времени...

Я брал с собой в беседку книгу, иначе могло показаться подозрительным, что я каждый день по два часа сижу там без дела. Фрейлейн Клерхен читала книгу, и мне тоже хотелось читать вместе с ней. У меня была книга стихов. Я прочитывал стихотворение, повторял его вполголоса, обращаясь к фрейлейн Клерхен, следя за тем, чтобы перевернуть страницу одновременно с ней. Часто я косился на пустое место рядом, словно она, моя волшебница, сидела тут же, а качели, раскачиваясь, касались беседки.

Встречаясь с фрейлейн Клерхен в другое время, не в миг счастья, я лишь мельком здоровался с ней. Я даже избегал таких встреч и, прежде чем выйти из дому, всякий раз обдумывал, как бы мне незаметно проскользнуть мимо. Когда однажды, идя с родителями, я не мог уклониться от встречи, я отвернулся и не ответил на ее поклон, за что мама на меня накинулась:

— Что за манеры! Вот невежа, не здоровается!

«Ничего ты не знаешь, мама,— промолчал я,— ей двадцать четыре года, отец ее старший лесничий в окрестностях Ландсгута на Лехе, и ночью, когда она ложится спать, я слышу каждое ее движение, ведь ее комната под моей...»

И вот невозможное свершилось: однажды в послеобеденную пору, от двух до четырех, фрейлейн Клерхен, оставив сильно раскачавшиеся качели, направилась прямо ко мне в беседку. Я так и не успел перевернуть пустую страницу; низко склонившись над книгой, я глядел на эту пустую страницу и чувство-

вал, как пылает лицо, оттого что фрейлейн Клерхен вошла в беседку.

— Что вы читаете? Интересная книга?

Разумеется, в тот миг на пустой странице запечатлелось немало прекрасного, но на ней запечатлелось и разочарование оттого, что фрейлейн Клерхен покинула свои качели. Я бы с радостью снова отодвинул вдаль ее образ, но, хоть она и была совсем рядом, ее грудной певучий голос доносился будто издалека...

Каждый день, от двух до четырех, мы сидели теперь вдвоем в беседке. Читала фрейлейн Клерхен, читал я, а когда мы наталкивались на что-нибудь особенно прекрасное, мы читали друг другу. Весь день и даже в самый миг счастья я все думал о том, чем бы порадовать фрейлейн Клерхен, кем бы стать в будущем, чтобы сделаться достойным ее. Ее грудной певучий голос напоминал мне и трио и уроки пения, когда мы вместе с девочками разучивали хоралы. Ласкающие интонации Христины слышались в ее голосе, и гармонь Ксавера пела тем же грудным, певучим голосом, тепло осенявшим самые резкие, высокие ноты. Учитель Штехеле, играя «Грезы» Шумана, своим волшебным смычком мог вызвать к жизни этот голос. От звука его у меня язык прилип к гортани, когда я вздумал было заявить, что сделаюсь генералом и великим полководцем. Этот голос, такой тихий и певучий, казалось, властно подсказывал выбор другой профессии. Он не уживался с воинственным бряцанием, в нем благостно звучал зов родины — голос фрейлейн Клерхен был голосом мира.

Миг счастья протекал в безмолвии. Мы сидели рядом и глядели то в книгу, то друг на друга. Время от времени мне казалось необходимым произнести что-нибудь, и я выискивал самые общепринятые фразы, лишь бы не выдать тех слов, что звучали во мне. Как хорошо было сидеть рядом с живым существом в беседке, которая замыкала в себе целый мир, пряча его в мерцающей листве. Иногда я чувствовал себя пловцом, я будто нырял, задерживая дыхание, в полумрак, в бездонность, в забытье. Когда время близилось к четырем, фрейлейн Клерхен на прощание ласково улыбалась мне, и эта улыбка означала: будем говорить друг другу «ты». Едва она уходила, как я вновь обретал те слова, которые целый день вынашивал, и повторял: «Ты... ты... ты...»

Однажды отец, после обычного дневного сна (от двух до четырех), оборвал меня, когда я спросил насчет обещанных мне

кожаных штанов. Он сидел в беседке с советником Тухманом, и оба согласно кивали друг другу в знак полного единодушия.

После совещания с советником Тухманом отец позвал меня:

— Что это вы там делаете каждый день после обеда? Зачем это вы, тайком от всех, ходите в беседку?!

— Ну и тварь...— подхватила мать — скандал!.. Все, что угодно, только не это... С такой особой у тебя не может быть ничего общего... В твоем возрасте, как тебе только не стыдно?!

— Срам! — подхватил отец.

Мать. Пожалуй, это еще почище Гартингера. Скандал!..

Отец. Бессовестная потаскуха! Как она смеет путаться с тобой — полуребенком!

Мать. Ты потерял чувство сословной гордости!

Отец. Тут прямое преступление. Эту наглую особу следовало бы передать в руки полиции! Марш к себе в комнату! Под домашний арест!

Оба. Скандал!

— Ну вот вам и скандал! — хотелось мне хихикнуть, меня смешило, как они бесились: «Срам! Скандал!» Но я не хихикнул, а заскрежетал зубами от ненависти: «Жадины-спаржадины!»

Мне становилось стыдно и за мать и за отца, когда я вспоминал, как он ел спаржу. И как только он мог, не стыдясь матери, уплетать самую толстую, самую сочную спаржу! Мать, казалось мне, очень уж бессовестно улыбалась, когда отец, жадно посасывая этакую толстую спаржу, пялил на мать из-под пенсне круглые, масленые глаза. Это не были те Бетти и Генрих, которые в новогоднюю ночь стояли обнявшись на балконе; тут мать могла бы сколько ей угодно говорить: «Я против»,— я ей больше не верил...

Ночью я связал несколько полотенец и стукнул ими в окно нижнего этажа. Окно фрейлейн Клерхен открылось, и я узнал, что по настоянию моего отца советник Тухман уволил фрейлейн Клерхен без предупреждения и завтра она уезжает.

— Прощай! — прозвенело окно и захлопнулось.

XXV

Назавтра, в пять утра, отец разбудил меня. Мне вспомнился тот давнишний день, когда отец встал так же рано, в пять часов, но сегодня у этого любителя вставать спозаранку за плечами был рюкзак, а на ногах горные башмаки.

— Живо, собирайся! Мы отправляемся на Зейлинг!

В доме еще все было тихо. Его словно подменили, этот дом, полы покоробились и раздражающе скрипели, обои морщились и отставали от стен,— а все оттого, что фрейлейн Клерхен сегодня уезжала. Другим казался и еловый лес, начинавшийся прямо за гостиницей: сегодня этот лес, угрюмый, подернутый дымкой тумана, провожал фрейлейн Клерхен протяжными стонами.

Отец ждал с альпенштоком в руках.

— Ну-ка, поживее!

«Жандарм!» — огрызнулся я про себя и с благодарностью подумал о Гиасле, у которого позаимствовал это слово.

Отец совершенно преобразился — это был злой колдун; колдун поднял жезл, качели замерли, все в мире застыло в неподвижности, и, хотя светило солнце, вокруг стоял холод, бродил гнетущий страх и ветер дул из черной мглы.

Праздник кончился, счастье миновало.

Я проклинал лес, в котором так привольно чувствовал себя отец, шумно, чтобы я слышал, и точно назло мне вдыхавший запах хвои. То отставая, то забегая вперед, я пытался скрыться от него, но как раз в ту минуту, когда мне это почти удавалось, он свистел и, точно на невидимом поводу, подтягивал меня к себе.

Внизу, в долине, похожая на кубик с насаженным на него треугольником крыши, виднелась наша гостиница «У седого утеса». Мне даже казалось, что я узнаю окно, за которым фрейлейн Клерхен укладывала свои вещи.

Как только мы добрались до скалистых вершин, отца стало одолевать головокружение.

Приятно было с сознанием собственного превосходства смотреть, как он на четвереньках карабкается вверх по крутому утесу...

— А выше еще круче будет! — убеждал я его прекратить нашу горную вылазку.— Вон там, впереди, острый, как нож, хребет, а справа и слева от него — пропасть.

Опираясь на палку, отец со страхом посматривал на каменистые утесы. Я видел, как он старается подбодрить себя; глубоко-глубоко переводя дух, он снова полез вверх.

«Отец,— издевался я про себя,— считает своим долгом совершить восхождение на Зейлинг. Но он подвержен головокружению. Это надо преодолеть».

— До сих пор — и ни шагу дальше,— вертелся я перед отцом на самом гребне перевала.— Смотри, папа, я лечу вниз.— Я протянул ему свою палку.

— Ну вот, теперь я чувствую себя уверенней! — Отец ухватился за палку, и я осторожно втянул его на кручу.

— Что бы ты сделал, папа, если бы тебе сейчас встретился старик Гартингер?

До меня донеслось со стоном:

— Брось эти глупости, прошу тебя, еще накличешь беду.

Просительный тон отца располагал к дальнейшим вопросам:

— А что, тогда действительно восстал целый корабль, большой корабль, весь целиком?

Но отец предпочел промолчать; обливаясь потом, он ухватился за проволочный трос, отвесно подымавшийся к вершине, и стал подтягиваться вверх. Я уже стоял на вершине и поторапливал «испытанного альпиниста», кричал, чтобы он пошевеливался.

Пока он взбирался вверх по расщелине и подо мной из стороны в сторону моталась его лысая голова, я должен был сделать над собой усилие,— мне казалось, это грудной, певучий голос удержал меня,— чтобы не столкнуть на него один из многочисленных каменных обломков. Велика важность! Никто не узнает. Сорвался, вот и все. Никто не заподозрит меня, «еще полуребенка». Но прозвучал грудной, певучий голос, и я отбросил мысль о горном обвале. «Может быть, не все кончено, отец только погрозился, и свидание еще возможно?»

Но вот отец взобрался на вершину.

— Вид не бог весть какой, да и гроза как будто собирается, а тогда спускаться будет очень плохо...— встретил я его и деланным голосом, щебеча от избытка вежливости, пригласил расположиться поудобней.

— С тобой совершать горные вылазки весьма сомнительное удовольствие,— пыхтел отец, с трудом преодолевая одышку.

— Это оттого, что у меня нет кожаных штанов,— прикинулся я обиженным,— да, да... только оттого.

— Кожаными штанами твое поведение никак нельзя объяснить. Нет, штаны здесь совершенно ни при чем,— ответил отец задумчиво.

Гетры его с эдельвейсами по зеленому полю спустились на башмаки, а тирольская шапочка, которую отец приколол к куртке английской булавкой, вся измялась.

— Подтяни гетры, а шапочку я бы на твоем месте надел: на вершине ветрено,— назойливо донимал я отца, прислушивавшегося к отдаленным раскатам грома.

Под нами проносились обрывки облаков, и время от времени сквозь них крохотной точкой сверкала наша гостиница «У седого утеса».

Я заставил себя отступить на несколько шагов, так меня подмывало толкнуть отца в спину. «Зачем он мне нужен, я и без него проживу, в конце концов, он важный государственный чиновник с правом на пенсию. Обо мне позаботится государство».

Я стоял на вершине горного утеса наедине с некоей частицей государственной власти, и от меня зависело дать этой частице пинка. Свидетелей не было. Если бы даже дело и дошло до суда, меня все равно пришлось бы оправдать за отсутствием свидетелей и за недостатком улик. Внизу, в долине, у самого подножия горы, где стоит столб с дощечкой: «Вершина Зейлинг. Продолжительность подъема — 6 часов», отцу воздвигли бы памятник с надписью:

Короткий век — не редкость среди гор,
Смотрите: здесь сорвался прокурор.

Вдруг отец спросил:

— А вы действительно ничем предосудительным не занимались?

«Фрейлейн Клерхен, фрейлейн Клерхен!» — больно отозвалось в моей груди, и я ответил отцу вопросом:

— Чем же предосудительным мы могли заниматься? Ну? — без стеснения торопил я его, пока он мешкал с ответом.

— Ну, я хочу сказать... чем обычно занимаются в таких случаях...— произнес он смущенно, деланным голосом, словно снисходя ко мне, и во взгляде его мелькнул, как мне показалось, масленый огонек спаржееда...

— Я хочу сказать... Я хочу сказать...—передразнил я отца. «Ах, фрейлейн Клерхен»,— сжалось опять сердце, я собрался с духом и сказал: — Читали вместе, глядели друг на друга, вот и все...

Это прозвучало смело и вызывающе.

Фрейлейн Клерхен — ради нее я держал ответ перед отцом, здесь, на горной вершине. Пусть весь мир знает...

— Читали и смотрели друг на друга?! И ты смеешь так нагло лгать отцу?!

— Хочешь верь, хочешь не верь,— твое дело. Мне безразлично.

Это была первая попытка открытого сопротивления отцу, на какую я отважился. «Фрейлейн Клерхен! Фрейлейн Клер-

хен!» — ликовал я. «Голову долой!»— рычал я про себя, обращаясь к отцу.

Отец не ответил, он прикусил нижнюю губу и, казалось, что-то пожевал. Потом поднялся, так ничего и не сказав. Он стал готовиться к спуску.

— Ступай вперед,— попросил он.

— Нет, иди ты вперед.— И я стал позади него.

— Берегись! Обвал! — отчаянно заорал я, но мне пришлось рукой удержать ногу, и ни один камень не покатился в пропасть.

Отец втянул голову в плечи.

— Ах нет,— опять защебетал я,— это ничего, я только хотел сказать...

Отец прикрыл голову рукой и чуть ли не на четвереньках опасливо заскользил вниз, цепляясь за ветки низкого кустарника.

— Я только хотел сказать, подожди...

Я протянул руку, чтобы поддержать его; в своей беспомощности он напомнил мне учителя Штехеле, когда тому на улице сделалось дурно...

Фрейлейн Клерхен. Я срывал альпийские розы, поглядывая на небо: после нескольких раскатов грома гроза рассеялась.

А может быть, раз уж на грозу надежды нет, все-таки привести в движение эти груды камней и вызвать обвал? Ведь в мире все замерло, умолк и грудной, певучий голос. Быть может, в эту самую минуту отошел поезд, увозивший фрейлейн Клерхен.

Помахивая ей на прощание букетом альпийских роз, я легко прыгал с уступа на уступ. Далеко, далеко позади меня, осторожно нащупывая дорогу, спускался по горному склону отец.

* * *

Я заперся в своей комнате. Когда мама постучалась, я крикнул:

— Оставь меня! — Больше мама не стучала.

Было темно, в темноте я прощался с фрейлейн Клерхен, которая уже уехала. Где-то играла гармонь: «Через год, через год, как созреет виноград...», а затем переходила на песню о добром товарище... «Ты не пожмешь мне руку, но в вечности, в разлуке, будь верным другом мне...»

Это была, конечно, гармонь Ксавера, это она прощалась с фрейлейн Клерхен.

В саду качели... Ни взлета.

Окно безмолвно.

— Где ты оставил отца? Почему его до сих пор нет? — спросила мама через запертую дверь.

В ту же минуту на лестнице заскрипели тяжелые башмаки отца. Я слышал, как он поставил в угол палку и сказал, снимая рюкзак:

— Ну, слава богу... В первый и последний раз... Пусть только попробует еще раз сунуться ко мне в проводники. Вот она, благодарность... Что за мальчишка... Где он? Какой бес вселился в него?

Взяв розы, я подошел к окну и, прощаясь с фрейлейн Клерхен, еще раз помахал цветами куда-то во тьму.

Я не знал его. Прохожие на улице расспрашивали нас о нем. На его похоронах мы дурачились и кривлялись. Все давно забыли про него. Какое нелепое имя: Доминик Газенэрль! И вдруг мертвый коснулся меня и потянул к себе с неодолимой силой. Я стоял на Гроссгесселоэском мосту, и я бросился вниз через перила. Я что-то говорил и не знал, что это стихи. Я произносил слова, чтобы, падая, ухватиться за них. Возможно, слова были такие же бессвязные, как те, что я когда-то изобретал, стараясь сделать себя неуязвимым. Я произносил их под звуки гармони, на которой играл Ксавер. Ни разу не перевернувшись в воздухе, я плавно погружался в глубину. Когда я почувствовал под ногами дно и высоко над собой увидел мост, с которого прыгнул, когда река расступилась подо мной,— от этих стихов на меня снизошла такая новая, чудесная, животворная сила, что я бестрепетно вышел на берег.

— Отопри! — гремел отец и стучал кулаком в дверь.— Не то худо будет!

Что еще может быть? Разве может быть что-нибудь хуже того, что случилось? Я прислушивался к голосу, который вернул меня к жизни из моего безудержного падения, и не ответил на стук.

И опять я стоял над бездной.

— Послушай, ты... Ты...— Стук в дверь не прекращался.

Темноты ни один человек не может вынести; и в темноте я открыл дверь.

В коридоре горел свет. Мама стояла в полосе света.

Она смотрела на меня с озабоченной улыбкой.

— Подожди, я зажгу у тебя свет,— сказала она, но она и без того внесла с собой свет в комнату.

— Какие красивые цветы! — Она все улыбалась и грустно спрашивала: — Что ты сделал с отцом? — Она бережно поставила розы в кувшин с водой.

Точно это ей я принес букет альпийских роз.

XXVI

Вильгельмовская гимназия, которую посещали королевские пажи, слыла самым аристократическим учебным заведением Мюнхена. Отец решил втиснуть меня в эту гимназию,— он так и выразился «втиснуть»,— чтобы я отучился от своих плохих манер и привык к светскому обществу.

К плохим манерам относилось и мое злорадство по поводу проделки капитана из Кёпеника. Сапожник, по фамилии Фогт, вырядившись в форму капитана, умудрился занять кёпеникскую ратушу и самым бесцеремонным образом натянуть нос государству.

— Ничего смешного тут нет,— сказал отец,— наоборот, это очень грустно, такие выходки подрывают авторитет государства! В иных случаях подобная история может принести гораздо больший вред, чем любая подстрекательская речь Бебеля в рейхстаге.

Однако, когда собралось трио, майор Боннэ стал на другую точку зрения; он всегда считал смехотворной прусскую выправку; по его мнению, баварцы были лучшими солдатами. Шутя, он предложил отцу послать кёпеникскому капитану поздравительную телеграмму.

— Прискорбно, в высшей степени прискорбно! — пожаловался потом маме отец.— Я просто отказываюсь понять майора! Говорить такие вещи в присутствии подростка... Уж если признанные носители государственного авторитета... Следует ли удивляться, что наши дети испорчены?

С этих пор трио собиралось уже не так регулярно. Отец не раз потом принимался просвещать меня насчет опасности, какую представляет для государства позорная проделка кёпеникского капитана, и рисовал передо мной страшные картины того государства будущего, к которому стремятся люди гартингерской породы.

— Тут не до шуток, отец, верно? — говорил я деланным голосом.— Ну что, например, если бы какой-нибудь преступник,

переодетый жандармом, арестовал тебя, а другой преступник, в судейской мантии...

— Тш! Тш! — Отец в ужасе закрыл мне рот рукой.— Даже думать о таких вещах не смей... Ты и представления не имеешь, как это опасно...

Отныне я сам себе казался опаснейшим субъектом, я придумывал самые невероятные переодевания; больше того, меня взяло сомнение, носит ли каждый человек свое настоящее платье. Теперь по моей прихоти люди менялись платьем, и я находил, что многим их новое платье гораздо больше к лицу; так, старика Гартингера я переодел кайзером, и в таком виде он у меня путешествовал по всему свету. Сидя за столом, я вдруг прыскал со смеху: вот старик Гартингер принимает парад и размахивает перед моим носом маршальским жезлом.

— Ну что это опять за шутовство? — раздражался отец, отрываясь от рулета.

— Ешь, ешь, не обращай на него внимания. Глупости все! Одни глупости! — Мама вздыхала и дергала меня за рукав: — Ступай в свою комнату и смейся там! Не порти отцу аппетит!

Величайшее благоговение, с каким я до сих пор относился к военному мундиру и погонам, уступило место легкой иронической усмешке, и даже игра в войну на некоторое время опротивела мне из-за «озорной проделки» сапожника Фогта.

Я очень удивился, когда однажды одновременно со звонком раздался свист и я увидел на улице Фека, который зашел за мной. Фек и Фрейшлаг тоже поступили в Вильгельмовскую гимназию. И вот мы шли в школу по новой дороге вместе с Феком, который жил за церковью святого Иосифа. Миновав Пинакотеку, мы поднимались по длинной Терезиенштрассе, пересекали Людвигштрассе, потом спускались по Фон-дер-Танштрассе и, перейдя Галериштрассе, сворачивали к гимназии.

Фек без конца приставал ко мне с расспросами, как я провел летние каникулы. О встрече с фрейлейн Клерхен я, конечно, не хотел ему говорить и поэтому выдумал неубедительную историю про какую-то крестьянскую девушку. Фек же гораздо убедительнее хвастал тем, как он танцевал в оберсдорфском курзале и хорошенькая американка назначила ему свидание в своей комнате. Я позавидовал Феку. «Куда ты суешься со своей волшебницей»,— презрительно подумал я, теперь мне казалось ребячеством предаваться мечтам о фрейлейн Клерхен.

Нам удалось устроиться так, что мы трое сидели рядом. Без всякого предварительного сговора мы с первого же часа стали осматриваться в поисках какого-нибудь Гартингера. Я дивился себе, как просто и естественно я опять вошел в компанию Фека и Фрейшлага. Не прошло и нескольких дней, как мы уже знали весь класс и среди лучших учеников наметили одного, который, как нам казалось, подходил для роли Гартингера.

Нам троим — миленькое трио, замечательный трилистник, а? — противостояла другая тройка: Нефф, Штребель и Левенштейн, все трое — лучшие ученики. Сдружившись, как и мы, еще в городской школе, они крепко держались друг друга. Мы окрестили их «книжными червями», так как они все время обменивались книгами и в первый же день затребовали себе каталог школьной библиотеки. Левенштейна мы прозвали «Еврейчик». Он был самым хилым из всей тройки и носил очки. Еще одну тройку образовали граф Мей, граф Спретти и барон фон Пфеттен. Эти держались особняком от всех остальных и отчаянно задирали нос. Фек своевременно помешал Фрейшлагу примкнуть к «зазнайкам», распространив сплетню, которая навеки посеяла вражду между Мейем и Фрейшлагом.

На меня была возложена задача подъехать к Еврейчику, чтобы выведать, не согласится ли он добровольно помогать нам готовить уроки. Я напросился проводить его домой и тут увидел, что он будет для нас далеко не такой легкой добычей, как Гартингер.

Отец Еврейчика был богатым банкиром; банкирская контора «Левенштейн и сын» помещалась на Променаденплаце. У Левенштейнов была вилла на Штарнбергском озере, в Тутцингене. По дороге Левенштейн рассказал мне о книгах и театральных постановках и очень был удивлен, когда оказалось, что ни об одной из названных им книг я даже не слышал. А в театре я был всего два раза: на «Фее кукол» и на «Вольном стрелке». Левенштейн мечтал стать адвокатом, ему хотелось защищать бедный люд. Нефф чувствовал призвание к поэзии, а Штребель решил стать оперным дирижером. Левенштейн рассказал также, что они часто совершают втроем экскурсии, варят себе еду под открытым небом и спят в палатках, хотя и не питают ни малейшего интереса к игре в солдаты. После этого разговора я пришел к выводу, что подчинить Левенштейна нашему влиянию — затея довольно безнадежная.

Феку вскоре удалось завербовать в нашу компанию нескольких учеников. Он созвал военный совет и доложил, что в

ближайшее время нам удастся опять сколотить шайку, а уж тогда мы покажем «этим», где раки зимуют.

И насчет учителей мы столковались довольно быстро. Профессор Зильверио никому не оказывал снисхождения и нисколько не покровительствовал отпрыскам «хороших семей», что сразу восстановило нас против него; его беспристрастие мы расценили как неслыханную наглость. Профессор Винтер проявлял особое внимание к обоим графам; это тоже возмущало нас: мы-то не входили в число привилегированных. Однако мы считали, что навлекать на себя неприязнь этих двух преподавателей невыгодно, поэтому решили отыграться на профессоре Вальдфогеле; это был пожилой, тщедушный человек, до того рассеянный, что он постоянно забывал на кафедре свою записную книжку и не замечал, как мы соскребали ножичком плохие отметки.

Так, очень скоро я опять оказался вовлеченным в самые гнусные проделки. Воспоминание о Гогеншвангау — миг счастья, взлет качелей — стало чем-то далеким и чужим и хранилось в памяти, как на страницах альбома, который изредка перелистываешь. Беседка счастья, где мы сидели с фрейлейн Клерхен, обратилась в каменный символ, точно надгробный памятник на Швабингском кладбище.

Не стало и Ксавера, в сторожке у конюшни поселился другой денщик. Его звали Зепп. Под вечер он шатался по саду со штуцером в руках и стрелял птиц, укрывавшихся в листве каштанов. Но что за трусливая рохля был этот Зепп! Он вытягивался во фронт даже в тех случаях, когда мимо него проходил отец. Даже передо мной он как будто становился во фронт, и это вечное стояние во фронт роняло его в моих глазах. Как-то я вздумал запретить ему стрелять птиц. Он немедленно отправил свой штуцер в угол. «Смирно!» — командовал я ему, и Зепп опускал руки по швам в ожидании моих дальнейших приказаний. Но меня не радовало его смирение, у меня даже пропала охота учиться у него верховой езде. Этот смиренник мечтал дослужиться до фельдфебеля, а потом «списаться» и перейти на гражданскую службу, стать каким-нибудь мелким чиновником, лучше всего — сборщиком податей. Лизль, кухарка обер-пострата Нейберта, разъяснила мне, что Зепп куда более приятный кавалер, чем Ксавер: Зепп солиднее, не пьет, не гуляет, и у него вполне серьезные намерения.

...Нет, смирный Зепп не годился в преемники Ксаверу!

Это Зепп виноват в том, что я забросил скрипку и вновь затосковал по гармони Ксавера. Я пожаловался родителям на нового учителя музыки, будто он часто приходит на урок нетрезвый, и убедил их — «сколько денег выброшено на ветер!» — не приглашать больше никаких учителей музыки...

Позднее мне как-то захотелось посмотреть, жива ли еще моя скрипка, и я открыл футляр: струны полопались и прорези по обеим сторонам кобылки глядели на меня, как скорбные вопросительные знаки. Я натянул новые струны, положил ни в чем не повинную скрипку обратно в футляр и ответил на ее немой вопрос:

— К тебе это вовсе не относится. Ты здесь совершенно ни при чем.

* * *

Глядя из окна вдаль, в Неведомое, я видел расположенный напротив нашего дома пансион Зуснер. Хотя он и был тут же под боком, я открыл его лишь после того, как мысленно пожил во всех других домах. Когда родители укладывались спать, я украдкой вставал, садился у открытого окна и старался проникнуть в жизнь пансиона Зуснер, окна которого кое-где еще были освещены.

Там, за занавесями, происходила призрачная игра теней. Тень сидела за столом,вот она встала, выросла до гигантских размеров, из-за занавеси показались мужчина и женщина, они высунулись из окна и оглядели улицу. Наконец он стал реальным, этот дух, показывавший там, за занавесями, свой театр теней, а через мгновение утратив реальность, снова скользнул в свой таинственный мир. Уныло вспыхнув, погасла лампа. Чернее ночи за окном была комнатная ночь, укрывшая спящих, как могила.

За одну неделю я перевидал в пансионе Зуснер так много людей и таких разных, словно читал увлекательный роман, хотя жизнь этих случайных персонажей проходила передо мной безмолвно и проявлялась только в движениях и жестах. Подбирать слова и мысли к беззвучным событиям было куда занимательнее, чем читать книги, в которых все сказано с полной ясностью и предопределено до конца...

Нагруженный множеством чемоданов, сплошь заклеенных пестрыми ярлыками, к пансиону подкатил экипаж, из него вышла нарядно одетая дама. Сама фрейлейн Зуснер, сухонькая старушка с лорнетом, встретила знатную гостью в дверях подъ-

езда. Я лихорадочно впился глазами в окна, стараясь угадать, в какой из комнат поселится новая гостья. Ну, конечно, в угловой с балконом, так я и думал. Наблюдая жизнь нарядной дамы в разные часы дня, я надеялся угадать ее судьбу и сплетал уже вокруг нее нити волнующих событий. Она сидела в комнате с балконом и ждала. Время от времени подходила к зеркалу, оправляла платье и приглаживала волосы, становилась у окна и смотрела в мою сторону. Но мне ни разу не удалось перехватить ее взгляд. Вот к дому подъехал еще один экипаж, из него выпрыгнул мужчина с бакенбардами и закрученными усами, похожий на парикмахера Виттиха, он занял одну из комнат поскромнее, налево, в первом этаже. Поручив горничной передать даме букет цветов, господин вскоре и сам проследовал в ее комнату, поздоровался, поцеловал ей руку, дама сдержанно наклонила голову, потом случилось что-то, от чего они стремительно бросились друг к другу, мужчина схватил даму за кисть руки, быстро опустилась штора и снова поднялась уже только под вечер, когда оба они, готовые к выходу, стояли посреди комнаты под ярко горевшей люстрой, пока горничная бегала на угол за экипажем. На следующее утро дама уехала, а в полдень явилась полиция и увела мужчину; в вечернем выпуске «Мюнхенских последних новостей» можно было прочесть о том, что в небезызвестном пансионе Зуснер задержан знаменитый международный аферист, за которым давно охотилась полиция.

Я не уставал слушать. Пансиону Зуснер было что порассказать. Шли толки, будто сама фрейлейн Зуснер баснословно богата. Лавочники, у которых она пользовалась симпатией,— пансион закупал у них много продуктов,— превозносили фрейлейн Зуснер: она, мол, бескорыстная сваха. Злые же языки утверждали, будто бы за приличную мзду «Гремучая жердь» не прочь посодействовать тайным свиданиям мужчин и женщин, не связанных брачными узами. Таким образом, пансион Зуснер был предметом постоянных пересудов и слухов; хозяйка его, по-видимому, считала эти сплетни выгодными для себя и даже сама их распространяла, посвящая в приключения своих постояльцев горничных, а те разносили их по всей округе...

И смерть не обходила этого дома, окруженного тайной и темными слухами.

Старая дева, фрейлейн Лаутензак, умерла. Она носила черные очки и ходила, опираясь на палочку. У «ведьмы» были со-

бачка и попугай, который кричал «Минна». Я хорошо представлял себе фрейлейн Лаутензак по своей тете Лине, тоже уже покойной. Тетя Лина выпрашивала у дяди Оскара сигарные окурки и раскладывала их у себя на камине, потому что от них так приятно «пахло мужчиной».

Покашливание, доносившееся временами из комнаты фрейлейн Лаутензак, превратилось однажды вечером в такой судорожный, всхлипывающий кашель, что вызвали врача. Почти вслед за врачом явился священник со святыми дарами. Попугай и собачка перекочевали в комнату фрейлейн Зуснер. В кресле, придвинутом к кровати, сидела сестра из Красного Креста, на столике горел ночник.

Я все смотрел и смотрел на это расставание с жизнью и не в силах был оторваться... Всхлипывающий кашель ни на секунду не прерывался. Равномерный всхлипывающий кашель, переходивший в неистовые судорожные приступы, приковал к себе все вокруг. Невыносимый шум производило это расставание с жизнью, и я с ужасом думал о том, какие страшные звуки способна извлечь смерть даже из такого хилого, дряхлого тела. Умирающую посадили в постели, обложили подушками, сестра поила ее микстурой. Я видел, как она глотала. Но вот всхлипывающий кашель сменился протяжным хрипением, голова больной упала на грудь. Я не мог постичь, как это все вокруг погружено в глубокий сон; никого, очевидно, не беспокоило, что здесь, среди стольких людей, так мучительно борется со смертью человек. Чем была для меня фрейлейн Лаутензак? Почему на этот раз я не находил в себе мужества сказать: «Какое мне дело до этой старой карги?» Люди ли мы, если оставляем друг друга в таком одиночестве?! Я мысленно плевался и все дежурил, дежурил подле умирающей, до самого рассвета.

Ведь это и моя смерть, понял я, когда поутру распахнулись окна. На улице стоял катафалк. Даже у меня наверху слышно было, как топали факельщики, спускаясь с гробом по лестнице.

Мне казалось, будто я опять присутствую при казни, и еще долго в ушах у меня звучало предсмертное хрипение.

Как-то перед пансионом Зуснер собралась большая толпа, через несколько минут с грохотом подъехала пожарная машина, за ней следовала карета Скорой помощи. Отравившаяся газом влюбленная парочка ускользнула из поля моего зрения и умерла беззвучно: она поселилась в одной из задних комнат, выходивших окнами во двор. Двое носилок, наглухо закрытых простынями, скрылись в карете Скорой помощи.

«Бесследно, бесследно,— шептал я,— бесследно исчезают люди, один за другим». Это бесследное исчезновение не давало мне покоя, я изумлялся, как могут живые так безразлично воспринимать исчезновение своих ближних, не думая о том, что придет день, когда и они так же бесследно исчезнут. Люди не оставляли после себя никакого следа, а мир почему-то не приходил от этого в волнение; некоторое время, правда, ушедшие еще появлялись в разговорах живых, о них мимоходом вспоминали, но наступал день, когда самая память о них стиралась навсегда.

В поисках утраченных следов я очень скоро, однако, сделал открытие, что всякая малость, даже самая незаметная — движение руки, кивок,— сохраняется в памяти самым странным и непостижимым образом. Все запечатлевается в нас и оставляет свои следы. Нет ничего, думал я, что оставалось бы без последствий. Одно порождает другое. Все растет и срастается. Вещи и те накладывают на нас свой отпечаток, а мы передаем эти оттиски все дальше и дальше. Пусть имя наше канет в безвестность, но мы достигаем бесконечности.

Фрейлейн Лаутензак, чувствовал я, сохранится во мне вместе с собачкой, попугаем и мучительным предсмертным кашлем, как сохранятся и тетины сигары, «пахнущие мужчиной». Скрытые под простынями лица влюбленной четы будут так же жить во мне, как и знаменитый аферист, и от нарядной дамы я никогда не смогу освободиться, не смогу вычеркнуть ее из памяти.

Но и «вечность» тоже, очевидно, никого не беспокоила,— все жили день за днем, как будто такая жизнь не влечет за собой никаких последствий. Так, разумеется, никогда не наступит новая жизнь,— она не наступит, пока каждый не попытается изжить в себе все плохое. Ибо каждый из нас ежечасно вторгается в жизнь другого, а тот принимает его в себя и передает все дальше, дальше; каждый непременно живет в другом, вечно, вечно живет в другом, живет действенно, и в том, что человек называет своей личной жизнью, тоже есть частица бесконечного...

Бок о бок с замечательными и постоянно сменяющимися персонажами, с которыми сталкиваешься то в темном коридоре, то на лестнице, с которыми вступаешь в таинственное общение через звуки и голоса, просачивающиеся сквозь стены и бурлящие вокруг тебя, словно в каком-то оторванном от мира уголке земли, жил я в пансионе Зуснер, невидимый для его обитателей.

Я, «человек из общества», поигрывая тросточкой и попыхивая сигаретой, сворачивал с Луизенштрассе на Гесстрассе и нажимал кнопку звонка, под которым золотыми буквами на мраморной доске значилось:

ПАНСИОН ЗУСНЕР

XXVII

Благодаря одному непредвиденному происшествию я выбыл из состава тройки.

Это началось на искусственном катке, на Галериштрассе. Феку удалось наконец познакомиться там с Дузель. Она уже не раз привлекала наше внимание, когда в сопровождении подруги и борзой прогуливалась взад и вперед мимо гимназии. Дузель жила в Нимфенбурге, в замке своего дяди, барона фон Редвиц, ее лишь недавно выпустили из психиатрической лечебницы. Она пыталась проткнуть себе сердце длинной шляпной булавкой, какие были тогда в моде. Говорили также, что она сбрила себе волосы и носит парик. Дузель было не больше шестнадцати лет, и она густо, добела пудрилась.

Знакомство это стоило Феку, как он признался мне с отчаянием в голосе, «целого состояния». Ему приходилось «выкладывать» за Дузель и ее подругу стоимость входных билетов на каток; за собаку, которую оставляли в гардеробной, он платил особо; на катке был буфет, и обе девушки каждый раз обнаруживали прямо-таки волчий аппетит, который Фек, как истый рыцарь, вынужден был удовлетворять из своего кармана. После катка подруги испытывали непреодолимую потребность посмотреть «Панораму Нейгаузера», за этим следовало: «Давайте на минуточку заглянем в кафе «Штахус», где, как назло, всегда оказывался уютный свободный столик и где за счет Фека съедалось немало кусков торта. Потом девушки вздыхали: «Ах, мы сегодня опять забыли дома портмоне», так что даже мелочь на трамвай до Нимфенбурга и ту приходилось выкладывать Феку.

Такие дорогостоящие свидания Фек позволял себе дважды в неделю, по средам и субботам, а одна воскресная загородная прогулка с обеими девушками, горько жаловался он, его вконец разорила.

Он не может расстаться с Дузель, уверял он пылко и благородно, он должен спасти ее. Мне было не совсем ясно, в чем будет заключаться это спасение, и Фек пространно объяснил мне, что он оказывает благотворное влияние на психику Дузель.

Это не помешало ему как бы невзначай заметить, что если на сей раз я его выручу, то в один из ближайших вечеров он захватит меня с собой в Английский парк к водопаду, где ему известна одна необычайно уединенная скамейка...

— Ты просто обязан помочь мне! Окажись ты в моем положении, разве я хоть секунду колебался бы?! Никогда, никогда, никогда я не допустил бы, чтобы мой друг, может быть по моей вине, прямо с Гроссгесселоэского моста... Нет, ты не покинешь меня в беде!

Он умоляюще таращил на меня глаза, глотал слюну и дергал меня за рукав.

Мне наконец стало ясно, куда гнет Фек, но я прикинулся дурачком, желая его помучить.

— Ты, что же, хочешь, чтобы я отбил у тебя Дузель?

Он облизнул уголки рта, еще сильнее дернул меня за рукав и затанцевал передо мной на цыпочках.

— Об этом и не мечтай, куда тебе! Дело в том, что у тебя есть бабушка!

«Танцуй, танцуй,— думал я,— стану я для тебя воровать, как бы не так!»

— У тебя тоже есть и бабушка и мать, у каждого из нас, в конце концов, куча родни.

Он схватил меня за плечи и тряхнул что есть силы.

— Значит, ты никогда серьезно не относился к нашей дружбе! Предатель! Ну, а что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что заложил обручальное кольцо матери в ломбарде на Амалиенштрассе и что завтра я должен его во что бы то ни стало выкупить, иначе... Теперь тебе ясно, да?.,

— К сожалению, бабушка вчера уехала,— солгал я.

Фек изобразил передо мной танец отчаяния, он кружился, бил себя кулаками в грудь и кричал:

— Неблагодарный! Скотина ты! Зверь, чудовище! Никогда не думал, что ты такой трус!

«Трус»,— я на лету подхватил это слово.— Погоди ты у меня, я тебе докажу, что я не трус». Я сжал кулак, но кулак тотчас же раскрылся, и неожиданно для себя я положил руку ему на плечо:

— Мы еще посмотрим, кто из нас трус!

Фек стал гладить меня по рукаву.

— Кстати, скоро и осенняя ярмарка, тебе самому понадобятся деньги, ты разве не слышал, что в этом году ожидается множество аттракционов, а тогдашняя твоя история с золотым была так давно, что ни одна душа о ней больше не помнит.

Фек взял меня под руку.

— Одним разом больше или меньше — это уже не имеет значения. Ты сам рассказывал, что в шкафчике у нее целая куча десятимарковых золотых. Куда ей, старухе, такая уйма денег? И деньги-то я верну непременно, даю слово, и, значит, тебе не придется больше таскать у нее.

— Но «труса» ты возьмешь обратно! — воскликнул я в бешенстве и толкнул его.

— Ну, брось,— шепотом успокаивал меня Фек,— я пошутил.

Я сдался, хотя бы для того, чтобы освободиться от Фека, который с какой-то очень неприятной пылкостью прижимался ко мне; и я даже был рад его просьбе.

Он прав, я действительно чуть не позабыл про осеннюю ярмарку.

Бабушка варила шоколад. Старомодный шкафчик стоял покрытый кружевной салфеточкой. Как сверкающая дароносица в алтаре, манило к себе его содержимое.

Шкафчик рассказывал о золотоискателях. Золотом пылает солнце, даже в воздухе есть золото. Люди делали себе богов из золота, еще и поныне человечество молится на золото. У святых золотые венчики. Поезда, нашептывал мне шкафчик, перевозят золотые слитки, корабли с золотым грузом бороздят моря. Деньги — серебро, медяки, бумажки— то же золото. Американские горки, лодки-качели — все рождено золотом и стремится вновь стать золотом...

Чуть приоткрыв дверь, я прислушался к тому, как бабушка хозяйничает в кухне, потом выдвинул ящик и с опаской сунул в карман два золотых. Усевшись в кресло-качалку, я взял альбом «Города и ландшафты Германии» и закрылся им. Покачиваясь в кресле, я на миг оторвался от картинок, в сумраке елового леса передо мной мелькнул образ фрейлейн Клерхен, я заколебался — не положить ли золотые обратно в шкафчик? Но тут в комнату вошла бабушка, неся душистый шоколад.

Мне почудилось, что шкафчик рассказал бабушке о воровстве, потому что лицо ее приняло озабоченное, огорченное выражение и она несколько раз оглянулась на шкафчик. Выпив шоколад, я еще с час сидел и слушал клопштоковскую «Мес-

сиаду», которую бабушка читала мне вслух. Как и в тот раз, рука моя сама собой погружалась в карман, мне хотелось ощущать золотые под пальцами, а в то же время какая-то сила толкала меня выложить украденное сокровище на стол перед бабушкой. Ее комната представилась мне святилищем, где среди прекрасных картин проходила бабушкина жизнь.

Что-то дергало меня за рукав... «Я не трус»,— отвечал я на это дерганье.

Бабушка села за пианино, звуки музыки проникали мне в самое сердце... Гартингера я заставлял ртом ловить пфенниги, а этому... этому сразу целый золотой... Да, черт возьми, как же так?.. Ты совсем запутался... Все, все, что угодно,— только не трус.

Когда я собрался уходить, бабушка вынула из кошелька пятьдесят пфеннигов, я смущенно отказывался, тогда она сунула мне деньги в карман, и монета тихо звякнула, ударившись о золотые.

Я кубарем скатился с лестницы, я хотел скорее скрыться от бабушки в дождь, в ливень, который только что зашумел на улице, я рад был промокнуть до костей, точно дождевые потоки могли смыть с меня всю муть. Еще можно положить обратно в шкафчик украденные деньги; погулять часок, а потом под каким-нибудь предлогом опять зайти к бабушке. Бабушка возится по хозяйству в кухне...

Но тут меня дернули за рукав, и я сказал, вздрогнув, как от удара:

— Ты что, бегаешь за мной по пятам и шпионишь? Мне жандармы не нужны.

Фек сразу заюлил:

— Что ты! Что ты! У меня этого и в мыслях не было! Я просто хотел тебя выручить, чтобы тебе не пришлось носить в кармане такую крупную сумму. Я ведь знал, что ты не трус... Радуйся, чудак! Ты наш брат. Ты — наш.

— Нет у меня ничего, шкафчик оказался запертым, а ключа нигде не было.

Фек сладенько улыбнулся, глядя на мою опущенную в карман руку.

— Шутишь, палач!

Это подействовало на меня, как заклинание. Я уже давно не слышал своей клички; Фек и Фрейшлаг, единственные в классе, знали о ней, и от них зависело разгласить ее или не разгласить.

Только не трус...

Фек потащил меня за рукав в подворотню, чтобы укрыться от дождя.

— На... на... на...— Мне хотелось заставить Фека ртом поймать золотой, но я сам судорожно разинул рот, я давился словом «палач». Неожиданно для себя я сунул ему в руку золотой, и Фек тотчас же рассыпался в благодарностях:

— А что касается «палача», то это, конечно, останется между нами, я и Фрейшлагу скажу. Кому какое дело до твоей клички, это наша тайна...

— Я тебе не лакей,— вырвалось у меня.

— Не горячись! — Фек сжал в кулаке золотой.— Такие, как ты...

Расстроенный шел я домой под проливным дождем и не заметил, что отец стоит на балконе и караулит меня. Даже когда поджидавшая меня в передней мама бросила мне: «Марш в столовую!», я все еще был целиком поглощен воспоминанием о «палаче» и до бешенства негодовал на себя за то, что так легко поддался на уговоры Фека. Я не сомневался, что он будет меня шантажировать, пользуясь историей с моей кличкой, и в конце концов разгласит ее.

Только не палач. Только не трус. Мне это стоило недешево... Такие, как я...

Лишь когда я увидел бабушку рядом с отцом у письменного стола и когда мама закрыла дверь в гостиную, я понял, что предстоит нечто ужасное.

Отец повернулся в своем кресле, протер пенсне и испытующе уставился на меня. Все словно намеревались просверлить меня глазами. Вдруг бабушка зарыдала, и отец с матерью принялись хлопотать вокруг нее, а я, тотчас же сделав вид, что сморкаюсь, ухитрился сунуть в рот оставшуюся монету. Золотой был уже у меня во рту, когда отец принялся обыскивать мои карманы. Я боялся проглотить монету и прикусил ее зубами.

— Сейчас же верни украденные деньги!

Я только и мог что помотать головой, монета мешала мне говорить.

— Держу пари, что тут опять замешана какая-нибудь юбка!..— После безуспешного обыска отец ретировался в свое кресло.

— Наглая тварь! — как эхо, откликнулась мама, а отец скомандовал:

— Говори! Кто эта баба?

Золотой чуть было не выскочил у меня изо рта, и я лязгнул зубами, чтобы его удержать, совсем как когда-то Гартингер.

— Что ты скрежещешь зубами? Что ты жуешь? Говори правду! Виданное ли дело? Ну и мерзавец! Какой бес вселился в него! Какой только бес в него вселился!

Отец тряс меня, точно хотел вытрясти монету. Потом закатил мне такую пощечину, что я упал на колени и выплюнул золотой на ковер, прямо бабушке под ноги.

Я держался стойко и не выдал Фека, так что родители остались при убеждении, что во всем виновата какая-то подлая баба, которой я отдал вторую монету. Исходя из этого, они придумали мне наказание.

Через Христину мне стало известно, что меня решили отдать в исправительное заведение, что отец уже написал в несколько таких мест и со дня на день ждет ответа. Отец побывал и в гимназии, советовался там с инспектором и с учителем Зильверио, в результате меня изолировали от всего класса и посадили на отдельную скамью в самом последнем ряду.

Фек расхваливал меня Фрейшлагу:

— Вот видишь, я всегда говорил, он не трус... наш палач.

— Негодяй! — Я ткнул его в живот.

— Плевать мне на тебя,— издевался Фек,— ты у меня вот где,— он побренчал кучкой монет в кармане,— ты у меня в кармане...

На перемене ко мне подошел Левенштейн.

— Если тебе что-нибудь понадобится... Брось ты, наконец, этого Фека.

На следующий день поезд увез нас в Эттинген, неподалеку от Нердлингена. Отец сам сдал меня в интернат святого Иоанна «как упрямого и неисправимого субъекта сперва на год, а там видно будет».

XXVIII

Перед отъездом отец задержался в кабинете директора, а тем временем один из старших воспитанников, крепко пожавший мне руку и представившийся: «Я Пауль Зигер», показал мне столовую и мастерскую, осведомил насчет внутреннего распорядка и, кивнув на стрельчатые окна и увитый плющом колодец с распятием, разъяснил, что в этом старом здании когда-

то помещался монастырь. В мастерской стояла фисгармония, на которой играли во время утренней и вечерней молитвы.

Интернат святого Иоанна был рассчитан на шесть классов гимназии, дававших льготу: право на одногодичную службу в армии.

Меня позвали в кабинет директора попрощаться с отцом. Директор сказал:

— Ну, вот, я уже все знаю о тебе; ничего, толк будет, мы здесь обходимся без порки.

Отец, по-видимому, был вполне удовлетворен результатами беседы и тем, как он удачно устроил меня: прощаясь, он рассыпался перед директором в комплиментах:

— Гм-да, просто поразительно, каких вы достигли успехов. И кто бы подумал,— без порки! Об этом следовало бы написать в газетах.

По лицу директора Ферча никогда нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Густые светло-рыжие усы скрывали всякое движение губ. Крохотные колючие глазки всегда блестели. Взгляд, обращенный на директора, невольно задерживался на его усах, которые этот воспитатель так благодушно поглаживал, точно хотел приковать к ним внимание наблюдателя, и поглаживавшая их рука была маленькая и высохшая.

День размечали звонки. Весь день раздавались звонки. В шесть утра звонок: «Подъем!» В половине седьмого: «На молитву и утреннюю работу!» В половине восьмого: «Завтракать!» Без четверти восемь: «Сбор во дворе и поход в гимназию». В гимназии звонок надрывался без конца. В половине первого звонок: «На обед». В четверть второго: «Все отдыхают». Без четверти два: «Сбор во дворе и поход в гимназию на послеобеденные занятия». И так до девяти вечера, когда раздавался последний звонок: «Спать!»

Звонки звенели по всему интернату, в старом здании они перекликались на разные лады. Под высокими сводами они гудели, как тревожный набат; в других местах завывали, всхлипывали, рассыпались трелью; звонки, звонки повсюду, от звона некуда было бежать, тихих, укромных мест не существовало, в уборной звонок визжал, как нож на точильном камне. Стоило заткнуть уши, как звон проникал в рот и нос, грохотом отдавался в голове, неистово барабанил по черепу. Звон не смолкал и во сне. День с его звонками проходил сквозь ночь.

Младшие классы были подчинены старшим. Младшие воспитанники обязаны были чистить сапоги старшим, содержать в порядке их шкафы и выполнять всевозможные поручения. Об отказе не могло быть и речи. Кто не подчинялся, тот попадал в разряд «штрафных» и объявлялся вне закона. При встрече со штрафным каждый обязан был его толкнуть, плюнуть в него. Не оставляли в покое его и ночью. Его, объявленного вне закона, стаскивали с койки и обливали содержимым ночных горшков. Право объявлять воспитанников штрафными принадлежало шестому классу, в штрафных пребывали иногда по нескольку дней.

Шестиклассник Пауль Зигер, с первой минуты принявший во мне участие, стал моим патроном. Он не давал меня в обиду воспитанникам других классов. Каждый младший воспитанник старался обзавестись таким «святым патроном». Я обязан был обслуживать только своего патрона. Все звали его «Мопс». Он весь был кругленький, с добрыми, мечтательными глазами. Постепенно я привязался к Мопсу, и он проявлял ко мне неизменную доброту и сердечность, хотя я изводил его как мог: клал ему щетку в постель, привязывал за куртку к парте, насыпал ему в карманы песок. Мопс приходил в ярость, и это давало мне повод обнимать его и вымаливать прощение. Я даже обнаружил в нем отдаленное сходство с фрейлейн Клерхен,— у него тоже был грудной, задушевный голос, особенно когда он рассказывал о своих домашних и об Охотничьем домике где-то в необъятных нердлингенских лесах, принадлежавших князю фон Эттингену. Меня привлекало в Мопсе и то, что он вырос в лесу. Я да еще мальчик по прозвищу «Кадет» были единственными горожанами в школе. Много было детей священников и учителей, некоторые получали стипендию, и только двое — Кадет и я — были препоручены особому попечению директора Ферча.

Пусть звонки надрывались во всех углах; зато здесь, в Эттингене, в интернате святого Иоанна, можно было среди бела дня увидеть звезды. Открытие это сделал воспитанник интерната, пожелавший остаться неизвестным. Изобретатель пользовался самыми простыми средствами. Ему пророчили будущность великого астронома. Нет, наукой о звездах я никогда не занимался, вынужден был я признаться, но некоторые созвездия отец мне показывал. Когда я долго смотрел в высокое необозримое небо, усеянное звездами, мне всякий раз станови-



«Прощание»

лось страшно, что я вдруг отделюсь от земли и стремглав взлечу вверх, в бездонное мерцающее безмолвие. Слишком уж огромна была эта бесконечность. Иногда я решался помериться силой со звездами. По тому, как человек переносит вид звездного купола, думал я, можно судить, насколько он вырос. Но вечность неизменно поглощала меня,— так мал я был. Между тем я знал людей, которые совершенно спокойно смотрели на звездное небо, точно мерцающий свод был делом их рук; они показывали пальцем то туда, то сюда, все объясняли и каждой блестящей точке давали благозвучное имя. Значит, приходил я к выводу, этим людям вечность по плечу. И вот здесь, в интернате святого Иоанна, в Эттингене, воспитанник интерната сделал открытие, которое позволяет среди бела дня любоваться чудом звездного мира. Новый прибор просвечивает насквозь самую густую тучу. Прибор уже послали в Мюнхен — сам директор Ферч об этом позаботился,— чтобы взять на него патент. Да и газеты уже раструбили о нем... Всю первую половину дня я гадал, кто этот счастливец, в недалеком будущем — изобретатель с мировой славой. Вскоре я уже в каждом воспитаннике видел того, кто сделал столь великое открытие, и все воспитанники, только потому, что среди них жил гений, поднялись в моих глазах на необычайную высоту. После обеда пошел небольшой дождь, но меня утешили, что дождь не помешает увидеть звезды.

— Кто хочет видеть звездное небо? Начинается! Начинается! — кричали ребята и вместе со мной торопливо бежали во двор.

Моя очередь была последней. Передо мной еще двое удостоились счастья увидеть чудесное небо. Для этого надо было снять куртку и сесть на стул. В рукав куртки вставлялась трубка.

— Видишь?

— Да, вижу,— пробормотал первый счастливец из-под куртки и назвал несколько созвездий.

— Вижу каналы на Марсе! — голосом, дрожавшим от восхищения, воскликнул совершенно потрясенный второй наблюдатель.— А вот и марсиане, ясно вижу, они стоят у каналов и что-то роют... Нет, подумать только... Полуангелы-полудраконы... Вот они прыгнули в море, страшные чудовища...

— Это трубка особого свойства, хоть она и похожа на обыкновенное ламповое стекло,— разъяснил мне один из старшеклассников и добавил: — Ну вот твоя очередь! — Я старался

не выказывать своего нетерпения и благоговейно уселся на стул. Куртку я снял и почти торжественно отдал какому-то мальчику.

— Садись поудобнее, вытяни ноги, голову запрокинь, больше, больше, представь себе, что тебя бреют, что ты в парикмахерском кресле, так, так, теперь ты смотришь прямо в небо.— «Может быть, я услышу нежное «дзинь», когда покажутся созвездия»,— мечтал я.— Рот открой, как у зубного врача.— И я открыл рот, как у зубного врача. «Это, наверное, для того,— подумал я,— чтобы удобнее было удивляться...» — Сейчас, сейчас... Минутку... Ну, видишь что-нибудь?

Хоть я и ничего не видел — в отверстие трубки просачивался унылый серый свет, но, если первые двое видели, мог ли я не видеть, ведь ничего не увидеть было бы стыдно, это огорчило бы изобретателя и остальные лишились бы удовольствия, а мне хотелось всем доставить удовольствие, поэтому я ответил из-под темного рукава:

— Вот, кажется, вот... Подождите, подождите, я сейчас... Да, вижу... вижу... Канал! Канал! — Увы! никакое звездное небо не раскрылось передо мной, и я боялся, что сейчас опрокинусь навзничь вместе со стулом, трубка давила на голову все сильнее.

— А марсиан видишь?

Увы, и нежного «дзинь» не было!

— Да, в самом деле, вижу каких-то... полуангелы, полудраконы... Они как раз вышли из моря...— Я готов был увидеть всю вселенную, только бы встать со стула... «Проклятая затея»,— ругался я про себя.— Еще я вижу комету, она несется на землю...— кричал я в отчаянии.

— Что предсказывают звезды? Читай!

Полулежа на стуле, я не мог сразу вскочить, да и ноги мои кто-то крепко держал, а через трубку лилась вонючая жижа, она попала мне в открытый рот. Я сорвал с головы куртку, все танцевали, хлопали в ладоши и кривлялись. Я стоял в центре, облитый вонючей жижей. Вокруг меня с воплями прыгали мои мучители, и вдруг я почувствовал у себя на лице, под грязью, улыбку: я улыбался, как улыбался в тот раз Францль... Пусть бы он меня увидел сейчас, мой Францль, быть может, что-нибудь и простилось бы мне... Разве меня, лежавшего на особом эшафоте, не подвергли казни ко всеобщему удовольствию, и разве не за то меня казнили, что когда-то Францля высекли вместо меня, не за то, что мы так гнусно пытали его в садоводстве Бухнера? Мои плевки и плевки остальных мучи-

телей превратились, наверное, в эту жижу, в эту вонючую жижу. Я закрыл лицо руками,— нет, таким мужеством, как Францль, я не обладал, я не мог открыто нести свое лицо, липкое от грязи!

— Вот тебе твои каналы, эй ты, марсианин... Ну и враль, как он всех нас обманул... А ну, скажи-ка, что предсказывают звезды, ха-ха-ха...— визжали кругом, кто-то высоко поднял помойное ведро и торжественно помахивал им, но Мопс поспешил мне на выручку, и мы пробились с ним к колодцу... От меня еще долго несло зловонной жижей. Это был один из «искусов», которым подвергался каждый новичок.

— Вполне безобидное дело,— утешал меня Мопс, оправдываясь, что он не мог помешать мальчикам,— таков уж обычай. Игра на рояле с завязанными глазами — на «чудо-рояле» — куда хуже: из-под ног испытуемого внезапно исчезает пол, и он проваливается в выгребную яму.

Нет, нет, я и слышать больше ничего не хотел о звездах... Жижа, жижа...

В этом заведении обходились без порки. Директор Ферч был противником телесных наказаний.

По воскресеньям, в восемь утра, за час до того как отправляться в церковь, происходил осмотр шкафов.

Директор Ферч осматривал ряды шкафов.

Я уже слышал о системе «подтягивания» — особом изобретении директора Ферча, которое с успехом заменяло телесное наказание, но даже Мопс не хотел посвятить меня в его тайну.

В моем шкафу носки топорщились беспорядочной грудой. Одна рубашка измялась и свернулась бесформенным комком.

Директор Ферч то смотрел на меня, то заглядывал в шкаф, я следовал глазами за его взглядом в самую глубь шкафа, потом быстро переводил взгляд вверх, на усы, участвовавшие во всей этой процедуре, и, наконец, потупился. Можно было подумать, что директор Ферч тянет мои глаза за ниточку, куда ему заблагорассудится.

— Гм! — Это прозвучало не то как смешок, не то как угроза.

— Гм! — повторил директор, и это вышло так комично, что я чуть не прыснул.

— Очень смешно, а?.. Ну-ка, марш ко мне в кабинет!

Он повел меня сквозь ряды стоявших навытяжку воспитанников.

— Гм! Ну-ка, давай, без лишних слов, объяснимся начистоту. Кто ты, собственно, такой, а? Что там у тебя было с этой бабенкой в Гогеншвангау? Ну-ка, выкладывай, и без всякой утайки, меня нечего стесняться, гм!

Глаза его искрились, как у кошки в темноте, он ходил взад и вперед по кабинету, пощипывал усы и задумчиво поглядывал на свою маленькую изувеченную руку, несколько раз останавливался у окна и, наконец, круто повернувшись, подошел ко мне вплотную.

— Так что ты там делал с этой девкой, гм?!

— Вы хотите сказать с фрейлейн Клерхен?

— Я хочу сказать с этой тварью, да... Россказни о том, что вы вместе читали и смотрели друг на друга, можешь оставить при себе.

— Мы читали, фрейлейн Клерхен и я, и смотрели друг на друга.

— Гм! Гм!

Двумя пальцами изувеченной руки он захватил несколько прядей волос над самым моим ухом, обвил их вокруг пальцев и стал тихонько дергать.

— Ну вот, теперь мы помаленьку спустим с тебя шкуру... Лазил ты ей под юбку, говори — да или нет?

— Ай! — крикнул я и тут же: — Нет, конечно, нет!

Он продолжал дергать меня за волосы, пока мне не стало казаться, что подо мной колеблется пол и что у меня содрана половина лица.

— Лазил ты ей под юбку?.. Гм...

— Да, да, конечно, господин директор, лазил...

«Я прятался в складках ее юбки вместе с тухманскими малышами»,— собирался я прохныкать, но тут он отпустил меня на мгновение, и я уж добровольно подставил ему голову с другой стороны.

— Ну, а дальше что, гм... Ну, а дальше?

Опять приступ режущей боли, еще острее прежнего... Я даже заплясал на носках.

— Гм! Ну и что же, удалось тебе забраться под юбку?

— Конечно, господин директор, удалось, ай, больно... Конечно...

— А куда ты девал золотой? Гм!

Я не знал, что он хотел от меня, и взмолился:

— Скажите сами, господин директор, куда я девал золотой... Ведь вы это знаете, господин директор, и все, что вы скажете, сущая правда, господин директор. Я готов во всем признаться, господин директор!

Вздернутый за волосы, я беспрерывно приплясывал вокруг него.

— Ты безобразничал с девкой. Вместе с ней промотал десять марок, слышишь, гм!

— Да, да, господин директор, так оно и было! Истинная правда, в самом деле так, конечно, так.

Я снова твердо стоял на полу. С улицы доносился колокольный звон.

— Гм! В следующий раз ты мне сам все расскажешь связно и подробно. Гм! На сегодня хватит. Гм! Марш! Приготовься идти в церковь! Гм!

Звонок надрывался.

Когда, построившись парами, мы, в наших черных картузах, с директором Ферчем и экономкой, замыкавшими шествие, маршировали по булыжной мостовой в храм божий, я заметил у некоторых воспитанников, шедших впереди, странные кровоподтеки под волосами, как раз у самых ушей. Пригибая голову то к левому, то к правому плечу, я косился куда-то вверх, уши мои словно ссохлись от боли и ушли в затылок, а вокруг висков начала набухать опухоль.

Пока священник читал проповедь и органная буря сотрясала своды, я думал о Гартингере, вспоминал, как он мужественно держался, когда мы устроили ему допрос. До чего же трусливо и недостойно вел я себя, ведь это и по отношению к фрейлейн Клерхен было подлостью, предательством.

«Трус,— ругал я себя.— Зато в следующий раз,— хорохорился я,— выдержу испытание...»

Обо всем этом я рассказал Мопсу, и Кадет, который подошел к нам, предложил выдумать сообща какую-нибудь совершенно несусветную чепуху про некую распутную женщину, тогда Ферч сразу успокоится.

— Как жаль,— сказал он и ущипнул меня,— что этого не было на самом деле, а? Вот бы нам, а?.. Теперь мы, по крайней мере, знаем, что нам делать... гм! Надо будет наверстать... гм!

Мопс счел это предложение греховным и посоветовал мне обратиться к богу. Стоит только усердно помолиться, и бог обязательно ниспошлет мне свою помощь.

Утром и вечером, когда мы молились под звуки фисгармонии, я громко пел, широко разевая рот, и поглядывал на Мопса, а тот кивал мне, точно обращался к богу как раз по моему делу.

Широко разевая рты, мы возносили к богу наши песнопения.

Бог был неопределенностью, великой загадкой, овеянной неким расплывчатым чувством. Бог был тем грозным началом, чья сущность оставалась темной, он был гневом, перед которым бессильно всякое мужество, но он был и норой, куда можно было уползти от отца, он был горним прибежищем, к которому устремлялся взгляд, когда директор Ферч до крови дергал за волосы. Бог являлся в виде певучего, грудного голоса и стоял на мольберте в нашей гостиной, окутанный светло-зеленым облаком. Бог был желанным «ты», когда не знаешь, к кому обратиться, кому сказать «ты».

XXIX

Только я решил положиться на волю божию, как меня вызвали к директору Ферчу. Едва переступив порог кабинета, я сразу начал нести несусветную чепуху про некую распутную женщину, и директор на этот раз не стал прибегать к «подтягиванию». Кадет успел основательно просветить меня, поведав вещи, мимо которых я до тех пор проходил в безмятежном неведении. Так как я знал о них только понаслышке, то излагал все эти гадости без всякого стеснения, связно и подробно, как того хотелось директору Ферчу, пересказывая все, чему научил меня Кадет. Ферч удовлетворенно поглаживал усы... Из-за рыжеватых зарослей до меня непрерывно доносилось благосклонное «гм-гм-гм-гм», и даже руку свою, эту маленькую изувеченную руку, он положил мне на плечо и сказал, что вот как хорошо: за каких-нибудь несколько дней моего пребывания в интернате ему удалось сделать из меня правдивого человека, не прибегая к ненавистной системе порки.

Горе тому, кому приходилось иметь дело с этой рукой, с этой маленькой изувеченной рукой! Опять у меня было впечатление, как в тот раз, когда я увидел перед собой на столе руку отца, что рука директора — это какое-то самостоятельное суще-

ство, единственное назначение которого поглаживать усы и «подтягивать» воспитанников. Весь директор, стоило мне мысленно представить его себе, воплощался в этой маленькой иссохшей руке. Казалось, голова, туловище, ноги только тянулись за ней; директор Ферч, верно, и сам трепетал перед ней, как бы она ему чего-нибудь не сделала... Гм...

Но этот воспитатель умел и завоевать наши сердца. Стоило ему приказать нам собраться во дворе и построиться по четыре в ряд, как он целиком завладевал нами. Под команду «шагом марш!» и с пением «Стражи на Рейне», класс за классом, точно рота за ротой, с палками «на плечо» шествовали мы во главе с директором Ферчем через весь Эттинген на свое учебное поле. Когда мы слышали, как гулко отдается топот наших шагов в узких улочках и как мощно вздымается наша песня к старинным стрельчатым крышам, когда мы видели, как прохожие останавливаются, нередко даже снимают шляпы и подхватывают песню, а из раскрытых окон люди смотрят нам вслед и перекликаются: «Интернат святого Иоанна идет!» — директор Ферч превращался для нас в полководца, и мы были преисполнены гордости от сознания, что он ведет наше воинство, осененный невидимым знаменем, и готовы были жизнь положить, если бы потребовалось, но исполнить его волю. Маршировка, команды «ложись!» и «перебежками, марш!» были для нас после постылого школьного дня золотыми часами свободы. Здесь энергия наша находила выход, здесь мы могли развернуться и показать силу, ловкость.

Делегация, составленная из воспитанников разных классов, отправилась к директору Ферчу ходатайствовать об устройстве военных игр. Директор Ферч не только согласился, но даже пообещал приобрести за счет интерната необходимые карты местности. Нас охватил такой военный азарт, что у ворот пансиона мы поставили караул, ежечасно сменявшийся по всем правилам воинского устава. Воспитанники младших классов обязаны были отдавать честь старшим, а обращаясь к ним, становиться во фронт.

Первая военная игра была проведена в воскресенье и началась ровно в восемь утра, так что даже посещение церкви было отменено. Раздав всем карты, нас разделили на две воюющие армии, отличавшиеся друг от друга синими и красными нарукавными повязками. «Синие» выступили на два часа раньше, чтобы занять свои позиции на лесистой, пересеченной местно-

сти. Мопс принадлежал к «синим». Кадет и я входили в состав «красных», которые вели наступление.

Через два часа нас с Кадетом послали в разведку, мы изображали «верховых» и пустились вперед рысью, а за нами сомкнутыми рядами двинулась пехота.

«Спешились» под откосом, и тут пошло: мы то ползали на животе, то выглядывали из-за прикрытия, и так как у нас был полевой бинокль, то нам вскоре удалось определить местонахождение передовых позиций противника, расположенных на лесной опушке.

И снова то же упоительное чувство — сознавать себя частицей организованного целого и подчиняться единому руководству: чувство это преображало слепое подчинение приказу в некий добровольный акт.

Вот начался трудный обходный маневр: нам пришлось пересечь болото и вброд форсировать ручей. К концу дня «противник» был наконец окружен. Попытка прорваться ни к чему не привела: после короткого сопротивления «синие» сложили оружие.

При попытке «синих» прорваться Мопс бросился на меня с занесенной саблей, а я ударом снизу со всего размаху «всадил ему штык в живот» и настолько вошел в роль, что уже всерьез видел в Мопсе злейшего врага. Прошло немало времени, прежде чем я забыл этот военный эпизод, и только после долгих уговоров Мопсу удалось наконец убедить меня помириться с ним.

Игра в войну надолго завладела нашим воображением. Я жалел, что Фек и Фрейшлаг не видят этих военных игр, что я не могу хотя бы рассказать им о своих неповторимых, изумительных переживаниях. Дома, реки, холмы и леса мы воспринимали теперь только как объекты нападения или защиты. Мы возводили укрепления, оценивали дистанцию. Груды хлама и кустарник на школьном дворе служили нам для устройства засад, и каждый из нас охотно давал разок «убить» себя из засады. Мы выставили на нашем дворе дальнобойные орудия; взмахнув саблей, я, командир батареи, командовал: «Наводи!», и мы принимались обстреливать Нердлинген: вот и «Верзила Яков», самая высокая колокольня нердлингенского собора, зашатался от угодившего в купол снаряда; к небу взметнулся зловещий столб дыма — и перед нами уже только груды тлеющих развалин...

— Рад стараться! — рявкал я, счастливый, и щелкал каблуками. Наконец-то я знал, куда девать руки, которые всегда болтались как ненужные и которыми я всегда смущенно поиг-

рывал: руки надо было держать по швам. А ноги при маршировке я вскидывал чуть не до плеч.

Если до сих пор я писал родителям из-под палки и только по воскресеньям, то теперь я охотно принялся за письмо среди недели. Я подробно описал свои военные впечатления и заявил, что непременно хочу определиться в армию. Это письмо разминулось с письмом из дому, где отец извещал меня, что рождественские праздники мне придется провести в интернате: мои «похождения» исключают возможность скорой встречи с родителями. Так, значит, директор Ферч донес родителям о моей исповеди! Я обрадовался, теперь моя совесть могла быть спокойна, все равно уже поздно отрекаться от покаяния...

Когда директор Ферч впервые подверг меня «подтягиванию», я мысленно обозвал его жандармом и палачом, которому отец меня передоверил. А теперь «подтягивание» стало как бы частью военной игры, мы превратили в эту игру всю нашу жизнь в интернате. Я тоже уверовал, что «подтягивание» — это лучший способ закалить нас и сделать настоящими мужчинами. Раньше мы как могли облегчали страдания всем, кто подвергался пресловутому «подтягиванию»: обмывали окровавленные места, прикладывали примочки. Теперь же воспитанник, подвергшийся «подтягиванию», вдобавок еще зачислялся нами на три дня в «штрафные»... Так мы сами содействовали упрочению сурового режима и казались себе мужчинами и солдатами оттого, что жестоко карали самих себя. Разговаривая друг с другом, мы каждую фразу обязательно сопровождали коварным «гм!». Это делалось совершенно серьезно, и Кадет, который обычно этим «гм» передразнивал нашего директора, теперь не смел себе этого позволить.

— Выправка! — командовали мы друг другу, и все старались щегольнуть хорошей выправкой. Гордясь своей прекрасной выправкой, я чувствовал себя «на десять голов» выше какого-нибудь Гартингера или Ксавера; попадись они только мне в руки, я бы им преподал выправку! Я и сам не понимал, как случилось, что я, презиравший смиренника Зеппа, теперь испытывал удовольствие, когда стоял по стойке «смирно» и соревновался в этом искусстве с другими. Кадет славился тем, что мог два часа подряд стоять навытяжку, ни разу не моргнув. Я, разумеется, больше получаса не выдерживал, капитан из Кёпеника начинал весело хохотать во мне, и вся моя выправка шла насмарку.

Наступило рождество; все школьники, за исключением Кадета и меня, разъехались по домам.

Кадет, пользуясь тем, что мы остались одни, донимал меня щипками. Его отец был полковник и командир Аугсбургского артиллерийского дивизиона. Все три брата Кадета оказались, как он хвастливо говорил, неудачниками и не годились ни на что, кроме военной службы.

Я упорно старался отделаться от Кадета, но безуспешно. Он лез ко мне в постель и умолял не поднимать шума. Катастрофа разразилась — экономка накрыла нас. Чтобы избежать «подтягивания», Кадет все взвалил на меня, и отрицал свою вину, но стоило директору Ферчу несколько секунд продержать меня на весу за волосы, и я не замедлил признаться, будто это я подговорил Кадета. Больше того, я даже с готовностью признался и в том, что непристойные рисунки в уборной сделаны мной и что это я просверлил дырочку в перегородке, чтобы подсматривать за экономкой и кухаркой.

С тех пор как военные игры перестали скрашивать жизнь в интернате, нас обступила вся ее злая, беспросветная тоска, подчеркнутая удручающей тишиной старого, безлюдного здания.

Звонки были отменены, и все же в ушах ежечасно звенело так, точно у тебя самого внутри звонок, повсюду преследующий тебя своим неумолимым визгом. В лабиринте коридоров призраками маячили фигуры директора и экономки. Стараясь накрыть воспитанников за чем-нибудь недозволенным, оба ходили на цыпочках. Директор Ферч часто запирался в одной из уборных, чтобы подслушать наши тайные разговоры, а по ночам неожиданно вырастал посреди спальни в одной рубашке, рассчитывая, что мы примем его за кого-нибудь из своих.

Под надзором директора и экономки мы с Кадетом становились по утрам на молитву, после чего обычно отправлялись с ними на неторопливую прогулку по Эттингену. Часто мы ждали их: то экономка повстречает знакомых, то директор «на минуточку» забежит к какому-нибудь коллеге. Только изредка нас освобождали от этих прогулок и оставляли во дворе. Вчетвером же мы обедали в обширной столовой, и многочисленные пустые стулья высились, точно прямоугольные надгробные камни, а каждый звук, многократно усиленный эхом, гулко отдавался под высокими сводами. Но особенно унылыми и мучительными были долгие зимние вечера: мы обречены были коротать их под недремлющим оком директора и экономки. Эко-

номка приводила в порядок белье или подсчитывала расходы; директор Ферч делал вид, что занят чтением, на самом же деле исподтишка наблюдал за нами, а мы, сидя над раскрытой книгой, клевали носом и мечтали о том, чтобы поскорее пробило девять.

Естественно было ждать, что директор Ферч донесет отцу о новых гадостях, совершенных мной, поэтому я чрезвычайно удивился, когда получил большую рождественскую посылку и длинное письмо, одна страница которого была написана отцом, другая — мамой. Для директора Ферча этот рождественский подарок был, по-видимому, неприятным сюрпризом, так как, передавая мне распечатанное письмо, он не мог удержаться от замечания:

— Ну, знаешь, у тебя и впрямь снисходительные родители, они, видно, прощают тебе решительно все.

Отцовское письмо заканчивалось словами: «Помни: родители — твои лучшие друзья. Им ты можешь писать обо всем, что у тебя на душе».

Ферч, не отходивший от меня ни на шаг, пока я читал письмо, видел, как, забравшись в темный уголок коридора, я дал волю слезам. Медленно, цепляясь за стены, соскользнул я на пол. Снова я парил над бездной и погружался в ее глубины, совсем как в тот раз, когда прощался с фрейлейн Клерхен. Но теперь ни один стих не просился мне на уста, чтобы удержать от падения. Мопс говорил, что молиться нужно страстно, растворяясь в молитве целиком, тогда ты открываешь богу доступ к твоей душе. Не надеясь, что молитва моя дойдет до бога, я молил родителей спасти меня. Увидев, как я скрючился в углу, директор Ферч обнял меня и поднял с полу. Никогда никто не обнимал меня с такой нежностью. Пришла экономка, вытерла мне слезы передником и крепко взяла в руки мою голову, которая все еще дергалась от всхлипываний.

Директор Ферч присел около моей кровати и рассказал длинную повесть о своем детстве, при этом глаза его часто поблескивали, точно от глубоко схороненных слез. Однажды, когда он был голоден и украл кусок хлеба, отец толстой дубинкой раздробил ему руку. Он, директор, тоже родом из деревни, из-под Балингена. Его маленькая изувеченная рука мягко легла мне на голову. Я опять заплакал навзрыд. Я был окончательно сбит с толку.

Раздача рождественских подарков происходила в кабинете директора. Из полученной мной посылки я сделал небольшие подношения директору Ферчу, экономке и Кадету. От директора я получил книгу, от экономки — бювар, а Кадет надарил мне всего, что ему прислали из дому: пышек, шоколадных ракушек и даже целый пирог. А еще он преподнес мне стишки собственного сочинения. Когда я благодарил всех, смущенный и растерянный, мне хотелось крикнуть: «Теперь-то я уж ровно ничего не понимаю!»

Директор Ферч сказал:

— Ну вот, видишь, как мы все любим тебя!

Елку мы сами с утра притащили из лесу и украсили стеклянными шарами и блестками. Мерцая, горели разноцветные свечи. Вершиной елка упиралась в потолок.

Директор Ферч распахнул двери, прошел в классную и там сыграл на фисгармонии «Тихая ночь, святая ночь...».

Как призрачные вздохи, звучала музыка под древними сводами.

И снова затуманенное слезами чувство влеклось к великой загадке: к богу.

XXX

Только когда Мопс вернулся после рождественских каникул, я узнал наконец, чем объяснялось непонятное для меня письмо родителей. Мопс рассказал отцу о пресловутой «чепухе про некую распутную женщину», и отец его обратился с письмом к моим родителям, которые тотчас же откликнулись «с величайшей признательностью за чрезвычайно ценные сообщения». Мне было почти жалко директора Ферча, попавшего в такое неловкое положение. Я посвятил Мопса в историю с Кадетом и рассказал о чудесном превращении нашего воспитателя, которое я объяснял теперь его страхом перед моими родителями. Мопс хотел было немедленно объясниться с Кадетом и объявить его «штрафным». Однако я решительно заявил, что в таком случае между нами все кончено. Мопс насторожился:

— Что это ты заступаешься за него?!

— Как-никак, а его отец полковник и командир Аугсбургского артиллерийского дивизиона,— невольно вырвалось у меня.— Наш брат...

Мопс в ответ ограничился коротким: «Ну, как знаешь...» И мы стали рассуждать о дурных людях.

Я думал, что дурные люди всегда остаются дурными, зловредность написана у них на лбу и проявляется во всех их поступках. Раньше я причислял к дурным людям учителя Голя, директора Ферча, Кадета, Фека и Фрейшлага, но как только дело доходило до моих родителей, я не знал, что думать, а насчет себя — и подавно. Но то, что произошло в сочельник, поколебало мою уверенность и относительно директора Ферча и Кадета, да и Фек и Фрейшлаг, может быть, вовсе не так уж безнадежны, пусть-ка Мопс толком разъяснит все это. Мопс утверждал, что таких людей, которые были бы *только* плохими, безнадежно плохих людей вообще не существует. Человек плох, если он плох в самом главном, а в вещах второстепенных может показаться и привлекательным и человечным. А с другой стороны, и хороший человек порою может произвести дурное впечатление, и на хорошего человека может найти дурной стих, но в основе своей он человечен и добр.

— В чем же заключается это главное, эта основа?..

— Ее всегда чувствуешь,— после долгого размышления сказал наконец Мопс.— Чувство обязательно подскажет, плох человек или хорош.

А мне, как назло, чувство ничего не подсказывало, я чувствовал и так и этак, и Мопс еще раз посоветовал мне усердно молиться богу, чтобы он просветил меня.

Интернат снова наполнился громом звонков; голоса и беготня воспитанников опять оживили сводчатые коридоры, возобновились военные игры, и оттого, что директор Ферч оставил меня в покое, зимние месяцы пролетели быстро, и за играми в снежки мы и не заметили, как пришла лучезарная весна.

Мопс сообщил мне радостную весть: его отец приглашает меня на пасху к ним в Охотничий домик. От родителей я получил письмо: отец разрешал принять приглашение.

Я питал к Мопсу восторженную привязанность, и мне казалось, что я лучше всего докажу свою дружбу, если, как он, поклянусь стать священником. Мопс помог мне подготовить проповедь. Возведя во дворе амвон, мы собрали нескольких воспитанников, и каждый произнес свою проповедь; в перерыве наша «паства» пела хорал. Темой для проповеди я избрал свой конфирмационный текст: «Я — путь, я — истина, я — жизнь, только через меня придешь к господу». Но, незаметно

для себя, подменил это утверждение вопросом: «Где путь, в чем истина и что такое жизнь?» — и не сумел ответить на этот вопрос в духе непоколебимой веры. Мопс сурово отчитал меня и заклеймил мою проповедь как глубоко противоречащую духу религии, даже безбожную.

Как-то я признался Мопсу, что однажды во время вечерни спрятал во рту облатку и принес ее домой, чтобы рассмотреть, что это за тело Христово. Мопс назвал такой поступок смертным грехом, а смятение моих чувств истолковал как божью кару. Немало спорили мы о преимуществах протестантизма перед католичеством, и Мопс долго с грустью смотрел на меня, когда обнаружил мои католические симпатии (он сказал — «вкусы»). Я превозносил католическую исповедь; человек, отделенный завесой от всего мира, точно в беседке счастья, может на ухо рассказать богу все, что угнетает душу; расхваливал я и жутковатую торжественность католической мессы и в особенности то, что люди молятся, преклонив колена, да, именно, преклонив колена.

— Но ведь можно молиться и стоя.

— Молиться стоя?! Нет, надо либо молиться по-настоящему, либо не молиться вовсе, а уж если молиться, так на коленях, какая же это молитва стоя,— ни то ни се.

Но наши споры всегда кончались праздником примирения, и дружба становилась еще горячее. Когда мы оба с небольшими чемоданами в руках двинулись на вокзал, чтобы сесть в поезд на Нердлинген, радости нашей не было предела.

В Нердлингене, перед трактиром «У шведского короля», нас ждал пароконный экипаж; мы ехали мимо небольших одиноких усадеб с аистовыми гнездами и утиными прудами и, миновав светло-зеленую дубраву, прибыли в Охотничий домик.

— Вот хорошо, что ты приехал вместе с товарищем! — приветствовал нас у входа, над которым была прибита пара огромных оленьих рогов, высокий, широкоплечий человек.

Мопс представил его:

— Мой отец.

Его зеленый охотничий костюм да еще служанки, которые хихикали, высунувшись из окон, привели меня в такое замешательство, что я забыл фамилию хозяина дома и смущенно пробормотал:

— Я тоже очень рад, господин Егерь!

— Господин Зигер,— поправил Мопс, обнимая меня за плечи, и тут пошли смех и шутки, так и не смолкавшие до самого конца каникул.

Охотничий домик стоял в самой чаще леса, из окна вниз можно было спуститься по дереву. Со всех сторон мы были окружены лесом, безмолвием его неподвижной листвы, в бурю сменявшимся грозным шумом. Зеленый, пронизанный солнцем свод над головой казался близким и родным небом, гораздо более родным, чем то небо, что бледно-голубыми осколками просвечивало сквозь переплет ветвей. Близкое, родное небо, в котором птицы, это священное воинство лесного бога, распевали свое «аллилуйя», ощущалось и в самом домике, во всех его комнатах, где пахло сосновыми бревнами; стены были обшиты деревянными панелями, а на каминах и всевозможных полках стояли чучела лисиц, белок, сов и куниц — целая галерея причудливых обитателей дома.

Удивленный и счастливый, ходил я за Мопсом по пятам и все говорил:

— Слушай, мы живем в лесу, вот здорово!

— А это — моя мама, госпожа Егерь,— сказал Мопс, подводя ко мне за руку свою мать. Длинные, низко свисавшие русые косы делали мать Мопса похожей на молоденькую девушку.

— Вот и чудесно! — сказала она и тут же извинилась, что обед запоздает на несколько минут. Она знает, что мы сильно проголодались, но поезд пришел, по-видимому, раньше, чем надо, счастье еще, что она на всякий случай заблаговременно выслала лошадей.

Легкость и непринужденность в обращении Мопса с родителями и дружески шутливый тон, которым родители разговаривали с ним, превращали для меня этот лесной дом в какое-то райское убежище, а живущих здесь людей — в добрые и даже совершенные существа.

На меня произвело сильное впечатление, что господин Зигер совершенно не одобрял наших воинственных игр, да и вообще ему не нравился тот дух, который насаждался в эттингенском интернате.

— Неужели в мире нет других развлечений, кроме военных игр? Вот так и накликáют войну, дурацкие забавы ведь непременно превратятся когда-нибудь в ужасную действительность! Мало разве мы навоевались? Да мы еще и по сей день расплачиваемся за Тридцатилетнюю войну и ее губительные последствия.

Весь наш школьный уклад он назвал недостойным культурного народа и уже подумывал, не отдать ли Мопса после пасхальных каникул в нердлингенскую гимназию: хотя была середина учебного года и дорога туда очень неудобна, «но в Эттингене этот замечательный воспитатель систематически портит вас».

Такие речи, теплые, без тени назидательности, и разлитая вокруг лесная тишь, которая, казалось, делала немыслимой всякую пустую болтовню и допускала только звучание скромной истины, опять пробудили во мне стремление зажить поновому. Вместе с тем я, скитаясь по лесу, чувствовал, как вновь обступают меня слова, мерные и звучные, и только потом понял, что это были стихи. Я прочитал стихи Мопсу, и он заставил меня записать их в тетрадку, а потом достал из отцовской библиотеки несколько томиков стихов, и мы поочередно читали друг другу вслух.

В этом воздухе был взлет качелей, они пели: родина. Окно фрейлейн Клерхен звенело: прости. По лесной дороге рядом со мной шел Гартингер, мы шли с ним одной дорогой. Вечером, когда спускались сумерки, появлялся Ксавер со своей гармонью. Христина снова говорила мне «ты»... И я проклял глупые военные игры и с ужасом думал, как легко я подпал тогда под влияние Фека и Фрейшлага. Этакий негодяй! Этакий смиренник! Что за бес в тебе сидит!..

«Если я тебе понадоблюсь...» — сказал Левенштейн: он предлагал мне свою помощь... Но что же мне нужно?! Чего я хочу? Чего?!

Ранним утром в пасхальное воскресенье, гуляя, мы забрели в аллергеймский бор, где увидели множество могильных холмиков: некоторые из них были покрыты замшелыми плитами и обнесены ржавыми чугунными решетками.

На одной из каменных плит еще можно было различить цифру: 1645.

Мы обнажили головы и с минуту постояли в молчании.

Как раз в этот миг в Нердлингене и Аллергейме ударили в колокола, и мне явственно послышалось, как грянул мощный хор: «Воскресни, о, воскресни...» Я подался назад, как бы уступая место мертвецам, если бы они вздумали встать из своих могил. Мне чудилась под землей какая-то тревога, грохот, стук, надгробные плиты как будто то поднимались, то опускались, вот сейчас — ждал я — в земле покажутся тре-

щины и расселины: я предусмотрительно ухватился за ствол ближайшего дерева, чтобы не свалиться вниз, к просыпающимся мертвецам, когда земля разверзнется.

Но земля не разверзлась, и я стал рвать подснежники и осыпать ими могилы, напевая в такт колокольному перезвону:

— Жить по-новому! Жить по-новому!

— Да избавит нас господь от войны! — сказал господин Зигер и повел нас по лесной просеке к Аллергейму.

Вскоре перед нами в небольшой долине открылся городок со средневековыми башенками и стенами, прорезанными бойницами.

Господин Зигер разъяснил нам, что могильные холмики — это остатки шведского кладбища времен опустошительной Тридцатилетней войны, которая дважды пронеслась по нердлингенской земле. Сначала в 1634 году, после убийства Валленштейна в Эгере, когда императорская армия одержала победу под Нердлингеном над герцогом Бернгардом Веймарским и шведским генералом Горном, после чего Саксония заключила с императором Пражский мир, к которому присоединилось большинство протестантских держав. А потом — в 1645 году, когда Франция открыто примкнула к Швеции и французы вместе со шведами, после победы при Аллергейме, устремились на Баварию и Богемию.

Не ограничиваясь общими разъяснениями, отец Мопса нарисовал картину жестокой войны: она не только опустошила и разорила Германию, не только внутренне раздробила ее и лишила всякого влияния, но и по сей день, спустя триста лет, все еще дает себя знать в воинственных устремлениях и внутреннем огрубении людей, которых лицемерная цивилизация только до поры до времени удерживает в определенных рамках.

Перейдя к крестьянским войнам, господин Зигер сказал, что именно здесь и кроется корень злополучия немецкого народа и что Тридцатилетнюю войну надо понимать как прямое следствие трагической неудачи крестьянского движения.

Хотя многое из сказанного господином Зигером я не понимал, все же теперь у меня сложилось как будто гораздо более ясное, чем после речей старика Гартингера, представление о том, что такое народ и как он усваивает и развивает наследие прошлого, и о том, что с жизнью по-новому дело обстоит вовсе не так просто, как мне казалось.

Когда мы бродили по Аллергейму, я вспомнил нашу семейную хронику, с отцовской стороны восходившую к вла-

дельцу трактира «У веселого гуляки», к Темному пятну. Фек и Фрейшлаг уже не были для меня просто забияками и буянами: быть может, думал я, именно такие, как они, колесовали в те далекие времена владельца трактира «У веселого гуляки». Кличка «палач», навязанная мне одноклассниками и охотно принятая мной, отныне приобретала грозный предостерегающий смысл. В замешательстве я смутно почувствовал, что эта кличка отдаляет меня от родины, от всего моего народа. Ксавер, Гартингер, Христина, фрейлейн Клерхен — они из народа. Мопс и его отец — с народом, но есть и такие, что остаются чужими народу или идут против него.

Во всех этих мыслях я бессилен был разобраться один, я нуждался в помощи. Однако ни Мопс, ни его отец не повели меня дальше по этому пути. Господин Зигер уклонился от ответа на мои вопросы.

— Это тебе еще рано знать,— сказал он.— Но есть одна вещь, которую следует запомнить уже сейчас: тогда как все соседние народы преуспевали и объединялись, мы сумели добиться только расчленения, мы оказывали противодействие всякой великой идее, как только начинало казаться, что она может воплотиться в действительность. И хотя мы утверждаем, что сегодня мы на заре новой эпохи Возрождения в искусстве и жизни, в глубине души мы полны тревоги и сомнений, что, быть может, и эта прекрасная химера есть не что иное, как своеобразный возбудитель, морально укрепляющее средство против нашей безграничной дряблости и расслабленности... Короче говоря: мы в поисках нового человека... Что до меня, то в отношении будущности нашего народа я возлагаю все надежды на германского рабочего. А уж если он не выручит, тогда — смилуйся над нами бог!

XXXI

В пасхальное утро 1908 года я увидел сон: некий муж, который, по свидетельству семейной хроники, был колесован и сожжен в 1546 году, разбуженный колокольным трезвоном и пением хоралов, восстал из своей холодной могилы и направился в город...

Я стоял у окна и видел, как этот человек поднимается вверх по Гесcштрассе.

Среднего роста, слегка сутулый, с прищуренными, точно близорукими глазами, он, казалось, больше всего занят мыслью,

как бы скрыть свое платье, непохожее на одежду всех других людей,— ботфорты с отворотами, кожаный камзол и высокую широкополую шляпу; но, о диво, в этом старинном наряде он не привлекает ничьих любопытных взоров.

Разглядывая людей и вещи, он силится понять, в какие времена и в какую обстановку он попал.

Как только человек этот приблизился к нашему дому, я перевоплотился в него, оставаясь в то же время на своем наблюдательном посту у окна.

Немногие обрывки человеческой речи, на лету подхваченные из разговоров прохожих, открыли мне, как сильно изменился язык за четыре столетия, минувшие со дня моей смерти, как обогатился он новыми, непонятными мне выражениями. На вывесках я мог прочесть лишь отдельные разрозненные слова, глазам было больно от ярких красок, после тусклых могильных сумерек они слепили меня, как мощные прожекторы.

Сначала меня очень мучила странная раздвоенность зрения. Прошлое и настоящее накладывались друг на друга, как два диапозитива, причем каждый из этих диапозитивов просвечивал через другой.

Под моим взглядом одежда современных людей превращалась в платье минувших веков, но люди тут же сбрасывали с себя это платье, и под ним оказывался современный костюм, вокруг меня происходило непрерывное головокружительное переодевание, причем одновременно менялись и черты человеческих лиц, и бороды то сбривались, то вновь отрастали. Так же обстояло дело и с улицами, они то суживались, то снова расширялись, и с домами, которые съеживались и припадали к земле только для того, чтобы в следующую минуту стремительно выпрямиться и буйно разрастись ввысь и вширь.

Так, ощупью, входил я в новую для меня жизнь, причем малозаметные вещи привлекали мое внимание чаще, чем крупные и бросающиеся в глаза, многое же я замечал, лишь толком осмотревшись. Безупречную прямизну улиц я заметил, лишь преодолев головокружение и слабость в ногах, вызванные непривычной прогулкой.

Но до чего же я перепугался, когда с наступлением вечера по всему городу вдруг вспыхнули огни, неподвижные, парящие, мелькающие, вертящиеся. Мне показалось, будто я чудом перенесен на какую-то другую планету, где нет ничего, кроме гор и скал. В ночи, озаренной огнями, дома приняли очертания ровно высеченных скал, вздымающихся и нависающих по обе стороны улиц, а сами улицы скрещивались, подобно

ущельям, и представлялись мне неким бесконечным лабиринтом.

Как далеко, видно, это время опередило то, что в мою эпоху называлось будущим. Мечта и фантазия никогда, разумеется, не были мне чужды, но так далеко от своего времени, в самую беспредельность времен, я никогда не решался заглядывать. Я мог бы назвать ее «вечностью», «тысячелетним царством», услышь я хоть раз своими ушами священные песнопения или явись хоть раз моему нетерпеливому взору господь бог, сын его, или матерь божья, или хотя бы кто-нибудь из святых. Память моя постепенно слабела, воспоминания теплились, бледные и призрачные; мне уже стоило больших усилий удержать в памяти собственное имя, и я непрерывно повторял его про себя: я уже начинал сомневаться, жил ли я вообще в то далекое время. Я потер себе лоб, стараясь стереть последние остатки воспоминаний, и нажал кнопку звонка на доме номер пять по Гесштрассе, на котором висела медная табличка с хорошо знакомой мне фамилией «Гастль».

Как только я нажал кнопку, мне показалось, что в городе зазвонили все звонки, поднялся вихрь звонков и одновременно из домов послышался вой, точно жившие в них люди взбесились. Ох, я, значит, попал в город завывающих, беснующихся домов.

— Я тот, кто в стародавние времена был владельцем трактира «У веселого гуляки», я воскрес после мучительных пыток и сожжения на костре и послан сюда...

Так я возвестил о себе, и хотя произнес эти слова не громче обычного, все же они явственно прозвучали сквозь трезвон и завывание.

Отец перегнулся через перила балкона и закричал:

— Сударь, вас уж нет на первой странице! Вас давным-давно изъяли из «Семейной хроники»! Постыдились бы! Не хватало еще, чтобы предок, умерший несколько столетий назад, да еще такой позорной смертью, затесался в нашу современную жизнь. А ну-ка, убирайтесь подобру-поздорову, не то я велю позвать полицию!

Дома одобрительно взвыли, я узнал крик сумасшедшего дяди Карла, он телефонировал в Валгаллу и звал на помощь богов.

Я заговорил (при этом я сам смотрел на себя из окна) спокойным голосом, который мне показался чужим и мощно вырывался из моих уст, точно через звукоусилитель:

— Дорогой и уважаемый отец! Высокочтимый наследник и потомок! Дорогой отец-государь! Долог был мой путь сквозь

века! Я пришел, дабы исполнились сроки. Я возвещаю новую жизнь... Иисус Христос, господь наш, сказал: «Приидите ко мне все страждущие и обремененные...»

— Убирайтесь туда, откуда пришли! Слышите вы, Темное пятно! Мы не желаем иметь дела с вами. Я важный государственный чиновник с правом на пенсию. Разве вы не слышите, разве не видите, что вы перебудоражили весь город?! Безобразие! Повсюду вой, звон, грохот. Вы угрожаете спокойствию и порядку!

— Значит, ты отрекаешься от меня, твоего предка, ибо я тот, кто в стародавние времена содержал трактир «У веселого гуляки».

Тут отец свистнул сквозь зубы, и на его зов, в сопровождении огромных собак, примчались Фек и Фрейшлаг, а за ними — учитель Голь и директор Ферч, оба потрясали палками, и по всему городу забили барабаны. Тревога! Скандал! Гартингера и Ксавера, Христину и фрейлейн Клерхен, которые в ответ на мой зов о помощи выглянули из окон пансиона Зуснер, полицейские оттащили за ноги. Отряд гвардейской пехоты, под улюлюканье толпы, повел трактирщика в Обервизенфельде.

Зрители и войска выстроились четырехугольником вокруг помоста, на котором разместились отец, учитель Голь, директор Ферч, Фек, Фрейшлаг и хозяин трактира «У веселого гуляки». По знаку отца директор Ферч приблизился к арестованному, схватил его за волосы у висков и резким движением рванул их вверх.

Тот, кто в стародавние времена содержал трактир «У веселого гуляки», состроил насмешливую гримасу,— он ровно ничего не почувствовал. Мы с ним — ведь это я и был в стародавние времена содержателем трактира «У веселого гуляки» — ровно ничего не почувствовали. А все потому, что при каждой попытке директора рвануть нас за волосы мы вырастали ровно настолько, чтобы его маленькая высохшая ручка не могла до нас дотянуться. При этом мы не отделялись от земли, мы твердо стояли на ней. На директора, застывшего с вытянутой рукой, черные тучи, проплывавшие мимо, бросали какой-то странный отсвет; его лицо, волосы и густые заросли усов исчезли, он был какой-то неживой, неподвижный, одеревенелый... Директор вдруг принял очертания виселицы, она старалась схватить и вздернуть нас. Виселица тоже стала расти. Но мы росли выше и быстрее. Долго длилось это состязание в росте. Наша тень и тень виселицы легли на весь мир, но наша тень

все время перегоняла тень виселицы. А все потому, что на горизонте мы увидели корабль, целый корабль. И даже когда Фек и Фрейшлаг крепко схватили меня, а отец хотел оторвать мне голову, я только насмешливо крикнул:

— Жизнь пойдет по-новому!

И тут загрохотали пушки, раздался конский топот, это началась Тридцатилетняя война, а за Тридцатилетней последовала Семилетняя, а за ней — еще и еще войны, и так до некоей отдаленной, очень отдаленной войны, когда феки и фрейшлаги обратились в бегство, а отец и директор Ферч были убиты наповал,— и окна пансиона Зуснер распахнулись, в них показались Ксавер, Христина, Гартингер и фрейлейн Клерхен, они смотрели на торжественную процессию, проходившую по Гесштрассе, а я в это время вместе с бабушкой стоял против них на балконе, празднично убранном разноцветными фонариками. Вдруг заиграла гармонь, и весь город плавно заколыхался, омываемый волнами счастья.

* * *

Под впечатлением этого сна я на следующий день снова отправился на могилы шведов, спустился в Аллергейм и вернулся домой через Нердлинген. Взбираясь на крепостные башни и карабкаясь на валы, я чувствовал, что я здесь вновь обретаю себя, ибо это моя родина.

Тем временем пришло письмо, в котором отец сообщал, что после каникул я могу вернуться в родительский дом. Дату моего возвращения, а также время отхода поезда из Нердлингена и прибытия его в Мюнхен отец подчеркнул красными чернилами. К письму была приложена вновь сделанная мамой опись белья: «Твоя мать надеется, что ты сохранил свои вещи в полном порядке: внимательно проверь еще раз, все ли в целости».

— Гм! Гм! — Я аккуратно укладывал в чемодан белье, как бы выстраивая его перед мамой во фронт. Ни одна вещь не пропала, грязное белье было уложено в отдельный мешок. Тщательно выглаженные, расположились друг подле друга и друг под другом рубашки, кальсоны, носки и платки, и я подумал, что в родительском доме вещи весь свой век стояли во фронт на отведенных им раз и навсегда местах. Мама не терпела болтающихся пуговиц: отлетевшая пуговица была, по ее выражению, «катастрофой». Незачем было доводить до того,

чтобы носок протерся до дыр. «Почему ты вовремя не сказал, что у тебя протирается носок?» Она зорко следила за бельем, без устали шила и латала, сохраняя его в порядке, вся одежда ежедневно просматривалась на свет,— нет ли где прохудившихся мест? Если пресс-папье было сдвинуто с места, отец кидался к нему: «Я не выношу беспорядка!», точно от этого нарушался весь строй мира. Мать охотилась за картинами, висевшими недостаточно прямо. Христину вызывали в комнаты и отчитывали за то, что в кухонном шкафу среди больших тарелок затесалась одна маленькая. Вся жизнь была навытяжку. Все мы стояли навытяжку, хотя не держали руки по швам. Часы отбивали положенный час, и в положенный час делалось то-то и то-то, минута в минуту, неукоснительно. Повсюду были звонки, и пусть они не всегда так пронзительно верещали, как в интернате святого Иоанна, но все они звонили, как бы повинуясь часовому механизму, все они как бы стучали «тик-так» и останавливались, словно часовой механизм. Я спрашивал себя: «К чему все это, для чего?» — и все искал, да так и не мог найти, где же он, наш всемогущий, невидимый повелитель. Ведь цепь повелителей не обрывалась на кайзере, и над кайзером была повелевающая воля, которой он подчинялся. Конечно, не воля народа — кайзер признавал ее только на словах, иначе он не допустил бы, чтобы бедные нищали, а богатые богатели. Божья воля? Но божья воля не содеяла бы такой чудовищной несправедливости и не уготовила бы наивысшие почести как раз самым безбожным лицемерам. Правда, многие, стараясь доказать наличие божественной воли, усматривали в торжестве безбожных лицемеров одну из божественных хитростей: пусть-де верующие не успокаиваются, пусть душа их всегда радеет о справедливости. Но если в жизни, так усердно управляемой, словно размеренной циркулем, царит образцовый порядок, как же из этого точного расчета, из этого смысла в малом возникает такое торжество безотчетного, такое царство преступной бессмыслицы?

Темное пятно! Темное пятно!

Думая о всей этой жизни навытяжку, я вспоминал Темное пятно. Хозяин трактира «У веселого гуляки», конечно, не стоял навытяжку. Таких Темных пятен, верно, много на свете, но они бессильны перед теми, кто стоит навытяжку. Быть может, каждый человек таил в себе Темное пятно, и отец в том числе, но отец, пресмыкавшийся перед высокопоставленными любителями стоять навытяжку, старался вытравить в себе Темное пятно и предстать перед ними в самом лучшем свете.

Если бы я сейчас разбросал все свои так аккуратно уложенные вещи и перестал бы жить по расписанию, этим я еще не обратил бы в бегство стоящий навытяжку мир бессмыслицы. Вот объединить бы все Темные пятна... И корабль, целый корабль был таким Темным пятном, и темнота его обратилась в сияние.

Кончилось тем, что господин Зигер тоже решил не посылать больше своего сына в Эттинген, а определить его в нердлингенскую гимназию. Вечерами, перед сном, мы с Мопсом торжественно обменивались клятвами писать друг другу каждую неделю. Летние каникулы мы надеялись тоже провести вместе, так как мой отец пригласил Мопса к нам «в знак признательности за гостеприимство, любезно оказанное моему сыну в пасхальные праздники, что, кстати, послужит вам поводом побывать в столице Баварии, в нашем великолепном Мюнхене».

Я обнял всех на прощание, и мы запели:

Мне сегодня уезжать,
С вами расставаться!..

Когда лошади тронули, раздалось:

Нет, скорей сойдутся вдруг
Солнышко с луною,
Чем покинет друга друг,
Разлучатся двое.

Потом стройность хора нарушилась, и мне вторил только чистый голос фрау Зигер, которая вместе с Мопсом некоторое время бежала за экипажем.

Знай, тебе я каждый день
Вздохи посылаю...
Сотни вздохов каждый день
Невесомые, как тень...
Дом твой овевают...

Завеса слез скрыла от меня Охотничий домик.

Утраченная родина манила к себе, она звалась: «Потерянный рай».

В последний раз мелькнул передо мною осиянный лес.

XXXII

Над дверью моей комнаты висел венок с надписью на ленте: «Добро пожаловать!» Мама помогла мне распаковать чемодан.

Она похвалила меня за порядок, в котором содержалось белье.

— Видишь, я переметила твоими инициалами каждую вещь, поэтому ничего и не пропало.

Я сразу обратил внимание, что одна картина висит не на своем обычном месте. Мать спросила:

— Разве я тебе не писала? Да, мы долго обсуждали, перевесить ли... Ведь всякие перемены так неприятны...

Больше ничто не изменилось в отцовском доме, все было по-старому. «Беда никогда не приходит одна»,— говорил отец, с трудом скрывая радость по поводу кончины моего сумасшедшего дяди Карла. Но тихая семейная радость омрачалась тем, что в день моего приезда дядя Оскар лишился своей должности придворного медика у принца Людвига. Причиной увольнения был шлепок, который мой отважный дядя дал шестилетнему сынишке принца, когда тот в ответ на просьбу: «Разрешите, ваше королевское высочество, посмотреть ваше горлышко» — плюнул дяде Оскару в лицо. Тетя Амели утешалась тем, что дядя Оскар успел все-таки получить — уже, так сказать, в последнюю минуту — чин надворного советника. Сам дядя убеждал моих родителей, что смерть дяди Карла представляет для всей родни неоценимое благо, с лихвой вознаграждающее за такой пустяк, как увольнение его, дяди Оскара, со службы, тем более что теперь он сможет по-настоящему заняться частной практикой и, кроме того, событие это не причинило решительно никакого ущерба фамильной чести, тогда как душевная болезнь дяди Карла, в которой «все мы в какой-то мере виновны», наносила ей немалый урон.

Христина, как тень, скользила мимо меня и, так как ее искусственная челюсть была в починке, невнятно шамкала беззубым ртом: «Ваша милость».

Дела обоих дядюшек настолько поглотили родителей, что на меня они обращали очень мало внимания. Отцу удалось снова поместить меня в Вильгельмовскую гимназию, в тот же класс. Через несколько дней, когда разговоры о смерти дяди Карла и об увольнении дяди Оскара были исчерпаны, всем уже казалось, что я и не уезжал никуда, никто не спрашивал:

«Ну, как ты там жил в Эттингене?», и я ни о чем не расспрашивал; только раз, во время обеда, мама, пристально взглянув на меня, сказала:

— Что за отвратительное «гм-гм-гм» ты привез из Эттингена?

Как-то утром я проснулся и бросился к окну, собираясь спуститься на землю по дереву, но передо мной оказалась пустота, а снизу мне грозили камни мостовой. А между тем ведь немало воды утекло с тех пор, вот уже и в пансионе Зуснер у меня не осталось никаких знакомых, кроме, пожалуй, покойной фрейлейн Лаутензак: перевоплотившись в собачку и попугая, она все еще жила в бывшей комнате фрейлейн Зуснер, которая продала свой пансион фрейлейн Кунигунде Вилла родом из Швейцарии, а сама переселилась в Гамбург.

Отец клал мне руку на плечо, мать обнимала за шею. Они как будто говорили: «Нет, мы отнюдь не намерены облегчать тебе жизнь, напротив, мы усложним ее, как только сможем, для этого мы, твои родители, и существуем». Отец говорил со мной ласково, деланным голосом, по-отечески. Как знать; а вдруг он и в самом деле нежный отец?

— В гостях хорошо, а дома лучше, верно?

Если бы не такая обстановка, я наверняка аккуратно, каждое воскресенье, писал бы Мопсу, выполняя клятву, которую мы дали друг другу. Но теперь-то я был дома! Когда я сравнивал отцовский дом с лесным домом, я видел, что господину Зигеру далеко, очень далеко до отца. А я буду жить богаче, чем отец. Человек с моим положением, конечно, всегда сделает блестящую партию, вроде дяди Карла. А я чуть было не поставил на карту этот прекрасный дом и будущий, еще более прекрасный, ради какой-то гармони, какого-то корабля, какого-то Темного пятна. Нет, даже с Мопсом я не поменялся бы ни за что на свете. Я жалел, что не подружился с Кадетом. «Между своими что за счеты». Но что верно, то верно, я всегда находил и нахожу вкус в простом, грубом, низменном.

— Неужели ты не видишь, кто тебе истинный друг? — не раз пробовал усовестить меня отец.— Почему тебя так упорно тянет вниз?

Фек и Фрейшлаг украсили цветами место, которое я снова занял между ними, и Фек торжественно вручил мне завернутые в розовую папиросную бумагу десять марок, взятые у меня взаймы.

— Скажите на милость! Оказывается, он человек слова! — вырвалось у меня.

В ответ на это Фек приосанился и выпятил грудь.

— Я не подведу! За тебя готов и огонь и в воду!

— Но я-то уже не тот,— попытался я охладить его пыл, однако он живо ответил:

— А я-то, я! Ты поразишься, когда узнаешь, какие ужасы я тут пережил!

Во дворе на большой перемене он рассказал мне, что Дузель покончила с собой. Бросилась с Гроссгесселоэского моста, как Доминик Газенэрль. А может быть, действительно, все переменилось? Фек плакал! Он на самом деле плакал, рассказывая о смерти Дузель, из глаз его обильно текли маленькие, быстрые слезинки, и, вытирая их, он выдавил из себя:

— Она была такая хорошая, ну просто хорошая, с ней каждый сам невольно становился хорошим...

Я гладил по волосам своего старого друга, так что руки у меня запахли помадой, и утешал его:

— Райнер,— никогда еще я не называл его по имени,— Райнер, милый, славный, ну будь же благоразумен!

— Ах, оставь! Оставь,— отстранился он и мелкими шажками забегал по кругу, точно мышь в мышеловке.— Никто не любит меня, никто... Тьфу! Одна рожа моя чего стоит!.. Я сам больше, чем кто-либо, ненавижу себя. Тьфу! Тьфу!.. А разве я виноват, что я такой... Никому до меня нет дела, хоть умри... Будь хоть ты мне другом, хоть ты... хоть ты... Клянись, брат мой!

— Клянусь! — сказал я серьезно и вытащил Фека за руку из его мышеловки, ворча про себя: «Комедия, пустая игра... В чем ты клянешься ему, что за вздор?!»

Фек объявил Дузель своей святой и дома, у себя в комнате, показал мне нечто вроде алтаря, на котором между двух свечей стоял портрет Дузель, обрамленный еловыми веточками. Он с торжественным видом зажег обе свечи.

— До чего она была весела за день до смерти, ты не можешь себе представить, насвистывала, прыгала. «Дузель, что это с тобой сегодня?» — спросил я. «Со мной?! Ты разве не знаешь, что завтра большой праздник?» — «Праздник? — говорю я.— Завтра? Нет, не знаю».— «Ну, конечно, откуда же тебе знать, это ведь у меня праздник».— «Что же ты празд-

нуешь?» — спрашиваю. «Что я праздную?.. Вознесенье, завтра вознесенье... Крылья у меня уже выросли...» — «Ну, говорю, от тебя толку не добьешься!»

Дузель подарила ему свою карточку, а так как она и на этот раз «случайно забыла портмоне дома», ему пришлось дать ей двадцать пфеннигов на трамвай. Из трамвая она еще раз крикнула: «Вознесенье, как хорошо, вознесенье! Будь счастлив!» На следующий день она поехала в Гроссгесселоэ: прохожие видели, как она со своей собакой несколько раз пробежала по мосту, потом вдруг перевесилась через перила и полетела вниз. Собака постояла мгновение на месте, а потом бросилась по крутому обрыву к воде. Только на следующий день девушку нашли пониже Гроссгесселоэского моста, ее прибило к шлюзовой решетке у одной из электрических станций.

Я продолжал расспрашивать Фека о Дузель, меня интересовало, совсем ли он избавился от слезливого настроения.

— Раз в жизни и на меня напало слезливое настроение,— объявил он мне на большой перемене с еще не просохшими глазами, словно торопясь передо мной оправдаться.

— Не удивительно, что ты переменился, Фек: такие вещи никогда не забываются.

— Что ты! Что ты... Время все исцеляет... Главное — выправка! — И он вытянулся во фронт перед самим собой.

— А как ты думаешь, почему она бросилась с моста? Однажды она как будто уже собиралась проткнуть себе сердце шляпной булавкой?!

Фек решительно сказал:

— А потому!

— Разве это ответ?

Он повторил уже без всякого волнения в голосе:

— Ответ ли это? Единственный! Лучший!

Фрейшлаг шумно приветствовал меня и сообщил о блестящих успехах, которых они с Феком добились в классе за время моего отсутствия. Конечно, без меня им было нелегко прибрать класс к рукам... но «наше духовное превосходство...». Он произнес это с такой спесью и самонадеянностью, что я невольно подумал: «А может быть, Фрейшлаг и в самом деле обладает «духовным превосходством»?»

«Еврейчику» — Левенштейну — мое возвращение не предвещало ничего доброго. Он егозил вокруг меня, точно старался выведать мои намерения, но я с недоступным видом разгуливал

на перемене в обществе Фека и Фрейшлага и только снисходительно поблагодарил его, когда он написал за Фека и Фрейшлага, а также и за меня немецкое сочинение.

На письменном экзамене по математике мы устроили под партами нечто вроде игрушечной подвесной дороги, которая своевременно подвозила нам правильные решения задач. Для греческого и латыни Левенштейн раздобыл нам подстрочники — крохотные книжонки, напечатанные на тонкой бумаге,— они содержали полные переводы классиков и отлично умещались под партой.

По случаю смерти Дузель «свержение» профессора Вальдфогеля, как я узнал, было на время отложено. Теперь оно снова стояло на повестке дня. Профессор Вальдфогель уличил Фека и Фрейшлага в списывании и отказался принять их работы. Мы посвятили Левенштейна в наш план. Он долго убеждал нас, что свержение Вальдфогеля не только ничем не оправданная подлость, но и чудовищная глупость.

— Вальдфогеля, самого порядочного из всех?!

— Вот именно потому! — язвительно отпарировал Фек, а Фрейшлаг поддакнул:

— Да, да, именно потому, пускай знает! Именно потому!

Их «потому» хоть и показалось мне малоубедительным, но они так решительно и твердо отчеканивали это слово, что к нему уже и подступиться нельзя было, и я не находил ответа.

— Именно потому? Именно потому? — растерянно спрашивал Левенштейн, как будто за этими словами скрывалось нечто страшное.

— Да, именно потому! — Фек стукнул кулаком по стене.— Ведь мы в конце концов не тряпки! Главное — выправка!

Мы уединились в дальнем уголке двора, чтобы сговориться. Фрейшлаг подошел к стене и тоже стукнул кулаком.

— Вот, вот, именно потому!

Вопрос был решен, и, словно зарубленное на стене, решение не подлежало пересмотру.

В конце четверти, во время обычного посещения оберштудиенрата Арнольда, класс должен был проявить крайнюю недисциплинированность: кроме того, все, и в особенности лучшие ученики, обязывались отвечать как можно хуже.

— Вальдфогель поплатится головой.

— Головой и потрохами! — Фек стонал и захлебывался от смеха.

Если только взяться за дело с умом, ни одна душа в классе не пострадает. Ребята будут сидеть как мумии, ни у кого на

лице не дрогнет ни один мускул, все разыграется под партами. У нас будет достаточно времени, чтобы до появления Арнольда подготовиться, а затем по сигналу Фека пустить в ход всю эту адскую машину.

Необходимые принадлежности Фек закупил в игрушечном магазине на Штахусе. Деньги он занял у меня, золотую десятку мы разменяли на одну пятимарковую монету и пять одномарковых: три из этих пяти марок ушли на покупки.

Едва обер-штудиенрат доктор Арнольд, лысый карлик с лохматыми бровями и изрытым оспой крючковатым носом, переступил порог и окинул класс настороженным взглядом, как наш преподаватель математики Вальдфогель сразу стал похож на моего учителя музыки Штехеле: такой же сгорбленный старик, тщетно прячущий свою дряхлость, он с натугой поднялся, судорожно прижал руки к полам сюртука и, почтительно изогнувшись, предложил свой стул доктору Арнольду.

— Благодарю! Пожалуйста, продолжайте урок! — злобно пискнул карлик и, вооружившись карандашом и записной книжкой, стал у ближайшего окна.

Вальдфогель, по-видимому, колебался, сесть ли ему или не сесть, и вопросительно поглядывал на стул.

— Продолжайте урок, прошу вас! — Карлик так нахохлился, что Вальдфогель, дрожа всем телом, отвесил несколько поклонов кряду.

Лучший ученик в классе, Левенштейн, при первом же вопросе запнулся, запутался, карлик стал что-то отмечать у себя в книжке, Вальдфогель хотел прийти на помощь Левенштейну...

— Достаточно! — резко скомандовал Арнольд.

Фек кашлянул. И началось. Фрейшлаг пнул ногой бомбу-вонючку, и она покатилась к стене. Коротким, незаметным движением я швырнул под парты целую горсть пистонов-хлопушек. Фек покатил вторую бомбу, а я, с помощью привязанной к ноге нитки, начал шуршать бумажным комком под одной из задних пустых парт.

— Кто это там шуршит?! — пронзительно взвизгнул обер-штудиенрат.

— Да, это кто там шуршит? — жалобно прошелестел профессор Вальдфогель, глядя в угол, откуда доносился подозрительный шум.

— Разве у вас в классе мыши?.. Что тут у вас...

— ...происходит,— по-видимому, сказал еще карлик, но его голос заглушил взрыв повального чихания, охватившего весь класс. Это Фек, делая вид, что сморкается, распылил через бумажную трубочку целый пакетик чихательного порошка. Под аккомпанемент чиханья карлик быстро обернулся и, с усилием переводя дыхание, распахнул окно.

— Открыть все окна! Позовите педеля, профессор! Всем выйти из-за парт! Обыскать карманы!

Бомбы-вонючки распространяли ужасающее зловоние; не переставая чихать, мы выскочили из-за парт, то тут, то там хлопали пистоны.

Профессор Вальдфогель вместе с педелем обходил наши ряды, обыскивая карманы.

— Эх, жаль! — шепнул мне Фек.— Надо было подбросить что-нибудь «книжным червям» и этим графам.

Карлик, не попрощавшись, вышел вместе с педелем.

У порога он бросил через плечо:

— Мы расследуем это дело! Неслыханный скандал!

Он швырнул эти слова в лицо профессору Вальдфогелю; старик пошатнулся и схватился за стул. Он долго сидел с поникшей головой, воротник его сюртука оттопырился на затылке.

Фек громко, так что профессор не мог не услышать, сказал:

— Да — с головой и потрохами!

Мы шатались по Английскому парку. На этот раз мы потащили с собой Левенштейна и заставили его скатиться вместе с нами с Моноптероса. В кафе у «Китайской башни» мы заказали пиво и папиросы. Левенштейну пришлось петь вместе с нами:

Тупость, тупость, ты — моя услада,
Тупость, тупость, ты — моя отрада!

— Фрейлейн, платит этот господин! — Фек кивнул на меня.

Пришлось выложить на стол две монеты по одной марке.

Мы сорвали с Левенштейна очки.

— Вот чем он думает! — Мы удивленно их рассматривали, с любопытством ощупывали стекла, надевали очки на нос и старались «думать». У нас разболелись глаза, и мы вернули очки Левенштейну. Он тщательно протер их, точно мы замутили его мысли.

Оставшуюся у меня пятимарковую монету опять-таки забрал Фек:

— Ну вот, теперь мы квиты! — сказал он, сунув монету в жилетный карман, потом встал и потянулся.— Объявляю празднование победы законченным. У кого есть деньги, тот может продолжить его в кабачке «Бахус»... Шикарные женщины... Пять марок за номер...

Спустя несколько недель профессор Вальдфогель получил отставку. Уже заранее распространился слух, что он даст в этот день свой последний урок математики. «Пробил его последний час»,— торжествовал Фек. В конце урока, когда в коридоре раздался звонок, профессор Вальдфогель сошел с кафедры.

— Прошу вас, не расходитесь еще одну минуту,— обратился он к нам.— Сегодня я дал свой последний урок. На этом заканчивается моя почти тридцатилетняя педагогическая деятельность. Я не знаю, были ли у меня в жизни какие-либо иные интересы, кроме блага моих учеников. Поэтому и сейчас мне от всего сердца хочется пожелать вам всяческого счастья, но предостерегаю вас: ни в школе, ни в дальнейшей своей жизни не позволяйте, чтобы вами верховодили такие элементы, которые в конечном счете доводят только до беды. Гимназия наша не напрасно зовется «классической», она призвана насаждать принципы классического гуманизма. А между тем то, что здесь произошло, это больше, чем мальчишеская шалость, так могли поступить только варвары. По-видимому, возвращаются времена гуннов... Прощайте!

Во время речи профессора стояла такая гнетущая тишина, что я не выдержал и потупил глаза. Даже Фрейшлаг и Фек не посмели пикнуть, хотя вначале, как только Вальдфогель заговорил, Фек еще успел прошипеть:

— Довольно! Хватит!

Вдруг, совершенно неожиданно для нас, поднялся Левенштейн. Он вышел вперед и повернулся лицом к классу, словно собираясь говорить от имени всех.

— Дорогой профессор Вальдфогель! Немало среди нас таких,— я берусь даже утверждать, что их большинство,— кто глубоко сожалеют об инциденте, имевшем место при посещении господина обер-штудиенрата. Мы знаем, что вы всегда желали своим ученикам только добра, и от всего сердца просим у вас, господин профессор, прощения. Обещаем вам, что в будущем никому не позволим подстрекать нас на такие дела, которые нельзя назвать иначе, как гнусным преступлением. Зачинщиков мы заклеймим позором...

Не успел Левенштейн кончить, как вскочил Нефф.

— Простите нас! Мы все очень хотели бы, чтобы вы остались! Мы не думали, что дело так обернется!

Никто из нашей «тройки» не смел поднять головы. Весь класс смотрел в нашу сторону. Все от нас отшатнулись.

Последним встал Штребель. Он сказал:

— От имени всего класса прошу у вас прощения. Пусть у тех, кто не согласен с нами, хватит гражданского мужества заявить об этом. Видите, даже зачинщики просят у вас прощения... Все мы искренне просим прощения, господин профессор! Мы не потерпим в своей среде гуннов!

Все поднялись и стояли молча, пока профессор Вальдфогель не вышел из класса.

Молча шли мы домой втроем.

— Ха-ха-ха, варвары...— начал было Фек.

Но даже Фрейшлаг молча и с отвращением отвернулся.

Когда Штребель бросил нам вызов, каждый из нас троих надеялся, что другой найдет в себе мужество встать и открыто заявить:

— Это я был зачинщиком, господин профессор, слышите вы, старый слюнтяй, вы... Потому!

«Жалкий трус! — ругал я себя.— Вальдфогель — Штехеле... Штехеле — Вальдфогель...» И в голове у меня глухо отдавалось: гунн... гунн... гунн...

— Гнусный, подлый тупица! — бормотал я, косясь на Фека, но взгляд мой отскакивал от него и рикошетом попадал в меня же.

Потому... Потому... Что за чертовщина это «потому»?! Мне хотелось кинуться на Фека, но, отпрянув, я вместо этого набросился на себя: «Слушай, ты, с твоими разговорами о новой жизни. Я сыт тобой по горло. Такие, как ты...»

Недалеко от угла Гесштрассе и Арцисштрассе, где мы обычно расставались, у меня вдруг вырвалось:

— Знаете что?

— Ну, что? — Фек и Фрейшлаг отступили на несколько шагов.

— Вы мне осточертели!

Мне часто случалось выпалить что-нибудь, не подумав. Вырвется слово невзначай, и только тогда задумаешься. Порой сказанное сгоряча открывало мне то, что происходило во мне и в чем я до того никак не мог разобраться.

— Что такое? Почему?! — наперебой допытывались Фрейшлаг и Фек.

Последние дни я все ждал случая вернуть, бросить им то словечко, которое они кулаками вколачивали в стену.

— Почему? — настойчиво наступали они на меня.

Я взглянул на них свысока и хладнокровно бросил:

— Потому!

Фек и Фрейшлаг, озадаченные, отступили.

«Долго ли я буду якшаться с этой сворой? — негодовал я на себя.— Все одно и то же! Все одно и то же! Неужели нельзя вырваться и зажить по-новому?! Эх ты...»

За этим «ты» никого не было.

Не было никого. Было ничто!

Высокую я ставил себе цель: стать хорошим человеком. А сам час от часу все сильнее походил на того... На кого же? Фек — трусливая баба, и ничего больше, дело в твоем собственном ничтожестве. Дрянной засел в тебе человечишка и буянит: «Дорогу мне!»

Его не схватишь, не дернешь больно за волосы, не укусишь, не пристукнешь кулаком.

Он знай себе растет и растет и издевается над тобой, когда ты пытаешься его усовестить.

Внешне он ведет себя как положено, у него прекрасная выправка, у него своя профессия.

Непостижимый, неуловимый — дрянной человечишка сидит в тебе.

Призывно поблескивая, манили узкие перила Гроссгесселоэского моста, перекинутого над пропастью, где с певучим нежным рокотом катил свои воды старый Изар. Высокий мост манил к себе, в забвение...

И я растроганно пожалел себя: «Гастль, бедный Ганс Петер Гастль. Гунны мы...»

XXXIII

Забвение можно было найти.

Забвение давал «Мюнхенский ферейн водного спорта».

Председатель, архитектор Штеге, принимая меня в члены ферейна, торжественно взял с меня слово — активно участвовать в жизни ферейна и высоко держать его знамя. Многозна-

чительным жестом вручил он мне устав. Я затвердил его назубок. Жизнь ферейна заключалась в регулярном посещении Луизенбадского бассейна по установленным для тренировок дням, то есть в восемь вечера по средам; что же касается увеселительных вечеринок по субботам, происходивших в «желтом зале» пивной Матезера, то я был освобожден от них как несовершеннолетний.

«Мюнхенский ферейн» устраивал водные экскурсии и водные праздники, причем членам ферейна билеты предоставлялись по льготным ценам. Почетным председателем ферейна был принц Альфонс.

Принц Альфонс только и делал, что улыбался. Он улыбался в семейном кругу, улыбался в парадной форме полковника первого кавалерийского полка, улыбался на охоте, на прогулке, в непогоду и в вёдро, улыбался во все времена года. А кому принц Альфонс улыбался, тот не мог не улыбнуться в ответ,— такая уж у принца была заразительная улыбка, оттого-то он и пользовался всеобщей любовью, оттого-то он и выбран был нашим почетным председателем, этот принц Альфонс.

Отец вполне одобрил мое вступление в водный ферейн.

— В твоем возрасте полезно заниматься спортом,— сказал он,— спорт отвлекает от всяких глупостей, которые лезут в голову.

Наш «Мюнхенский ферейн» (форма: белые трусы с голубой звездой) с презрением относился к «Мужскому водному ферейну» (форма: черные трусы с желтой каемкой), тренировавшемуся в бассейне Народных бань.

Не прошло и месяца, как я был выбран капитаном команды подростков. Жизнь ферейна целиком захватила меня. Чтобы стать первоклассным пловцом, мне мало было общих тренировок, и я начал упражняться ежедневно под непосредственным руководством нашего тренера, господина Штерна.

То была эпоха рекордов. Я получал газету «Пловец» — орган Союза немецких пловцов,— и запомнил результаты всех германских состязаний. Я мог наизусть перечислить все рекорды с точностью до одной пятой секунды. Так, на состязаниях в Каннштатте Шнеефогель (команда «Нептун») улучшил всегерманский рекорд по заплыву на сто метров на две пятых секунды; чемпиону Германии на длинные дистанции Раушу (команда «Посейдон», Берлин) при заплыве на сто пятьдесят метров удалось улучшить свой собственный рекорд на три пятых секунды, а в Бреславле при заплыве брассом на короткую

дистанцию пятнадцатилетний пловец (команда «Глейвицкого клуба любителей водного спорта») перекрыл мировой рекорд на целых четыре пятых секунды; на гамбургских окружных состязаниях по плаванию на спине Шилле («Ферейн водного спорта», Каннштатт) вторично завоевал звание чемпиона, а команда «Эллада» (Магдебург), как и в прошлый раз, заняла первое место в плаванье на дистанцию свыше трехсот метров вольным стилем; «Франкфуртский клуб пловцов» обладал лучшей командой по водному поло; «Вена» (Австрия) послала в лице Вернера Шеффа на южногерманские состязания своего чемпиона, и он, взяв с самого начала замечательный темп, опередил наших лучших пловцов на несколько корпусов в заплыве на самую длинную дистанцию — пять тысяч метров.

Я готовился к юношеским состязаниям на дистанцию в сто и в полторы тысячи метров.

Когда наш тренер господин Штерн становился со своим хронометром у края бассейна и подавал команду: «Внимание, марш!», а я, хорошо отработанным рывком оттолкнувшись от упора, штопором ввинчивался в мелкую воду бассейна,— тогда мне казалось, что по водной дорожке меня неудержимо мчит могучая сила, во власть которой я добровольно отдался. Вскоре я уже был уверен, что рожден единственно для того, чтобы стать чемпионом по плаванию.

Споры между нами возникали теперь реже. Мы носили маску взрослости и напускали на себя полное равнодушие. По-прежнему ходили в школу втроем — Фек, Фрейшлаг и я,— как неразлучная тройка лошадей, которую нельзя разделить и которая тащит за собой нечто невидимое — не прошлое ли?

Много наших школьников примкнуло к спортивным ферейнам, большая часть из них вошла в «Мужской гимнастический ферейн» или в гимнастический ферейн «Ян». Фек состоял в хоккей-клубе «Бавария», Фрейшлаг — в футбольной команде «Удалец». Только Левенштейн был по-прежнему верен своим туристским прогулкам с Неффом и Штребелем, тогда как оба графа с одинаковым пренебрежением относились и к спорту и к туризму и вместе с бароном фон Пфеттеном продолжали держаться особняком. В школе, на переменах, и по дороге домой мы щеголяли друг перед другом своими успехами и все вместе бахвалились перед «книжными червями», что книг мы не читаем, в театры не ходим, это, мол, бабье дело, юным немцам оно не к лицу...

И вот наступил день юбилея «Мюнхенского ферейна», мой день,— я участвовал в молодежном заплыве на короткую и длинную дистанции.

Луизенбадский бассейн до самой крыши украсили гирляндами бело-голубых флажков.

Первый председатель ферейна проводил в почетную ложу принца Альфонса, улыбка которого на этот раз выражала особую благосклонность.

Инженер Гейзов от имени «Всегерманского союза пловцов» произнес торжественную речь и закончил ее троекратным «гип-гип-ура!».

Было торжественно, как в церкви, когда гремит орган, или как на параде. Стоя со своей командой в строю, я чувствовал себя призванным совершить неслыханные подвиги, я жаждал взвалить на себя любые трудности, принести любые жертвы, показать себя героем.

После спортивного марша названо было шесть имен участников молодежного заплыва, в том числе и мое. Щеголяя выправкой, напружинив мускулы, мы двинулись к старту.

Едва раздалась команда «марш», как я, метнув взгляд в сторону почетной ложи и улыбающегося принца Альфонса, прыгнул в бассейн, до пояса вынырнул из воды при повороте и, подхлестываемый криками зрителей, повскакавших с мест, под возгласы «браво» и «ура» громко ударил в гонг у финиша. Я победил с преимуществом в четыре пятых секунды. Когда я снова взобрался на трамплин и раскланялся, принц Альфонс из своей почетной ложи поощрительной улыбкой дал сигнал к бурной овации. Аплодировал отец, увлекая за собой бабушку, маму и Христину, поневоле хлопали Фек и Фрейшлаг, и мне хотелось думать, что где-то в публике фрейлейн Клерхен, Ксавер, Мопс и Гартингер разделяют общее ликование.

Мой триумф не умалился оттого, что при заплыве на длинную дистанцию я занял третье место. Я обнял обоих соперников, опередивших меня; после собственной победы я искренне радовался чужому успеху. У победы широкие крылья, под их сенью хватит места для многих, я не хотел победы для одного себя, она доставила бы другим лишь горечь поражения. Многие вышли победителями в этот счастливый день. Какое счастье — вместе побеждать, иметь соратников, соратников в победе!..

Вечером в отеле «Баварское подворье» на Променаденплаце состоялась раздача призов и чествование победителей.

Представители иногородних водных ферейнов произносили речи и поздравляли с рекордными достижениями первого пред-

седателя нашего ферейна, господина Штеге, и нашего тренера, господина Штерна. Принц Альфонс лично взял на себя раздачу призов. Я был одет в цвета ферейна: белый картуз с голубой звездой и голубая куртка со значком. У принца Альфонса, одетого в форму полковника первого кавалерийского полка, тоже красовался на груди наш значок.

Когда принц Альфонс — с улыбкой! все с той же улыбкой! — вручил мне именной посеребренный кубок и возложил на мою голову лавровый венок с бело-голубой лентой, на которой золотыми буквами было оттиснуто: «Первый приз за молодежные состязания», я, стоя среди своих премированных товарищей, повернул голову и увидел себя в большом стенном зеркале, себя — героя, увенчанного славой.

Да и отец был, конечно, горд, прочитав на следующий день в «Мюнхенских новостях» мое имя среди победителей.

— Разве я не говорил всегда, что ты всего можешь добиться, стоит тебе только захотеть!

Мать любовно тревожилась:

— Как бы ты не надорвал здоровье...

А Христина испекла «пирог победы». Бабушка обещала нарисовать мой портрет, изобразив меня чемпионом по плаванию. В гимназии меня встретил хор радостных возгласов, на перемене профессор Зильверио остановил меня:

— Мы все гордимся выпавшей вчера на вашу долю честью,— сказал он.— Поздравляю!

Только «книжные черви» и скучающие графы проявили полнейшее равнодушие.

Я принял окончательное решение: стать всегерманским чемпионом по плаванию на короткие дистанции.

Решению своему я оставался верен много лет.

За это время моя комната превратилась в своеобразный музей. На стенах висели лавровые венки с лентами, книжная полка была заставлена призами: кубками, пепельницами и вазами,— а над кроватью красовались почетные грамоты и газетные вырезки.

Я усвоил жесты силача-атлета, и весь мир делился у меня на пловцов и непловцов, так же как был разделен для посетителей Луизенбадский бассейн, причем пловцов я, в свою очередь, различал по времени, какое они показывали на стометровой дистанции. Жизнь наполнилась смыслом, все обрело свою меру и место. Жизнь складывалась из стартов, дистанций и финишей,

из тренировок и расчетов,— хронометр никогда не подводил. Этот мирок содержался в величайшей опрятности, служитель каждый раз тщательно вытирал кабину, повсюду стояли плевательницы, плевать в воду не разрешалось. Можно было часами мыться под душем, душ смывал всякую грязь. Мы существовали друг для друга только с того момента, как надевали купальный костюм. Господин Штеге ничего не стоил, пока не облачался в белый картуз и голубую куртку, форму ферейна, и только тогда становился полноценным человеком, когда подходил к краю бассейна с хронометром в руках. Белый купальный костюм с голубой звездой исключал всякие темы для разговоров, кроме стилей плавания и длительности заплывов.

По примеру Фека, я приучился бессмысленно и грубо отмахиваться лаконическим «потому!» от всех вопросов, не входивших в сферу моего мирка, ограниченного Луизенбадским бассейном. «Шут гороховый, дурак безмозглый!» — потешался я над собой, мысленно возвращаясь к тому злосчастному времени, когда еще задавался вопросом «почему». Доискиваться причин казалось мне теперь ребячеством, недостойным мужчины. Как непловец, бабушка, конечно, не понимала этого и время от времени принималась увещевать меня:

— Неужели ты до сих пор увлекаешься плаванием? Это просто сумасшествие! Ты ни в чем, к сожалению, не знаешь меры!

Старомодная, отставшая от века женщина говорила мне это в то самое время, когда я готовился к борьбе за звание всегерманского чемпиона! На финальные состязания в Берлине ожидали самого кайзера. Во сне я не раз плыл и плыл мимо трибун, прямо в императорскую ложу, и кайзер самолично прикреплял мне на грудь орден, хотя на мне не было ничего, кроме купальных трусиков.

Белые трусы с голубой звездой я и днем носил под обычным платьем и не снимал даже на ночь, ложась спать, так что в любую минуту мог доказать свою принадлежность к «Мюнхенскому ферейну» и всегда был готов к старту.

Здороваясь, я с победоносным видом бросал приветствие пловцов: «Счастливой воды!»

Входил в моду новый вид плавания — «темп-хили», названный так по имени австралийца Хили и дававший несравненно лучшие результаты, чем испанский стиль. Я тренировался в плавании стилем Хили постоянно: лежа, сидя, стоя. За обедом я, держа голову под водой, спокойно и плавно разводя ногами, далеко выбрасывая руки и загребая ими, как лопатами, внезапно ударялся о край стола — это я делал поворот в мел-

ком бассейне: я отталкивался от ножки стола и, повернувшись спиной к отцу и маме, плыл к финишу...

— Что с ним опять?

Отец вытягивал шею, стиснутую высоким крахмальным воротничком с отогнутыми уголками, и, мысленно став навытяжку, настораживался: а не страдает ли тут престиж государственной власти? Топорщась, стояла навытяжку его крахмальная манишка.

— Он, видно, тренируется,— отвечала мама.

— От него в доме одно беспокойство,— говорил отец и снова принимался за еду, с трудом ворочая шеей в высоком воротничке.— Дело тут, конечно, совсем не в плавании! Держу пари. Меня не проведешь. Говорите что угодно.

Иногда летним вечером мы, составив велосипеды, усаживались в Унгерербаде за длинные деревянные столы выпить молока и закусить, и до меня вместе с звуками гармони доносилось дуновение той жизни, которую я давно забросил и забыл. В этом дуновении печально и настойчиво звучал и бабушкин вопрос: «Доколе?» Я уже проплыл свою дистанцию, на этой дистанции все финиши пройдены, и в самой дистанции никакого смысла нет,— что же дальше?! В один из таких вечеров я обнаружил, что с меня довольно: я внимательно оглядел своих коллег. Меня с ними ничто больше не связывало. «Что за убогая компания!» — выругался я презрительно, и только мысль «что дальше?» еще удерживала меня. Но я уже прикидывал, под каким предлогом покончить с плаванием и выйти из «Мюнхенского ферейна». Господин Штеге, этот сверхидиот, строящий из себя в ферейне Бисмарка, и господин Штерн, покрикивающий на нас и дрессирующий нас по своему дурацкому хронометру, услышали бы от меня сейчас немало неприятных вещей. И этому расфуфыренному шуту, принцу Альфонсу, хотелось мне выложить все, что я думаю, «сказать ему пару теплых слов» насчет его фальшивой улыбочки. Разве все это не скоты и пройдохи?! Кто же втянул меня в это плавание? Удружил я себе, нечего сказать! Безумие, да и только!

А в кабинах...

Мастер по прыжкам долго приставал ко мне и наконец заперся со мной в одной из кабин. Как раньше я заглядывал во все комнаты пансиона Зуснер, так теперь я подсматривал в щелку, что делается в кабинах; я уже наперед признался в этом директору Ферчу. Теперь наконец я начал понимать, в

чем заподозрил меня отец, когда узнал, что я сижу наедине с фрейлен Клерхен в беседке счастья. Теперь я догадывался, чего хотел Кадет, преследовавший меня своими нежностями, и что делал Фек, этот коротконогий, пучеглазый, широкоротый Фек, с Дузель, чем, вероятно, довел ее до смерти! Значит, люди еще отвратительнее, еще злее, коварнее, чем я предполагал, а немногие хорошие люди гораздо лучше, чем я думал о них. «Спасибо и вам, фрейлейн Клерхен!» — обращался я куда-то вдаль.

Возможно, мне удалось бы завоевать звание всегерманского чемпиона, если бы мои отметки по всем предметам не ухудшились до такой степени, что к концу года переход в следующий класс оказался под вопросом. Тут уж вмешался отец. Он заставил меня заниматься с репетитором, и так как я назло ему все-таки усердно посещал ферейн, он написал нашему первому председателю, заявив о выходе своего сына из «Мюнхенского ферейна». С бесстрашием романтических героев, спокойно смотревших в глаза смерти, я заявил отцу протест, вступился за честь ферейна и поклялся до гробовой доски сохранить верность господам Штеге и Штерну. Но едва я очутился в своей комнате, наедине с собой, как пыл мой мгновенно угас. Разве вся эта дурь имела какое-нибудь отношение к плаванию? Опять что-то скрывалось за ней. Так выйди же из засады, ты, толкающий меня на все эти дурацкие выходки. Я готов был оправдать отца, если бы только не его письмо председателю...

Вскоре я уже посмеивался над своей преданностью ферейну и особенно над пристрастием к купальному костюму, с которым не расставался ни днем, ни ночью. Собрав в кучу все кубки, лавровые венки и почетные грамоты, я сунул их в самый нижний ящик шкафа.

Плавание, дурацкое плавание!

Близ Эхтердингена сгорел цеппелин, испанцы воевали с рифами и кабилами, итальянцы — с турками, в Китае вспыхнула революция, пошел ко дну «Титаник», и с ним тысяча шестьсот человек, Райт и Фарман сконструировали самолеты, из Лувра украли «Монну Лизу» — а я плавал, плавал...

А в Барселоне — может быть, в ту минуту я как раз стартовал или делал поворот в мелком бассейне — расстреляли Феррера, проповедника анархизма, организовавшего там вос-

стание. Имя Феррера передавалось из уст в уста, на улицах то и дело слышалось «Феррер», в классе школьники собирались вокруг Левенштейна, рассказывавшего об анархисте Феррере... Но в Луизенбадский бассейн это имя не имело доступа: там раздевались в кабинах, принимали душ, плавали, насухо вытирались и уходили.

— И куда ты все плывешь? — спросил меня однажды Левенштейн.— Ты, пожалуй, наплавал уже столько, что можно бы переплыть океан от Европы до Америки!

— Куда плыву? Погоди, увидишь...

И вдруг, на мгновение, мне и самому начинало казаться, что мое плавание бесцельно, хотя на каждом соревновании особая дощечка указывала «финиш»...

Я плавал, а «книжные черви» горячо обсуждали новую пьесу под названием «Пробуждение весны». Повсюду наигрывали, напевали и насвистывали популярные мотивы из «Принцессы долларов», «Волшебного вальса»... А я плавал.

Проплыл мимо меня, пока я мысленно плавал, и громкий разговор в гостиной во время одного из наших музыкальных вечеров: отец и майор Боннэ с большим оживлением спорили о некоем Ницше.

Мама с бабушкой побывали на выставке. Там, видимо, были ужасные картины — обе пришли оттуда потрясенные и не переставали наперебой растерянно причитать:

— Нет, я отказываюсь понимать этот мир! Нет, я отказываюсь понимать этот мир!

Мне мир был понятен,— мой мир был легко обозрим, раз в неделю в нем сменяли воду,— я ходил в Луизенбадский бассейн и плавал.

Ах, эти «книжные черви»! Никто из них не умел плавать, оттого-то они и бегали на всяких «Кавалеров роз», шныряли по библиотекам и входили в раж по поводу какого-то «Юродивого во Христе, Эммануэля Квинта». А скучающие графы — им, собственно, не мешало бы смыть в бассейне свой сплин. Да и Гартингеры, пожалуй, никогда в жизни не видели настоящей воды, а стоило бы им поплавать, и их брюзжание как рукой сняло бы... Темпы! Одна пятая секунды, вот что важно, а не ваши «грядущие времена»...

Счастливой воды!

Так-то я плавал. Наплавался вволю. Проплыл всю дистанцию из конца в конец.

XXXIV

«Мюнхенский ферейн водного спорта» не давал надежного забвения. Жизнь ферейна все же оставляла какие-то щели, сквозь которые просачивались извне всякие беспокойные веяния. Я пришел к выводу, что моя попытка обеспечить себе надежное забвение потерпела крах... О, как я завидовал всей этой безмозглой неутомимой ферейновской братии, всем этим бездельникам, которые играют в деловитость и коротают свой век в шумливой суетне. Опасные вопросы, великие «зачем» и «почему» не проникали в сферу их деловитой шумихи. Так, значит, исполнение долга, торжественный обет, который вы даете, заключается во взаимном обязательстве хранить молчание? Прикидываетесь тупицами, вытягиваетесь во фронт только затем, чтобы молчать... А может быть, ваша тупость не так уж бессмысленна, быть может, это высшее благоразумие, даже мудрость, и ваше стояние навытяжку дает вам устойчивость, единственно возможную в этом непрочном и вечно неустойчивом мире! Своей непрестанной суетней вы оглушаете себя, только бы не прийти в сознание. Сколько же подлинного человеческого счастья приносит вся эта суетня? И сколько на свете всякой мелочной дряни, если она может до конца дней заполнить человека? Выходит, что жизнь главным образом сводится к тому, чтобы в суетне находить забвение. Когда же, наконец, и я обрету его?

Страсть к «дурацкому плаванию» я действительно вскоре преодолел, но примириться с письмом, которое отец отправил председателю «Мюнхенского ферейна водного спорта» все равно не мог.

От мысли об этом письме кровь приливала к мозгу, нервной дрожью билась в каждой жилке, когда я стоял перед отцом. Что подумал обо мне господин Штеге, наш первый председатель, когда о моем выходе из ферейна заявил не я сам, а отец? До каких же пор отец будет распоряжаться мной?!

— Очень просто,— отвечал отец,— до тех пор, пока ты не начнешь зарабатывать себе на жизнь. Тогда будешь независимым человеком.— Но эту независимость опять нельзя считать независимостью, ибо я достигну ее по милости отца... Я — независимый человек! А сам отец разве может назвать себя независимым?

Я вернулся в мир из Луизенбадского бассейна, точно с загородной прогулки. Этот мир был полон радостных воспоминаний: Христина, Ксавер, фрейлейн Клерхен, бабушкины картины и ее игра на рояле; он излучал теплый свет; светился и лесной Охотничий домик, отодвинувшийся, однако, так далеко, что туда уже и весточки не подать. Но и страхи, населявшие этот мир, не рассеялись: по-прежнему существовали директор Ферч, учитель Голь и особенно вездесущий отец, который сочинил вместо меня письмо в ферейн и с неослабевающей строгостью наблюдал за тем, как я готовлю уроки. При этом меня не столько пугало, что в любую минуту я могу получить затрещину или подзатыльник, сколько тревожила судьба предметов, которые, ничего не подозревая, так безобидно стояли на столе и на комоде; стоило отцу найти у меня ошибку, и все эти предметы летели в стену или на пол и разбивались с звенящим стоном. Эти звенящие стоны, стоны жертв домашних баталий, были острее физической боли,— мучительной, звенящей болью отдавались они в мозгу.

В такие минуты отец, думалось мне, хотел, чтобы весь дом сотрясался от звона. Он цеплялся за всякий предлог, только бы что-нибудь разбить. Ошибки в моих домашних работах были пустой придиркой. Дело было не в ошибках, совсем не в них. Отец восставал на весь свой дом, на строгий порядок, созданный его собственными руками. Он с радостью разрушил бы все это, он жаждал увидеть перед собой развалины, словно жизнь тогда началась бы сначала и пошла бы совсем по-иному.

В эти минуты ужасающего звона, когда я растерянно озирался по сторонам, взор мой устремлялся к Темному пятну, и я видел его таким, как в тот раз, в Охотничьем домике. Темное пятно, наверное, продолжало жить и в крови отца, время от времени давая о себе знать в звенящем буйстве.

В то же время отец приходил в ярость, как только заговаривали о праздновании Первого мая.

— А что в этом страшного? — спрашивал я, прикидываясь дурачком.— Все было так тихо, мирно, не понимаю, чего ты волнуешься, пускай их празднуют свое Первое мая.

В петлицах у них были красные гвоздики. Матери и отцы везли детские коляски. Мелькали ноги в спортивных шароварах, женщины и мужчины попарно катили на тендемах. Вся процессия, подчинявшаяся указаниям полиции, представляла собой самую мирную картину, а мне ужасно хотелось услышать что-нибудь враждебное существующему строю, но ничего такого не было, и я недоумевал, почему господин Зигер тогда,

в Охотничьем домике, возлагал все надежды на этих бравых обывателей. Интересно, Гартингер тоже был с ними?

— Что страшного? Дубинками разогнать! Дубинками! — вне себя взвизгнул отец и, обрушившись на ни в чем не повинную вазу, со всего размаху грохнул ее об пол. Мне пришлось собирать осколки, мать же со словами: «Я этого больше не вынесу!» — убежала и заперлась в гостиной. «Чего он в конце концов хочет? — спрашивал я себя, ползая по полу.— Дом свой, который он называет государством в миниатюре, готов разнести в куски, и в то же время его бесит, что не запрещают праздновать Первое мая, хотя, в сущности, он бы должен стоять за празднование». Потому! Потому! — чеканил шаг отец, маршируя взад и вперед по комнате, словно хотел этим привести себя в чувство. Он делал «Равнение направо! Равнение налево!», вытягивался во фронт и рвал запертую дверь гостиной.

— Отопри! Сейчас же, слышишь? Не то...

Мне казалось, что в ту минуту, когда отец колотил кулаком в дверь, он сам готов был себя растерзать. Оттого-то, верно, он и затевает ссоры с матерью или придирается к Христине, что он не в ладу с самим собой. Не потому ли он кричит, что хочет перекричать какой-то голос внутри себя? Нередко, когда он говорил со мной, я понимал, что дело не во мне, что он словно убеждает в чем-то самого себя. Быть может, мы часто причиняем зло людям не потому, что они вызывают нас на это, а просто мы не в силах удержать в себе того, что рвется наружу, и обрушиваемся на кого-нибудь...

Роясь в ящиках своего стола, где было спрятано все запретное, я вместе с «Искусством чревовещания» раскопал тетрадку, куда записывал в Охотничьем домике свои стихи. В ней было заполнено всего несколько страниц. Хотя стихи показались мне теперь слабыми и беспомощными, все же их музыка воскресила в душе смелые надежды той поры. Они были зыбким мостом к тому, что я называл в себе «добрым началом». Перечитывая стихи и декламируя некоторые из них про себя, я открыл чистую страницу и четким почерком написал сверху: «Ганс-счастливец». Вдохновленный сказкой о «Гансе-счастливце», я начал сочинять в стихах повесть о поисках счастья.

Сидя над чистой страницей, я словно глядел не на белый листок бумаги, а в некое волшебное зеркало; его безупречная гладь способна была отразить все, что меня тяготило. Все мои беспорядочно разбросанные мысли и чувства собирались воедино, и я мог охватить их внутренним взором.

Перо быстро летало по бумаге, я едва поспевал за ним.

Ганс-счастливец, сын почтенных родителей, получил «первоклассное воспитание», которое обязывало его обрести счастье. Счастье же заключается в том, чтобы стать полезным членом общества, иначе говоря, успешно выдержав все необходимые экзамены, добиться положения важного и обеспеченного чиновника с правом на пенсию. Ганс-счастливец, однако, упрямо не желал вступить на этот путь к счастью. Тогда воспитатели, заботившиеся о его счастье, насели на него: «Строй свое счастье! Строй свое счастье! Не хочешь добром, найдем способ силой навязать тебе счастье!» Между тем Гансу-счастливцу казалось, что подлинное счастье совсем не там, куда вели его чиновники по ведомству счастья. Украдкой выбрался Ганс-счастливец, «дитя, родившееся в рубашке», на волю. Блюстители счастья преследовали его, но он умел их обойти, навести на ложный след и, смело действуя, неизменно ускользал от этих губителей счастья. Тихим, певучим голосом говорило с ним счастье, в плавных взлетах качелей открывалось ему оно. Но надо было найти мерило счастья. В поисках счастья нельзя было уповать на счастливый случай. Ганс-счастливец все думал да гадал, где же она, тропа счастья? Искателю счастья все еще не было ясно, что же такое «счастье»? Он мог, правда, сказать: нет, этого счастьем назвать нельзя, или: то, что вы превозносите как счастье, сулит только несчастье. Но если кто-нибудь нетерпеливо спрашивал: «Так в чем же оно, твое расчудесное счастье?» — Ганс-счастливец толком объяснить не мог. У него был друг, но дружба с ним была ему заказана, потому что друг этот знал, в чем истинное счастье...

Вот до этого места я довел свою повесть и уже собирался замысловатым росчерком вывести «продолжение следует», но тут вошел отец, пожелавший проверить, как обстоит дело с уроками на завтра.

Было совершенно очевидно, что я и не думал заниматься уроками, никакая ложь не могла спасти положения.

Отец схватил тетрадку со стола.

— Ага!.. Так-то ты готовишь уроки!.. Нечего сказать, хорошенькие гадости! Срам!

На «гадости» я перестал реагировать еще с тех пор, как меня так несправедливо заподозрили в другого рода «гадостях», а выражение «хорошенькие гадости» показалось мне очень смешным, и я с любопытством наблюдал за отцом, который стал читать тетрадь, страница за страницей.

В то же время я следил за каждым его движением, готовый вырвать тетрадь из его рук, если бы он вздумал забрать ее.

Лицо отца помрачнело:

— И откуда такое у мальчишки?! — Но в его недоуменном возгласе чувствовалось все же невольное уважение.

— Достойная же у тебя, видно, компания! — воскликнул отец; он все еще читал стихи, до рифмованной повести он еще не дошел.

— Мальчишка! — вырвалось у него, когда он принялся за повесть.— Да какой еще мальчишка! — И он вполголоса продолжал читать.

«То ли еще будет!» — не терпелось мне его поддразнить, но как раз в том месте, где «с правом на государственное обеспечение» рифмовалось у меня «я не давал ему такого поручения», он ударил меня тетрадью по голове; я схватил тетрадь, и между нами началась борьба. Наконец со словами: «Этакий паразит! Что только он себе позволяет!» — отец вырвал у меня из рук истерзанную тетрадь.

«Паразит... гм, кто это паразит?! А как назвать того, кто в заботах о паразите отсекает голову Кнейзелю!.. Гм...» Я молча скрежетал зубами вслед отцу. «Погоди же у меня: «Короткий век не редкость среди гор...»

Я слышал, как в столовой он читал матери отдельные места из моей сказки и потом сказал:

— Будь он совершеннолетним, его следовало бы посадить за решетку... Ему явно не терпится угодить в тюрьму... Ну и фрукт, еще и стихи кропает!.. И все это валится на мою голову!

— Мальчишка, что с него спрашивать,— успокаивала его мама.

Потом по всему дому захлопали двери, и наступило зловещее безмолвие.

Я уже привык к такому безмолвию, длившемуся целыми днями,— это было как бы осадное положение, которое родители объявляли мне.

В этом безмолвии я занялся восстановлением первой части моей повести «Ганс-счастливец». Отныне, чтобы застраховаться от случайностей, я переписывал все свои стихи в двух экземплярах и прятал их в самые потайные уголки — точно оружие, которое прячут, чтобы когда-нибудь извлечь его для открытого боя. Но с продолжением «Ганса-счастивца» так ничего и не

вышло. Хотя я и вывел на сцену вестников счастья, которые провозглашали истинное счастье и подвергались гонениям со стороны множества его фальсификаторов,— полицейские арестовывали добрых вестников, прокурор требовал наказания,— все же изложить, в чем состоит истинное счастье, мне никак не удавалось, никто из вестников счастья не мог внятно рассказать об этом, все они только произносили пышные пространные речи. Дальше поисков счастья и вопросов: «Где же счастье? Что же такое счастье?» — дело не пошло. В страну счастья можно было отправиться на корабле под знаком счастливой звезды. Корабль, благословенный корабль плыл туда...

Но вот молчание улеглось, отец снова отвел разговорам со мной скромное место, и тогда, стараясь хоть сколько-нибудь вознаградить себя за пережитое, я изобрел так называемые «мучительные вопросы». Назначение «мучительных вопросов» заключалось в том, чтобы поставить человека в неловкое положение, обнаружить его невежество в той или иной области. Я охотно спрашивал и о вещах, мне уже известных, таким образом проверяя, в какой мере мой собеседник придерживается правды.

Для этого надо было самому запастись кое-какими знаниями. И тут свершилось чудо: я, всегда пренебрежительно относившийся к чтению, стал жадно поглощать книги. И до того увлекся, что вскоре позабыл о причине, побудившей меня приняться за чтение: ведь я имел в виду только «мучительные вопросы», которые выискивал со специальной целью отомстить отцу; и вдруг почувствовал такую неистовую жажду знания, что едва мог утолить ее, читая без разбора все, что попадалось под руку.

Мне нравились книги о необычайном и страшном. Я любил произведения, в которых было много таинственного, недосказанного, оставлявшего достаточно простора для фантазии. В ту пору я читал с интересом только то, что позволяло, переворачивая страницу за страницей, уноситься в туманные дали. Точно боясь набрести где-нибудь на Темное пятно, я всегда перескакивал через страницы, где описывались реальные события, я не хотел ничего, что отрезвляло, мне нужно было только опьянение. Таинственную и притягательную силу имела для меня хранившаяся у бабушки книжка из наследства дяди Карла. Она была в светло-желтом переплете с причудливым рисунком, изображавшим чудовище, похожее на дельфина, в пасти

которого нагой мальчик играл на флейте, и называлась «А ты, любовь...». Имя автора было Рихард Демель. Мне никак не удавалось стащить эту книгу, бабушка, по-видимому, заботливо берегла ее. Однажды книга исчезла.

Даже «книжные черви», к которым я обратился, не могли ничего сказать мне, пока наконец Левенштейн не разузнал, что Демель «символист»; за этим словом мне чудилось нечто загадочное.

И вдруг я обнаружил пропавшую книгу. На этот раз — на отцовском письменном столе. Нелегко было подобраться к ней; через замочную скважину я выследил, что отец, кончая чтение, каждый раз особым образом укладывает книгу на письменном столе, так, чтобы без его ведома никто не мог сдвинуть ее с места. Он обводил книгу со всех сторон тонкими карандашными штрихами, сверху клал пресс-папье, пунктиром обозначал его точное положение, в самую книгу закладывал лист бумаги, предварительно заметив страницы, между которыми он вложил лист, а положение листа, в свою очередь, соответствовало строго отмеренному углу. Так и была бы эта книга приманкой, которая, несомненно, завлекла бы меня в западню, не подсмотри я случайно, как отец расставляет свою ловушку.

Однажды родители ушли из дому.

И вот она передо мной, желанная книга, скованная со всех сторон так, что, кажется, никакими силами не сдвинешь ее с места. Только зарисовав положение книги, чтобы потом точно воспроизвести его, я отважился к ней притронуться и раскрыл ее.

Чудесным, неслыханным повеяло на меня с ее страниц. Чем туманнее, непонятнее звучали стихи, тем скорее я готов был усмотреть в них высшее откровение. В ту пору я видел сущность поэзии в затемнении ясного и светлого, в затушевывании и стирании контуров четкого и очевидного, в подмене определенного расплывчатым. В этой книге я нашел неожиданное утверждение собственной сумбурности, жизнь явилась мне как извечный хаос, как беспокойное блуждание от одного ничто к другому. За одной глубоко скрытой причиной пряталась другая, цепь причин уводила в бездонность, а там, в бездне, притаилась страшная истина.

Когда же на страницах книги забушевала песнь «Моему сыну», мне показалось, что это мою судьбу описывает автор и издалека шлет мне совет:

Когда отец на склоне дней
Твердит о долге сыновей,
Не слушай, сын мой, будь умней!

Я сразу почувствовал себя созревшим и достаточно сильным, чтобы вступить в бой с отцом, с государством, которое ежедневно садилось со мной за стол. Поместив книгу обратно в очерченную для нее рамку, я высоко поднял голову и, чувствуя себя исполином, зашагал по комнатам. В гостиной, перед портретом матери на мольберте, я остановился и продекламировал:

Не изменяй себе, не изменяй!

* * *

— Скажи, пожалуйста, отец,— простодушно спросил я за обедом,— кто открыл витамины? — И еще: — Кто впервые использовал машину высокой частоты для непосредственного получения электрических волн?

— За обедом не разговаривают.

— Но мне необходимо это знать. И потом — что такое психоанализ? А еще объясни мне, пожалуйста, что это за комета Галлея?

Отец мрачно и сосредоточенно молчал. Но как только он покончил со сладким, я снова приступил к допросу:

— А какое значение имеет преломление рентгеновских лучей и что такое «оптофон Фурье»? И, пожалуйста, расскажи мне толком об «эхолоте фон Бема».

— Послушай,— не удержался отец,— что это на тебя опять нашло, почему ты интересуешься только такими вопросами, которые не имеют никакого отношения к школьным занятиям? Кто тебе вбивает все это в голову? Что за невоспитанность!

— Ему просто интересно,— сочувственно заметила мама.

— Так почему же его интересует только то, что заведомо не имеет к нему никакого отношения? Оставьте меня в покое, вы оба!

«Вы оба!» — Я торжествующе посмотрел на маму.

«Не изменяй себе, не изменяй!» О, если бы я мог взять ее за руку и вместе с ней покинуть отца!..

Отец согласился наконец сыграть со мной в шахматы. Я достал из книжного шкафа шахматную доску и торжественно разложил ее перед ним. Высыпал на стол все фигуры: некоторые были с отбитыми головками. Отец сидел, ничего не подозревая, мы бросили жребий, и я подстроил все так, чтобы отцу достались черные.

— На что играем? — любезно спросил я деланным голосом.

— На первенство.

Я пошел на кухню, вымыл руки и щеткой пригладил волосы.

— Тебе начинать! — В голосе отца чувствовалась уверенность.

Я заучил исключительно редкий «дебют Дюфрена», и мне удалось навязать этот дебют отцу. Он сразу же потерял две пешки.

Отец начал проверять, не произошло ли какой-нибудь ошибки в расстановке фигур. Оказалось, что все фигуры на месте.

— Непостижимо!

— Брать ходы обратно не полагается, папа, а вот ты тронул коня и, значит, должен пойти им.

В дальнейшем, при размене фигур, я выиграл слона.

— Ну, это не игра! — начал было отец.

— Конечно, не игра! — поддержала его мама; она сидела тут же со своими спицами и заставляла меня объяснять ей ходы.

— Как не игра?! Игра по всем правилам! — Я старался говорить сдержанно, чтобы преждевременно не выдать своего торжества.

Мамины спицы лежали на столе, они тоже следили за игрой.

— Твои дела совсем не так плохи, ты еще можешь выиграть,— подбодрял я отца, опасаясь, как бы он не прервал партию.

Я увидел, что отцу не по себе. Мама спросила:

— У тебя голова болит?

— Ах, оставь, не мешай, пожалуйста! — раздраженно ответил он, шныряя глазами по доске и по фигурам в поисках спасительного хода.— М-да, м-да, неважно, очень неважно,— мычал он, подпирая голову рукой, словно у него начиналось головокружение, как тогда, при восхождении на гору.

Так вот оно что! Сам отец стал в тупик, в тупик стало государство, государственный отец! Бывает, значит, что и он, важный государственный чиновник с правом на пенсию, не знает, как ему быть дальше... Ожидание бесспорной победы веселило меня, обида и горечь против отца улеглись, смягченные близостью благоприятной развязки. Я намеренно оттягивал ее и еще некоторое время гонял взад и вперед по доске его беззащитного короля.

Дверь в гостиную была открыта. Портрет матери на мольберте мог тоже участвовать в игре. Отец сидел у стала неподвижно, точно стеклянный.

— Да не тяни, хватит тебе! — взмолился он наконец, и тогда, захватив кончиками пальцев слона, я двинул его наискосок и мягко остановил на одной из черных клеток.

— Мат!..

— Теперь мне многое понятно! — сказала мама, входя за мной в мою комнату.— И та давнишняя история с топором... Так давно это было, ты спокойно мог бы мне во всем признаться.

— История с топором? Право же, мама, я ровно ничего не помню!

— Разве не ты положил или, вернее, оставил однажды топор у дверей спальни? Тебе тогда едва минуло шесть лет...

Я действительно позабыл эту давнишнюю историю с топором. А случилось вот что: как-то ночью отец неожиданно вернулся из Берлина, и мне пришлось освободить его кровать, которая стояла рядом с маминой и на которой мне разрешалось спать в его отсутствие. Я на цыпочках пробрался в кухню, чтобы достать топор. Он был такой тяжелый, что, даже обхватив его обеими ручонками, я едва мог поднять его. Но что я собирался делать с топором под дверью родительской спальни?! Заглянув в замочную скважину, я увидел, что отец склонился над матерью, точно собирался задушить ее, мать же в неверном мерцании свечи улыбалась, улыбалась. А на груди у мамы, прогнавшей меня с кровати и взявшей к себе отца, узкой преградой лежала ее обнаженная белая рука. Она, и только она, эта рука, заставила меня отступить. Ведь эту руку мне пришлось бы прежде всего убрать. Неожиданно до меня донеслось похрапывание Христины, я забыл о топоре и обратился в бегство... Всю ночь топор пролежал в коридоре у порога спальни... И письма отца к маме, которые он писал тогда из Берлина, я перехватывал; я подкарауливал почтальона на улице, спрашивал: «Нет ли чего для Гастлей», и, если было письмо, рвал его на мелкие кусочки, целыми днями носил при себе обрывки, пока не выбрасывал их в мусорное ведро. И письма мамы к отцу, которые я вызывался опустить в почтовый ящик, я тоже рвал на мелкие кусочки, а позднее разыгралась эта история с топором.... Отец учинил следствие, Христину заставили давать показания, отец подверг ее суровому допросу, были обследованы окна и двери, что-

бы выяснить, не побывали ли у нас воры... И вот, спустя столько лет, мать спохватилась: «Теперь мне многое понятно!..»

— Нет, мама, я серьезно не знаю, о чем ты говоришь. Что это за история с топором?

— Ну, что ж, тем лучше, если не знаешь. Это я так. Мне что-то померещилось, когда вы играли в шахматы...

Мама обвила мою шею рукой.

Она улыбалась, стоя в полосе света.

XXXV

Бабушка умирала.

Она лежала в пышном облаке подушек. Лицо ее покраснело и вздулось, изо рта вырывалось горячее, прерывистое дыхание. На этом трудном пути она уже не могла присесть на скамеечку и отдохнуть, смерть не давала ей передышки; задыхаясь, бабушка уходила от нас все выше и выше, точно смерть была где-то очень высоко, откуда открывались широкие просторы.

Жужжала муха. И казалось, жужжание это исходит от бабушки.

Нелегко было сосредоточиться на мысли, что бабушка умирает, когда в комнате витала Аста Нильсен. С тех пор как я увидел Асту Нильсен в кинематографе на Дахауэрштрассе, она всегда витала передо мной. Мерцающий экран превратился в нездешний мир: покойная Дузель, успевшая стать взрослой, сидела за столом и, играя глазами, грациозно вкушала всевозможные райские яства. Выйдя из-за стола, она не касалась пола ногами, а парила в воздухе. Ее звали теперь Аста Нильсен. Не странно ли, что Фек, на мой вопрос: «Скажи, ты еще вспоминаешь когда-нибудь о Дузель?» — ответил: «Да, когда я смотрю на Асту Нильсен, я невольно вспоминаю Дузель».

Аста Нильсен парила здесь, и это делало смерть легкой, в ее присутствии смерть становилась чем-то вроде воспарения.

Старомодный шкафчик стоял в углу, теперь уже безопасный, запертый, утративший свою притягательную силу. Вся комната готовилась к смерти бабушки: ждали соломенные плетеные стулья, уставившись на бабушку множеством испуганных любопытных глазков, и спинки их так тянулись вверх, что даже похудели; ждал стол, заваленный салфетками, заставлен-

ный всякими мисочками и пузырьками из-под лекарств; ждала лампа, уныло и боязливо мигая.

Бабушкина смерть была всюду, весь дом заполонила бабушка своей смертью.

Отец, мама, дядя Оскар, тетя Амели — все нерешительно и растерянно слонялись по комнате, все просили друг друга отойти, не мешать, все путались под ногами друг у друга.

Бабушка лежала лицом к стене. Одной рукой она водила вверх и вниз по стене, точно рисовала что-то,— уж не последнюю ли свою картину? Мне хотелось услышать поступь смерти, но мама и тетя Амели всхлипывали и сморкались, и это всхлипывание и сморкание вспугивало своими шурщащими звуками тишину.

Так же как и фрейлейн Лаутензак, бабушка умирала в одиночестве, хотя вокруг нее собралась вся семья. Каждому хотелось ускорить конец, чтобы открыть окна и убежать подальше. Все бежали от смерти, и я тоже бежал что было сил; я мчался мысленно на край света, но смерть бежала за мной по пятам и нагоняла меня. Опять я умирал, умирал вместе с бабушкой.

— Простись с бабушкой. В последний раз!

Отец подвел меня к кровати, я шел на цыпочках.

Сдавленное хрипение неслось из глубины подушек. Одеяло вздымалось и опускалось при каждом вздохе. У меня было ощущение, что все вздымается и опускается вместе с одеялом, что все, хрипя и сипя, начинает качаться. Взъерошенное лежало на кровати одеяло — под ним неистовствовала смерть. Я осторожно дотронулся до бабушкиной руки, одиноко покоившейся на одеяле, словно ее тут бросили. Бабушка смотрела на меня одним приоткрытым глазом, и ее слепой, угасающий взгляд так испугал меня, что я быстро, не спросясь у родителей, убежал в кухню.

В темном коридоре мне почудилось, что бабушка поет мне вслед дрожащим голосом: «Гансик-крошка вышел на дорожку, и пошел по белу свету он шагать». Потом вдруг меня обступила тишина, стало тихо, как в могиле.

В кухне все было прибрано: кастрюлька, в которой бабушка варила шоколад, блестела, как новая, и пахла наждаком.

Убегая подальше от слепого, угасающего взгляда, я высунулся из окна: словно иллюминация, зажженная в честь умирающей бабушки, горели сегодня фонари. Мы часто сидели с бабушкой у окна, глядя на улицу в час, когда фонарщик пере-

ходил от фонаря к фонарю со своим длинным шестом. Я отодвинулся, чтобы дать бабушке место на подоконнике; только маленькой бархатной подушечки не было теперь, подушечки, которую бабушка подкладывала себе под локти, когда высовывалась из окна.

В кухню вошла мама, она склонила голову набок и, всхлипнув, сказала:

— Ступай одевайся, мы уходим... Бабушка мирно уснула.

— Мирно уснула...— повторил отец, и в голосе его прозвучало такое явное удовлетворение, как будто и смерть, подчиняясь его указаниям, протекала в полном порядке.

Вот опять они обманывают себя; мне стало тошно,— какие могут быть разговоры о мирном сне, разве с таким слепым, угасающим взглядом можно уснуть мирно? Этот «мирный сон» нужен им для того, чтобы отмахнуться от смерти.

Было приятно верить в загробный мир, от этого жизнь становилась уютнее. Я тоже верил в непреходящую жизнь. В каждом человеке заложена потребность продлить свое существование по возможности в более совершенном, идеальном воплощении; эту вот насущную потребность и удовлетворяет вера в загробную жизнь. Слепой, угасающий взгляд бабушки, которым она прощалась со мной, убил во мне такую надежду. Все обман, сплошной обман! На него идешь, надо же как-нибудь примириться с тем, что ты родился на свет. Обман может быть неуклюж или же искусен, обман может быть безобразен, туп или, наоборот, утонченно прекрасен,— не в этом дело, цель всегда одна: обманом увести человека от жизни. Ибо никто не в силах вынести постоянного напоминания о том, что когда-нибудь всему придет неотвратимый конец. Тут уж хочешь не хочешь, а приходится изобрести себе какой-нибудь обман и с головой окунуться в деловитую суету, ибо она дает забвение. Разве отдаваясь идиотскому увлечению плаванием, я не забыл обо всем на свете? А ведь на этот глупейший обман я ухлопал часть своей жизни. И разве с фрейлейн Клерхен я не забывал все на свете? То был прекрасный любовный обман. Человек, думал я, истинно велик в своей способности изобретать всяческие нужные ему в жизни обманы. И пусть эти обманы сериями изготовляются для него на фабриках обмана, ему не тошно, нет, наоборот, только обманом он сохраняет себе жизнь. Каждый человек, как бы он ни был глуп, гениальный обманщик.

Смерть человека приносит столько всевозможных хлопот его близким, что им уже не до горестных размышлений о покойном.

Прежде всего надо было оповестить всевозможные официальные инстанции, затем дать траурное объявление в газетах и распорядиться насчет похорон. Далее предстояло вскрытие завещания, обязательно в присутствии нотариуса. Заказать гроб взялся дядя Оскар, насчет венков и цветов обещала позаботиться тетя Амели, надписи на лентах вызвался составить отец.

— Какой гроб выбрать, ведь есть гробы на разную цену? — деловито осведомился дядя Оскар.

— Гроб за умеренную цену: по одежке протягивай ножки,— сказал отец.

— Женщина, что обряжает покойницу, спрашивает, какое платье надеть,— дождалась своей очереди Христина.

— Я думаю, черное шелковое, это было ее любимое платье, да оно больше всего и подходит,— трезво рассудила мама и крикнула вдогонку Христине: — Христина, достань барину сюртук. Мы с фрау гофрат едем в город за траурными шляпами. Для мужа и сына привезу креп, и ты нашьешь его, но только помни — на левый рукав чуть повыше локтя, а еще, Христина, не забудь отдать мое старое коричневое платье в окраску, траурные вещи красят срочно, в двадцать четыре часа.

— Ну, а как траурное извещение? В порядке? Ничего я не забыл? Вот послушайте еще раз: «Вместо особого извещения. Сегодня вечером после продолжительной и тяжелой болезни мирно опочила в бозе наша дорогая мать, бабушка и теща Генриетта Бюрк, урожденная Эйзенлор, вдова дурлахского аптекаря».

Отец нетерпеливо постукивал ручкой.

Дядя Оскар (*подумав*). После продолжительной, безропотно перенесенной болезни...

Мама. Наша горячо любимая мать...

Тетя Амели. Почтительнейшая просьба воздержаться от изъявлений соболезнования и от венков...

— Ну вот, опять придется заново переписывать! — И отец сердито положил перед собой листок чистой бумаги.— Но больше никаких поправок!

— А где же страховой полис? — Дядя Оскар задержался на пороге, он решил по пути забежать к нотариусу.

— Совершенно верно,— сказал отец и достал из ящика какую-то бумагу.

— Цветы принесли,— доложила Христина, появившись в дверях.— Платить сейчас будете?

— Конечно, сейчас! — укоризненно сказала мама.

— Какие-то они не очень свежие,— заявила тетя Амели, вернувшись из передней.— Жаль, что мы не взяли побольше красных роз.

Раздался звонок.

— Господин обер-пострат Нейберт.

— Проводите его в гостиную, Христина.

Звонок.

— Господин майор Боннэ прислал сказать, что сегодня он задержится на дежурстве и зайдет завтра.

— Ладно уж! — Отец подталкивал дядю Оскара к дверям.— Не позже чем через час мы вернемся, сначала зайдем к нотариусу, затем сдадим объявление: возможно, что в завещании покойной есть какие-нибудь особые посмертные распоряжения... Кстати... в церковный приход уже заявлено?

Что осталось после бабушки?

— Удовольствие, нечего сказать! — произнесла мама, расстроенно оглядывая беспорядок в комнате, между тем как Христина расставляла по местам стулья. Обер-пострат Нейберт сидел, забытый, в гостиной; чтобы напомнить о себе, он несколько раз громко кашлянул.

— Выйди к нему! — приказала мне мама.— Я себя плохо чувствую.

— Что мне делать с этой вонючкой?

— И не стыдно тебе? Не видишь, что ли, сколько хлопот из-за смерти бабушки?!

XXXVI

— Просто голова кругом идет! — И мама рванула гардины так, что они затрещали.— Куда только эти мужчины запропастились, не понимаю, ведь не могут же они столько времени торчать у нотариуса. Христина, ты отдала в окраску платье?

— Завтра вечером ваша милость получит его.

— Ведь окраска траурных туалетов производится срочно. Не понимаю. О, сколько хлопот!

Не снимая шляп и пальто, вошли отец и дядя Оскар.

— Христина, скорей подавай на стол! Почему вы так задержались у нотариуса? Не понимаю... Что ж это, вы как будто и не собираетесь снимать пальто?

Мама с укоризненным видом накрывала на стол.

— Нам не до еды, нельзя терять ни минуты,— сказал отец и присел в пальто к письменному столу.

— Что такое, ради бога?!

Мама вытолкала меня из комнаты.

Отец швырнул на письменный стол новую шляпу.

— Твоя мать, да, твоя мать соизволила оставить посмертное распоряжение, — отец оттолкнул свою шляпу так, что она откатилась,— чтобы тело ее сожгли, а пепел развеяли по ветру!..

— Не может быть! Ничего не понимаю!— воскликнула мама и, опираясь на тетю Амели, дала отвести себя на диван.

— Прах ты и в прах возвратишься,— пробормотала Христина.— Разве можно, ваша милость, идти против учения церкви?

Мама и тетя Амели дружно всхлипывали на диване.

Отец схватил помятую шляпу и расправил ее.

— Теперь еще вы начните, Христина, и без того ад кромешный.

Я между тем старался припомнить все, что знал о сожжении; во всей Южной Германии существует один-единственный крематорий — в Ульме; сожжение считается «вольнодумством»; кремацию ввели социал-демократы; государство, и в особенности церковь, всячески препятствуют кремации, и только в самых исключительных случаях представителям церкви разрешается участвовать в церемонии сожжения... В древности сожжение считалось благородным и почетным, в средние же века... см. энциклопедию — «Костры».

— Придется все менять,— сказал отец, снимая пальто.— Итак, не погребение, а кремация, и не в Мюнхене, а в Ульме. Через нотариуса мы уже связались с кремационным бюро... Вот и новый текст извещения... завтра газета разгласит этот позор на весь мир...

* * *

Своей последней волей бабушка как бы объявила себя на стороне таких людей, как Гартингеры. И вот, задним числом, я стал припоминать некоторые бабушкины замечания, в которых видел теперь доказательство ее сочувствия крамольным идеям.

Не кто иной, как бабушка, в ту новогоднюю ночь, в канун рождения двадцатого века, заговорила о новой жизни. Когда

она распекала меня за дружбу с Гартингером, она твердила: «*Пока* откажись от этих опасных встреч! *Еще* успеешь!» Я тогда не обратил внимания на эти «*пока*» и «*еще*», но, по-видимому, дело было именно в них — это открылось мне из последней бабушкиной воли.

Скончавшись, она поведала мне свои истинные мысли.

Среди бабушкиных рассказов, которые я перебирал в памяти, открывая теперь в них совершенно новый смысл, я припомнил и следующий.

Дедушка, чей портрет висел над комодом, совсем еще молодым человеком отправился в Италию в надежде стать художником. Он хотел изображать прекрасное. Он искал прекрасное. Он находил его в творениях старых мастеров, он находил прекрасное в природе. В строгом единстве планировки грандиозных соборов и многосложности их форм, в рядах стройных колонн и скрещении сводов, в вольной развернутости пространства чудился ему прообраз нового мира, населенного прекрасными скульптурами и картинами, среди которых в грядущий день творения родится совершенный человек и красотой своей жизни затмит красоту искусства. Но чем ревностней молодой художник искал прекрасное, — он и сам стремился стать совершенным человеком,— тем уродливее, конечно, представлялась ему жизнь, которая беспощадно тянула его вниз с высоты его грез о прекрасном и не только искажала прекрасное, но презирала и отрицала его. Для того чтобы в мире восторжествовало прекрасное, молодой художник в прекрасной Италии писал картины, где ничего не было прекрасного, как сказала бабушка, и картины вызывали такое осуждение, что художник пал духом и, затаив горечь, бросил живопись...

Картины, развешанные в бабушкиной комнате, все эти многочисленные копии старых мастеров, великолепием своих красок предвещали мне то дивное царство, тот земной рай, который на языке Гартингера назывался «государством будущего».

* * *

Вместе с отцом, матерью и дядей Оскаром я отправился в Ульм на кремацию. Гроб с телом бабушки следовал в багажном вагоне.

Мы ехали в сторону Нердлингена, и на нас издалека надвигался осиянный солнцем лес. Отец ездил принципиально только в третьем классе, потому что следует жить по средствам, а дядя Оскар без нужды выбрасывал кучу денег на проезд

во втором, о чем не раз говорилось в домашнем кругу. Мать вмешалась в разговор, сказав, что бабушка никогда не разрешала себе роскоши ездить во втором классе. Отец сердито заметил, что бабушка поступала так совсем по другим мотивам, он же не гонится, как дядя Оскар, за аристократическими знакомствами, которые можно завязать в пути, и отнюдь не чувствует себя хорошо, как бабушка, среди так называемых простых людей.

Тогда почему уж не ездить первым классом или курьерским? Он, как сказано, ездит только третьим классом, он уже пояснил почему. «Потому!» Наступило молчание, так как дядя Оскар предложил пойти в вагон-ресторан. Отец кивнул на рюкзак, который обычно навьючивали на спину мне.

— Мы захватили с собой достаточно еды...

Мать укоризненно посмотрела на расточительного дядю Оскара:

— Вечно эти лишние расходы.

Бабушка лежала в открытом гробу над трапом.

Мы поодиночке ходили вокруг гроба. По выражению лиц и жестам я старался угадать, о чем в эту минуту думают отец и мама.

Отец прощался с бабушкой: «Это распоряжение насчет кремации совершенно лишняя затея».

М а м а. Надо же считаться с людьми, я еще долго буду расплачиваться за это.

Оба упрека угодили покойнице прямо в закрытые глаза, таившие слепой, угасающий взгляд.

Я теребил фуражку.

Чуть ли не полдня пришлось отцу провозиться, пока он нашел священника. Только из уважения к отцу и занимаемому им положению церковные власти разрешили, чтобы священник произнес надгробное слово.

Отец наспех сообщил пастору кое-какие данные из бабушкиной биографии.

В результате пастору блестяще удалось набросать такой портрет бабушки, который ни в чем не походил на оригинал.

Если верить этому священнику, бабушка была пангерманкой, мыслившей строго консервативно, и притом верной дочерью церкви,— на самом деле бабушка терпеть не могла пангерманцев и в церковь никогда не ходила,— всегда стремившейся воспитать в таком же духе своих детей и внуков... И все время,

пока на гроб возлагался этот венок из казенной лжи, отец кивал с довольным видом.

Гроб медленно опускался в люк под звуки органа, исполнявшего хорал:

Когда и смерть и мука
Придут на склоне дня,
Когда придет разлука,
Не покидай меня.
Когда я в страхе буду
Таком, как никогда,
Возьми меня отсюда
И защити тогда!

Мне казалось, словно это бабушка говорит со мной голосом органа, и ее голос заполнял собой все вокруг, разрастаясь в мощную бурю звуков.

Органная буря затихала. Вот она сменилась тихими аккордами. Я увидел, как над клавишами заскользили руки. Бабушка в последний раз играла на рояле...

Пока пастор сплетал новый венок лжи, стараясь доказать, что последняя воля бабушки должна быть отнесена за счет ее долгой, изнуряющей дух болезни,— на самом деле бабушка написала свое завещание за много лет до смерти! — я, уставившись на свои сложенные руки, произносил про себя другую речь в надежде, что она как-нибудь дойдет до бабушки, хотя еще за день до того я объявил обманом всякие россказни о загробной жизни и бессмертии.

«Ты варила шоколад, а я тем временем обкрадывал тебя: прости меня за это. Я нарисовал для тебя картинку «Радость», но могла ли она доставить тебе радость, раз все, что есть радостного, я омрачил войной? — прости меня и за это. В новогоднюю ночь ты сказала на балконе: «Пусть наступит новая жизнь». Я хочу стать хорошим человеком, и новая жизнь наступит непременно: обещаю тебе. Только теперь, после твоей смерти, мы можем поговорить и все это сказать друг другу. Точно так же как дедушка перестал писать картины, так и ты молчала, на все кивала головой—«да-да», а в душе была «против». Вот и мама, та, что на мольберте, совсем не похожа на маму с вязальными спицами. Но даже та, что со спицами, часто бывает «против»... Кто, в сущности, «против»? Да почти все. А кто «за»? Опять-таки почти все. И это потому, что их «за» и «против» сто́ят одно другого. Собственно, за что же они? И против чего? Против того, что кругом ложь, а избавления от нее не видно... А за что? За то, чтобы наступила новая жизнь... Ну нет, я не хочу быть таким, как все, так жить я не хочу... Я хочу сказать

правду не в своей посмертной воле, а сейчас, и сказать ее во весь голос, как бы это ни было трудно. Новая жизнь наступит непременно, пусть только каждый громко скажет то, что говорит его внутренний голос... Почему это так? Нет ни одного человека, который был бы тем, за кого он себя выдает. Люди навели на себя мишурный глянец, и получается не жизнь, а мишура. А с годами они обрастают корой, под которой глохнет всякое стремление к лучшему. Разве нельзя быть стойким? Гартингер держался стойко. Я же сразу сказал неправду, как только директор Ферч начал меня «подтягивать»... Я — это не один и не два человека, а целое скопище людей. Которым же из них мне быть? Что я — и какой же из всех «я» — могу сделать, чтобы стать тем или другим? Кто же все во мне перепутал? Неужели я никогда не буду настоящим человеком? Нет, нет, и еще раз нет, я не хочу всю жизнь стоять навытяжку перед ложью... Неужели есть только три выхода: стоять навытяжку, сойти с ума или же броситься с Гроссгесселоэского моста?! Безнадежная неразбериха... Неужели нет такого моста, который уводил бы от бездны?! Зажить по-новому! Да, зажить по-новому! Но как? Как?!»

Служитель подал знак: исчезни! Бабушка, исчезни! Раскрытый люк зиял. Гроб опускался...

— Идем, мальчуган, идем! — оттащил мальчугана от родителей дядя Оскар и пошел с ним вниз по ступенькам прямо к толстому огнеупорному стеклу. Мальчуган невольно вцепился в дядину руку. «Ад!» — бормотал он, глядя на огненную смерть, терзавшую его бабушку. В мгновение ока гроб лопнул. Языки пламени охватили тело, заключив его в бушующее море огня. Словно ожив на миг, тело пыталось противиться, но неистовый жар согнул и распрямил его, он вертел его во все стороны на раскаленном ложе.

— Ну, как?

Дядя Оскар ждал одобрительного отклика, словно адский огонь был делом его рук. Будто сам охваченный пламенем, понесся мальчуган по лесенке к родителям, и они со словами: «Уму непостижимо!» — не дожидаясь дяди Оскара, покинули крематорий.

Когда мы вышли на улицу, над трубой крематория вилось нежное, легкое облачко дыма.

Я напряженно всматривался в даль, где в лучах заходящего солнца стоял осиянный лес...

Дядя Оскар опоздал к поезду.

— Уверяю тебя,— говорил отец маме, обеспокоенной дядиным отсутствием,— он намеренно опоздал, он хочет вернуться вторым классом. Да еще курьерским.

Мама скоро уснула, прижавшись к отцу. Во сне она взяла его за руку и прошептала: «Ах, Генрих, Генрих!» Потом она проснулась, и отец уснул, прижавшись к ней. Мама взяла его руку в свои, тогда и он проговорил во сне: «Бетти! Бетти!»

Колеса швыряли меня из стороны в сторону, я подскакивал, не в силах усидеть, они словно спрашивали меня: «Что за бес в тебя вселился? Что за бес в тебя, вселился? О,— глухо стучали колеса,— такой, как этот, и вдруг захотел новой жизни!»— «Ф-фу!» — злился пар и шипел мне в уши свои проклятия. «Так, так, раньше железная дорога была для него игрушкой, теперь он для нас игрушка»,— лязгали один о другой буфера, точно решив раздавить мне грудную клетку. Звеня, кричали рельсы: «Он опять дал клятву!» Болты на рельсах захихикали, я испугался, что они выскочат из гнезд и поезд покатится с Гроссгесселоэского моста в пропасть. Я обеими руками держался за сиденье. Поезд, судача обо мне, проделывал самые невероятные скачки вверх и вниз, а какое-то расстояние пролетел прямо по воздуху. С лязгом снова и снова стукался он о рельсы, а на каждой стрелке сходил с рельсов и несся по скользкой ледяной поверхности. Он раскачивался, как чертово колесо на осенней ярмарке, и вертелся волчком, а потом опять с грохотом низвергался на рельсы. Этот ужасный поезд издевался надо мной, как только мог, и свистел, подвывая от радости, что нагнал на меня такого страху. Дым налетал на меня, целый ураган сажи: «Это за то, что ты плевал Гартингеру в лицо». Я тер глаза, но от жгучей угольной пыли совсем ослеп. «За то, за то, за то!» — пронзительно орал поезд и перечислял все мои скверные поступки. Опять скрежетали буфера, точно готовились размолоть меня. «Добрые намерения! Добрые намерения! Знаем мы! Знаем мы! Нам известны твои позорные проделки! Трус! Трус! Трус!» — скрежетали тормоза, и вагоны, набегая один на другой, швыряли меня из купе в купе через весь поезд, и все пассажиры увидели меня. «Вышвырнуть его. Вышвырнуть!» — возмущенно закричали они, как только меня увидели. «Этот малец всех нас подвергает опасности. Он весь поезд свел с ума своими сумасшедшими выходками. Проводник!» Судорожно глотая воздух, распахнулись двери вагонов и вытолкнули меня вон; «гм-гм-гм-гм» тарахтели теперь колеса и «хе-хе-хе-хе» кромсали и рубили они меня, проносясь по мне, потому что я лежал поперек рель-

сов... Потом поезд побежал беззвучно, воспарив над рельсами. Искры сыпались сквозь ночь, отец и мать крепко спали. Мне захотелось пить, меня мучила страшная жажда от адского огня, который я увидел сквозь огнеупорное стекло; я пошел туда, где стоял осиянный лес, и приблизился к Охотничьему домику. Но над входом в Охотничий домик висела вывеска: «У веселого гуляки». За большим круглым дощатым столом сидел сам хозяин трактира и бабушка. Лица у обоих пылали огнем. Трактирщик поднес бабушке кубок, потому что и ее томила жажда, в горле у нее пересохло, да так, что она не в силах была слова сказать, когда я вошел. Трактирщик пил, бабушка пила... пила...

— Пить! Пить! — молил я.

Мама проснулась и налила мне лимонаду в бумажный стаканчик. Когда я попросил еще, она удивилась:

— Мы, кажется, ничего острого не ели. Не понимаю, отчего у тебя такая жажда.

XXXVII

Я охотно уклонился бы от встречи с Гартингером, но он уже переходил улицу и шел прямо на меня. Вот он шагает мне навстречу. «Францль?» Нет, вряд ли, слишком уж он возмужал, слишком вытянулся, носит длинные брюки, и походка у него какая-то неуклюжая, точно он еще не научился владеть своими длинными ногами и руками. В те немногие секунды, которые еще отделяли меня от него, я с недоумением подумал, как это случилось, что мы так долго не видались с ним... А может быть, он каким-то чудом знает все, что произошло со мной за это время? Откуда он явился?

Я невольно, точно задыхаясь, раскрыл рот и потер себе лоб. Напротив раскинулось садоводство Бухнера, оттуда таращилась на меня пещера. Нет, я не мог отмахнуться от нее; из широко распахнутых ворот с таким скрипом выезжал фургон, что садоводства нельзя было не заметить. Я шел как тогда, мелкими шажками, а Гартингер уже издали крикнул мне:

— Здравствуй!

Если бы время могло начать свой бег сызнова, с той минуты, как мы поссорились, я пожелал бы сейчас: пусть будет все сначала и по-другому, совсем по-новому! Но я все еще задыхался, рот у меня был раскрыт, лоб горел.

Гартингер не переставал улыбаться. Я вспомнил, что он учится слесарному ремеслу, и это придало мне храбрости.

Нерешительно шел я навстречу его улыбке.



«Прощание»

Откуда эта улыбка? Может быть, из далекого будущего, из того будущего, в котором уже наступила новая жизнь? Я тут же решил, что расскажу Гартингеру о последней воле бабушки и попрошу обстоятельно разъяснить, что это за «новая жизнь» и почему вокруг нее столько разговоров. Пусть порекомендует мне какую-нибудь книжку,— о государстве будущего, наверное, что-нибудь написано.

Но улыбка Гартингера с каждым его шагом все угасала, и рукой, которой он только что так приветливо махал, он лишь бегло пожал мою. Первая улыбчивая радость встречи, несомненно, уступила место неприятным воспоминаниям. Когда мы сошлись, он смерил меня подозрительным и враждебным взглядом. Видно было, что он раскаивается в своей приветливой улыбке. Я прикрыл рот, как будто подавил зевок.

В ту пору мне часто случалось сказать что-либо такое, в чем я далеко не был убежден, сказать с единственной целью — вызвать на спор других и таким образом лишний раз укрепиться в своей правоте. И мысленно я вел такие споры: то в роли отца рвал и метал против себя, то накидывался на себя в роли Фрейшлага и Фека; во мне сталкивались самые противоречивые мнения и взгляды, так что было трудно решить, кто же в конце концов прав.

Мне хотелось сказать Гартингеру: «Тебе нечего раскаиваться, я теперь совсем другой». Но тут я вспомнил, что эту же фразу сказал мне однажды Фек. Гартингер набросился на меня:

— Если вы будете продолжать в том же духе, это добром не кончится!

«Ты совершенно прав»,— следовало бы мне ответить, ведь и я чувствовал то же, что он. Я мог бы даже прибавить: «Но что до меня, то я постараюсь ни в чем таком больше не участвовать и стать хорошим человеком, и ты мне, конечно, поможешь. Я дурно поступал с тобой, прости, Францль!»

Но меня уязвило словечко «вы». Гартингер ставил меня на одну доску с Феком, Фрейшлагом, а может быть, и с отцом, а между тем я немало гордился, что кое в чем разошелся с ними во мнениях. Ну, не возмутительно ли со стороны этого подмастерья броситься ко мне через улицу и, даже не попытавшись узнать, что я теперь собой представляю, так обрушиться на меня!

Задирать нос или читать проповеди — это, если на то пошло, мы сами умеем, так что, пожалуйста, не воображай, что вся правда у тебя в кармане.

И я решил козырнуть своими необыкновенными, припасенными для отца познаниями.

— Знал бы ты, какие я изучаю предметы! Ну-ка, скажи, много ты за всю свою жизнь слыхал про «диатермию» или же про «ecce homo»? [1] Ясно, что в этом ты ни бельмеса не смыслишь. А что такое «паранойя» или «кристаллообразование», а? Эх ты, бахвал, всезнайка!

Нельзя сказать, чтобы мой научный багаж ошеломил Гартингера, скорее его позабавило то, как я старался правильно произнести все эти слова: «диатермия», «ecce homo» и «паранойя».

— Ничуть я не испугался этого твоего «кристаллообразования»; подумаешь, зазубрил несколько умных слов и строит из себя ученого; на такую ученость я плевать хотел, простофиля ты, вот что! Смешон ты мне. И я тебе еще раз говорю, что добром это не кончится, если вы по-прежнему так будете продолжать. Это мое твердое убеждение. И я остаюсь при нем. Так и будет.

У меня руки чесались съездить его разок по физиономии за «простофилю», потому что я не находил спокойного и разумного ответа, а у меня уже вошло в обыкновение пускать в ход кулаки там, где я не мог обойтись словами. Но я быстро сунул руку поглубже в карман, точно это могло удержать ее. Начал шарить там, как будто позванивал монетами.

— Что ж, чем хуже, тем лучше!

Я раздраженно бросил ему эту дурацкую поговорку.

Правда, я тут же смущенно заулыбался. Но слова уже вырвались.

— До чего ты напыщенно, загадочно выражаешься!

Гартингер вызывал меня на крайности, а я этого вовсе не желал. Меня тянуло к Францлю, я мечтал никогда больше не расставаться с ним.

«Не думай, что я это всерьез, не верь ты моей болтовне! — хотелось мне подсказать ему.— Встреча с тобой смутила меня, и я несу всякий вздор».

Но у меня снова вырвалось:

— Вот бы нам войну хорошенькую, очень уж все протухло.

Этот непроизвольный возглас раскрыл мне, как бывало не раз, меня самого. С ужасом прислушался я к тому, что происходило во мне, какие тайные желания бурлили в моей душе! Меня прямо скрючило — так больно мне стало оттого, что я брякнул нечто подобное.

Какой толк, что я хожу в гимназию, а Гартингер учится всего лишь слесарному делу. Гартингер происходил из бедной

---

[1] Се человек *(лат.)*.

семьи, и это словно давало ему надо мной огромное преимущество. Мы — Гастли, Феки и Фрейшлаги — понимали, на это у нас ума хватало, что спасти от позора пустоты и невежества может только самоуверенное и наглое поведение. Как часто я, бывало, прибегал к этому способу, стараясь запугать Гартингера, заткнуть ему рот. Если мы не находили аргументов, то мгновенно выдумывали какую-нибудь несусветную чушь вроде пресловутого «потому», на которое нечего и ответить.

Но на этот раз Гартингер не растерялся. На губах его мелькнула ироническая усмешка. Видимо, не желая терять времени на объяснения со мной, он ограничился тем, что сказал:

— Что вы за люди! Что за злобные, гнусные люди! Да и люди ли?! Вы просто опасны... Гунны вы, вот кто!

В его голосе звучало возмущение, и это только сильнее раззадорило меня. Ага, значит, и он, как мой отец, взобрался на кафедру и свысока отчитывает меня! Или, может быть, он из другого ферейна — форма: красные трусы,— и отстаивает честь своего ферейна? Гунны!! Он, кажется, сказал «гунны», я только сейчас спохватился. Кто-то однажды сказал уже это... «гунны»!

— А как же называется твой ферейн, и где у вас происходят тренировки? Мы, гунны, видишь ли, люди высшей породы.

Гартингер постучал пальцем по лбу.

— Идиот!

Он быстро зашагал прочь и исчез за углом.

Неумолимо указывал на меня палец: «Такие, как ты!» Он указывал на мой лоб, на самую середину, куда плюнул однажды Гартингер. Он указывал, вдавливаясь в лоб все глубже и глубже. «Хоть рот-то закрой!» И я стиснул зубы. Я выставил вперед руку, словно отгоняя указующий палец. Ксавер указывал пальцем, а потом и Гиасль,— указующий палец следовал за мной и теперь опять указывал на меня. Я тер пятно, появившееся там, куда указывал палец.

Было время, когда я, пожалуй, бог весть что возомнил бы о себе, если бы меня назвали опасным человеком или «гунном». Ввязываясь в какую-нибудь стычку, Фек всегда повторял одну и ту же остроту: «Осторожно! Не прикасаться! Опасно для жизни!» А теперь я стоял пристыженный, мне хотелось броситься за Гартингером вдогонку, но он уже вскочил в трамвай, проходивший по соседней улице.

«Идиот, идиот!» Это написано у меня на лбу. На это указывал палец Гартингера.

И тут я вспомнил, как улыбался Гартингер, когда шел мне навстречу.

Стоило мне вспомнить эту улыбку, и я сам заулыбался,— откуда-то взялась уверенность, что мы встретимся вновь.

«Твоя правда! — обратился я к нему в пространство.— Во мне нет ничего устойчивого. Все под вопросом. Я — вопросительный знак. Так помоги же мне выкарабкаться из этой мерзости!»

Я решил написать Гартингеру. Я не хотел допустить, чтобы нашу следующую встречу опять отравили какие-нибудь мои непредвиденные глупости.

В письме я среди прочего решил написать:

«Но только прошу тебя, Францль, не задирай, пожалуйста, нос. Не разговаривай со мной свысока и не грози мне. А то на меня сразу что-то находит, и я делаюсь не таким, какой я есть, быть может. Не прячь никогда своей улыбки, Францль... Пусть тебя не отпугивают мои глупости... Ведь ты стойкий. Трудно таким, как я. Помнишь, что сказал твой отец... Я не хочу быть «гунном»!». А конец письма был такой:

«Я хочу доискаться настоящей правды, хочу знать все насчет бога, вселенной и прочего. И насчет новой жизни».

Всю дорогу я мысленно разговарил с Гартингером, и мне казалось, что это он мне посоветовал купить у букиниста Гугендубеля на Шеллингштрассе «Мировые загадки» Эрнста Геккеля. Много лет назад, роясь в отцовском портфеле, я обнаружил такую красненькую книжечку в бумажной обложке, напечатанную в две колонки.

Чтобы читать без помехи, я перед сном ставил будильник на два часа и клал его под подушку. Свечу завешивал со стороны двери полотенцем. Свет наружу не проникал, и ничто не выдало бы меня в случае, если бы отец или мама вздумали пройти в «укромное место». Я усаживался в постели и клал перед собой на одеяло «Мировые загадки». Читая, я попивал холодное какао и ел булочки с маслом, которые каждый вечер контрабандой приносил из кухни к себе в комнату и прятал в потайной ящик. Никто не мешал мне хлюпать и чавкать сколько душе угодно.

И вот однажды ночью случилось так, что я уснул над моей заветной книжкой. Свеча догорела и подпалила полотенце. «Мировые загадки» лежали раскрытыми передо мной, когда, привлеченный запахом гари, отец вошел в комнату.

— Нечего сказать, дожили!

Подоспевшая мама поторопилась заверить:

— Это у него не от меня!

— Так что же, от меня, по-твоему? Негодяй!

Отец заметил сыр и ливерную колбасу, которые я избрал для сегодняшнего ночного пиршества. От недопитой чашки какао и надкушенной булочки он брезгливо отшатнулся.

— Мне кажется,— сказал он, переведя дух,— что тут устраиваются оргии...

— Он просто проголодался,— взяла меня под защиту мама.

— Проголодался?.. Это ты называешь проголодаться? — говорил отец, указывая на сыр, колбасу, булочки и какао.— Да тут целый гастрономический магазин.. О, мне это хорошо знакомо из моей практики... Обжорство и пьянство... Страсть к мотовству... Так всегда начинается, а кончается шампанским и толстыми сигарами!

Он потрясал надо мной «Мировыми загадками» и спрашивал:

— Откуда?

Хотя я был в одной рубашке, я гордо заявил:

— Мне эту книгу дал Гартингер.

Мама бросилась вон из комнаты. Со времени бабушкиной смерти она часто спасалась бегством.

— Ну, уж... Дальше идти некуда... С него станется...— запинался отец, не находя слов.— И у тебя хватило наглости возобновить с ним дружбу... Вот погоди, мы сейчас поджарим твоего Гартингера!..— Отец схватил меня за руку, и я вынужден был в ночной рубахе последовать за ним в кухню.

Он стал возиться у плиты, помешал кочергой тлеющие угли и сунул туда книжку, но она почему-то никак не воспламенялась. Мне хотелось спросить у отца, развеян ли бабушкин прах по ветру, когда и где, исполнена ли ее последняя воля... Тут отец выхватил из плиты книгу и поднес к ней зажженную спичку. Меня вдруг рассмешила вся эта процедура — и то, как я, застигнутый за запретным чтением, стою в ночной рубашке, и то, как отец осторожно, боясь обжечь пальцы, чиркает спичку за спичкой, а книжка все никак не воспламеняется.

— Облей ее спиртом или бензином, тогда она наверняка загорится.

— Помалкивай! Обойдусь без твоих советов, сам знаю, что мне делать. Беспримерная наглость!

Вне себя от бешенства, отец кочергой проталкивал книгу дальше, в глубь топки.

— А она все-таки не горит, папа, ничего не поделаешь.

Отец взмахнул кочергой.

— Молчать! Кому я говорю, черт возьми?

Глядя, как отец орудует кочергой, которую я привык видеть в руках у Христины, я думал, что теперь в нем гораздо больше отцовского, чем в те минуты, когда он сидит за письменным столом; он точно стоял в крестьянской избе и разводил огонь в печи. Вдруг он бросил кочергу,— видно, это занятие показалось ему недостойным его звания, и, кроме того, кочерга пачкала руки.

— Ты похож на угольщика, папа!

— Еще одно слово и... Загорелась, загорелась! — Отец наклонился над пламенем, охватившим «Мировые загадки».

Я пил воду стакан за стаканом, словно вознаграждал себя за всю воду, не выпитую в тот раз, когда меня мучила невыносимая жажда.

— Что ты прилип к крану! Вот наказание! У тебя одни только дурные наклонности.

Я улыбнулся ему в ответ — я утолил жажду. Отец не знал, к чему бы еще придраться. Он обвел взглядом кухню. Посуда, стоявшая навытяжку в кухонном шкафу, ничего, очевидно, не говорила его сердцу, и чисто вымытые окна не удовлетворили его, и белые занавески, и вычищенная плита, и блестящие кастрюли, и табуретки, покрытые голубым лаком, и стоявшее в углу ведро с половой тряпкой, и сверкающий медный кран — все ему претило; он с отвращением переводил взгляд с предмета на предмет. Но не затем, чтобы в приступе бешенства со звоном все расшвырять: на этот раз отец, казалось, хотел эти полезные предметы, добытые «собственными силами», вычеркнуть все до одного из своей жизни как бесполезные.

— Нет, нет, нужны коренные перемены.

Я насторожился.

И отец заговорил о новой жизни. До сих пор ведь он, этот «гунн», хотел, чтобы все оставалось, как было.

Ни одного человека, значит, не удовлетворяет та жизнь, которую он ведет.

Повсюду и везде только и слышишь:

— Нужны перемены, перемены!

Заметив мое удивление, отец отложил кочергу в сторону и, пока мыл руки, несколько раз грозно произнес прокопченным голосом:

— Все переменится! Переменится! Дай только срок!

XXXVIII

Еще одно лето миновало.

— Все еще ни-ни? — юлил вокруг меня Фек.— Да ты просто чудак.

Как только спускались сумерки, по Герцог-Вильгельмштрассе начинали прохаживаться женщины, они щебетали: «Пойдем со мной»,— и стоили один талер.

— Чудак, да ты попробуй!.. В табачной лавочке у Костских ворот это много удобнее,—хочешь, познакомлю... Мне ты, пожалуйста, очки не втирай... От тебя прямо-таки разит целомудрием!

Фек немало открыл мне тайн, когда он — «наконец» — задался целью просветить меня. Днем и ночью в домах, которые так невинно глядят своими окнами на улицу, творятся, неприметно для меня, чудовищные вещи: мужчины и женщины исчезают в подъездах, поднимаются по лестницам, звонят, либо, если женщина прошла вперед, она оставляет дверь полуоткрытой, и вот они уже тискают и мнут друг друга, говорят непристойности и валятся нагишом в постель, а потом моются, приводят в порядок платье и как ни в чем не бывало выходят на улицу. Эта игра завязывается повсюду: на катке, на пляже, в ресторане, в кафе, в трамвае и просто на улице. Уговариваются взглядами; взглядом, объяснял мне Фек, можно раздеть женщину или попросту задрать ей подол. Это проделывается и на скамейках в Английском парке, и в скверах, и на берегу Изара, а поздно ночью, когда улицы пустеют, и первой попавшейся подворотне. Такая таинственная игра никогда не приедается, хоть она очень однообразна и всегда, будь то Эдит, Анна или Луиза, кончается одним и тем же, ею никогда не пресыщаешься, и каждая женщина заново тебя увлекает. Женщины постарше, замужние — самые интересные, они не ломаются, они опытны и изобретательны. Их не стесняет, если мужчина при этом смотрит на них, наоборот: они находят в этом особую прелесть. В сущности, все в мире вертится вокруг этого. И Фек вдавался в подробности, описывая свои последние похождения.

— Попробуй и ты,— повторял он,— мне это ни пфеннига не стоит: на днях одна вдова подарила мне за это талер. Если хочешь, пойдем вместе, я покажу тебе, как это делается.

До сих пор я только приглядывался.

Так когда-то я глядел на витрины и дивился на мир необычных вещей, отделенный от меня одним только стеклом,— а в морге лежали выставленные напоказ покойники,— так когда-то

я подглядывал в замочную скважину за родителями в их спальне или за отцом в передней в то утро, когда он встал спозаранку; позже я глядел так в Панораме на бой под Седаном и на восстание боксеров; я издали заглядывался на фрейлейн Клерхен, качавшуюся на качелях, и, сидя в беседке, точно со стороны глядел на нее и на себя. Заглядывал я и в самого себя, когда делал вылазки в мир, и лес стоял озаренный солнцем, и я видел себя в Феке, когда тот, ухмыляясь, подмигивал мне, видел себя в учителе Штехеле всякий раз, когда я на другом вымещал терзавшие меня обиды и боль. Мои любопытные взгляды проникали во все уголки пансиона Зуснер и в кабины Унгерерских купален... Так, юный созерцатель делил с фрейлейн Лаутензак ее смерть и сквозь толстое огнеупорное стекло смотрел, как языки пламени смыкаются над телом умершей бабушки...

Доктор Генрих Гастль сказал бы: «Беззаботное детство кончилось...»

Колокольчик на дверях лавочки звякнул: «Войдите!»

Табачная лавочка находилась у Костских ворот. На двери висел плакат: два борца плотоядно охватили друг друга толстыми, как окорока, руками. В витрине пирамидами громоздились сигаретные коробки.

Дверь звякнула «дзинь», и меня обдало теплым чадом, смешанным с приторным запахом духов.

Продавщица, перегнувшись через прилавок, шушукалась с субъектом в грубошерстном пальто. Рябое, покрытое светлой щетиной лицо уставилось на меня. Когда колокольчик звякнул вторично и дверь захлопнулась, рот продавщицы отпрянул от уха ее собеседника и раскрылся навстречу мне:

— Что вы желаете?

Грубошерстное пальто, посасывая сигару, отступило в глубь комнаты и, став ко мне спиной, занялось пристальным разглядыванием какой-то театральной афиши.

Глаза продавщицы юркнули за ним следом, она повторила вопрос:

— Что вы желаете?

Я спросил сигареты, кажется «Салям алейкум». Только после того как продавщица повернулась, я почувствовал на себе ее взгляд и до моего сознания дошла необычная певучесть ее «что вы желаете?».

Заплатив, я вынужден был сам себя подтолкнуть: «Ступай же!» — мне не хотелось трогаться с места.

А на улице мне показалось, что девушка идет рядом: мне приходится смотреть на нее сверху вниз, так она мала ростом,

взгляд мой задерживается на ее рыжеватых, взбитых на лбу волосах, глаза ее беспокойно бегают и поблескивают, неподвижен один только вздернутый носик, шею до самого подбородка скрывает ядовито-зеленый свитер.

Я терпеливо ждал на противоположной стороне улицы. Лавчонка казалась мне одним из тех ярмарочных балаганов, где творятся всякие чудеса.

Через некоторое время — дзинь! — из двери выскользнуло Грубошерстное пальто, и — дзинь — я опять в магазине.

— Что вы желаете?

«Фек подвел меня,— думал я, краснея,— все, что он мне рассказал про тайные встречи, вранье и выдумки, пусть бы он подсказал мне сейчас, что ответить». «Что ты пожелал себе?» — спросила бабушка на празднично убранном балконе в новогоднюю ночь, и позднее я пожелал себе, чтобы началась война, но только когда я вырасту.

— Что вы желаете? — повторила продавщица таким певучим голосом, точно в ее власти было исполнить любое желание... «Возьмите себя в руки, молодой человек, не будьте трусом»,— говорило, казалось, ее лицо с высоко вскинутыми бровями, и я, став навытяжку, твердо произнес:

— Я бы желал встретиться с вами где-нибудь.

Затянувшись, она пустила в меня легкую струйку табачного дыма, за которой полыхнула ее улыбка.

— Меня зовут Фанни.

С грохотом опустилась железная штора. Я ждал Фанни на углу. Все напряглось во мне в ожидании этого грохота. Я считал: «Раз, два, три»,— и лишь на счете сто с лишним штора наконец загрохотала. Незримо для всех стоял я в облаке счастья на перекрестке, залитом уличной толпой.

Фанни пересекла улицу, еще провожаемая грохотом железной шторы, на ходу спрятала в сумочку ключ от магазина, закрыла сумочку, в нескольких шагах от меня широко раскрыла ее, посмотрелась в зеркальце и, так как она несколько задержалась, спросила, беря меня под руку:

— Надеюсь, я не опоздала? Милый...

На Фанни была теперь коричневая юбка и красная блузка, как у фрейлейн Клер... «хен» я проглотил, словно фрейлейн Клерхен рассердилась бы на меня, если бы я мысленно произнес ее имя в присутствии Фанни.

Фанни потребовалось немало времени, чтобы выбрать в кабачке подходящее местечко, так чтобы и уединенно было, и не слишком близко к музыкантам, и, желательно, у окна. Здесь можно было глядеть и на улицу и в зал; в глубине его, на эстраде, под гортанные звуки тирольских дудочек танцевали пары.

— Мы словно в беседке здесь,— сказала Фанни, усаживаясь поудобней,— никто нас не видит... Даже папаша не увидел бы, если бы случайно зашел сюда,— хихикнула она.— Мы как за стеной, как в отдельном кабинете.

Кельнер, обслуживавший влюбленную пару в беседке счастья, был, очевидно, хорошо знаком с Фанни; он сразу же перешел с официального «что прикажут господа?» на фамильярное: «А вы, фрейлейн, все шутки шутите?» Он, по-видимому, заметил мою неловкость.

Мы сидели рука в руку, потом, когда Фанни отодвинулась, чтобы погрызть соленый крендель, я положил руку ей на колено.

Склонившись над карточкой, мы близко-близко придвинулись друг к другу. «Славная девчонка»,— я украдкой коснулся Фанниных губ, они были влажные и открывали верхний ряд зубов.

Я не в силах был сдерживать свои движения под столом. Наступил Фанни на ногу, извинился, прижался бедром к ее бедру, рука тоже не знала удержу. Фанни не протестовала и, склонившись над столом, бойко смеялась мне в лицо.

— Сколько таких встреч с женщинами у тебя бывает в неделю?

— М-да, достаточно... как когда...— начал было я очень важным тоном, но сейчас же сказал серьезно:— Да нет же, я вру, ты у меня — единственная.

Она сунула мне в рот ложку брусники, и мне казалось, что надо подольше удержать эту сладостную горечь во рту, чтобы изведать вкус счастья.

— Ты еще такой молоденький! Я совсем тебе не пара. Моя жизнь загублена.

— Разве нельзя начать все сызнова?

— О, это было бы прекрасно, чудесно...

— Пойдем! — Фанни встала и оправила юбку.

Я между тем считал, считал. Подсчитывал, просчитывался, присчитывал лишнее, опять пересчитывал — все равно денег у меня не хватало. На чаевые уж, конечно, не хватит, и зачем только Фанни заказала эту проклятую бруснику! Кровь густо

прилила к щекам. Такие особы всегда раздувают счет. Фанни уже звала кельнера:

— Получите! — Карточка дрожала у меня в руке, цифры плясали перед глазами. Брусника! Брусника!

— Ах,— протянула Фанни,— я и забыла совсем! — Как я был благодарен ей, что она выручила меня в последнюю минуту.

Бормоча что-то в свое оправдание, я смешал ее деньги с моими и дал кельнеру огромные чаевые, чтобы он ничего не заметил. Путь до двери показался мне бесконечным. Я почувствовал, что все оборачиваются и смотрят мне вслед: «Поглядите-ка на этого важного господина, он угощается за счет продавщицы сигарет».

— Вот и мой трамвай,— сказал я и хотел вскочить в вагон.

— Что, пропала охота? — Фанни взяла меня под руку. Я ответил, как мужчина:

— С чего ты взяла? Как это так, с какой стати?

Фанни жила на окраине города, в «Долине».

Движением, которое выдавало привычку впускать гостей, она быстро отперла входную дверь.

— Осторожно, лестница!

Фанни прошла вперед с карманным фонарем в руке, огонек — блуждающий светляк — манил за собой вверх, и я следовал за ним, обвеваемый складками Фанниной юбки. Я шел вплотную за Фанни, ощущая ее всеми своими чувствами,— казалось, с нее упали одежды и я, обхватив ее сзади, несу в потемках высоко перед собой.

Ступеньки были истоптанные. От дома пахло, как от умирающего. Тяжело дыша, мы карабкались все выше и выше, точно на обветшалую башню. Когда на площадке мы на мгновение останавливались отдышаться, слышно было, как стены хрипели.

Через длинный, заставленный шкафами коридор Фанни проводила меня в свою каморку. Над зеркалом веером разместились открытки, портреты артистов и атлетов, весело ухмылявшихся мне навстречу.

«Вот, значит, как она живет»,— подумал я и, вспомнив Беседку счастья, опять проглотил «хен».

Инженер, тот самый, в грубошерстном пальто, готов жениться на ней, рассказывала Фанни, «но он — такая мразь, что, только накачавшись, согласишься лечь с ним в постель». Та-

бачную лавочку приобрел для нее он же, субъект в грубошерстком пальто,— чтобы обеспечить ей приличный заработок.

Наливая воду в таз и вешая свежее полотенце, она спросила:

— Ну, а что ты мне подаришь?— но тотчас же спохватилась: — Ах, что же это я говорю! Брось! Не нужно. В другой раз... Сегодня ты не при деньгах. Это не к спеху!

Прежде Фанни служила в кабачке «Бахус» на Герцог-Вильгельмштрассе, а до того жила в Кельне. Ее очень насмешило, что я не знал выражения «выходить на промысел».

— Да ты просто золотко, золотко! — чирикала она.— Теперь таких и нет, ох, умора! Он не знает, что это такое!.. Да ты и не представляешь себе, какая ты находка! За это и приплатить не жалко! — Хихикая, она вертела меня и так и сяк, чтобы осмотреть Золотко со всех сторон.

— Был у меня среди клиентов прокурор,— рассказывала она,— про него говорили, что такого мучителя поискать надо, и чего только я с ним не вытворяла, а ему подавай еще и еще... Вообще заметь — отцы семейств самые страшные развратники, у каждого свои особые причуды.

Еще в Кельне увязался за ней один знакомый, Куник, по прозвищу «Боксер», он часто торчит у нее в лавке.

— От него я никак не могу избавиться. Возможно, он еще сегодня заглянет мимоходом, но это ничего не значит,— раз весь день о нем не было ни слуху ни духу...

Фанни уселась у стола, закинула ногу за ногу и взглянула на часы.

— Ну, а теперь расскажи мне что-нибудь, но только такое интересное, чтобы под это можно было помечтать.

О чем мог рассказать Золотко, чтобы под это можно было помечтать?

Он стал рассказывать о фрейлейн Клер. Она звалась теперь фрейлейн Клер, без всякого «хен». Фрейлейн Клер была удивительной красавицей, такой же красавицей, как мать на мольберте в гостиной. Фрейлейн Клер сидела на качелях в саду, качели качались, качались под звуки гармони. Золотко сидел с фрейлейн Клер в Беседке счастья, они держались за руки, целовались и клялись любить друг друга «до гроба». Но вмешался отец и запретил им встречаться. Любовь их, однако, была так велика, что они решили умереть. Лунной ночью они сели в лодку и поплыли по Альпзее, глубокому, как тысячелетия, как вечность глубокому озеру, в котором отражался древний, как мир, месяц. Фрейлейн Клер обняла Золотко и заплакала: «Я не хочу умирать! — говорила она,— я не хочу умирать!»

— А ведь ты врешь, Золотко, это *тебе* стало страшно, а не ей. Подумаешь, благородный рыцарь! Как это похоже на вас, мужчин! — Фанни возмущенно вскочила и взяла в руки куклу, лежавшую на подушке.

— Нет, уверяю тебя, Фанни! — вдохновенно врал я.— Именно я был готов умереть. Что хорошего в жизни? Я нисколько не боюсь умереть...

— Вранье! Вранье! — пронзительно визжала Фанни.— зачем ты вообще все это нагородил, какое мне дело да твоей фрейлейн Клер, зачем ты ее приплел сюда, твою...

«...фрейлейн Клер,— хотел подсказать ей Золотко и добавить: — Вовсе не фрейлейн Клер, а фрейлейн Клерхен».

— Фрейлейн Клер! Фрейлейн Клер! — Фанни, словно важная дама, жеманно изогнувшись, прошлась по комнате.

— Фрейлейн Клер-хен,— тихо сказал Золотко.

Фанни стала обходить стол, чтобы подойти к нему поближе. Но стол еще разделял их. Золотко встал и как бы ненароком начал отодвигаться от нее.

— Да постой же минутку! Мне надо тебе что-то сказать! — Она уже почти схватила его, но он успел вывернуться.

— Ну-ну, такие мне еще не попадались... Ты что, женщин боишься?.. Вот чучело...— Загородив ему дорогу стулом, она наконец настигла его.

— Слушай! — Она обняла его.— Я буду для тебя твоей фрейлейн... Я не испугаюсь...

— Тш! Тш! — зашикал Золотко и, приложив к Фанниным губам палец, отстранился от нее.

Внизу раздался резкий троекратный свист...

— Это тот самый... Боксер... От второго я сегодня отдыхаю... По четным дням он всегда бывает у матери...

Фанни завернула ключ от входной двери в обрывок газеты и, крикнув «лови!», швырнула его вниз, на улицу.

Когда Фанни нас познакомила, Боксер рванул ворот рубашки, словно собираясь обнажить передо мной свое нутро: на груди у него, отливая синевой, красовалась вытатуированная женская головка, похожая на Фанни.

Он плавным движением стянул светло-желтые лайковые перчатки. Ногти у него были длинные, заостренные и отполированные.

Сообщив мне, что на свете еще не перевелись дураки, которые тратят бешеные деньги на драгоценности, он извлек из жилетного кармана «приобретенное прошлой ночью» кольцо с бриллиантом и стал вертеть его под лупой.

— Секрет в том, чтобы знать источники и обладать настоящими связями.

Он явно не одобрял, что на мне костюм, за который заплачено, да и на ботинки нет смысла тратиться.

— Если у вас будет в чем-либо нужда, обратитесь попросту ко мне. Я смогу вам обеспечить все — от мужских и дамских ботинок до мотоцикла. Всегда свежий товар! Высший сорт! — кричал он, как на аукционе.

«Черт побери,— подбодрял я себя,— тебе здорово повезло, наконец-то ты попал в подходящую среду. Вот это я понимаю! Уголовный преступник с манерами светского франта. Такой молодец может сразиться с государством».

— Знаю его по Штраубингу,— припомнил Боксер, когда Фанни рассказала ему о моем отце,— как же, господин обер-прокурор...— Он осведомился о коврах в нашей квартире и о столовом серебре, точно справлялся о здоровье самого близкого друга; проявил также интерес к привычкам моих родителей, и я с полной готовностью удовлетворил его любопытство. Я заверил его далее, что в доме нет собак, а Христина глуховата, после чего он удовлетворенно кивнул и пожал мне руку, как бы выражая признательность за оказанную услугу.

Некоторое время Фанни и Куник разговаривали на непонятном мне жаргоне, речь шла о какой-то «Лотте-кирасирше» и о «Карле-верзиле».

— Сегодня у меня еще один срочный вызов,— сказал Боксер и предупредительно осведомился: — Не помешал ли я вам, господа?

— Откровенно говоря, я предпочла бы, чтобы ты заглянул ко мне в магазин завтра около полудня.

Она вынула из сумочки пятимарковую бумажку, протянула ее Боксеру вместе с ключом от парадной двери,— «занесешь по пути», и пошла провожать его.

— Мое почтение, господа.— Боксер откланялся.

— Гад! — выругалась Фанни, вернувшись в комнату.— Он еще получит у меня, он еще дождется, что я сама выдам его полиции! А ты, ах ты, Золотко ты мое, глупышка, неужели ты не мог попридержать язык? Какое ему дело до ваших ковров и вашего серебра? Ну, да ладно, пусть только он завтра заявится ко мне, гад!

Мысли Золотка упорно возвращались к гибели влюбленной четы на глубоком озере Альпзее. И пока Фанни ругала

«гада», Золотко обуревали мечты о прекрасной смерти вдвоем. Смерть представлялась Золотку воссоединением всего, что при жизни томилось в разлуке.

Странно, что от всех этих разговоров о смерти я повеселел, почувствовал непривычную жизнерадостность, и Фаннино лицо тоже озарила блаженная улыбка, словно с высоты смерти перед ней открылась чудесная панорама...

— С тобой, с тобой вместе я могла бы от него избавиться... Давно, давно я любила одного человека, он был похож на тебя!..

Мы сидели рядом на краю кровати. Фанни сложила наши руки, как на молитве. Две пары рук тесно сплелись, моля о смерти... Я почувствовал себя всесильным, ведь нет власти сильнее смерти...

Фанни сунула мне в руки альбом с фотографиями, на которых она была изображена в самых различных позах и костюмах: «Международная дива Литтл Ленч — танцовщица-престидижитатор». Она извлекла из шкафа переливающийся блестками костюм и стала переодеваться за черной ширмой с вышитым серебром павлином. Переодеваясь, Фанни нечаянно сдвинула ширму с места. Она продела руки в рукава: блестящая мишура покрыла ее с головой, но в следующее мгновение Фанни вынырнула из этого моря блестков, вся в переливающемся серебре. На щеки она наложила жаркие румяна и густо насурьмила брови. Губы навела кармином так, что они стали маленькими и круглыми, как гвоздика. Волосы высоко подколола, а на лоб начесала встрепанную челку. Она вытащила музыкальный ящик, завела вальс «Дунайские волны» и накрыла ящик подушкой, «чтобы звучало словно откуда-то издалека». В звуках вальса мне слышалось позвякивание кучки мелких монет и воспоминанием преображенный в мелодию звон будильника, который превратился в музыкальный ящик.

Делая крохотные па, Фанни вертелась по кругу, едва подчеркивая ритм вальса. Руки она держала на бедрах. Но вот она помахала мне правой рукой, послала воздушный поцелуй, склонилась в низком поклоне. Она танцевала по сверкающему кругу, но казалось, она удаляется в танце далеко-далеко, в глубь своей жизни. Танцуя, она освобождалась от того, кто, по-видимому, не выпускал ее из страшных тисков. Теперь она словно выскользнула из них. Точно так же, как я, здесь, в Фанниной комнате, думал о фрейлейн Клерхен, измышляя рассказ о нашей совместной смерти, так и Фанни, танцуя, забыла обо мне и видела

перед собой того, кого любила когда-то и кого через мою голову приветствовала своим лучезарным танцем. Но вот она вернулась ко мне. Танцевала передо мной, балансируя, как канатная плясунья, на высоком мосту, парящем в воздухе. Как Дузель. То был танец забвения.

— Этот гад Куник раздобудет револьвер, и тогда нам ничто не страшно!

— Много было у тебя мужчин?

— Тебе незачем это знать.

Жаркий румянец на ее щеках принял противный кирпичный оттенок, он линял слой за слоем.

— А много?

— Не знаю. Брось! Теперь ты со мной.

Густые черные дуги ее бровей стерлись.

— И все они одинаковы?!

— Зачем ты мучаешь себя и меня?

— И этот...

— Все,— только ты не такой!

— Ты и с этим путалась, ну, сама понимаешь, о ком я говорю...

— Ах, так ты вот о ком! Райнер Фек... А почему ты именно о нем спрашиваешь?

Кармин на ее губах потрескался. Губы — все в трещинах.

— Он ужасная свинья!

— Остроумный малый и очень шикарный, он мне даже нравится.

Переливчатое сияние ее костюма погасло.

Фанни открыла мне объятия.

— А ты не струсишь?!

— Чтобы я да струсил! — хорохорился я, хотя меня терзал страх и я озирался в поисках спасения.

— О, ты, ты совсем другой... Ты не такой грубый, как все, правда?.. Ну, скажи что-нибудь... Ты, ты не трус, нет... Но почему же ты молчишь, ах...

* * *

С Гроссгесселоэского моста глазу открывался такой необъятный чудесный простор, что душу невольно охватывало спокойствие, точно ничего дурного уже не могло случиться. И близость смерти открывала взору такую же бескрайнюю даль. Этим

я объяснял себе радостное настроение Дузель, когда она решила прыгнуть с Гроссгесселоэского моста, и такое же настроение охватило теперь меня. Смерть была вершиной, подобной высочайшей горной вершине; так высоко человек никогда в другое время не взбирается. Жизнь лежит перед ним, как на ладони, и, прежде чем отважиться на прыжок, он обозревает ее с высоты, такие прыжки в глубину я часто совершал на тренировках в Луизенбадском бассейне, где прыгал с десятиметровой вышки. Это полет в бездну, его можно повторять до бесконечности; летишь, затаив дыхание, сквозь свистящий воздух, не упуская ни одной подробности полубессознательного секундного пути. Мягко ныряешь на самое дно и, подхваченный водой, жизнью, всплываешь вновь. Можно, разумеется, упасть неловко и удариться животом или спиной об воду, а иногда уже над самой поверхностью тебя охватывает ужас, что вся вода ушла и ты упадешь прямо на мраморное дно,— так насквозь, до самого мраморного дна, прозрачен бассейн.

И вот я стою высоко-высоко, на вершине, перед необъятным вольным простором и должен решиться на смертельный прыжок. Но я не отваживаюсь подойти к краю моста, мне достаточно уж одной этой картины, которую создала близость смерти, пусть Фанни прыгает без меня. Но Фанни не выпускает моей руки, она тянет меня за собой и толкает к пропасти... Тут я проснулся и увидел, что лежу рядом с Фанни.

Целую ночь я вдыхал ее жизнь. Мое тепло смешалось с ее теплом. Я пропах ею, никакими силами я не мог бы стряхнуть с себя ее назойливый запах. Следы высохших румян остались на моем лице. Во сне ей точно подменили голову — рядом со мной на подушке лежала ощипанная птичья голова.

Мы говорили друг с другом во сне. Ее сон говорил моему:

— Виновата ли я, что я не твоя фрейлейн Клерхен! Нет, я тут совершенно ни при чем. Но и ты, мой дружок, не слишком-то зазнавайся: и ты не тот, кто мне дорог. Ты мне, собственно, никто. Ты — вовсе не ты. Каждый из нас лежит здесь на месте кого-то другого.

Мой сон отвечал:

— Ах, не ты владеешь моим сердцем. Виноваты ли были «Грезы» Шумана, что оно тосковало по гармони Ксавера?.. Ты — вовсе не ты. Я знаю, что я не тот, как и ты не та. Сквозь меня ты смотришь на другого. Я, перешагнув через тебя, устремляюсь к другой... Мы лежим рядом, но каждому из нас хотелось бы быть с другим.

Так разговаривали между собой наши сны.

XXXIX

В предвидении близкой смерти я ступал легко, как на крыльях. Мир казался мне разумно устроенным и достойным любви... Каждому встречному хотелось мне сказать приветливое слово: и молочнице, оставившей у подъезда свой ящик с бутылками, и мальчику из булочной, разносящему хлеб по квартирам, братской нежностью проникся я вдруг к почтальону, уже совершавшему свой обход, и к газетчику,— ко всем этим людям, от которых я отдалился теперь на грань жизни и смерти. В этот час прощания мне хотелось заключить в свое сердце и дворников и возчиков, которые сидели на козлах своих тяжелых, груженных пивными бочками фургонов, с глухим громыханием катившúх по просыпающемуся городу.

Изарские ворота и Мариенплац, Галерея полководцев и убегающая под уклон широкая Людвигштрассе — все это казалось мне невиданно прекрасным, и я часто останавливался в радостном изумлении, точно выбирая, какие из этих улиц и зданий захватить с собой в свое посмертное существование.

Огромный золотой крендель, поддерживаемый с боков золотыми баварскими львами, герб Зейдельбека, парил в воздухе на моем пути к смерти. Мужчины и женщины со свертками под мышкой торопились на работу. Стремительным людским потоком меня прижимало к стенам домов, я никуда не мог скрыться от взглядов, которые, я это чувствовал, останавливаются на мне с выражением неприязни и презрения. Все это были Гартингеры. «Оборванцы, недокормыши, крамольники»,— подсказал мне господин прокурор, но господин Зигер из Охотничьего домика возразил ему: «Надежда Германии».

К небу взвился гудок, за ним еще и еще гудки, протяжные, пронзительные, и Гартингеры ускорили шаги. Быстро вертящийся хлыст, со свистом рассекая воздух, проносился над головами людей. Мне не скоро удалось выбраться на одну из боковых улиц, человеческий поток спугнул, казалось, мои мечты о смерти, и по мере приближения к Гессштрассе меня все сильнее охватывала тревога. Я стал ломать себе голову, что бы придумать в оправдание моей первой ночи, проведенной вне родительского дома...

Меня удивило, что отец на мое: «Было уже очень поздно, и я остался ночевать у Фека» — ответил: «Ну, что же, ладно!» Я прибавил как бы вскользь:

— Я читаю теперь «Путешествие Петера Моора на юго-запад».

— Так-так,— сказал отец.

Непостижимо, что он поверил моей дурацкой выдумке, но и тут же забыл об отце, поглощенный подготовкой к смерти вместе с Фанни.

«Нет,— останавливал я себя,— Фанни живет в «Долине», я ночевал не в пансионе Зуснер».

Куник достал револьвер. Я носил револьвер при себе, маленькую, черную штучку, такую прохладную и удобную. Город с его глухим рокотанием отодвинулся куда-то в неясную, беспредельную даль. Дома потеряли четкость очертаний и погрузились в маслянистый туман. Люди скользили мимо, как куклы, которых тянут за проволоку. Я и сам будто парил, будто покачивался на качелях. На мне словно был волшебный панцирь, он делал меня неуязвимым и от всего предохранял. Передо мной маячило большое черное пятно, оно сверкало, как подземное солнце: то была смерть...

Суббота. День, как и всякий другой, но я оделся особенно тщательно, в последний раз. Галстук было заартачился, когда я начал завязывать узел, но я уговорил его, и он покорно лег на грудь, гладкий, без единой морщинки. На прощание я окинул взглядом свою комнату. Уж будь уверен, обои из-за тебя не отклеятся. И на кухне не прекратится оживленное мытье посуды, и все так же будет капать из крана вода. Прощай, Христина!.. На одно только мгновение хотел я задержаться в гостиной перед портретом на мольберте, но дверь распахнулась — на пороге стояла мама.

— Сколько раз надо тебе повторять, чтобы ты не смел входить в гостиную, паркет только что натерли, и уже никакого вида!

«Марш! — подгонял меня револьвер.— Пошевеливайся-ка, да живее!» Несколько кварталов меня провожал Гартингер, мы шли с ним по нашему старому школьному маршруту — вверх по Луизенштрассе, к Пропилеям. Магазины были все те же: парикмахерская, кондитерская Зейдельбека, писчебумажный магазин. «Что с тобой, скажи?» — задушевно спросил встревоженный Гартингер. «Со мной? Ничего!» — резко оборвал я Францля. «Ты что-то задумал!» — Гартингер протянул мне руку. «Возврата нет!» — пригрозил мне револьвер; когда я хотел вложить его в руку Гартингера, револьвер готов был разрядиться сам собой... И вот уже он на ночном столике в Фанниной комнате. Фанни спит рядом. Я с удовольствием перевел бы будильник на час назад, чтоб еще хоть немного оттянуть миг нашей смерти, назначенной на шесть утра, но боялся разбудить Фанни. Часы

тикали все быстрее и быстрее, утро разгоралось с ужасающей стремительностью. Посреди комнаты стоял стол с острыми краями, забытый на нем стакан излучал холодный свет... Самое простое, конечно, было бы встать, открыть дверь и уйти. Но револьвер на ночном столике вдруг проснулся и повернул ко мне свое дуло... Я отвел дуло от себя, направил на Фанни и дважды выстрелил в упор, две желтые патронные гильзы вывалились на белое одеяло, скатились чуть пониже и застряли в складке... Фанни вытащила руку из-под одеяла и, конвульсивно растопырив пальцы, прикрыла простреленное место. Капля крови выкатилась у нее из носу... Я поздно спохватился, что лучший способ стреляться — в рот: наполнить дуло водой, потом закупорить его и стать перед зеркалом... Револьвер вместе с моей рукой надвинулся на меня вплотную, указательный палец согнулся: «За то! За то! За то!» — трижды дернулся палец и трижды нажал курок. «За то! За то! За то!» — стрелял револьвер. Он стрелял в меня за все подлости, которые я совершил, за каждую в отдельности... Что-то ударило в кончики пальцев на ногах и пробежало по всему телу. Я пристально вглядывался в стену, стараясь увидеть на ней картину, какую угодно, может быть очень давнюю, дающую ответ на все сразу. Но Беседка счастья, где я сидел с фрейлейн Клерхен, растаяла. Стена молчала, не рождая картины... Я проснулся, первым проснулся слух. Лязгал трамвай. Слабое, негромкое щелканье револьверных выстрелов все еще звучало у меня в ушах. Вдруг я услышал голос Фанни: «Не хочу умирать!» — «Не умирать! Не умирать!» — услышал я самого себя.

— Какао готово! Завтракать, фрейлейн! Скоро десять часов! — звала квартирная хозяйка, стучась в дверь.

«Ради тебя! Ради тебя!» И Фанни, умирая, тянулась к тому — далекому, другому. «Ради тебя! Ради тебя!» — прощался я, умирая, с фрейлейн Клерхен. «Не хочу умирать!» — крикнула Фанни, отчаянно борясь со смертью, и ударила свое Золотко кулаком в лицо. «Не хочу умирать!» — крикнул Золотко и ударил Фанни. «Не хочу!» — ногтями вцепилась в него Фанни. «Не хочу!» — он схватил ее и притиснул к стене. «Не желаю иметь с тобой никакого дела! — крикнула Фанни и с силой оттолкнула его; он едва удержался на краю кровати.— На что ты мне сдался! Я тебя не знаю!» Он выталкивал ее из кровати и прижимал к стене. «Замолчи!» — кричала она, вырываясь из его рук. «Прочь! Вон! Убирайся! Убирайся!» — кричали оба наперебой. И вдруг испуганно замолкли. Шкаф внезапно отодвинулся от стены и накренился. Из-за шкафа выскочили люди

в форменной одежде, и я на носилках скатился вниз по винтовой лестнице... Разве то не была смерть влюбленной четы в пансионе Зуснер, за которой теперь, после стольких лет, я последовал вместе с Фанни? И в то же время это была смерть Дузель и Газенэрля, ведь с вершины нашей смерти открывался широкий простор, как и с Гроссгесселоэского моста.

— Нет, я никогда не была шикарной дамой, что это тебе взбрело в голову,— ответила Фанни на мой вопрос, не она ли была та шикарная дама, что приехала однажды в пансион Зуснер.— Нет, и Куника там не арестовывали. Какие глупые вопросы ты задаешь!

Но когда меня на носилках переносили через улицу, я сорвал с лица простыню, которой был прикрыт с головой. С испуганным «ах!» шарахнулась от меня толпа, собравшаяся перед пансионом Зуснер, а я посмотрел на противоположную сторону, на дом номер пять по Гессштрассе. Отец отвел от окна плачущую мать: «Не говорил я разве всегда...» Юный самоубийца был слишком слаб, он не мог открыть глаз. Лежа в темноте, он чувствовал, как чья-то рука щупает его пульс. Рука держала его крепко, как бы внушая: «Все будет хорошо».— В самом деле?! — Он перевел дыхание, как будто выдохнул все бремя жизни. Это не рука отца. Его рука поднята вверх, и на обращенной наружу ладони, словно на табличке, написано: «Это не мой сын!» Но и не мамина рука тоже. В ней вязальные спицы, они торчат в разные стороны и колются. Фаннина? Нет, ее рука лежит на простреленной груди, как привязанная, и не шевелится... Я хотел спросить державшую меня руку — чья она, но тут на меня напялили маску. Сквозь нее нахлынули воспоминания о героях, их славные дела описаны в книгах; тут были и старина Шаттерхэнд, и принц Евгений, крестоносцы, Колумб, Робинзон, Александр Великий и спартанцы, сражавшиеся у Фермопил под предводительством Леонида, и владелец трактира «У веселого гуляки»,— ведь я дал себе слово быть таким, как они, и покорить мир. Жалкий же вышел из меня герой, герой, валяющийся сейчас в хирургической клинике на Нуссбауэрштрассе, в операционном зале... Хорош герой, даже в собственное сердце не сумел попасть — в самую близкую мишень, и тут промахнулся. Почему я не встретил на своем пути ни одного героя? Я хотел принести себя в жертву, умереть во имя великого. Как тосковал я по дисциплине и муштре, по размеренному шагу и сомкнутом строю! Я нуждался в ком-нибудь, кто научил бы меня жизненной стойкости. Научил бы меня не только умереть во имя великого, но и жить во имя великого... Я нуждался в руке, кото-

рая вела бы меня. Я хотел написать письмо Гартингеру. Но письмо у меня не получалось, никак не получалось. Целую неделю мне не удавалось написать адрес Гартингера на конверте. То адрес получался неверный, то буквы были неразборчивы... Я оставил мысль о письме Гартингеру. Вдруг рубашка накрыла мне голову, руки взметнулись вслед за ней. «Считай!» Я стал считать, я считал, как тогда, в ожидании, пока загрохочет штора, считал, все глубже погружаясь в воспоминания, отсчитывал часы до счастливого мига; я считал, и весь класс считал вместе со мной, как в тот день, когда Гартингера из-за меня высекли, и все вытягивался, точно собираясь дотянуться до Изартальского вокзала и покрыть собой весь мир... «Дзинь-дзинь-дзинь...» Все дальше, все отдаленнее... Падал частый, как завеса, теплый дождик... Нелегко было вынырнуть в жизнь из забвения, не хватало сил оттолкнуться руками от дна. Я лежал ничком, погружаясь все глубже и глубже, тело мое возвращалось в прежнее положение, как я ни силился повернуться... С меня сняли маску... Всю ночь в кресле сидела сестра. Я повернулся лицом к стене. Высокой серой громадой надвигалась на меня стена, захлестывала беспамятством. Но вот стена тумана поднялась, и я увидел внизу гостиницу «У седого утеса». «Ах ты...»

Совместный уход из жизни,— причем я оставался жить, потому что стрелял мимо,— продолжался весь день. Мы условились с Фанни вечером встретиться, чтобы вместе умереть. Я бы охотно остался дома, потому что смерть уже была до конца пережита мною, но уклоняться от совместной кончины было поздно. «Ты не трус» — обязывало меня.

Вдруг в передней раздался звонок, и немного погодя в комнату вошла Христина.

— Т-с-с! К его милости пришла полиция!.. Они там...

Когда полицейские ушли, отец велел позвать меня.

Он сидел за письменным столом и перелистывал какое-то дело. Каждая перевернутая страница, думалось мне,— это страница моей жизни, и он тщательно ее изучает. Все записано в этом деле мелким аккуратным почерком, некоторые места подчеркнуты одной или двумя чертами, а кое-какие даже красными чернилами. Отец быстро перелистал последние страницы и так резко захлопнул папку, что у меня перехватило дыхание.

Спокойствие в лице и движениях отца кололо меня, как иголками.

— Так. Значит, ты ночевал у Фека? — Это прозвучало самодовольно, с иронией.

— Да, было уже очень поздно...

— Я боюсь, что на этот раз будет поздно совсем в другом смысле, если только ты сию же минуту немедленно не скажешь всю правду.

— Да у Фека... где же еще...

— Нет, это прямо неслыханно, лгать с таким упорством!..— Отец хлопнул себя по колену.— Черт возьми! — воскликнул он и поудобнее уселся в кресло.— Ну, что ж, в таком случае я тебе скажу, где ты был...— В руках он держал записочку, в которую то и дело заглядывал.— В восемь часов ты был...

Верно! — безмолвно откликнулся Золотко. В восемь часов он действительно был в табачной лавочке у Костских ворот.

— В десять часов ты был...

Опять же верно! В десять он действительно сидел вместе с Фанни в кабачке...

— В двенадцать ты был...

Поразительно верно — в двенадцать он как раз был у Фанни, они сидели рядом на кровати, рука в руке...

— А ночевал ты...

До чего же все верно! И как это все сходится, точка в точку!

— Тебе известен некий Куник?

Этого только недоставало. И опять все верно.

— Ты вступил в связь... Кельнерша из кабачка «Бахус»... Обыкновенная уличная шлюха...

Но как он все это узнал? Чего-чего только нет в этой записочке?!

— Тебе семнадцать лет...

Все верно! Все верно!

— Ну вот, а теперь прочти.— Отец взял с письменного стола вечерний выпуск «Мюнхенских новостей». В руке его была тайна, он поигрывал ею.

Стало очень тихо, вся комната будто насторожилась. Даже портрет, стоявший в гостиной на мольберте, придвинулся ближе, чтобы послушать.

Прокурор, д-р Генрих Гастль, протянул Золотку газету. Протянул не спеша, наслаждаясь каждой секундой промедления. Не так ли медлил и я, прежде чем объявить мат проигравшему партию отцу? Под заголовком: «Убийство с целью ограбления у Костских ворот» — было напечатано: «Владелица табачного магазина у Костских ворот Фанни Фусс, служившая ранее кельнершей в кабачке «Бахус», сегодня около полудня найдена убитой в собственном магазине. Взлом кассы указывает на то, что убийство совершено с целью ограбления. По подозрению в убийстве арестован один из многочисленных воз-

любленных убитой, неоднократно отбывавший долгосрочное наказание, профессиональный убийца и сутенер, по фамилии Куник, известный также под кличкой «Боксер». Все сведения, могущие служить выяснению дела, просьба направлять в адрес мюнхенского полицейского управления».

«Один из многочисленных возлюбленных...» — от этих слов я не мог оторваться, пока отец не отобрал у меня газету.

Он явно наслаждался моим видом, я стоял с открытым ртом, не в силах перевести дыхание.

«Фанни! Фанни!» — беззвучно звал я на помощь, кто-то дымил мне в лицо сигаретой, и дверь магазина непрерывно дребезжала — «дзинь!».

— Ну, чего ты рот разинул? Говорил я тебе или нет? Это всегда кончается эшафотом...

Сознание, что его пророчества сбываются, делало отца снисходительным.

— Завтра, в десять утра ты явишься на допрос к следователю. Мама ничего не должна знать, она не перенесет такого позора. Да и перед своими приятелями попридержи язык, не то будет грандиозный скандал. Послушайся хоть раз своего отца! Как видишь, полиция уже производит розыски, от нее ничто не укроется. Будут приняты все меры, чтобы твое имя в деле не фигурировало, иначе общественное мнение заклеймит нас позором... Чего-чего только не приходится терпеть твоим бедным родителям! Ну, скажи сам: заслужили они это?

— Да-да! Все могло кончиться много хуже,— вынужден был я согласиться.

В эту минуту вошла мама, и отец ловко перевел разговор на мои школьные занятия.

Где-то глубоко во мне шевельнулся довольный смешок. Я хотел притвориться, что не замечаю его, да не тут-то было, вот уж он вырвался наружу злобной широкой усмешкой. «Собственно, вышло совсем не плохо. Что, если бы Куник не...» Злобная усмешка скрылась... «Что вы желаете?» — мысленно старался я произнести голосом Фанни. И еще — «Меня зовут Фанни».

Сладостная горечь пронзила меня — брусника...

Обер-прокурор д-р Гастль, провожая своего сына, Золотко, на допрос,— в школу он сообщил, что сын заболел и поэтому не придет,— старался по дороге еще и еще раз внушить ему,

что́ говорить на допросе. Нет никакой необходимости припоминать все, как было. Не доходя до Виттельсбахского фонтана, он остановился со своим сыном посреди бульвара и стал экзаменовать его.

— Если следователь спросит: «Но как же, молодой человек, могло случиться, что вы, сын столь почтенных родителей, получивший первоклассное воспитание, связались с особой самого низкого пошиба?» — ну, что ты ответишь? Следователь наверняка это спросит. Ну-ка, подумай... Не знаешь?.. Не полагаешь ли ты, что тут сказалось дурное влияние, ну-ка угадай, чье дурное влияние... Гартингера?! Нет?.. Ну, хорошо, в таком случае *мне* придется поговорить на эту тему... Дальше: о чем уславливались в твоем присутствии убийца и эта уличная девка? Имей в виду, что квартирная хозяйка уже побывала в полиции и сообщила, что вы провели втроем не меньше часа.

— Фанни, вернее, фрейлейн Фусс...

— Надо говорить: «*Эта* Фусс», и никоим образом не «Фанни», да и фрейлейн советую оставить при себе... *Эта* Фусс завлекла тебя к себе в комнату, напоила допьяна, а что происходило потом, ты вообще не помнишь... Деньги она у тебя брала?!

— Фрейлейн Клер...

— Ты хочешь сказать «*эта* Фусс»! Запомни, наконец!

Хорошо, я подчинюсь и буду говорить «*эта* Фусс», но я не могу не воздать Фанни должное.

— *Эта* Фусс пригласила меня в ресторан, я хотел вернуть *этой* Фусс истраченные деньги, но *эта* Фусс сделала вид, что обиделась, вот я и остался в долгу у *этой* Фусс.

— Такая низость с ее стороны бросает на тебя тень; следователю незачем это знать. А если вопрос о деньгах все-таки всплывет, тогда скажешь, что позднее, на улице, ты вернул *этой* Фусс ее деньги... Кстати, в высшей степени благородно — принимать угощение от бывшей кельнерши...

Желая предварительно потолковать со следователем, отец ненадолго зашел к нему, и только потом меня вызвали. Служитель, пропуская меня к следователю, низко поклонился.

Над столом висел огромный портрет принца-регента, голова следователя едва доходила до нижнего края безвкусной позолоченной рамы. На меня глянуло лицо с рыхлым, как

пемза, носом, сплошь покрытое шрамами. Следователь предложил мне сесть, застегнул на все пуговицы сюртук на раздутом от пива брюхе, наточил карандаш, осмотрел свои ногти и подавил зевок.

— Ну-с, молодой человек, расскажите, как случилось, что вы, сын порядочных родителей, вступили в связь с особой самого низкого пошиба... Ничего, не торопитесь, подумайте спокойно, прежде чем ответить... Вы выступаете, правда, не в качестве обвиняемого, но ваши показания могут пролить свет на интересующее нас дело... Так вот, молодой человек, скажите, вы часто встречались с неким Гартингером?! Ну, вот видите, очень отрадно, что вы так открыто признаете это... Не говорил ли Куник, между прочим, о своем сочувствии социал-демократам, или, может быть,— и в этом вопросе вы могли бы оказаться единственным авторитетным свидетелем,— убитая Фусс рассказывала вам о таких его настроениях?.. Можете говорить совершенно спокойно, вам не грозят никакие осложнения, наоборот, мы прекрасно понимаем, что вы не хотите выдавать друга или, вернее, отца своего друга, но речь идет о чем-то гораздо более высоком, чем дружба, воздайте же должное истине... Имейте в виду, что Гартингер-старший очень опасный человек, он помешан на своих идеях... Он вас никогда не пытался совратить? Никогда?.. Ни разу не предлагал вам выкрасть у отца папки с делами? Ни разу? Никогда не говорил, что нужно бы кайзера... Никогда? Почему он именно с вами так подружился, этот вопрос не приходил вам в голову? Нет?.. Итак, Фусс сообщила вам по секрету,— ведь это соответствует действительности, не правда ли? — что Куник сочувствует социал-демократам,— так, не правда ли? Вы видите, я формулирую коротко, мы сразу все это занесем в протокол... А более точных сведений о характере этого сочувствия она вам не сообщала? Кстати, если бы удалось установить некоторое влияние на Куника со стороны социал-демократической братии, это благоприятно отразилось бы на его судьбе. Вы, конечно, знаете, чем пахнет убийство с целью ограбления? К тому же не исключено, что Куник сам сделает признание в этом смысле,— ну, неужели вы ничего такого не припомните?! Жаль, да и странно, даже подозрительно, молодой человек, что память изменяет вам как раз в этом пункте... Но погодите-ка, раз уже об этом зашла речь, то не припомните ли вы другого обстоятельства,— дело было, правда, давно, однако возможно, что это даст нам в руки нить. Я могу освежить в вашей памяти один эпизод. Ученик по фамилии Кезборер — припоминаете? Фамилия такая, что легко

запоминается,— показал в свое время комиссии, посланной министерством просвещения, что Гартингер-младший подбил вас на кражу, ссылаясь на слова своего отца: «У кого за душой нет ничего, тому и красть не грешно». Это верно, что Гартингер-младший хотел таким образом подбить вас на кражу?

— Нет.

— Предупреждаю, вы запутаетесь в противоречивых показаниях. В свое время перед членами комиссии вы не отрицали этого факта.

— Совершенно верно. Перед членами комиссии я не отрицал этого факта. Но мой товарищ Гартингер никогда ничего подобного не говорил. Я очень хорошо знаю, господин следователь, что я запутался в противоречиях.

— Ах, вы из таковских! Ну, значит, вашему многоуважаемому батюшке можно только выразить глубокое соболезнование.

Тут следователь встал, внезапно преобразившись из толстого снисходительного искусителя в неумолимого обвинителя, и закричал срывающимся голосом:

— Одумайтесь, молодой человек! Не смейте так нагло отпираться, молодой человек! Извольте выложить все, что вам известно, молодой человек! Извольте, наконец, дать полезные для следствия показания, молодой человек!..

Только после этой тирады ему удалось выжать из Молодого человека:

— Я не намерен, господин следователь, навлекать подозрение на невиновных!

Следователь выступил из позолоченной рамы, обошел вокруг стола и двинулся прямо на Молодого человека, буравя его таким страшным взглядом, что эта наигранная суровость едва не заставила меня расхохотаться.

— Ого! Вы далеко пойдете! Какое упорство! А мы-то — ваш почтенный отец и я — принимаем все меры, чтобы помочь вам выпутаться из этого дела... Я мог бы избавить себя от встречи с вами... Допрос окончен. Ступайте!

В коридоре следователь обменялся с отцом несколькими словами. По дороге домой отец растерянно молчал и только у самого дома заговорил наконец:

— Я все меньше и меньше тебя понимаю. По-видимому, у тебя с головой что-то неладно. Толкуешь тебе, толкуешь — и

все попусту! Не дать ни одного полезного показания! К чему это приведет в конце концов?!

То, что отец не стал навытяжку перед следователем, а сохранил стойкость, позволило Молодому человеку твердо ступать рядом с ним, точно стойкость была тем мостом, который уводил от пропасти.

Отец стоял в гостиной на большом пушистом ковре, мать открыла буфет: в нем блеснуло столовое серебро...

Нет, и тут я больше не сдамся: я никогда больше не скажу «*эта* Фусс».

XL

— «Мюнхенские новости» читали? — орал Фек на весь класс.— Пристукнули эту потаскуху из табачной лавочки у Костских ворот... Десять марок она у меня вытянула, стерва...— Фек показал мне газету.— А ты прозевал интересное знакомство, и поделом: не послушался моего совета... Был бы сейчас тоже «одним из ее многочисленных возлюбленных»... Что, выкусил?

— Ты страшно остроумный малый...— бросил я и вырвал у него из рук газету.

— Что? — насторожился Фек, у него возникли какие-то подозрения.

— Да ничего, ровно ничего, я просто так...— «А может быть, он не такой уж противный,— я смерил его взглядом,— одет всегда с иголочки, и Дузель он, пожалуй, немножко любил когда-то...»

Подозрения Фека рассеялись:

— Надо прямо сказать, это просто счастье. Мне здорово повезло... Ведь я познакомился у нее с этим молодчиком...

— Так что же у вас было с этой... из табачной лавочки? — спросил я коварно. Я хотел сделать себе больно, я знал, что каждое слово Фека заставит меня корчиться от боли.

— Ах, скажу я тебе,— с готовностью стал выкладывать Фек,— всякая охота могла пропасть, пока дотопаешь к ней по лестнице. Она была когда-то танцовщицей. И был у нее дружок Боксер,— тот самый, который ее теперь и кокнул,— так вот она никак не могла от него избавиться. Сначала мы зашли в кабачок. Форменная комедия была, как она все искала подходящее местечко! А в общем, ничего особенного, такая же, как все.

Десяти марок она не стоила. К тому же она без конца твердила о смерти. На этот предмет, сказал я ей, пусть поищет себе другого. Вот ты бы ей подошел в самый раз. Так уж всегда бывает, когда не слушают друга. Такого, как ты, она всю жизнь ждала.

— Так, так,— пробурчал Золотко, совсем как недавно его отец, и — гм-гм,— промычал он, отходя от Остроумного малого.

После занятий я долго кружил по городу, я шел за гробом Фанни.

Впереди гроба реяли черные флаги, позади несли венки. Бело-голубые флаги, сданные в красильню как траурный заказ, были выкрашены вне очереди. Прохожие на улицах останавливались и снимали шляпы. Завидев процессию, добродетельные отцы семейств спасались бегством в подъезды ближайших домов или на соседние улицы, руками или портфелями закрывали лицо, чтобы гроб не узнал их, но черные флаги развертывались во всю ширь, и светящаяся надпись гласила: «Убийцы, вы загубили ее!» Кельнерши из кабачка «Бахус» шли за гробом, все в коричневых юбках и красных блузках. Квартирная хозяйка Фанни, которая по утрам стучалась к ней со словами: «Какао готово, фрейлейн», шла вместе с кельнершами, напрасно стараясь прямо удержать плакат: «Нашей незабвенной Белоснежке»; плакат качался из стороны в сторону, так плакала она, квартирная хозяйка, чиновничья вдова Кресценция Шарнагель, добрая старушка,— ведь Фанни не заплатила ей за три месяца, а Грубошерстное пальто отказался покрыть долги Фанни, хотя до сих пор всегда это делал. Но вот, с карточкой под мышкой и с подносом, на котором были любимые Фаннины блюда — грибы с клецками и на десерт брусника,— к процессии приблизился кельнер из кабачка. В искрящихся солнечных лучах, щедро падавших на гроб, казалось, что он обвешан легкими, сверкающими покрывалами. Его несли на плечах два атлета, те, что боролись друг с другом на плакате, и руки у них были, как окорока. На огромные голые бедра атлеты повязали бело-голубые шарфы, а спереди наготу прикрывал фиговый листок. И икры у них походили на окорока. Атлеты несли гроб на вытянутых руках, точно он был легкий, как перышко, иногда они высоко подбрасывали его в воздух и через несколько шагов ловко подхватывали снова. Хотя гроб и не был стеклянным,— он был из черной ткани, прозрачной, как вуаль,— зато Фанни легко дышалось в нем, и она могла глядеть во все стороны, оставаясь невидимой. Часто казалось, что гроб поднимается над плечами атлетов и плывет по воздуху. Заиграла похоронная музыка — это завели громадный музыкальный ящик, поставлен-

ный на колеса; четыре пары белых лошадей везли его, словно королевскую карету. Процессия медленно двигалась, вальсируя на ходу. Пушистый ковер из нашей гостиной стлался под ногами, уходя в бесконечность. Все двери в магазинах звенели «дзинь!», и вместо ладана пахло табачным дымом. Золотко нес на подушке альбом с Фанниными фотографиями. Христина нашила ему на левый рукав, чуть повыше локтя, черный креп. За гробом следовал буфет со сверкающим столовым серебром и черная ширма с серебряным павлином, за которой Фанни переодевалась. Боксера Фанни простила и, взяв с него слово, что он оставит ее в покое, позволила ему присутствовать на похоронах. Боксер, этот гад, расстегнул на груди рубаху и так шел всю дорогу. Синяя татуировка на его груди улыбалась: «Что вы желаете?» Дамы из кабачка «Бахус» подхватывали в унисон: «Меня зовут Фанни». Грубошерстное пальто, эта мразь, тоже приперся. Он нес плакат с надписью: «Закрыто по случаю траура», изготовленный по его заказу живописцем из мастерской напротив табачной лавочки: плакат сегодня еще предстояло повесить над дверью. За гробом вели прокурора, того самого мучителя, какого поискать надо, который все жаловался, что Фанни недостаточно жестока с ним, а также Остроумного малого. И еще шел за гробом любимый, далекий. Шел один, особняком от всех, но казалось, что он идет с Фанни об руку... И все мы превозносили Фанни, прославляли и хвалили ее. Весь мир вспоминал многие и многие добрые дела, которые совершила Фанни, несмотря на греховность своего жизненного пути.

* * *

Мы уговорились с Левенштейном встретиться в субботу под вечер в Английском парке, у водопада.

— Там никто нам не помешает, это самое надежное место. У меня к тебе очень важное дело!

Левенштейн потребовал от меня честного слова, что все это действительно всерьез и что я приду один. Он, видно, опасался, как бы я не привел Фека и Фрейшлага, чтобы учинить над ним какую-нибудь гадость.

Когда я с Фон-дер-Танннтрассе свернул в Английский парк, меня густо облепили влажные клочья осеннего тумана. Все было точно окутано дымчатой ватой, прохожие, одинокие покашливающие тени, бесшумно скользили мимо.

Водопад глухо бурлил. Кроны деревьев, как будто низко срезанные туманом, расплывались, тонули в бесформенной

мгле. Туман, обманывавший глаз своей серой однотонностью, непрестанно менял очертания: вздувался пуховиками, нависал пологом. В мире тумана роились призраки, велась какая-то недобрая игра. Черная паутина тумана наползала из кустов на скамью, которую я не сразу разыскал.

Я затеял с собой разговор, густо пересыпая его остротами и едкими замечаниями, все старался отогнать призраки, а они приближались к моей скамье, помахивая в воздухе покрывалами и лентами.

— Я тебе свиданья не назначал, уходи, пожалуйста! — сказал я Фанни, опустившейся рядом со мной на скамью. Я подобрал ноги, под ними что-то булькало, словно на Изаре, когда прибывает вода. Ведь и Дузель и Газенэрль могли скрываться где-то здесь, поблизости, обреченные вечно парить в тумане за свой прыжок с Гроссгесселоэского моста.

На скамье было достаточно места для всех.

Когда, бывало, летним вечером я оставался один на этой скамейке, скрытой в чаще деревьев и кустов, и водопад добродушно бормотал что-то свое, и в воздухе разлиты были одуряющие ароматы, а сквозь густые кроны деревьев то тут, то там проглядывала звездочка,— тогда я широко раскидывал руки, точно приглашал хороших людей посидеть со мной рядом. А теперь я беспокойно ерзал по всей скамье, пытаясь вспугнуть призрачные ужасы, носившиеся в тумане. «Разрешите, молодой человек»,— дохнул на меня из тумана бесплотный господин, и «Не найдется ли тут свободного местечка?» — прошелестела следом бесплотная дама.

— Ау! Ау! — кричал я, обороняясь от одолевавшего меня страха.

Я пришел за полчаса до условленного времени. Эта скамья Левенштейну тоже была хорошо знакома, однако меня беспокоило, как бы он не заблудился в такую непогоду. Сложив рупором ладони, я бросал в нависшую стену тумана:

— Ау!

Туман струился. Никакого отклика.

— А-у-у-у! — кричал я снова и снова. Точно призывные звуки рога, раздавалось мое «ау» в тумане.

Прошло уже с четверть часа после условленного времени. Я решил в последний раз крикнуть, но тут послышалось отдаленное, неясное «ау!».

— Ау! Я слышу тебя! — раздалось уже поближе.

— Ау! Где ты? Ты один? — доносились отрывистые призрачные возгласы.

— О-о-д-и-и-и-и-н! — крикнул я раздельно, словно для того, чтобы раздвинуть туман.

— Честное слово? — спросила густо-серая мгла тумана.

— Честное слово! — эхом откликнулся я.

И снова заструилась мглистая тишина. Потом туман сгустился, от него отделилось темное пятно, и, предшествуемый клочком тумана, передо мной предстал Левенштейн.

— Садись! Садись! — Я полой пальто вытер скамью подле себя.

— Ты один? В самом деле один?! Что за гнусная погода!

Уже сидя со мной рядом, Левенштейн все еще подозрительно оглядывался, и мне пришлось опять заверить его, что в тумане никто не скрывается и что на него не готовится нападение.

— Ну что, зачем я тебе понадобился? Как видишь, я пришел. Помнишь, я сказал тебе: если тебе понадобится моя помощь...

— Она мне понадобилась,— ответил я коротко.

— Так, я слушаю!

— Долго, очень долго длится это безобразие.

Очки Левенштейна запотели от тумана, он снял их и стал протирать носовым платком.

— Продолжай! Продолжай! Я слушаю.

Мне легче было говорить, пока он не надел очков.

— Я сам себе опротивел. Я дошел до точки. Я конченый человек... Так дальше продолжаться не может... Я должен покончить со всем этим, раз и навсегда... Должен же наступить перелом, непременно, непременно!

Протерев очки, Левенштейн надел их и искоса внимательно посмотрел на меня. Я повернулся к нему и сказал, глядя на него в упор:

— Так жить я больше не могу. И не хочу. Что это за мир, в котором человек не живет, а стоит навытяжку перед чужой и перед собственной низостью... Но один я слишком слаб, чтобы устоять. Моих сил не хватит. Я живу среди великой лжи, а стоит мне сделать попытку выкарабкаться, как ложь набрасывается на меня и оплетает все пуще и пуще. То, что я сейчас говорю, я повторял себе бесконечное число раз. Мне невмоготу больше... Я у всех спрашивал, неужели нет выхода, но в ответ все молчат, даже те, кто «против». Ответить мне мог бы только один человек, только один. Но едва я открыл рот, как он, верно, подумал: безнадежный случай,— да так и оставил меня с разинутым ртом... Я спрашивал бурю, проносившуюся мимо. Но она



«Прощание»

не ответила мне. Я спрашивал ночную тишину. Но она только сияла в беспредельности звездного мира и не ответила мне. Я спрашивал дороги, бегущие в широкий мир: куда вы ведете? Людей, которые шли по этим дорогам: куда вы идете? Я спрашивал всех и каждого, я непременно хотел допытаться. Быть может, кто-нибудь и ответил мне, а я попросту не понял. В последней воле бабушки нашел я какой-то ответ, и появление хозяина трактира «У веселого гуляки» истолковал как ответ. И еще я видел корабль, а отец моего друга Мопса сказал мне: «Немецкие рабочие...» Может быть, это и есть ответ? Ну, скажи ты мне, чему же верить? Скажи! Но скажи твердо, с полной ясностью: что мне делать? Я не отпущу тебя, пока ты не скажешь. Я все у тебя выпытаю.

— Скажи, пожалуйста, ты знаешь, в какое время ты живешь? — спросил Левенштейн, на этот раз открыто встретившись со мной глазами.— Чего только не происходит сейчас в мире...

— Ах, во-о-о-т как! — протянул я нараспев, но сейчас же извинился: — Прости, прости, пожалуйста, и не обращай внимания на мои глупости.

— Заря новой эры занимается! — Звонко и торжественно прозвучали эти слова в устах Левенштейна.

— Где это она занимается? Покажи мне ее, твою новую эру! Мне уже давно не терпится взглянуть на нее! По чьей милости она занимается? С чего ты взял, что она занимается? И что это за новая жизнь такая? Ну-ка, покажи мне ее!

Я говорил раздраженно и сбивчиво, путаясь в словах, и язвительно тыкал пальцем в туман, чтобы вырвать у Левенштейна его тайну и узнать все до конца.

— Когда-то я все ждал наступления двадцатого века, да так и не дождался. Так, может быть, он все-таки наступил? Ну, говори же, говори!

И Левенштейн поднялся, поставил одну ногу на скамью и куда-то показал рукой, словно пронзая туман.

— Социализм!..— Громко и отчетливо прозвучало это слово.

Я подскочил и схватил Левенштейна за руку.

— Теперь я тебя уже не выпущу, пока ты не выложишь мне все, что знаешь! Берегись, если ты хоть что-нибудь утаишь от меня и не скажешь всей правды! Но только говори просто и понятно, потому что я не очень-то сметлив и ровно ничего не знаю.

— Хорошо. Попробую. Слушай же!

Мы сели. Я положил руку на спинку скамьи.

— Человек живет не один. Он живет в обществе себе подобных. Мы живем друг с другом и боремся друг против друга, и все совершается по определенным законам.

Я слушал, слушал Левенштейна и наконец взмолился:

— Стой, погоди минутку, повтори еще раз.

Левенштейн раздельно повторил:

— Человеческое общество...

— Стой! Погоди! Я еще не усвоил!

Я повторил: «Человеческое общество» — медленно, точно читал по слогам.

— Погоди! Никак не разберусь! — снова перебил я Левенштейна, собиравшегося продолжать.

Несколько минут мы сидели молча.

— Теперь, пожалуйста, продолжай, но не так быстро, иначе мне не поспеть за тобой!

Время от времени Левенштейн задавал мне вопросы, но тут же сам и отвечал на них, видя, что я не способен ответить.

Прокурорский сынок сразу встал во мне на дыбы, как только Левенштейн заговорил о классовой борьбе.

— Это ты брось,— сказал я,— это меня совершенно не интересует.

— Прости, пожалуйста, но это очень важно! — И, нисколько не смущаясь моим протестом, Левенштейн терпеливо принялся объяснять сначала.

— Ну-ну! — недоверчиво перебил я его.— И это говоришь ты, у которого отец — богатый банкир?! Ведь ты можешь иметь все, что твоей душе угодно! Охота тебе связываться с рабочими! Когда Гартингер так рассуждает, это естественно! Но ты — нет, тут что-то нечисто!

— Существует только одна правда, нравится она тебе или не нравится. Это правда истории, и она против нас. Нам нельзя оставаться тем, чем были наши отцы. Настало время распроститься с удобной и беспечной жизнью. Иначе наш брат пойдет ко дну вместе с великой ложью.

— Как ты додумался до всего этого?

— Мне помогла колбасная горбушка.

— Колбасная горбушка? Колбасная горбушка?

— Да, колбасная горбушка. За ужином мать всякий раз срезала ее, откладывала на тарелку и отставляла тарелку в сторону, говоря: «Горбушку нельзя есть, она легко портится, это для Урзель. У нее желудок здоровее нашего...» Урзель — это наша горничная. Собственно, это не настоящее ее имя. Ее только называют Урзель. Всех девушек, которые поступают к

нам и прислуги, мать называет Урзель. Так узнал я о классовом неравенстве.

— А ведь ты говорил, что мать у тебя вообще-то добрая?

— Вообще, мать добрая, она вполне прилично обращается с Урзель и подает милостыню нищим. Состоит даже председательницей благотворительного общества.

— Так ты думаешь, есть надежда, что все еще переменится, и мне незачем пускать себе пулю в лоб?

— Человек отличается от животного способностью мыслить. Тот, кто лишен способности мыслить,— это либо отсталый, либо свихнувшийся, пропащий человек. Слышал ты о Стриндберге? Стриндберг сказал: «Человека надо жалеть!..»

— А может быть, такого человека, как я, и жалеть нечего?

— Всякого человека надо жалеть. Ты только страшно одичал.

Внезапно в темном клубящемся тумане вспыхнули дальние огоньки.

Новая жизнь наступит. Наступит! Наступит!

Левенштейна огни не интересовали, он продолжал говорить.

— Тш! Тш! — шикнул я на него.— Посмотри, какие огоньки. Помолчи минутку и полюбуйся на них. Разве нельзя ратовать за социализм и в то же время уметь помолчать, любуясь огоньками? Гляди, как туман шарахается от света!

— А ты, чего доброго, стихи не сочиняешь? — помолчав, иронически спросил Левенштейн.

— Да, конечно.

— Вот чего я не подозревал в тебе! Ты, и стихи!... Значит, у меня о тебе сложилось совершенно превратное представление. Прости!

Белым сиянием расцветал туман вокруг огней.

— Поздно уж, пойдем, пора! — Я встал.

— Ты лучше меня знаешь дорогу! — сказал Левенштейн, пропуская меня вперед.

Глухо бурлил водопад в тишине надвигающейся ночи.

— Идешь? — крикнул я в туман.

— Я следую за тобой. Но только не беги так.

По извилистым заросшим тропинкам вел я его сквозь туман.

— Осторожней, ступеньки!

— А ты не заблудился? — крикнул Левенштейн. — Я шел сюда другой дорогой.

Я подождал.

— Я здесь, слышишь? Мы правильно идем, будь покоен, это ближайшая дорога, я знаю ее.

Левенштейн опять потерял меня из виду, отстал, и я нетерпеливо крикнул:

— Чего зеваешь по сторонам! Ползешь, как черепаха! — Но тут же вспомнил свою медлительность в тех случаях, когда требовалось пошевелить мозгами, и терпение, которое проявлял ко мне Левенштейн, и быстро проговорил: — Не торопись! Я вернусь за тобой. — Я пошел назад и, так как тропинка стала шире, повел Левенштейна за руку.

— Мне нужно протереть очки, — сказал Левенштейн, останавливаясь. — Сейчас достану носовой платок. — Он опять остановился. — Слушай, мне кажется, когда я в тот раз протирал стекла, я потерял носовой платок.

— Жди меня здесь и время от времени окликай, я поищу. — В поисках платка я дошел до водопада, но здесь Левенштейн не мог его потерять, он начал протирать очки много дальше. Так где же он их протирал? Ощупью, чуть не ползая, искал я в тумане платок. «Однако это уж чересчур», — вскипело все во мне, но я еще ниже пригнулся к земле, продолжая поиски. «Ты найдешь этот носовой платок, чего бы это тебе ни стоило». — Ау! — кричал я временами, откликаясь на «ау» Левенштейна. Наконец я увидел белеющий лоскут. Я размахивал платком в тумане:

— Ау! Я иду к тебе, платок у меня в руке... — Потом опять мне пришлось дожидаться. Далеко позади Левенштейн ощупью шел сквозь туман и пел.

— Ау! Сюда, сюда! — С песней шел Левенштейн сквозь туманную ночь.

— Что ты там поешь?

— Ты разве не знаешь «Интернационала»?! Постой, я спою тебе.

Сначала я чуть не расхохотался, глядя, как Левенштейн стоит окутанный туманом и поет. Он то и дело кашлял, фальшивил, сбивался, повторял целые куплеты. На последнем куплете я уже подхватил припев.

Будто с невидимых туманных высот доносился голос Левенштейна, и туман клубился, и огни мигали.

Мы словно перенеслись в первые дни творения. Из окружавшего нас мрака времен вставал свет и прогонял тьму. Древ-

ние страхи, обступавшие нас, рассеивались перед лучами разгорающейся зари.

Корабль! Целый корабль! — ликовал я. Разве это не его огни мерцают в море тумана?! Корабль! Целый корабль! Я только забыл спросить у Левенштейна название корабля.

Подняв воротники пальто, мы быстро вышли из Английского парка.

— Спасибо! До свиданья,— попрощался я с Левенштейном и, придумывая, как объяснить свой поздний приход, быстро зашагал домой.

Социализм. Человеческое общество. Классы... классовая борьба. Заря новой эры занимается. Интернационал. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Мне казалось, что слова эти вознесены на столбах света и над пучиной уже вырисовывается арка моста, пока еще неясная в своих очертаниях.

* * *

В один из ближайших дней я сидел в своей комнате и тихонько напевал «Интернационал»; припев — «Это есть наш последний...» — я громко насвистывал. Вдруг отец рванул мою дверь и спросил:

— Кто это там свистит?

Я ответил:

— Кто-то все время напевает и насвистывает, не то наверху, не то внизу, а может быть, рядом, за стеной.

— Неслыханный скандал! — Отец оставил дверь открытой и крикнул в кухню:

— Христина, это вы пели?

— Я белье полощу, ваша милость, я ничего не слышала.

Отец отворил дверь в спальню, где мама складывала белье.

— Ты пела?

— Я привожу белье в порядок. Мне кажется, поют где-то наверху.

— Наверху? У обер-пострата?! Христина, сходите-ка наверх и спросите, кто это пел!

Господин обер-прокурор распахнул все двери в своем доме, а сам вышел на балкон и стал прислушиваться, то задирая голову кверху, то перегибаясь вниз через перила.

Глухим деланным басом я снова запел: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

— Теперь я отчетливо слышу это мерзкое гудение! — крикнул отец с балкона.

— Похоже, что это внизу, в квартире майора Боннэ,— прокричал я в открытую дверь.

— Да, и мне так кажется,— подтвердила из спальни мама.

— Невозможно, совершенно невозможно! Вздор!

— Ваша милость,— сказала Христина, вернувшись от оберпострата,— господин обер-пострат изволили сказать, что они хорошо слышали: поют у нас.

— У нас? Ну, тогда, значит, это только ты и мог петь! — накинулся на меня отец.— Мы это сейчас же выясним.

Господин обер-прокурор подошел ко мне вплотную. С минуту я молча стоял возле него и прислушивался. Вдруг где-то в доме послышался свист; трудно было понять, откуда он — сверху или снизу, а потом мне показалось, что он доносится с крыши, где работали кровельщики.

Я схватил отца за руку.

— Слышишь, она доносится со всех крыш! Ах, эта песня! Что за песня! Слышишь? Слышишь?

— Ключ от чердака, Христина! — бурей ворвался отец в кухню.— Живо, на крышу! На крышу!

— Корабль! Целый корабль! — крикнул я ему вслед.— Новая жизнь начинается!..

XLI

Без четверти двенадцать отец принялся зажигать свечи на елке.

В этот раз на «скромную встречу Нового года в узком семейном кругу, после ужина» у нас собрались обер-пострат Нейберт с женой и майор Боннэ, все еще остававшийся холостяком.

Я сидел рядом с майором Боннэ, которого мать настойчиво уговаривала отведать пирожков домашнего изготовления, в то же время усиленно убеждая обер-пострата Нейберта уделить больше внимания шоколадным ракушкам.

Отец взобрался на стул, чтобы зажечь самые верхние свечи. Словно обвешанный леденцовыми сосульками, яблоками и орехами, отец говорил сквозь ветви новогодней елки, а над ним, на ее верхушке, качался из стороны в сторону ангел:

— Что касается меня, то в случае объявления войны я бы в первый же день, не задумываясь, переарестовал всех вожаков и поставил их к стенке.

Майор Боннэ кончиками пальцев держал пирожок:

— А я предложил бы вожакам принять участие в войне и одобрить военные кредиты.

— Ну, плохо же вы знаете этих господ,— качнулся отец вместе с ангелом. Все свечи горели.

Майор Боннэ съел пирожок и отвесил поклон в сторону мамы:

— Высший класс, сударыня, превосходно! — и тут же снова обратился к отцу: — Если мы только сумеем воодушевить народ на войну, вожаки вынуждены будут уступить. Впрочем, насколько я их знаю, в случае войны все они, за очень небольшим исключением, вспомнят, что прежде всего и помимо всего — они немцы, в особенности если речь пойдет о России. Ведь даже старик Бебель сказал: «В случае войны против царя я сам возьму винтовку в руки».

Отец вернулся к своему месту за столом и благодушно уселся.

— Я, знаете ли, никак не могу освоиться с современными формами правления.

— Нам придется привыкать еще и к архисовременным формам, если мы хотим удержаться наверху. В наши дни силами одного лейтенанта и десятка солдат, пожалуй, не разгонишь германский рейхстаг...

— Ну, уж если вы так говорите, господин майор, тогда я действительно отказываюсь что-либо понять,— включился в разговор обер-пострат Нейберт.

Елка сияла всеми своими огнями, и на миг водворилась тишина. От елочных огней, как всегда, потеплело и засветилось лицо дедушки на портрете, все еще висевшем над комодом. Взгляд дедушки словно искал что-то среди нас. «Ты ищешь прекрасное? — спросил я, здороваясь со старинным портретом.— В нашем кругу ты вряд ли найдешь его... Я расскажу тебе потом о бабушке и ее последней воле».

— Вот именно я, военный, говорю это,— снова взял слово майор.— Как известно, в нашей армии представлены все сословия. В подавляющем большинстве армия — это то же население, которое...

— Но мы, в конце концов, не в России! — решительно перебил его отец раздраженным, не терпящим возражения тоном.

— А патриотический подъем в дни празднования столетия освободительных войн? Я имею в виду прошлогоднее торжество в Лейпциге, у памятника Битвы народов,— стоял на своем обер-пострат, явно не желавший обременять себя тревогой.

— Два года назад социал-демократы получили на выборах в рейхстаг сто десять мандатов. Офицерство само подрывает свой авторитет семейными и всякими другими скандалами. Неужели вы думаете, что такие факты, как участие графа Вольф-Меттерниха и его жены в салонной комедии, которая давалась в здании синематографа на Потсдамерплац, не сеют в умах смятение, а это смятение не дает себя немедленно знать в армии? А уж о шуме, поднятом известной частью нашей прессы в связи со скандальным делом Эйленбурга, нечего и говорить. Нет, уж что-что, а дисциплина заметно падает...

Заметное падение дисциплины, о котором упомянул майор, всполошило всех.

— Да, если уж дисциплина...

— Дисциплина необходима...

— Дисциплина — это все...

— Дисциплина — это главное! Дисциплина! — смешались голоса в взволнованном хоре.

— Дисциплина! — скомандовал отец и ударил кулаком по столу.

— А как вы полагаете насчет желтой опасности, господин майор? — ввязалась в разговор супруга обер-пострата Нейберта.

— Нам угрожает красная опасность, черная опасность и желтая опасность,— сказал майор Боннэ, все еще не выходя из рамок учтивости,— как видите, опасности всех цветов...

— Но вы же не станете отрицать,— снова подал голос отец,— что в случае войны с Францией мы не позднее чем через шесть недель будем в Париже!..

— Ну, конечно, в наше время война никак не может продолжаться больше нескольких месяцев,— с облегчением изрек обер-пострат Нейберт.

— Еще в тысяча восемьсот семидесятом году Мольтке сказал, что самое опасное испытание для нашей страны — это одновременная война с Францией и Россией! — твердо, как символ веры, произнес майор Боннэ.

Он посмотрел на часы и поднял бокал.

— Милостивые государыни и милостивые государи!

— Можно позвать Христину? — тихо спросил я у мамы.

— Нет, сегодня не стоит.— Мама налила пуншу в бокал.— Отнеси ей на кухню пунш и передай от всех нас поздравление с Новым годом!

С улицы уже доносился колокольный звон.

— Милостивые государыни и милостивые государи, за что же мы выпьем? — Майор Боннэ водил своим бокалом по кругу.

— Ступай к Христине и немедленно возвращайся, мы сейчас чокнемся! — И мама открыла передо мной дверь. — Да смотри не пролей!

В коридоре до меня еще донесся голос обер-пострата Нейберта:

— Все обойдется. Главное — спокойствие.

— Ура! Ура! Ура!

Но я был уже у Христины на кухне и не мог оттуда разобрать, за что они пили.

— За новые времена! — громко прозвучал отцовский голос.

— А, ваша милость!..

Христина сидела в темной кухне у окна.

— Брось, Христина, не надо! Я зажгу свет.

Ее сморщенные губы шевелились, заскорузлая рука кухарки, лежавшая на подоконнике, придвинулась ко мне поближе.

— Чего ты пожелала на Новый год, Христина?

— Мира на земле.

— А там, в гостиной, все твердят о войне.

— Тш! Все будет по-другому.

— А знаешь ли ты, Христина, что такое социализм?

— Господи ты боже мой, это еще что за штука?

— Заря новой эры занимается! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

— Дай бог!

— Скажи, Христина, тебя зовут Христина?

— Христина.

— А еще как?

— Фаслер.

— Значит, Христина Фаслер.

— Нет, это что-то не подходит... Погоди-ка минутку. Я должна подумать. Христина Фаслер. Нет, что-то не так.

— Тебя от рождения зовут Христина?

— Нет, не от рождения. Но давно уж, очень давно.

— Как тебя раньше звали?

— Упаси боже, господа узнают, что я вам сказала.

— Бабушка тоже называла тебя Христиной?

— Да, блаженной памяти их милость тоже называли меня Христиной.

— А как звали горничную, которая служила у бабушки до тебя?

— Христина. Тоже Христина. О, блаженной памяти их милость была очень добра ко мне, я ее ни с кем не сравняю. Я никому не позволю худого слова о ней сказать.

— А как тебя когда-то звали, ты совсем не помнишь, Христина?

— Это было так давно, так давно.

— С сегодняшнего дня ты должна говорить мне «ты», Христина, слышишь.

— Ах, ваша милость все шутит... Нашему брату...

— Теперь-то уж двадцатое столетие наступило. Заря новой эры занимается, Христина, ты должна говорить мне «ты». Мы с тобой товарищи.

— Тш! Тш! Ах, если бы ваш покойный дедушка дожил до этого! Он тоже был такой. Он всегда стоял за нас...

— А слышала ты когда-нибудь гимн, который они поют? Не слышала? Нет? Ну, так я сейчас спою тебе!

Я взмахнул руками, как дирижер, и тихо начал: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

Руками я отбивал такт, и, по мере того как усиливался новогодний звон и чаще становился треск хлопушек, я пел все громче и громче. Мне чудилось, что новогодняя ночь с ее хлопушками и перезвоном колоколов вплетается в великий хор, которым я дирижировал. И Христина шевелила губами, не зная, что это та самая запретная песня, которая причинила отцу столько беспокойства, и кивала в такт головой. Я пел во весь голос, точно все мое существо только для того и было создано, чтобы петь эту песню. На мгновение я останавливался и радостно улыбался, мне чудилось, будто снизу, из сада, доносятся звуки гармони Ксавера, а в воздухе я чувствовал легкий трепет, вызванный отдаленными взлетами качелей. Широко раскинув руки, я поворачивался во все стороны, я кивал звездам; «Пойте и вы!», я обращался к городу, приглашая и его присоединить свой голос к общему хору. Могучее, как буря, «Это есть наш последний и решительный бой» было мне ответом. Пел звездный мир, пел мир человеческий. Отвернувшись от окна, я обратился к кухне, к шкафу, в котором стояли стаканы, тарелки и миски,— их я тоже звал присоединиться к этой священной песне; и вещи, точно откликаясь на мой голос, зазвенели и запели.

— Христина, милая, милая ты моя Христина! — И Дирижер подсел к Безымянной.

— Вы так хорошо пели и дирижировали,— сказала она,— что теперь я с удовольствием буду зваться Христиной.

— Почему ты не пьешь своего пунша, Христина? — спросил я.— Он не плох, право же, не плох...

На плечо мне мягко легла чья-то рука.

— Не так громко, тебя слышно даже на балконе. Ну, а теперь пойдем!

Онемев от изумления, я последовал за мамой.

Важный и осанистый стоял отец на балконе, как будто желая сказать всему миру: «Немалого я достиг собственными силами, вот пример для вас»,— а не столь осанистый обер-пострат Нейберт, казалось, горестно недоумевал, отчего за все эти годы ему так и не удалось добиться повышения.

— Где ты пропадал? — спросил отец.

— Он не совсем хорошо себя чувствует,— ответила за меня мама.

Небо расцветилось вспышками ракет, с балконов кое-где пускали фейерверки.

Я весь был еще под впечатлением загадочного поведения матери, когда майор Боннэ протянул мне бокал пунша.

— Молодой человек, чокнемся за немецкую молодежь!

Бокалы зазвенели.

Это «дзинь!» перенесло меня в далекое-далекое прошлое, в нем слышался назойливый пансионский трезвон, и «дзинь!», с которым сменяли друг друга картины в Панораме, и звон краденой кучки монет в моем кармане; с мелодичным «дзинь» воспоминания входили в открытые двери и присоединялись к нам на балконе: вот Ксавер, фрейлейн Клерхен, Мопс и Гартингер, Левенштейн и Христина — до сегодняшнего дня она только прозывалась Христиной, а сегодня это стало ее настоящим именем; звон разбудил Фанни, спавшую глубоким сном, и она задымила мне в лицо сигаретой... Все они пришли незваные, даже бабушка в своем черном шелковом платье, к ужасу отца, пришла вместе с хозяином трактира «У веселого гуляки», и я услышал бабушкин шепот, как в ту новогоднюю ночь, с которой началось новое столетие: «Пожелай, чтобы наступила новая жизнь».

Тут и в самом деле раздался звонок, и через столовую, отбивая шаг, промаршировал тот самый господин, которого мы встретили в день Нового года на одной из аллей Английского парка и который все посмеивался: «Хе-хе». Выйдя на балкон, он молодцевато вытянулся перед отцом.

— Отчего так поздно? Где вы оставили свою супругу?

Снова зазвенели бокалы, член суда Мауермейер засмеялся:

— С большим трудом удалось вырваться: я, так сказать, на минутку, внизу меня ждет извозчик, я обещал немедленно вернуться! У нас, рейнцев, сегодня тоже встреча...

— Вот это мило! Молодчина!

Все окружили отца.

— Gaudeamus igitur...[1]

— Все, все хором. Ты почему не поешь? — кивнул мне отец, и я, подхватив несколько слов, назло всем запел «Интернационал».

— Да-да, мы, старые корпоранты...— мечтательно бросил отец в потускневшую ночь. Гость поставил свой бокал на стол.

— Обновление — вот что нам необходимо.

— Что касается меня,— сказал отец, слегка свесившись с балкона,— то я бы только приветствовал войну.

Член суда Мауермейер снова поднял бокал.

— Совершенно с вами согласен, немецкому народу пора опомниться!

— Возьмись за ум, человече! — провозгласил обер-пострат Нейберт и налил себе стакан пунша.

— Какой здесь ужасный воздух! — Мама отворила окно и, точно оправдываясь перед обер-постратом, у которого за эти годы усилился дурной запах изо рта, добавила: — Вы чувствуете, как накурено?

Я взглянул на маму: она сегодня была совсем такой, как на портрете, там, в гостиной.

— Милостивые государи, не шутите с войной, война не детская игра! — Голос майора Боннэ прозвучал энергично, почти угрожающе.

— Что вы на это скажете,— натянуто улыбнулся отец,— наш воин, оказывается, пацифист и заигрывает с социал-демократами!

— Один только вопрос, милостивые государи! — Майор Боннэ стоял на пороге балконной двери, возвышаясь над всеми. Его чисто выбритое лицо с тонкими поджатыми губами казалось бесстрастным. На плечах поблескивали погоны.— Вы читали, господа, о похоронах Бебеля? Читали? И вы не задумались над тем, что за гробом шли сотни тысяч людей?.. Нет?.. В таком случае, я, к сожалению, вынужден вам напомнить, как

---

[1] Будем радоваться *(лат.)* — первые слова студенческой песни. *(Ред.)*

бы неприятно и нежелательно это ни было для всех здесь присутствующих: с этими людьми нам надо считаться, это они поведут за нас войну. Подумайте же как следует над тем, что сотни тысяч этих людей получат в руки оружие... Нет, при нынешнем положении вещей война сопряжена с огромным риском...

— Так, значит, все это не так просто?..— упал в тишину испуганный голос обер-пострата Нейберта.

Все нерешительно топтались на балконе, а в воздухе еще дрожали гулкие удары колокола церкви Богоматери, и в этом звоне был и мирный благовест, и тревожный гул набата.

— Так больше продолжаться не может,— произнесли в один голос господин Мауэрмейер и отец.

«Ай-ай,— смеялся я про себя,— и до чего же все упорно толкуют об обновлении! Ай-ай-ай, и до чего же никто не хочет, чтобы все осталось по-старому. Ай-ай, гляди в оба! Ай-ай-ай, видно, и в самом деле вот-вот грянут перемены! Внимание, господа! Погода меняется!»

Мне захотелось вскочить на стул и произнести речь. Можно прикинуться сумасшедшим и швырнуть им в лицо жестокую правду... Разве мама теперь не заодно со мной, и даже майор Боннэ употребил по адресу отца выражение «поджигатель».

Со словами: «Становится прохладно, господа»,— отец настойчиво приглашал в комнаты. Большим пальцем он загасил свечи, которые еще догорали на елке.

Майор Боннэ распрощался и ушел, а господина Мауэрмейера отец уговорил остаться. Меня послали вниз расплатиться с извозчиком.

Когда я вернулся, мама сказала:

— Тебе пора спать!

Она и фрау Нейберт, сидя за рабочим столиком, раскладывали пасьянс и обстоятельно сговаривались посмотреть вместе «Ведьмы» Вильденбруха с участием Поссарта.

— Он неподражаем, этот Поссарт, он просто великолепен!

— У моего мужа остается все меньше и меньше времени для возвышенных интересов,— жаловалась фрау Нейберт.— Мне, знаете, серьезные книги не по душе, жизнь и без того достаточно печальна, не хочется читать ничего грустного. Помимо «Практического руководства», я подписалась еще на «Садовую беседку», там печатается очаровательный роман, а еще мы получаем «Ежемесячник Фельгагена и Клазинга», иногда муж приносит мне «Неделю» или «Молодежь», но, право же, боль-

шая часть из того, что теперь выдается за литературное событие, просто вопиющее безобразие, вы не находите, фрау Гастль?

Мама, казалось мне, отвечала деланным голосом:

— Еще бы, я просто закаялась ходить на выставки. На днях, знаете, я была в Зеркальном дворце, где обычно выставлялись солидные художественные объединения, ну, что вам сказать — за редким исключением это просто позор. Я уже не говорю о нынешнем архитектурном стиле и о современных модах. Представьте, нам хотят навязать эти парижские жюпкюлот, как будто мало прошлогодних шутовских юбочек... Нет, все эти модные выдумки не для меня. Возможно, потому, что мы стареем, но я просто отказываюсь понимать мир. Мюнхен как город искусства явно вырождается... Мы с мужем слушаем теперь только Вагнера. Советую и вам, это так возвышающе действует после всех наших будничных дрязг... Я все еще с удовольствием вспоминаю мистерии в Обераммергау. А ведь прошло уже больше трех лет. Там отдыхаешь душой и долго еще чувствуешь себя словно возрожденной...

За общим столом между тем усиленно воскрешали «доброе старое время». Когда воспоминания юности были исчерпаны и все уже наговорились о судьбе друзей и общих знакомых,— причем отец то и дело вздыхал о «невозвратных деньках»,— голоса окончательно смешались, и их уже нельзя было отличить один от другого.

Ясно было лишь, что время приспело, больше чем приспело, и что нельзя терять ни часу. Слышались возгласы: «Вот было житье!», «Ах, давайте уж лучше не вспоминать!», «Я же говорю: нам, немцам, прежде всего необходимо взяться за ум», «Мы утратили веру в бога». Голос отца опять властно ворвался в общий хор:

— Я лично твердо держусь того мнения, что только война может положить конец беззаконию и распущенности! — И все заговорили наперебой, точно стараясь перекричать друг друга:

— Преобразователи мира — вот в ком зло!

— А евреи, а кенигсбергский скандал, когда еврей осмелился провозгласить тост за кайзера!

Обер-пострат Нейберт под шум голосов указал на портрет дедушки.

— Вот, господа, воплощение доброго старого времени.

Я вспомнил бабушкины рассказы, и отчетливо увидел, как дедушка брезгливо отвернулся.

Снова раздались жалобы:

— Ведь и мы были молоды, но уж нынешняя молодежь!..

— А что вы скажете на это...— выделился чей-то голос, но отец перебил спрашивавшего:

— Уже и в собственном доме не укроешься. Только сядешь за письменный стол, а тебе прямо в уши насвистывают эту бесстыдную бунтарскую песню...

— Мы недостаточно энергичны!

— Энергия, милостивые государи, энергия!

— Только энергичными мерами можно заставить уважать себя! — энергично гудело за столом.

Казалось, там, за столом, зреет какое-то грозное решение. После долгих «ну и ну», «так-так» и «то ли еще будет» снова раздался голос отца:

— Так дальше продолжаться не может. Нам нужен человек твердой руки!

Подкрутив усы и наморщив лоб, отец, видимо, изобразил человека твердой руки.

— Уж будьте покойны, я бы расправился с этой бандой!

«Внимание! — смеялся я про себя.— Сейчас он, как дядя Карл, объявит войну всему миру и указом присоединит Америку к Германии!»

Все подняли бокалы и молча чокнулись.

— Тебе пора в постель! — напомнила мама, сидевшая за своим рабочим столиком.

— Спокойной ночи! — сказал я и пошел к себе в комнату.

Прежде чем зажечь свет, я минутку повременил. Постоял в темноте и бесстрашно огляделся. Свет был у меня в душе. Мама была со мной.

XLII

Фек и Фрейшлаг зашли за мной, чтобы вместе отправиться на карнавал. В этом году мы, все трое, избрали костюм Пьеро. Под этой маской я собирался всем говорить правду в глаза. Я решил широко воспользоваться свободой, которая составляет привилегию шута. Пусть хоть раз в году, хоть под маской Пьеро, правда получит голос.

— Ну, вояки,— приветствовал обоих приятелей Глашатай правды,— какой у вас нынче пароль: Иена или Седан, а? Глядя на вас, никак не скажешь, что вы рветесь в бой, а уж на победителей вы и вовсе не похожи.

— Ты, верно, думаешь, что сегодня можешь себе все позволить? — проворчал Фрейшлаг из-под маски.— Но это очень

дешево, дешевле пареной репы. Скажи лучше, читал ли ты «Морскую звезду» или «Берлин — Багдад», где описывается будущая великая война? Грандиозно!

Фек стоял перед зеркалом, он немного приподнял маску, его отражение в зеркале говорило:

— В бой вводятся воздушные корабли, целые эскадры воздушных кораблей, причем каждый корабль буксирует три других, на которых можно перевозить по тысяче человек сразу. По воздуху будут носиться целые армии — вот это класс, верно?

Стоя перед зеркалом, Фек поднимался на носки, словно хотел вырасти. «Горе вам,— как будто говорил он, разглядывая себя,— горе вам, что я уродился коротконогим!» Высокая, островерхая шляпа Пьеро делала его еще приземистее: он не рос, никак не рос, даже костюм Пьеро не помог ему. Казалось, глядя на себя в зеркало, он думает: «А нельзя ли переодеться великаном?» Ребенком он больше всего любил ходить на ходулях, его дразнили «Расти большой», и во сне он всегда видел себя страшно высоким.

В дверь постучали; на пороге показалась Христина.

— Молодых господ просят в гостиную.

— Оказывается, в домах судейских крючков даже гостиные водятся! — съязвил Фек.— А у нас можно спустить штаны в любой комнате, для этого не нужна гостиная.

Фрейшлаг поперхнулся смехом.

Отец ждал нас в парадном сюртуке, мама с какой-то чрезмерной угодливостью спросила, не нагуляли ли себе молодые люди аппетита. В первый раз в жизни я видел, как мама унижалась, она говорила льстивым, смиренным голосом, какого я никогда раньше не знал за ней. Мне было стыдно за родителей, меня возмущало, что они так заискивают перед этими двумя.

— Вот это я одобряю! — сказал отец, когда Фек и Фрейшлаг в один голос заявили о своем решении сразу же по окончании гимназии пойти в военное училище.

— А мой сын, к сожалению, еще не знает, на что ему решиться, я возлагаю надежды на ваше благотворное влияние. Бери пример! — И отец метнул в меня презрительный, суровый взгляд.

Тут Глашатаю правды представился случай под маской Пьеро высказать несколько горьких истин. Он мог бы заявить: «Мне брать пример с этой сволочи? И не подумаю». Но храбрый Глашатай правды промолчал. У смиренника же нашлась отговорка: приберегу правду до другого раза, правда от меня не уйдет.

— Господин председатель! — в голосе Фека звучали покровительственные нотки.— Я знаю вашего сына, это благородный человек, благородный до мозга костей. Он доставит вам еще немало радости. Вы будете гордиться им...

Польщенный отец положил мне руку на плечо.

— Приятно слышать... Ну что ж, будем надеяться! Стоит ему только захотеть!..

Но и я почувствовал благодарность к Феку за то, что он так расписал меня отцу...

Отец, видимо, был совершенно пленен Феком и Фрейшлагом. Их родители занимали такое положение в обществе, о каком мои могли только мечтать. Отец всего добился собственными силами, и все же на то, чтобы смыть пятно крестьянского происхождения, сил этих не хватило. Мать, выросшую в глубокой провинции, общество не желало признавать влиятельной дамой, она занимала в нем весьма скромное место. Я вспомнил, как в новогоднее утро отец всегда с нетерпением раскрывал газету, чтобы посмотреть, не награжден ли он орденом. Несколько раз перечитывал он список награжденных, казалось, он искал свое имя даже под рубрикой «Происшествия»: не затесалось ли туда какое-нибудь дополнительное сообщение о награждении его орденом. Немало прошло лет, пока из прокуроров он был произведен в обер-прокуроры. Медленно продвигался он по служебной лестнице, получая повышения только за выслугу лет, между тем как его более родовитые или обладавшие более могущественными связями коллеги то и дело обгоняли его благодаря крупным процессам, которые им поручались. Кто знает, быть может, фрау Фек, при ее связях, известно что-нибудь о предстоящем производстве; произнесенное Феком «господин председатель» благой вестью прозвучало в ушах отца.

Многое простил я в эту минуту своим родителям.

Глубокие морщины избороздили лоб отца, и, когда он, указывая на них, говорил, бывало: «Видишь, это все ты»,— я понимал, что не во мне тут дело и что моя «непутевость» нужна ему только как предлог, чтобы не признаваться себе в горчайших разочарованиях, принесенных жизнью. Не раз подслушивал я разговоры отца с самим собой, когда он шагал взад и вперед по столовой или отсиживался в «укромном месте», которое занимал иногда, к общей досаде, на невыносимо долгий срок. «Неужели я заслужил это? — гудел он про себя.— Работаешь как вол, не жалеешь сил, и все впустую... Наш брат хоть надо-

рвись, толк один. Из кожи лезешь вон, и все равно ничего не добьешься... Ну что я для них — сторожевой пес, старший дворник... Свиньи! Подлецы! Где же после этого справедливость?.. Нет, справедливости не существует...» Голос у отца, когда он вел эти разговоры с самим собой, сразу грубел, таким голосом говорил лесоруб, которого мы встретили однажды в Гогеншвангау. Если отец в такие минуты бранился, даже брань эта звучала странно и непривычно, как отголосок незапамятных времен... Отец с новой энергией окунался в работу, на столе у него вырастали огромные кипы папок с судебными протоколами.

— Я всегда держусь протокола,— поучал он меня.— Протокол — это все. Запомни это с юности, хоть ты и не хочешь слушать своего отца: я верю только в то, что занесено в протокол. «А вы видели протоколы?» — хочется мне спросить у тех, кто с умным видом рассуждает о чем угодно. Судьей в каком-либо деле может быть только тот, кто изучил протоколы.

Отец как-то рассказал мне о преступнике, приговоренном к многолетнему одиночному заключению в темной камере. Этот преступник спасался от безумия только тем, что год за годом, изо дня в день рассыпал по полу своей камеры сохранившуюся у него, на его счастье, дюжину булавок и подбирал их. Рассыпал и подбирал. Отец в своей работе походил на этого заключенного. Рассказывая о нем, он, очевидно, намекал на себя. Изо дня в день ровно в пять приходил судейский курьер и приносил кипу папок. Отец развязывал ее и сидел потом над протоколами до глубокой ночи. Утром, перед уходом в канцелярию, он собирал протоколы, складывал их, перевязывал веревочкой и клал на письменный стол с левой стороны. Потом кричал Христине в кухню — и так изо дня в день:

— Христина, папки с протоколами лежат на письменном столе слева, за ними придет курьер.

А иногда отец — и каждый раз это было сенсацией, мама даже выходила по этому случаю из спальни — заявлял:

— Сегодня я беру с собой всю кипу.

— А тебе не будет тяжело? — неизменно спрашивала мама.— Не понимаю, зачем ты себя утруждаешь,— в ответ на что отец так же неизменно целовал ее и, уже выйдя за дверь, еще раз повторял:

— Значит, когда курьер придет, скажите, что протоколы я взял с собой.

Изо дня в день он читал протоколы и только временами вскакивал и рывком открывал балконную дверь, словно ему хотелось громко крикнуть: «Это же все бессмыслица!» Потом снова

садился за стол и принимался за протоколы, только бы не сойти с ума... Он и мать вовлек в свое жизненное крушение, хотя, конечно, в разговорах с ней никогда не признавался, что жизнь его не удалась. Вместо незаурядного и выдающегося, о чем он мечтал, ради чего в свое время голодал и без устали трудился, получилось нечто весьма заурядное, посредственное, будничное: размеренное существование с определенным количеством служебных часов ежедневно и с двух- трехчасовым судебным заседанием раз в неделю. На эту щемящую монотонность он обрек и мать, заставив ее, с юности мечтавшую под влиянием бабушки о самостоятельной трудовой деятельности, всю жизнь отдать заботам о доме. Мать была «против», лишь поскольку ее «против» не нарушало семейного мира. Она ходила по выставкам и концертам в надежде хоть краткий миг пожить этим «против», она и платье «реформ» носила потому, что оно в какой-то мере означало безобидное «против», она приветствовала создание женского клуба стрелков из лука и склонна была оправдать солдата, убившего ротмистра Крозинга, и обвинить убитого ротмистра; во время процесса Дипольда, домашнего учителя и детоубийцы, она даже дерзнула взвалить всю ответственность на «господствующий строй». Иногда она отваживалась критиковать и речи кайзера, говоря, что они «не очень ей по сердцу» — например, пресловутый клич кайзера: «Будьте неистовы, как гунны. Пощады не давать. Пленных не брать». Но достаточно было отцу бросить: «Ты сама не знаешь, что говоришь!» — и мать умолкала на полуслове.

Сплошь и рядом я служил козлом отпущения, на мне оба вымещали свое недовольство. Когда мать набрасывалась на меня: «Как ты ведешь себя сегодня! Что на тебя нашло? Несносный мальчишка! В конце концов я с тобой и разговаривать перестану!» — или когда отец метал громы и молнии по поводу ошибок в моих домашних работах, я сразу видел: «Дело тут не во мне». Я чувствовал, что здесь кроется нечто иное. Нечто совсем иное, гораздо более важное прорывалось тут наружу. Время от времени, с годами все реже, между отцом и матерью происходили ссоры. Они возникали неожиданно, внезапные, как гром среди ясного неба. Ссору мог вызвать ничтожнейший повод. Начиналось с взаимных укоров в равнодушии или недостатке внимания. Затем с обеих сторон следовало перечисление всех тех случаев в прошлом, когда тот или другой был неправ; на этом этапе еще привлекались какие-то доказательства, словно оба надеялись в чем-то убедить друг друга. Чем спокойнее протекала эта половина семейной сцены, тем необуздан-

ней бывал последующий взрыв. Вторая половина уже не имела ни малейшего отношения ни к вызвавшему ее поводу, ни к тем или иным грехам прошлого: отец и мать винили друг друга в загубленной жизни. Ни один из них уже не пытался что-либо доказать или в чем-либо убедить; родители мои словами били, душили и убивали друг друга. Эти акты убийства сопровождались соответствующей мимикой и жестикуляцией. Гром попреков не прекращался:

— В угоду тебе я отказалась от личной жизни!

— Ты искалечила мою жизнь!

— О, зачем только я тебя слушала!.. — И так до тех пор, пока они судорожно не зажимали друг другу рот: «Молчи! Молчи!» В заключение оба, обессиленные, отступали и безмолвно протягивали друг другу руки, как бы говоря: «Ни один из нас не виноват. Оба мы тут ни при чем».

То, чего я опасался, когда отец пригласил нас в гостиную, действительно случилось. Он поправил галстук и начал речь:

— Нам навязывают даже египетские, ассирийские, вавилонские влияния. Разве не издевательство, что в Лейпциге основан союз буддистских миссионеров?.. Это все равно что заставить приговоренного к повешению собственноручно построить себе виселицу. Какое растление немецкой души! Загляните только в витрины книжных магазинов... А тот факт, что два с половиной миллиона стоила одна только внутренняя отделка берлинского ресторана «Рейнгольд»!.. Выходит, что положение обязывает каждого из нас жить сверх средств... Кафешантаны, падение рождаемости... Несчастная Германия!.. А процесс Мольтке-Гардена? Разве это не лакомый кусок для черни?! А что себе позволяет этот бесстыжий еженедельник «Симплициссимус»!.. «Стремление к миру — яд для немецкого народа,— как утверждает в своей прекрасной книге генерал фон Бернгарди.— Зато война сотворит чудеса!» Повсюду берет верх новое поколение беспардонных пролаз, они пробираются на первые места через головы ветеранов... Я уповаю на немецкую молодежь, она призвана создать новую Германию. Неужели нашему поколению так и суждено кончить свой век в жалком прозябании?.. Тирпиц, Гезелер — вот люди, имена которых должны стать нашим знаменем! Я это всегда утверждал...

Фек и Фрейшлаг были, по-видимому, польщены этим потоком красноречия. Они слушали отца, стоя навытяжку, и, когда

он кончил, сдержанно поклонились. Настроение у меня испортилось. Я не сумел воспользоваться шутовской свободой, которую разрешала мне моя маска. Глашатай правды промолчал в ответ на речь отца. Такие речи отец теперь часто произносил дома, вознаграждая себя за то, что ему не суждено произносить их в рейхстаге или в совете министров.

Уже в передней Христина догнала нас.

— Может быть, молодые господа все-таки соизволят покушать? — спросила она.

Я набросился на нее:

— Ты с ума сошла, что ли, я тебя не понимаю! — Но она быстро-быстро засеменила вперед, чтобы молодым господам не пришлось самим отворять двери, и, застыв у порога, подобострастно подхватила усмешку Фека.

Отец и мама проводили нас до самой лестницы. Фек пощекотал маму павлиньим пером, а она, покраснев, хихикнула. Отец, осчастливленный этой карнавальной шуткой, посмеялся, поправил галстук и, сунув мне в руку крупную монету, напутствовал нас:

— Веселитесь, молодые люди, но только в меру! — И прибавил: — Очень рад был повидать вас.

— Твои старики, оказывается, вполне терпимы! Ты можешь из них веревки вить. А как твой папаша клюнул на «господина председателя»! Эту пару ничего не стоит обвести вокруг пальца. А кто та дама, что на портрете в гостиной,— твоя мать? Ах, вот как, выходит, она знавала лучшие времена, на портрете она прямо-таки царица бала... Кстати, старик твой часто произносит такие речи?

Опять Глашатай правды промолчал.

— Идем уж, идем! — ответил я, уклоняясь от ответа.

— И мой старик не лучше,— сказал Фрейшлаг, шумно сбегая вслед за нами с лестницы.— С тех пор как кайзер столько разговаривает, отец чуть ли не каждый день произносит речь и только что не начинает с обращения «К моим доблестным войскам».

— Я бы на вашем месте запретил им эту болтовню,— бахвалился Фек.— Ну, а я-то...— И Фек выразительно толкнул меня в бок.— Плохой я товарищ, скажи? Не встал я за тебя горой перед твоим стариком? Ну, вот видишь! Товарищеский долг для меня — это все. Оставить друга в беде или предать его — последнее дело.

Фек и Фрейшлаг повисли на мне с двух сторон. Мне никак не удавалось от них вырваться, они вели меня, словно пленника. Я искал случая улизнуть. «Мне нужно в уборную»,— выдумывал я, но оба приятеля терпеливо дожидались меня у двери и, как только я выходил, снова подхватывали под руки. Наконец, потеряв надежду отделаться от них, я прикинулся развязным и веселым. Думая о тайне, в которую посвятил меня Левенштейн, я усмехался про себя. «Если бы вы только знали, кто рядом с вами!» Я искоса бросал на них презрительные взгляды: «Эх вы, буржуи!»

Мы слонялись по Максимилианштрассе. В воздухе густо носились конфетти. В кафе «Максимилиан» уже не пускали, до того оно было переполнено. Публика, ожидавшая появления большого карнавального шествия, облепила все окна и балконы. Всюду слышался смех, в воздухе стоял визг и писк, тарахтели трещотки. Ленты серпантина пестрой сетью покрывали улицы.

Фек предложил:

— Давайте-ка сегодня раскошелимся на шикарную бабу! — Он вытащил визитную карточку с адресом: «Лина Фельднер, Майштрассе, 21/3».— Породистая бабенка! — Он прищелкнул языком.

— Отстань ты от меня с твоими шлюхами,— сказал я тоном надменной пресыщенности,— мне сегодня неохота. Ступай один.

— Терпеть не могу нытиков! — трескучим офицерским голосом выкрикнул Фек.

— Не сходить ли нам в кино посмотреть Асту Нильсен?— простодушно предложил я.

Фека так и передернуло:

— Оставь меня в покое с Дузель, она на том свете, и с нее взятки гладки. Жаль вот, что эта стерва из табачной лавочки у Костских ворот приказала долго жить!..

«Погоди ты у меня, Остроумный малый! Дай срок, я с тобой расквитаюсь!» — клокотало во мне, но Глашатай правды спросил: «К чему ты затеял переодевание? Ты, видно, не знаешь, что и делать со своей хваленой шутовской свободой. Проглатываешь все и молчишь». И тут пошли у меня споры с самим собой насчет Фека. Он и в самом деле неплохой товарищ, ничего не скажешь. Только напускает на себя этот отвратительный тон, а все оттого, что на душе у него кошки скребут... Надо быть к нему повнимательней... Каждого человека надо жалеть.

Мы шли по мостовой. Спутники мои забавлялись тем, что, шатаясь, точно пьяные, толкали и задевали встречных. Гуляющие шли шеренгами, взявшись за руки и занимая улицу во всю ширину. Фек и Фрейшлаг швыряли меня, как мяч, то туда, то сюда.

Увидев группу гренадеров фридриховских времен, Фек воскликнул:

— Скорей бы нам хорошую войну, очень уж все протухло!

Я вспомнил, что однажды теми же словами сказал это Гартингеру, а теперь сам ответил, как Гартингер:

— Если вы будете продолжать в том же духе, дождетесь еще худших времен. Эх вы, гунны!

На что оба в один голос выпалили:

— Чем хуже, тем лучше!

А Фек прибавил:

— Что до гуннов, так я не вижу тут ничего плохого. Ведь и кайзер сказал: «Будьте неистовы, как гунны!..»

«Мели, сколько твоей душе угодно»,— промолчал я и бросил пререкаться с собой о Феке. Он безнадежен. Спасайся, кто может... Надо свести Гартингера с Левенштейном, и тогда нас будет трое.

Мне и без того было противно, что оба крепко держат меня под руки, а тут Фек еще прижался ко мне:

— Что, в сущности, нас ждет, если не будет войны, подумай сам! Тяни лямку до сорока лет, пока тебя произведут в полковники, занимайся шагистикой в каком-нибудь провинциальном гарнизоне. Нет уж, спасибо! Живешь ведь только раз!

И вот оба наперебой начали хвастать своими будущими воинскими подвигами.

Фек — он собирался в артиллерию — восторженно расписывал разрушительное действие бомбардировки; остановившись у ближайшего дома, он разъяснил, как снаряд замедленного действия пробивает крышу, чердак и все четыре этажа и разрывается только в подвале, отчего все здание взлетает на воздух.

Фрейшлаг с увлечением описывал атаку. Он даже отпустил мою руку, чтобы показать, как на всем скаку колют пикой отступающую пехоту.

— Все искусство в том, чтобы, не обломив острие, благополучно извлечь его из тела противника.

Феку тоже понадобилась его рука, он хотел наглядно продемонстрировать действие снаряда. Своей бомбардировкой он

превратил весь город в груду развалин. Огненные языки плясали по крышам, люди, обезумев, выбрасывались из окон на улицу. Батарея тяжелых гаубиц, которой командовал Фек, уже направила свой огонь на публичную библиотеку:

— Зажигательные снаряды, понимаешь, тут можно изобразить недурной пожарик.

— Ты расстреливаешь свой собственный город! — перебил я его.

— Как, по-твоему, сколько отсюда до Швабингского госпиталя? — не слушая меня, продолжал Фек.

Фек и Фрейшлаг уже величали друг друга: «Господин юнкер! Господин прапорщик! Господин лейтенант!» Незаметно дошли до его превосходительства командующего армией, при этом их голоса и осанка преображались всякий раз, как назывался новый чин, словно военная табель о рангах была у них в крови.

«Такие, как ты! — Глашатай правды сказал правду самому себе.— Вспомни, каким ты был! Вспомни свои игры!»

Я несколько отстал от них. И они, в пылу сражений, которые развертывались все ожесточеннее, ничего не заметили. Идя позади, я слышал, как Фек кричал, захлебываясь:

— Будьте неистовы, как гунны! Пощады не давать! Пленных не брать!

Я смешался с толпой. От королевского дворца до Максимилианплац колыхался живой человеческий поток. Гремели фанфары. Из-за угла Резиденцштрассе показались всадники — авангард карнавального шествия. Я бросился в одну из пустынных боковых улочек, миновал ее и вышел на тихую, безлюдную площадь. Костские ворота. Табачный магазин закрыт. На дверях табличка: «Продается по случаю смерти владелицы. Об условиях справляться у...»

Дверь звякнула: «Дзинь!» «Что вы желаете?» Я закурил сигарету и выдохнул дым. Дым растаял на чьем-то лице, далеком, как видение. «Меня зовут Фанни». Опять я жду у Костских ворот. Железная штора с грохотом опустилась. Мы сидим в кабачке у окна и смотрим на улицу. Тесно придвинувшись друг к другу, склоняемся над меню. Я смакую бруснику. Поднимаемся с Фанни по крутой винтовой лестнице, она идет впереди и светит мне. Сидим с ней, рука в руку, на краю кровати. А потом: сверкающий вихрь блесток. Музыкальный ящик... Белоснежка.

Пьеро стоял у Костских ворот. На щеках его густо лежали белила, под глазами чернели наведенные углем круги. Прохожие с удивлением оглядывались на него, но не потому, что в своем маскарадном костюме он говорил правду, а потому, что он без конца плевался.

Словно его тошнило, так неудержимо плевался он.

Отчего его тошнило? Что он выплевывал?

Когда-то он плевал в Гартингера. А теперь он это выплевывал. Гартингер плюнул ему в самую середину лба. И это он выплевывал.

Тошнило его от самого себя, что ли?

«Ненавистные гунны! Сволочь!»

Он плевался от одной мысли о себе.

Я долго еще плевался! Целыми днями. Я ничего не мог с собой поделать, я плевался как одержимый.

XLIII

Я провел рукой по щели, чтобы убедиться, упало ли письмо как следует, на самое дно. Узкий зев голубого ящика, таившего человеческие судьбы, поглотил письмо. Придет день, когда почтальон вручит мне мой приговор. Бывает, письма теряются. Но это слабое утешение.

Я ждал, пока почтовый ящик опорожнят. Почтальон соскочил с велосипеда, подставил мешок, дно ящика со стуком раскрылось, послышался шорох, что-то грузно упало, и вот уже почтальон закинул мешок за плечи, письмо мое с целым роем своих собратьев взвилось, исчезло из виду, и я уж ничего не мог поделать. Мысленно я следовал за ним на почтамт, в запечатанный сургучом мешок и в почтовый вагон. Я был одним из тех, кто творил судьбу письма: оно проходило через бесчисленное множество рук. Оно ушло в жизнь, в повседневную, деловитую жизнь. Моя рука только написала его; тысячи других рук привели его в движение, понадобилось пустить в ход гигантскую машину, чтобы доставить начертанные мной знаки по адресу. Я писал письмо, не думая о его судьбе. Отныне, представив ее себе, я буду задумываться над каждым словом, выбирать особые слова, лучшие из лучших! Разве не имеют права все те, кто трудится над доставкой письма, прочесть его и рассудить, стоит ли оно тех усилий, которых потребовала передача его из рук в

руки? И о них я должен был думать, когда писал письмо, словно они писали его вместе со мной...

В эту минуту я охотно вернул бы свое письмо, я опасался, как бы оно не натворило бед. По моим расчетам, ответа нечего было ждать раньше чем через неделю. Письму предстоял длинный путь от Мюнхена до предместья Гамбурга Бланкенезе.

Теперь мне казалось, что я совершил неслыханную дерзость, послав несколько своих стихотворений Рихарду Демелю. Никому, даже Левенштейну, не решился я рассказать об этом.

Не прошло и недели, как почтальон передал мне на лестнице долгожданное письмо. Оно синело в белом ворохе других писем и бандеролей. На обороте конверта, обведенная кружком, вытиснена была буква «Д».

В первый раз я прочитал письмо внизу, в подъезде, и уже не выпускал его из рук, все перечитывал, бродя по улицам, хотя оно состояло всего из нескольких слов, и скоро я знал их наизусть.

Письмо гласило:

«Милый мой сорвиголова! Я собираюсь в Мюнхен. Жду вас двадцать первого, в пять часов дня, в пансионе «Интернациональ» на Каульбахштрассе. С приветом — Рихард Демель».

Этих немногих слов оказалось достаточно, чтобы я предался самым необузданным мечтам о своем поэтическом призвании. Я уже видел себя причисленным к лику бессмертных. На доме номер пять по Гессштрассе красовалась мемориальная доска: «Здесь родился...» От меня, конечно, не ускользнуло, что знаменитый поэт ни единым словом не обмолвился о моих стихах. Но я объяснил это поспешным отъездом. Даже необычное обращение «милый мой сорвиголова» я постарался истолковать самым благоприятным образом. И все же лаконический ответ, ниспосланный мне судьбой, звучал загадочно.

Измятое и замусоленное от частого чтения письмо я носил в боковом кармане, и оттуда оно будоражило меня и заставляло улыбаться всем встречным: «Если бы вы только знали, что я ношу с собой!» Сокровище это доставляло мне немало тревог. Фек мог залезть ко мне в бумажник и вытащить письмо, да и отец, если бы вдруг узнал, мог у меня его потребовать. Но никто не интересовался письмом, можно было спокойно убрать с груди руку, она только выдавала меня. Мама, тоже ничего не подозревая, спросила:

— Почему ты все время держишь руку на груди, может, тебя сердце беспокоит?

Свидание пришлось на воскресенье. Взволнованный, слонялся я в субботу под вечер по городу, потом вместе с толпой забрел в универсальный магазин Оберполлингера и поднялся в лифте на последний этаж, где помещался музыкальный отдел.

Здесь, среди хаотической многоголосицы одновременно пущенных граммофонных пластинок, я как будто улавливал «голос времени», возлагавший на меня задачу описать преисподнюю двадцатого века: полный высоких чувств, я спустился в глубины ада, и Гартингер повел меня, объясняя все, что мы видели. Гартингер, мой Добрый товарищ,— ибо теперь он был им — показывал Страннику дорогу. Много ложных дорог вело сюда, а над воротами, видимые лишь для избранных, были начертаны слова: «Оставь надежду всяк сюда входящий». По ложным дорогам шли Маленький Лгунишка, Пакостник и Мучитель, Тупица и Чемпион по плаванью; их опекали ревностные Руки-по-Швам из Школы низости, убеждая их, толстых, глупых, ленивых и прожорливых, не уклоняться от намеченного жизненного пути. Эти поганки очень любили обмазываться грязью, а потом полоскаться в воде: плюх — и вся грязь долой. Они размалевывали свои физиономии под страшные сатанинские рожи и распространяли неимоверное зловоние, но стоило им окунуться в воду, и они выходили оттуда чистенькие, как ангелочки. С годами, однако, их облепляла другая грязь, ее не так легко было смыть; и если даже кто-нибудь из этих поганок и говорил себе вначале: «Пустяки, при первом удобном случае я все искуплю», все равно, они, вырастая, становились настоящей поганью. Теперь они уже заявляли, что грязь вовсе не грязь, а то, что иные осмеливаются называть грязью, вполне пристало взрослому человеку и вообще это свойственно человеческой природе. Вот в какие чудища превратились они с годами... Огромное полотно, такое же, как «Битва под Седаном», предстало передо мной: страшные фигуры нарисованы были на нем, с виду люди, а на самом деле — двуногие чудища, исполненные коварства, похоти и кровожадности: вечное стояние навытяжку породило их. Громко распевая песни ненависти к капитализму, все дальше и дальше по аду шел Странник со своим Добрым товарищем. Добрый товарищ указывал ему на фигуры «Палача», «Предателя», «Играющего в войну», «Живописца ложной радости». Был среди них и «Золотко» — но зато «Искателя счастья», «Тайно читающего книги», «Вдумчивого корреспондента», «Молодого человека на дознании у следователя» и «Дирижера» здесь не было, для них отвели другое место, откуда

начинался путь к «Стойкой жизни». Ну, а поскольку мы были в аду, который на том и стоит, что грешники самым ужасным образом расплачиваются за свои прошлые грехи, чудищам на этой половине ада велено было припомнить хоть *один* хороший поступок за всю их жизнь. Припоминание доставляло им жестокие муки. Они расчесывали себя в кровь, корчились, рвали на себе мясо до костей, чтобы найти хоть один хороший поступок в своем прошлом, ведь он принес бы им избавление от ада! А как они визжали, лаяли, хрюкали и кудахтали, когда им казалось, что после многих дней и ночей мучительных поисков они нашли наконец такой поступок. «Есть! Вот он! Нашел!» — ржало какое-нибудь чудище, и тогда остальные поднимали страшный шум, допытываясь, в самом ли деле ему удалось найти хороший поступок. Но на поверку хороший поступок всегда оборачивался омерзительным преступлением. В особенности так называемые благодеяния: стоило только копнуть поглубже, и они оказывались подлым надувательством. Так все эти чудища, обреченные на вечные и тщетные поиски хорошего поступка, сами себя непрестанно раздирали в клочья... По-прежнему преисполненный высоких мыслей, все дальше и дальше шагал Странник по стогнам ада, но постепенно он сам преображался в эти отвратительные существа; больше того, приглядевшись внимательнее, он в каждом из этих грязных выродков узнавал свое изображение... Поступь его утратила твердость, и, убегая от собственной «Скотской образины», он бросился прочь.

* * *

Уже за час до назначенного времени Сорвиголова, свернув с Людвигштрассе, вышел на Каульбахштрассе. Пансион «Интернациональ», где остановился Рихард Демель, расположен был примерно на полпути от Людвигштрассе до Английского парка. Я начал прохаживаться взад и вперед по Каульбахштрассе то по одной, то по другой стороне, причем, проходя мимо пансиона «Интернациональ», всякий раз ускорял шаги. А вдруг поэт стоит у окна и, приподняв занавеси, своими большими проницательными глазами наблюдает за Сорвиголовой!

Там, где Каульбахштрассе под легким уклоном спускается к Английскому парку, находилось фотоателье «Эльвира» — одноэтажный ярко-зеленый домик с рельефно выступавшим на фасаде гигантским лиловым драконом. Эта ужасающая безвкусица, вызывавшая в ту пору восхищение, почему-то усиливала

мою подавленность и, глядя на дракона, я стал серьезно сомневаться, идти ли мне вообще к Демелю, не дерзость ли это с моей стороны.

Вдруг я спохватился, что у меня опять вылетело из головы стихотворение «Привет Рихарду Демелю от молодежи», которое я целыми днями заучивал наизусть, декламируя перед зеркалом.

Но вот на колокольнях церкви театинцев и церкви святого Людовика почти одновременно пробило пять часов.

Я словно потерял сознание, непреодолимая сила подхватила меня, толкнула в вестибюль, подняла вверх по лестнице, заставила позвонить, проследовать по длинному коридору за горничной, отворившей мне дверь; и вот я стою, окаменев, перед незнакомцем, приблизившим ко мне лицо, изборожденное глубокими, подергивающимися морщинками. Среди этой игры морщин одни глаза светились покоем. Поэт пожал мне руку и пригласил сесть.

Все было так буднично: и приход сюда Сорвиголовы, и оказанный ему прием,— что я счел неуместным передать Демелю «привет от молодежи». На столе лежали мои стихи, и меня удивило, что поэт захватил их с собой в такое дальнее путешествие.

Я медленно приходил в себя.

Обвел глазами комнату. Рядом со шкафом обнаружил один-единственный чемодан, и самый факт, что для моих стихов нашлось место среди немногих вещей поэта, показался мне весьма значительным. Мне очень хотелось посмотреть, остались ли стихи такими же, как были, не изменились ли под его взглядом. Мне представилось, что они обрели какую-то новую, независимую от меня сущность и теперь я могу судить о них беспристрастно, как о чем-то, не имеющем ко мне отношения. Я не мог бы сказать, в чем она заключается, эта новая, чуждая мне сущность, и если бы мне предложили объяснить, что́ я написал, я был бы в большом затруднении.

Рихард Демель поинтересовался, почему я начал писать стихи, и я рассказал, как однажды сделал открытие, что некоторые слова, если их расположить в определенном порядке и произносить вслух, делают меня как бы нечувствительным к школьным и домашним невзгодам. Только много позже я начал записывать эти удивительные слова. Стихи делали меня бесстрашным и, как мне казалось, непобедимым. В стихах таилась целительная, чудесная сила, и мне хотелось узнать, оказывают ли они и на других такое действие.

Поэт шагал по комнате из угла в угол, часто откашливался и произносил: «Так-так», подходил к окну, поворачивался ко мне спиной и останавливался в дальнем углу, потом снова подходил ближе — медленно и размеренно, точно перед ним маячило нечто очень печальное.

Скоро все это начало меня злить. Вопреки моим ожиданиям, никакой торжественности не было, и я, подавив разочарование, стал мысленно иронизировать по поводу наскучившего мне поведения поэта: «Да ну же, скажи что-нибудь! Хватит разгуливать по комнате! Этим ты меня в восторженный трепет не приведешь!»

— Должен вас предостеречь,— поэт остановился передо мной,— хоть я и знаю, что вы меня не послушаетесь... Советую вам прежде всего хорошенько осмыслить эпоху, в которую вас с вашим талантом угораздило родиться.

Каждое слово поэта вызывало у меня неукротимое желание смеяться. «Продолжайте, продолжайте, господин Советчик! Ладно, давайте хорошенько осмыслим эпоху, в которую угораздило меня с моим талантом родиться. Чувствительно благодарен. Этот дяденька собирается попотчевать меня слабительным».

— Мы живем в чуждый искусству, враждебный поэзии век... В нашей общей участи, как мне кажется, бессильны что-либо изменить те горячечные потуги, которые мы наблюдаем в современном искусстве. Все то судорожное, эксцентричное, что так характерно для этих попыток, как нельзя лучше подтверждает мою мысль. Наше время — это время великой, ослепительной, утонченной, головокружительной лжи и худосочной истины, которая разве только наполовину или даже на четверть является истиной...

«Внимание! Держись! — хихикал я.— Сейчас последует длинная проповедь».

— Вы найдете сколько угодно охотников анализировать наше злополучное состояние, но анализ этот скользит по поверхности, он не доходит до того сокровенного, что бродит в нас... Возьмите античность и средние века, там руководящие идеи пронизывали...

«Браво, господин Советчик! — смеясь, аплодировал Сорвиголова, — по какой книге вы читаете? Вы говорите как по-писаному!»

—...и охватывали все стороны жизни вплоть до покроя одежды,— у нас же свирепствует непрерывная, омерзительная война, пожирающая тысячи жизней, но нет ни победителя, ни закона, дарованного победителем.

«Однако хватит!» — возроптал Сорвиголова и что-то промычал, но господин Советчик, по-видимому, не слышал его невнятного мычания.

— Наши научные познания находятся в резком противоречии с нашими религиозными запросами, наши социальные представления — с существующим государственным строем, а тоска по искусству — с ожесточенной борьбой за существование, характерной для нашей жизни стяжателей.

Я склонял про себя: «Эта Фусс, этой Фусс, эту Фусс»,— и если бы не заставил себя вспомнить о бабушкиной смерти, прыснул бы со смеху. «Шиповник, цианистый калий!» — бормотал я про себя, всеми силами сопротивляясь хохоту, рвавшемуся наружу.

Поэт снова зашагал по комнате, он говорил теперь, обращаясь не ко мне, а куда-то в пространство. Мне казалось, будто он при мне репетирует очередную речь, чем он, по всей вероятности, занимался нередко.

— Но одно дело понять все это, а другое — изменить. Где та сила, которая повела бы нас за собой, которая сблизила бы нас друг с другом и с народом?.. Мы живем в узком кругу знакомых. Наша жизнь не выходит за пределы тесного, словно очерченного магическим заклятием круга. Все попытки расширить или прорвать этот круг опять-таки приводят нас в новый, столь же ограниченный круг, замыкающий нас в себе и отгораживающий от жизни, как только мы в него вступаем...

«Куда он гнет?» — старался я угадать, но тут он чуть не растянулся на ковре, и я опять едва не задохся от подступившего к горлу смеха...

— Социализм! Рабочее движение! Но разве социализм можно претворить в жизнь по тем ребяческим упрощенным рецептам, какие прописывают иные реформаторы и врачеватели человечества?.. Кто в силах так высоко подняться над своим временем, чтобы хоть до некоторой степени провидеть очертания будущего?

«Ваше время истекло, господин Советчик... Кончайте!»— орал и свистел я мысленно и вдруг испугался этой обуявшей меня озорной развязности; я не понимал, откуда она взялась.

— Какая судьба нам уготована! Какое поругание наших человеческих взаимоотношений!.. Какой упадок в суждениях и вкусах! Мы обречены на разложение. От вас потребуется, дорогой мой Сорвиголова, сверхчеловеческая сила, чтобы достичь господствующей высоты и утвердиться на ней!

«Хе-хе»,— тихонько хохотнул я, но сейчас же цыкнул на это «хе-хе» и заставил его замолчать. Я велел Сорвиголове прекратить идиотские мальчишеские выходки и пригрозил, что выставлю его в галерее «Скотская образина» рядом с «Малодушным» и «Трусом».

— Чем серьезнее и успешнее вы разовьете свой талант, тем упорнее невежды и посредственности будут стараться окружить вас непроницаемой стеной зависти, ненависти и всяческой подлости. Ни одно унижение не минет вас, голод будет преследовать вас по пятам, пока вы не укроетесь за конторкой письмоводителя. И это можно еще назвать снисходительной, милосердной судьбой... Ницше, Вейнингер, Кале: безумие или самоубийство... Как же мне не предостеречь вас от удела, который немцы уготовили всем своим пророкам и глашатаям!

Конечно, если бы я расхаживал, как он, взад и вперед по комнате, а не сидел, словно приклеенный к стулу, я бы проявил куда большую находчивость... А так я сказал только:

— Я все-таки попробую, господин Демель.

Я проклинал этот злосчастный визит и клялся никогда в жизни не иметь дела с поэтами, которые бродят из угла в угол, как лунатики.

— Значит, я впустую старался предостеречь вас. Ни один пример вас не убедил.

И тут вдруг в лице поэта проступило поразительное сходство с моим отцом. Я старался отделить одно лицо от другого, но они были нераздельны в своем единомыслии. Вот так же слились воедино советник Тухман и отец, когда в Беседке счастья они согласно кивали друг другу, после чего фрейлейн Клерхен была уволена без предупреждения. Я даже заподозрил, не сговорились ли друг с другом великий поэт и мой отец отбить у меня охоту к стихотворству?

«За этим скрывается отец!» — насторожился я и сказал вслух:

— Я буду изучать право, а заниматься стихами стану только так, между делом.

Уж я тебя столкну с твоих классических высот! Берегись! Обвал!

«Заниматься стихами» я произнес с особым ударением, именно так выразился бы отец.

— Вот это приятно слышать, вот это разумно, в высшей степени разумно. Пишите стихи в свободное от занятий время, а в основном обзаведитесь серьезной профессией, тогда вы не пропадете...

«Мещанин»,— молча ответил Сорвиголова; теперь уже ничто не мешало ему встать и откланяться:

— Благодарю вас, господин Демель, я всегда буду вспоминать ваши слова...— «Когда они уже ничего не смогут изменить»,— решил я про себя и это тайное решение подкрепил словами самого поэта: «Не изменяй себе, не изменяй!» Поэт вручил мне мои стихи и проводил в переднюю. Многозначительно положив мне руку на плечо, он сказал на прощание:

— Смотрите же, не изменяйте принятому решению.

«Чиновничья карьера, спокойное местечко и право на пенсию»,— поблагодарил я мысленно за совет.

«Вот я тебе покажу! Погоди!» Я носился, негодуя, по улицам, вдоль и поперек, не разбирая дороги, пока не забрел куда-то на окраину города. «Нет, я не позволю убить во мне веру в себя!» Я разорвал письмо, которое все еще таскал с собой, и разбросал по улице горсть голубых клочков. «Как бы не так! Эх ты, поэт, с собственной виллой в Бланкенезе! Я не дам запугать себя демоническими ужимками... Мы еще с тобой встретимся... Погоди...» — грозил я в пространство, пока не развеял свою ярость и разочарование на незнакомых улицах. После многих расспросов и переспросов я вышел к Зендлингенскому кладбищу, и здесь взгляд мой привлекла большая фреска на кладбищенской церкви, изображающая Кохельского кузнеца в кровавую рождественскую ночь 1705 года.

Среди снежной бури над крестами Зендлингенского кладбища стоял Кохельский кузнец и дубинкой, густо утыканной железными шипами, отбивался от пандуров и хорватов, топтавших копытами своих коней могильные курганы. Лес кривых поблескивающих сабель смыкался над головой кузнеца. Снег был единственным светлым пятном в этой ночи; точно обагренный кровью световой экран, озарял он со всех сторон фигуру Кохельского кузнеца, который стоял в этом царстве мертвых как вкопанный, широко расставив ноги, прямой и сильный. Тела его семерых убитых сыновей лежали вокруг него.

Картина излучала силу, она заставила меня остановиться, взять себя в руки и прекратить бессмысленную беготню... Почему он не привел мне ни одного примера, не назвал ни одного героя, достойного подражания? Вот как на этой картине?

Великое существует!
Горе вам, смиренники!
Побеждают стойкие!

Неужто единственное призвание старости — предостерегать от великого?

XLIV

Свернув за угол Гессштрассе и выйдя на Луизенштрассе, я уже издали увидел Гартингера: он ждал у почты. Без всякого уговора мы двинулись к Луизенской школе. То был наш старый маршрут. Время от времени мы, как в былые времена, останавливались перед магазинами, и я, глядя на свое отражение в витринах, старался держаться прямо и производить впечатление взрослого, чтобы ничто не напоминало о «палаче»; Гартингер тоже подчеркивал свою возмужалость и держался так, точно стекла витрин навсегда запечатлевали наш новый облик. Гартингер не задирал носа, не поучал, не говорил со мной свысока. Мы болтали только о самых безразличных вещах, словно оба боялись коснуться чего-то важного. Францль скопил деньги и приобрел велосипед.

— Отчего бы нам,— сказал он,— не совершить вместе какую-нибудь экскурсию?

— На пасху, пожалуй,— согласился я.— Ты, конечно, не будешь возражать, если к нам присоединится мой приятель Левенштейн?

— Отчего же? Ладно! Хорошо бы прокатиться к Баденскому озеру, до Линдау можно добраться поездом.

— Значит, решено?

— Решено!

Мы ударили по рукам и, когда на минутку остановились, с изумлением увидели, что стоим перед Луизенской школой. Дело было в среду, под конец дня. В школе стояла тишина, старый педель с большой бутылью чернил в руках ковылял вверх по лестнице. Гартингер взял меня под руку, и мы пошли назад, по старому маршруту. Так шли мы с Францлем по его Голгофе, он и я, гнуснейший из злодеев, отравивших ему детство. Быть может, он уже и раньше простил меня, но теперь, шагая рядом со мной по старой школьной дороге, он простил меня вновь. Я чувствовал, как в нем оживает прошлое. Когда мы проходили мимо садоводства Бухнера, он выпустил мою руку, как бы говоря: тут я бессилен помочь тебе, иди один. Он скользнул по мне взглядом и уставился куда-то вдаль, точно для того, чтобы развеять гнетущие воспоминания.

— Ну, а как твои дела вообще? — спросил он, но мы уже подошли к почте; из гастрономического магазина напротив вышла мать Гартингера.

— Я собирался написать тебе,— сказал я, протягивая ему на прощание руку.

— Так я и думал,— улыбнувшись, ответил он.

Для организации предстоящей поездки мне понадобились Фек и Фрейшлаг. Я предложил им предпринять совместную прогулку на велосипедах в Оберстдорф. Они поговорили с моими родителями и получили для меня разрешение.

Уже за неделю до срока я занялся своим велосипедом: хотел придать ему праздничный вид. Я не только основательно почистил, смазал его и вставил недостающие спицы, но и тщательно закрасил эмалью каждую, даже самую незначительную царапину, все места, где облупилась краска. Я делал это в честь Гартингера и ради того, чтобы доставить ему удовольствие.

В страстной четверг у меня были назначены два свиданья: одно — с Фрейшлагом и Феком, которые собирались заехать за мной в два часа, и другое, в час, на Центральном вокзале,— с Левенштейном и Гартингером. Уже с раннего утра я подгонял Христину, чтобы она подала обед ровно в двенадцать, а родителей обманул, будто в час мы условились встретиться у Фрейшлага и оттуда начать наш поход.

Таким образом, обман должен был открыться вскоре после моего отъезда. Но я не страшился разоблачения, оно даже придется как нельзя более кстати,— лишь бы меня здесь не было! Так я давал понять Феку и Фрейшлагу, что дружбе с ними предпочел новую дружбу, а по отношению к отцу это было демонстрацией,— я открыто объявил себя другом Францля, понимая, что расследование, которое отец не преминет учинить, неизбежно приведет его к Гартингеру.

С того самого допроса, на котором я давал показания в качестве свидетеля, моя вера в отца как в независимого и неподкупного судью, за какого он выдавал себя, сильно поколебалась. Я, правда, еще не мог себе представить, что он способен так же произвольно извращать закон, как его коллега, судебный следователь, однако уже допускал мысль, что он не только мирится с подобными извращениями закона, но в известных случаях склонен даже,— конечно, под прикрытием юридической казуистики,— сам прибегать к ним. Раньше, бывало, он открыто высказывался против разных злоупотреблений, не щадя и ответственное за них правительство, но в последнее время, когда речь заходила о подобных делах, он отмалчивался, а порой пытался и оправдать то, чему не было оправдания. Запальчиво утверждал, что авторитет правительства надо всячески поддерживать и укреплять, народ все равно не знает, что делать с предоставленными ему свободами, поэтому желательно всячески их ограничить и, прежде всего, упразднить рейхстаг, ибо своей

безответственной болтовней депутаты только подрывают авторитет Германии во всем мире.

Вот и теперь, чуть ли не до самой последней минуты — уже пора было садиться на велосипед,— отец напутствовал меня подобающей случаю речью, в которой не забыл упомянуть о «бродягах, не помнящих родства», снова и снова предостерегая от подобных встреч и знакомств.

Я уже дошел до того, что из протеста заранее готов был отвергнуть все, что отец считал истинным и справедливым. И даже, случись ему сказать о синем, ясном небе, что оно «синее и ясное», я бы из духа противоречия не преминул обнаружить в синеве неба что-нибудь такое, что не позволяло бы ему называться «синим и ясным». Если отец говорил «еще очень рано», я говорил «нет, уже очень поздно», вместо того чтобы посмотреть на часы и установить точное время.

Полный радостного возбуждения, я вскочил на велосипед и понесся на Центральный вокзал, где меня ждали Гартингер и Левенштейн. Мы сдали велосипеды в багаж. Как только я уселся в купе рядом с товарищами и поезд тронулся, я вздохнул с облегчением, словно мы мчались навстречу Новой жизни.

Я не мог надивиться тому, с каким глубоким пониманием Гартингер слушал Левенштейна, рассказывавшего о новых течениях в своей любимой области — естествознании. Оба пользовались какими-то сокращенными названиями и терминами, так что значительная часть их разговора оставалась для меня недоступной. Я вынужден был признаться себе, что, очевидно, я круглый невежда: я никогда не слыхал об Эйнштейне, Михельсоне, Минковском или Лоренце, чьи имена упоминал Левенштейн, рассказывая Гартингеру о теории относительности. Возможно, что и для Гартингера в этих рассуждениях было немало нового, но то, как он расспрашивал и как старался во всем разобраться, обнаруживало в нем ясный и развитой ум. Я не рисковал даже задать вопроса; и тогда как Гартингер на лету схватывал разъяснения Левенштейна, я в конце концов утратил всякую способность соображать и следить за ходом беседы.

Поезд плавно вошел в сгущающиеся весенние сумерки.

Прошлогоднее жнивье уже подернулось нежно-зеленым флером ранних всходов. За полосатыми бело-синими шлагбаумами ждали длинные вереницы телег. Многоголосо зве-

нели колокольцами возвращавшиеся с пастбищ стада. Два ряда тополей по обе стороны шоссе убегали вверх к гребню холма, туда, где медленно вращались крылья ветряной мельницы и в своем непрестанном вращении, подобно стрелкам, указывали одновременно на землю и на облака.

О вы, зеленеющие пашни! О вы, бегущие облака!

Отсюда я родом. Вы моя родина...

Гартингер не согласен был с Левенштейном, который считал, что война невозможна потому, дескать, что социал-демократы и профессиональные союзы никогда не допустят массовой бойни.

— Среди самих социал-демократов нет на этот счет столь полного единомыслия, как это может показаться на первый взгляд... Не исключено, что на ближайшем международном конгрессе — он должен состояться в Париже — удастся достигнуть единого решения, но сомневаюсь, может ли всеобщая забастовка предотвратить войну... Правда, за последние годы у нас неизмеримо возросло число мест в рейхстаге, но порой, когда я слушаю отца, мне становится и страшно и тошно от того мещанского духа, который все сильнее и сильнее дает себя чувствовать в партии... Взять хотя бы какого-нибудь Фольмара или Ауэра... они настолько «умеренные», что, мне кажется, правительству ничего не стоит перетянуть их на свою сторону и заставить плясать под свою дудку...

Я услышал голос майора Боннэ, сказавшего на последней встрече Нового года: «Надо, чтобы они приняли участие в войне и одобрили военные кредиты...» — да и в первомайской демонстрации не было даже намека на непримиримость и грозную силу, звучавшие в голосе Гартингера, когда он заговаривал о Новой жизни... Но как же она наступит, эта Новая жизнь, если... «Если уж немецкий рабочий не выручит, тогда...» — донесся до меня из Охотничьего домика далекий голос... «Тогда... тогда... тогда...» — стучали колеса, но этот поезд не был похож на тот страшный поезд, который вез меня в Мюнхен после бабушкиной кремации. Мы ехали в специальном праздничном поезде, по удешевленным билетам, и все пассажиры делали вид, что им очень весело. Они радовались, предвкушая праздничные удовольствия, и колеса стучали и стучали: «Тогда... тогда... тогда...»

— Да, если на нас нападут, вполне возможно,— согласился Левенштейн.— Тогда другое дело, тогда может, конечно, слу-

читься, что они припрячут свой социализм подальше... Но, по всей видимости, нападающей стороной будем мы.

Гартингер рассказал о приятеле своего отца, крепком старике лет шестидесяти пяти, бывшем печатнике, который в первую субботу каждого месяца приходил вечером к его отцу за партийными взносами. Он тщательно и любовно выполнял порученное ему дело, записывал и подсчитывал, сам наклеивал марки в членские книжки, ровно, аккуратно; члены партии во вверенном ему районе всегда платили взносы своевременно. Наклеив марку, он ласково проводил по ней рукой... Францля посылали за пивом. Потом товарищи садились за картишки. С важным видом, как и подобает в таких случаях, один из них тасовал карты. Переговорив за игрой обо всех политических событиях и разругав подстрекателей войны, старик пускался в воспоминания о войне семьдесятого года, о «великой войне», как он говорил,— он служил канониром Ландсбергского артиллерийского полка. «Батарея наша была особенная, солдаты как на подбор». «Наша батарея»,— многозначительно повторял старик и поднимал руку с картами, как бы возвещая торжественно и грозно о тех событиях, о которых пойдет рассказ. Итак, батарея расположилась на холме. Старик уже был не просто канониром, который то и дело соскакивал с передка пушки, а его высокоблагородием командиром батареи, господином капитаном Ксиландром — «замечательный малый, кстати сказать»,— он командовал: «Батарея, внимание! Товсь!» Старик поочередно превращался во всех лейтенантов, во всех командиров орудия и наводчиков, которых он помнил по именам, он был всей батареей «до последней заклепки» — лафетом, пушкой, картечью, когда батарея в полной боевой готовности занимала позиции на холме. Старик молодел и оживал. С размаху хлопая картами по столу, он изображал кавалерийскую атаку неприятеля и батарею, встретившую его картечью... Вот в туче пыли неприятель несется на холм... Густая храпящая туча... Сверкают палаши, каски... Топот лошадиных копыт... Ослепительная лавина, едва касающаяся земли... Хлоп — первый залп. Хлоп — градом сыплется картечь. Туча задымилась. Кони — на дыбы, наскакивают друг на друга. Хлоп-хлоп-хлоп — следует залп за залпом. Кони, вздыбясь, сбрасывают с себя всадников. Всадники хватаются за шеи коней, цепляются за гривы. Летят вниз головой. Хлоп-хлоп-хлоп — и туча рассеялась. Всадники, застряв ногами в стременах, волочатся по земле, точно окровавленные лоскутья. Кони, перекатываясь в кровавой

жиже, подминают под себя всадников... Хлоп-хлоп-хлоп — хлопал он картами по столу, пока от атакующего кавалерийского полка не осталось ничего, кроме стонущей, воющей, ревущей мешанины из человеческих и лошадиных тел. Теперь ему понадобились уже обе руки, чтобы как можно нагляднее обрисовать кучу мертвых тел, этот бесформенный, безнадежно спутанный клубок, а изображая пронзительное ржание скачущего в смертном галопе коня с вываливающимися внутренностями, он так увлекся, что игра прервалась. Потом старик — хлоп! — дал последний залп в честь победы и возобновил игру. «Ни один,— он внушительно поднял указательный палец, подчеркивая это «ни один»,— ни один француз не избежал кровавой мясорубки...» Описание боя увенчалось появлением генерала фон дер Тана, который пожимал руки всем офицерам и солдатам батареи, в том числе и ему. Гордо показывал он ту самую руку, которую пожал фон дер Тан, забыв, что всего несколько минут назад он этой же рукой любовно наклеивал марки в членскую книжку. Тут отец Гартингера, который не поднимал глаз от карт, стыдясь за своего старого товарища, взглядывал ему прямо в лицо, а мать, сидевшая за швейной машиной, придвигалась ближе, чтобы посмотреть на знаменитую руку, широкую, точно лопата...

— К своим военным воспоминаниям старик возвращается очень охотно, он рассказывает о них с гораздо большим воодушевлением, чем о временах «закона против социалистов», а между тем он держался молодцом и несколько месяцев отсидел в тюрьме,— продолжал Францль.— Как вы сами видите теперь, товарищ Ибелакер не такой уж ярый противник войны, каким он может показаться на первый взгляд и каким, вероятно, он сам себе рисуется, а он, конечно, не одинок... Определить же, кто на кого напал, в начале войны очень трудно. Ведь нельзя же полагаться на официальные заявления...

Была уже ночь, когда поезд, миновав длинную дамбу, соединяющую остров с берегом, прибыл в Линдау. Со стороны Брегенца, в горах, там, где лепятся хижины пастухов, мерцали огоньки. Совершенно так же, как в то утро, когда мы прогуляли уроки, я во всех встречных видел шпионов. Лихорадочно протискался я к багажному вагону за велосипедами и потом, нажимая на педали, все время оглядывался, не организовал ли отец погоню и не преследуют ли меня полицейские с ищей-

ками. Даже огоньки высоко в горах, там, где лепятся пастушьи хижины, зловеще мигали и выслеживали нас.

Мне казалось, что я совершил нечто чудовищное. Нечто несравненно более страшное, чем если бы столкнул тогда отца с горной вершины. Я бежал, приказ о моей поимке разослан во все концы. Я с точностью до одной минуты знал, когда отец обнаружил обман: ровно в два часа Фек и Фрейшлаг зашли за мной. Волной страха меня отбросило назад, в Мюнхен, и я, уже взрослый молодой человек, с трясущимися коленями стоял перед державным отцом, от которого пытался бежать...

Мы сидели в небольшой деревенской гостинице «Корона». С потолка свисало на цепи железное ядро — память о 1647 годе.

Я поковырял в носу, как Гартингер, в то знаменитое утро, почесал колено, которое так плачевно дрожало еще минуту назад, когда волна страха повергла меня к ногам отца, посмеялся над тяжеленным дурацким ядром 1647 года, свисавшим с потолка. Левенштейн поднял глаза — он читал газету.

— Здесь рассказ Толстого... Толстой был...

«Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу...»

Левенштейн рассказал нам один эпизод из романа Толстого, и эти слова запечатлелись у меня в памяти. Я сам лежал на поле сражения под высоким, бесконечным небом.

Опять вращались стрелки ветряной мельницы, задевавшей меня своими крыльями. Крылья-стрелки показывали одновременно на зеленеющие башни и на бегущие облака.

— «Нет это было не оно...— так говорил мне Толстой со страниц своей книги,— это было не оно, когда ты отвернулся от неба и земли и к «Радости» пририсовал войну или когда заставлял Францля ловить ртом монетку». И на горной вершине, когда я задумал покушение на отца, и позднее, когда играл с ним в шахматы,— это было не оно, Настоящее... Нет, это не было оно, Истинное, когда Фрейшлаг, Фек и я образовали банду, а может, это было оно?— нет, нет! — когда я, не зная куда девать себя, бесился и озорничал, метался от одной крайности к другой. «И, уж конечно, то было не оно,— сказал я решительно,— когда гадливость, которую я не без основания питал к себе, я переносил на других и преследовал ни в чем не повинных людей своими каверзами, заставлял страдать за себя». «Оно ли это, Настоящее,— продолжал я допытываться,— если я добьюсь прочной должности с правом на пенсию?..» Но и это не оно, когда я слепо сопротивляюсь всем просьбам или приказам отца. «Да, и это не оно,— сказал я себе.— Все, все не

оно; будь это оно, Настоящее, Истинное, меня не прозвали бы «палачом». «Все, все это было не оно»,— сказала мне «Скотская образина» из гигантской панорамы «Ад». Зато «это было оно», когда я в новогоднюю ночь, в канун наступления нового, двадцатого века, поклялся начать новую жизнь. «Это было оно», когда я, тайком проскользнув в запретную гостиную, рассматривал портрет матери на мольберте. И «это было оно», давно позабытое мной: Гогеншвангау, взлеты качелей, Беседка счастья, а в ней фрейлейн Клерхен и я; и «это было оно» там, в Охотничьем домике, когда лес своим зеленым сиянием озарил мне душу. «Это было оно»: то, о чем я говорил с бабушкой после ее смерти и о чем пел мне Левенштейн у водопада в Английском парке. Это родная стихия Гартингера, а я чужеродный элемент в ней, то и дело отталкиваю от себя Истинное, Настоящее. «Это оно и было», написанное на вырванной странице из «Семейной хроники», Христина воплощала его в себе, и Ксавер играл о нем на своей гармони.

«Это было оно», в сиянии его света стояла мама.

— Послушайте, я давно хотел спросить, не знает ли кто из вас, как назывался тот корабль, это был целый корабль...

— Он назывался... назывался...— стал вспоминать Левенштейн и вспомнил: — Броненосец «Потемкин».

Да, это оно и есть! Все это звенья одной цепи, и они — дорога к новой жизни. Великое, единое целое!

Другой, новый мир...

Мы поднялись с зарей и по широкой магистрали покатили в Меерсбург. Не раз нам приходилось слезать с велосипедов и вести их в гору. Мы ехали как по огромному холмистому яблоневому саду, кое-где перемежавшемуся виноградниками. Когда мы наконец достигли Меерсбурга и перед нами широко раскинулось озеро, залитое расплавленным золотом солнца, Левенштейн спросил меня:

— Ты читал книгу Готфрида Келлера «Зеленый Генрих»? Нет?!

Гартингер, конечно, читал. Левенштейн помнил наизусть слова: «И если в каждом вечернем облачке мне видится знамя бессмертия, то пусть каждое утреннее облако станет для меня золотым стягом всемирной республики».

«Да, это оно и есть!» — звучали во мне отголоски моих вчерашних дум. Горы со снежными вершинами стояли полукругом, будто замыкая озеро высокой зубчатой стеной. «Это и

есть самое важное, самое важное...» Совсем иные облака плыли в высоком, бесконечном небе. Следя за их парящим полетом, мог ли я оставаться прежним? Страхи рассеялись, и «зачем? зачем?» — спрашивало высокое, бесконечное небо, взирая сверху на поле сражения. Прекрасен мир, прекрасен... И потому, что он так неизъяснимо прекрасен, непременно наступит новая, совсем новая жизнь.

Через всю эту красоту, охраняя чьи-то внушительные владения, тянулась ограда, перевитая колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Злые собаки». Сразу зазвучали деланные голоса отца и лесоруба, и прекрасный мир раскололся на две половины. Но и прекрасная половина мира уже не была так прекрасна, она потускнела, ибо тени, отбрасываемые на нее другой, темной половиной, омрачали и тревожили ее.

Мы поехали дальше, до Крессбронна. Там мы нашли приют у владельца мелочной лавчонки, который жил у самого озера и, помимо торговли, давал напрокат лодки. Мы оставили у него велосипеды и побрели по берегу, швыряя в воду плоские камешки. Я смотрел вслед каждому пароходу, проплывавшему вдали, словно это и был тот самый благословенный корабль, привидевшийся мне однажды во сне, где я бежал на берег встречать его и от радости швырял камешки в воду.

Утром, когда мы проснулись на своем сеновале, из лавчонки к нам донесся крестьянский говор, чуждый, почти непонятный нам, точно в родной стране бок о бок с нами жили какие-то иностранцы. «Трое чужаков» и «городские» — называл нас лавочник в разговоре с крестьянами. Местные жители сторонились нас, но совершенно так же крессброннцы сторонились людвигсгафенцев, да и между жителями одного и того же селения не было единства, и они часто оспаривали друг у друга право называться «здешними». Общины враждовали с общинами, злобились друг на друга и вели нескончаемые тяжбы. Гартингер еще мог бы, пожалуй, найти общий язык с «чужеземцами», но и он невольно говорил с ними деланным голосом, да и те недоверчиво оглядывали его.

Мне опять стало страшно за Новую жизнь, особенно когда я подумал о городе: все отгородились друг от друга точно колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Осторожно! Злые собаки! Вход воспрещен!» Разве отец Гартингера не обнес высоким забором, чуть ли не в метр вышиной, приобретенный им жалкий клочок земли на заднем дворе, где он

разводил бобы? И как он гордился своим забором, как тщательно и любовно каждую весну приводил его в порядок, заново красил и не упускал случая повесить табличку: «Осторожно! Окрашено!» А мой отец состоял в корпорации «Суэвия», куда более аристократической, чем «Франкония», не говоря уже о каких-то там землячествах. Ферейн игроков в кегли презирал ферейн игроков в скат, люди различных вероисповеданий и партий проявляли абсолютную нетерпимость друг к другу; мужские хоры постоянно воевали со смешанными; спортивные ферейны, различавшиеся по цвету трусов, состязались друг с другом... Весь мир, казалось, взят на откуп ферейнами...

Левенштейн пренебрежительно бросил:

— Мне бы их заботы: доится корова или не доится...

— Доится корова или не доится — это, по-твоему, не важно? — спокойно возразил ему Гартингер.— Не важно, как и чем живет человек? Ну, знаешь, ты глубоко заблуждаешься... Вообще, все то, что ты говоришь о крестьянах...

— С крестьянами мы легко столкуемся, только бы в городе решилось дело...— упорствовал Левенштейн.

«Можно ли все это объединить? — растерянно спрашивал я себя.— Каждая половина мира раздроблена, расщеплена, обезображена, так где же она и что она такое, эта Германия?!»

В Констанц мы попали на первый день пасхи. Колокола гулко благовестили воскресение из мертвых. Пузатые дома с островерхими фронтонами отбрасывали тень на тротуары узких извилистых улочек. И это тоже была она, моя родина. Время, отделявшее Нердлинген от нынешнего дня, как бы стерлось. Я сел и написал письмо Мопсу, словно исполняя обещание написать «немедленно».

Дом на улице Гуса у Шнецских ворот, где Гус был схвачен тюремщиками, украшали мемориальная доска и барельеф. Расположенный на одном из озерных островов доминиканский монастырь, где Гус томился в заточении, перестроили в гостиницу. В главном нефе Констанцского собора, в шестнадцати шагах от центрального прохода, на одной из больших каменных плит было обозначено то место, на котором стоял Гус, когда церковный собор приговорил его к сожжению.

Один за другим ступили мы на большую каменную плиту...

Мы сидели в тесной, низенькой, обшитой деревянными панелями комнате в погребке «У святого Стефана». Последний вечер: завтра мы возвращаемся в Мюнхен. Разговоры не умолкали.

— Вот сейчас ты дело говоришь! — воскликнул Гартингер, кивая Левенштейну, который рассказывал много интересного из истории крестьянских войн.— Неужели ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Помнишь, что ты говорил вчера о крестьянстве?

— Революционер — и верит в бога, как это совмещается?— спросил я нерешительно, в моей голове не укладывалось, что Ян Гус и Томас Мюнцер были революционерами и вместе с тем верили в бога

Левенштейн усмехнулся на мой вопрос и собирался пропустить его мимо ушей.

— Ничего смешного тут нет! — почти грубо одернул его Гартингер.— Даже и на глупый вопрос надо отвечать без высокомерной усмешечки. Эта усмешечка может в конце концов привести тебя к полному одиночеству

Левенштейн говорил очень гладко, легко увлекался, и тогда забывал обо всех и обо всем. Меня поражало его умение удивительно красиво строить фразу, но порой мне казалось, что удачному обороту он готов принести в жертву даже смысл, и это часто приводило его к неожиданным и для него самого нежелательным выводам. Однако, раз придя к ним, он упорно их отстаивал и только на следующий день, если разговор заходил на ту же тему, молча давал понять, что признает свою вчерашнюю ошибку. В присутствии Гартингера Левенштейн становился другим, он в значительной степени утрачивал ту уверенность, с какой говорил там, в Английском парке, у водопада. Быть может, он чувствовал превосходство Гартингера, хотя тот и уступал ему в знаниях, и, желая отстоять себя, впадал в излишнюю крикливость, а может быть, он говорил всякие благоглупости просто из желания порисоваться. То ли стараясь сгладить социальное различие между собой и Гартингером, то ли считая себя обязанным доказать, что, несмотря на свое буржуазное происхождение, он все же подлинный социалист, Левенштейн сегодня из кожи лез, выставляя напоказ свои социалистические убеждения, и порой делал это в неприятной, преувеличенной форме, подчас в ущерб великой идее. Гартингер говорил вперемежку на двух языках. Свою естественную речь он пересыпал выражениями, позаимствованными из газет и книг, уместными, пожалуй, на каком-нибудь собрании, но не в частном разговоре. Нередко, произнося такую книжную фразу, он сам спохватывался и, не договорив до конца, возвращался к своей обычной речи. Он не находил общего языка с Левенштейном, говорил тоном непререкаемого авторитета, точно учи-

тель с учеником, и это тоже мало способствовало их взаимному пониманию; в результате, едва обменявшись несколькими словами, они, хоть и были единомышленниками, начинали спорить. Они спорили ожесточенно, каждый старался больно уколоть и уязвить другого, и в конце концов оба почти забывали о предмете спора. Мне казалось, что они сводят втайне какие-то счеты. Гартингер как бы ставил в вину Левенштейну, что у того так много знаний, которые он, Гартингер, лишенный возможности учиться, не мог приобрести. А Левенштейн, казалось, был на Гартингера в обиде за то, что, несмотря на недостаток знаний, тот судит о многом правильнее, чем он, и что такое преимущество дает Гартингеру его происхождение и приобретенный им жизненный опыт. Проходило немало времени, пока этот спор утихал, и они убеждались, что, учась друг у друга, лучше служат общему делу. На меня Левенштейн не обращал сегодня никакого внимания и ясно давал мне понять, что мое мнение в счет не идет. Гартингер же, наоборот, говорил со мной как добрый товарищ: когда он видел, что я не успеваю следить за ходом его рассуждений, он останавливался, давая мне время подумать. Так говорил со мной Левенштейн у водопада в Английском парке, когда я его ждал там в тумане, а потом искал его носовой платок, и Левенштейн в благодарность спел незнакомую мне песню. Своими речами Гартингер как бы бережно помогал мне переступить через самого себя. Временами он предоставлял мне самому распутать что-либо непонятное, как тогда, у садоводства Бухнера. «Правильно!» — спешил он поддержать меня, едва я приближался к истине, и поощрял мои усилия разобраться в новых для меня мыслях.

— Правильно, в ту эпоху понятие «бог» являлось настолько обязательным и незыблемым для всех, что революционная сущность могла проявляться только в том или ином отношении к богу. Все выражалось через религиозные представления... Вне «бога» тебя бы просто не поняли...

— А как вы представляете себе Нового человека? — спросил я уже смелее, на что Левенштейн, сдержав, правда, усмешку, но все-таки раздраженно, заметил:

— Какие-то бредни у него в голове... «Грезы» Шумана... Кому это нужно?

— Нужно, нужно! Надоело это ваше узколобое «нужно»,— горячо возразил ему Гартингер.— «Грезы» Шумана, по-моему, прекрасная вещь.

— И по-моему! И по-моему! — крикнул я так громко, чтобы и учитель Штехеле меня услышал.

Я нарисовал «Радость». Но я испортил свою картинку, пририсовав безобразную войну. Бабушка закрасила войну, и на месте войны засинело поле васильков, дышащее миром... Дедушка в юности отправился в Италию, чтобы запечатлеть Прекрасное. Вместо этого из-под его кисти вышла картина «Голод». И он забросил живопись... Я нарисовал «Ад», изобразив себя в виде «Скотской образины»; и точно так же, как сам я был многолик, так и этот образ преисподней складывался из множества личин. Но «Искатель счастья», «Молодой человек на дознании у следователя», «Неотступно вопрошающий» и «Вдумчивый корреспондент», «Дирижер» и «Тайно читающий книги», выйдя из картины «Ад», устремились на поиски новой жизни, хоть еще и неясно различали ее очертания.

Я видел «Совершенного человека».

Он вырос в среде, которая давала простор всем его хорошим задаткам и с детства питала его разносторонними знаниями. «Совершенный человек» был равно совершенен телом и духом. Он не знал, что такое ложь и лицемерие, ибо не было ничего, что заставляло бы его лгать для самозащиты или лицемерить... Там никто не говорил деланным голосом. Никто никого не преследовал, не заставлял задыхаться от того, что один приказывал другому ловить ртом монету, и никому не приходилось годами стирать пятно на своем лбу, потому что он некогда наперегонки с себе подобными оплевывал кого-то... И никто не мешал Гансу-счастливцу сидеть в Беседке счастья...

«Совершенный человек» хорошо знал жизнь. Она была раскрыта перед ним во всей своей необъятности, в ней не было ни укромных уголков, ни темной возни, да и что прятать, раз все совершается открыто и люди свободно живут друг подле друга. Никто никого не угнетал, человек властвовал только над природой. Дружный, высоко организованный труд безгранично умножал богатства земли, и все люди, без различия, пользовались ее обильными плодами и наслаждались ее красотой. Муки голода и мытарства войны отошли в область предания. Энергия человечества, некогда расточавшаяся в бессмысленной взаимной вражде, слилась в единый поток, и над мечтой о «Совершенном человеке» зажглись слова: «Нет силы выше человека...»

Теперь я свободно говорил о смятении чувств, охватившем меня, и о той нерешительности, которая еще и по сей день швыряет меня то в одну, то в другую сторону. Возможно, что я трус, меня одолевает страх, страх... Впрочем, в эту минуту я не чувствовал никакого страха, я смеялся, вспоминая наш

приезд в Линдау и дурацкое ядро, такое же здоровенное и дурацкое, как моя собственная дурацкая башка...

— Вот еще проблема! — пренебрежительно отмахнулся Левенштейн.

— Конечно, это проблема,— возразил Гартингер, приходя мне на помощь.

— Дело не в единицах, наше движение массовое.

— Но ты противоречишь себе,— вмешался я в спор,— ты забыл, как сам утверждал, что каждого человека надо жалеть?

— Один человек не в счет, хочешь ты сказать? — обратился к Левенштейну Гартингер.— У кого один человек не в счет, для того социализм в лучшем случае — начетничество. Наше массовое движение тем и отличается, что оно высоко ставит интересы каждого отдельного человека.

* * *

Я стоял на большой каменной плите, напоминавшей плиту в Констанцском соборе, на которую мы с Гартингером и Левенштейном ступали поочередно. Плита поднялась и вознесла меня так высоко, что я коснулся головой облаков, плывущих в высоком, бесконечном небе. Но я не оторвался от земли. Я держался стойко. Вдали, на холме, ветряная мельница указывала крыльями-стрелками и на землю и на облака, и дурацкое тяжеленное ядро страха разлетелось в куски.

«По-тем-кин»,— произносил я по складам во сне, а Гартингер сказал: «Мы ищем подлинного революционера, мы ищем Нового человека».

«Да, вот оно, наконец!» — Я проснулся.

XLV

Мама и на сей раз была «против», когда отец, по возвращении беглеца, встретил его словами:

— Ну, за это ты у меня поплатишься!

Мама стояла у двери в гостиную.

— Хотя бы открытку прислал! — сказала она.— Как можно доставлять родителям столько беспокойства?

— Этому негодяю до нас никакого дела нет, он только того и добивается, чтобы прежде времени свести нас в могилу, Ну так вот, на летние каникулы мы едем в Гармиш-Партенкирхен, а ты останешься дома, так и знай.

«Чудесно!» — радовался я про себя: у меня в кармане лежал ответ Мопса, в котором он сообщал, что в середине июля собирается недели на две в Мюнхен... «Наконец-то, сколько лет прошло...»

— А что касается встреч с Гартингером, которые ты опять возобновил,— закончил отец, отпуская меня,— то имей в виду, что всякому терпению есть предел. Если ты с сегодняшнего дня не прекратишь эти встречи, я вынужден буду тебя просить,— ты видишь, я говорю совершенно спокойно,— не переступать больше порога этого дома. Старик Гартингер, при его блестящих связях, конечно, немедленно обеспечит тебя доходной службой. Быть может, даже усыновит тебя!

«И все это кончается эшафотом...» — мысленно передразнил я отца.

Но отец говорил размеренно и спокойно, так говорил бы он, выступая в суде, в его тоне чувствовалось даже некоторое равнодушие,— возможно, он уже отказался от мысли переубедить или «исправить» меня и хотел только внести во все полную ясность и решить вопрос по-деловому.

«Какое мне дело до твоей жизни, до твоей неудавшейся жизни? — хотел я бросить ему в лицо.— Я не свалка для всякой дряни,— но я сказал Болтуну и Пустозвону: Молчи! Эта разбитая жизнь мне вовсе не безразлична. То самое, что изуродовало жизнь отцу, и меня против моей воли толкает на неверный путь». В моем нежелании жить по команде «смирно», в моем непослушании отец видел, вероятно, упрек себе; он-то слишком далеко зашел в послушании; а быть может, он опасался, что я когда-нибудь выдам его тайные помыслы и стремления, осуществив их в своей жизни, и тогда сын разоблачит отца, его загубленную и нежитую жизнь.

— До чего же упрям! До чего же упрям этот негодяй! От кого только он унаследовал такое упрямство! — не раз говорил матери отец, заранее отводя от себя всякое подозрение и взваливая всю ответственность на мать.

— У нас в роду этого не бывало! В нашем роду — никогда! — Этим отец обычно заканчивал свою обвинительную речь и поспешно выходил из комнаты.

Прошло всего несколько дней, и я почувствовал, как дом наш снова берет верх надо мной. Я всячески сопротивлялся; мрачно бродя по комнатам, я до последней мелочи восстанавливал в памяти свою пасхальную поездку. Обороняясь от неумоли-

мой власти дома, я без конца бормотал, точно заклинание: «Вот оно, наконец». И ввысь, к облакам, плывущим в бесконечном небе, обращал я свой взор. О, это поле боя! Но повсюду подстерегали меня тенета воспоминаний, я все более и более запутывался в них, и вот уж я снова — один из обитателей дома № 5 по Гессштрассе, без надежды на избавление.

Все сговорилось против меня. Все в доме душило мое стремление к новой жизни, даже вид из окна на пансион Зуснер. И Христина, гремевшая кастрюлями на кухне, и портрет матери, стоявший на мольберте в гостиной, и сама мама, которая была «против». «Тебе никогда, во веки веков не вырваться отсюда, если ты будешь цепляться за всю эту рухлядь»,— твердил я беспомощно...

Видно, весь дом казнит меня теперь за то оскорбление, которое я нанес ему своим бегством. Бесчисленными, мелкими, незримыми ударами избивал он меня, стремясь сделать безропотным и податливым. Каждая вещь, стоявшая навытяжку на указанном ей месте,— цветочные горшки, фарфор и вазы, картины, письменный стол, шкаф и кушетка,— набрасывалась на меня, покинувшего свое место, и, взяв под стражу, призывала к порядку. «Изменник! — ругал я себя.— Трус». И чем сильнее ругался, тем податливее становился. «В конце концов у нас здесь преуютно, премило»,— издевался я над собой и, расслабленно скучая, поудобнее усаживался у окна после сытного обеда.

Они не выносили его, этого Гартингера. Мысленно я часто приводил его сюда. «Вон! — кричал ему весь дом.— Не смей переступать порог!» Стул отстранился бы, если бы «*этот*» захотел на него сесть; да что там! — стул предпочел бы сломать себе ножку, чем подставить «этому» свое сиденье. Стакан скорее разбился бы вдребезги, чем дал «ему» напиться. Самая дверь, когда я отворял ее, просила: «Только «*этого*», пожалуйста, не впускай!» А ковер свертывался в трубку: «Меня только что выбили! Смотри, чтобы «*этот*» не замарал меня! Гони его вон!»

Все улицы по пути в гимназию были в заговоре против Новой жизни. Все улицы по пути в гимназию гнали от себя «*этого*» и враждебно молчали, когда «*этот*» провожал меня. «Брось ты этого Гартингера,— нашептывала мне дорога, которая вела в гимназию,— он для нас «тот, тот самый», даже имени его запоминать не стоит».

Тоскливую дорогу нужно было пройти до конца. Когда-нибудь она протянется дальше — в казарму, такая же тоскливая,

и все многочисленные тоскливые дороги составят в конечном счете мой жизненный путь — очень разнообразный, интересный путь, не правда ли?

Едва я перешагнул через порог, как Фрейшлаг завопил на весь класс, где все уже были в сборе:

— Ах ты, свинья вероломная!

А Фек угрожающе подскочил ко мне:

— Только попади в армию, мы тебе припомним этого паршивого еврейчика.

— Заткни глотку! — резко оборвал я его и быстро сел на свое место: мне стыдно было за Левенштейна, который прятался за моей спиной — искал защиты.

«Только попади в армию» — эта фраза угнетала меня весь день. Оставалось всего три месяца до окончания гимназии, а там нужно будет на чем-то остановить свой выбор, да, нужно... «Ведь и среди офицеров есть порядочные люди, например майор Боннэ,— уговаривал я себя,— он вовсе не такой уж противный». Но я тут же возражал себе: «Ну, а как же Новая жизнь?» По-настоящему следовало бы начать совершенно новую жизнь, стать другим человеком. Но как? Черт побери, как? «Жить по-новому — тоже призвание! — издевался я над собой.— Надо знать, чего хочешь». Но чего хотеть, к чему стремиться?! «В конце концов, мой отец важный государственный чиновник с правом на пенсию»,— оставался еще и такой довод, его не мешало хорошенько взвесить. Надо было чего-нибудь хотеть. Но как я ни старался, я не мог выжать из себя ни одного желания, я не способен был что-либо желать, я ровно ничего не желал. Опять все перемешалось. «Сложи свои кубики!» — сказал я себе и убрал в ящик высокую башню, которую я построил. Что же мне, на картах раскинуть или заказать свой гороскоп? Или же, как это делают многие, попытаться определить призвание по собственному почерку? Кое-что можно, кажется, распознать по форме черепа, а сколько к моим услугам различных предсказателей, повсюду видишь их вывески! О каких только пророках, целителях и курсах лечения не приходится слышать. Может быть, отказаться от мяса и питаться лишь сырыми овощами или сменить ботинки на сандалии?..

«Вот оно, да, вот оно, наконец!» — передразнил я самого себя.

— Почему ты не отрастишь себе усы, это чрезвычайно выгодно изменило бы весь твой облик, — советовала мне мама, и я действительно несколько раз пытался отрастить усы, чтобы

выгодно изменить свой облик. Но скудная растительность внесла только одно изменение в мой облик — она притягивала к себе руки, которые без конца пощипывали редкие волосики, и это было для меня выгодно только в том смысле, что я нашел еще одно подходящее занятие для рук, избавив их от необходимости смущенно теребить пуговицы. Другого выгодного изменения во всем своем облике я не находил; к тому же я опасался, что с годами щетинка на верхней губе превратится в пышные, как беличий хвост, усищи пресловутого воспитателя Ферча; она уже и сейчас приняла подозрительный рыжеватый оттенок и воскресила у меня привычку, пощипывая ее, мычать давно позабытое «гм-гм-гм»...

Маме тоже не давала покоя жажда перемен. И она пыталась выгодно изменить свой облик тем, что перешивала старые платья и даже заказала одно новое. Если мне покупали новые ботинки или костюм, мама удивлялась:

— Не понимаю, у тебя новые ботинки, а ведешь ты себя все так же.— Или: — По-видимому, даже новый костюм на тебя не повлиял... А я-то думала, в новом костюме он станет совсем другим человеком.

Мама и отцу купила несколько мягких воротничков, но это новшество не пришлось ему по вкусу. Мягкие воротнички не вынуждали его так прямо держать голову, как того требовали высокие крахмальные, и он еще выше, еще судорожнее вытягивал шею, опасаясь, что может утратить привычную выправку. В конце концов мать, убедившись, что он, «видно, ни на что не променяет высокие крахмальные воротнички», подарила мягкие дяде Оскару. Но она не прекращала своих попыток внести какие-то перемены, хотя не раз заявляла, что давно покорилась судьбе. Однажды она решила поразить нас тем, что вместо колец для салфеток сшила конверты.

— Что это значит? Опять лишние расходы? К чему эти новшества? —сказал отец, опасливо и нерешительно подходя к столу.

— Неужели ты не видишь, что весь стол принял другой вид, и вообще все как-то сразу изменилось к лучшему,— разочарованно отвечала мама.

Но отец не видел, что все изменилось к лучшему, и принялся свыше меры расхваливать кольца для салфеток. Недовольным покачиванием головы встречал отец и всякую новую мамину прическу, на что она говорила всегда одно и тоже:

— Вы, мужчины, видно, не хотите, чтобы мир менялся!

Целыми днями у нас велись разговоры о конвертах для салфеток и мягких воротничках, пока мама в своей страсти к переменам не придумывала опять какого-нибудь новшества, такого крохотного, что его никто не замечал. И втайне она была очень довольна, потому что очередное новшество сразу все меняло и притом без ведома отца и вопреки его воле. Но меня она иногда посвящала в свою тайну, взяв слово, что я буду молчать.

Бог его знает, как жить... Не высовывай слишком сильно голову, милейший, не то тебе и в самом деле ее оттяпают вместе со всеми твоими никчемными мыслями... «Как-нибудь обойдется»,— от этого пахло скверно, как изо рта обер-пострата Нейберта. Быть может, случится что-то и поставит меня перед готовым решением. Что-то случится. Что-то должно произойти. Что-то...

* * *

После уроков Фек подошел ко мне:

— Мне надо с тобой поговорить.

— Говорить нам как будто не о чем,— попытался я уклониться, но Фек настойчиво продолжал тоном заклинателя:

— Я должен тебя предостеречь. Ты сбился с правильного пути.

— А ты никак не можешь обойтись без этих твоих таинственных фортелей? Ну ладно, я весь внимание.— Пряча свое удивление, я скривил губы в иронической усмешке.

— Никто мне этого не поручал,— сказал Фек, когда мы зашагали с ним по направлению к Английскому парку.— Но я знаю тебя. Я вижу, что с тобой делается.— Он описал мне, что со мной делается, и, хотя он то и дело отпускал шпильки по адресу Гартингера, я все же невольно изумился проницательности, с какой он разглядел мою растерянность.— Если ты решил порвать с нами и изменить людям своего класса — дело твое! Но раньше хорошенько прикинь, чем это пахнет, и не рассчитывай на сочувствие.

Я хотел пойти по Принц-регентштрассе, но Фек как-то незаметно повел меня к водопаду.

— Я даже могу понять тебя. Пожалуйста, не воображай, что твои настроения, если это можно так назвать, мне незнакомы. Наш брат уж не тот, что прежде. Угрызения совести и прочая дребедень,— от таких переживаний освобождаешься в некоем укромном месте... Но, но...

Фек направился прямо к скамье у водопада. Я не только не противился, как несколько минут назад, но, наоборот, пошел вперед и, подойдя к скамье, спросил:

— Посидим немного, хочешь? — Туман не клубился, светило солнце.

Фек взглянул на скамью и отпрянул.

— Чего ты? Скамья тебя не укусит! Места всем хватит.

— Идем! Идем! — Фек взял меня под руку и быстро увел из парка: — Мы тут всегда сидели с Дузель...

— Так что же «но, но»? — спросил я немного погодя.

— Но... но мы должны утверждать свое господство во что бы то ни стало. Потому! Вот и все! Такие, как мы, с гимназической скамьи должны показывать этому сброду когти. Потому! Ни шагу назад, ни единой запятой не уступать, не сдавать ни пяди наших позиций. Место под солнцем принадлежит нам, и только нам, раз навсегда. Потому! Да, классы существуют. Я не так глуп, чтобы оспаривать этот факт, хоть иной раз и целесообразно отрицать бесспорное. Но мы, господствующий класс, обязаны и призваны охранять существующий порядок, если понадобится, железом и кровью, а понятия справедливости и произвола — это чепуха... И еще разреши тебе сказать: одновременно быть в том и другом лагере нельзя. Долго метаться из стороны в сторону ты не сможешь — тебя раздавит. Ты должен прийти к какому-нибудь решению. Потому! Вокруг этих вопросов разводят много болтовни. Говорится куча красивых слов, только бы уйти от выводов. Верность правящей династии, любовь к отечеству. Все вздор... Я тебе этого говорить не собираюсь. Ты, наверное, крайне изумлен. Ты думал, что Фек — маменькин сынок, буржуй, тупица!.. Верно? Но тупости нашей, поверь, пришел конец. Потому! Игра идет ва-банк... Говорю это тебе как товарищ. Ты знаешь мою точку зрения на товарищество. Итак, прежде всего выправка!

Фек не ждал от меня ответа, казалось, ему нужно было лишь выполнить свой долг.

Он дернул меня за рукав:

— Ну, ты до сих пор еще блюдешь пост? Вредно для здоровья, мой милый!

— Теперь я могу тебе признаться...— начал я, собираясь рассказать ему о Фанни.

— Валяй все, без утайки! Ну! — Фек навострил уши. Но я умолк.

— Нет-нет, ничего у меня не было, — отстранил я его и коротко попрощался.— Во всяком случае, спасибо.

* * *

На углу Терезиенштрассе и Амалиенштрассе помещалось кафе «Стефани», по дороге в гимназию я каждый день проходил мимо. Приближаясь к кафе «Стефани», я замедлял шаги и часто останавливался на противоположном тротуаре, наблюдая необычайное оживление за окнами и удивляясь, как это я столько лет не замечал его. Мне удалось уговорить Левенштейна пойти со мной в кафе «Стефани».

Мы несколько раз нерешительно обошли вокруг дома, ни один из нас не отваживался войти первым, а ведь мы посещали другие кафе — «Луитпольд» или «Фариг» у Нейгаузерских ворот, и никогда не испытывали ни малейшего смущения.

— Здесь бывает особая публика, в наших будничных костюмах мы привлечем внимание,— запугивали мы друг друга.— А вдруг нас выкинут вон или подымут на смех?

— Ты так смело прокладывал себе дорогу сквозь туман, почему же теперь робеешь, ведь ты опытный вожак...

«Ты опытный вожак...» Я невольно рассмеялся, подумав о том, как я спасовал, не зная, что ответить Феку, хотя слова его бушевали во мне, и о том, что теперь я вовлекаю Левенштейна в авантюру.

— Ну, что тут такого, подумаешь! — собрался наконец с духом Левенштейн и, споткнувшись на пороге, скрылся за вращающейся дверью, я же остался на улице и опять побрел по Амалиенштрассе. «Не съедят же тебя там!» Я решительно двинулся вслед за Левенштейном. От волнения я неловко шагнул и дверью защемил полу своего пальто.

Левенштейн сидел за круглым мраморным столиком в задней комнате кафе и потягивал через соломинку лимонад, а рядом, за длинным столом, рыжебородый человек играл в шахматы с черноволосым. Брюнет задумчиво склонился над шахматной доской, весь уйдя в себя. Рыжебородый был в темно-зеленой рубашке; рядом, на спинке свободного стула, висели его огромная широкополая шляпа и суковатая палка. Сосредоточенный брюнет вздрогнул и высоко вздернул плечи, когда к нему обратилась за сигаретой худенькая, востроносая девушка. Глаза девушки блуждали по комнате, минуя нас. Медно-желтая копна ее волос погасла в полумраке, девушка вернулась к своему столику в противоположном углу. Маленький человечек в задорно перекинутом через плечо красном кашне

и в круглой шапочке что-то царапал на мраморной доске столика.

Посетители сдвигали свои столики, передавали через головы стулья, менялись местами.

— Сколько народу! Какое оживление! — восторгался Левенштейн, потягивая лимонад. Среди этого всеобщего передвижения одни мы сидели как пригвожденные.

Многие посетители ничего не заказывали, а те, что заказывали, выслушивали от кельнеров вежливое: «Не обессудьте, господа, но я вынужден просить вас уплатить вперед». В ответ на это некоторые грозили, что с завтрашнего же дня перекочуют в кафе «Глазль» напротив. Но вот появился новый посетитель; кивая во все стороны, волоча ноги и как бы толкая что-то перед собой, он добрел до красного плюшевого дивана и тяжело плюхнулся на него рядом с изможденным лысым субъектом в пиджаке с поднятым воротником; лысый то и дело доставал понюшку из спичечного коробка. Пришедший обменялся с Нюхальщиком несколькими словами и, пытливо разглядывая публику, стал кивком подзывать к своему столу всех новых посетителей. Слышно было, как он, заикаясь, произносил: «П-п-п-я-а-т-ть-ть п-п-пф-е-е-н-ни-г-гов, не найдется ли у вас пяти пфеннигов, прошу вас!..»

Вскоре я заметил, что взгляд попрошайки устремился на нас, и, хотя мы укрылись за газетами, Заика все же протиснулся к нашему столику.:

— П-п-ростите, уважаемые, нет ли у вас по пяти пфеннигов?

Мы были очень польщены и охотно дали ему по пяти пфеннигов, тем более что Заика любезно пригласил нас к себе, на плюшевый диван.

— Ну, вот видишь! — торжествовал я, когда мы пересаживались на диван.

— Я так и знал! — подтолкнул меня Левенштейн. Он поклонился и назвал наши имена. Заика сказал коротко: «Присаживайтесь!», а Изможденный, не обращая на нас внимания, раскрыл спичечную коробку и соломинкой захватил свежую понюшку.

— Человеческая жизнь... Вы представьте себе: бесконечная снежная равнина,— с усилием выговаривал Заика, повернувшись к Нюхальщику.— Огромная белая пустыня... И на этом бескрайнем пустынном просторе точечки, крохотные точечки — мы. Эти точечки движутся, собираются, рассыпаются, сталкиваются, образуют различные фигуры, точечки исчезают,

точечки возникают, одни фигуры распадаются, другие вновь образуются. А кругом бескрайняя снежная равнина, белая, огромная пустыня.

— И в каждой точечке,— подхватил мысль Заики Нюхальщик,— заключена такая же бесконечность, как в бесконечной снежной равнине... Точечки заряжены гигантской энергией, устремляющей их вон из огромной, белой, необозримой пустыни... точечки, заключающие в себе миры, точечки...

— Кто платит, господа? — вопросительно оглядел нас кельнер, когда Заика заказал для себя и своего приятеля по два яйца всмятку и по большой чашке кофе.

— Не беспокойтесь, уж как-нибудь заплатим! — ответил Нюхальщик, но кельнер настаивал:

— Извините, господа, но я вынужден просить вперед.

Тут я наступил под столом на ногу Левенштейну, мы сложили все наши деньги, оставив себе ровным счетом десять пфеннигов. Но и эти десять пфеннигов перекочевали к Заике, когда мы, час спустя, распрощались с ним, вдоволь насмотревшись на все достопримечательности кафе «Стефани».

— Ну, что, разве не стоило? Ясно, стоило! Только теперь начинается настоящая жизнь. Вот это люди! Настоящие революционеры! Доктор Гох, этот самый Нюхальщик, и Стефан Зак — автор уже двух романов... И писатель вынужден клянчить пять пфеннигов... Срам! Неслыханный позор! А Магда с ее желтой копной волос, до чего у нее порочный вид! А тот, что за соседним столиком играл в шахматы, это же знаменитый анархист, и маленький, в красном кашне, за одним столом с Магдой, тоже неплох, а?.. И художник Крейбих, да, Крейбих, помнишь, он сказал, что собирается брать уроки бокса, потом снял пиджак, засучил рукава и спросил: «Кому показать, что такое нокаут?» Вот кто сбросил с себя оковы, все это свободные люди, в своем роде они совершенны. Даже Ведекинд бывает здесь...

Левенштейн не устоял перед натиском моих восторгов и согласился, что сегодня мы действительно имели счастье встретиться с незаурядными людьми, может быть, даже с гениями.

— Человеческая жизнь... Вы только представьте себе: бесконечная белая равнина...— повторял я. Такую же бесконечную белую равнину видел я перед собой, когда писал стихи и заполнял письменами широкую белую пустыню.

Когда и вдобавок ко всему поведал Левенштейну о встрече с Рихардом Демелем, он остолбенел от удивления и схватил меня за плечо:

— Нет, ты скажи, что ты за человек? Прямо шальной какой-то! — Я с удовольствием принял эту похвалу и тут же на улице громко продекламировал несколько своих новых стихотворений.

Еще в уборной кафе «Стефани» я произвел некоторые изменения в своем туалете. Мещанский жилет я сбросил и оставил его там же, в уборной. Обывательские подтяжки я собирался немедленно заменить ремнем; я слышал, что так одеваются апаши. Кончик галстука заправил под рубашку, но тут же, увидав на ком-то из посетителей кафе красный свитер, спохватился, что галстуки вообще вышли из моды.

Воротник пальто я поднял, шляпу надел набекрень и сдвинул на самый затылок, пальто распахнул и засунул руки глубоко в карманы; придав своей походке порывистый и вызывающий характер и декламируя на ходу, я толкнул какую-то пожилую даму, потом фыркнул прямо в лицо почтенному толстяку так, что он обернулся, поднял палку и крикнул:

— Бродяги! — Я громко и презрительно захохотал, толстяк перебежал через улицу и подкатился к постовому полицейскому. Но что полицейский? Я высокомерно оглядывал всех полицейских. Котелки на прохожих вызывали во мне отвращение и насмешку.

Дома я, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Даже ботинок не снял. Я вообразил, что сплю под Богенгаузерским мостом или на скамье в Английском парке. Поднявшись утром, я не стал умываться, а за завтраком старался вести себя самым неподобающим образом: единым духом опорожнил чашку какао и запихал в рот сразу целый хлебец. Найдя, что походка моя еще недостаточно выразительна, я перепробовал самые разнообразные виды походок — от мечтательно заплетающейся до безоглядно решительной. Неожиданными, нарочито резкими движениями я силился привести в замешательство безобидных прохожих и нагнать на них «панический ужас».

До сих пор я был до неприличия чистоплотен. Стоило мне взглянуть на перепачканные отвороты пиджака доктора Гоха или темно-зеленую рубаху анархиста, на которой не осталось ни единой пуговицы, и мне делалось стыдно за мой мещан-

ский, прилизанный вид. От меня так и разило мещанской благопристойностью. Все во мне выдавало «хорошее воспитание», необходимо было показать, что я вырос из этих пеленок. Что значит: «это неприлично», «это не подобает»? Почему надо вести себя «благонравно», а не «беспардонно»? Почему в комнате полагается снимать шляпу и нельзя класть ноги на стол? Только потому, что так меня учили родители, отец — матерый чиновник и закоснелый мещанин, и мать — бедная, наивная провинциалка?!

Что касается стихов, то мне оставалось только снисходительно улыбаться при мысли о безобидности моих прежних опусов. В нарушение существующих норм и правил, я, нарочито и недопустимо греша против всех литературных канонов, написал специально изобретенным мной неразборчивым почерком новую поэму под названием «Город проклятия», в которой всякая, даже случайно прокравшаяся рифма немедленно заменялись трескучим ассонансом, лишь бы только ничто не напоминало традицию; я стремился внедрить в свой поэтический обиход такие выражения, которые до сих пор употреблялись только как ругательства. Безмерно умножались восклицательные знаки. Двоеточие властно утверждалось в начале фразы.

Теперь я уразумел то «непостижимое», вокруг которого поднимали такой вой старомодные посетители художественных выставок в Зеркальном дворце. Хаотическое нагромождение красок, причудливые эмоциональные зигзаги. Сожаление вызывали висевшие в соседних залах картины старых мастеров, еще скованных канонами формы. В «Трапезе богачей» вислощекие людоеды с бычьими шеями сидели, оскалив зубы, за выпачканными кровью столами, а вдали грозно вставали путаным лабиринтом линий апокалипсические баррикады. Картина «Высший свет» состояла из одних цилиндров и фраков, а содержимое отсутствующих голов разливалось по полотну густыми потоками намалеванной мерзости. Проходя по этой «Галерее образин», я словно опять видел панораму «Ад» и наблюдал, как посетители спасаются бегством от собственных образин, прикрываясь громким лицемерным возмущением.

Как только у меня накопилось несколько новых стихотворений, среди них «Марш завывающих домов» и «Ария сумасшедшего дяди», я снова отправился с Левенштейном в кафе «Стефани». Сперва я прочел стихи ему. Он был в восторге, сказал, что они «беспримерны» и «первозданны», что ритм и движение являются в них самоцелью. «Рубленый, растерзанный стиль, такого литература еще не знала...» Стефан Зак, сидевший

на плюшевом диване рядом с доктором Гохом, сразу же поманил нас к себе. Левенштейн, основательно запасшийся деньгами, выложил пять пфеннигов и заказал для него и доктора Гоха по два яйца всмятку и по двойной порции кофе. Я громко, напевно читал стихи, все столпились вокруг нашего стола, и когда я закончил «Марш завывающих домов», со всех сторон градом посыпались поздравления, все пожимали мне руку. Коротышка в красном кашне назвал мою «Арию сумасшедшего дяди» произведением ярко неопатетическим, в котором мне грандиозно удалось совместить несовместимое, ведь и у Гомера сравнение построено по принципу совмещения несовместимого. Анархист вызвался напечатать одно из стихотворений в своем журнале «Мировой вестник».

А что бы «тот» сказал на все это, «тот»?..

Я избегал произносить имя Гартингера в присутствии Левенштейна. Я называл его мысленно «тот» и говорил себе: можно прекрасно обойтись и без «того». Надо иметь собственную голову на плечах.

Обломком зубочистки доктор Гох зачерпнул щепотку белого поблескивающего порошка и отправил ее в нос.

— Послушайте, господин хороший, у вас до неприличия здоровый вид, для начала помассируйте себе разок мозги кокаином, иначе мне придется прервать с вами знакомство. Пожалуйста, сударь, угощайтесь.

Я подумал о Гартингере, но тут же сказал себе: «Оставь его в покое, ему здесь нечего делать!» — и, согласившись с доктором Гохом насчет «до неприличия здорового вида», взял понюшку растопыренными пальцами, совсем как ту шахматную фигурку, которой я объявил отцу мат. Отделился от самого себя, помахал рукой — «прощайте» — и исчез в кристаллически ясном краю счастья. Волна счастья плавно понесла меня на своем гребне, я сам стал качающимися качелями, и стол прильнул ко мне, как живое существо, на нем дышал оживший стакан воды, и я нежно обнял этот стакан. Благоговейно устремил я взор на Магду. Медно-желтые волосы Магды, присевшей к нашему столу, сияли, как нимб.

— Этого еще не хватало,— донесся до меня, опьяненного счастьем, ее не в меру хриплый голос.— Этот негодяй доведет вас прямехонько до сумасшедшего дома...

С меня сразу соскочило опьянение. Я ощутил тяжесть своего тела на жестком, неудобном стуле, с которого только что

воспарил. Я чувствовал себя так, точно меня досуха выжали. Как тогда, в комнате Фанни, на столе с острыми краями стоял стакан, излучавший холодный свет. Мне противен был Левенштейн, который с таким жадным любопытством спрашивал:

— Ну как? Ну как?

— Отчаянная мерзость, и ты, ты один виноват во всем.

— Почему я? Ты сам отвечаешь за свои поступки.

И это после всего, что было! После всего! После всего! «Фу, до чего же он слаб,— думал я, глядя исподлобья на Левенштейна,— как он быстро поддался моему влиянию!..» «Тот» словно выпустил мою руку из своей: «Теперь попробуй идти один». Но он ошибся во мне, я еще недостаточно окреп. Надо же в конце концов узнать жизнь, пытался я себя утешить. «Жизнь? Что общего между жизнью и этой фальсификацией счастья,— злобно возражал я себе.— Убирайся отсюда, здесь тебе нечего делать...» — приказывал я себе и продолжал сидеть.

Что-то должно произойти. Что-то... Я сидел за столиком Магды. Витиеватым почерком поэт в красном шарфе написал на мраморной доске:

Спрячь, глупец,
Сердца боль
В лед и в смех...

XLVI

Сокрушительные манифесты провозглашались на тарабарском языке, понятном только для посвященных.

Террористические акты и бомбометание мы поручили гигантам и взобрались на Гауризанкар вершить суд над миром.

Вот уже приговор цилиндрам и фракам произнесен, и за обильными столами пируют бедняки.

Плакаты с дом величиной. Через улицы протянуты транспаранты с нашими стихами.

Луна лопнула и пролилась в ночь бульоном тусклого света, и во вселенной от грома наших голосов бушевал ураган.

На рекламных тумбах пылали огненно-красные воззвания: «Поднимайте мятежи! Буйствуйте! Мир становится тесен!» Одним движением руки мы сметали в море города, мы опрокидывали горы и громоздили их друг на друга.

Изрыгая строфы стихов, стояли мы на трибунах, стены огромных залов содрогались от рукоплесканий.

Море красных знамен. К дворцу кайзера, пенясь, катили грозные валы восстания.

Мы управляли громами и молниями, все боги прошлого слетались на наш зов и славили нас, а народившийся новый мир увековечивал нас в гигантских статуях.

Землетрясениями и взрывами следовало всколыхнуть мещанский покой мира, ибо дух его, растленный культурой, гнил в музеях и в собраниях сочинений классиков.

Исступленно провозглашался мировой пожар и массовое вымирание, дабы на руинах старого возникло новое человечество, поколение всевластителей.

Что-то должно произойти. Что-то... Жить среди опасностей. Грудью встречать опасность!

Блюстители порядка нас не беспокоили, им недоступен был смысл наших иероглифов.

* * *

Поэт в красном шарфе страдальчески ссутулился. Магда вся сжалась в комочек. Я завел себе задорную и вместе с тем испуганно жалкую, почти без полей шляпчонку, чтобы не походить на обычных людей в обычных шляпах... Доктор Гох зачерпывал свой порошок, Стефан Зак тянул абсент через соломинку.

Много лет прошло, прежде чем он наконец настиг меня: «Марш завывающих домов» и «Ария сумасшедшего дяди» появились в «Мировом вестнике». Сумасшедший дядя со своими завывающими домами все время гонялся за мной, незаметно следуя по пятам, и вот теперь настиг меня. Я мог говорить, что хотел, так же непонятно, как он, не расставаясь при этом с уютом домашнего очага.

Роль толкователя и комментатора «непостижимого» взял на себя Левенштейн, он обладал поразительной способностью сообщать всему незначительному и случайному бездонную глубину. Он знал бодлеровские «Цветы зла» и свободно разбирался в феноменологии Гуссерля; он открыл мне Рембо, и я научился измышлять «небывалые словесные лигатуры».

Приходя в ателье к Стефану Заку, мы притаскивали кучу съестного, извлеченного из родительских кладовых.

Ателье было просторное, в огромные просветы окон вливалась беспредельная синева небес, но всю меблировку составляли

две убогие койки, несколько стульев и хромоногий стол. Жена Зака переписывала от руки новый роман писателя, беспорядочно нацарапанный на клочках бумаги.

— Ешь медленно, бога ради! — останавливала она Зака, жадно набрасывавшегося на сыр и мозговую колбасу.— Ты отвык от еды, не глотай кусками, прожевывай как следует...

Ежедневно, с полудня и до двух часов ночи, Зак просиживал в кафе, писал и зорко посматривал вокруг; у каждого, кого ему удавалось поймать, он клянчил пять пфеннигов. На опыте нескольких лет он пришел к заключению, что выгоднее всего просить немного, не больше пяти пфеннигов, ибо в «маленькой просьбе» неудобно отказать. Двадцать раз по пять пфеннигов ежедневно, этого уже хватало на оплату квартиры. Жена Зака вставала в шесть часов и обходила соседние дома, воруя булочки и молоко, которые разносчики оставляли у дверей своих клиентов.

Зак писал, лежа в постели.

— К первому числу я непременно должен кончить свой роман,— говорил он,— а уж тогда начнется настоящая жизнь...

Он слегка приподнимался и живописал «настоящую жизнь».

Настоящая жизнь означала трехкомнатную меблированную квартиру — собственной мебели он не признавал — с видом на Английский парк, обязательно на пятом этаже, разумеется, с лифтом.

— Моя трехкомнатная квартира находится на Куфштейнерплац, иногда мы ходим туда гулять... Правда, Лошадка, у нас замечательная квартира?

Лошадка, то бишь жена Зака, кивала, не поднимая глаз от работы.

Настоящая жизнь включала в себя также пишущую машинку, горничную, два костюма, непромокаемый плащ, теплое пальто и, давайте не будем скупиться, три пары ботинок.

С наступлением настоящей жизни в кафе «Стефани» можно будет заходить лишь время от времени, посидеть часок, не больше...

— Чудесно, не правда ли, сидеть на мягком диване и предлагать каждому, кто входит: «Не нужно ли вам пять пфеннигов? Пожалуйста, вот вам десять!» А вообще можно целый день, не выходя из дому, писать на хорошей, широкой, гладкой, белой бумаге, и жена немедленно все перепишет на машинке, а потом можно съездить разок в Париж, разок в Берлин,— вот это жизнь, а? И до нее осталось самое большее два месяца...

Зак садился на постели и подтягивал колени к подбородку. Его обросшие щетиной щеки так запали, что, казалось, того и гляди, срастутся во рту. Он рисовал на стене план своей трехкомнатной квартиры на Куфштейнерплац,— Куфштейнерплац он не променяет ни на что в мире.

В дверь постучали. Это был доктор Гох.

Зябко поеживаясь, хотя стоял теплый майский день, он сел на кровать в ногах у Зака. Склонив голову набок и втягивая носом порошок, доктор Гох зашептал, обращаясь ко мне:

— Эх вы, жалкий мещанин, вас в конце концов приговорят к смертной казни за ваши неразрешимые комплексы.

К счастью, между ним и Заком сразу же завязался разговор; поддерживая и дополняя друг друга, они набрасывали картину будущего, в котором человечество будет жить по двупарной системе: двое мужчин и две женщины, и, таким образом, в корне излечится от подспудных желаний. Наступит райское житье, не будет ни матерей, ни отцов, ни дочерей, ни сыновей, ибо все дети будут принадлежать обществу, и только обществу. С отменой матриархата общество вступило на путь вырождения, патриархат явился, в сущности, источником всего реакционного и кровожадного в человеке.

Грезы Зака были подвергнуты анализу, и доктор Гох, искусный толкователь грез, извлек из недр заковского подсознания солидный «материнский комплекс».

— Куфштейнерплац и трехкомнатная квартира, которые вы рассматриваете как начало новой жизни, это, судя по всем вашим ассоциациям, не что иное, как символ возврата к матери. Мюнхен — это мать, к которой вы, каменщик-подмастерье, бежали из Пирмазенса, спасаясь от отца. Вы, следовательно, собираетесь сочетаться браком со своей матерью.

Зак бормотал, размышляя вслух:

— Чудовищные злодеяния совершаются в человеческом мозгу; неведомо для себя мы являемся жертвами чудовищных злодеяний. Ареной битв...

В поисках спасения я устремил взгляд в широкое окно и увидел плывущие облака...

— Давно пережитое прошлое, измененное до неузнаваемости, подстерегает нас на привычных путях нашей мысли, прячется в темноте и вдруг вспыхивает ярким светом... Все сохраняется, бесконечно видоизменяясь... Ни один жест не исчезает бесследно в пространстве, и какое-нибудь подергивание губ может рассказать о явлениях вековой давности. Силясь удержать

нас, прошлое повсюду расставляет свои сети, оно тянет нас на аркане, пытаясь вернуть к себе... Потому, потому...— И Зак внезапно умолк.

Совершенное на этих днях убийство доктор Гох объяснял одним из детских переживаний преступника.

На школьной прогулке учитель лишил мальчика стакана молока. Все пили молоко, а мальчик в наказание за какую-то шалость стоял в стороне и только смотрел на своих товарищей. Этот стакан молока дал о себе знать потом,— невыпитый стакан молока, без ведома мальчика, давно о нем позабывшего, следовал за ним десятилетие за десятилетием. И вот однажды он увидел его во время обеденного перерыва на столе у своего начальника. Мальчик успел превратиться в благодушного папашу, таможенного инспектора, исполнительного чиновника с безупречным прошлым. А стакан молока превратил папашу снова в мальчика. «Отдайте!» — крикнул проснувшийся в нем мальчик начальнику, который стал учителем, отнявшим у мальчика стакан молока. «Отдайте!» — с угрозой повторил мальчик. Начальник не испугался и единым духом осушил стакан. Он не знал, какое превращение произошло с его подчиненным. Подумал, что тот позволил себе пошутить в несколько неуместной и неподобающей форме. «Сегодня ведь первое апреля».

Когда убийцу арестовали, он пил из пустого стакана, пил, не отрываясь, осушал целые реки молока и, опьянев от молока, лишь постепенно принимал облик таможенного инспектора, но от мальчишеской улыбки и от удовлетворенного чмоканья так и не смог отделаться.

Доктор Гох говорил лихорадочно, сбивчиво, он то и дело к чему-то прислушивался и озирался по сторонам.

— Слышите? — спросил он вдруг.— Кто-то поднимается по лестнице, дверная ручка... вот она шевелится, а кто посмел раздвинуть стены, теперь все эти скотские рыла уставились на меня! Проклятые квартальные врачи, они расселись по крышам и следят за мной в подзорную трубу... Кто это колет меня иголками? Кто зовет меня по имени? Не троньте меня, говорю я вам, руки прочь, или я буду стрелять...— Точно спасаясь от погони, он отбежал в самый отдаленный угол ателье, набросил на голову одеяло и жалобно заскулил: — Пустите меня! Я не хочу, я не пойду. Я не нуждаюсь в лечении. Я совершенно нормален. Я сейчас докажу это.

Зака, видимо, нисколько не беспокоило поведение доктора Гоха.



«Прощание»

— Легкий приступ мании преследования, Гох скоро придет в себя...

«Нам есть что порассказать,— гордо переглянулись мы с Левенштейном.— Зачем нам «тот»? И без него у нас интересная жизнь».

Зак выпрямился, сидя в постели.

— Не думайте, братья, что и я рехнулся и мои разговоры о лучшей жизни несерьезны! Грядут новые времена, слышите, я говорю вам это. Мысли человека будут обнажены до тончайших извилин, а чувства разворошены в их затаенных глубинах. Многие куда-то устремляются в поисках приключений. Между тем внутри нас разыгрываются самые фантастические приключения. С ложью о «гармоничном» человеке покончено. Человек — это арена битв... Кровавые противоречия... Чудовищные злодеяния...

Зак тоже посмотрел в окно, следя за плывущими облаками.

— А потому...

Он помолчал, усаживаясь поудобнее на сбившейся постели.

— А потому каждый из нас должен очень зорко следить за собой, если он хочет стать хорошим человеком... Никогда никому не отказывайте в стакане молока, никогда... Каждый из нас проницаем для другого, но и каждый из нас проникает в другого... Закон сохранения энергии не только физиологический закон... и в психической сфере ничто не пропадает... Невероятные последствия... новая мораль... Новая теория спасения! Новое учение о человеческом счастье! Вот оно, да, вот оно, наконец!

Теперь и Зак сказал: «Вот оно, да, вот оно, наконец!» — и опять посмотрел в окно.

Так я смотрел в окно на пансион Зуснер, когда умирала фрейлейн Лаутензак, и это бесследное исчезновение оставило вечный след.

— Но что-то должно произойти... Так дальше продолжаться не может... И это что-то вытянет нас из трясины...

Он словно искал это «что-то» на горизонте, вдали.

— Какое-нибудь грандиозное событие! Чудо! — Опять он помолчал, потом быстро проговорил: — Хорошо бы взрыв! Скажем, целый город взлетает на воздух! Что бы ни произошло, все равно, лишь бы что-то из ряда вон выходящее, лишь бы оно разнесло вдребезги весь этот обман! Какой-нибудь грандиозный бунт! Грандиозная передряга! Или... или...

В ателье вдруг стало очень тихо. Из угла, где сидел скрючившись доктор Гох, доносилось тоненькое повизгивание и

всхлипывание. Жена Зака ни на минуту не переставала писать, слышно было, как скрипит перо по бумаге. Беспредельный небесный простор, точно волнующийся океан, синеющий в широком окне, казалось, приблизился. Мы с Левенштейном старались не ерзать на стульях, и все-таки стулья под нами кряхтели, а пол повсюду потрескивал.

— Нет-нет-нет, только не это,— скулил в своем углу доктор Гох.

Зак уставился на одеяло, затем поднял палец.

— Или... или? Только — тс! тс! молчок! Знайте это каждый про себя... С трехкомнатной квартирой на Куфштейнерплац надо проститься,— двадцать раз по пяти пфеннигов каждый божий день мне тоже уж не собрать... Лошадка, брось переписывать, все это теперь ни к чему, слышишь? Дети, дети! Если бы вы знали то, что знаю я! Оно придет, оно...

— Нет-нет-нет! Только не это! — отчаянно сопротивлялся чему-то в своем углу доктор Гох, потом послышался стон, и Гох соскользнул на пол.

Зак посмотрел на нас горящими глазами.

— Вы не знаете? Не догадываетесь? Подите сюда, я скажу вам на ухо...

Я услышал, как он шепнул Левенштейну:

— Война.

Пришлось и мне наклониться и подставить ухо.

— Война! — шепнул он.

Тем временем доктор Гох вышел из своего угла. Странно медленным шагом шел он через ателье. Стараясь двигаться, как нормальный человек, он с такой точностью воспроизводил каждый элемент шага, что, казалось, это па какого-то призрачного танца; казалось, Гох весь на проволочках, и кто-то, быть может, один из тех, что засели на крыше, дергает за них и приводит его в это жуткое, замедленное движение. Торжествующе улыбаясь, Гох повернулся к тем, кто невидимо для нас наблюдал за ним с отдаленных крыш, желтовато поблескивающих в лучах заходящего солнца. Обстоятельно, разлагая и это движение на составные части, он опустился на стул и сделал попытку закурить. Словно ему стоило мучительных усилий вернуться к нормальной жизни, словно ему впервые дали в руки спичечный коробок, старался он, трясясь от робости, зажечь спичку. Вдруг движения его ускорились, он сел спиной к окну, закурил и с

зажженной спичкой в руках стал жадно втягивать в себя табачный дым. Он протрезвел.

Потом обломком зубочистки снова зачерпнул щепотку белого порошка...

Когда мы спускались по лестнице, я тщетно старался освободиться от засевшего в ушах шепота.

— Надо бы... Как ты думаешь, что «он» сказал бы на все это?

Но Левенштейн предупредил меня:

— Слушай, дело принимает серьезный оборот... Не думаешь ли ты, что следовало бы...

Мы обменялись взглядами, точно искали друг у друга поддержки.

Я был уже близко, совсем близко к ней, к Новой жизни. Но волна страха опять отбросила меня далеко назад, страшно далеко. «Только не он! Только не он!» — твердили мне дома, а Фек, пусть он и уродился плюгавым, пусть он и дрожал, увидев скамью, на которой сидел когда-то с Дузель, все же вырос со времени нашего разговора в Английском парке, гигантски вырос; закованный в броню своей решительности, он командовал: «Смирно!» А я, так высоко взлетевший, по вине своей нерешительности превратился в жалкую, ничтожную пешку... И Левенштейна увлек за собой в своем падении. Я, Смиренник, опять оттолкнул от себя Стойкую жизнь.

С чувством безнадежности спускались мы на дно лестничного колодца и, выйдя на улицу, быстро, не прощаясь, разошлись в разные стороны. Мы убегали друг от друга, словно могли, убежав от чужой слабости, скрыться от собственной. Я слушал себя самого: «Два противоположных потока страшной силы гонят меня, ввергая в водоворот, и я верчусь вокруг своей оси... Ах, наш брат! О, такой, как я!»

* * *

Несколько дней спустя мы приняли участие в совместном выступлении художников и поэтов кафе «Стефани» против непопулярного в нашем кругу редактора «Мюнхенских новостей». Этот писака осмелился в своем «Литературном обзоре» усомниться в гениальности жрецов искусства из кафе «Стефани». Мы сочли своим долгом раз и навсегда вправить мозги этому гонителю искусства. Объявили его самым закоснелым из мещан, рупором тех, кого нам теперь часто удавалось доводить до белого каления; всякого из этой братии, кто попадал в кафе

«Стефани», мы встречали канонадой свирепой ругани и бывали очень довольны, если дело кончалось потасовкой.

Всей оравой, предводительствуемые Крейбихом,— Левенштейн и я с важными минами замыкали шествие,— мы шумно двинулись на Зендлингерштрассе. Говорить от имени всех поручено было Заку, но, по мнению Крейбиха, разговаривать особенно было не о чем: надо действовать «ударными» аргументами. Швейцар повел нас на второй этаж; нас не заставили ждать и тотчас же впустили в кабинет редактора. Навстречу нам из-за письменного стола поднялся пожилой кругленький человечек, и, приветливо улыбаясь, пожал каждому руку.

— Мы вас не задержим,— начал Зак.— Коротко говоря, мы требуем, чтобы в ближайшем номере вашей газеты вы сами же опровергли все, что осмелились о нас высказать. Извольте объясниться!

— Но, милостивые государи,— возмутился редактор,— я надеюсь, что пока еще никому не возбраняется иметь свое суждение... и как раз вы, милостивые государи, больше чем кто бы то ни было...

— Нет, этого мы не потерпим! — выступил вперед Крейбих.— Этакий жалкий мещанин — и еще рассуждает!... Извольте молчать и подчиняться... Что это у вас здесь на письменном столе? Опять настрочили какую-нибудь пакость? Долой, к черту!.. Скандал...

— Скандал! Скандал! — вместе со всеми вопил и я, это было излюбленное словечко у нас дома. Этот дикий крик был для меня как бы освобождением от гнета вечных домашних скандалов.

Размашистым движением Крейбих смахнул на пол все бумаги, чернильницу и портфель.

— Это тебе первое предупреждение, прохвост, а в следующий раз мы тебя еще не так отделаем... Заруби себе на носу... Ну, пошли!

— Милостивые государи,— донесся из-за письменного стола голос, полный сдерживаемого волнения,— не думаете ли вы, что ведете себя не как служители искусства, а как пьяные корпоранты?!

— Что-о-о? — свирепо зарычал Крейбих, который уже было вывел нас за дверь.— Он еще вздумал дерзить, этот коротышка!

Крейбих собирался уже броситься на редактора, но Зак схватил его за руку.

— Не тронь его, слышишь!

— Десять марок штрафа на стол, да поскорее...

— Я отказываюсь вас понимать, господа! Вы, очевидно, шутите... это чистейшее вымогательство!

— Тут нечего понимать! Вытаскивай бумажник, гони монету...

— Гони монету! — кричал я громче других. Передо мной был письменный стол, такой же, как у отца, письменный стол, на котором из года в год лежала и до скончания веков будет лежать перевязанная шпагатом стопка «дел» в ожидании курьера.

— Я и не знаю, господа, наберется ли у меня такая сумма...— Голос редактора дрожал, рука сама полезла в боковой карман.

— Он сказал «гунны», ты слышал? «Гунны»... — толкнул я Левенштейна, но тот только помотал головой:

— Не говорил он этого вовсе.

— Ах, господа, господа...— Редактор отсчитывал деньги под неотступным взглядом Крейбиха, стоявшего перед ним грозным истуканом.

Мы возвращались в кафе «Стефани» как после выигранного сражения. И на все лады превозносили заслуги Крейбиха, который нанес редактору столь сокрушительный удар. Десять марок Крейбих оставил у себя как «фонд особого назначения».

Я оттащил Левенштейна в сторону.

— Он сказал «гунны», я совершенно ясно слышал.

— Что ты вбил себе в голову: гунны да гунны! Не говорил он этого вовсе!

«Начинай сначала,— думал я,— опять мы составляем банду».

Зак оглянулся, он искал нас глазами.

Меня удивило, что он участвовал во всей этой истории.

— Банда! — ругался он.— Банда! — Он рванулся вперед, словно отталкивая себя от нас.— Убирайся отсюда подобру-поздорову. Тебе здесь нечего делать!

* * *

Магда пригласила меня в Королевский парк. Мы сидели на открытой веранде кафе «Аркады». В малом павильоне играл военный оркестр. Закурив сигарету и затянувшись, я вновь увидел себя в табачной лавочке у Костских ворот; вчера при закрытых дверях началось слушание дела грабителя и убийцы Куника.

— Слушайте,— сказала Магда, заглядывая мне в глаза,— раньше вы писали хорошие стихи. Знаю даже одно стихотворение наизусть. Вот оно:

Ночной порой
Говоришь ты с собой:
«Жди, настанет срок...»
Путь далек, далек.

Срок настанет, друг,
Станет поздно вдруг,
Станет тихо так,
И наступит мрак.

И придет тогда
Злое *Никогда*...

Это настоящие стихи... А то, что вы теперь стряпаете... Ну, да ладно, не стоит об этом толковать... Вот доктор Гох приговорил меня к смерти за неразрешимые комплексы... Чего захотел! Нет, уж кому-кому, а этому дураку я не позволю посылать меня на панель... Эх вы, толкователи снов, потрошители душ! Долго такого не выдержишь, тут кто угодно полезет на стенку. Полюбить бы кого-нибудь, просто-напросто полюбить, и все тут... По всем правилам мещанской любви, с гипюровыми салфеточками и фарфоровыми свинками: чудесная жизнь, а?.. Вот к чему приводит ваше «неистовство». Не воображайте только, что вы опасны! Вы безобидные, взбесившиеся мещане... Уж мне-то очков не вотрете, я родилась и выросла в деревне, в Гольштинии, моя мать прачка... Кому вы поможете своим кривлянием?.. Себе уж, наверное, нет... Хоть бы что-нибудь стряслось да образумило бы вас... Зак — единственный более или менее стоящий человек из всей вашей компании. Он только прикидывается, будто он с вами заодно. Он пишет о голоде, о бедняках. И о новой жизни... Но почему именно вам я говорю обо всем этом? Сама не знаю. Вы несчастный глупец, вы...

Опять у меня что-то засело в ушах.

«Взбесившиеся мещане»,— сказала она.

Она перевела глаза на оркестр и отвернулась.

— Подохнуть бы...

— Вы еще в гимназии? — помолчав, небрежно спросила она, внезапно изменив тон.

— В последнем классе... Через три дня начинаются выпускные экзамены.

— Интересно. Вы хорошо подготовились?

— Да, хорошо.

— Трудно, вероятно, учиться, а?

— В старших классах, конечно.

— Вам нелегко дается учение?

— Таким, как я, конечно, нелегко. Я...

— О, я вас понимаю. Я тоже бьюсь, чтобы заработать кусок хлеба. У меня ведь ребенок.

— Вы поете в «Осе»?..

— На это не проживешь. Я работаю теперь главным образом в роли материализующего феномена. Вызываю духов. У меня договор с профессором Шренк-Нотцингом.

— Ничего не понимаю.

— Ну, вот видите. Только такое надувательство и может прокормить нынче нашу сестру. Но обещайте, что все останется между нами, иначе вы лишите меня куска хлеба. Существует пленочка, которая складывается в такой маленький комочек, что ее без труда держишь во рту. Профессор смотрит на меня вытаращенными глазами, то есть гипнотизирует меня. Почему мне и не поддаться гипнозу за приличное вознаграждение, если это доставляет удовольствие профессору? Потом я вызываю духа. Я незаметно расправляю вынутую изо рта пленочку, она величиной с человеческое лицо, явление духа фотографируется, а я получаю за сеанс пятьдесят марок... Я одна на сцене перед затемненным зрительным залом, никто ко мне не лезет... Профессор запретил кому-либо близко подходить к сцене во время сеанса, это, мол, смертельно опасно для феномена... Такова жизнь... Моя фотография помещена в толстой научной книге. Я называюсь «Феномен Ева».

Феномен Ева поднесла к тому самому рту, из которого на сеансах появлялись духи, сочный пончик.

— Замечательный пончик, просто замечательный, прошу вас, возьмите, попробуйте! — Жуя, феномен спросила (кусочек пончика упал при этом изо рта на тарелку): — Вы сдадите свои экзамены, а потом кем будете?

— Кем я буду? Потом... кем буду?..

Мне почудилось, что меня спрашивает дух.

Глядя на тарелку, куда упал кусочек пончика, я ответил:

— Потом кем буду? Не знаю... Ничего не знаю!

На следующий день в школе ко мне подошел Фек.

— Мне, правда, никто не поручал контролировать тебя, но я вижу, что ты делаешь успехи. Перебесись! Это хорошо! Каждый на свой лад. Только с «тем», ты знаешь, о ком я говорю, не связывайся. В общем, поздравляю. Продолжай в том же духе.— Он так сердечно тряс мне руку, что у меня не хватило решимости отнять ее.

Пришлось изобрести целую систему лжи и отговорок, чтобы находить время для моей новой жизни, для частых отлучек из дому. Отец, который работал над книгой и которого ни в коем случае нельзя было тревожить, по-видимому, не замечал, как я превращался в бунтаря и скандалиста, мать же, правда, не раз недоумевала по поводу моего странного костюма и вызывающих манер, но мне нетрудно было ее успокоить, заверив, что такова мода.

— Издержки роста,— говорил я в свое оправдание, и мама улыбалась мне доброй улыбкой.

— Что за дурацкие выходки? И где только ты всего этого набираешься!

Однажды, когда я вернулся домой очень поздно, Христина зашла ко мне в комнату и стала вспоминать, как я, бывало, заставлял ее присаживаться около кровати, рассказывать мне что-нибудь и петь. Потом она спросила:

— Что с вами, ваша милость?

— Со мной? Ничего. Ровно ничего.

Христина недоверчиво покачала головой. Она словно видела ту далекую новогоднюю ночь, когда я пел у нее в кухне.

— Не называй ты меня «ваша милость»,— повторил я свою просьбу,— уж лучше скажи: «гунн» или «взбесившийся мещанин».

Христина опустила глаза, ее губы шевелились, как будто она читала что-то в своем молитвеннике, как тогда, в палате у дяди Карла...

Христина постучала ко мне, точно в ответ на мой зов.

— Войдите! Войдите! — обрадованно крикнул я.— Поздравь меня, Христина, я провалился.

— Ох-ох-ох, что-то скажут господа! — зашептала она в испуге, и на мою реплику: «А знаешь, мне это совершенно безразлично»,— ответила:

— Чти отца своего и мать свою,— и поспешила вон из комнаты.

Результаты выпускных экзаменов торжественно зачитывались в актовом зале... Когда инспектор министерства просвеще-

ния дочитал до конца список выдержавших, по рядам пронесся шепот: Фек и я не были названы.

— Не выдержали экзаменов...— строго и вместе с тем сочувственно повысил голос инспектор. Он назвал две фамилии, мою и Фека. Кое-кто из учеников зашипел:

— Этого следовало ожидать. Ничего удивительного: достойная парочка!

Фек дожидался меня у ворот.

— Ну, что скажешь? Выкусил, ренегат ты этакий? У нас с тобой одна дорога, хочешь не хочешь! Пойдем-ка напьемся для духовного сближения.

Он словно сказал: «Мы обязаны и призваны охранять существующий порядок, если понадобится, то железом и кровью», — и я ответил:

— Благодарю. Ты убедил меня. Полностью. В противоположном.

Заметив, что от этих слов он сразу утратил свое бронированное величие и снова превратился в плюгавого коротышку, каким и был от рождения, а я, напротив, вырос и стал богатырем, как хозяин трактира «У веселого гуляки», с которым мы так высоко тянулись вверх, что переросли виселицу, и стал великаном, как в ту минуту, когда ступил на знаменитую каменную плиту в Констанцском соборе,— я прибавил:

— Я знаю, с кем мне по пути.

Так я не разочаровал «того»: я самостоятельно распорядился собой...

Недовольство отца обратилось против экзаменационной комиссии, он заподозрил ее в пристрастии, раз Фек тоже не выдержал. Отец грозился написать жалобу в министерство просвещения.

— В таком обществе,— сказал он,— не стыдно и провалиться. Бывают вещи похуже! — Он посмеялся над нашим провалом: — Вас, оказывается, водой не разольешь!— И спросил: — Ну, не хочешь ли поехать с нами в Гармиш-Партенкирхен?

— Но ведь к нему товарищ приезжает,— ответила за меня мама.

Отец, в отличном расположении духа, положил мне руку на плечо.

— В таком случае приезжайте потом вместе. От всей души приглашаем вас... Тебя, вместе с твоим другом Феком и твоим гостем. Всех троих!

На следующий день родители уехали в Гармиш-Партен-

кирхен. Мама, уже выйдя за дверь, все еще наказывала Христине хорошо кормить меня, а в моей комнате лежала на столе солидная сумма карманных денег с записочкой: «Не приходи домой очень поздно!»

Для меня словно осуществилась мечта Зака о возрожденной жизни. Кофе со свежими булочками, вместе с утренним выпуском «Мюнхенских новостей», подавался мне на подносе в постель. Христина отчитывалась передо мной в расходах, потом я сколько хотел плескался в ванне, а обедал и ужинал с Христиной на кухне.

— Христина, спой мне ту песенку.

И снова Христина пела: «Должна я, должна я уехать в городок...»

Я брал руку Христины и раскачивал ее в такт, как в ту пору, когда мы уносились в незнакомые края, в Букстегуде.

Мне казалось, что в таком пустынном доме непременно должен обитать бог, хотя я давно не верил в бога.

Во время прогулок, которые я беспрепятственно совершал по всем комнатам, я расспрашивал каждую вещь, откуда она, и вещи, с тех пор как родители покинули дом, пробудились, казалось, к своей собственной жизни. Я мог, не боясь, что сейчас откроется дверь, задержаться в любой комнате, предаваясь своим думам.

— Избавился! Избавился! Раз и навсегда! — маршировал я под бой барабанов и пение труб, шествуя через триумфальную арку после победы над Феком.

Я садился на любимый бабушкин стул и рассматривал картины на стене, портрет дедушки и летящего ангела с лилией, похожего на Дузель. Это была, конечно, Дузель: прыгнув с моста, она вознеслась над землей. Я чувствовал тепло бабушкиной доброты. И в гостиную мне никто не запрещал входить, хотя мама ее заперла и я обнаружил ключ лишь после долгих поисков. Я садился перед маминым портретом и слушал, а портрет рассказывал мне о незаметной робкой жизни, тщетно заявлявшей свое «против». И я сказал портрету:

— Когда-нибудь я все расскажу маме, все, все.

Не опасаясь, что отец застигнет меня, я достал с книжной полки первый том малого словаря Брокгауза «А—К»: мне было строго запрещено читать этот словарь, ибо, как объяснила мама, в нем есть вещи, которые детям знать не следует. Запрет,

по непонятной мне причине, остался в силе до сих пор, хотя, на мой взгляд, я уже вышел из детского возраста. Я решил изучить словарь от корки до корки, чтобы потом в присутствии мамы допекать отца трудными вопросами, но застрял на статье «Абигайль». «Абигайль — жена Набаля родом из Кармела в Иудее; впоследствии жена Давида. Ум ее вошел в поговорку»; «Абильдгаард» (выговаривается «Абильдгорд»),— этого уж я одолеть не мог, мое рвение иссякло.

Неутомимо искал я в словаре «Социализм», «Государство будущего», «Бебель». Я таскал по ночам толстые тома в кровать и до утра, за холодным какао и булочками с маслом и мозговой колбасой, изучал их.

И альбом для марок я мог спокойно рассматривать. Увы, значительная часть марок была вырезана и обменена на солдатиков, все гельголандские марки исчезли, и краса альбома — черная баварская марка-уникум, легкомысленно на что-то вымененная, тоже уплыла. О, что это был за страшный день, когда отец обнаружил «скандал с марками». Как я ни призывал землетрясение, оно не произошло и не помешало отцу открыть альбом, чтобы с гордостью показать мне «сокровище своей юности». Я уже давно тайно разбазаривал это «сокровище юности», хотя мне стоило большого труда снимать со шкафа тяжелый альбом. Отец перелистывал злополучное сокровище страницу за страницей, а я сидел как пригвожденный под градом сыпавшихся на меня пощечин.

Рядом с альбомом стояли шахматы, почти все фигуры были обезглавлены. И вот я сижу в отцовском кресле за письменным столом и массивной пробковой ручкой отца царапаю и царапаю что-то на листе бумаги, пока перо не ломается.

— Роли переменились, милостивые государи! Нас не проведешь! — крикнул я громко. Я положил ноги на содрогнувшийся письменный стол, потом водрузил на него свой драгоценнейший зад и сплюнул на ковер.

— Я тебе еще покажу,— пригрозил я всей комнате, восседая на отцовском столе: — Вот я тебе покажу! Хо-хо-хо! — смеялся я грозным смехом Ксавера.

И вдруг я затих. Осторожно соскользнул со стола. Принес «Семейную хронику», держа ее в обеих руках, и положил на письменный стол, на самую середину. Я открыл ее на первой, вырванной странице и начал стоя читать из хроники, как из Книги книг: «В начале было...»

— В начале была,— и я повысил голос,— в начале была воля к Новой, Стойкой жизни. С тех пор поколение за поколением честно трудилось над тем,— продолжал я, перелистывая хронику,— чтобы волю к Стойкой жизни предать забвению, изменить ей и на ее месте утвердить Рабскую жизнь. И до сих пор поколениям это удавалось.

Мопс был прав: молиться можно и стоя.

* * *

— Простите, вы не...— робко приблизился я к молодому человеку, с которым мы остались одни на перроне.

— Сколько лет, сколько зим,— сказал Мопс.

— Да, немало воды утекло,— откликнулся я.

— Ха-ха-ха! — смеялся Мопс, шагая рядом со мной, а я откликался, как коллега отца, которого мы когда-то встретили в день Нового года: — Хе-хе!

— У вас действительно великолепный вокзал, этого нельзя не признать!

— Да, да, в Мюнхене немало достопримечательностей, Мюнхен стоит посмотреть,— только и мог я ответить. Потом спросил: — Ну, а как Охотничий домик?

— Спасибо за внимание,— сказал Мопс, и только когда он упомянул имя директора Ферча, которого случайно встретил на учительском съезде в Нюрнберге, я почувствовал, что он по-настоящему приехал. Я приветствовал Мопса: — Здорово!— и понес его чемодан.

Небольшого расстояния от вокзала до Гессштрассе, которое мы проехали в извозчичьей пролетке, оказалось достаточно, чтобы снова заморозить нас. Я показывал ему: Вилла Ленбах, Пропилеи, Базилика,— и монотонно, голосом гида, произносил затверженные фразы.

Мопс выкладывал из чемодана свои вещи и вдруг спросил, не поднимая головы:

— Ты веришь в бога? Я верю больше, чем когда-либо.

— А я стал завсегдатаем кафе «Стефани»,— похвастал я в ответ.

— Ну что ж, ведь ты давно уже сочинял стихи,— пренебрежительно заметил Мопс и с видом превосходства стал рассказывать о попойках членов корпорации «Франкония», к числу которых он принадлежал.

— Я учусь в Эрлангене, изучаю лесоводство. Это довольно сложная наука...

— Мой отец состоял в корпорации...— не утерпел я, но тут же спохватился: — А я... О нет, такие вещи, как лесоводство, не по мне, я изберу область поинтереснее.

В моей маленькой комнате нас разделяло огромное расстояние. «Давай бросим это»,— хотелось мне сказать. Но я сказал «прошу» и пошел вперед, как отец или мать, когда они принимали гостей, позвонил Христине и разыграл гостеприимного хозяина.

Что-то должно произойти. Опустевший дом ждал...

— А гости не опоздают? — весь день тревожилась Христина и сразу же после обеда поторопилась накрыть стол для приглашенных на вечер гостей.

Гартингер пришел точно в назначенное время.

Я провел Францля по всем комнатам и в столовой предложил ему вращающийся табурет, на котором обычно сидел отец.

— Что нового? Как живешь?

— Я провалился...

— Жаль... А еще что?

— Ничего... Ничего особенного...

При торжественном появлении Гартингера все, что было со мной с тех пор, как мы расстались, сразу же словно обратилось в бегство, а ведь этот только что бежавший мир я пригласил сегодня на вечер вместе с Гартингером.

— Я как-то видел тебя в «Кафе маньяков», тебя и Левенштейна...

— Да, мы иногда бывали там...

Но он не стал учинять мне допроса.

— А у меня все времени не было, не то и я почаще захаживал бы туда.

Я как будто заглянул в кафе «Стефани» спустя много лет. Только Магда и Зак оставили по себе добрую память, мы поздоровались, мы по-прежнему были друзьями.

— Я пришел к определенному выводу,— сказал Левенштейн, подойдя ко мне.

— И я тоже пришел к определенному выводу,— ответил я, и мы поняли друг друга.

— Эта история с редактором больше, чем озорство,— продолжал Левенштейн.— Я никогда не поверил бы, что способен на такую низость. Это было то же самое, что в свое время с Вальдфогелем. Гнусная трусость! Такими вещами мы не завою-

ем уважения порядочных людей. Напротив, совсем напротив... Вообще кафе «Стефани»... Пора покончить со всем этим...

— Да,— сказал я твердо,— да!

Гартингер словно не слышал нас. Тем временем пришли Зак, доктор Гох, Крейбих и Магда. Я притащил Мопса, который упирался, так как это, мол, общество не для него. Когда я уговаривал Мопса, я вдруг почувствовал, что вновь воскресли времена Охотничьего домика. Рука об руку вошли мы в столовую.

Магда сидела на письменном столе, Зак стоял перед портретом на мольберте, Крейбих подвергал уничтожающей критике портрет дедушки, называл его «ремесленным подражанием Лейблю». Доктор Гох расположился на софе и горячо спорил с Левенштейном. Христина подавала ужин, бормоча какое-то библейское изречение, я опустил шторы: «чтобы родители не...»

«Этот Гартингер, этот, как его там»,— смеялся я над собой; а между тем, «этот Гартингер» сидел на отцовском месте, и я, расшалившись, вертел его во все стороны на вращающемся табурете, устраивал ему «карусель»; так некогда я играл тайком, когда оставался один. Весело поворачивал я его во все стороны перед испуганной мебелью...

Доктор Гох утверждал, что нового человека можно осуществить в себе независимо от внешних событий, надо только освободиться от комплексов, дать волю своим инстинктам, изжить все неосознанное, загнанное внутрь. Он отвергал деление человеческого общества на классы, о котором говорил Левенштейн, дескать, самое это деление имеет в своей основе тяжелый комплекс; точно так же и все освободительные идеи объясняются комплексом неполноценности, и надо, чтобы врачеватели человечества прежде всего занялись самоанализом; стоит им только исцелиться, и у них пропадет всякая охота переделывать мир.

— Классы! Классы! — сердито тявкал доктор Гох.— Не забудьте, сударь, что дух не знает классов, но вы ведь отрицаете духовное начало, что ж, ладно, ладно отрицайте...

Голос Левенштейна с усилием прорывался сквозь хаотические обрывки разговоров. Левенштейн доказывал, что нападки Гоха направлены не против социализма, а против карикатуры на социализм, которую он создал себе, чтобы легче было с ним расправиться. Никогда идеологи социализма не говорили, что духовного начала не существует и что миром движут одни только материальные интересы. Духовное начало, конечно, играет огромную роль, и подлинному социалисту никогда не придет в голову отрицать влияние идей, но...

Но Крейбих загремел:

— Ваш рабочий класс... стадо баранов...

— Подумайте, что вы говорите...— попытался возразить ему Левенштейн, но Крейбих в ужасе замахал руками.

— Что вы! Что вы! Этого одолжения я вам не сделаю; я и не подумаю думать. Не желаю, и все тут. Я никому не позволю заставлять меня думать. Это безобразие кончается самоубийством.

Мопс пытался доказать, что вообще никакой материи нет и что все берет свое начало в духе... Бог...

Тут Зак разгорячился:

— И пяти пфеннигов не дам я за вашего бога...

Доктор Гох, повернувшись к Левенштейну, пронзительно вопил, стараясь перекричать всех:

— Знаем мы! Знаем! Можете сколько угодно напускать словесного тумана! От меня вы своих комплексов не скроете, сударь! Ваш брат только потому и бунтует, что до поры до времени ему мешают осуществить свою мечту: стать, в свою очередь, самодовольным, откормленным мещанином. Вы, сударь, и вам подобные только заражаете мир новыми смертельными комплексами... Расскажите мне какой-нибудь из ваших снов, и я заставлю вас содрогнуться перед самим собой...

— Пустомели! Болтуны!— визжала Магда, сидя на письменном столе и болтая ногами.

Зак, единственный из всех, проголодался и жадно набросился на еду.

Гартингер, Левенштейн и я уселись в сторонке. Мы трое.

— Я думал о непостижимом,— сказал Левенштейн, обращаясь ко мне.— У кого не хватает мужества мыслить, тот ищет спасения в непостижимом и гибнет в этой трясине. Все темное, колеблющееся, неустойчивое тянется за нами из глубины нашей истории. Сознательно отказаться от мышления, обречь себя на слепоту,— добром это не кончится. Только тот, кто презирает человека, способен поклоняться непостижимому, возводить в идеал бессознательность животного... Человеческое начало как раз и проявляется в упорядоченности и простоте, в стремлении внести ясность в неясное. В постижении загадочного.

Ведь было время, когда мы все это уже знали. Туман, водопад... И — забыли.

Левенштейн говорил как будто для одного Гартингера. Гартингер молчал. Сегодня вечером это было естественно. Но присутствие Гартингера было необходимо. Оно сообщало стойкость.

— И я думал о многом,— сказал я, но лишь в этот вечер, оттого что Гартингер был тут, я по-настоящему задумался.

— Все, что мещанин утверждает, я отрицаю, и наоборот. Но теперь такая позиция кажется мне глубоко неправильной, она лишь приводит нас к новой зависимости, к зависимости с обратным знаком. Когда двое говорят одно и то же, это еще далеко не одно и то же. «Да» и «нет» могут вытекать из различных предпосылок и предусматривать различные цели. Многое из того, что утверждает или отрицает мещанин, утверждаем или отрицаем и мы, но мы исходим совсем из других соображений. Надо искать истину и провозглашать правду независимо от того, кто и как об этом думает.

В эту минуту мне казалось, что, если бы я снова встретил Рихарда Демеля, я бы внимательно слушал его, не развлекаясь игрой собственного остроумия. Он сказал мне тогда много хорошего, а что до его предостережений, то пусть нас рассудит будущее...

— Ну, друзья, пора и честь знать! Набили брюхо как следует? А теперь пошли! — Зак встал.

Доктор Гох между тем вышел на балкон.

Мопс брезгливо отошел от Крейбиха, который кричал ему вдогонку:

— В чувстве любви нет ничего духовного, клянусь вам. Ровно ничего! Честное слово! Я был дважды женат. Первый раз на солидном текущем счете, второй — на толстых ляжках.

— Довольно языком трепать! Пошли! Пошли! — сердито торопил Зак.

— Какие вы все страшные! — Спасаясь от Крейбиха, Мопс жался к Гартингеру.— Что вы думаете о боге?

— Человечество настолько шагнуло вперед...— начал было Левенштейн, но его прервал хохот Крейбиха:

— Человечество шагнуло вперед!.. Человечество шагнуло вперед!..

А Зак подхватил, заикаясь:

— Ни на пять пфеннигов не шагнуло! Ни на пять пфеннигов! Пошли! Пошли! Пошли!

Крейбих выступил на середину комнаты.

— Слушайте меня! Я говорю вам: мы — пороховая бочка. Что мы намерены взрывать? Не важно. Мы ненавидим всякий смысл! А пожарик запалим на диво — огонь запляшет в жилах!

Зак приставал к Магде.

— Я хочу короновать тебя!

Магда вырвалась от него.

— Не стыдно тебе? Сумасшедший! Зюзя!

— Знаешь,— отвел я Гартингера в сторону,— есть приятная новость: я избавился от того. От Фека.

— Отпетая скотина! — крикнул Левенштейн и сплюнул Крейбиху под ноги.

— Как ты думаешь, будет война?— обратился я к Гартингеру, но тут все наше внимание привлекло то, что происходило на балконе.

Доктор Гох, уже знакомой мне невероятно замедленной поступью, то выпрямляясь, то приседая, размеренно двигался по балкону, ритмически балансируя в воздухе руками. Он монотонно декламировал, неестественно растягивая, скандируя каждый слог:

Всю ночь я жду друзей, весь день с утра.
Ко мне, о новые друзья! Пора! Пора!

Все, кто был в комнате, подхватили хором:

Пора! Пора!

И наступило молчание.

— Кто со мной?— встрепенулась Магда, вспугнув тишину.— Без десяти двенадцать. Мне сегодня еще выступать в «Осе».

— Пошли всей ватагой,— скомандовал Крейбих.

* * *

В «Осе» было шумно и людно. С трудом мы нашли себе места в разных концах зала. Потом один столик освободился, и Гартингер, Левенштейн, Мопс и я уселись за него. Доктор Гох и Крейбих встретили знакомых и расположились отдельно. Зак рыскал глазами по залу, присаживался то к одному столику, то к другому. Проходя мимо нас, он наклонился ко мне и шепнул:

— Ни на грош не верю я в прочный мир... Ни на грош...

Последним номером программы выступала Магда.

Магда пела песенку о «Верзиле Франце», когда хозяйку позвали к телефону.

С Францем в танце ты пройдешь,
Всю тебя бросает в дрожь,
С головы до пят, бывает,
Вся я изнываю...

Телефонная трубка повисла на длинном шнуре, что-то потрескивало и шумело в ней, точно важная весть нетерпеливо рвалась к чьему-то уху. Хозяйка, вытирая руки о передник, подошла к телефонному аппарату и, раньше чем взять трубку,

посмотрела на часы над вешалкой: половина третьего... Сердито взяла трубку. Едва она приложила трубку к уху, как на лице ее появилось выражение досады и нетерпения. «Что вам нужно от меня в такой поздний час?» — казалось, было написано на нем. Она закрыла глаза, чтобы лучше слышать, и склонила голову набок, словно для того, чтобы начальственный голос по ту сторону провода глубже проник ей в ухо. Вдруг она выпрямилась. Вислощекая глыба с двойным подбородком как будто получила приказ.

С головы до пят, бывает,
Вся я изнываю...—

хором подпевала публика...

— Господа! — Хозяйка остановилась посреди зала.— Господа! — Она проглотила слюну и, сделав несколько шагов, оперлась о спинку стула.— Мне только что сообщили...

— Внимание! — загремел кто-то.— Слово имеет достопочтенная хозяйка, собственной персоной!

С Францем в танце ты пройдешь,
Всю тебя бросает в дрожь.

Аккомпаниатор яростно захлопнул крышку пианино, Магда продолжала стоять на эстраде, вытянув губы, подняв руки, оцепенев.

— Это просто черт знает что! — ругался аккомпаниатор.

— Господа,— хозяйка всхлипнула,— эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга...

— Ага, Францик...

— Фердюнчик... Францик...

— Внимание! К нам жалуют высокие гости! — крикнул кто-то под всеобщий хохот.

— Однако, господа, я вас не понимаю, выслушайте же меня, дайте договорить!

— Тише! Тише!

За столиками стучали ложечками о стаканы.

— ...пали от руки убийцы...

— Браво! — прорычал чей-то голос из угла.

— Вот так номер! — раздался еще чей-то благодушный голос, но несколько других голосов раздраженно крикнули:

— Прекратить безобразие! Кто крикнул «браво»? — И за одним из столиков громко затянули: «Германия, Германия превыше всего...»

— Эй вы, банда, встать! — скомандовали сидевшие за этим столиком, но тут появился полицейский.

— Господа, по случаю убийства австрийского престолонаследника и его супруги предписано немедленно закрыть все увеселительные заведения.

Хозяйка всхлипывала, прикрываясь носовым платком.

Крейбих встал из-за стола, за которым пели «Германия, Германия», и подошел к полицейскому.

— Арестуйте негодяя, крикнувшего «браво».

Публика ринулась к выходу, только Магда все еще стояла на эстраде. Наклонив голову и подавшись вперед, она словно напряженно вслушивалась в неведомое, пока занавес, медленно и беззвучно сдвигаясь, не скрыл ее.

— Пойдем, пойдем, — потянул меня Гартингер за руку.

Крейбих и на улице не отставал от полицейского, а тот все повторял:

— Кого вы подозреваете? Не могу же я ни с того ни с сего арестовать человека.

Мимо нас, прижимаясь к стенам домов, прошмыгнули, словно спасаясь от погони, доктор Гох и Зак. На угловом доме уже висел экстренный выпуск «Мюнхенских новостей». Названо было имя убийцы: Принсип.

— Да здравствует Принсип! — крикнул я.

Несколько человек, стоявших поблизости, в ужасе разбежались.

Мопс отпрянул.

— И ты еще смеешь называть себя немцем! Стыдись!

Интернат святого Иоанна... Охотничий домик... Как часто Мопс, бывало, говорил мне: «Стыдись!»

И я улыбнулся ему.

Но Гартингер вцепился мне в руку:

— Однако хватит этих сумасшедших выходок! Пошли!

XLVIII

С жадностью слушал я Гартингера, рассказывавшего об антивоенных выступлениях рабочих во всех странах.

— На этот раз военная гроза прошла мимо,— уверенно сказал Гартингер, и я снял с полки путеводитель Бедекера: мы собирались наметить план интересной летней поездки. Теперь нам хотелось поехать на озеро Гарда. Гартингер водил пальцем по маршруту: Инсбрук, потом вдоль Форарльбергской железной дороги до Линдека, оттуда в Эцталь, Боцен, Меран, Риволи, или: Инсбрук—Бреннер—Триент. Палец Гартингера остановился

на озере Гарда, а я прочитал вслух из Бедекера: «Вода в озере большей частью темно-голубого цвета».

— Слышали? — крикнул нам с улицы в окно Мопс.— Перед казармой на Тюркенштрассе толпятся солдаты в походной форме защитного цвета.

— Защитного? — так и подскочил Гартингер.

— Защитного! Ну, наконец-то! — вырвалось у меня.

— Я хочу записаться добровольцем! — снова крикнул Мопс, дожидавшийся нас внизу.

«Вода в нем большей частью темно-голубого цвета»... На столе все еще лежал раскрытый Бедекер...

У широких ворот казармы группами стояли солдаты лейбгвардейского пехотного полка в новенькой походной форме.

— Что случилось? — спросил, подойдя к одному из них, Гартингер.

— Ничего не случилось! Война случилась! — Солдат благодушно рассмеялся и продолжал разговор с товарищем.

На казарменном дворе послышались слова команды, часовые взяли на караул, и отряд, возглавляемый лейтенантом, вышел на Тюркенштрассе. За марширующим отрядом сомкнулась безмолвная толпа любопытных, время от времени в это удаляющееся безмолвие падала энергичная барабанная дробь.

— Сейчас, верно, объявят, что мы вступили в состояние войны,— сказал за моей спиной запыхавшийся толстяк.

Кругом делились новостями: в Обервизенфельде пойманы два сербских шпиона, переодетых монахинями. Эти разбойники, эти негодяи намеревались отравить колодцы... Над Нюрнбергом уже видели вражеский самолет... Да, да, это правда, в Восточную Пруссию ворвались казаки, они рубят женщин, стариков, детей — всех без разбору...

Порывисто обернувшись к нам, Мопс сказал:

— Наконец-то пришло великое слияние. Наконец-то все мы — единый народ... Я иду добровольцем...

Раздалась барабанная дробь, и лейтенант объявил, что Германия вступила в войну. Многие в толпе нерешительно сняли шляпы. И еще долго после того, как отряд покинул площадь, люди, точно пригвожденные, не двигались с места.

Под перезвон курантов разводящий вел по Бринерштрассе смену караула. Громовое «ура» прокатилось по площади. Оркестр играл «Стражу на Рейне». Мопс запрокинул голову и пел, пел... Я дотронулся до него:

— Пойдем!

Он отвернулся:

— Мне с вами говорить не о чем... Для вас нет ничего святого...— Песня отдаляла от нас Мопса, что-то непроницаемое окутывало его, до него не доходил ни один из наших доводов.

— Послушай, ведь все это не так, да слушай же...— пытался я переубедить Мопса, но он оттолкнул мою руку:

— Брось! Смысла нет начинать теперь разговоры... Все равно мы не поймем друг друга...

На некоторых домах уже развевались флаги. Люди собирались группами, то тут, то там раздавалось «да здравствует!..», «ура!». Офицерам, ехавшим в автомобилях, прохожие махали руками, шляпами. На трамвайной остановке к одному офицеру подошла, ковыляя, старушонка и поцеловала ему руку.

У многих, попадавшихся нам навстречу, походка была какая-то окрыленная. «Что нового?» — спрашивали незнакомые люди и говорили друг другу «ты». Война как будто всех сроднила.

— Война! Наконец-то! — радостно кричал парикмахерский подмастерье толстой женщине, укреплявшей на балконе второго этажа черно-бело-красный флаг. Трамваи шли, разукрашенные флажками.

— Воодушевление все-таки хорошая штука, — нерешительно сказал я Гартингеру.

— Конечно, хорошая, но при всем желании я не могу найти ничего хорошего в том, что французский и немецкий рабочий должны убивать друг друга и умирать геройской смертью за интересы своих хозяев. Ничего хорошего тут нет.

Это было сказано с такой ненавистью, что я позавидовал Гартингеру.

— Ну, что, господа антимилитаристы? — весело приветствовал нас старик Гартингер. На столе лежало разостланное и размеченное мелом сукно защитного цвета, готовое к раскройке. Два новеньких мундира висели на распялках. Мать Гартингера сидела за швейной машиной.— Ох, и работы привалило, доложу я вам... Сегодня же надо будет подыскать второго подмастерья. А что, не примерить ли нам этот новенький мундирчик?..

Мы молчали, но старика это не смутило.

— Да, да, уж раз мы воюем, то разговор другой. Авось наши еще не окончательно потеряли совесть, утихомирятся и пойдут воевать!.. Ведь вот не сумели предотвратить войну! Я и сам не прочь, взяли бы меня только на фронт! Вылез бы я из этого старого болота, повидал бы свет божий. Со времени моих странствий, вот уже двадцать лет, я все сижу на этом столе, да и старуха была бы довольна. Верно, старая, а?

— Конечно, убрались бы вы оба, я бы хоть немножко спину разогнула...

— Ладно, подождем, что скажут наши вожди, хотя, думаю, против войны у них руки коротки. Иначе с ними расправятся, как с Жоресом. Пиф-паф! — Он поднял руку и сделал вид, что спускает курок.— Я это всегда говорил...

Он засвистал «Стражу на Рейне» и зачикал ножницами.

В прихожей было темно. Гартингер, казалось, заблудился в собственной квартире. Я взял его за руку:

— Осторожней, не ушибись! — Я сразу нашел в темноте дверь и вывел Францля на лестницу. Едва очутившись на улице, он распрощался со мной и ушел.

Невольно зашагал я в ногу с незнакомцем, шедшим впереди, тот, в свою очередь, приноравливался к прохожему, который двигался перед ним, вся улица шагала в ногу. Знакомые, здороваясь, уже не снимали шляп, а козыряли. Многие уступали офицерам дорогу и чуть ли не вытягивались во фронт.

Вдруг, с криками и гиканьем, пронеслась толпа, преследуя шпиона. Кто-то уверял, что сам видел автомобиль, доверху груженный золотом.

«Наконец-то! Наконец!» — маршировал старый Любитель игры в войну. «Наконец-то! Наконец!» — следовали за ним Палач и Трус, Чемпион по плаванью и Скучающий болван. «Наконец-то! Наконец!» — торжествовал Беснующийся хам, а на украшенном флагами балконе стоял Фек, перегибался через перила, приветственно махал рукой и хлопал в ладоши: «Наконец-то!»

«Наконец-то, наконец все переменится»,— сулила война.

«Наконец-то, наконец!» — возгласил старый социал-демократ, и «Наконец-то, наконец!» — сказал я, гуляя по берегу озера Гарда; «вода в нем большей частью темно-голубого цвета».

Я попробовал переменить шаг. Идти медленнее, как доктор Гох, словно теперь каждый мой шаг был очень важен.

Но стремительный поток увлекал меня за собой.

Почему вы так торопитесь? Куда спешите?

Как заставить миллионы людей на земле, неведомо куда торопящихся, остановиться и взглянуть на плывущие в высоком бесконечном небе облака: «Ради чего? Куда?»

В кафе «Стефани» анархист рявкающим начальственным голосом читал манифест, в котором он, анархист, тоже клялся защищать свою родину, Германию. Зак брезгливо отмахнулся и сплюнул.

Впорхнула Магда.

— Кто напишет для меня пару симпатичных патриотических куплетиков? — завертелась она по залу.

— На сегодняшнем сеансе я вызову дух Бисмарка. Феноменально, а? — прошла она, приплясывая, мимо меня.

— Магда, Магда! — позвал ее Зак, но она уже выпорхнула в дверь и только на пороге обернулась:

— Война положит конец этой повальной лжи... Наконец-то! Урра!

Доктор Гох, скользя вокруг бильярда, доказывал необходимость вторжения в Бельгию, при этом он залихватски размахивал кием и вдруг вскинул его на плечо, как винтовку.

— Война — это могучий акт психического освобождения человечества, целительное избавление от массовых комплексов.

— Смир-р-но! На кра-ул! — насмешливо скомандовал Крейбих, и доктор Гох, ко всеобщему удовольствию, не отдавая себе отчета, что с ним происходит, испуганно выполнил команду. Винтовку ему заменил кий.

— К ноге! Вольно! На кра-ул! Сомкнуть строй! Шагом марш! — командовал Крейбих, а доктор Гох дефилировал перед ним.

Хозяин кафе, облаченный в длинный сюртук, подошел к Гоху.

— Господин доктор, поздравляю.

Кельнер склонился перед ним в поклоне:

— Чисто сделано, господин доктор.

Фрейлейн, стоявшая за буфетной стойкой, кивала доктору Гоху:

— Браво! Чудесно!

Крейбих переходил от стола к столу:

— Ну, разве Германия не победит, если даже такое дрянцо...

И только Зак все отплевывался:

— Тьфу! Тьфу! Тьфу!

Поэт в красном шарфе подсел к Заку:

— Я, знаете ли, решил пойти добровольцем, ведь это тоже род самоубийства.

— Убирайтесь к черту! — заорал на него Зак, и вдруг перед Заком, поигрывая бицепсами и наступая на него, вырос художник Крейбих.

— Эй, господин хороший, что вы здесь плюетесь без конца, на кого, на что вы плюете? — крикнул он. — Мы, богема, не уда-

рим лицом в грязь на поле чести, а может быть, вы другого мнения? Так скажите прямо!

Щеки Крейбиха побагровели и вздулись, лицо его походило на злокачественную опухоль.

— А вы, молодой человек,— он смерил меня свирепым взглядом,— вы, как я имел случай убедиться, страдаете заторможенностью движений? Не беспокойтесь, вас-то уж вылечат...

— Идемте, Зак! — Я силком вытащил его из кафе.

Крейбих загремел нам вслед:

— Изменники!

— А у нас гости! — встретила меня Христина, пугливо озираясь на дверь гостиной.— Кто бы подумал? Господин Гуго с Явы! Он привез с собой жену, вот такую...— Христина показала на пятно сажи у себя на фартуке,— и таких же двух малышей. Они в гостиной, ждут вас, я сначала не хотела их даже пускать...

— А вот и он, мой племянник!

Дверь гостиной открылась, и дядя Гуго обеими руками пожал мне руку.

— Мы, понимаешь, в самую войну попали,— благодушно посетовал он, входя со мной в гостиную, и представил мне пышную чернокожую даму: моя новая тетя, в розовом тюлевом платье, сидела рядом с портретом мамы и разглядывала меня в лорнет. Два негритенка торопливо сползли с кресел.

Дядя Гуго был настолько высок, что головой доставал до люстры; таких огромных людей я видел до сих пор только на осенней ярмарке, где показывали великанов. Клетчатый сюртук висел на нем обильными складками, и лицо его тоже состояло сплошь из морщин и складок; трубка, которая у меня доходила бы до груди, у него небрежно торчала в углу рта.

Белое напудренное лицо матери на мольберте, отсвечивавшее легкими розовыми тонами, с изумлением смотрело из золотой рамы на свою чернокожую соседку, дядя же между тем говорил:

— Меня-то война не коснется, я подданный нейтрального государства; я, видишь ли, принял голландское гражданство... Да вот захотелось повидать старушку Европу...

Люстра закачалась, когда дядя Гуго со всей своей чернокожей семьей, осмотрев нашу квартиру и узнав важнейшие семейные новости, стал прощаться.

— Очень рад, дорогой племянник, познакомиться с тобой. Мы остановились в «Баварском подворье» на Промenadенплац.

* * *

— Что мне делать? — сказал Левенштейн, зайдя ко мне.— Мать пригрозила, что не пустит меня на порог, если я не пойду добровольцем. А у самой на ночном столике лежит роман Берты Зутнер «Долой оружие!». Нечего сказать, сюрпризец... Колбасная горбушка...

Я обвел взглядом комнату, словно мне с минуты на минуту предстояло ее покинуть и надо было подумать, что взять с собой. На дне глубокого ларя лежал строительный набор, железная дорога с паровичком, крепость, пушки, оловянные солдатики, несколько комплектов «Германской молодежи» и призы за плаванье.

— Ваша милость! — позвала Христина.— Я совсем забыла, ваш товарищ уехал. Велел благодарить за гостеприимство.

— Наши депутаты голосовали за войну,— сказал подоспевший Гартингер,— и всех, кто против войны, они попросту объявляют сумасшедшими. Сообщения из-за границы подвергаются жестокой цензуре. Неизвестно, что там происходит. Война — совершившийся факт...

Только в это мгновенье война — так показалось мне — стала реальностью. Стрекоча, словно во сне, звонил — как давно это было! — телефон в кабачке «Оса». Словно во сне, маячило передо мной кафе «Стефани», где доктор Гох кием брал на караул, и, как во сне, я присутствовал на сеансе, где Магда вызывала дух Бисмарка. И разве не во сне это было: я выводил Гартингера из темноты прихожей, когда он заблудился в собственной квартире.

Разве все это не было сном, только сном...

Я уже не говорил больше: «Ну, наконец-то!»

— Ты прав,— сказал Гартингер Левенштейну,— я тоже считал, что война немыслима, раз все рабочие организации высказались против нее. А мой отец, представь себе, этот старый социал-демократ, рассказывает трогательные истории из времен своей военной службы, словно он по меньшей мере член ферейна ветеранов войны. Вчера вечером к нам заходил тот самый старик, сборщик партийных взносов. И хотя у отца полно заказов, они до поздней ночи играли в карты, только и слышно было, что «пиф-паф» да «хлоп-хлоп». А потом оба запели «Стражу на Рейне».

— Ну, Христина?

— Да, война, война... То-то я смотрю, у меня всё руки сохнут... И вам, молодые люди, верно, тоже скоро придется идти на войну. Господин майор Боннэ заходил прощаться, велел кланяться. Господин обер-пострат Нейберт уже вывесил флаг, а наш я никак не найду, целый день искала, он, верно, на чердаке. Да, да, я всегда говорила...

— С флагом можно повременить, Христина. Приедут отец и мать, тогда вывесите.

— Но ведь повсюду флаги...

Мы стояли на балконе. Втроем.

«Друзей должно быть трое,— думал я,— по крайней мере, один-то уж сохранит мужество. Двое — это мало, так легко заразить друг друга страхом, а из трех — один, словно на вахте, сохраняет присутствие духа и бодрствует...»

— Прощай, поэзия,— сказал Левенштейн,— inter arma silent musae [1]. Теперь у нас дела поважнее...

— Почему прощай? — возразил Гартингер.— Именно теперь, на мой взгляд, стихи-то и нужны. Ведь стихи затем и существуют, чтобы напоминать нам о человечности... Они помогут хоть что-нибудь спасти в ту страшную катастрофу, какой является для человечества война. Я как раз в последнее время чувствую потребность читать стихи.

И Левенштейн, за минуту до того собиравшийся распроститься с поэзией, заговорил о стихах. Он говорил о драгоценном даре, каким становится для человечества каждое хорошее стихотворение, о том, что хорошее стихотворение может сделать человека счастливым и стойким, что оно неожиданно и по-новому освещает самые будничные и привычные вещи и, повествуя о глубочайшей человеческой муке, вливает в нас жизненные силы, повышает ценность жизни, больше того, оно знаменует собой преображение, возрождение мира, наступление новой жизни... Намекая, очевидно, на меня, Левенштейн закончил тем, что муза, как сказал один великий человек, всегда охотно приходит к поэту, но вести его по жизни не способна... А потому...

Я понял его «потому».

Я протянул руку Левенштейну, Гартингер положил руку мне на плечо, мы вопрошающе глядели вдаль.

Кто же из нас в эту минуту был отважным?

---

[1] Когда гремит оружие, музы безмолвствуют *(лат.)*.

Отважным был Левенштейн. Он стал тихо насвистывать: «Вставай, проклятьем заклейменный».

Гартингер и я подхватили, и долго мы втроем насвистывали эту песню, ибо она делала нас сильными.

Гартингер вслушивался в ночь.

— Кто знает,— сказал он,— что нас ждет?

И тут отважным оказался я... Я проговорил:

— Я видел корабль...

Название корабля я опять забыл.

XLIX

Кто это играет на гармони?

Проснувшись поутру, я услышал гармонь.

Во дворе, у конюшни, сидел на лавочке Ксавер. Он был в штатском. Возле него стояли сундучок и картонка. На шляпе, воткнутый за ленту, торчал букетик цветов.

Тогда я вынул скрипку из футляра — ту самую, ни в чем не повинную,— все струны были целы, ее только оставалось настроить. Я сделал это и заиграл вслед ушедшему учителю Штехеле и навстречу гармони Ксавера «Грезы» Шумана. Мне казалось, что я играю «Песнь песней» о Новой жизни, хотя это и не та мелодия, которую Левенштейн пропел мне в Английском парке у водопада.

И гармонь играла что-то свое, но разве не играли мы с Ксавером в лад? Разве не играли мы одно и то же?

Христина постучалась:

— Господин майор уезжает на войну.

Ксавер вывел из конюшни коня. Его гармонь лежала на лавочке.

Майор махнул рукой — вольно! — стоявшему перед ним навытяжку Ксаверу и, не оборачиваясь на «ура», которым провожал его обер-пострат Нейберт, поскакал за ворота.

Ксавер заметил меня.

— Эй,— крикнул он,— кто это там смотрит в окошко?! Что же вы не пожалуете на минуточку вниз?

Ксавер возился у себя в каморке.

— Будьте как дома, без церемоний! Со вчерашнего дня даже кайзер не признает никаких партий и все немцы равны.

Только надолго ли? Поживем — увидим... А вы-то, когда же вы в поход?

— Мне некуда торопиться. Когда призовут...

— Ах, так вот вы какой? Ну, тогда нам легче столковаться. Мне эта война тоже не по душе, я только женился, уж и ребеночка, верно, не долго ждать; мне, можно сказать, неплохо жилось, и вдруг они нагрянули со своей мобилизацией. Я ответил им по-свойски... Но, подумал я, война ведь ненадолго, а покажется она мне долгой, так знаете ли, я скажу ей, поцелуй-ка ты меня в...

«Фу, Ксавер, и не стыдно тебе, куда ты только показываешь пальцем?» — выбранил я его тогда и строго осмотрел палец, которым он показывал, — нет, слава богу, палец был совсем чистый...

Я сидел у ног Ксавера на скамеечке, как в былые времена, скамеечка уже стала низка для моих длинных ног. Ксавер взял в руки гармонь.

— Чего только вы не придумаете, молодой господин! Мне-то что, я готов, хотя теперь, раз даже кайзер не признает никаких партий, так, верно, и наверху не будут против, если наш брат маленько поиграет?

— Отец и мама... Они уехали,— произнес я тихо.

Ксавер прижал к себе гармонь, наклонил голову и, как бы лаская инструмент, стал нежно перебирать клавиши:

Должна я, должна я уехать в городок...

Уж очень болела душа от этой песенки, поэтому мы тихо, без слов, подпевали, а Христина вышла на балкон и стала глядеть на улицу; быть может она все еще не потеряла надежды— а вдруг ненароком покажется ее фельдфебель...

Через год, через год,
Как созреет виноград,
Созреет виноград...

Ксавер отвернулся, отвернулся и я: мы прятали друг от друга слезы.

— Хватит! — сказал Ксавер, но машинально все перебирал и перебирал лады.

— Ну вот, значит, пришла пора расставаться. Для всех приспел час разлуки. В городе все справляют проводы, куда ни повернись, только и слышно: «Счастливо оставаться! Прощай! Не забывай!» Завтра вечером и мне в поход, поеду догонять

майора, он опять взял меня к себе в денщики, здорово, а? Вот, значит, и мы устроили маленький прощальный концертик! Спаси тебя бог, можешь опять смело говорить мне «ты».

Во дворе кто-то громко звал:

— Эй! Куда ты там запропастился?

— До скорой встречи, Ксавер! — сказал я и вышел из каморки.

Если бы он, Ксавер, знал, где я видел его! Он был ведь на корабле, на Благословенном корабле!..

Фек и Фрейшлаг искали меня по всему двору.

— Чудак, где это ты пропадаешь? — раскричался Фек.— Наверху старуха сказала нам, что ты где-то здесь, во дворе. Ну и компания у тебя, нечего сказать... С конюхом водишься...

— Чем же плоха моя компания?! — вскинулся я на них.— Воевать они хороши для вас, эти конюхи? А может, вы собираетесь вести свою войну собственными силами, эй вы, спесивая сволочь!

— Вот так так! Это что еще за песня? Ведь у нас война, а не революция, ты как будто спутал эти два понятия,— вспылил Фек.

Но Фрейшлаг сказал примирительно:

— Мы пришли сообщить тебе, что в случае добровольной явки в армию можно досрочно сдать выпускные экзамены. Поедем с нами сейчас в Обервизенфельде.

— Так он тебе добровольно и пойдет в армию! Плохо же ты его знаешь! — глумился Фек.— Да он наложит в штаны задолго до первого выстрела. Трус! Импотент! — Фек изо всех сил тянулся вверх, чтобы казаться выше.

— Феконька, прохвостик,— я угрожающе поднял руку,— поостерегись, а то как бы чего не вышло! Слышишь! Эх ты... гунн!

— Как бы чего не вышло! Как бы чего не вышло! Он еще грозит нам! И над кайзером смеется! — обратился Фек к Фрейшлагу.

Тот сказал только: «Я ухожу!» — и двинулся к воротам.

— В таком случае я сам с ним рассчитаюсь...

Фек наступал, потрясая кулаком перед моим носом. Но подняться выше своего роста не мог. Мог только привстать на

цыпочки, закованный в броню своего величия — он уже неспособен был вырасти.

— Остроумный малый! Проповедник гнусности! Мерзкая дрянь! Козел похотливый! — ругался я. Но от этих ругательств меня разбирал смех, мешавший мне изловчиться и как следует ударить Фека. А я хотел ударить его за Дузель и за Фанни. Да так, чтобы выбить ему все зубы.

В окошке своей каморки показался Ксавер:

— Если ты немедленно не уберешься, жаба ты слюнявая, гад ты этакий, то я тебя сейчас пырну вилами!

— Слыхал ты когда-нибудь, жалкий карлик, о Гулливере? — сказал я, кивком указывая на Ксавера.

Фек засунул свой кулак в карман и отступил. У ворот он обернулся:

— Мы еще поквитаемся! Ах ты... ты... палач!

Точно рассчитанный удар угодил в пустоту.

Я дотронулся до лба.

— У тебя, верно, не все дома.— И я откашлялся, собираясь сплюнуть, выплюнуть Фека вон.

— Поквитаемся! Поквитаемся! — кричал, захлебываясь, Фек.

— Поквитаемся, будь уверен! — крикнули мы с Ксавером в один голос.

— Хо-хо-хо! — рассмеялся я, совсем как Ксавер.

Фек привстал на цыпочки и крикнул через ограду:

— А я и забыл тебе передать привет от фрейлейн Клерхен, я с ней вчера познакомился.

Я бросился за ним. Но догнать его уже не мог.

* * *

Левенштейн между тем побывал дома и вернулся с чемоданом.

— Со стариком еще можно было бы кое-как договориться, но мать, ну как тебе это нравится, родная мать... Заладила одно: «Либо ты добровольно явишься на призывной пункт, либо не показывайся мне на глаза! Мы, евреи, не допустим, чтобы о нас говорили, будто мы недостаточно хорошие немцы». Подумай только, и это мать, родная мать... Тебя еще тоже ждут всякие сюрпризы... Когда я уложил вещи, старик велел позвать меня: «Поезжай в Берлин учиться,— сказал он мне, — я буду ежемесячно высылать тебе деньги»,— и тут же дал мне на первый месяц.

— В результате твои дела обернулись совсем неплохо. Поздравляю...

Левенштейн говорил, глядя в окно:

— Чтобы мать, родная мать... Как это так... Колбасная горбушка, колбасная горбушка!.. А может быть, следовало бы в угоду матери?..

* * *

Уже на Одеонплаце все было запружено густыми, плотными толпами. На ступеньках Галереи полководцев сплошной стеной стояли люди. Тысячи людей молчаливо вперили взоры в ночь... Внизу, у арки Победы, пылали бесчисленные огни факелов.

Как только мы, с трудом проложив себе дорогу, подошли к оцепленной со всех сторон Дворцовой площади, на которой должен был состояться парад частей мюнхенского гарнизона, с Галереи полководцев грянул баварский военный марш.

Окна во втором этаже королевского дворца осветились. На балконе, с перил которого свешивался огромный баварский герб, широко распахнулись двустворчатые двери.

Подул теплый, легкий ветерок. На смоляных факелах заколебались языки пламени.

Все ближе и ближе подкатывал медный гул духового оркестра, сопровождаемый грохотом литавр и барабанов.

Передние ряды факельщиков, четкой поступью заглушая звуки фанфар и барабанную дробь, повернули влево. Военные части в серой походной форме и серых касках сворачивали на площадь.

Казалось, самую способность мыслить растаптывал этот звенящий шаг, а барабанная дробь вновь рождала то самое чувство, что влекло меня к чеканному строевому шагу и к полному слиянию с людьми. Пасть от пули, бросаясь в атаку, заслужить геройскую славу,— насколько это лучше жалкой смерти в одиночку. Барабаны звали к прекрасной, священной смерти на людях. Открывалась возможность самому приблизить неминуемое, вместо того чтобы тянуть лямку долголетнего существования в мещанской скуке, больше похожего на медленное, мучительное угасание, чем на жизнь.

Короткая команда. Неожиданно, на середине такта, музыка оборвалась. Воцарилась необычная тишина. Такая тишина, что было слышно легкое потрескивание факелов, и плач ребенка особенно громко разнесся по площади.

Все стояли, затаив дыхание. Со всеми вместе затаил дыхание и я. Я не решался в этой тишине повернуть голову. Мне казалось, что становится все тише, словно одна тишина наслаивалась на другую. Я никогда не думал, что на переполненной людьми площади может воцариться такая бездыханная тишина. Я невольно смотрел туда же, куда были устремлены взоры всех.

В просвет балконной двери вступила тень... Король подошел к перилам. Совсем тихо, точно откуда-то из-под земли, звучал военный оркестр, сопровождавший величественную бурю человеческих голосов, которые пели «Стражу на Рейне». Люди пели всем своим взбудораженным существом. Многие плакали. Женщины падали на колени. Вслед за другими и я снял шляпу. Непреодолимая сила двигала моей рукой. Я не знал, пою я или не пою. Затаил дыхание и все-таки услышал — пою. Почувствовал, как дрожь, охватившая Гартингера, передается мне. Францль так же, как я, переминался с ноги на ногу. Ему тоже стоило больших усилий устоять, не поддаться общему порыву.

Король заговорил. Неразборчивые обрывки слов рассеивались над площадью. Можно было снова надеть шляпу. Оцепенение, которое только что сковывало людей, прошло. Люди перешептывались.

Король кончил речь.

Снова взметнулась буря человеческих голосов:

«Германия, Германия превыше всего!»

Я не снял шляпы.

— Шляпу долой! — угрожающе зарычали на меня со всех сторон.

Гартингер наступил мне на ногу:

— Сейчас же сними шляпу! С ума сошел!

— Не желаю. И все тут.

— Вздор! — И Гартингер сдернул с меня шляпу.

* * *

Я завидовал Левенштейну, что он вот так, без дальних разговоров, может сесть в поезд и куда-то уехать, далеко — в Незнакомое, в Неизведанное, в Букстегуде!.. «Пустые мечты,— зло сказал я самому себе.— Так дешево ты у меня не отделаешься».

Уже когда поезд тронулся, Левенштейн протянул мне из окна книгу:

— Чуть не забыл. Бери скорее. Это Гёльдерлин.



«Прощание»

— Нам с тобой по дороге,— сказал Гартингер, когда мы, проводив Левенштейна, направились домой. И опять — Пропилеи, Вилла Ленбаха, Луизенбадский бассейн — все тот же старый школьный маршрут.

Нам по дороге, нам по дороге.

В Луизенской школе были расквартированы солдаты. Мы замедлили шаги. Гартингер взял меня под руку.

— Впредь, пожалуйста, изволь снимать шляпу. Такими фокусами ничего не добьешься.

— Теперь я уже совсем ничего не понимаю. Этим ничего не добьешься, говоришь ты. А чем добьешься?

— Придет время, узнаешь. А пока возьми себя в руки и не разыгрывай невменяемого... Очень уж ты торопишься. Дай срок!

— Тебе хорошо говорить. Тебе не над чем раздумывать. Для тебя наперед все ясно и просто.

— Не допускаю, чтобы ты это говорил серьезно. Так плохо ты разбираешься в людях? Ну, так знай же, и ты... и вы все...— быстро поправился Гартингер.— Мне тоже пришлось сперва научиться думать... А научившись, я много дум передумал. Кто не думает, в том не может быть настоящей стойкости. Отец рассказывал мне, как однажды, во времена закона против социалистов,— он тогда жадно набирался знаний и много, без разбора, читал,— он спросил старшего опытного товарища: «Послушай-ка, товарищ, скажи мне, как ты относишься к смерти?» Отец часто задумывался о смерти, и собственные выводы, к которым он приходил, не удовлетворяли его. «Как я отношусь к смерти? К смерти?» Опытный товарищ смеялся чуть не до колик, но, успокоившись, совершенно серьезно сказал: «На такой вопрос я и отвечать не стану. Как мы относимся к смерти? Да никак не относимся. Для нас и вопроса такого не существует». Разумеется, отец этим ответом не удовлетворился и продолжал размышлять над проблемой смерти, точно так же, как я о ней думаю часто, часто... Ведь мы страшно изголодались,— я, разумеется, говорю не о физическом голоде,— мы жадно глотаем всякую мало-мальски ценную крупицу знаний, мы изголодались так, словно голодали с сотворения мира... Случилось, что тот самый опытный товарищ попал в тюрьму. Его обвиняли в том, что он поддерживает связь между социалистами, оставшимися в Германии, и теми, кто эмигрировал за границу. Следователь спросил, известны ли ему имена людей, которые занимаются тем же, чем и он. Опытный товарищ промолчал. Его снова отвели в тюрьму. На следующем допросе следователь

пустил в ход угрозы. Сначала он пригрозил пожизненным заключением, потом расстрелом. Он с такими подробностями излагал законопроект об усилении репрессий, будто бы принятый в рейхстаге, что угроза показалась опытному товарищу вполне реальной, он дал себя околпачить и запугать и, после многочасового допроса, назвал имена всех известных ему социалистов. Позднее этот предатель в письме к жене писал: «Прости меня! Первый раз в жизни я был поставлен лицом к лицу со смертью. И оттого, что я никогда не думал о смерти, я не устоял». Как видишь, думать необходимо. Вот тебе пример из моего личного опыта: когда отец, этот старый противник войны, изменил своим убеждениям, я в первое время совсем растерялся. Да мало ли таких вопросов, когда не справляешься сам и нужна помощь товарищей.

Я сказал, помолчав:

— У меня нет товарищей. Только ты один.

— Да что ты во мне нашел особенного? Таких, как я, множество... У тебя будет множество товарищей.

— Где же оно, это множество? Почему они прячутся? Как их найти? Покажи мне их!

— Они сами придут к тебе.

— Когда? Когда?

— Когда они понадобятся тебе и когда наступит для этого время!

— А что же сейчас делать?

— Учись! Думай!

Ох, закрыть бы глаза!

«Я не хочу думать»,— чуть было не сказал я, но, вспомнив Крейбиха, проглотил эти слова и ответил:

— В одиночку я ни до чего не додумаюсь.

— А ты не ленись. За тебя никто думать не обязан.

— Домашняя обстановка душит меня.

Мы стояли у аптеки на Терезиенштрассе. Я часто бегал сюда за порошками от мигрени для матери.

А может быть, следовало бы в угоду матери... Для этого нужно быть титаном... Тебя еще тоже ждут сюрпризы... Гартингер протянул мне руку на прощанье, но все не уходил.

— Сразу ничто не бывает просто и ясно. Все берется с боя. А с домашней обстановкой ты уж как-нибудь сам справься.

У меня вырвалось:

— До чего же вы все трезвые люди!

Гартингер выпустил мою руку.

— Ты что хочешь этим сказать?

— Вот если бы все, кто «против», так же могли загореться прекрасным воодушевлением. Вот если бы явился гений, социалистический вождь, который кликнул бы клич! Ведь тысячи людей жаждут подвига, тысячи готовы принести сверхчеловеческие жертвы. А он, великий, объявил бы войну войне, и все мы пошли бы на эту войну, священную, справедливую... Голос его услышали бы все народы, по всей земле. Миллионы откликнулись бы на его призыв и последовали бы за ним. Мы увидели бы развернутые знамена, реющие над нами, услышали бы мерный шаг миллионов, от рокота которого сильный стал бы сильнее, слабый обрел бы уверенность, а враг затрепетал от страха. О, почему мы так скромны? Почему так безгласны? С нас многое спросится. Человек стремится к великому. Он стремится выйти за пределы своих возможностей. Стремится жить в будущем! Немец хочет видеть Германию свободной, сильной и прекрасной, такой, которая делала бы его свободным, сильным и прекрасным... Француз хочет видеть такой Францию, русский — Россию... С нас спросится все, что делает человека свободным, сильным и прекрасным! Только под этим знаменем мы победим! Ведь должен же родиться новый мир, новая любовь, новая дружба, новая правда, новая справедливость! Должен родиться новый человек! Герой, побеждающий голод и войну! Должно родиться новое учение о жизни, о смерти и о бессмертии! Помнишь, ты сказал однажды: «Товарищ, дерзай мечтать!»

— Но ведь существует и сегодняшний день,— помолчав, нерешительно возразил Гартингер.

— А разве то, о чем я говорю, не сегодняшний день?! Кто не дерзает подняться выше требований дня, тот, по-моему, не поспеет и за повседневными требованиями... Очень возможно, что мне еще много, много надо учиться и что мне меньше, чем кому бы то ни было, к лицу критиковать и давать советы. Но я знаю одно: то, чего я так страстно хочу, спросится с нас. Спросится! Сегодняшний день — это война, и нам необходимо загореться воодушевлением борьбы против войны! Укажем же людям светлый путь разума среди всего этого безумия. Самое великое, к чему стремится человек с тех пор, как он себя помнит, спросится с нас... *с нас*...

Гартингер крепко пожал мне руку.

— Ты сказал очень много важного, друг! До свидания! Мне хочется подумать над всем этим.

* * *

В кафе «Стефани» было пусто.

Реяли флаги, всюду по-прежнему реяли флаги. Время близилось к полудню. Я сел у окна.

Кельнер принес газеты и сказал:

— Сейчас пройдет полк Листа.

Во время спектакля в Мюнхенском камерном театре Ведекинд выступил с патриотической речью. В одной из газет было напечатано воззвание анархистов, снабженное благожелательным примечанием редакции, оно было озаглавлено: «На зов кайзера откликнулись все, все».

«Что же такое эта война?» — спрашивал я себя с новой тревогой и, стараясь рассеять собственную неуверенность, ответил себе словами Гартингера: «Борьба идет за рудный бассейн Лонгви, народы вынуждены проливать кровь за новые рынки сбыта и сверхприбыли капиталистов».

«Так что же, значит, мы не должны обороняться, даже если враг нападет на нас?»

«Перечитай речи кайзера за последние годы, вспомни хотя бы о «прыжке пантеры» и подумай — кто же этот враг: русские или французские рабочие и крестьяне?.. Стой твердо на своем! Не сдавайся! Не позволяй сбить себя с толку!»

«Но это еще не все. Это еще не вся война, тут еще многого не хватает. Надо изучить войну. Но начать надо не с изучения войны, а с изучения мира. Даже с ним далеко не все ладно...»

— Идет полк Листа! — крикнул кельнер, стоявший у двери.

И вот уже гремят литавры, бьют барабаны и оркестр играет: «Был у меня товарищ...»

Все, что до этой минуты двигалось по улице в разных направлениях, вдруг дружно устремилось в одну сторону. Окна с шумом распахнулись, балконы, переполненные до отказа, словно подались вперед, в подъездах и подворотнях толпились мужчины в рабочих блузах, женщины в передниках...

Точно какая-то сила вышвырнула меня на улицу. Оттесняя меня к стене дома, надвигался поющий людской вал. В центре его высились дула винтовок, из которых торчали цветы.

Вверх-вниз — четко взлетали палочки барабанщика, словно без этих четких взмахов вверх и вниз не было бы и музыки. Мерный шаг солдат сметал все на своем пути.

— Вот они, наши добровольцы, совсем еще дети, вот она, немецкая молодежь! — всхлипывал рядом седоволосый старик и бросал на меня укоризненные взгляды.— Левой! Левой! Левой! — рявкал он мне, чтобы я держал шаг. Только на углу я с трудом остановился.

Словно увенчанный лаврами, шел полк по Терезиенштрассе, вот он свернул на Тюркенштрассе, и все невольно подхватили его песню:

В лесу пели птички,
Так чудно пели надо мной:
Родина, о родина,
Вновь встречусь я с тобой...

Вдруг взблеснуло знамя; его конвоировали два солдата с примкнутыми штыками.

Слава нам, слава нам,
Слава и победа нам!
Грудью, душой
За край родной!

Только на одно мгновение увидел я его лицо из-за бело-голубого шелкового полотнища. Потом уж я видел одно только развевающееся знамя.

Это он, Мопс, шел впереди с полковым знаменем.

Я хотел снять шляпу, но нет, оказывается, я стоял с непокрытой головой, а знамя плыло уже далеко впереди... Там шел он...

Я громко пел. Пусть он там, под уплывающим знаменем, слышит, что я тоже пою:

Он был сражен на месте,
И кровь его текла...

Еще раз, издалека, донеслось:

Ты не пожмешь мне руку,
Но в вечности, в разлуке,
Будь верным другом мне...

Тогда и я помахал рукой на прощание. Но совсем в другую сторону, туда, где стоял Охотничий домик, где зеленел осиянный лес, и попрощался с Мопсом: «Возвращайся скорей!»

* * *

— Пять пфеннигов! Нет ли у вас пяти пфеннигов, прошу вас...

Зак взял пять пфеннигов и уставился на пустой мраморный столик.

— Ничего нельзя понять, а? Стоит призадуматься над этой загадкой... Видели бы вы сегодня Крейбиха! Его точно подменили. У доктора Гоха просил прощения, а потом ко мне подошел: «Простите за все, Зак, я вел себя как мерзавец! Иду на фронт и там все искуплю». Магда же, наоборот... Представьте, не здоровается со мной, дуется. И все потому, что я отказался сочинять для нее патриотические куплеты... А доктор Гох, который славит войну как величайшее событие, заявил, что впредь он отказывается толковать сны, ибо толкование снов — это насильственное вторжение в психический механизм, а он принципиально против всякого насилия... Вот и надейся на людей! О вы, толкователи снов, исследователи комплексов!.. Слова, мысли — зовы в снежной вьюге! Деяния — следы, следы на снегу...

Казалось, на чистой мраморной доске столика возникали вопросы, вопрошающие лица, недоуменно устремлявшие свой взор на Зака и требовавшие ответа. Уйма вопросов появилась одновременно. Стараясь прикрыть их, он клал ладони на мраморную доску, но тут же снимал руки — так настойчиво шевелились эти вопросы под пальцами. Вскоре он перестал отвечать на них, а только передавал их дальше.

— Мы еще бредем в темноте. Лишь слабо светится искорка — наше сознание... Речь идет о том, как может человек привести к одному знаменателю себя и то, что происходит вовне! Допустим, что есть дело правое и дело неправое, истина и заблуждение... Значит, каждый человек — это два существа: одно — то, за которое он выдает себя, и второе — его подлинное «я». Скажем, он выдает себя — и вполне искренне — за порядочного человека. Но так ли это? Он, оказывается, служит явно неправому делу, запутался в ужасных заблуждениях... Кто же этот человек в действительности? Разумеется, не тот, за кого он себя выдает... Другой, совсем другой... С этим Другим он постоянно живет, он и есть этот Другой, быть может сам того не сознавая... Так живем мы все, сознавая и в то же время не сознавая этого, иной раз вопреки рассудку, либо сознавая, но лишь очень смутно... Неразрешимая загадка. И чем дальше, тем она неразрешимее... Нужно найти к ней ключ.

А может и так быть, что служение правому делу портит человека, делает его даже негодяем, а служение неправому делу исправляет и даже превращает его в героя, причем, став лучше, человек, разумеется, лучше служит неправому делу и тем самым становится особенно опасным, особенно страшным вредителем... Бывают чудовищные, запутанные, противоречивые случаи. Коварные, мудреные, как сама жизнь, сама действительность... Начинается с чего-нибудь вполне безобидного на первый взгляд — с деятельности, которой человек всю жизнь занимается... Но выходит, что за его деятельностью стоит нечто отнюдь не столь безобидное, а дальше, глядишь, и вовсе не безобидное, и под конец выявляется и властвует уже то самое огромное черное неправое дело, которому он, по сути, всегда и служил. Честные до глубины души люди обращаются, таким образом, в собственную противоположность, в вопиюще бесчестных людей, действуют наперекор самим себе, становятся самим себе смертельными врагами, убивают себя обезоруженным неведением... Кто же я? Этого не решишь, не решив загадки — какому делу я служу... Мое собственное представление о себе... Нет, нет, оно, конечно, имеет значение, но важнее другое: кто я в действительности. Человек может утверждать о себе то или другое, чаще всего это самоутверждение, и оно весьма подозрительно... «Чем вы занимаетесь всю свою жизнь?» — спрашивают человека. И что же оказывается? Он не имеет о себе ни малейшего представления; он, этот свалившийся с неба невинный младенец, этот милейший человек, на поверку оказывается тяжким преступником. За умеренную мзду, ему положенную, он по мере сил содействует тому, чтобы с людей сдирали десять шкур, чтобы их мучили, травили, заставляли голодать, чтобы правду попирали ногами и людей оглупляли, чтобы ложь проникала повсюду, чтобы люди безвременно старели, безвременно умирали, чтобы право и закон были в небрежении, чтобы человеческая свобода подавлялась, чтобы людей убивали словами и делами,— а все вместе это называется: честный государственный чиновник... Но дальше! Дальше! Вот человек всю свою жизнь суетится и трубит: я живу во имя свободы! И умирает со словами: «Да здравствует свобода!» А может оказаться, что он умер не за свободу, а за какую-нибудь бессмыслицу, больше того — за прямую противоположность свободе. А другой — презирает свободу. И гляди-ка: этот враг свободы против собственного желания служит ей... Какой-нибудь человеконенавистник хочет на весь мир заявить о своей ненависти к человечеству, и что же? Из-под пера его рождается

гимн человечеству. Или же человек хотел воспеть одиночество, а воспел — страх перед таковым. Какой-нибудь писатель создает образ, которым стремится уничтожить врага, а враг неожиданно уклонился от удара и стал героем... Но дальше! Дальше!

Он лихорадочно шарил руками по мраморной доске, стирая вопросы, но один все-таки оставил:

— Вот в чем вопрос. Вопрос в том, чтобы в основе было правое дело.

— Я видел корабль,— начал я и рассказал все сначала...

Я рассказал о том, кем я был когда-то — о Другом.

Другой стоял в новогоднюю ночь на балконе, и в час наступления нового столетия он — Лгунишка и Проказник — трижды поклялся начать жить по-новому. Но, не найдя в новом веке следов Новой жизни, стал Зловредой и Пакостником, украл из бабушкиного шкафчика золотой и заставил своего товарища ртом ловить медяшку. Он, этот Другой, входил в шайку, которая преследовала голодных бедняков, и заслужил кличку «Палач». С годами он становился все зловреднее: он посещал «Школу низости», где научился всему, что могло ему понадобиться в той жизни, к которой готовили его воспитатели. Правда, его постоянно грызло глухое беспокойство, что-то восставало в нем, и часто, когда его заставляли стоять навытяжку, он буянил и упирался, но так как к тому времени в нем расцвели уже все свойства Малодушного и Труса, то выдержать искуса он не смог. В конце концов он задумал бежать от себя и устремился к Забвению. Но не нашел его. Чемпиону по плаванию волей-неволей пришлось на себя оглянуться. Чего только не делал этот упрямый болван, чтобы все оставалось по-старому. Он готов был броситься с Гроссгесселоэского моста в Изар, только бы не стать хорошим человеком. А Стойкая жизнь засылала к нему своих Вестников. Вестники тормошили его, не давали покоя, без устали на него наседали. О, как этот Другой оборонялся, чего только не делал, лишь бы ему оставили его удобную жизнь! Долго, очень долго боролись друг с другом Малодушный и Стойкий, и то один брал верх, то другой; они пускали в ход все приемы борьбы, они уподоблялись один другому настолько, что часто их нельзя было отличить друг от друга. Оба они были сильными, грозными противниками...

— А теперь послушайте, Зак, что произошло в Английском парке, у водопада...

— Что же, что услышал Другой в Английском парке у водопада? — прервал меня Зак.— Помнится, однажды вы мне об этом уже говорили, но сейчас все приобретает иной смысл...— И без всякого перехода спросил:— Вам приходилось голодать?

— Нет, до сих пор я всегда ел досыта. Но... но жила-была колбасная горбушка...

И я рассказал историю о колбасной горбушке, и случилась эта история якобы с Другим, ибо, рассказывая о жизни Другого, я был не очень-то точен. Дело было не в точности...

Пока я рассказывал о себе — Другом, Другой несколько раз снимал шляпу и кланялся мне, словно прощаясь.

Фрейлейн Клерхен сидела с Другим в Беседке счастья, она тоже была одним из Вестников, которых засылала к нему Стойкая жизнь. И Веселый гуляка явился к Другому. Нет, я был не в силах перечислить все те обличья, в каких Стойкая жизнь являлась Другому...

Ее звали Фанни...

«Ты хочешь сказать *эта Фусс*,— сказал Другому его отец.— И уж, конечно, не *фрейлейн Фусс*». Настоящее имя Христины тоже было не Христина, ее только так прозвали.

В гостиной на мольберте стоял портрет, и бабушка говорила с Другим после своей смерти.

Был такой Гартингер, который вел Другого и временами выпускал его руку для того, чтобы Другой сам научился находить правильный путь.

И вот наконец он обрел силу избавиться от Стоящего навытяжку. Трудно таким, как он...

— Кто был этот «он»? — спросил Зак, подняв голову.

— Другой. Другой.

— Да, Другой,— согласился Зак.

Рассказ о Другом заканчивался тем, что Другой нес бело-голубое знамя — белые облака на полотнище высокого, голубого, бесконечного неба, и это знамя реяло над полем битвы.

Тут мы с Другим опять слились воедино, и я замолчал.

Зак положил пять пфеннигов на середину стола. Перегнувшись всем корпусом, он пальцем тыкал в монету. Он как будто собирался показать фокус.

— А теперь послушайте! Вы думаете, я... когда-нибудь освобожусь от этих пяти пфеннигов? За них доктор Гох приго-

ворил меня к смерти... Итак, слово предоставляется приговоренному к смерти!

Он откинулся на спинку дивана, и тот самый Зак, который обычно сидел здесь сутулый, сгорбленный, настороженный, втянув голову в плечи и скрестив руки на груди, теперь распрямился, вольно вздохнул всей грудью и поднял голову таким движением, которое говорило, что ему нечего скрывать, что он свободно выскажет свои сокровеннейшие мысли. Он не запинался на отдельных словах, он говорил легко и связно.

— Вы одолели в себе Другого, хотя он к вам не раз еще вернется. Помните, что человек подчинен закону инерции. Все великое в противлении! Да, конечно, можно подняться над самим собой... Мне тоже еще предстоит справиться в себе с Другим! Наши дороги скрестились. Именно в этой точке. Скажу яснее. Я был стойким — не знаю, смею ли я это утверждать,— до сегодняшнего дня. Если вы, счастливец, можете сказать: «Жила-была колбасная горбушка», то я, заклейменный проклятьем, должен сказать о себе: «Да... он был — голод!» Голод в родительском доме и голод потом, ничего, кроме голода... Я голодал много и долго, доголодался до того, что меня рвало, когда я ел. Во сне я поедал целые булочные, целые колбасные магазины, я ел в дюжину ртов, только бы наесться досыта. Я смотрел людям в рот, чтобы увидеть кусок, который они жуют. Я смотрел им в утробу, в кишки, следил, как переваривается пища. Если кто-нибудь переставал жевать, я не верил, что у него во рту ничего нет: открой рот, посмотрим, чем он набит... Я изучал поваренные книги всех времен и народов, о, я такое меню мог бы составить вам, дружок! Я знаю давно позабытые рецепты. Двадцать лет я голодал... Двадцать! Я бродил около кухонь всевозможных ресторанов, вдыхал их запахи. Стоял у дверей «Баварского подворья», у магистратского «Погребка», у «Четырех времен года». Я взывал к тем, кто входил туда, входил уже с полным желудком: «Прихватите меня с собой! Накормите хоть раз досыта!..» Они протягивали мне пять пфеннигов... Я дожидался на улице, пока они выйдут. «На здоровье, господа!» Я надеялся насытиться их сытым видом. Они, эти толстопузые, рыгали мне прямо в лицо,— хоть бы жир вытерли с усов, неужели там нет салфеток?! Их утробы были набиты до отказа, словно они сожрали все припасы ресторана, а я — я с поклоном открывал перед ними дверцы машин, но толстопузые узнавали меня: «Этому мы уже дали несколько пфеннигов». Желудок мой урчал, кровоточил,

корчился в судорогах, словно хотел, чтобы я по кусочку выплюнул его к ногам этих господ. «Будьте великодушны! Хоть раз накормите человека досыта». Но никто меня не накормил, я голодал и голодал... Эти пять пфеннигов здесь, на середине стола, говорят: «Приумножь нас в сто тысяч, в миллион раз, и тогда ты не будешь знать голода!» Но все равно я буду голоден всю свою жизнь — слишком я настрадался от этого страшного голода... Пожизненного голода... Пусть бумажник в моем кармане будет туго набит, я все же не перестану клянчить у каждого встречного: «Нет ли у вас пяти пфеннигов, прошу вас». Как разбойник с большой дороги, буду я нападать на всех, чтобы вырвать из их кошелька пять пфеннигов: «Помогите, я умираю с голоду!» Нет такой подлости, на которую я не пошел бы. Я всегда могу успокоить свою совесть: «Помогите, я умираю с голоду!» Я отрекусь от своего рода и племени, изменю своим взглядам, перейму аристократические манеры, стану джентльменом с головы до пят. У лучшего портного буду заказывать себе костюмы, трехкомнатная мюнхенская квартирка на Куфштейнерплац вырастет в двенадцатикомнатную квартиру на Курфюрстендамм в Берлине, во дворец в Тиргартене: «Помогите, я умираю с голоду». Что я буду писать? Все, что приносит деньги. Мне нужны миллионные тиражи. Я жажду денег. Я хочу иметь огромное состояние, чтобы похоронить под ним память о пяти пфеннигах. Все, только не голодать, только не голодать! Никогда больше! Никогда! Я не буду возмущаться, когда какой-нибудь Крейбих заставит доктора Гоха маршировать под свою команду. Мне наплевать на войну. Пусть себе убивают друг друга. Пусть люди голодают, пусть подыхают с голоду, мне никакого дела нет,— только бы я утолил *свой* голод, только бы *я* нажрался. Трепещите, обжоры, я один властвую над всей жратвой мира. Я завожу самые аристократические знакомства, обедаю с профессорами, с советниками, министрами, я устраиваю себе каждый день великолепные пиршества, и все же меня преследует безумный страх. Кошмары душат меня — мне снится, что я умираю с голоду... Если я, проезжая по улице в собственной машине, увижу вас, идущего пешком, в потрепанном костюме, я остановлю машину и крикну: «Нет ли у вас пяти пфеннигов, прошу вас. Помогите, я умираю с голоду...» А потом придет день,— слушайте: придет день, и я начну играть. Со страху я буду делать неслыханные ставки. Я буду проигрывать сказочные суммы. И вот наступит минута, когда я подсчитаю, что у меня осталось ни больше ни меньше, как пять пфеннигов!.. Эти

самые пять пфеннигов!.. Вот он, Другой, который грозит мне. Мой Другой!

Зак смахнул на пол пять пфеннигов.

— Видите ли, у меня есть деньги. Я получил сегодня деньги... Мне тоже предстоит освободиться от своего Другого.

Он заказал для нас по большой чашке кофе и по два яйца в рюмках. Потом заказал еще по двойной порции масла. Кельнер принял заказ, с надеждой взглянув на меня. Когда все было съедено и выпито, Зак снова заговорил:

— То, что вы рассказали мне о Другом,— это роман. Приключенческий роман. Напишите его! Вы напишете его когда-нибудь, быть может, через много, много лет. В этом романе не только вы проститесь с самим собой — подобных вам немало, и все, все они понадобятся, и такие, как вы, тоже... «Прощание» — следовало бы его назвать, «Прощание». Немецкая трагедия... Вы напишете о себе, но ваше «я» не будет биографическим в обычном смысле слова: это будет образ, как и всякий другой, связанный с действительными событиями только той или иной малозначащей деталью. Но так как вы из этого образа выведете все остальные, а сам он, в свою очередь, возникнет из совокупности образов, то в первой части вашей исповеди развитие образов будет по необходимости скованным, тогда как во второй, где исповедь отойдет на второе место, оно станет совершенно свободным... Вы воздвигнете памятник Стойкой жизни. Стойкие люди будут жить в своих делах. И однажды, когда уста их умолкнут, они будут говорить со страниц ваших книг... Огни в тумане, спасительные вехи среди снежной вьюги... Вы нарисуете Скотскую образину во всех ее разновидностях... Углубляйте!.. Возвышайте!.. Творите! Я не решаюсь вымолвить слово, которым нынче так сильно злоупотребляют, очень плохо понимая его: поэзия... Поэтически осмысленные человеческие отношения, поэтически осмысленные образы... Вы крикнете тем, кто в бурные времена захочет бежать в прошлое: «Возврата нет! Не верьте в идиллии прошлого! Прошлое — темно и ужасно». Вы будете жить... Вам будет отпущена изрядная доза жизни, целая гора жизни... Вы забудете, что вы поэт. Но не навсегда. Однажды прожитое предстанет перед вами, на вас нахлынут его образы. И с той минуты ваша жизнь будет творчеством... Запомните только одно: неинтересных, скучных людей не существует. Неинтересные, скучные люди — это вымысел неинтересных, скучных писателей, которые, как люди, тоже представляли бы интерес,

если бы от их бездарности не веяло скукой. Человек, даже самый незначительный,— это чудо, это многосложность человеческих существ... Это — беспредельные просторы, неизведанные миры. Что ни шаг, то новый пейзаж, пленительный, незнакомый — лощины, лужайки, горные цепи, некогда живописные склоны, опустошенные непогодой, глухое бездорожье... Пустыни безумия, реки мудрости, сушь и плодородие... Подземные пещеры и неожиданно раскрывающиеся широкие светлые дали... И мы, поэты, искатели кладов, глашатаи нового учения о человеке... мы открываем новое в человеке, завоевываем миры. Вот все, что я хотел вам сказать... Вот вам мой совет...

Я встретил поэта, указавшего мне великое.

— Пошли! Пошли! Пошли! — постукивал Зак ложечкой о стакан, окидывая взглядом пустое кафе.— Одни мертвецы еще обитают здесь. Нам здесь больше нечего делать...

— Кельнер! — победоносно позвал он, повернувшись к буфету: — *Я* плачу́.

L

— Вот он, наконец, наш доброволец!

Отец встретил меня с распростертыми объятиями еще в передней, поцеловал в лоб и сразу же потащил в столовую. Мама распаковывала чемодан, она тоже поцеловала меня и продолжала рыться в вещах. Только время от времени искоса поглядывала в мою сторону, точно искала во мне каких-то перемен.

Чтобы сказать что-нибудь, я спросил:

— Ну, как, хорошо ли отдохнули? Я тоже неплохо себя чувствую. И домой приходил не поздно...

Отец потирал руки и поглаживал усы. Даже усы, казалось, лоснились от удовольствия и радовались вместе с отцом.

— Наконец-то! Наконец-то! — говорил отец, приятно потягиваясь.— Кто бы мог подумать!

Глаза его ласково поблескивали сквозь стекла пенсне: так приветливо смотрят на прохожего выставленные в витрине хорошенькие вещицы. Отец хлопал себя по ляжкам, как тогда, в Гогеншвангау, и довольно крутился на вращающемся табурете.

— Как же нам благодарить бога за то, что мы дожили до этого. Каждый день дивишься все больше и больше. Одному господу слава, одному господу благодарение, что в своей неис-

черпаемой милости дал нам увидеть все это собственными глазами... Уже у многих — каюсь, порой и у меня! — ослабевала вера в исцеление, мы теряли надежду, что наш народ вернется в лоно своих былых духовных добродетелей. О маловеры! Война совершила чудо! Она показала, что явления упадка коренятся неглубоко, что они лишь маска, которую срываешь с величайшим омерзением, когда того требует серьезность момента... Господи, только тебе мы обязаны тем, что начинается новая жизнь, новая, совсем новая...

Отец молитвенно сложил руки, прижал их к груди и воззрился в потолок, а мама между тем как ни в чем не бывало рылась в чемоданах.

Мебель! Мебель! Только бы она молчала! Я обводил строгим взглядом комнату, словно боясь, как бы та или иная вещь не выдала тайны встречи, которая произошла здесь, в родительском доме. Особенно зорко следил я за вращающимся табуретом, он вел себя как сумасшедший, и пока отец говорил, швырял его из стороны в сторону.

— Что с ним такое! — с досадой придержал его отец; в то же время отец как будто рассердился и на письменный стол, на котором все пришло в беспорядок.

— Кто тут писал моей ручкой? — прервал он себя на полуслове.— Сколько раз я просил ничего на письменном столе не трогать.— Ковер иронически ухмылялся. Хоть бы балкон молчал, я повернул голову к балкону, тому самому, на котором мы стояли втроем и который то взлетал, то опускался подо мной, как капитанский мостик,— взор мой не проникал столь далеко, чтобы увидеть, где бросил якорь Благословенный корабль... С балкона словно доносилась песнь о Новой жизни.

— Кто бы ожидал! Нет, человеческое воображение бессильно! Можно ли упрекнуть меня за то, что я ошибался...— И отец открыл дверь в гостиную, ему нужен был простор.

— Честь им и слава! Когда пробил решительный час, они привели под наши знамена немецких рабочих. Этого и сам Бисмарк не мог бы предвидеть. Убедительно прошу тебя, пригласи к нам в один из ближайших дней Гартингера, молодого господина Гартингера, своего друга. Я хочу исправить свою ошибку, я не стыжусь открыто признаться, что заблуждался на его счет. Да, нынче мы по праву можем гордиться ими, нашими социал-демократами, они все, как один, откликнулись на зов кайзера...

Отец взял меня за руку и подвел к маме, словно желая представить меня.

— Ты посмотри, мать, это наш сын, наш милый, милый сын. Как он вырос за последние годы! Какой он большой стал, сильный! Это все от плаванья, от горного спорта. Но я о другом хочу сказать... Сейчас, когда он отправляется на войну, я словно увидел его впервые... Только сейчас я почувствовал по-настоящему, что у меня есть сын. Что было, то прошло. Все забудется, все простится... Кто, как не сын, претворит в жизнь мечты отца или... как бы это получше выразиться... завершит дело, начатое отцом... или еще лучше: то, чего не достигли родители... В общем, он знает, что́ я хочу сказать... Для этого сыновья и существуют, это их назначение.

Отец подошел ко мне вплотную. Он положил руки мне на плечи, снова поцеловал меня в лоб и громко заговорил, глядя на меня в упор, так, что я чувствовал на себе его дыхание:

— Какие возвышенные чувства это должно рождать в молодом человеке... Кстати, для вас, волонтеров, установлен ускоренный выпуск, разрешено досрочное получение аттестата зрелости...

Я покосился на маму, она как раз вынула из чемодана пару носков и обратилась к отцу:

— Положить тебе эту пару сверху?

— Не мешай нам сейчас, мать, оставь нас в покое, на днях сын твой уходит на фронт, а ты пристаешь с какими-то носками... Велика важность, носки...

— Кстати, пока я не забыла,— продолжала мама,— завтра же надо похлопотать относительно Христины. Слуги ведь тоже люди. Скоро пятьдесят лет, как она живет у нас. Я уже все разузнала. Если хозяева подают ходатайство обер-бургомистру, то слуги, пятьдесят лет прослужившие в одной семье, получают золотую медаль. И тогда Христина со временем может рассчитывать на частичное содержание в богадельне. Ну, а остальное — у нее есть сбережения, и кое-что мы прибавим. Как ты думаешь?

— Оставь! — раздраженно отмахнулся отец.— Ну время ли теперь толковать о домашних делах! Нам совсем не до них! Какие вы, женщины, прозаические существа!

Мама взяла с письменного стола карандаш.

— Можно? Я только на минутку возьму карандаш и сейчас же положу на место.— Она что-то высчитывала на клочке бумаги.

— Совершили вы какую-нибудь интересную горную прогулку? — начал я снова, но отец не дал мне договорить.

— Какой энтузиазм это должно вызвать в таком молодом человеке, как ты! На войне человек поднимается выше себя, на войне у каждого свое место и назначение; умереть геройской смертью за отечество даже на самом безвестном посту много лучше, чем ни разу в жизни не испытать великого счастья — отдать себя целиком, пожертвовать всем, что у тебя есть. Да, можно прямо сказать: о, как скучно, смертельно скучно изо дня в день знать только один путь — из дома в канцелярию и из канцелярии домой. Теперь другое дело, настало время, когда мужчина может себя показать, когда каждый чего-нибудь да стоит, в том числе и ты... Через какие-нибудь три недели, самое позднее,— мы в Париже, а поход на Петербург — это просто увеселительная прогулка. Полмира приберем мы к рукам... Пощады не давать. Пленных не брать. Мы низринемся, как гунны. Да-да! Мы пангерманцы!

Пыхтя и отдуваясь, он расхаживал по комнате и уничтожал врагов Германии: «Прекрасное воодушевление» последних дней, от которого я едва уберегся, исчезло бесследно. «Гунны! Гунны!» — звенело вокруг, и разукрашенный флагами, преображенный воодушевлением город оделся в черное, готовясь к приему мертвецов. Дома выли. Зак стучал ложечкой о стакан, звон стоял такой, словно все звонки мира вопили: «Тревога!» По всему пути от Амалиенштрассе до вокзала, там, где проходил увенчанный лаврами полк, мертвецы лежали по четыре в ряд, мертвецы заполнили и Максимилианплац, целые штабеля мертвецов — война кончилась, и все они вернулись. Бело-голубое знамя торчало из груды тел, и только одна рука высунулась наружу... «Ты не пожмешь мне руку...» Я взмахнул в воздухе окровавленной культей... Вернулись и другие, они были живы, и все же смерть сразила их до глубины их существа. Они продолжали жить под градом снарядов и среди штурмовых атак, они всегда были готовы выстрелить или замахнуться ружейным прикладом. Бесстрашные, беспримерно храбрые люди, они были бы достойны славы героев, будь то дело, за которое они честно сражались, правое, справедливое дело... А ведь мы все, все участвовали в этом: мы жаждали, чтобы случилось что-нибудь... что-нибудь... ну, наконец-то... Зато Фек и Фрейшлаг верхом на рослых конях проскакали через Триумфальные ворота, волоча за собой пленников — Гартингера, Ксавера и меня... И трубы трубили, тру-

били: тра-ра-ра! тра-ра-ра! А кое-кто из вернувшихся будет сидеть еще годы спустя на могилах и играть в карты: хлоп, хлоп, хлоп.

Отец, войдя в азарт, не мог остановиться, он отдавал все серебро и золото, чтобы железа было больше. Все столовое серебро, золотую брошь, браслет и ожерелье матери, все кольца, за исключением обручальных; не пожалел он и позолоченный канделябр. Все это приносилось в дар отечеству.

— Такая вещь! Ведь это фамильная драгоценность!..— восклицала мама всякий раз, как отец называл тот или иной предмет.— Столовое серебро? Нет, ни за что!

Но отцу, по-видимому, доставляло удовольствие отдавать вещь за вещью, он с восторгом опустошил бы весь дом. Превратив наконец все золото и серебро в железо, он начал отбирать назад то одну, то другую вещь.

— Ты права, столовое серебро лучше сохранить, и золотую брошь тоже, браслет и ожерелье дороги тебе как память, ну, а канделябр и кольца — это такая мелочь, что и возиться не стоит. Пускай отдают свое золото в первую очередь те, кто носит массивные золотые часы и — это уж непозволительная роскошь! — золотые запонки. Нам за ними не угнаться, не опоздаем, успеется...— Но он все-таки не успокоился и все спрашивал:— А может быть, хоть канделябр отдать?— Наконец он угомонился и решительно произнес: — Я еще раз хорошенько подумаю. Торопиться некуда.

Мама положила карандаш на место.

— Я подсчитала,— сказала она, глядя в свою бумажку.— Нет никакой необходимости прибавлять что-нибудь к сбережениям Христины. Ей хватит того, что у нее есть. Ведь не сто лет ей жить.

— Я тоже так полагаю,— вскользь бросил отец.

И обратился ко мне:

— В какой же полк ты определился и когда вам выступать? Надо ведь знать, чтобы отпраздновать проводы, и матери дать время все приготовить.

Я почувствовал, как за моей спиной и мама испуганно застыла в немом вопросе.

Знали бы они, как я дрожал. Поэтому я и вел себя так вызывающе и развязно. Только мама, видно, почуяла что-то.

— Дядя Гуго приехал! — сказал я в ответ.

— Ка-ак? — крякнул отец.

— И семью привез с собой. Жену-негритянку и двоих черных ребятишек.

— Ка-ак? — еще раз крякнул отец. Крышка пустого чемодана и отец крякнули вместе.

— Где же он поселился, этот мошенник?

— В «Баварском подворье».

— За наш счет, ну конечно, за наш счет!

Отец задыхался, и мне даже жалко его стало.

— Да нет, он привез с собой кучу денег, к тому же он подданный нейтральной страны, за это время он принял голландское гражданство. А какой он великан, ты просто не представляешь себе, папа. Ему пришлось низко-низко пригнуться, чтобы войти в наши двери. На люстру он смотрел сверху вниз... Да-да, великаны ходят по земле, и духи являются из преисподней.

— Брось молоть глупости... Это не моя родня! — выразительно произнес отец, повернувшись к маме, которая вынырнула из-за чемоданов.

— Боюсь, что нам с тобой лучше не упрекать друг друга,— загадочно бросила она в ответ.

— Это грозит нам большими неприятностями. Жена-негритянка, дети-негритята, да еще голландец, подданный нейтрального государства,— что за бестактность являться сюда в самый разгар войны! На карту поставлена честь семьи... За мою родню мне краснеть не приходится...

— М-да, конечно...— послышался голос матери, звучавший спокойно, слегка иронически.

— С тех пор целые поколения в нашем роду честно трудились...— сказал отец и настороженно, точно уже подозревая меня в чем-то, повторил свой вопрос:

— Итак, в какой же полк ты определился и когда вам выступать?

— Вы в самом деле хорошо отдохнули?

Отец резко ответил:

— Наш отдых теперь дело десятое. О нем после... А почему флаг не вывешен?

— Христина уже ищет его,— одновременно сказали мы с мамой.

— Немедленно вывесить флаг! — скомандовал отец.— Скандал! Этого еще не хватало!..— Он стал во фронт, я тоже сделал над собой усилие: руки вытянулись по швам, грудь выпятилась колесом.

В боковом кармане у меня не было сокровища, которое надо было охранять, на верхней губе не было щетинки, которую можно было бы подергать. Куда же девать руки? Карманы уже не могли служить для них убежищем: слишком часто я засовывал туда руки. Ничего удивительного, что они так охотно опускались по швам: «Рад стараться!» Ведь нельзя же непрерывно проводить рукой по волосам или по лбу или поправлять галстук. Вертеть пуговицы руки мои отказывались и ни за что не хотели складываться для молитвы. Хорошо бы закурить сигарету, тогда и губам была бы работа. Скрестить руки на груди или подбочениться тоже было бы неплохо, но в данную минуту это могло показаться неуместным. Руки тяготили, угнетали меня. Что же делать с ними, проклятыми? Насилу оторвал я их и просто опустил, сжав в кулаки... Наконец-то!

«Не разводи церемоний, эх ты, изнеженный барчонок! — подстегивал я себя. — Вперед, ты, не ведающий страха! Вперед, победитель страха!»

Мать повернулась, чтобы видеть мое лицо.

— Так когда ты выступаешь? — в третий раз спросил отец. — Отвечай же!

«Вперед, — подталкивал я себя и трубил: — В атаку!»

— Вы оба, очевидно, решили разыграть меня. — Отец зло посмотрел на маму. «Вы оба», — тут я внезапно почувствовал прилив мужества, ведь теперь надо было и за маму вступиться.

Стараясь придать себе уверенности, я вытянул губы, словно собирался засвистать: «Вставай, проклятьем заклейменный...», и сунул кулаки в карманы; неожиданно отец закричал так, точно я скрывал ужасную тайну:

— Говори же наконец!

— Я не собираюсь идти на войну, нет, в вашей войне я не участвую, это я твердо решил. — Голос мой прозвучал несколько сдавленно, но в нем была ненависть, та самая ненависть, которая так часто заставляла меня завидовать Гартингеру.

Широко расставив ноги, я стоял, как Кохельский кузнец на фреске в Зендлингенской церкви. Бывают великие свершения. Речь идет о великом свершении. Я буду таким, каким был ты, Францль, когда мы привязали тебя к дереву в садоводстве Бухнера. Плюйте в меня, секите меня крапивой. Я устою.

Но отец не угрожал мне муравьиной кучей, он грузно шлепнулся в кресло и судорожно ухватился за подлокотники,

словно кто-то с головокружительной быстротой вертел его вместе с креслом.

— Что?.. Я не ослышался? «В вашей войне я не участвую»?.. Только посмей повторить это еще раз!

Я стоял твердо, как тогда, на большой каменной плите в Констанцском соборе, я чувствовал себя высоким, как дядя Гуго, и даже втянул голову в плечи, чтобы не стукнуться о потолок.

Я торжественно повторил:

— Я не собираюсь идти на войну. В *вашей* войне я не участвую. Я не пойду на войну несправедливую, бесчестную...

— Негодяй!..— вырвалось у отца, и еще раз: — Негодяй!— Он повернулся к маме: — Пойдем, я больше не могу.

Мама положила руку ему на лоб и сделала мне знак: «Уходи! Живо! Живо!»

— Нет, пусть он останется, мерзавец этакий. Наконец-то я с ним рассчитаюсь!

Отец уже снова овладел собой. Он убрал со лба руку матери.

— Держу пари, что за этим опять кроется какая-нибудь юбка. Да, да, разве ты не помнишь, мать, эту штучку — фрейлейн Клерхен? Но мало того, ты только послушай, до сих пор я скрывал от тебя: этот поганец жил с уличной девкой, с грязной проституткой...

Теперь дай волю кулакам!

— Эй, ты! — я рванулся всем телом.— Она меня выручила. Она спасла и твое имущество... Она отдала жизнь за наше столовое серебро, за ковер. Ничего вы не знаете...

Сладкая горечь пронизала меня: брусника.

— Да, я повторяю: с проституткой, с грязной тварью!

— Эй, ты! — я поднял кулаки.— Еще слово, и... Проклятые гунны!

— Эй, ты! — отец тоже занес кулак.— Еще слово, и...

«Ты» нашло на «ты»; негодяй, мерзавец, собака! — глухо скрежетало в этом «ты».

— Он поднял руку на отца!

Мама принудила отца сесть в кресло и оттащила меня. В полной растерянности она бормотала:

— Какие вы гадкие оба... Не надо, Генрих!

— Гадкие? Ты это называешь гадкие? Ну, знаешь ли!..— отец был вне себя.— Генрих! Я больше не кроткий Генрих... Вам это было бы кстати...

— Он просто не умеет себя вести. Он никогда не научится хорошим манерам. Разреши мне как матери сказать тебе, Ганс, ты ведешь себя неприлично.

Она составила пустые чемоданы, явно испытывая потребность в движении, чтобы прийти в себя...

Отец сбавил тон:

— Он завел знакомство с уголовным преступником, с убийцей Куником, которого король недавно помиловал. Что, чудный сынок? Даже директор Ферч с ним не справился. Вот когда можно позавидовать бабушке, она хоть этого не видит.

— Оставь в покое бабушку! — кротко сказала мама.

— Ты, ты бросаешь тень на собственную мать! Что касается моей родни, то она честно трудилась, поколение за поколением, но, как видно, зря. Можно подумать, что этот пащенок мне не сын...

— На то есть доказательства,— сказала мама, направляясь к шкафу.

Она сняла «Семейную хронику» со шкафа и протянула ее отцу.

— Здесь не хватает одной страницы!..

— Это бунт, революция!— завопил отец.— Разве я не говорил всегда, что тот, кто обкрадывает бабушку и приносит домой плохие отметки... Ни одной ночи больше не проведет этот мерзавец под моим кровом... И он еще носит мое имя, пащенок...

— Недостающая страница будет написана наново и кое-чем дополнена,— сказал я таким густым, низким басом, словно в эту минуту постиг, наконец, искусство чревовещания.

— Ганс! Ганс! Ганс! — взмолилась мама и вдруг напустила на себя какую-то наивную строгость: — Не будь же таким невоспитанным, бога ради! Это прямо невыносимо! Ужас!

Наступила тишина, все вокруг словно ждало, что будет дальше.

Я переступал с ноги на ногу, как тогда, на Максимилианплаце, мне хотелось повернуться лицом к маме, но вся комната повелевала: «Тише! Тише!»

От этой тишины все вокруг сейчас, казалось, провалится в бездну, и я только тем удержал этот страшный обвал, что произнес про себя, как заклинание:

«Плывите, облака, в высоком, бесконечном небе. Зажгитесь, огоньки, в тумане. Озарись сиянием, лес. Плыви сюда, корабль,

целый корабль, и пусть твоя команда поет песню о Новой жизни».

Отец между тем словно посовещался с протоколами на письменном столе. Он повернулся ко мне на вращающемся табурете и в новом припадке ярости произнес свой приговор:

— Вон из Германии! Вон! Либо я, либо ты!

Мама заткнула уши и убежала в гостиную, к портрету на мольберте...

— Нет, ты посмотри только, как он идиотски ухмыляется! «Ваша война» — так действительно может сказать только умалишенный... Ты что, не слушаешь меня, где ты витаешь? Дезертир окаянный! — Отец схватил меня за руку.— Этот прохвост способен смеяться, даже если все мы подохнем у него на глазах. Да это прямо блаженный какой-то!

— Отец! — произнес я мягко, вспомнив, с каким нетерпением он каждое новогоднее утро ждет газеты со списком награжденных.— Отец, ты не хочешь посмотреть правде в глаза. Иначе ты подошел бы ко мне, протянул руку и сказал: «Ступай! Спасайся! Плохи наши дела. Ничего хорошего не ждет нашего брата».

— Отец? Я не отец тебе! — замахал он обеими руками.

— Мама? — вопросительно склонился я перед матерью, которая вышла из гостиной: теперь она была поразительно похожа на портрет, стоявший на мольберте.

— Поговори с ним! Постарайся понять его! — сказала мама и снова положила руку на лоб отцу, но тот с гадливостью отдернул голову.

— Говорить с ним? Понять его? Нет, пусть лучше он поймет, каково самому пробивать себе дорогу, пусть узнает, что такое голод! Он невменяем. Ему место в сумасшедшем доме. «Ваша война»! Он говорит: «Ваша война»,— заметь хорошенько, мать... Нет, этого так оставить нельзя. Надо все в корне изменить, война — только начало... Пощады не будет...

А я между тем, пытаясь укрыться за неуязвимой броней, непрерывно повторял про себя:

«Прошли времена голубцов и супов с клецками, мне уж не видать, как тают разрушенные отцом башни из мороженого... Этакий старый гунн... Прощайте, нюрнбергские медовые пряники!»

В дверь постучали.

— Флаг нашелся!

Но никто не откликнулся.

Дверь чуть приоткрылась, и Христина просунула флаг в щелку. Он качался из стороны в сторону, словно хотел показаться во всей красе и приветствовать нас своим черно-бело-красным полотнищем.

Христина, не услышав «войдите», быстро заговорила в щелку:

— Ваша милость, ваша милость, вы, верно, уже слышали? Господи, благодарю тебя за то, что ты сподобил меня дожить до этого! Как жаль, как ужасно жаль, что моего достославного фельдфебеля уже нету в живых, теперь начнется совсем, совсем другая жизнь. Я побегу сейчас наверх к господину обер-пострату Нейберту, может быть, он еще не знает, а господин майор — ах да, ведь он же уехал, а я чуть было не побежала вниз...

Дверь распахнулась, но Христины с флагом уже не было.

— Закройте дверь! — хотел было строго сказать отец, но это прозвучало как просьба.

— Закройте дверь! Закройте дверь! — еще раз попросил он.

Но никто так и не закрыл двери.

Я медленно пятился к открытой двери, точно считая каждый из этих последних шагов, и незаметно кланялся во все стороны. Так меня учили: когда покидаешь хорошее общество, иди к двери пятясь, и тогда ты ни к кому из присутствующих не обернешься спиной; при этом следует слегка кланяться во все стороны.

Мама, кажется, сделала несколько шагов в мою сторону. Посреди комнаты она в нерешительности остановилась.

Обращаясь к стулу, на котором сгорбившись сидел отец, она сказала:

— Я против!

— Замолчи! Ты сама не знаешь, что говоришь! — откликнулся отец совсем не сердито, а скорей устало, очень устало. Он как-то сразу сильно постарел.

— Конец. Все кончено. Все.— Он снял пенсне, прижал ладони к глазам. Еще раз посмотрел на меня близоруким взглядом.

— Я всегда желал тебе только добра. Бог свидетель.

Он словно уже пустился мысленно на поиски блудного сына, рука его, лежавшая на письменном столе, поползла за мной.

— Я молчу, как всегда молчала в угоду тебе. Но я против.

Отец ничего не ответил.

Все двери были раскрыты настежь, точно их распахнул таинственный ветер. Даже входная дверь. Христина оставила все двери открытыми. Она прибежала от обер-пострата Нейберта и промчалась мимо меня, волоча за собой флаг.

— Христина! — Но она не слышала.

Я уложил вещи, они все уместились в небольшом чемодане.

В доме было тихо, точно он опустел.

В эту пустоту, в эту тишину вошла музыка прощания. Что это? Гармонь? Но ведь Ксавер уехал. Кто же сыграет мне на прощание песенку?

Он был сражен на месте,
И кровь его текла...

Вдали звучала песня о Добром товарище.

«Готовься в путь! Не забывай хорошего,— призывал меня внутренний голос, и тут же предостерегал: — Будь начеку, проверь, что ты берешь с собой. Час великого прощания настал...»

Я окинул взглядом комнату — не забыл ли я чего-нибудь.

В ларе лежали оловянные солдатики и призы за плаванье, в одном из ящиков стола мне попалось «Искусство чревовещания». И со скрипкой надо проститься: все струны натянуты, но смычок спущен и натерт канифолью, сурдинка и камертон на своих местах.

На столе раскрытый путеводитель — озеро Гарда: «Вода в нем большей частью темно-голубого цвета...»

Посмеиваясь над своим суеверием, я все же надел пояс «Геркулес», который как-то купил себе, потому что он, как обещала реклама в «Вечерней аугсбургской газете», удесятеряет силу человека. Купальный костюм с выцветшей голубой звездой и гимнастическое трико я сунул обратно в шкаф.

На полу я нашел записочку и узнал руку матери: «Не приходи домой очень поздно».

Я положил записку в карман.

Все вокруг меня качалось, словно на качелях... Гроссгесселоэский мост? Нет, есть другой мост, мост, ведущий через пропасть. Мерцающие огни в тумане. Осиянный лес. Поющий корабль... Да, это и есть Новая жизнь, это она...

— Нет, до сих пор я всегда ел досыта,— сказал я тихо и стал тренироваться: — Нет ли у вас пяти пфеннигов, прошу вас...

Дом, в котором все двери были распахнуты настежь и ветер как призрак беспрепятственно разгуливал по всем комнатам, показался мне обиталищем смерти, откуда надо поскорее бежать. Словно глядя на него из далекого будущего, из тех времен, когда Благословенный корабль давно уже причалил к берегу, я, показывая его самому себе, говорил: «Здесь мы играли, когда были детьми... Далекие, далекие времена!..»

С Другим мы тоже раскланялись, он оставался, я уходил: «Нелегко нам с тобой жилось, нелегко, да... Ну что ж, желаю удачи. Желаю удачи».

В передней было темно. Я заблудился в темноте. «Гансик-крошка вышел на дорожку...» Как некстати привязалась эта глупая песенка!

В открытую дверь я увидел мамин портрет, стоявший на мольберте в гостиной. Точно выступив из рамы, мама подошла и сунула мне в руку золотой.

— Из старинного бабушкиного шкафчика.

— Осторожней, не ушибись! — Она взяла меня за руку и проводила до лестницы; так вел я однажды Гартингера.

— Как же звали ее? — спросила мама.

— Фанни... Ее звали Фанни.

— Фанни... Фанни,— повторяла мама и кивала ей, называя ее по имени.

— А другую? О, теперь я знаю, знаю. Это ты ей... тот чудесный букет альпийских роз?..

— Фрейлейн Клерхен...

— Фрейлейн Клерхен,— улыбнулась мать Невозвратному.

Тихо, беззвучно закрыла она за мной дверь.

— Прощай, отец! — сказал я почтовому ящику, точно слова мои, прощальные строки, могли сохраниться в нем.— Когда я досаждал тебе, отец, не в тебе вовсе было дело. Ты был тут совершенно ни при чем. И когда ты мне досаждал, отец, не во мне было дело. Нет, не во мне.

— Прощай, отец! — сказал я медной табличке с именем отца и долго тер ее носовым платком, пока имя опять не заблестело...

Да, отец тоже устраивал себе игры. Разве взрослые играют? Отец играл, уносясь далеко, очень далеко. Он играл в земледельца, которым ему очень хотелось быть. Расхаживая по столовой, он с улыбкой разглядывал ковер: то была добрая тучная земля, а на обоях зеленели виноградники... «Пооригинальничать захотелось парню, только и всего»,— словно откуда-то издалека услышал я отцовский голос.

Потом он сердито пропыхтел: «У меня в глазах темнеет, как только я вспомню про Гуго! » — «Вот видишь, какой ты!» — рассеянно бросила мама. «Ты тоже хороша», — прогудел отец знакомым голосом лесоруба. «Преданная душа»,— вспомнила мама о Христине, словно чувствовала за собой какую-то вину. Так отец и мама говорили во мне. «Пооригинальничать захотелось»,— я насторожился.

Мне вдруг показалось, что отец позвал меня: я почувствовал легкое головокружение и ухватился за перила, как ухватился за трос отец во время нашей горной вылазки.

Нет, мама не сказала: «Я тебе не мать». Она стояла где-то далеко на покинутой мною земле, в полосе света, и была на моей стороне.

* * *

— Внимание! Смирно! — скомандовал Руки-по-Швам и окинул взглядом свою рать, выстроившуюся по обеим сторонам лестницы.— Мы устроим ему такое прощание, что он до конца дней своих будет о нас помнить! Вольно!

И каждый на свой лад начал вольничать. Я стал соображать, нельзя ли выбраться на улицу другим путем, но в нашей квартире не было черного хода, а бегство по крышам... чердак заперт, и Христине, у которой хранится ключ, было строго-настрого наказано не давать его никому, кроме барина. Мне оставалось либо не сдаваться и идти вперед, либо вернуться к старой жизни. Руки-по-Швам кивнул на звонок, указывая мне путь к возвращению; при этом он радушно улыбался, он улыбался мне в последний раз. Лестница пугала и страшила.

— Предупреждаю,— скрипела она,— не спускайся по мне! Я веду в пропасть!

В подвал ты ведешь, не хвастай; если я сойду по тебе до конца, то попаду в подвал. Я вспомнил, как, бывало, сбегал по

ней в несколько прыжков, мы жили на втором этаже, это был только один марш, и вся-то она, как ни важничает сейчас, состоит не более чем из пятидесяти ступенек. И я начал спускаться между шпалерами, выстроившимися по обеим сторонам лестницы. Учитель Голь стоял на самом верху, он хотел так проучить меня на прощание, чтобы я его долго помнил, и взмахнул розгой. Но так как я все-таки вышел из того возраста, когда учат розгой, он подал ею знак всем стоявшим ниже: «Бейте его, бейте его. Задайте ему, этому неблагодарному ученику, основательную трепку!» Тем временем обер-пострат дохнул на меня одним из своих самых скверных запахов, и когда я с отвращением отшатнулся, голова моя попала прямо в руки директору Ферчу; он тотчас же хмыкнул «гм-гм» и попытался прибегнуть к своему испытанному методу расправы. Я вцепился в его густые усы, я дергал и трепал их до тех пор, пока его изувеченная рука не запросила пощады и не спряталась за спиной. Я еще был силен, как ни старались выступившие теперь на сцену Малодушный и Трус заставить меня струсить и смалодушничать.

— Хи-хи,— заливался кто-то мне навстречу, старый товарищ отца оказался обладателем такого трескучего голоса, что я в ужасе поднялся на одну ступеньку. Они вольничали вовсю. Из нижних рядов выскочил следователь и со словами: «Молодой человек, молодой человек!» — поспешил вверх по лестнице, тыча в меня остро заточенным карандашом и тесня брюхом, на котором болтался корпорантский значок.

— Дайте нужные нам показания! — гремело Пивное брюхо.— Ваш глубокоуважаемый отец уже сообщил нам все, что мы хотели, о ваших милейших господах социалистах!

Они нападали на меня со всех сторон. Бил меня и господин Штеге, председатель ферейна «Водный спорт», и тренер Штерн — оба злились на меня за то, что я попрал честь ферейна, а Играющий в войну — за то, что я больше не играю в войну. Предатель — за то, что я никого не предаю больше. Рыцарь печального образа и Юный самоубийца пришли в такую ярость при моем появлении, что забыли: первый — о своем печальном образе, второй — о намерении покончить жизнь самоубийством — и набросились на меня с кулаками. Я оборонялся как мог. Едва я, отбиваясь, сходил на следующую ступеньку, как все стоящие у меня за спиной тянули меня к себе, а те, кто стоял ниже, подталкивали вверх. Мне вовек не удалось бы выбраться на волю, тем более что Руки-по-Швам поставил у подъезда Фека, Фрейшлага, Крейбиха, Палача и Кадета, до

которых еще не дошла очередь вольничать. Вдобавок ко всему я мог действовать только одной рукой, в другой у меня был чемоданчик. Вдруг появился Куник. Подстрекаемый Грубошерстным пальто, Куник засучил рукава рубашки и грозил мне своим мощным кулаком, к тому же вооруженным еще и зубчатым кастетом... Никого вокруг, кроме разъяренных врагов, преграждавших мне путь к Стойкой жизни... Хлоп, хлоп, хлоп — надвигался на меня град картечи, и чей-то голос говорил: «До сих пор он всегда...» «Наедался досыта, наедался досыта»,— подхватывал хор голосов; и снова выделился один голос: «Нет ли у вас...» «Пяти пфеннигов, пяти пфеннигов, прошу вас. Пять пфеннигов, прошу вас!» — вопили все хором, подражая моему голосу. Видно, я вслух позвал на помощь, хотя сам не сознавал этого: внизу у подъезда послышался шум свалки, чердачная дверь с грохотом распахнулась, и оттуда кто-то кинулся вниз по лестнице. Раздались голоса:

— Мы идем! Мы идем!

Я увидел табличку, похожую на указатель, который стоял в Зейлинге по пути в горы, но только стрелка указывала вниз по лестнице, а надпись гласила: «Путь на волю, или Тропа счастья». Ни протяжение пути, ни время, требуемое на то, чтобы пройти его, обозначены не были... Вслед за тем я услышал, как Неустанный вопрошатель, пробивший своими вопросами уже не одну гору лжи, вступил в ожесточенный спор с Лжецом и заставил его, распространявшего обо мне ужасную ложь, замолчать. Украдкой читающий книги и Дирижер схватили Болвана, которому было поручено оболванить меня и который назойливо бубнил мне в уши:

— Есть парадные лестницы и черные лестницы, есть винтовые лестницы и пожарные лестницы, но эта лестница, как вы, бесстрашный Лестничный альпинист, имели возможность убедиться, совершенно особая, взбесившаяся лестница, вышедшая из всякого повиновения. Она не знает никакого выхода на волю и только раздает направо и налево чувствительные тумаки... Скверный лестничный анекдот, не правда ли?

Блуждающий по аду проложил себе дорогу ко мне и стал рядом: охраняя меня, он взял меня за руку и повел. Многие Страшные образины утратили свой страшный вид, мне показалось, что все они перекочевали сюда из паноптикума. Неустанный вопрошатель продолжал спрашивать и такие вопросы задавал доктору Гоху, который пришел сюда, чтобы приговорить меня к смертной казни за мои неразрешимые комплексы, что этот Нюхатель стал поспешно массировать себе мозг кокаином

и отменил смертный приговор. Отважный Глашатай правды сказал Анархисту всю правду, и тот, пристыженный, отступил и даже извинился: он, мол, не имел представления, в какое общество попал.

— Куник! — позвал знакомый голос. Боксер в ужасе оглянулся и затопал, убегая вниз по лестнице.

— Куник! Гад проклятый! — позвала Фанни.

Куник заявил, что потерял всякую охоту драться, а кроме того, я, конечно, непобедим, так как ношу знаменитый пояс «Геркулес», делающий человека силачом, он, дескать, на себе испытал действие этого пояса. Дядя Карл, мой сумасшедший дядя, в припадке буйного помешательства набросился на своих же, его с трудом удалось увести, а я тем временем преодолел еще несколько ступенек, не получив ни одного удара. Дядя принес с собой тот самый страшный крик, вслед за которым в тот раз взвыл весь Оплот мира, но я с песней, укрепляющей дух человека, прошел сквозь город улюлюкающих домов. Я прошел сквозь бурю звонков, как ни звенело у меня в ушах... Учитель Штехеле и профессор Вальдфогель уговаривали остальных моих дядей, расточительного дядю Оскара и великана дядю Гуго, не трогать меня. Оба дяди, не знавшие, к какому лагерю они принадлежат, легко позволили себя убедить и отступились от непонятного им заговора против меня. Профессор Вальдфогель этим не удовольствовался, он подошел и постарался приободрить меня:

— В этой лестничной битве все время помните о нашем старом Ксенофонте: «Thalatta! Thalatta! [1] Море! Свобода!»

Дальше с нескольких ступенек меня свел Вдумчивый корреспондент. Магда, которую вызвали сюда, чтобы она своими патриотическими песенками подстегнула моих врагов, а меня запугала появлением ду́хов, решительно повернула назад, как только фрейлейн Клерхен рассказала ей о Беседке счастья и подлых слухах, которые распространял Фек, этот проходимец: он вовсе и не был знаком с фрейлейн Клерхен, а повсюду бахвалился, что с нею сошелся. Господин Зигер из Охотничьего домика отвел в сторону старика Гартингера: как, мол, он, старый социал-демократ, мог быть заодно с теми, кто стоял «руки-по-швам»... Бабушка узнала священника, который держал речь над ее гробом, и как следует пробрала его: что ему, дескать, здесь нужно, решительно сказала она, и неужели ему не совестно? Золотко швыряли то в одну сторону, то в другую, как

---

[1] Море *(греч.)*.

настоящего Туда-и-Сюда; Зловреда и Пакостник тузили его кулаками, считая, что он не их поля ягода, но и Блуждающий по аду ткнул его в спину так, что он упал с лестницы, да еще сделал вид, этот Туда-и-Сюда, что страшно возмущен, и пригрозил на всех пожаловаться. Пай-мальчик, сын дворника, который успел к этому времени стать жалким ханжой и презренным клеветником, видя, что исход борьбы не решен, предлагал свои услуги обеим сторонам. Искатель счастья ясно дал понять Негодяйчику, чтобы он искал счастья в лагере Руки-по-Швам, и так прижал его к стенке, что тот жалобно заныл и наперед отказался от всех своих наветов. Вероятно, Молодой человек, которого я увидел, был тот самый, что некогда покинул отчизну, стремясь отразить в своих картинах «прекрасный мир»,— ведь с его появлением бабушка «преобразилась, одышка ее улеглась, она плясала и пела так, что священник, теперь уже обер-консисториалрат, в ужасе поспешил вон, повторяя, что здесь творятся такие дела, такие нечистые дела... Молодой человек показал мне тем временем свои картины, и я увидел как раз те из них, которые он не нарисовал, все стены на лестнице были разукрашены ими, и я увидел портрет в столовой, над комодом, освещенный так тепло, как никогда раньше,— портрет дедушки. И портрет заговорил:

— Я жил не весь. Жила какая-то частица меня. А ведь я хотел жить полной жизнью, всеми силами души и ума! Ты, быть может, тоже не достигнешь цельной жизни. Но ты будешь к ней пробиваться.

Появилась и старая фрейлейн Лаутензак, она благодарила меня за то, что я умирал вместе с ней, она ласково улыбнулась и сказала, что хочет помочь мне выбраться на волю... Вдруг снизу поползло какое-то зловоние.

— Все здесь? — крикнул чей-то голос.

— Да,— послышался нерешительный ответ; это была подмога отряду Руки-по-Швам, она очень запоздала. Но за нерешительным «да» взревело мощное «да» с нашей стороны. Это не мог быть «верблюд», он уже дохнул на меня своим мерзким дыханием; с верхнего этажа, из его квартиры, доносилось бульканье, он полоскал рот прописанной ему микстурой, а затем играл на виолончели. Теперь я вспомнил, кто это так стремительно приближался ко мне, размахивая ведерком с вонючей жижей,— мой старый знакомый. И как только мог я забыть его! Он все это время тайно безобразничал, а я ни разу не напал на его след!.. С минуту я слушал, как он меня уговаривает:

— Чего ты так торопишься? Куда спешишь? Зачем так отчаянно стараешься сойти с лестницы? Не надо ничего делать! Скажи: оставьте меня, я хочу покоя. Лень обязательно перекроит на свой лад жизнь Руки-по-Швам...

— Знаем мы,— ответил я,— это все равно что в чемодане все перевернуть вверх тормашками. Никакой новой жизни не получится.

— Эх ты, звездочет, звездочет! — рявкнул он.— Скажи-ка, видишь ли ты каналы на Марсе и марсиан — полуангелов-полудраконов, и прочитай, что говорят звезды.

Но Размахивающий вонючим ведерком бессилен был сделать мне еще какую-нибудь гадость. Он опоздал. Наконец-то я мог открыто высказать ему свое мнение, и на этот раз он удалился пристыженный, размахивая ведерком с вонючей жижей... И вдруг началась такая свалка, поднялся такой содом, такой гвалт, что Руки-по-Швам потерял меня из виду; среди всего этого шума и гама он громовым голосом звал меня по имени, но мои многочисленные друзья, стремясь внести смятение в ряды врагов, откликались все сразу: «Сюда!» Впорхнули Дузель и Газенэрль, и в шуме борьбы я услышал собственный голос, возвещавший, подобно трубному гласу:

— Я видел корабль!

Внизу, у дверей, стояли Ксавер, Гартингер и Зак, а против них Фек, Фрейшлаг, Крейбих, Палач и Кадет. По числу и физической силе Стойкие были намного слабее отряда Руки-по-Швам, но неожиданно Мопс перешел на сторону Стойких, и я успел примкнуть к ним, а вот и Левенштейн спешит к нам на выручку, он напомнил мне о книге, которую он протянул мне, когда тронулся поезд. Она лежит у меня в боковом кармане. Я на несколько секунд поставил чемодан на пол, раскрыл эту книгу, заглянул в нее и опять сунул в карман. Я сразу нашел строчку, делающую нас непобедимыми, и громко произнес: «...ибо Справедливые бьются, как волшебники». Полковник Боннэ между тем повернулся к Веселому гуляке и завязал с ним серьезный разговор, я слышал, как Трактирщик говорил:

— Жила-была колбасная горбушка...

Фек дернул Крейбиха за рукав:

— Оставь их, теперь уж нет никакого смысла, они сильнее нас...

Фрейшлаг исчез. И Палач тоже уныло поплелся прочь. Кадет, Фек и Крейбих держались вместе, но не предпринимали никаких действий. От имени их всех Крейбих сказал:

— В другой раз! Позднее!

В последнюю минуту Гартингер грустно шепнул мне на ухо:

— Христине это было уже не под силу...

Вот какое сражение разыгралось на лестнице, не очень широкой и всего в каких-нибудь пятьдесят ступенек, лестнице, которая вела из жизни Руки-по-Швам в Стойкую жизнь.

* * *

Я выбежал на улицу.

По небу, по высокому, бесконечному небу тихо ползли облака...

Если уж такой, как я... Тогда и вам, вам всем не надо падать духом...

«Ура! Лютих пал! Ура!» — хрипло донеслось с балкона. На балконе стояла Христина и размахивала черно-бело-красным флагом.

ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

Перевод
Г. Я. Снимщиковой

КАНАТОХОДЕЦ НАД РАЗВАЛИНАМИ, ИЛИ СЛУХИ

Высоко над развалинами разбомбленного города был натянут канат, и день за днем собирались люди, дожидаясь выхода отважного канатоходца, который решился бы пройти по канату над пропастью. Но вот прошла неделя, а смельчак все не появлялся. Тем не менее люди продолжали толпиться на площади и смотрели вверх, туда, где между руинами двух башен — словно от скалы к скале — был натянут канат, смотрели в небо, по которому бежали облака, и казалось, что канат вибрирует в этом растревоженном молвой воздухе,— все ждали выступления канатного плясуна, и о нем самом, и о грядущем событии высказывались самые невероятные предположения.

Итак, люди стояли и стояли, и я стоял среди них, хотя сперва и сторонился толпы и вовсе не собирался глазеть на этот повисший над развалинами канат.

«Какой вздор! — говорил я себе.— Неужто нет у тебя лучшего занятия, чем ротозейство, можно ли так попусту разбазаривать свое время?» И тем не менее я не жалел времени, и стоял в толпе, и глазел, и только с наступлением темноты нехотя уходил вместе со всей толпой с площади, хотя меня и мучила одна мысль: вдруг канатный плясун дерзнет пройти по тросу ночью, при свете прожекторов, вдруг он сделает это в мое отсутствие. Мне хотелось во что бы то ни стало быть при этом, и едва светало, как я одним из первых появлялся на площади и глазел на канат.

Правда, я посмеивался над самим собой, но находился все время в напряженном ожидании и вслушивался во все разговоры о необыкновенном событии.

Ну и вздор! И вот люди, которые в недавном прошлом верили в нелепейший вздор и распространяли его, теперь снова уверовали в нелепую авантюру, а я стоял среди них, таращил глаза и, навострив уши, жадно впитывал в себя всю эту чушь.

Я стоял и глазел.

Я слушал и слушал, и когда ко мне обратилась какая-то старушка и спросила, как обстоят дела с канатоходцем, я и сам рассказал ей невероятнейший вздор и даже заверил ее, что завтра, ровно в двенадцать часов, состоится выступление канатоходца.

Потом я было спохватился и крикнул старушке вдогонку: «Нет, нет, все это вздор!» — но опровержение не возымело действия, старушка твердо уверовала в чушь, которую я ей наговорил...

Короче говоря:

Однажды канатоходец поднялся на полуразрушенную башню и, сделав несколько шагов по заметно качавшемуся тросу, потерял равновесие и рухнул вниз. Смерть его была мгновенной... Полиция оцепила площадь, труп унесли, смыли кровь с мостовой.

И *я не был* при этом! Я упустил именно это мгновение, хотя неустанно, день за днем, ожидал появления канатоходца. (Более того, я не раз видел во сне этот номер,— и мне казалось, что я сам исполняю этот танец на канате.)

Когда оцепление было снято, люди столпились на месте происшествия и увидели ровную мостовую, на которой не осталось ни малейших следов случившегося. И снова день за днем стояли люди у этого места и смотрели туда, где не на что было смотреть,— и как прежде они глядели в небо, так теперь уставились в землю, и я стоял вместе с ними и тоже глазел.

Вот ведь вздор, так вздор! Ничего не было, и все же они смотрели как зачарованные, и я тоже не мог оторвать взгляд от этого места.

Люди тянулись сюда издалека, шли пешком, ехали на велосипедах и в автомобилях, стояли и глядели, и шептались, и прислушивались, и тут я сделался настоящим выдумщиком и популярным сказочником, и меня постоянно окружала толпа благоговейных и доверчивых слушателей.

Не было такой нелепости, в которую не поверили бы эти люди, да я и сам очень скоро поверил в фантастические истории, которые рассказывал. Канатный плясун превратился в моих рассказах в сказочного героя, мне нравилось украшать его прошлое легендами, и единственно, чем я мог от него отделаться,

было преувеличение до нелепейшего гротеска, при котором весь мой обман лопался, как воздушный шар. В то, что канат после падения плясуна еще долго раскачивался из стороны в сторону,— верили все; и то, что канатоходец врезался при своем падении на три метра в землю и теперь покоится на трехметровой глубине под землей,— и это верили лишь некоторые, наиболее стойкие; в то, что по ночам дух канатоходца витает над тросом, верили тоже немногие; а вот в то, что канатоходец был совершенно необыкновенным человеком,— верили все. А когда я наконец рассказал всю правду о происшедшем, то мне сперва не поверил никто и меня чуть было не прогнали с площади как обманщика, и если этого не случилось, то лишь потому, что я обладал теперь неотразимой силой убеждения,— люди верили мне, ибо я и сам на время безраздельно подчинился этому вздору. Так удалось мне наконец, после немалых усилий, убедительно представить истинное положение дел и избавить людей от власти нелепицы.

Вот какой понадобился окольный путь, чтобы добраться до истины. Сперва я оборонялся от этого вздора, потом он овладел мною, но я смог его одолеть лишь тогда, когда довел его до полного абсурда,— вот тут и наступил решительный перелом. Хочу ли я этим сказать, что нелепость можно побороть только таким образом? Ни в коем случае. Многие найдут в себе силу сразу же плюнуть и отвернуться от глупости. Иные останутся и будут упорно радеть за истину. Другие будут стоять и глазеть, поглощенные слухами, сами как бы воплощение слухов, но и они в один прекрасный день доберутся до истины. Самые распалившиеся остынут быстрее, а равнодушно-суеверные с трудом избавятся от суеверия. И поэтому человек страстный, одержимый окажется ближе к истине, чем тот, кто бесстрастно ищет в ней «вероятности» или принимает как «рабочую гипотезу».

Правда постигается всего лучше, когда ее ищут *стеная*.

БАЛЛАДА О НЕВОЗМОЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Жил некогда на свете «невозможный человек». Ко всему невозможному, что делал этот невозможный человек, следует добавить и его невозможное отношение к женщине, которая любила его самозабвенно, всем сердцем. Невозможный человек принимал эту любовь и не мог на нее ответить — он вообще не любил никого, кроме себя,— и он делал все, чтобы всеми возможными способами оскорблять и мучить любящую его женщину.

От времени до времени у него возникала мысль, что у них сложились отношения совершенно невозможные,— и когда он так думал, у него на мгновение появлялось такое чувство, будто в нем живет и некий другой человек, быть может даже возможный человек,— но уж такой маленький, такой неразвившийся был этот «другой», что и говорить-то о нем не стоило,— нечто жалкое, убогое, скудное, погребенное глубоко под наростом времени.

Так вот и жил невозможный человек под корой своей невероятной черствости, пока однажды не произошло убийство. В своей любви к невозможному человеку любившая его женщина стала со временем также невозможным человеком и из-за своей несчастной любви приносила невероятные страдания другому человеку, любившему ее всем сердцем,— она мучила и дурачила его, хотя он делал все для того, чтобы быть ею любимым. Наконец и этот третий стал постепенно — от любви своей — невозможным человеком и однажды совершил самое невозможное: застрелил эту невероятно мучившую его любимую женщину.

Когда первый невозможный человек узнал об этом убийстве, ему показалось, будто это *он* сам совершил его, и он почувствовал, что в нем поднимается «другой», что лопнула и разлетелась в прах его черствая оболочка, и тогда он ощутил прилив невероятной силы,— ему показалось, что это убийство поможет ему убить в себе невозможного человека и стать человеком возможным, точнее говоря — просто человеком.

И тогда невозможный человек воспользовался случаем и взял на себя вину за убийство.

Так как подлинный убийца бежал, потрясенный своим поступком, невозможному человеку удалось выдать себя за убийцу, тем более что сам он был твердо убежден, что является настоящим убийцей, ибо своим невозможным поведением накликал это убийство, а тот, другой, был только исполнителем, заместившим его. Невозможного человека арестовали, и он спокойно ждал приговора.

Он сильно изменился за время, проведенное под арестом. Жалкое, убогое нечто, придавленное в нем наростом времени, росло день ото дня; у него открылись глаза, и он увидел себя и все окружающее в новом свете. Он был счастлив в тюремной камере, как никогда дотоле не был счастлив среди людей; впервые в жизни в этой одиночке он ощутил свою связь с людьми, и весь мир, до самых глубин, открылся его взору.

Правда, теперь его охватил чудовищный страх смерти, и в часы предсмертной тоски он неотступно думал о предстоящей казни. Иногда он утешался мыслью, что в нем будет казнено все невозможное — и тогда освободится другой, возможный человек. Впервые в жизни, здесь, в одиночном заключении, почувствовал он всю силу любви, все его помыслы были обращены к женщине, в несчастьях которой он был виновен. Порой ему даже казалось, что своей любовью он мог бы вернуть ее к жизни.

Но вышло все по-иному.

Когда в последний день судебного разбирательства был объявлен смертный приговор, перед судьями предстал подлинный убийца и со всей убедительностью доказательств заявил, что именно он убийца.

Завязалась борьба: каждый из них старался выгородить другого. Приговоренный к смерти настаивал на том, что он, и только он, является убийцей, и просил, чтобы приговор был приведен в исполнение. Но его противник предъявил неопровержимые доказательства и убедил судей, что убийца он, и только он, так что суду оставалось лишь отменить первоначальный приговор и признать виновным в убийстве женщины ее несчастного поклонника.

Не помогло первому и откровенное заявление о том, что второй был только исполнителем, что убийство годами подготавливалось им, невозможным человеком; не помогли ему и мольбы — снизойти к нему и разрешить окончить эту невозможную жизнь по-человечески, достойно возможного человека. Не помогло и предложение приговорить к смертной казни обоих,— предложение, которое он выдвинул, когда понял, что его оправдают. И все же его оправдали и насильно вывели из камеры, в которой он стал другим человеком. На свободе он очень скоро снова стал прежним, но так как возвращение в прежнее состояние уже не является простым повторением, но и его усугублением, то этот некогда невозможный человек дошел в своей невозможности до того, что покончил жизнь самоубийством. В минуту просветления, накануне добровольного ухода из жизни, в нем ожил и властно заявил о себе «другой», и тогда он поспешил привести в исполнение свой смертный приговор, чтобы не дойти до пределов невозможного.

Так вот в каждом бесчеловечном и невозможном человеке таятся человеческие возможности, таится возможный человек, проявляющийся отнюдь не всегда столь драматично, как в данном случае. Ведь невозможны люди совсем не от рождения, они

становятся невозможными из-за бесчеловечных и невозможных условий. И первым признаком перемены является тревожное осознание собственной невозможности, никчемности, негодности, вызываемое этими невозможными обстоятельствами.

Железо надо ковать, пока оно горячо. Ведь часто бывает, что возможность перемены теплится в человеке одну-единственную секунду.

ЧЕЛОВЕК И ЛОШАДЬ

Это случилось в пору истребления,—

когда необозримые пространства были покрыты трупами;

когда в городах громоздились горы развалин;

когда миллионы людей погибли страшной смертью: сожженные в негаснущем пламени, задушенные в газовых камерах, спаленные жаром пустыни, замерзшие в ледяных просторах, раздавленные танками или разорванные гранатами на полях сражений, погребенные под развалинами городов, прибитые градом бомб.

Это случилось в пору истребления,—

с человеком, долгие годы смотревшим на все это, с человеком, у которого погибли жена и дети, который потерял брата и родители которого, бросив все, бежали куда глаза глядят...

Это случилось в пору истребления,—

с человеком, который был много раз ранен, лежал во многих лазаретах, который принимал участие в расстрелах и видел, как сотни людей были заживо зарыты в землю, который только что был снова ранен и снова находился на пути в лазарет, где ему должны были отнять руку.

Это случилось в пору истребления,—

случилось, что этот человек, в дни, когда умирали сотни и сотни людей, увидел на дороге умирающую лошадь и при виде этой умирающей лошади почувствовал волнение, какого не испытывал никогда,

и он понял, глядя на издыхающую лошадь,
что он живет в бесчеловечное время,
в пору истребления...
Глядя на издыхающую лошадь, он понял,
что сам давно перестал быть человеком.
И удивленно смотрел он вокруг, и с удивлением видел,
что то были люди,—
что это люди, сваленные друг на друга, сгрудились горами трупов.

И тогда впервые осознал он смерть городов,
и смерть своей жены и своих детей,—
и собственная смерть представилась ему.
Вот какое волнение охватило его
при виде умирающей лошади...

Так оно было в пору истребления.

САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ

«Это же само собой разумеется, это естественно, это ясно само по себе» — сплошь пустые, лживые фразы, целью которых было скрыть, что ничто уже само собою не разумелось и ничто больше не было естественным...

Разве как и прежде само собой разумелось, что человек становится человеком только среди людей, что человек нуждается в человеке, дабы стать человеком, дабы он мог остаться человеком? И сколь же противоестественно было в пору истребления говорить естественные вещи, сколь опрометчиво было отстаивать естественное и спорить с теми, кто говорил: это ясно само по себе.

Так было в пору истребления, когда все само собой разумеющееся, все естественное в человеческой жизни перестало быть естественным, разумеющимся, и под вопросом оказалось даже естественное жилье, которого люди так часто лишались,— и тогда уже не существовало само собой разумеющегося, привычного стола и привычной кровати, да и сколько других вещей, таких милых, и близких, и привычных было тогда уничтожено.

В пору истребления случилось так, что, когда мир погрузился во мрак и свет стал бесценной редкостью, человек снова открыл для себя естественное и среди всеобщего помрачения понял, какая это драгоценность — свет. Каким великолепным был свет, который прежде казался нам таким привычным, а теперь снова засиял для нас во мраке наших городов,— люди были полны благодарности за то, что свет снова засиял из мрака.

Мы были полны благодарности, и нам казалось, что мы словно впервые открывали «само собой разумеющееся»: когда мы вновь сидели за столом, гладили его и говорили ему ласковые слова: «Наш милый стол, прими нашу благодарность тебе

и тому, кто тебя изобрел, и тому, кто тебя соорудил, всем вам — хвала и слава!»

С теми же словами обращались мы и к кровати, когда мы смогли вновь подняться с земли, на которой валялись, и мы стали дивиться тому, что изобретатели всего само собой разумеющегося не получили поименной известности и не вошли поименно в историю человечества, хотя в ней прославлялись все те, кто обесславил себя участием в истреблении всего естественного. Истинно человечески естественное! О, это священное само собой разумеющееся! Пусть хвала в твою честь не знает предела!

ОДИН И ДРУГОЙ

Это случилось в пору истребления, когда при встрече один человек сказал другому: «Все пропало. Я потерял все. Кончено». Другому не пришлось долго расспрашивать, чего же именно лишился встреченный им человек, потому что тот подробно исчислил ему всю обстановку, уничтоженную при бомбежке его жилья. Каждая из перечисленных им погибших вещей: и ваза, и всевозможные безделушки на комоде и, разумеется, самый комод,— казалось, срослась с этой человеческой особью, которая, взывая к сочувствию, оплакивала свои потери. И ни слова не было сказано о том, что сам потерпевший спасся от гибели. Не было речи и о том, что жители дома погибли под бомбами; и лишь между прочим упомянул этот жалобно стенавший рассказчик, что недавно погиб на войне самый близкий ему человек.

Другой же, по-видимому, не принимал утрату мебели слишком близко к сердцу и только дивился, как это человек может так привязаться к вещам, так срастись с ними. Но вскоре он сообразил, что вещи, сливаясь с воспоминаниями, сами становятся как бы живыми существами, творениями, которым человек, заработавший их своим трудом, ухаживавший за ними изо дня в день, передал часть своего существа. «Как же можно так *заблудиться в вещах!*» — не переставал, однако, удивляться другой, и ему казалось, что человек, так сросшийся с вещами, сделался сам если еще и не вещью, то чем-то вещным. Превратившись в вещь, он утратил понятие о порядке вещей,— и только этим другой мог объяснить, что для его собеседника утрата вещей значила больше, чем утрата живых существ.

Другой чуть было не рассмеялся, когда раздалась новая жалоба — по случаю утраты плюшевой софы, но ведь все эти

утраченные вещи были как бы частями его собеседника, его созданиями, погибшими под бомбами. И другой сказал: «Все у тебя есть, раз ты сам спасся,— плюшевую софу можно вернуть, а мертвых — никогда». Но его собеседник охотнее верил в воскрешение из мертвых, чем в возвращение плюшевой софы. У людей есть надежда на загробное бытие, а вещи казались ему только здешними, неповторимыми и невозвратимыми. Другому же все представлялось совсем наоборот. Не скрывая своего несогласия, он все же думал, что его собеседник так подчеркнуто выдвигает на передний план вещи, дабы облегчить себе горечь от понесенных им чудовищных человеческих потерь. Быть может, полагал он, вещи приходили на помощь человеку, вырастали перед ним как защитная стена, вбирали его в свою среду, чтобы не дать ему ощутить всю убийственную тяжесть понесенных потерь? Быть может, этот человек прибегал к вещам, чтобы защищаться от людей? Быть может, этот человек искал в вещах броню от зияющей пустоты? И такой вопрос возникал и казался неразрешимым. Вещи, сотворенные человеком, не дают человеку найти себя, вернуться к себе: но ведь без овеществления не было бы и града бомб, и поры истребления, когда люди живут не живя... Дóлжно ли оставлять людей в покое и дать им жить такими, какие они есть, или же должно возбуждать тревогу,— ко всем тревогам, которые терзают мир, присовокупить еще новую тревогу? Ведь покой найдем мы только в тревоге и через тревогу придем к тому покою, на котором покоится мир...

Если бы кто-то третий присутствовал при встрече этих двоих, он сперва пришел бы в отчаяние от отчаяния одного, утратившего убранство своего жилища; но, узнав мысли другого, он воспрял бы духом и сказал себе: пока существуют такие, как этот другой, существует и другое бытие и другое будущее; ибо тот, кто понимает, что мы живем не живя, тот уже совершил первый шаг от жизнеподобия к жизни...

Так совершаются «чудеса» и в пору истребления.

ВСТРЕЧА С ЛЮДЬМИ И ВЕЩАМИ

Они потеряли своих любимых и оказались совершенно одинокими в этой убогой жизни. И я дивился их самообладанию и тому, как скоро они примирились со своей утратой. Они почти не вспоминали о своих «дорогих покойниках», и если и говорили о них, то деловито и бесстрастно. Но их всех охватывало болез-

ненное и жалостливое возбуждение, когда они заговаривали о своей утраченной мебели. Казалось, что мысль об утраченной квартире («Вы, конечно, помните прелестный мейсенский сервиз и кружевные накидочки собственной ручной вязки?») волнует их несравненно больше, чем воспоминание о человеческих существах, унесенных смертью. (Только люди оплакивают людей. А вещи оплакивают вещи. Человек овеществился, а вещи очеловечились,— так уравнялись люди и вещи, но в этом равенстве уже содержалось господство вещей.)

Вот почему я боялся встречи с матерью после двенадцати лет разлуки. Отец мой умер за эти годы, а мать утратила под градом бомб все, кроме ручного чемоданчика, в который были сложены умывальные принадлежности, некоторые документы и фотографии. Она снимала комнату у чужих людей, и мне было страшно встретиться с этой мучимой одиночеством старой женщиной, которая была моей матерью. Все ее родственники, кроме племянницы, скончались, мой брат застрелился много лет назад, я доставил ей немало хлопот и огорчений и теперь, двенадцать лет спустя, возвращался к ней, как «блудный сын».

Но мать не проявила ни малейшего волнения. С раннего утра до позднего вечера она была занята, хлопотала и ходила по поручениям других, чужих людей. Казалось, что она уже не горюет о прошлом. Она показала мне спасенный чемоданчик и ласково погладила его. Она сделала все, чтобы свидание с нею было для меня не таким тяжким, как можно было ожидать. Мне приходилось сдерживаться и сдерживать свои чувства при виде той окаменелости, которую я встретил. Она была словно под наркозом — совершенно неспособна к какому бы то ни было душевному движению, в том числе и к проявлению материнского чувства. Так — тихо и благопристойно — проходила наша встреча. Тихо и благопристойно прошло и посещение могилы отца. Не покойник интересовал ее, а могила, памятник, цветы, и все, что она рассказала мне по пути о том, как умер мой отец, походило на врачебную справку. «Жизнь продолжается» — это выражение, которое всякий раз потрясает меня, вновь напомнила мне моя мать, которая рассказывала мне о незначащих и ничтожнейших частностях из своей повседневной жизни, а затем извинилась и ушла, сказав, что ей необходимо сделать кое-какие покупки.

Мне вспомнились обстоятельства, при которых покончил с собой мой пятнадцатилетний брат, ставший любимцем родителей, когда они сочли меня безнадежно погибшим. К

тому же мой брат был уже в отрочестве выдающимся виолончелистом; он с успехом выступал в многочисленных концертах.

Отец был вызван в полицейский участок. Там ему сообщили о смерти брата, застрелившегося на Швабингском кладбище. Вернувшись домой, отец упал без чувств на лестнице, а очнувшись, заплакал навзрыд. Потом родители на целый час удалились в спальню. Они переоделись в черное, обсудили распорядок похорон и вышли из спальни вполне овладевшими собою. Все было сделано «как нельзя лучше», и «жизнь продолжалась».

Но женщина, о которой мне однажды рассказали в Иене, узнав, что ее муж убит на войне, не захотела, чтобы жизнь продолжалась так, как раньше. Она кричала и неистовствовала, кидалась на землю и рвала на себе волосы, она разгромила все в своей комнате, не пощадила ни одной вещи, которая попалась ей под руку. Когда же ей принялись объяснять, как геройски погиб ее муж, она впала в совершенную ярость и обрушилась с криками на всех, кто старался ее успокоить и утешить. «Почему я не прокляла эту войну с самого начала! — кричала она и била себя по лицу.— Слишком поздно! Поделом тебе!» Была вызвана полиция, потребовали водворения женщины в дом умалишенных. Но директор психиатрической больницы тайный советник Бинсвангер ответил, что не примет эту женщину в клинику, потому что у нее нормальная и истинно человеческая реакция, в отличие от тех, кто при утрате любимого человека полностью владеет собою и, следовательно, является вполне созревшим для сумасшедшего дома, в особенности же — заметил он — это относится к тем, кто владеет собой, теряя близких на войне, служащей неправому и злому делу.

БЕЗДЕЛЬНИК

«Все дурные дела, совершенные мною когда-либо, весят намного меньше, чем мое ежедневное преступление — безделие. Под видом деловитости, не оставляющей мне ни единой свободной минуты, под личиной человека, изнуренного и переутомленного работой, увешанный бубенчиками бесконечных телефонных разговоров, на маскараде заседаний и совещаний: так провожу я свою жизнь в безделии, выдавая все это за деятельность, изображая все это, как усердие и выполнение долга...

Не по тому, что я сделал, не по тому, что сказал,— и не по тому, сколько я сделал, и не по тому, сколько я сказал,— будут меня оценивать, а по тому, от чего я отказался и что упустил сделать и сказать. От чего же я отказался? От жизни. Что я упустил? Мою жизнь. С помощью изысканно продуманной системы эрзац-поступков и мнимой деятельности я уклонился от настоящих поступков и подлинно человеческих действий,— и когда я умру, положат в гроб бездельника, чьи способности пропали втуне, бездельника, превратившего свою жизнь в пустую игру.

Быть может, единственное, чего я не упустил сделать, это признания в том, что я — бездельник.

Но вот уже время не оставляет мне времени задуматься над этим и до конца продумать эту мысль, и время не дает мне времени подумать над тем, какие дела должны воспоследовать за этим признанием. Я очень занятой человек,— это надо понимать,— мое время строго распределено, оно точно распланировано. Была секунда покоя, которую я благоговейно провел у алтаря моей непрожитой жизни, и вот уже должен я распрощаться с вами и возвратиться к моей безжизненной жизни, но на прощание я хочу сказать вам: «Не исчисляйте ни того, что я делал, ни того, что говорил,— исчислите то, что составляют дела и слова мои,— и тогда окажется, что бессчетны преступления моих несделанных дел и бессчетны человеческие слова, не сказанные мною,— бездельник я и пустобрех, и да будет вам благо, если вам не придется сознаться в преступлении таком же, как мое!..»

ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

Трижды содрогается земля при жизни человека.

В первый раз содрогается земля, когда человек осознает себя и постигает, что это значит: быть человеком. Тогда земля склоняется перед величием человека и содрогается в первый раз.

Во второй раз содрогается земля, когда человек поднимается над судьбой и узнает, что он — хозяин судьбы,— тогда земля склоняется перед всемогуществом человека и содрогается во второй раз.

В третий раз содрогается земля, когда человек находит дорогу к человеку и люди объявляют: «Мы переделываем мир».

Тогда земля в предчувствии нового плодоношения содрогается в третий раз.

И это содроганье сливается над веками и бесконечностью с раскатами грома, которые сопровождали сотворение мира.

ЭЛЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ

Ночью сквозь витрину хорошо освещенного магазина был виден витающий под потолком велосипед; он вращался на блестящем диске и был виден со всех сторон, сверкающий всеми своими частями. Он казался этаким велосипедом-манекеном, — и я благоговейно взирал на него с улицы. То была новейшая модель, которую только что выпустила всемирно известная фирма, снабдив ее всем, что вызывает волнение у завзятого велосипедиста. Я смотрел на эту модель так, как некогда трубадур взирал на прекрасную даму; вид этой современной музы настроил меня на стихи в ее честь. Для создания их мне были нужны технические сведения, и мысленно я обратился к этому существу, прося дать проспект, содержащий необходимые данные о нем, сверкавшем во всем блеске своей славы. Я представился ему и обратился со следующими словами: «Десять лет ездил я на велосипеде, подобном тебе, и когда мне пришлось бежать из Германии, я посвятил сонет этому любимому, покидаемому мною велосипеду». Велосипед-манекен невозмутимо вращался на своем диске, и мне казалось, что он хочет сказать: «Все марки велосипедов, выпущенные ранее, не выдерживают сравнения со мной. Как великолепно я сработан, пятнадцать лошадиных сил при скорости более ста сорока километров. Это — шедевр!» — «Сколько же, скажи мне, ты стоишь?» — спросил я еще более настойчиво, но тут же мне захотелось взять обратно свой вопрос, столь же неуместный, как если бы я вздумал спросить о цене неоплатно-прекрасной дамы. Но предмет моего поклонения пропустил мой вопрос мимо ушей, и я, так и не дождавшись его ответа, стал думать о самом себе, и мне стало грустно, ибо причина его молчания была кристально ясной. «Не подхожу я к твоим седым волосам» — так мог ответить велосипед, но он был вежлив и потому хранил красноречивое молчание. К тому же у этого полюбившегося мне велосипеда, у этого велосипеда моей мечты, не было ни единого пальца, которым он мог бы постучать по моему лбу, словно говоря: «Ездить на велосипеде — в твоем возрасте!..»

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Мне казалось, что она хороша, очень хороша, и я не мог не восхвалять ее красоту. Я сказал ей, как она хороша, повторил это себе: она хороша, хороша, удивительно хороша. И другим людям — желавшим или не желавшим ее видеть — я показывал мою красавицу и выспрашивал их о впечатлении, хотя и выспрашивал только для вида. От нее мне хотелось услышать похвалу моей собственной красоте. Но красота моей избранницы была красотой дешевой, расхожей, вульгарной, этакой, как говорится, всесветно-стандартной красотой, этаким красивым дюжинным товаром — привлекательная пустенькая куколка, движимая тщеславием, высокомерием и эгоизмом.

Она была остроумна,— да, я любовался ее умом. И, ободренная моим обожанием, она безудержно болтала и высказывала сплошь препротивные глупости, да еще в столь навязчивой форме, что даже такой безрассудный поклонник, как я, не мог не заметить этого. Впрочем, она умела становиться в позу, когда не молола без удержу языком и была способна контролировать себя. Она становилась в позу, набивала себе цену, принижая и окарикатуривая пошлыми остротами достоинства других; злое замечание из такого нежного ротика безошибочно действовало на любого полуинтеллигента, да и не только на него, но и на меня, хорошо знавшего эту манеру возвышать себя за счет других; прелестная пересмешница действовала без промаха. Для нее не прошли бесследно два года супружества с неким публицистом, который не жалел усилий, чтобы приобщить ее к кое-каким знаниям. В разговоре она проявляла несомненные способности к подражанию, и порой могла ловко воспроизводить чужие мнения и посмеяться над собой, конечно в преувеличенно карикатурной манере, свойственной людям, совсем не собирающимся всерьез исправлять свои ошибки и не идущим дальше этакой наигранной самокритики. Всматриваясь пристально в это навязчиво остроумничающее существо, я обнаружил, что ее красота не более чем внешняя приятность, красивая видимость, прикрывающая весьма сомнительную сущность, что она похожа на довольно простенькую вещицу, принаряженную для витрины; и вот эта витринная красота сумела подчинить и продержать меня в своем плену,— и если бы она так беззастенчиво и безудержно не работала языком и умела разрядить свои глуповатые суждения значительными паузами и молчаливыми улыбками,— я не поручился бы за то, что некоторое время спустя написал бы эти строки.

ДВОЙНИК

Жил-был некогда двойник, который настолько походил на свой оригинал, что успешно использовался последним, очень занятым человеком. Таким образом, занятой человек мог выступать в двух лицах: однажды как самостоятельная личность, в другой раз при помощи двойника. Какому занятому человеку не хотелось бы так раздвоиться! Однако постепенно между оригиналом и двойником возникли напряженные отношения, которые со временем приняли прямо-таки невыносимый, враждебный характер, и так длилось до тех пор, пока двойник, открыто объявив войну оригиналу, не взял всю власть в свои руки. За то время, что двойник представлял оригинал, он во многом превзошел его. Оригинал же, отвечая на попреки двойника в том, что он оказался никчемным и жалким, заявил, что двойник был не более как его карикатурой, и потребовал от него, чтобы тот перестал его шаржировать и, подражая, строго придерживался оригинала. «Но я же больше, чем копия,— с негодованием возражал двойник,— и уж если кто не соблюдает верности оригиналу, так это прежде всего ты сам».— «Нет, это как раз ты со своей погоней за оригинальностью!» — бранился оригинал. «Нет, ты со своей жаждой быть оригинальным!»— отвечал двойник. «Кто же кто?» — задумчиво спросил себя оригинал, точнее говоря, первоначальный оригинал, ибо теперь уже за право на оригинальность боролись два оригинала. «Ты — жалкая копия самого себя! Ты — предатель!» — воинственно обрушился двойник на оригинал. И с возгласом: «Долой оригинал во имя оригинала! Да здравствует оригинал!» — он водрузился на место оригинала. О, эта двойственность возможностей!

МОЙ УЧИТЕЛЬ

Я не знал тогда, почему каждый раз, когда я с ним встречался, во мне вспыхивала ярость. Все раздражало меня в нем, мне казалось, что он существует для того, чтобы будоражить меня и приводить в бешенство, я готов был ударить его кулаком и только в последний миг прятал в карман сжатую в кулак руку.

Он был моим учителем и знал больше, чем я. Даже гораздо больше, бесконечно больше,— казалось, он знает все, и никогда я не встречал никого, кто обладал бы бóльшими знания-

ми. И не только в той или иной области науки, но и по всем житейским вопросам, и что больше всего меня бесило — у него была твердая позиция, было свое мнение,— и свои взгляды он выражал открыто и упрямо.

«Чего только этот тип не воображает о себе! — ворчал я.— Похоже, что он считает себя кладезем премудрости, мы еще выбьем всезнайство из этого паршивца...»

«Ага,— злобно ликовал я,— пусть бы он лучше подумал о своей расхлябанной походке, этот книжный червь и домосед. При забеге на тысячу метров ему можно дать восемьсот метров форы и все-таки обогнать его».

Все, что можно было бы собрать против него, накапливалось во мне, чтобы я мог противостоять его превосходству.

В своем воображении я приписывал ему подлейшие преступления, осуществленные в глубокой тайне, сочинял о нем грязнейшие адюльтерные истории и угрожал ему мысленно: «Мы все выведем на чистую воду, погоди-ка, мы доберемся до тебя».

«Нужны мне твои знания,— ополчался я против него,— плевать мне на твои истины, ты, старый болван!» Он был на двадцать лет старше меня, и я тешил свое воображение тем, что представлял себе, как он умрет от тяжкой болезни, а я приду на его похороны. «Прав тот, кто выживает»,— говорил я, хвастаясь своей молодостью; мне и в самом деле казалось тогда едва ли не моей заслугой, что я молод.

Так я цеплялся за все, что, как мне думалось, могло поставить меня выше моего учителя, ибо сам я был — и это явствовало из всего моего поведения — ленив и никчемен, правда, при всем моем невежестве, у меня была, по-видимому, нечистая совесть,— ведь иначе учитель не обладал бы для меня такой неодолимой притягательной силой, которую я пытался побороть столь глупым образом.

Но я считал его своим врагом.

Я воображал, что он шел за мною по пятам, что он преследовал меня, и придумывал всевозможные уловки, чтобы ускользнуть от него или отомстить ему разными скверными выходками. Даже гонорар, который мой отец поручал передать ему, я брал себе и покупал на эти деньги в «Лавке чудес» зловонные петарды, лягушек-хлопушек и прочие взрывающиеся игрушки, которыми я хотел его позлить.

Особенно же раздражало меня, когда учитель делал вид, что он мне ровня, и, разговаривая на повседневные темы, смеясь

и шутя, держался как мальчишка, а однажды даже предложил пойти со мной в воскресенье на футбол.

«Ага,— злорадствовал я,— теперь еще и эта затея; кто знает, что за этим кроется,— ведь он такой пройдоха...»

И так тянулось годами. И вот он умер, этот столь странно ненавистный мне учитель.

И в день его похорон мне стало ясно, что я провожаю в могилу своего лучшего друга.

Его знания, которым я строптиво противился, вошли в меня против моей воли,— правда, в незначительной мере, ибо приобрести все его знания я не смог бы при самых лучших намерениях.

К тому же, усваивал я знания не потому, что стремился к образованию, а потому, что хотел ему насолить; я хотел все знать лучше его, чтобы истина была на моей стороне и чтобы последнее слово тоже было за мной: так враждебно я относился к нему. И это враждебное отношение толкало меня на яростную учебу, и я просиживал над книгами дни и ночи, я штурмовал науки и знания, чтобы нанести ему *полное* поражение, к которому я стремился со всей страстью.

Я часто называл его моим «злейшим врагом». И этому злейшему врагу я обязан тем, что из меня что-то получилось. Еще и ныне — более чем сорок лет спустя — я питаюсь его знаниями. Он сделал меня человеком. Я никогда не стану таким, как он, ибо своими знаниями и своей нравственной силой он стоит недосягаемо высоко надо мной. Но он стал для меня своего рода совестью, и, собираясь что-либо предпринять, я спрашиваю себя: «А что бы он сказал на сей счет?» И то, что я пишу, я мысленно даю читать ему первому. Его приговор строг, но верен и справедлив.

Никогда не забуду я его глаза, от взгляда которых не могу укрыться и по сей день. Мне казалось, что они меня пронзают, что они обнажают все мои тайны. Долго я не мог выдерживать их взгляда и научился делать это только тогда, когда был уверен, что сделал что-то хорошее. А взгляд этот был добрым и понимающим, он видел мою никчемность, и именно его превосходство в доброте так возбуждало меня против него,— возбуждало настолько, что мне нередко хотелось, чтобы учитель в гневе побил меня или сказал мне грубое слово. Но он никогда не делал этого. Он только смотрел на меня с грустью, с такой невыразимой грустью, словно смотрит в бездну бесчеловечности и словно в моем облике ему открывались беды и горести всего

человеческого рода. Но стал ли бы он отдавать мне так много сил, если бы видел во мне безнадежный случай? Он никогда не говорил об этом, даже намеками. Может быть, он в самом деле только выполнял свой долг, не считаясь с тем, что перед ним — безнадежный случай. До его смерти ничто не говорило о том, что я стану человеком, который хотя бы отчасти отвечал его идеалам,— но он хотел испробовать все возможности...

Так пусть же после стольких долгих и тяжких лет будет поставлен ему памятник в этой книге: ему, кто был некогда моим учителем, который остался им на всю мою жизнь и останется им до конца моей жизни, этому незабываемому, безымянному человеку: моему большому врагу, который был моим лучшим другом.

ГОВОРЯЩИЙ «НЕТ!»

Решительно на все, что говорил мой отец, я отвечал — нет. Каждому из его приказаний я следовал с неохотой. Я противился согласию с ним даже тогда, когда должен был признаться самому себе, что его суждение было верным. В этом протесте я ощущал свою самостоятельность, свою личность. У меня было, таким образом, «свое мнение», которое нередко выражалось в том, что синее небо, если отец называл его синим, я называл красным. «Отвратительная погода!» — восклицал я, если отец расхваливал чудесный летний день.

И я не замечал, каким несамостоятельным был тогда, когда упрямо утверждал противоположное тому, что высказывалось другими. В моей воображаемой свободе я был до смешного несвободен, и моя высокоценимая мною личность была обезличена до безличности.

Прошло немного времени, и окружающие заметили и точно оценили овладевший мною дух противоречия. Мой отец уже не говорил мне больше: «Прочитай ту или иную книгу»,— когда он хотел, чтобы я ее прочитал, и говорил: «Эту книгу я строжайше запрещаю тебе читать»,— при этом он мог быть уверен, что я не только прочитаю, но и основательно изучу эту книгу. Так постепенно стал я поступать в полном согласии с волей моих родителей, которые требовали от меня обратное тому, чего они, в сущности, желали. Я же ходил надутый, полный гордости за свою личность, которая, как мне представлялось, постепенно «брала верх» над моими родителями.

ЕЩЕ ОДИН ВРАГ

Всезнайка был хилым парнишкой и с детских лет носил очки с толстыми стеклами,— он сам говорил, посмеиваясь, что стал близоруким от своего всезнайства. Из-за его близорукости и хилости я сперва относился к нему снисходительно и даже при случае защищал его, потом мое отношение сделалось неприязненным, то была почти что ненависть, вызванная подозрением, что Всезнайка использует свое всезнайство, чтобы унизить меня и вызвать во мне презрение к самому себе. В его присутствии я казался себе глупым до непристойности.

«Я тебя с твоим дурацким всеведением еще поставлю на место»,— грозился я и тузил его.

Однако, к моему удивлению, всезнайство не улетучивалось из его головы после моих побоев, тогда как я себе казался еще глупее после того, как бил его.

Я стал думать о других средствах, которыми мог бы опорочить всеведение этого Всезнайки.

Так взялся я за словари и, совсем как в моих сражениях с учителем, стал выискивать всевозможные невероятные имена и выражения, а потом спрашивал о них Всезнайку, учиняя ему этакие пренеприятные допросы. Я ликовал. Всезнайка срезался на этих экзаменах, «провалился с треском», как я тогда выражался.

Но однажды я заметил, что Всезнайка во всех действительно важных вопросах разбирается лучше меня и что сам я нисколько не обогатился случайными сведениями, набранными из словарей,— напротив, хвастая знаниями, я еще ниже опустился в своем невежестве, которое приходилось уже открыто признавать.

И все же я не сдавался в борьбе с Всезнайкой. Борьба шла с переменным успехом и кончилась тем, что я стал основательно изучать разные предметы, добиваясь приличного уровня знаний. Меня перестало коробить и ущемлять, что Всезнайка обладает всеми знаниями, я признал это без всякой предвзятости и стал смотреть на него как на пример, а Всезнайка дружески помогал мне, и вскоре я почувствовал, что становлюсь подобным ему. «Ну и дурак!» — признавался я, постукивая себя по лбу и покачивая головой, которая, как мне казалось, не издавала уже столь пустых звуков, как прежде.

НЕЗАМЕТНЫЙ

Я звал его «Незаметный», потому что ему ничто так не претило, как быть заметным, бросаться в глаза, играть какую-то роль, как в добрых, так и в недобрых делах. И в школе он не был ни первым, ни последним; он старался держаться среди средних и потом всю жизнь был в рядах тех заурядных людей, которые не выходили за рамки благопристойной посредственности. Еще в наши школьные годы он однажды густо покраснел, когда я уступил в трамвае место пожилой даме. Ведь остальные мальчишки не встали, как я, перед этой старой женщиной и даже посмеивались надо мной. И Незаметный признался мне, что, хотя я поступил правильно, он не решился бы так поступить,— ведь его бы осмеяли, а он ни за что не хочет быть заметным. Он и потом жил всегда по этому принципу. Он всегда старался быть в тени и участвовал во всем, в чем надо участвовать, чтобы не выделяться. Когда во время войны он попал в роту, в которой задавали тон преступные типы, а солдаты равнялись на них, Незаметный тоже стал на них равняться, в сущности, даже не из страха и трусости, а только потому, что хотел быть незаметным. Он старался изо всех сил не получить воинскую награду, и только когда почти все вокруг были награждены, он проявил какое-то геройство и получил награду, добился ее, чтобы не выделяться среди награжденных отсутствием наград. Вместе с группой палачей он сфотографировался возле виселицы, которую они водрузили в одном украинском селе. Незаметно стоял Незаметный возле этих убийц,— стоял, чтобы его отсутствие не было замечено. С одной стороны, ему претили преступления, которые учинял его отряд, с другой стороны, он не хотел предпринимать ничего против этих преступлений, чтобы не выделяться из своей среды. С волками жить, по-волчьи выть — так рассуждал он. И он окончательно уронил себя, когда, чтобы не выделяться, сделался соучастником злодеяний, все более и более страшных. И тогда он решил незаметно уйти из жизни. Не сразу отважился он на такой поступок, опять же потому, что не хотел действовать заметно. Даже и самой своей смертью боялся он выделиться и боялся громкой молвы после его смерти. Наконец выдался случай незаметно расстаться с жизнью. Ему нужно было незаметно остаться лежать в какой-то ямке во время танковой атаки, чтобы его раздавила наступающая колонна танков. Так он и поступил, и никто не заметил его поступка. Потери в его роте в тот день были так велики, что было бы как раз особенно заметным,

если бы кому-то удалось унести ноги и остаться в живых: вот и довелось Незаметному умереть так же незаметно, как он жил, незаметно уйти из жизни, когда он понял, что его сдержанное, скромное поведение было употреблено во зло и что сам он так и не сумел стать не только незаметным, но и порядочным.

КРИК

Никогда, верно, не слышал я на моем родном языке крика более ужасающего, никогда, верно, не слышал я человека, взывающего своим криком ко всему миру о горе и пощаде, никогда, верно, не слышался мне в этом кричащем ужасе крик ужаса всего человечества,— никогда до этого письма студента из Австрии, написанного им, солдатом, из-под Сталинграда своей подружке в Вену.

Всю войну я носил с собой этот крик, он звучал над полями сражений, как непрерывно воющая сирена, и еще сегодня слышу я этот крик, так внезапно и назойливо врывающийся в тишину, пронизывающий все и вся, словно напоминающий о том, как много еще нужно сделать, чтобы избавить мир от этого горестного крика.

То было письмо молодого человека, написанное в сочельник 1942 года под Сталинградом. Огарка свечи хватило ровно настолько, чтобы написать письмо, потом юноша должен был снова сидеть в темноте. Тьма наступала в четыре часа дня и растворялась к десяти часам утра. По почерку заметно, что письмо было написано заледеневшими от мороза пальцами. Когда молодой человек писал, перед ним стояла фотография его подружки; он жевал кусочек шоколада — вместе с жалким кусочком хлеба это был весь его рождественский паек. В пятидесяти метрах от его землянки текла Волга. Вокруг — ледяная тишина, и лишь изредка — ракеты, освещающие небо. Смерть стояла перед взором юноши. Всеми фибрами души чувствовал он теперь: его приговорили к смерти, его землянка стала камерой смертника. За что он приговорен к смерти, почему так должно быть — эти вопросы, которые он часто гнал от себя, теперь, перед лицом неотвратимой гибели, уже нельзя было загнать в глубины молчания, они кричали в нем, раздирали все его естество, требовали ответа. И он выкрикнул свой ответ из глубины своего сердца: «Нет, нет, нет! Я не хочу умирать!» И своим криком он взывал к самому себе: «Умереть придется, нужно расстаться с надеждой, никто не уйдет от гибели».

И он представил себе всю свою жизнь, какой она могла бы быть, если бы он не был так рано приговорен к смерти. «Что я такое сделал,— кричал он,— что я не могу жить этой новой жизнью?» Он хотел жить обыкновенной, порядочной жизнью, он хотел работать, много работать, и порою испытывать чуточку счастья. Разве он слишком многого желал? «Зачем я пришел в эту жизнь, если я не могу жить?»

Он прикрыл глаза и увидел свою Вену и тирольскую деревню, он напевал «Дунайские волны» и шел со своей подружкой в Пратер. «Кончено! Кончено со всем этим! — вновь вырвался крик.— Не впадать в сентиментальность... Но умирать все-таки так больно...»

Он уже не мог подавить в себе крика, не мог избавиться от него. Он думал об отчаянных криках умирающих — должно ли так быть, и за что все это? «За великую Германию»,— хотел он ответить, но этот заученный ответ не мог устоять перед ужасающим криком, и он не произнес его. Он не осмелился произнести это имя — Германия, словно оно было слишком чисто и свято, чтобы злоупотребить им во имя того дела, жертвой которого он сам должен был пасть.

Теперь он обвинял самого себя, он упрекал себя за то, что не захотел уклониться от этой подлой войны и отсидеться в канцелярии, как ему советовали знакомые. «Я был для этого слишком порядочен»,— пытался он перед собою оправдаться. «Порядочен?! Ты был глупо непорядочным»,— отозвалось эхо язвительным смехом. И приговоренный к смерти взглянул теперь, перед самой казнью, в лица своих палачей.

То не были русские, которые располагались в окопах напротив и преградили ему путь к Волге.

То было лицо, которое составилось из многих, знакомых и незнакомых, лиц,— оно скалилось на него из книг и газет, оно возникало из радиоприемников и говорило в микрофоны, оно произносило речи и отдавало приказы,— то было огромное лицо, которое при всей своей злобности могло и благостно улыбаться, а иной раз имело совершенно безобидный вид...

Он крикнул в это лицо, принявшее теперь суровое выражение и мычавшее «хайль!».

Но тут догорел огарок свечи, и он должен был окончить письмо. «Прощай, прощай навсегда. Твой...» — дописал он в наступившей темноте.

И все в нем снова кричало, кричало во мраке. Словно его совесть могла взорвать стены этой землянки, словно он мог

свободно выйти на эту ледяную плаху и призвать к жизни всех, кто, как и он, был обречен на гибель.

Никогда не думал я, что слова могут кричать так душераздирающе. Вот оно: «Взываю из бездны!» При том слова были совсем не возвышенные, все было сказано скромно и просто.

Этот крик не стихает во мне.

Крик снова прокатывается по миру.

И никакие вопли не могут перекричать этот крик, и все громкоговорители мира не заглушат крик страдания и муки...

И только мир на земле, мир на все времена, наконец заставит его постепенно умолкнуть...

ТОТ, КТО ИХ ВИДЕЛ

...когда они прибыли в Москву в декабре 1941 года не как завоеватели, а как военнопленные,— жалкой толпой в нелепом маскараде — женских платьях и лошадиных попонах, в мышиного цвета шинелишках на рыбьем меху, а иные и без этих ветром подбитых шинелек, и даже без гимнастерок, в одних рубахах при сорока градусах мороза, в плотно прилегающих высоких сапогах, в которых ноги превращались в черные гангренозные культяпки, некоторые вовсе без сапог, с ногами, обернутыми в тряпье, некоторые босиком...

И тот, кто их видел потом в бараках, где входящего встречало густое зловоние, запах махорки и дизентерии, разлагающегося мяса и гниющей одежды, кто видел, как они стояли и слонялись, отупевшие и безвольные, не желавшие ничего — ни мытья, ни бритья, ни дезинсекции,— с вялыми, расслабленными движениями, неестественными жестами, то согнувшиеся в три погибели, то кланяющиеся и ухмыляющиеся при виде человека, идущего по бараку, которого они принимали за комиссара,— кто, как я, видел это, тому казалось, что он попал в запущенный и заброшенный сумасшедший дом, в таком здесь все было унылом беспорядке, так нелепо выглядели все эти фигуры, еще недавно претендовавшие на мировое господство, все эти представители «расы господ», обмаравшиеся собственным дерьмом и дошедшие до совершеннейшей запущенности; но я солгал бы, если б не признался, что вместе со стыдом и гневом во мне поднималось и другое чувство — глубокого сострадания: ведь напротив барака, на той стороне двора многих из них ожидали госпиталь и морг.

И тот, кто их видел затем в госпитале, на чистых белых постелях, на рядами поставленных кроватях, с грифельными

досками у изголовий, где значились фамилии и данные о болезни,— кто видел ряды умирающих, смертельно бледных, с осунувшимися лицами, исхудалых,— кто слышал, как они дрожащими голосами звали своих матерей или передавали через меня приветы на родину,— кто видел, как то один, то другой натягивал одеяло поверх головы, чтобы умереть во мраке,— кто видел эти ряды белых постелей, на которых, как маленькие холмики, лежали больные и умирающие...

Тот, кто видел все это и стал свидетелем этих беспредельных страданий, тот не может отвратить свои взоры и отделаться от этого зрелища, несказанно печального, вырастающего в гигантское обвинение нацизму, взывающего к нам, к нашей неутомимости, к нашему беспокойству, зовущего нас сделать все для того, чтобы никогда, никогда, никогда больше... И чтобы этот наш обет не стал фразой, склонимся в молчании перед страданиями, и — мы поймем друг друга.

ТИШИНА

Это был человек лет сорока с лишним, его внезапно вырвали из жизни, полной всяческих дел, и по необоснованному (как показало следствие) подозрению посадили в серую тюремную камеру, где он был вынужден в полном одиночестве коротать свои дни. И в одиночестве, лицом к лицу с самим собой, он чуть было не впал в безумие. На него часто находили приступы бешенства, и тогда он бился руками и ногами об стены и в дверь, но все было напрасно, снаружи не доносилось в ответ ни звука, разве что кто-то подходил к двери, смотрел через глазок в камеру и шел дальше. Ему не удавалось втянуть в разговор даже служителя, который приносил еду; допросы у следователя были короткие и деловитые, и даже во время получасовых прогулок во дворе подследственный мог говорить только сам с собою. Оставалась надежда на книги, на бумагу и карандаш, но добыть их было сложно, и он окончательно погрузился в одиночество.

Кажется, впервые в жизни он мог подумать о себе, и теперь он стал отчитываться перед собой в прожитом. И он не переставал удивляться тому, как бессмысленно он провел свои дни. Иногда он начинал сомневаться, он ли это, или какая-то призрачная тень,— настолько странным и чужим казалось ему его собственное прошлое. Он разражался хохотом, когда вспоминал о своей хваленой деловитости и успешной деятельности; ничто

не выдерживало проверки, которой он подвергал себя. Отвратительными представлялись ему теперь его бессмысленные действия, служившие единственной цели: обеспечить себе «приличные» доходы и накопить основательное состояние. Отдых и развлечения, которые он разрешал себе, казались ему теперь глупыми и скучными.

«Если я хочу жить дальше,— говорил он себе,— я должен в самой основе изменить свою жизнь,— такого, как прежде, не может и не должно быть». Нежным, примиренным взглядом осматривал он свою камеру, потом его охватывало нетерпенье, он рвался из заключения, он страстно желал жить по-новому...

Но после выхода из тюрьмы он вновь сделался тем же преуспевающим дельцом, каким был прежде. Обет, данный им в камере, был позабыт, ни один человек, ничто вообще не содействовало ему в осуществлении задуманной им перемены в жизни. Сначала он озирался вокруг, как бы взывая о помощи, но друзья высмеивали его и говорили, что он сделался чудаком. И он стал избегать разговоров с собой, как самого дурного, что могло с ним случиться; с головой окунулся он «в жизнь», полную волнений и хлопот.

Иногда, на секунду, вспыхивали у него воспоминания о тюремной камере, она казалась ему единственным лучом света во всем его прошлом; но все, что он делал, и все, что делалось вокруг него, отвлекало от мыслей о себе, и он неудержимо погрязал в потоке дел...

И вот снова оказался он в тюремной камере,— оказался после многих лет деловой жизни. Ему казалось, что он лежит на смертном одре. Камера представлялась ему как бы легендой юношеских времен, а серые стены казались пестрыми коврами, на унылой известке воображение рисовало картины и фрески, каких никогда не было даже среди богатых украшений его роскошной квартиры. Эта камера, которая была для него камерой смерти, казалась ему той, другой жизнью, которой он мог бы жить, если бы... Это могла быть простая, но зато осмысленная жизнь. И камера заставляла его думать о прошлом и вызывала в памяти какие-то райские воспоминания о детстве. «Когда я был ребенком»,— шептал он.

Так возвратился он к неоконченному разговору с самим собой и от него к прошлому, из которого ему открывался путь к новой жизни,— он видел теперь этот путь как увлекательное видение: ведь он мог пойти по этой дороге, если бы тогда, когда его выпустили из тюрьмы, он не оказался бы снова с неодолимой силой втянут в прежнюю безжизненную жизнь. Теперь он вновь

чувствовал себя свободным, как чувствовал себя тогда, ибо теперь безжизненная жизнь уже не имела власти над ним, и в его сумеречном сознании родственники, которые составляли его ближайшее окружение, и друзья, посещавшие его, и пользовавший его врач — все они превращались в его мысленном взоре в тени,— одной из них был и сам он в той игре теней, которая называется буржуазной жизнью нашего времени.

РОГА

Когда части Советской Армии вступили в отдаленное от дороги село в Мекленбурге и группа солдат забрела в крестьянский дом, им навстречу вышла старушка, перекрестилась и дрожащими руками принялась ощупывать лбы у солдат. Потом, успокоенная, благостно улыбающаяся, она пригласила их к столу. На вопрос удивленных солдат, чем вызван такой диковинный осмотр, она простодушно ответила, что хотела удостовериться, правда ли, что русские — сатанинское отродье и поэтому носят рога.

Этот анекдот, если его рассказать образованным людям, встречают либо недоверием, либо смехом. Невероятно, говорят эти люди, ведь мы живем не в средние века, а в двадцатом столетии... Но так же невероятно, хотя и факт, что на Западе большинство так называемых образованных людей относится к общественному феномену, который представляет Советская Армия, почти так же, как та старая крестьянка. Стоит завести при них речь о Советском Союзе,— и тут же натыкаешься на «рога», но при этом, в отличие от старушки-крестьянки, образованные господа даже и не пытаются удостовериться в существовании «рогов», а наперекор всему надевают рога на людей, дабы «доказать» их сатанинскую природу.

ЭКСПЕРТИЗА

(Из воспоминаний о 1928 годе)

— А, господин Бехер, так вот вы какой,— очень приятно! Садитесь, пожалуйста,— и поудобнее! Вешалки, как видите, у нас тут нет; вам придется положить пальто на стул...

Я находился в Институте патологии, в рабочем кабинете тайного медицинского советника, профессора, доктора Штрауха, всемирно известного патологоанатома. Я уселся против него

за длинным столом. Его тощие, красноватые, огрубевшие от частого мытья руки покоились на толстой, крест-накрест перевязанной папке с надписью «Дело». Тайный старший медицинский советник поднялся с какой-то торжественностью, чтобы развязать эту папку с документами. Это был тощий господин, около семидесяти лет, на нем был сюртук и твердый стоячий воротничок.

— Когда вы родились?.. Такой молодой, и уже такое толстое дело! Почти пятьсот страниц... Мы тоже были когда-то молодыми, и если бы каждый из нас в вашем возрасте имел такую папку, то до чего бы дошло государство!

Он принялся листать «Дело».

В глубине кабинета у самой стены стояло несколько мешков, наполненных костями.

— Это кости из Улапа,— объяснил он, заметив, что я с удивлением смотрю на мешки. (При уборке Улап-парка в Берлине были найдены скелеты, о которых газета «Вельт ам абенд» высказала предположение, что это останки убитых спартаковцев, тайно зарытые в этом саду отдыха и развлечений.) — Ваша «Вельт ам абенд» устроила мне изрядный подвох своим предположением о скелетах спартаковцев. Нет, это кости из времен французского нашествия, в любое время вы можете сами в этом убедиться. Вот и с кошками у меня тоже так вышло. Даже Союз защиты животных вмешался в это дело». (Речь шла об эксперименте, предпринятом для того, чтобы доказать, что голодные кошки пожирают трупы детей. Против этого эксперимента, проводившегося старшим медицинским советником, протестовали некоторые газеты, а также Союз защиты животных.)

— Взгляните сами на этих кошек, в первом этаже, комната 467, и вы увидите, походят ли они на голодающих. Они у меня голодают всего восемь дней,— и это нынче уже называют мучительством. Потом они могли досыта наесться трупов... Без экспериментов в медицине ничего не достигнуть...

Я подумал: что же общего имеет все это с моим «случаем»? — но решил сохранять вежливость. Ведь тайный советник был приветлив и разговорчив.

Каким образом я вообще попал сюда, в этот Институт патологии?

В 1926 году был запрещен мой роман «Люизит». Вслед за тем я был арестован в Урахе, небольшом городке земли Вюртемберг. Трое сельских жандармов доставили меня в след-

ственную тюрьму. При этом они держались за кобуры своих пистолетов и уверяли меня, что не завидуют моей судьбе. Тюремный служитель, который отвел меня в камеру, тоже сказал, что мне будет не до смеха. На третий день после моего ареста началось движение протеста против этого беззакония, и к нему примкнули многие буржуазные газеты и писатели. Сверх того, в ближайшее воскресенье должен был состояться перед зданием тюрьмы митинг Союза красных фронтовиков земли Вюртемберг. Видимо, все это и явилось причиной того, что в субботу днем, после пяти суток ареста, я был выпущен из тюрьмы. Но обвинение в подготовке изменнических антигосударственных действий литературными средствами было мне предъявлено, и следствие продолжалось. Меня несколько раз вызывали для дачи объяснений к следователю имперского суда в Моабите, и в конце последней беседы этот следователь заявил мне: «Вы происходите из хорошей семьи, вы даете толковые и точные ответы. Все, что вы пишете, вы пишете в ясном уме. Прежде ваши книги выходили даже в издательстве «Инзель». И то, что вы, господин Бехер, стали, извините, коммунистом...— тут что-то неладно. Поэтому я распорядился, чтобы вашим случаем занялся тайный медицинский советник, профессор, доктор Штраух. Следственная часть Государственного суда запросила у него экспертизу...»

— Видите ли, господин Бехер, ведь это, в сущности, не мое дело; я даже не понимаю, почему вы тут. И чего только не придумает этакий следователь! Я его даже лично не знаю; и как только этот парень додумался сыграть со мной такую шутку! Мне только не хватало заниматься каким-то литератором, когда у меня столько возни с моими утопленниками. Никогда в жизни я не имел ничего общего ни с политикой, ни с романами. Как я вижу, вы еще и стихи писали... Я как раз на днях нашел способ в точности восстанавливать малейшие физиогномические черточки давно утонувшего человека. Если это вас интересует, то посмотрите,— там лежит такая стеариновая маска, при помощи которой возможно моделирование первоначального физиогномического облика. И откуда мне взять время на занятия романом, когда я все это прочитаю?! Вы же производите совершенно нормальное впечатление, чего, собственно, хочет от меня этот судебный чиновник...

Вошел какой-то служащий и доложил, что только что доставлены два женских трупа.

— Вот видите, и так днем и ночью; но в чем там, собственно, дело в вашем романе, расскажите мне сами...

Я попытался, возможно кратко, передать ему содержание романа, который был задуман как произведение, направленное против угрозы войны,— и когда я при этом упомянул о классовой борьбе, тайный медицинский советник оборвал меня и радостно закивал:

— Ага, вот она — навязчивая идейка — переоценка идейного, гиперболизация социального, сужение горизонта, начало мании преследования. Скажите, на вас не производит никакого впечатления все, что происходит в мире животных?.. Где вы там найдете классовую борьбу или пацифизм?.. И еще, слушайте меня, молодой человек,— послушайте еще,— вот когда я вечером сижу в ресторане и пью свою кружку пива и слышу, как рядом люди рассуждают о каком-то процессе и надсаживают глотки, мне всегда хочется спросить только об одном: «А вы видели протоколы?» Вот и вас, господин Бехер, и ваших товарищей мне хочется сейчас спросить, когда вы говорите, что войны вызываются экономическими интересами: *А вы видели протоколы?*

Я должен был признать, что видел не все протоколы, но тем не менее...

Тут он принялся записывать, бормоча себе под нос: «Интеллигентность, ловкость в аргументировании при одновременном сужении горизонта, неподатлив для восприятия лучших воззрений, имеет естественнонаучные познания, но аналогии с миром животных не производят на него впечатления...»

Наша беседа приняла еще более удивительный оборот, когда тайный медицинский советник усмотрел из дела, что прежде я состоял в Независимой социал-демократической партии, потом принадлежал к «Союзу Спартака», а теперь являюсь членом Коммунистической партии.

— В трех партиях подряд... Вот видите, я всегда говорил: не вступай ни в какую партию, тогда тебе не придется из нее выходить. А люди все-таки вступают и выходят, и все только для того, чтобы замести следы...

Тщетно пытался я объяснить тайному медицинскому советнику связи между этими тремя партиями, он отмахивался и бурчал:

— Знаю, знаю, только для того, чтобы замести следы. Но вот еще вопрос, на который вы мне ответите: в минувшем году я был приглашен на один научный конгресс в Петербург, или как он там теперь называется? — в Ленинград, и там происходила демонстрация; это был, так мне думается, какой-то рево-

люционный праздник и повсюду развевались красные, красные и только красные флаги. Вот вы мне и скажите,— ведь люди там имеют все, чего они хотят, так зачем же им еще эти красные флаги?

На такой вопрос я не сразу нашелся что ответить, и он увидел, как я раскрыл рот от изумления. И то, что от такого вопроса я на мгновение лишился речи, он воспринял как свой триумф. Он встал и с видом победителя подал мне руку, снисходительно улыбаясь.

Аудиенция была окончена. Но он нагнал меня на лестнице и крикнул:

— А если вам придет на ум какая-нибудь новенькая навязчивая идейка, то позвоните мне по телефону.

КОРРЕКТУРА

Когда он лежал на смертном одре и прощался с жизнью, обломки которой всплывали на мгновение в его памяти, окружающим показалось, что внезапно его охватило какое-то последнее страстное волнение,— он простер руки вперед, словно защищался от наступления мрака, словно молил и заклинал подождать еще мгновение. У него была какая-то настоятельная просьба, он должен был что-то еще упорядочить. Это было для него настолько необходимо, что он попытался приподняться и что-то произнести, хотя речь уже была утрачена. Его старались успокоить, но поняли, что это его последняя воля, которую надлежало исполнить.

Он был поэтом и написал множество произведений. Он был, вне всякого сомнения, очень одаренным литератором, правда, привык работать неровно, рывками. Поэтому он обнародовал много такого, что не выдерживало критики сразу же при своем появлении. Был он человеком, который не строил себе иллюзий. Свою деятельность он не переоценивал; им владело чувство неопределенной грусти, и это чувство нередко получало волнующее выражение в его произведениях. Со смертью он спознался давно, с юных лет,— она была близка его воображению во всех ее видах. Уже задолго до своей кончины он приготовился умереть,— в сущности, вся его жизнь была посвящена ожиданию смертного часа, прощание и уход были лейтмотивом его лучших стихов. Он ясно понимал, что из его творений останутся жить лишь немногие. Он презирал однодневные литературные успе-

хи, хотя не чуждался их, то как своего рода «стимуляторов», то как своего рода утешения.

И вот, когда пришла смерть, он должен был испросить у нее отсрочку. Бормотанием и знаками он дал понять, чтобы ему принесли одну из его книг. Затем ему помогли раскрыть книгу на соответствующей странице. На этой странице было помещено стихотворение, ничем особым не примечательное, стихотворение о влюбленных, которые переселились из превращенного в руины города на уцелевшее кладбище, чтобы в мертвой тишине принадлежать друг другу. Умирающий указал на одно слово в стихотворении и попытался стереть его пальцем. Ему подали карандаш, и он вычеркнул дрожащей рукой это слово, затер его, царапая карандашом, и с усилием надписал над ним другое слово, которое хотел бы видеть на месте прежнего.

Честно говоря, это была совершенно несущественная замена, которая ни малейшим образом не меняла смысла фразы.

Прежде было: «Посыпанная белым гравием дорога *уходила* в воспоминания». Вместо этого следовало читать: «... дорога *терялась* в воспоминаниях». Вместо «уходила» — «терялась».

Со вздохом облегчения умирающий вновь откинулся на подушку. Видимо, у него было такое чувство, словно этой незначительной поправкой он многое поправил. Быть может, он хотел этим дать понять, что нужно до последнего вздоха неотступно стремиться исправлять свой стиль, исправлять свою жизнь. Он считал, что заменил неудачный оборот речи более точным, он еще в этот последний миг что-то вычеркнул из своей жизни и написал что-то новое вместо зачеркнутого. Это последнее напряжение сил было не чем иным, как попыткой, напрягая угасающее сознание, произвести этой незначительной корректурой большую корректуру своей жизни. Он вычеркнул из нее ошибочное и поставил правдивое на место ложного. Вместо «уходила» — «терялась». Конечно, тут могло быть и другое слово, и другой оборот речи,— не в том дело. Было сделано исправление. И этот еще раз перед лицом смерти собравшийся с силами человек, преисполненный решимости к уточнению и исправлению, эта оставшаяся в памяти людей картина его ухода,— придали его жизни и творчеству новый смысл и новое значение; в этот предсмертный час поэт сам превратился в стихотворение,— в стихотворение собственного сочинения,— его последнее и лучшее.

Сидя на развалинах виллы, принадлежавшей богатому человеку, любуясь темно-синей от вечернего света морской гладью, нагибаясь иногда, чтобы извлечь из мусора обрывки бумаги и узнать из них хоть что-то, характеризующее бывшего владельца этой чудесно расположенной летней резиденции,— я размышляю о жизни и занятиях этих богатых людей, из которых иные, как и хозяин этой разрушенной виллы, обладали не только деньгами, но и умом, вкусом, образованием; им порою нельзя отказать в гуманных чувствах, в чуткости к жизни сердца. Облик богатого человека, который возникает из обрывков его книг, не лишен известного обаяния: богатый человек в расцвете лет, юрист с широкой практикой, любитель женщин, знаток вин, гурман, в равной мере интересующийся как духовной пищей, так и спортом, в литературе преимущественно интересующийся творчеством древних греков и произведениями современного декаданса, считающий своими любимыми поэтами Гёльдерлина и Малларме. Это последний бюргер, скептически относящийся к бюргерству и его «миссии», презирающий буржуазию, к которой он принадлежит. Он был против нацистов; некоторые извлеченные из хлама и поддающиеся расшифровке обрывки писем безусловно свидетельствуют об этом. Он был против нацистов потому, что они угрожали его покою; он совсем не хотел быть постоянно занятым, хотел жить спокойно и наслаждаться... Ему хотелось наслаждаться всем, что создали до него десятки поколений, быть воплощением «конца века», чертой, подведенной под прошлым, да, в сущности, он ею и стал, этот гедонист с хорошим вкусом. Такие люди не находят себе продолжателей. В стремлении защитить гедонизм буржуазия утрачивает всякий вкус и должна удовлетворяться все более грубыми наслаждениями. Ее вкус извращается, средства, с помощью которых она доставляет себе наслаждения, мельчают. Их уже нет и в помине там, где наша молодежь открыла свой лагерь, прямо напротив обращенной в развалины виллы. «Посторонним вход запрещен». Эту табличку буржуа в свое время прибил над входом в свой дом и при входе на свой участок. Нам не нужны такие таблички, такие запреты. И если бы посторонние явились на нашу землю, мы выставили бы их самым решительным образом.

Сидя на развалинах виллы, принадлежавшей богатому человеку, я вслушиваюсь в разговор нескольких бюргеров, мед-

ленно идущих мимо меня,— они жалуются друг другу, что не могут себе позволить того или иного, это, мол, бесстыдство, что им не дано больше быть господами и что теперь другие тоже хотят получить свою долю. Эти люди озлобленно и воинственно жаждут наслаждений,— они живут мыслями, которые неудержимо ведут их к гибели. Словно загипнотизированные, идут они навстречу своему концу. А на их площадке для игры в гольф играет наша молодежь.

СТРАХ

Ничего не боюсь я так, ничто меня так не отпугивает, ничто не внушает мне такой страх, как возможность остаться наедине с собой. Это пребывание лицом к лицу с самим собой мучает меня как дыба, на которой я корчусь; мне словно учиняется мучительный допрос, от которого никак не уйти, стоит мне только остаться наедине с собой! Вот почему я не хочу быть один и делаю все, чтобы избегнуть самого себя. О, разумеется, у меня много дел, я очень занятой человек, и дела занимают меня даже в часы отдыха; и если мне начинает угрожать разговор с самим собой, я сразу же вспоминаю об упущениях в работе и принимаюсь их наверстывать.

Наконец, если я все-таки окажусь обреченным на беседу с собой, мне на помощь придут книга или газета, и я проведу с ними время, лишь бы избежать этого ужасающего одинокого раздумья! Я читаю и читаю, читаю, чтобы уйти от себя, отстраниться от той пропасти, которая зияет где-то рядом со мной и в которую я должен заглянуть, если отведу свой взор от книги. И даже если книга плохая или безмерно скучная, я цепляюсь за нее и стараюсь не отводить от нее взгляда. Ведь так я провожу свое время с пользой,— не в одиноком раздумье.

Еще полезнее провожу я время, когда сижу среди людей, один среди многих; общение согревает меня и помогает мне забыть, что и в их среде я все-таки одинок, единица среди множества. Если и тут мне угрожает разговор с самим собой, я обращаюсь к соседу и завожу с ним разговор; я спрашиваю о том, что он наверняка знает и его радует возможность высказать мне свои назидания. «Ах, какого милого человека я встретил на днях в кафе»,— рассказывает он, даже и не подозревая, как я благодарен ему, моему спасителю. Он спас меня от меня самого, от моего одиночества.

Разве я не хочу ничего знать о самом себе? Разве я и впрямь ничего так не страшусь, как знакомства с самим собой? Разве разговор с самим собой таит для меня жизненно опасные, смертоносные открытия? Я беру на себя обязанности, ответственные дела — одно за другим — и убеждаю себя, что моя общественная деятельность — это важная задача («для такого плута и хвастуна»,— слышу я шепот, идущий оттуда, из моего самосознания), и убеждаю себя, что при моей нынешней жизни и в общении с другими людьми только и может проявиться все то, что содержится в человеке. (Я даже призываю на помощь цитату из Гете. Но мое самосознание шепчет мне: «Лицемер! Трус!») Однако я замечаю, что я постепенно теряю способность действительно по-человечески общаться с людьми. Я угодил в какое-то промежуточное положение, когда я не вместе с людьми, но и не с самим собой. Не оказываюсь ли я все более и более одиноким оттого, что мне не хватает мужества остаться наедине с собой? И не отрезаю ли я себе путей к людям оттого, что я потерял пути к себе? И не чувствуют ли другие, что я прибегаю к ним, чтобы не остаться одиноким? Может ли такое злоупотребление чувствами породить дружбу, разве не отравлены все отношения тем, что я использую их только ради того, чтобы отвлечь себя от себя самого?

Но чего же мне все-таки страшиться, откуда этот страх перед тем, чтобы остаться наедине с собой? Что же таится в этой пропасти? Дремлет ли там сознание, высвечивается ли понимание того, что жизнь прожита неправильно и что я должен изменить мою жизнь? Может, мне недостает сил, чтобы осознать, что я могу измениться, что я должен стать другим? Страшусь ли я признать, что прожил неудачную жизнь, страшусь того, что я слаб и не способен дать моей жизни новый курс?

Спасите, я начинаю разговор с самим собой!

Спасите меня, газеты, книги, кафе, кинематографы, не оставляйте меня одного, люди, подсядьте ко мне, давайте выпьем, я заплачу за все, давайте сыграем в карты, клянусь, что проиграю и заплачу по самым высшим ставкам, где мне найти тотчас же девочку, чтобы пойти с ней в отель,— я должен немедленно пришить пуговицу к рубашке, я должен сию же минуту позвонить по телефону господину Икс, как можно быть таким забывчивым,— все, все, что угодно, только не это: не оставаться наедине с самим собой!

К Р И К А Б С У Р Д А

Деревня, в которой произошел этот случай, расположена не на краю света, дело было не посреди зимы, и происшествие это относится не к древности и не к средним векам,— было оно в Германии, весной 1948 года, в деревне, находящейся в нескольких шагах ходу от окружного города в земле Вюртемберг. Тем не менее, когда одна женщина, у которой обнаружили раковую опухоль, слегла, чтобы больше не встать, оказалось, что нельзя добыть никакой повозки, чтобы доставить ее в городскую больницу, что в городе нет врача, который согласился бы посетить умирающую и что в городе также нет никакого транспорта ни для врача, ни для больной. И тогда врач велел дочери умирающей — девочке-школьнице — рассказать ему о болезни матери, описать течение этой болезни. Он выписал рецепт, но в аптеке не оказалось прописанного лекарства, и девочка вернулась в деревню, так и не добившись толку.

Три недели умирала женщина. Три недели деревня жила под знаком этой неумолимо надвигавшейся смерти.

Женщина кричала от боли, но силы ее таяли и крики нередко переходили в протяжный стон, доносившийся из ее комнаты,— и тогда люди в деревне, у которых были тележки, вполне пригодные для того, чтобы доставить умирающую в город, принимались успокаивать свою совесть и говорили друг другу: «Мы не довезли бы ее живой, она ведь уже умирает». Когда же крики возобновлялись, эти люди говорили друг другу: «Человека, который кричит так громко, нельзя везти в столь долгий путь, от этого можно сойти с ума, да и что скажут люди, которые попадутся навстречу, да и сама больная может помереть в пути от такого громкого крика».

Девочка хотела взять мать на закорки и так дотащить ее в город, но мать противилась этому; она отчаянно кричала, и бремя ее страданий было поистине чрезмерным. В последние свои дни умирающая пыталась разбить голову об стену, пыталась выброситься из окна. Но люди прикрутили ее к кровати, и тогда она наконец умерла.

Никто не чувствовал себя ответственным за это ни в деревне, ни в городе. Врач прикатил из города, чтобы выписать свидетельство о смерти, а вслед за врачом приехал пастор в старенькой шаткой повозке, и прибыли дроги, запряженные парой лошадей, чтобы отвезти покойницу на кладбище.

Врач утешал дочку покойной: в окружном городе, говорил он, в больнице, тоже не нашлось бы средств, чтобы унять боли; случай безнадежный, да и времена нынче такие.

Да, времена и впрямь нынче такие, что в нескольких часах езды от окружного города, в главном городе земли Вюртемберг, на черном рынке, продаются обезболивающие средства и люди состоятельные, нуждающиеся в этих средствах, не испытывают в них недостатка. Времена нынче такие, что по улицам города разъезжает множество машин, но ни одна из них не может проехать несколько лишних километров, чтобы отвезти в больницу умирающего. Времена нынче такие, что скотина в стойле впадает в беспокойство, когда кричит умирающий человек, и что люди тоже начинают беспокоиться, когда кричит умирающее животное, торопятся послать за ветеринаром, который, в свою очередь, торопится на вызов, учитывая, что скотина стоит человеку недешево. Но когда кричит умирающий человек, люди, которые так легко и быстро впадают в беспокойство, успокаиваются так же легко и быстро, словно они, здоровые, обладают теми болеутоляющими средствами, которых так недостает умирающему. Более того, они еще и возмущаются, что умирающий не может молча вынести свои невероятные страдания; и они думают, что добры к умирающему, если, глубоко вздохнув, пожелают ему скорой смерти.

ГРАНИЦА И БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК

И мне определены границы, и каждый раз, когда я их перешагиваю, я чувствую, что это границы и что жизни моей и моему труду поставлены пределы.

Именно «Дневник», думается мне, зримо представляет линию рубежа; он показывает, где лежат мои границы и что я тоже ограниченный человек.

О, ведь и безграничное и беспредельное имеет свои границы, и наоборот: чем яснее я осознаю мои границы, тем шире открывается передо мной и вокруг меня мир, полный беспредельного изумления, беспредельного счастья, беспредельного простора.

Через много рубежей перешагнул я и теперь добрался до нового предела: это — середина двадцатого столетия; здесь столетие делится на две части, но нечто большее, чем несколько десятилетий, отделяет начало одной от другой. Граница, у которой я стою, проходит во мне самом: по сию сторону — жизнь для

меня досягаемая, которая давала мне все для творческого воплощения; по другую: новая жизнь, которая, возможно, еще поведет меня по одному из отрезков своей дороги, но которая по-настоящему воплотится уже в творчестве других.

Теперь, впервые в моей жизни, достигнув границы, я пришел к осознанию одного большого недостатка.

Этот большой недостаток подобен большому голоду, который я не могу усмирить. Этот большой недостаток подобен большой жажде, которую я не могу утолить.

Этот большой, неукротимый голод, эта большая, неутолимая жажда затрудняют, очень затрудняют мне восхождение по новым, еще нехоженым путям.

«Дорогой друг, что это за великий голод у тебя? Может быть, мы в силах усмирить твой голод? Быть может, тебе совсем не нужно голодать?..

Дорогой друг, чего ты жаждешь? Может быть, мы в силах утолить твою жажду? Быть может, тебе совсем не нужно терпеть жажду?

В чем твой большой недостаток, который представляется тебе непреодолимым препятствием? Может быть, мы в силах устранить этот недостаток,— положись на нас! Мы хотим сделать для тебя все, что в человеческих силах, ведь мы же твои друзья».

Дорогие друзья, большой недостаток, который я угадываю и который заставляет меня отчетливо ощущать и мою границу, и мою ограниченность, состоит в том, что слишком много лет, на которые я сегодня оглядываюсь, я отдал жизни, принадлежащей жалкому, убогому прошлому, частью которого был и я сам. И хотя я могу над ним подняться, но могу подняться именно над *ним*; и то, что я могу подняться только над *ним*, а не над другим — это и есть большой недостаток,— это и есть моя граница и моя ограниченность...

Придут другие, им уже не нужно будет подниматься над жалким, убогим прошлым,— его уже нет или оно неуклонно идет к своей гибели; другие будут подниматься над тем, что уже существует сегодня: над новой жизнью, которая растет и ширится. О, этот иной взлет, этот более высокий взлет!..

Туда устремляется мой порыв, моя мечта, мое воображение. Стремясь туда в мечтах, я опережаю самого себя; но я же и отстаю из-за своего недостатка, из-за своей ограниченности. Мой голод и моя жажда навевают мне сверкающие видения прекрасного будущего, и я улетаю — сам от себя — в грядущее. Мне уже себя не дождаться, я не могу догнать собственную мечту, но и мои представления уже нельзя вернуть в мое сегодня.

Это и есть мой голод: голод по новой земле, по хлебу новой жизни...

Это и есть моя жажда: жажда напитка, который дарует новую жизнь...

Я еще не плод, я только предвкушаю его вкус,— я — алчущий — стремлюсь к нему; я еще не источник, откуда бьет ключом новая живая вода, которая напоит всех томящихся от жажды.

И по мере моих усилий перешагнуть через рубеж я приближаюсь к границе и чувствую, что моей жизни и моему труду поставлены пределы.

И вам, друзья, — спасибо, но *эту* жажду вы не можете утолить, *этот* голод вы не усмирите,— и *эта* граница, этот большой недостаток — остаются.

ВСТРЕЧА ПОСЛЕ СМЕРТИ

Итак, я снова встретился с ней, через некоторое время после моей смерти. Она сумела преодолеть ощущение раздавленности, обрушившееся на нее, когда нам, превыше всего любившим друг друга, пришлось расстаться. Она подавила малейшее проявление слабости; она утратила нежность, которая была свойством ее натуры. Я удивился тому, как она собранна, как она тверда. Голосом, чуть более громким, чем прежде, отдавала она свои распоряжения, теперь она полностью посвятила себя своей работе, переехала на новую квартиру, сама занялась домашним хозяйством. Над ее письменным столом висел мой портрет; она уже больше не плакала, когда смотрела на него; она

кивала ему, словно приветствовала знакомого, и отворачивалась от него, энергически тряхнув головой.

Невидимый, следуя за ней неотступно в течение дня, я сумел обнаружить новые черты в ее характере и установить перемены в ее привычках.

Я сразу же заметил, что всем своим существом она переняла некоторые особенности *моего* характера. В течение дня я все больше убеждался, что существенная часть моей жизни продолжалась в ней; в ней явственно проявлялись моя энергия, моя решительность; и напротив, все, что было во мне безотчетного, непостоянного, она отбросила, словно ей было тяжко нести это бремя, которое и раньше было ей в тягость. Как и прежде, я чувствовал, что она берегла свою любовь ко мне; наши два существа словно слились воедино в ней теперь, после моей смерти,— я сказал бы, соединились для нового высшего бытия.

Я слышал, как она говорила по телефону. Я стоял возле нее у аппарата; мне казалось, будто говорю я сам. Но, представив себя на месте ее собеседника, стоящим рядом с ним, слушающим вместе с ним, я понял, что у меня был резкий голос, а у моей любимой были прежде свои вибрирующие интонации. Теперь же мой голос слился воедино с ее голосом.

У меня уже не было оснований задерживаться дольше на земле или вновь возвращаться на землю. Мое «я» вошло в человека, превыше всего любимого мною, и я жил в нем на земле жизнью более совершенной, чем тогда — при жизни.

Мой противоречивый, строптивый характер, как будто выровнялся в ней; в ней я превратился, наконец-то,— при жизни мне это никак не удавалось,— в хорошего, порядочного человека. И загадка, которая так часто меня терзала,— о продолжении жизни после физической смерти,— казалась теперь решенной в такой неожиданной и совершенной форме. И ей эта загадка, которая мучила ее при моей жизни, тоже казалась теперь решенной. Я понял, что смерть уже не в силах что-либо причинить ей. Благодаря моей кончине она стала вровень со смертью. Она продолжала жить со мной, не ведая никакого страха. Она уже не страшилась никаких угроз бытия, ее везде уважали и любили,— и когда был нужен человек, на которого можно положиться, вспоминали о ней и обращались к ней. Она превратила меня в того человека, которым мне всегда хотелось стать, но моих усилий никогда не хватало, чтобы самому воплотиться в такого человека. И вот теперь, чудесным образом, уже после смерти, я сделался им. Мне хотелось благодарить ее за

это и просить у нее прощения за все те страдания, которые я необдуманно причинял ей при жизни. Мне не хватало смелости спросить у нее, стоит ли мне вновь возвращаться. Мне было ясно, что я неизмеримо ниже того человека, которым я стал в ней. Я знал, что она не примет моей благодарности. Она не приняла бы и моих извинений, ибо все мелкое и ничтожное, что было между нами, осталось далеко позади, в совсем другой жизни, скорее всего — как отдаленное воспоминание. И все же мне хотелось привлечь ее внимание ко мне, дать ей знать о себе. Когда же я попробовал сделать себя осязаемым, зримым, она строго посмотрела на меня пронизывающим взглядом, как смотрят на какого-то опасного чужака. Она отстранила меня. Я слишком крепко слился с нею, чтобы она могла снова отпустить меня от себя и дать мне принять иной облик, нежели тот, который я принял в ней.

Она так сильно меня любила.

ПРИМЕЧАНИЯ

Первым стихотворением Иоганнеса Роберта Бехера, увидевшим свет, было «Der Ringende. Kleist-Hymne» («Борющийся. Гимн Клейсту»), созданное и опубликованное в ноябре 1911 года в связи со столетием со дня смерти поэта Генриха фон Клейста. В 1912 году Иоганнес Р. Бехер издал свой первый сборник «Die Gnade eines Frühlings» («Милость весны») и роман «Die Erde» («Земля»). В 1914 году вышел в свет двухтомник стихов и прозы «Verfall und Triumph» («Упадок и торжество»).

Первое собрание сочинений Иоганнеса Р. Бехера, в четырех томах, вышло в 1949 году в Берлине в издательстве «Ауфбау»; в 1952 году то же издательство выпустило «Избранные сочинения» Иоганнеса Р. Бехера в шести томах, которое и положено в основу настоящего издания. В данный том вошли также стихотворения, не включенные автором в шеститомное собрание сочинений, но содержащиеся в сборниках «Sonett-Werk. 1913—1955» («Сонеты», 1956), «Der Glücksucher und die sieben Lasten. Verlorene Gedichte» («Искатель счастья и семь тягот. Потерянные стихи», 1958) и последние произведения Бехера, объединенные им в книгу «Schritt der Jahrhundertmitte. Neue Dichtungen» («Шаг середины века. Новые стихотворения», 1958).

Стихи и проза Иоганнеса Р. Бехера выдержали много изданий на русском языке: «Избранные стихи, в переводе Вл. Нейштадта», М. 1932; «Асфальт», пер. Вл. Нейштадта, М. 1936; «Грядущая война, или $(CHCl{-}CH)_3As$ (Люизит)». Роман, пер. с нем. под ред. Д. Выгодского, Л. «Прибой»; Избранные сочинения. Под ред. Н. Вильмонта. Изд-во иностр. литературы, М. 1961; «Сонеты», Гослитиздат, М. 1960, и др.

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛИ

(«Vollendung träumend», 1911—1933) — под таким названием Бехер объединил стихотворения ранних периодов творчества, где преобладают темы одиночества человека в большом современном городе, картины бедствий Германии в годы кризиса, но звучит вера поэта в грядущее торжество социальной справедливости. Экспрессионистская манера молодого Бехера наглядно проявилась во многих произведениях этого цикла.

Детство (стр. 28).— *Я слышал, трубач трубил в Вионвилле.*— В балладе немецкого поэта Фердинанда Фрейлиграта «Труба Вионвилля», долгое время включавшейся в Германии в школьные хрестоматии, рассказывается о кавалерийской атаке в битве при Вионвилле во время франко-прусской войны 1870—1871 гг.

В школе (стр. 29).— *Английский сад.* — Один из крупнейших парков г. Мюнхена, расположен вдоль берегов реки Изара, притока Дуная. В центре парка вырыто искусственное озеро.

О наших дней поэты! (стр. 33).— Стихотворение написано Бехером в 1916 г. Поэзию молодого Бехера отличало представление о высоком общественном назначении художника, для него была неприемлема поэзия современных ему поэтов-модернистов Стефана Георге и Гуго фон Гофмансталя. Безразличие к общественным проблемам, отрешенность от жизни, утонченное эстетство этих поэтов вызывали у Бехера слова резкого осуждения.

Баллада о голоде (стр. 33).— В 1918 г. Бехер вступил в «Союз Спартака». С этого времени основной темой его произведений становится классовая революционная борьба пролетариата. В 1927 г. Бехер выпустил сборник стихов «Голодный город», где показал нужду и горести народа, на плечи которого правители тогдашней Германии взвалили все бремя платежей по репарациям и подготовке новых захватнических войн.

Оружие (стр. 39).— *Перед Верховным судом штата М. в США...*— Имеется в виду штат Массачусетс и Верховный суд штата под председательством судьи Тейера, который также осудил на смерть рабочих — итальянцев Сакко и Ванцетти, предъявив им ложное обвинение в грабеже и убийстве.

Он мир от спячки пробудил — Ленин... (стр. 42).— Стихотворение опубликовано 21 января 1928 г., в связи с четвертой годовщиной со дня смерти В. И. Ленина.

В ПОИСКАХ ГЕРМАНИИ

(«Auf der Suche nach Deutschland», 1933—1945)

Цикл содержит стихотворения, написанные Бехером в разлуке с родиной, исполненные раздумий о судьбах Германии, рисующие образы борцов за свободу страны, ее мыслителей, художников, картины родной природы.

Баллада о тяжелом часе (стр. 46).— *На Боденское озеро летели мои мечты...*— Боденское озеро расположено в предгорьях Альп, на стыке границ Германии, Австрии и Швейцарии.

Плач по отчизне (стр. 48).— Этим стихотворением («Tränen des Vaterlandes Anno 1937») Бехер как бы вступает в перекличку с немецким поэтом XVII в. Андреасом Грифиусом, оплакивавшим бедствия своего народа в эпоху Тридцатилетней войны («Tränen des Vaterlandes Anno 1636»).

Ты, Грюневальда холст.— Матиас Грюневальд, известный немецкий художник (ок. 1460—1528). В религиозных сюжетах картин Грюневальда Бехер видел отображение страданий немецкого народа.

Куфштейн (стр. 55).— *Куфштейн* — город в Тироле (Австрия), недалеко от границы с Баварией.

В. Б. (стр. 56).— Сонет посвящен известному немецкому писателю коммунисту Вилли Бределю (1901—1964), автору романов «Машиностроительный завод» (1930), «Испытание» (1935), «Твой неизвестный брат» (1937), исторической трилогии «Родные и знакомые» (1941—1953) и трилогии «Новая глава» (1959—1964), посвященной послевоенным годам и строительству ГДР.

Песня о реках (стр. 59).— Майн и Неккар, Зале и Дунай, синий Изар...— Бехер называет реки, пересекающие Баварию. *Бедный Конрад* — так назывался тайный союз восставшего крестьянства, возникший в эпоху Реформации в юго-западной Германии. *Фридрих Гёльдерлин* (1770—1843) — выдающийся немецкий поэт; в своих гимнах славил свободу, образец которой находил в древнегреческой демократии; в мрачный период феодальной реакции в Германии призывал немцев к национальному единству и демократическому переустройству общества. Гёльдерлин был вдохновенным певцом родной природы. В данном стихотворении Бехер имеет в виду гимн Гёльдерлина «Неккар».

Баллада о троих (стр. 83).— Это стихотворение было включено Бехером в драму «Зимняя битва» («Битва за Москву», см. действие пятое, сцена вторая, монолог Иоганнеса Хёрдера).

Детские башмачки из Люблина (стр. 87).— Стихотворение было опубликовано в 1944 г. («Internationale Literatur», Deutsche Blätter, Nr. 6), вскоре после напечатания в газете «Красная звезда» (10, 11, 12 августа 1944 г.) очерка К. Симонова «Лагерь уничтожения» о Люблинском концентрационном лагере, который, по-видимому, послужил поводом к созданию стихотворения.

НАРОД ВЫХОДИТ ИЗ МРАКА
(«Volk, im Dunkel wandelnd»)

Под таким названием в 1948 г. в Берлине вышел из печати второй послевоенный сборник стихов Бехера. Радость встречи с родиной после долгих лет эмиграции была омрачена раздумьями о тяжелых последствиях фашистского господства; поэт увидел города в руинах, страдания народа, но постепенно в стихах начинает звучать тема возрождения страны, строительства новой Германии.

Рюбецаль (стр. 102). — *В горах жил старый Рюбецаль...*— В старинных немецких легендах рассказывается о властителе Исполиновых гор в Силезии, добром духе Рюбецале, который помогает беднякам и наказывает жадных богачей.

СЧАСТЬЕ ДАЛЕЙ БЛИЗКО ЗАСИЯЛО
(«Glück der Ferne—leuchtend nah»)

В цикл под этим названием Бехер объединил стихи, созданные им за период с 1949 по 1952 г. В 1952 г. под таким же названием был опубликован сборник Бехера, куда вошла бо́льшая часть стихотворений этого цикла. Поэт славит мир, созидательный труд народа Германской Демократической Республики и великие перемены, совершающиеся в политике и экономике страны и в сознании людей.

ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ
(«Liebe ohne Ruh», 1914—1952)

В издания избранных произведений 1949 и 1952 гг. Бехер включил раздел интимной лирики под таким названием.

КНИГА ОБРАЗОВ
(«Buch der Gestalten», 1914—1952)

В цикл «Книга образов» Бехер включил стихотворения, написанные им в разные годы жизни. Некоторые сонеты, воссоздающие образы великих деятелей прошедших веков, написаны поэтом в первые годы эмиграции. В послевоенные годы поэт включил в этот цикл и другие стихотворения, посвященные великим революционерам, выдающимся деятелям пролетариата, героям-антифашистам, представителям немецкой и мировой культуры разных эпох. Поэт стремился подчеркнуть преемственность революционных традиций в борьбе за прогресс в прошлом и настоящем.

Данте (стр. 142).— *Он подошел к воротам городским...*— Великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265—1321) принимал участие в борьбе политических партий, так называемых белых и черных гвельфов, в своем родном городе Флоренции. В октябре 1301 г. Данте уехал из Флоренции, но за время его отсутствия партия белых гвельфов потерпела поражение, и Данте 10 марта 1302 г. был заочно приговорен к сожжению, а его дом снесен. До конца жизни своей Данте так и не смог вернуться во Флоренцию, был обречен на скитания, но мысли его неизменно возвращаются к родному городу, с которым было связано все лучшее в его жизни. Образ поэта-изгнанника, потерявшего родину, был близок Бехеру, вынужденному также находиться вдали от родины, в эмиграции, и он неоднократно возвращался к нему в своих произведениях.— *И, незабвенный город озаряя улыбкой, шла по улицам Она...*— Бехер говорит о возлюбленной Данте Беатриче, которой Данте посвятил многие строки в своих произведениях.— *Так и они до срока к воротам флорентийским подошли и были вновь разгромлены жестоко.*— Партия белых гвельфов вновь потерпела жестокое поражение в 1304 г., что уничтожило у Данте все надежды на возвращение

во Флоренцию с помощью силы.— *Размеренно терцины заструились...*— Терцина — трехстрочная ямбическая строфа с перекрестной рифмой. «Божественная Комедия» Данте написана терцинами.— *Канцоны пели под его окном...*— Канцона — в переводе с итальянского— песня. В средневековой поэзии трубадуров так называлось стихотворение, посвященное рыцарской любви. Последняя строфа стихотворения укорочена, в ней заключается обращение поэта к лицу, которому посвящена канцона. Канцона получила широкое распространение в итальянской поэзии Возрождения. Классические образцы канцоны созданы Данте.

Ганс Богейм из Никласгаузена (стр. 148).— Пастух *Ганс Богейм*, живший в XV в., призывал крестьян к восстанию против феодалов. Ему действительно удалось разжечь восстание, которое было жестоко подавлено Вюрцбургским епископом. Ганс Богейм был схвачен, осужден и сожжен в 1476 г.

Иосс Фриц (стр. 148). — *Фриц Иосс* (умер ок. 1517 г.) был одним из руководителей тайного революционного крестьянского «Союза Башмака». Он поднял крестьян против феодалов на юге Германии, на Верхнем Рейне и в Шварцвальде. Это было одно из самых больших восстаний, предшествовавших Великой крестьянской войне 1525 г. Восстание было разгромлено, Фриц Иосс бежал в Швейцарию, где продолжал борьбу с феодалами. В народе ходили легенды о том, что бессмертный Фриц Иосс со старым знаменем «Союза Башмака», спрятанным у него под рубахой, продолжает странствовать по Германии и призывает народ к борьбе за свободу.— *На Книбисе ночами он стоял...*— Книбис — гора в Северном Шварцвальде, где тайно собирались члены «Союза Башмака».— *У майских деревец стоял с толпою...*— Имеется в виду старинный немецкий обычай украшать весеннюю листву деревьев венками и лентами.

Рименшнейдер (стр. 149). — Тильман *Рименшнейдер* (ок. 1460—1533) — немецкий скульптор и резчик по дереву, выдающийся представитель немецкого искусства эпохи Реформации, участвовал в Великой крестьянской войне 1525 г., за что подвергался жестоким преследованиям. В одной из своих работ — резном алтаре — в облике Иисуса Христа запечатлел фигуру ослепленного крестьянина, участника крестьянской войны.

Штертебекер (стр. 150). — Клаус *Штертебекер* — легендарный народный герой средневековой Германии. Штертебекер возглавлял пиратов, нападавших на богатые купеческие корабли, и, по преданию, раздавал беднякам добро, захваченное у богачей. Казнен в 1401 г.

Лютер (стр. 150).— *Монах шагнул на паперть и прибил лист тезисов к церковному порталу.*— В истории Германии Бехера особенно интересовала эпоха Великой крестьянской войны и Реформации, эпоха революционного движения народных масс, поражение которого самым от-

рицательным образом сказалось на всем дальнейшем ходе исторического развития страны (см. роман «Прощание», стр. 401). Началом этого мощного движения народа против феодалов и церковников считается день 31 октября 1517 г., когда Мартин Лютер (1483—1546), профессор теологии и философии университета в Виттенберге, прибил на дверях церкви свои 95 тезисов, направленных против продажи индульгенций и других злоупотреблений католической церкви.— *На сейме в Вормсе.*— В 1521 г. Лютер, вызванный в Вормс, отказался отречься от своих сочинений, что было ему предложено на заседании сейма в присутствии императора Карла V.— *Засев на башне Вартбургской...*— После сейма в Вормсе, спасаясь от преследований, Лютер укрылся в Вартбургском замке в Тюрингии, где он с 4 мая 1521 г. по 1 марта 1522 г. переводил Библию с латинского языка на немецкий, что имело большое значение для развития единого немецкого языка.— *Потир* (г р е ч.) — чаша, употребляемая в христианском культовом обряде.— *Какой-то Мюнцер...*— Томас Мюнцер (ок. 1490—1525) — видный деятель Реформации, один из полководцев Крестьянской войны в Германии. Вначале сторонник, а затем противник Лютера, Мюнцер защищал свою революционную программу, направленную на свержение власти феодалов. Он пытался сплотить городскую бедноту и крестьянство. 15 мая 1525 г. у Франкенхаузена крестьянское войско под предводительством Мюнцера потерпело поражение, Мюнцер был схвачен и после долгих пыток казнен.

Г е н е р а л М о л а (стр. 161).— *Генерал Мола* — фашистский генерал, прославившийся своей жестокостью во время гражданской войны в Испании.

К о х е л ь с к и й к у з н е ц (стр. 167).— *Кохельский кузнец* — Бальтазар Майер, герой крестьянского восстания в Баварии, вспыхнувшего в 1705 г. в результате притеснений и жестокостей, которые чинили австрийцы, захватившие Баварию в ходе войны за Испанское наследство (1701—1714).

Н е к к а р у Н ю р т и н г е н а (стр. 169).— *Неккар* — правый приток Рейна.

М а у л ь б р о н (стр. 170).— *Маульброн* — город в земле Баден-Вюртемберг.

ЛЕЙТЕ, ЗВЕЗДЫ, СИЯНЬЕ!
(«Sterne unendliches Glühen»)

В 1951 г. вышел сборник стихотворений под таким названием, куда были включены все поэтические произведения Бехера о Советском Союзе.

Т а н ц у ю щ а я ц е р к о в ь (стр. 179). — В первой публикации стихотворения в журнале «Internationale Literatur», 1934, Nr. 10, к нему было сделано автором примечание: «Собор Василия Блаженного на Красной площади в Международный день молодежи 1934 года».

С м е р т ь   к о м и с с а р а (стр. 183).— Стихотворение написано под впечатлением советского кинофильма «Мы из Кронштадта».

Б е л о е   ч у д о (стр. 205).— *Посвящается гению Мориса Утрилло*. — Утрилло Морис (1883—1955) — французский живописец, мастер городского пейзажа, известен своими картинами, изображавшими мир парижских предместий. С 1909 по 1914 г. широко применял в живописи клей и гипс и создал «белый» цикл пейзажей. С 1916 г. писал картины более разнообразные по цвету и с более простыми и четкими контурами.

ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ»
(«Sonett-Werk»)

Жанру сонета Бехер придавал особое значение. В предисловии к своей книге «Сонеты» он писал: «В пору изгнания, когда люди, исторгнутые из Германии, должны были хранить богатства ее языка, дабы сберечь их для Германии,— в эту пору сонет приобрел в моем творчестве неожиданно большое значение и место и доказал, насколько он как жанр актуален и современен».

Г а н с   Б а й м л е р (стр. 215).— *Ганс Баймлер* (1895—1936) — немецкий коммунист, рабочий, входивший в состав баварского советского правительства. Был заключен нацистами в концлагерь Дахау, откуда бежал. Сражался в Испании, где командовал дивизией Интернациональной бригады. Погиб в боях под Мадридом.— *«Счастливый Ганс»* — персонаж немецких народных сказок.

В с т р е ч а (стр. 230).— *Вийон* Франсуа (род. ок. 1432 г., год смерти неизвестен), французский поэт, вел бурную жизнь, не раз представал перед судом и был изгнан из Парижа. Известны поэма Вийона «Лэ», получившая также название «Малое завещание», поэма «Большое завещание», содержащие яркие реалистические сценки из жизни парижских низов и размышления поэта о собственной судьбе, о жизни и смерти. Стихи Вийона искренни, музыкальны, написаны с большим художественным мастерством.— *Рембо* Артюр (1854—1891), французский поэт. Стихи Рембо проникнуты пафосом протеста против лицемерия буржуазного общества, поэт горячо сочувствовал борьбе парижских коммунаров. После 1873 г. поэт отошел от литературной деятельности. Рембо как поэт-новатор, обогативший французскую поэзию новыми темами и формами, оказал значительное влияние на поэзию других стран — в частности, на поэзию русских символистов. Влияние Рембо испытал в ранние годы творчества и Бехер, не раз упоминающий Рембо в своих произведениях. — *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт. Участвовал в революции 1848 г., после поражения революции и воцарения Наполеона III утратил веру в социальный прогресс. В 1857 г. вышел сборник стихов Бодлера «Цветы зла», где поэт, выражая сочувствие обездоленным, утверждал неискоренимость зла и эстетизировал уродства жизни.

В. У. (стр. 242).— Вальтер Ульбрихт (род. в 1893 г.) — один из старейших коммунистов Германии, последовательный борец против фашизма и империализма, первый секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии, председатель Государственного совета ГДР. Одна из последних книг Бехера — биография Вальтера Ульбрихта.

В. П. (стр. 243).— Вильгельм Пик (1876—1960) — один из основателей Коммунистической партии Германии, соратник Карла Либкнехта и Розы Люксембург, мужественный борец против фашизма. Со дня образования Германской Демократической Республики (7 октября 1949 г.) и до конца своей жизни — бессменный президент ГДР.

ИЗ КНИГИ «ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ И СЕМЬ ТЯГОТ»
(«Der Glücksucher und die sieben Lasten»)

В 1958 г. Бехер заново издал сборник под таким названием, выпущенный впервые в 1938 г., дополнив его «потерянными» и новыми стихами.

ПРОЩАНИЕ
(«Abschied»)

Роман «Прощание», опубликованный Бехером в 1940 г., написан на автобиографическом материале. В центре романа — образ Ганса Гастля, которому за годы юности и становления характера приходится не раз совершать ошибки, расплачиваться за свои заблуждения, переживать прощание с моральным кодексом своего класса. Герой романа, как и автор, порвал с буржуазной средой, в которой вырос, и перешел на сторону революционного рабочего класса Германии. Через много лет прощается писатель со своим прошлым, с Германией кануна первой мировой войны, с художественными исканиями своей молодости.

Стр. 294. *Германский посланник фон Кетелер, убитый боксерами...*— В 1900 г. в Китае разгорелось антиимпериалистическое восстание, получившее название восстания боксеров.

Стр. 298. *Терц* — фехтовальный термин, означает удар рапирой налево.

Стр. 299. *Тюркос*.— Во второй половине XIX и в начале XX в.— стрелок из алжирцев во французских колониальных войсках.

Стр. 303. *Герреро* — народность, принадлежащая к языковой группе банту. Основная масса герреро живет в юго-западной Африке. 12 января 1904 г. началось восстание этого племени против власти немецких колонизаторов. Восстание было жестоко подавлено.

Стр. 426. *...обсуждали новую пьесу под названием «Пробуждение весны»*.— «Пробуждение весны» — пьеса немецкого драматурга Франка Ведекинда (1864—1918), одного из предшественников экспрессионизма

в немецком театре. Эта пьеса написана им в 1891 г., премьера ее состоялась в Камерном театре Берлина в 1906 г.

...Оттого-то они и бегали на всяких «Кавалеров роз»... — «Кавалер роз» — комическая опера выдающегося немецкого композитора и дирижера Рихарда Штрауса (1864—1949) на сюжет одноименной пьесы австрийского писателя Гуго фон Гофмансталя.

Стр. 433. *Рихард Демель* (1863—1920) — немецкий поэт и драматург. Наибольшей известностью пользовались сборники его стихотворений «Искупление», «Но любовь», драмы «Спутник человека» и «Михель Михаэль».

Стр. 452. *«Мировые загадки» Эрнста Геккеля.* — В начале XX в. эта книга Геккеля была очень популярна. В работе «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин пишет: «Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах «Мировые загадки» Э. Геккеля, замечательно рельефно обнаружила *партийность* философии в современном обществе... Популярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы. Профессора философии и теологии всех стран света принялись на тысячи ладов разносить и уничтожать Геккеля» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 370).

Стр. 488. *В связи со скандальным делом Эйленбурга...* — Князь Филипп Эйленбург (1847—1921), офицер, дипломат, германский посол в Вене (1894—1902), друг и доверенное лицо Вильгельма II, вынужден был в 1906 г. выйти в отставку в связи с тем, что в прессе появились материалы, обвинявшие его в преступлениях против нравственности.

Стр. 493. *«Ведьмы» Вильденбруха с участием Поссарта...* — Эрнст Вильденбрух (1845—1909) — немецкий писатель, драматург, автор исторических драм реакционно-шовинистического толка. Поссарт Эрнст (1841—1921) — известный немецкий актер, режиссер и театральный деятель. С 1864 г. — ведущий актер, а затем режиссер и директор Мюнхенского придворного театра.

Стр. 496. *...читал ли ты «Морскую звезду»...* — «Морская звезда» (1906) — роман немецкого писателя Фердинанда Граутофа.

Стр. 500. *А что позволяет себе этот бесстыжий еженедельник «Симплициссимус»!* — Сатирический журнал, выходивший в Мюнхене с 1896 по 1942 г. Своим названием журнал обязан роману Гриммельсгаузена «Похождения Симплиция Симплициссимуса» (1668). В начале XX в. журнал активно выступал против немецкого милитаризма.

Стр. 512. *Ницше, Вейнингер, Кале: безумие или самоубийство.* — Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий реакционный философ и психолог; в последние годы жизни страдал душевным расстройством. — Вейнингер Отто (1880—1903) — немецкий психолог, покончивший с собой сразу же после опубликования его сочинения «Пол и характер». — Кале Вальтер (1881—1904) — немецкий философ и писатель, 3 ноября 1904 г. покончил с собой. В 1907 г. в Берлине было издано собрание его сочинений.

Стр. 516. *Я никогда не слыхал об Эйнштейне, Михельсоне, Минковском или Лоренце.*— Эйнштейн Альберт (1879—1955) — великий ученый, физик, создатель теории относительности. — Михельсон Владимир Александрович (1860—1927) — известный русский физик. Его работы оказали влияние на труды немецких ученых В. Вина и М. Планка. Особенно значительны исследования Михельсона в области теории распространения пламени. Они заложили основы физики горения.— Минковский Герман (1864—1909) — немецкий математик и физик. Профессор университета в Геттингене, один из представителей геттингенской математической школы.— Лоренц Гендрик (1883—1928) — выдающийся голландский физик.

ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ
(«Dreimal bebende Erde»)

Сборник, составленный Бехером в 1955 г., представляет избранную прозу из его книги «На новый лад великая надежда. Дневник 1950 г.» («Auf andere Art so grosse Hoffnung. Tagebuch 1950. Eintragungen 1951», Aufbau-Verlag, Berlin, 1955.)

Г. Егорова

СОДЕРЖАНИЕ

Второе рождение

Пора истребления

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

IV. НАРОД ВЫХОДИТ ИЗ МРАКА

V. СЧАСТЬЕ ДАЛЕЙ — БЛИЗКО ЗАСИЯЛО

VI. ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ ПОКОЯ

IX. ЛЕЙТЕ, ЗВЕЗДЫ, СИЯНЬЕ!

ИЗ КНИГИ «ШАГ СЕРЕДИНЫ ВЕКА»

ИЗ КНИГИ «СОНЕТЫ»

ИЗ КНИГИ «ИСКАТЕЛЬ СЧАСТЬЯ И СЕМЬ ТЯГОТ. (Потерянные стихи»

ПРОЩАНИЕ

ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

Перевод Г. Я. Снимщиковой

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 137

Иоганнес Р. Бехер

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЩАНИЕ.
ТРИЖДЫ СОДРОГНУВШАЯСЯ ЗЕМЛЯ

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
А. Новикович и В. Широкова

*

Сдано в набор 27/VI 1969 г. Подписано к печати 5/XI 1969 г. Бумага типогр. № 1. Форм. 60×84 1/16. 42 печ. л. 39,186 усл. печ. л. 36,08 уч.-изд. л.+6 накидок+1 вкл.=36,855 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 78. Цена 1 р. 57 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28